

ИСТОРИЯ
РИМСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ



ИСТОРИЯ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

v

ПОД РЕДАКЦИЕЙ:

С.И. СОБОЛЕВСКОГО, М.Е. ГРАБАРЬ-ПАССЕК,

Ф.А. ПЕТРОВСКОГО



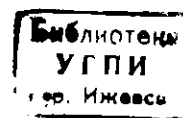
ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • 1959

1957

ИСТОРИЯ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

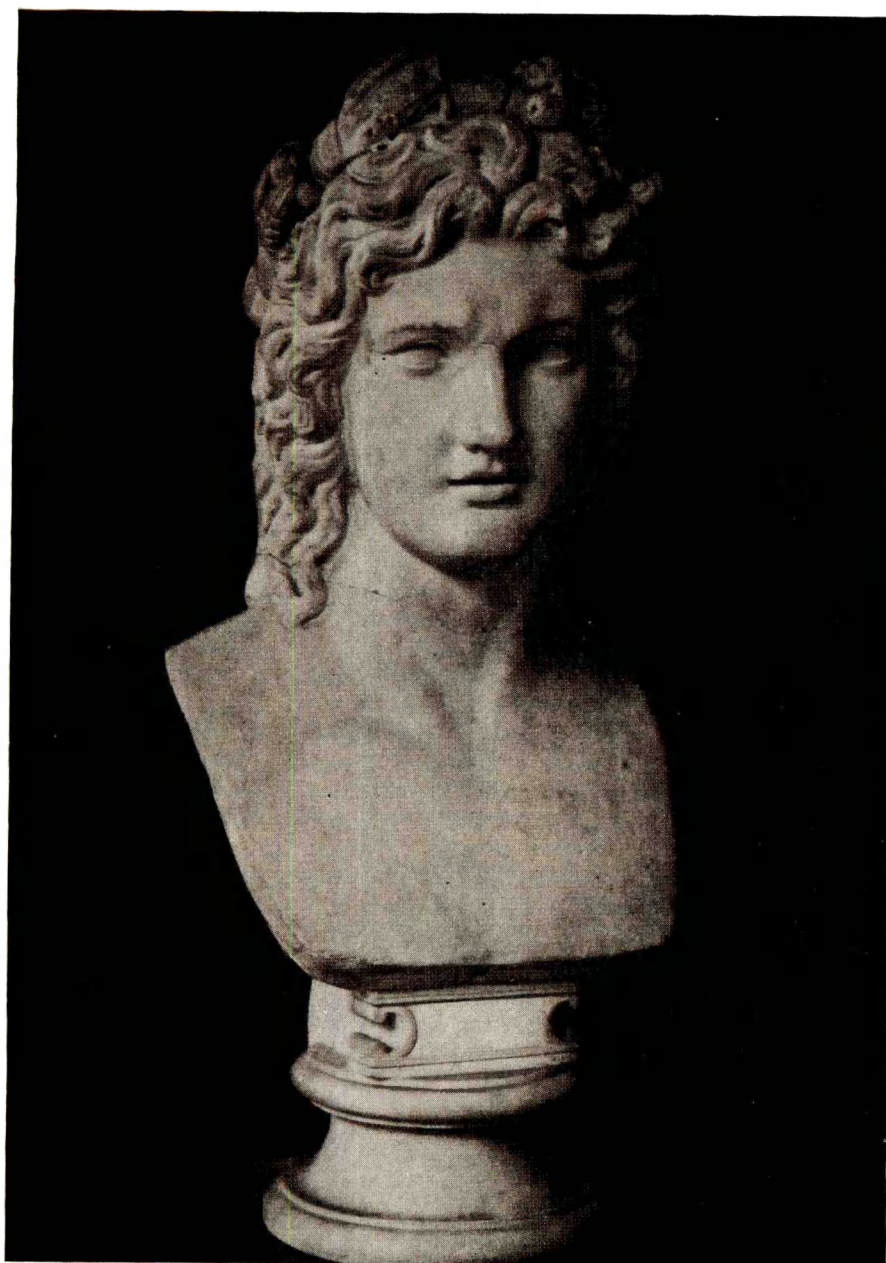
ТОМ
I

РАННЯЯ РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА,
ЛИТЕРАТУРА КОНЦА РЕСПУБЛИКИ,
ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ИМПЕРИИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • 1959

В томе I «Истории римской литературы» рассматриваются произведения латинских писателей, начиная с III в. до н. э. и кончая первой половиной I в. н. э., т. е. всего периода Римской республики и принципата. Многие из помещенных в книге переводов публикуются впервые. Большинство иллюстраций — снимки с произведений античного искусства, хранящихся в Государственном Эрмитаже в Ленинграде.



Голова Автумна (бога осени)



ОТ РЕДАКЦИИ

При изложении истории античной литературы невозможно проследить в непрерывной и стройной последовательности все ее развитие, потому что имеющиеся в нашем распоряжении литературные произведения древнего мира составляют лишь ничтожную часть ее огромного наследия, дошедшего до нас не только не полностью, но и в очень разрозненном виде, и лишь немногие части этого наследия сохранились достаточно целыми.

То, что дошло до нас от литературы древних греков похоже на афинский акрополь в его теперешнем виде; то, что сохранилось от римской литературы, напоминает развалины римского форума. Применяя сравнение литературных памятников древности с памятниками ее архитектуры, скульптуры и живописи, мы можем хорошо понять, каково в настоящее время то целое, которое мы называем литературой античного мира. Множество замечательных памятников архитектуры, таких, как храм Артемиды в Эфесе или римские термы, разрушено дотла; другие, как афинский Парфенон или римский Колизей, сохранились только частично. Что же касается более мелких построек, городских ансамблей и т. п., то мы можем судить о них только по таким, случайно сохранившимся в более или менее цельном виде, остаткам, как Помпеи в Италии или Тимгад в Африке. С античной скульптурой, а тем более живописью мы принуждены в большинстве случаев знакомиться не по подлинникам, а по копиям или подражаниям произведениям первоклассных мастеров; лишь по таким совершенным созданиям, как скульптуры Парфенона, статуя Венеры Милосской или рельефы Пергамского алтаря, можно судить о том, каких высот достигало античное изобразительное искусство, хотя мы и не в состоянии с должной степенью вероятности восполнить утраченные части и детали его произведений.

Обращаясь к памятникам греческой и римской литературы, мы наблюдаем очень сходную картину: до нас дошли поэмы Гомера, но пропал весь эпос кикликов, сохранилось несколько драм Эсхила, Софокла и Эврипида, но утрачены трагедии Агафона и всех остальных трагиков классического периода; о древней аттической комедии мы можем судить только по нескольким комедиям Аристофана; остались диалоги Платона, а сочинения Демокрита и других древнейших философов, равно как и значительная часть произведений Аристотеля, известны только по упоминаниям о них да по отдельным, в большинстве случаев ничтожным, фрагментам; об авторах новой аттической комедии в течение многих веков можно было составить кое-какое представление лишь по пьесам Теренция и Плавта, и только теперь, благодаря найденным отрывкам комедий Менандра, мы можем немного заглянуть за занавес, скрывающий драмы этого комедиографа.

В римской литературе та же картина: Плавт, Теренций, Лукреций, Цицерон, Гораций, Вергилий и Овидий для нас доступны, а комедии

Цецилия и Афрания, сочинения Невия и Энния, речи Гракхов, Антония, Гортензия, стихи поэтов-неотериков, за единственным исключением Катутлла, произведения ряда других поэтов и республиканской эпохи и времен императорских или исчезли бесследно, или дошли в ничтожных обрывках; никакого сколько-нибудь ясного представления не в состоянии мы составить о «Менипцеях» Варрона, а от такого значительного памятника римской художественной литературы, каковы «Сатуры» Петрония, дошла до нас едва ли десятая часть.

Немудрено поэтому, что добросовестный историк литературы в огромном большинстве случаев может дать оценку творчества отдельных античных писателей, произведения которых сохранились, только исходя из их собственных сочинений, и не имеет возможности сравнить и сопоставить их с творчеством их предшественников и современников, произведения которых для нас погибли. Ввиду этого надо быть крайне осторожным в области каких бы то ни было обобщений или гипотез, когда мы подходим к разбору общего хода развития античной, в частности, римской, литературы, и лучше давать разбор творчества одного Катутлла, одного Лукреция, одного Цицерона, чем опрометчиво оценивать неизвестные нам стихи Левия и Катона, сопоставляя их с Катутллом, стараться найти, помимо Энния, других римских предшественников Лукреция, оценивать речи Цицерона, гадая на кофейной гуще о речах Гортензия. Там, где литературные сопоставления возможны, их надо делать непременно, но не забывать, что лучше ограничить свой историко-литературный кругозор доступной для исследования областью, чем с закрытыми глазами, ощупью искать в античной литературе того, чего, быть может, в ней никогда и не было. А к чему приводят такие слепые изыскания, хорошо видно, например, по некоторым «ученым» работам, касающимся творчества сатирика Луцилия, фрагменты которого, в большинстве случаев состоящие из отдельных слов и выражений, собранных без всякой внутренней связи лексикографом Нонием, породили ряд произвольных гипотез и концепций.

Принимая все это в соображение, редакторы и составители настоящего тома обращали тщательное внимание на достоверность привлекаемого для изложения и оценки материала, а в тех случаях, когда неизбежно приходилось прибегать к гипотетическим построениям, следили за тем, чтобы эти гипотезы не преподносились как безусловные факты.

При рассмотрении памятников римской литературы из них отбирались наиболее существенные и значительные для выяснения литературного творчества, развивавшегося в связи с изменениями общественных отношений в античном мире; в ряде случаев, однако, надо было давать изложение очень подробное и детальное. Это касается, например, изложения римской историографии, имеющей исключительно важное значение и для истории литературы и для истории развития античной мысли в целом. Особенно существенно было такое подробное изложение, когда следовало освещать творчество авторов, произведения которых еще не переведены на русский язык и остаются недостаточно исследованными и мало комментированными.

Для лучшего и наиболее полного представления об античной литературе изложение иллюстрируется текстами подлинных произведений в переводе. В помещенные в том I переводы авторами отдельных глав внесены некоторые изменения и поправки.

В составлении настоящего тома принимали участие научные сотрудники Сектора античной литературы Института мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР: С. И. Соболевский, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровский, Е. А. Беркова и М. Л. Гаспаров.

В В Е Д Е Н И Е





Глава I

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Римская литература, ее связь с литературой греческой и ее самостоятельное значение.— 2. Периодизация римской литературы.

1. РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, ЕЕ СВЯЗЬ С ЛИТЕРАТУРОЙ ГРЕЧЕСКОЙ И ЕЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Римская литература включает в себе произведения авторов, писавших на *латинском* языке в период от середины III в. до н. э. и до второй половины V в. н. э. Начальной датой этого периода считается появление в Риме первых *писателей*, начиная с Аппия Клавдия Цека и Ливия Андроника, деятельность которых относится ко времени превращения Рима в могущественное государство, а конечной — падение Западной Римской империи, иначе говоря, раннее Средневековье, когда античный Рим теряет свое первенствующее значение и наступает период *средневековой латинской литературы*, развивающейся в странах Западной Европы наряду с литературой на отдельных национальных языках.

Римская литература, как и вся культурная жизнь Рима в целом, тесно связана с античной Грецией, и поэтому ни римскую литературу нельзя изучать независимо от литературы греческой, ни греческую в ее после-классический период — независимо от римской, приобретающей самостоятельное значение в том замечательном целом, которое мы называем *античной литературой*.

Римская литература с самого начала придерживалась греческих образцов, но скоро нашла свои собственные пути развития. В ранний период римской литературы это можно заметить хотя бы по фрагментам эпоса Невия, но особенно ясно это видно по комедиям Плавта, а в дальнейшем по произведениям всех крупнейших римских писателей. При внимательном изучении лучших произведений римской литературы становится очевидным, что представление о ней как только о слепке с литературы греческой, да притом еще слепке далеко не всегда удачном, совершенно неправильно.

Надо, однако, сказать что сами римляне в значительной мере заложили основу ложного представления о римской культуре. После покорения Греции Римом во II в. до н. э., когда сближение между Италией и Грецией стало быстро развиваться и когда литература, изобразительные искусства и архитектура стали привлекать к себе все больше внимания, римляне, преклонявшиеся перед искусством греков, были склонны объяснять свои успехи в области художественной культуры исключительно подражанием греческим образцам. Наиболее яркими выразителями этой концепции

ВВЕДЕНИЕ

были, как это ни удивительно может показаться нам теперь, крупнейшие поэты Августова века — Гораций и Вергилий. В первом «Послании» книги II (ст. 156 сл.) Гораций говорит (и слова его выражают, конечно, не только его личное мнение):

Греция, взятая в плен, победителей диких плевила,
В Лаций суровый внеся искусства...

Ту же мысль мы находим и в пророчестве Анхиза в VI книге «Энеиды» Вергилия (ст. 847 сл.):

Будут другие ковать оживленную медь, совершенней,
— Верю,— и будут ваять из мрамора лики живые,
Лучше защиту вести на суде, и движения неба
Вычертят тростью, и звезд восходы точнее укажут.
Твой же, Римлянин, долг — полновластно народами править:
В этом искусства твой; предписывать мира законы,
Всех покоренных падать и силой смирать непокорных.

(Перевод Ф. А. Петровского)

Подобные признания самих римлян, принятые без всякой проверки, естественно, рождали мысль о полной несамостоятельности художественного творчества древнего Рима. А между тем непосредственное впечатление от этого Рима — или сквозь позднейшие наслоения, каким его видели в эпоху Возрождения, или даже от его очищенного скелета, каким он встает перед нами в результате работ археологов, откопавших остатки римских зданий и сооружений и сделавших все возможное для облегчения работы искусствоведа, — это впечатление значительного и самобытного искусства. О том же, насколько следует быть осторожным, ссылаясь на подобные приведенным выше показания самих римлян, видно хотя бы из того, что, например, Вергилий, с одной стороны, в числе искусств (*artes*), в которых другие (т. е., разумеется, греки) превосходят римлян, не упоминает поэзию, а с другой — недооценивает римское судебное красноречие, достигшее в лице Цицерона высшей ступени своего развития в античном мире. Это пренебрежительное отношение к ораторскому искусству Рима, вызывавшее недоумение и досаду гуманистов, имеет отнюдь не беспристрастный, а чисто полемический характер выпада в угоду Октавиану Августу.

Поэтому единственно верным путем исследования римской художественной культуры в целом и одного из главных ее проявлений — римской литературы — будет изучение самих ее памятников на всем протяжении жизни Рима.

Именно памятники литературного творчества, а не свидетельства о них должны быть основой наших суждений. Это ясно при оценке богатейшего литературного наследия Рима.

Грекам муза дала полновзвучное слово и гений,
Им, ни к чему не завистливым, кроме величия славы!
Дели же римлян учатся долго, с трудом; но чему же?
На сто частей научаются ас разделять без ошибки!
.....
Если как ржавчина в ум заберется корысть, то возможно ль
С нею стихов ожидать, в кипарисе храниться достойных?

(Перевод М. Дмитриева)

Такова сравнительная характеристика греческой и римской культуры, данная Горацием в его «Послании к Пизонам» (ст. 323 сл.), но, по счастью, у нас сохранилось такое опровержение ее, что она нас не смутит. Это опровержение — вся римская литература, начиная с Плавта и кончая Апулеем, литература, в состав которой входит и самое это послание Горация. Характеристика римлян в его стихах никак не может относиться ко всему Риму, а против кого она направлена, может нам пояснить другой, позднейший, литературный памятник — «Сатуры» Петрония: «Я не учился, — восклицает один из соотпуцелников Трималхиона, — ни геометрии, ни критике, вообще никакой чепухе, но умею читать надписи и вычислять проценты в дельгах и в весе». Такого рода людей можно найти в любой стране (вспомним Стрепсиада из Аристофановых «Облаков»), однако, сколько бы их ни было в Риме, нельзя же по ним заключать об отсутствии у римлян художественного творчества.

Никто, само собою разумеется, не станет отрицать того воздействия, какое имела греческая литература на римскую, но мало-мальски внимательное сравнение литературных памятников Рима с греческими убеждает нас в том, что, при всем подражании грекам, римляне никогда не оставались лишь подражателями своим образцам, но создали (как мы уже говорили) такие произведения искусства, которые вполне самобытны и обнаруживают свое римское существо, сохраняя — да и то далеко не всегда — лишь внешний греческий облик; и в тех случаях, когда у нас есть возможность сравнить греческий оригинал с отражением его в Риме, мы всегда это увидим.

Мы очень мало знакомы с ранним чисто италийским литературным творчеством. Те скудные остатки ранней латинской поэзии, которые до нас дошли и о которых мы имеем отрывочные свидетельства у римских авторов, не могут дать нам хоть сколько-нибудь ясного представления об этом национальном творчестве. Мы знаем, в конце концов, только то, что оно *было* и что существовал в Италии своеобразный стихотворный размер — так называемый «сатурнийский стих». Первый поэт, о котором мы можем составить достаточно полное представление это — Плавт. Но комедии этого драматурга указывают уже на глубокое развитие драматической поэзии на италийской почве и служат превосходным образцом органического соединения в римской литературе латинских элементов с греческими, порождающего совершенно новое и своеобразное живое целое. Плавт выводит на сцену в качестве главного действующего лица раба и ставит его замыслы и плутни в центр всей интриги комедии, пересыпая ее буффонадами, разговорами с публикой и постоянными отступлениями, имеющими непосредственное отношение к Риму, его обычаям и всей его жизни, оставляя лишь внешнюю греческую обстановку, но совершенно не заботясь о ее правдоподобии. Его комедии поэтому представляют собой продукт римского народного гения.

В дальнейшем развитии римской литературы все время можно наблюдать, как наиболее одаренные и самостоятельные писатели, даже являвшиеся ревностными поклонниками греческого искусства, преодолевали усиливающееся в Риме эллинофильство, над нелепыми сторонами которого издевался сатирик Луцилий, и создавали подлинно *римские* произведения. Очень знаменательно, что именно такого рода произведения имели в Риме наибольший успех в самых широких кругах, а, например, комедии младшего современника Плавта — Теренция, старавшегося (насколько мы можем судить) приблизиться к Менандру, высоко оценивались не народом в целом, а лишь эллинофилами. Греция не одолевает и тем самым не губит Рима в области литературы и других искусств, а служит лишь силой,

ВВЕДЕНИЕ

оплодотворяющей его создания. К I в. до н. э. и римская поэзия и проза в лице Лукреция, Катулла и Цицерона достигают такого совершенства и самостоятельности, что могут выдержать соревнование с лучшими произведениями греческой литературы. Катулл создает в Риме лирику, Цицерон — ораторское искусство, а Лукреций — философско-дидактическую поэзию, соединяя в себе и верного ученика Эпикура и подлинно-римского поэта — самобытного художника и искреннего патриота.

В эпоху Августа, в период наивысшего расцвета римской культуры, мы видим новое усиление эллинизма, захватывающее таких теоретиков поэзии, как Гораций, но вместе с тем уже не могущее свести на степень простого подражания грекам создания Вергилия, Овидия, Тита Ливия и самого Горация. Горацию незачем говорить, обращаясь к Пизонам, чтобы они денно и ночью изучали творения греков, — греческая культура пустила прочные корни в Риме, — но в то же время незачем и напрасно поносить Плавта, которым восхищался в свое время Цицерон и язык которого считал образцовой латинской речью. Своей «Энеидой» Вергилий создает национальный римский эпос, художественная ценность которого таква, что его подражательность Гомеру и другим образцам становится совершенно несущественной для общей его оценки и не снижает его самостоятельности. Но, пожалуй, еще более ценны его «Георгики», в которых римский практицизм воплотился в высокую художественную форму и которые отвечают обоим требованиям Горация к литературе: «Георгики» и приносят пользу и услаждают. Проза этой эпохи облекается в чисто римские формы в «Истории» Тита Ливия и продолжает совершенствоваться, достигая впоследствии высшего своего развития в произведениях Тацита. Развивается в Риме и особый, чисто римский литературный жанр — сатура, представленная во время Августа Горацием и достигающая своего расцвета в императорскую эпоху, с одной стороны, у Персия и Ювенала, а с другой — у Петрония, дающего исключительно живую и яркую характеристику быта Италии императорского периода и создающего своими «Сатурами» своеобразный жанр романа, воскресающий в произведениях Сервантеса и Лесажа. В произведениях современника Ювенала, поэта Марциала, достигает своего высшего развития и античная эпиграмма. К этому времени Рим окончательно завосовывает политическое первенство во всем античном мире, и его культура настолько глубоко проникает всюду, что окончательно пересиливает в своем влиянии Грецию. В литературе одним из симптомов этого служит творчество Апулея, грека по происхождению, писавшего свои произведения на латинском языке.

Сохраняя на всем протяжении своей истории национальные основы и вместе с тем творчески воспринимая и органически претворяя достижения греческой культуры, Рим создает свое собственное, *римское* наследие, которое питало и продолжает питать культуру последующих эпох истории человечества.

2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

При изложении истории литературы применяются обычно два метода: 1) метод эйдографический, т. е. рассмотрение литературных произведений по отдельным их видам, или жанрам, и 2) метод исторический, при котором литературные факты излагаются в хронологической последовательности. Но как при эйдографической системе изложения неизбежно приходится рассматривать произведения одного и того же жанра в хронологической последовательности, так и при историческом методе следу-

ет в некоторых случаях применять изложение эйдографическое. В настоящем издании принята историческая система как наиболее целесообразная, дающая возможность читателю следить за развитием римской литературы в связи с развитием общественной жизни Рима; но в отдельных случаях, особенно когда важно показать развитие или историю какого-нибудь отдельного существенного литературного жанра, а произведения его до нас не дошли или сохранились лишь фрагментарно, лучше было дать обзорное изложение истории этого жанра, чем упоминать в общей, чисто хронологической последовательности отдельных его представителей, о творчестве которых мы не можем судить непосредственно по их сочинениям. Такое отступление сделано, например, при изложении истории римской драматической литературы после Теренция.

При рассмотрении творчества римских писателей можно наметить следующие периоды римской литературы.

I. Начальный период римской литературы, когда появляются первые римские писатели, относится к эпохе ранней Римской республики.

Важнейшие события этой эпохи: 1) установление к началу III в. до н. э. политического и общественного строя Рима в результате завершения борьбы патрициев и плебеев, 2) покорение Римом Италии и 3) превращение Рима в сильнейшее государство Средиземноморья после успешного окончания войны с Пирром (272 г.) и второй Пунической войны (201 г.).

В эту эпоху жили поэты Ливий Андроник, Невий, Плавт, Энний; оратор Аппий Клавдий Слепой, деятельность которого относится к 312—280 гг., и историк Квинт Фабий Пиктор.

Таким образом, время жизни и творчества этих писателей, положивших начало важнейшим видам римской литературы, относится к той эпохе греческой литературы, которая характеризуется такими авторами, как поэты Арат, Феокрит, Каллимах, Аполлоний Родосский, Герод и Эвфорион, философы Кратет и Клеанф, историк Филохор.

Из перечисленных выше римских писателей можно составить непосредственное представление, в сущности, только об одном — о Плавте, от которого до нас дошло целых двадцать комедий. Из остальных же лучше всего известен нам поэт Энний, из произведений которого сохранилось довольно много фрагментов. Что же касается Невия, Ливия Андроника, а тем более Аппия Клавдия и Фабия Пиктора, то нам приходится довольствоваться только тем немногим, что говорят о них позднейшие авторы, да ничтожным количеством разрозненных и мелких отрывков.

О предшественниках этих писателей на римской почве нам, по существу дела, не известно ничего.

II. Второй период римской литературы (II в. до н. э.) относится ко времени окончательного завоевания Римом бассейна Средиземного моря, развития борьбы внутри римского нобилитета и усиления всадничества. В области внешней политики крупнейшим событием этого периода было покорение Римом Македонии и Греции и окончательное завоевание Карфагена, который был разрушен римлянами в 146 г., одновременно с Коринфом.

К этому периоду относятся поэты-драматурги Цецилий Стаций, Пакувий, Теренций, Акций, Афраний; сатирик Луцилий; ораторы Сципион Эмилиан, Гай Лелий, Тиберий и Гай Гракхи; историк и оратор Катон и критик Волкаций Седигит.

Из греческих писателей этого же времени крупнейшими были: поэт Мосх, историки Полибий и Аполлодор, философы Карнеад и Панетий, филологи Аристофан Византийский, Аристарх Самофракийский и Дионисий Фракийский.

Из римских писателей этого периода хорошо нам известен только Теренций по его шести комедиям; от Катона сохранился лишь его трактат о сельском хозяйстве; из произведений остальных авторов дошли до нас только фрагменты.

Сравнивая римское литературное творчество этого периода с творчеством греческих писателей этого же времени, мы видим даже по фрагментам их произведений, а не только по комедиям Теренция, что Рим начинает завоевывать себе значительное самостоятельное место в античной литературе.

III. Третий период римской литературы — это эпоха разгара гражданских войн и обостренной борьбы классов, получившей яркое выражение в восстаниях рабов и борьбе Мария и Суллы, последовавшей за политической деятельностью братьев Гракхов. Завершается этот период падением Римской республики и переходом к принципату Августа.

Римская литература этого периода отличается исключительной плодотворностью и характеризуется такими произведениями, которые стали *классическими* не только в римской, но и мировой литературе.

Крупнейшими писателями этого периода были поэты Лукреций и Катюлл; историки Юлий Цезарь, Корнелий Непот и Саллюстий; ораторы Марк Антоний, Гортензий и Цицерон и энциклопедист Марк Теренций Варрон. Цицерон и Варрон отличались большой писательской продуктивностью и разнообразием своих сочинений; Цицерона можно отнести к ораторам только по признаку основной его литературной деятельности, но он известен и как теоретик ораторского искусства, и как философ-популяризатор, и как создатель римского эпистолярного жанра, а Варрон, от многочисленных сочинений которого дошли до нас только сочинение по сельскому хозяйству, небольшая часть исследования о латинском языке да ряд отдельных фрагментов, был знаменит и своими философскими работами, и сочинениями по истории и археологии, и своими очень своеобразными «сатурами». О произведениях ораторов, предшественников и современников Цицерона, мы непосредственно судить не можем, так как фрагменты их речей очень скудны.

Этот период римской литературы замечателен и оживленной литературной полемикой, одним из интереснейших свидетельств которой в области теории ораторского искусства является «Риторика к Гереннию», принадлежащая неизвестному автору.

От произведений других писателей этого периода — поэтов Лаберия, Варрона Атацинского, Публилия Сира, Галла, историка Сизенны — остались лишь фрагменты или даже только упоминания о них.

Среди греческих писателей этого периода можно назвать очень немногих: идиллика Биона, поэтов-эпиграмматистов Мелеагра и Антипатра Сидонского, историка Диодора, географа Страбона, философа Посидония.

IV. Четвертый период, который принято называть «золотым веком» римской литературы, — это век Августа. Восстановление спокойствия в Риме после почти целого столетия восстаний и гражданских войн — отличительная черта этого периода, в который римская аристократическая республика превращается в империю. Политическая деятельность римлян замирает; в литературе это сказывается в первую очередь на упадке ораторского искусства. Зато развивается поэзия, для которой в это время характерны, с одной стороны, патриотические темы, а с другой — любовные мотивы.

К этому периоду относятся следующие писатели: поэты Вергилий, Гораций, Тибулл, Проперций, Овидий; историки Тит Ливий, Помпей Трог; ученые Гигин, Веррий Флак и архитектор Витрувий.

Большинство этих писателей хорошо известно нам по сохранившимся их произведениям, а другие, как Помпей Трог и Веррий Флакк, — по позднейшим изложениям и обработкам их трудов; но, кроме перечисленных здесь авторов, было в этот период немало и таких, какие известны лишь по именам да кое-каким, не всегда достоверным, свидетельствам.

В греческой литературе этого периода нет ни одного известного нам автора, которого можно было бы сопоставить по значению с современными ему римскими писателями. Следует, однако, отметить филолога и историка Дионисия Галикарнасского, жившего в Риме во времена Августа.

V. Пятый период римской литературы, которым начинается ее «серебряный век», можно ограничить I столетием н. э., начиная с воцарения Тиберия (14 г. н. э.) и кончая смертью Домициана (96 г.). Но эти границы (как, впрочем, и хронологические пределы других периодов римской литературы) в значительной мере условны. Спокойствие Рима (pax Romana) нарушается народными движениями, жестоко подавляющимися императорами, которые стремились к централизации власти и старались укреплять ее военной диктатурой; обостряется борьба императоров с сенаторским сословием. Все большую роль начинают играть в экономике и политике Рима провинции, которым даются права гражданства. Это покровительство провинциям сказывается на литературе, в которой на первые места выходят уроженцы провинций, главным образом Испании, — Сенеки (Старший и Младший), Лукан, Марциал, Квинтилиан, Помпоний Мела, Колумелла.

Творчество писателей этого периода известно не хуже творчества авторов эпохи Августа. Крупнейшими писателями этого времени были поэты Манилий, Персий, Федр, Лукан, Валерий Флакк, Стаций, Силий Италик, Марциал; историки Веллей Патеркул, Валерий Максим, Квинт Курций Руф, Флор; риторы Сенека Старший, Квинтилиан; философ Сенека Младший; сатирик Петроний и ученые Плиний Старший, Цельс, Помпоний Мела, Колумелла.

Яркую, но тенденциозную характеристику литературной деятельности этого периода мы находим у Ювенала, значительная часть жизни которого приходится на I в. н. э., но литературное творчество его относится к следующему периоду, так же как и творчество Тацита и Плиния Младшего.

Из греческих авторов этого периода замечательны историк Иосиф Флавий, оратор Дион Хрисостом, философ Филон и неизвестный автор (псевдо-Лонгин) трактата «О возвышенном».

VI. Приблизительные границы шестого периода римской литературы — от провозглашения императором Нервы (96 г.) до прихода к власти Септимия Севера (193 г.). Надо иметь, однако, в виду, что в этот период продолжали свою деятельность некоторые писатели, начавшие ее в предыдущий период, как, например, Марциал и Плиний Младший, так что отнесение их целиком к какому-нибудь одному из этих периодов в известной мере условно; тут приходится руководиться тем, к какому из двух периодов относится главная часть их литературного творчества. В период от Нервы до Септимия Севера в римском государстве продолжается экономическое и политическое усиление провинций, а в Италии усиливается аграрный кризис в результате конкуренции главным образом западных провинций. Происходит укрепление императорской власти, расширяется бюрократический аппарат империи и создаются твердые формы римского права.

Наиболее крупными писателями, произведения которых характерны для этого периода (после смерти Домициана) были поэт-сатирик Ювенал, историк Тацит, ритор Плиний Младший. Все они относятся к первой половине этого периода.

ВВЕДЕНИЕ

Ко второй половине этого периода относится творчество африканского уроженца Апулея, которого (вместе с Петронием) следует считать создателем римского романа. Из других писателей этого периода надо отметить ритора Фронтон (наставника императора Марка Аврелия), филолога Авла Геллия и юриста Гая.

Из греческих писателей в этот период жили историк Плутарх (деятельность которого началась в предыдущий период), философы Эпиктет и Марк Аврелий, баснописец Бабрий, историки Арриан и Аппиан, затем Элиан, Герод Аттик и другие. Среди них особенно замечателен Лукиан.

VII. Седьмым, заключительным для римской литературы периодом следует считать время III—V вв. Это период кризиса рабовладельческой системы и перехода государственного строя римской империи к неограниченной военно-бюрократической монархии — доминату. В IV в. Римская империя окончательно делится на две части — Восточную и Западную, а в конце V в. наступает гибель Западной Римской империи.

К первой части этого периода относится деятельность юристов Папиана и Ульпиана и компилятора Солина (хотя отнесение его жизни к III в. лишь предположительно). В IV в. жили поэты Авзоний и Клавдиан; историки Аммиан Марцеллин, Евтропий, авторы «Истории августов»; филологи Сервий и Макробий; ритор Симмах; лексикограф Ноний Марцелл и военный специалист Вегетий. К V в. относятся поэт Аполлинарий Сидоний, историк Орозий и энциклопедист Марциан Капелла.

Из греческих писателей этого периода надо отметить в III в. поэта Оппиана, историков Диона Кассия и Геродиана, философов Плотина и Порфирия, романистов Ксенофонта Эфесского, Гелиодора и Лонга (хотя отнесение этих последних писателей к этому периоду не может считаться бесспорным). К IV в. относится литературная деятельность императора Юлиана, риторов Либания и Фемистия, поэтов Квинта Смирнского и Нонна. Деятельность поэта Паллада и философа Синесия относится к V в.

Переход к средневековой римской литературе знаменуется появлением христианских писателей, начиная уже с III в.



Глава II

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК

1. Латинский язык и другие языки Италии.— 2. Периодизация истории латинского языка.

1. ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК И ДРУГИЕ ЯЗЫКИ ИТАЛИИ

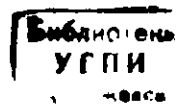
Литературные произведения, созданные в древней Италии и дошедшие до нас, разделяются на две группы: 1) памятники, написанные на латинском языке, и 2) памятники, написанные на греческом языке в греческих колониях на юге Апеннинского полуострова (в «Великой Греции») и в Сицилии. Памятники второй группы изучаются в истории греческой литературы; памятники первой группы исследуются в истории латинской, или римской, литературы.

Население древней Италии принадлежало к различным этническим группам. В основном это были италики, составлявшие в середине первого тысячелетия до нашей эры большинство населения Апеннинского полуострова; этруски, населявшие северо-западную часть Италии; греки, колонии которых были расположены главным образом по берегам южной части Апеннинского полуострова и по юго-восточному побережью Сицилии.

Вопрос о происхождении этрусков и об их языке остается нерешенным. Этрусские надписи, написанные заимствованным у греков алфавитом, не расшифрованы. Однако литературных памятников эти надписи, по-видимому, не заключали.

Из италийских племен наиболее значительными были сабельские племена, умбры, оски и латины. Язык умбров лучше всего известен по так называемым «Игувийским таблицам» — бронзовым доскам, найденным в 1444 г. около нынешнего Губбио. Даты надписей на древнейших досках точно не определены; надписи на позднейших досках, вырезанные латинским алфавитом, относятся, вероятно, к началу I в. до н. э. Язык осков также известен из надписей, как и язык сабеллов, но надписи на этом последнем языке крайне скудны. Все эти памятники письменности не имеют литературного значения: они носят юридический или культовый характер.

Особая роль, которая в истории Италии принадлежала латинской ветви италийских племен, принадлежит и латинскому языку. К 200 г. до н. э. весь Апеннинский полуостров подчиняется власти Рима, основание которого как города в собственном смысле слова относится археологами к VIII в. до н. э. Язык латинян, первоначально рас-



ВВЕДЕНИЕ

пространенный на территории приблизительно в 2000 км², ограниченной с юго-запада Тирренским морем, с северо-востока и севера Апеннинскими горами (где жили умбры, сабиняне, эквы и марсы), с северо-запада Этрурией (за рекою Тибром) и с востока владениями самнитов и осков, становится господствующим языком всей Италии и единственной среди других итальянских языков литературную речь.

Победоносное проникновение латинского языка во все области Италии (а впоследствии и во внеиталийские страны) сопровождалось и внедрением в этот язык некоторых чужеземных элементов. Об этрусских элементах в латинском языке можно сказать очень мало, поскольку этрусский язык еще не расшифрован, но все-таки некоторые слова, прижившиеся в латинском языке, следует на основании документальных данных признать этрусскими. К таким словам относятся *histrio* и *persona* (см. свидетельство Тита Ливия, VII, 2 и подпись под изображением двух людей в масках — *fersu*). Проникновение этих слов (гистрион — актер и персона — маска) вполне естественно в связи с выступлением в Риме этрусских актеров. Этрусскими являются, по всей вероятности, и некоторые названия римских божеств, например Минерва. Само название Рима — *Roma* — также признается этрусским. Этрусское влияние на латинский язык совершенно понятно, так как в VI в. до н. э. в Риме утвердилась династия этрусков — Тарквиниев¹. Тит Ливий (VII, 36), ссылаясь на указания «писателей» (*auctores*), говорит, что еще в конце IV в. до н. э. «дети римлян обучались обычно этрусской грамоте, как теперь [т. е. во времена Августа] греческой». В этом свидетельстве должна быть доля правды. Очень вероятно, что при знании нами этрусского языка можно было бы проследить значительное влияние его на латинскую речь.

Воздействие греческого языка на латинский хорошо засвидетельствовано и началось очень рано. Культурно-торговые сношения с греческими (главным образом дорийскими) колониями начались уже в отдаленную историческую эпоху, что находит подтверждение среди других исторических данных и в данных языка — в фонетических особенностях передачи греческих слов в соответствии с древнейшим латинским экспираторным ударением на начальном слоге и с ослаблением или синкопированием благодаря этому ударению следующих безударных слогов слова. Не говоря уже о заимствовании и латинизации собственных греческих имен (*Tarentum* при греческом *Τάρας*, *Tarantum*, *Agrigentum* при *Ἀκράγας*, *Ἀκράγαντος*, *Massilia* при *Μασσαλία*, *Aleria* при *Ἀλλία* — колония на острове Корсике, *Hercules*, или в древнейшей форме *Hercles*, при *Ἡρακλῆς*, *Pollux*, или в древнейшей форме *Polluces*, при *Πολυδαῦχος*, *Ulixes* при *Ὀδυσσεύς*), мы находим в латинском языке такие греческие слова, которые совершенно вжились в него и уже не сознавались как иноземные заимствования: *machina* при дорийском *μαχανή*, *gubernare* при *κυβερνᾶν*, *purpura* при *πορφύρα* и т. д.² Особенно интересны те заимствования из греческого языка, которые указывают на древние культурные связи между греческими колониями и Лацием. На очень раннее проникновение культуры оливы в Италию указывает слово *oliva* из греческого *ἐλαία*; на торговые сношения между греками и латинянами — такие слова как *hemina* при греческом *ἥμινα* (мера объема), *talentum* при *τάλαντον* (мера веса и денежная единица). Надо, однако, заметить, что и греки в свою очередь заимствовали у латинян слово *libra*, обратившееся в *λίτρα* (в историческое время — название сицилийской монеты).

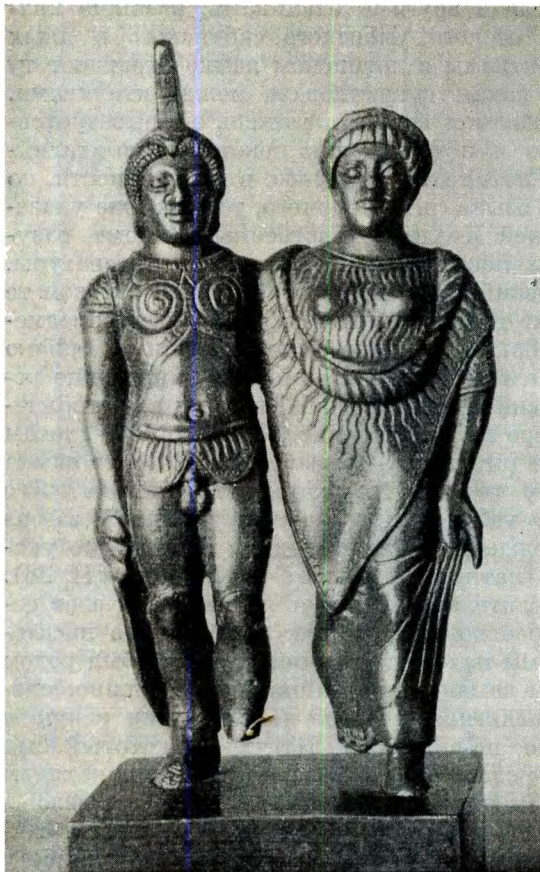
¹ См. Н. А. М а ш к и н. История древнего Рима. М., 1949, стр. 96 и 107.

² Ср., например у Лукреция, избегающего употребления иностранных слов, *gubernas* (I, 21), *machina* (IV, 906) и др.

Находясь в теснейшем общении с другими италиками, римляне приняли в свой язык много слов из осского, умбрского, сабинского и иных италийских языков. Такие диалектизмы в латинском языке отражают ту культурно-историческую связь, какая существовала между италиками. Воздействие латинского языка на языки прочих италиков было, безусловно, чрезвычайно велико и повело к исчезновению некоторых из италийских языков и замене их языком латинским не только в письменности, но и в живой речи; что же касается языка литературного, то, как уже указано, латинский язык стал в древней Италии единственным (кроме, разумеется, языка греческого в италийских колониях) языком литературы. В свой собственный состав латинский язык принимал главным образом те слова и формы речи, каких ему не хватало и какие обозначали те предметы и выражали те понятия, с которыми римляне были не знакомы; однако в латинском языке мы находим и такие диалектизмы, проникновение которых в настоящее время объяснить какими-либо культурно-историческими причинами по меньшей мере затруднительно. К такого рода словам относятся, например, слова вроде *fur* (вор), — слово, проникшее из языка осков и восходящее к греческому *φύρ* на что указывает фонетика этого слова; такие слова, как *turpis*, *vafer*, *catus* (= *acutus* у Энния), *cascus* (= *vetus*). На сабинское происхождение двух последних слов прямо указывает Варрон в сочинении «О латинском языке» (VIII, 46 и VII, 28). В ряде случаев проникновение в литературную речь нелатинских слов достаточно хорошо объясняется происхождением того или другого писателя³. Так, например, слово *catus* мы находим у Энния, который был родом из Рудий, где говорили на осском языке; *sterpusculum* — излюбленное слово Овидия, уроженца области пелигнов, которое впоследствии вошло в широкий обиход; *basium* введено, по-видимому, Катуллом, который был родом из транспаданской Галлии; слово *vafer* с нелатинским *f* мы находим впервые у авторов кампанской комедии — ателланы и т. д. Другое дело — такие слова, как, например, осское название особой одежды *trabea*; сакральные слова: *supercus* (латинское *sacerdos*), засвидетельствованное у Вергилия, *dirus* (*dira* = *mala*), *februm* (= *purgamentum* — см. Варрон, «О латинском языке», VI, 13), откуда произошло *februarius*, и т. д. Заимствовал латинский язык и названия некоторых животных, например, *ursus*, на луканское происхождение которого указывает Варрон (V, 100), осско-сабельское *bufo* (жаба), осское *lupus* (в латинском языке ожидалось бы * *lucus*). В связи с развитием у латинян сельского хозяйства находятся, по всей вероятности, заимствования таких слов, как умбро-сабинское название молодого быка — *iuvenus*, *turdus* (дрозд), проникшее из греческого языка через посредство осков слово *cupa* (рукоятка инструмента для выдавливания оливкового масла), кампанское обозначение кривого садового ножа *scula* (= *falx*), засвидетельствованное Варроном (V, 137) и продолжающее жить в итальянском *segolo*. Наряду со словами в исконной латинской фонетической форме мы находим в латинском языке формы слов, свойственные другим италийским языкам, причем часто эти нелатинские формы получают преобладание в литературной речи. Сюда относятся такие «сабинизмы», как *Capitolium* (при *Capitodium*), *lacrima* (при древнелатинском *dacruma*), *lingua* (при *dingua*). Проникают в литературный язык и такие народные формы, в которых дифтонг *ai* перешел в *o*: *clostrum*, *codex*, *colis* и т. д.

Если же мы обратимся к языку позднейших памятников римской литературы, то увидим непрерывное обогащение латинского языка заимст

³ Большинство латинских писателей по своему происхождению не были римлянами.



*Мужчина и женщина этруски
Бронзовая статуэтка италийской работы
VI—V в. до н. э.*

лиями из других языков, с которыми знакомились римляне при расширении границ своего государства.

2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА

Подобно другим языкам, латинский язык все время своего существования непрерывно рос и изменялся. Для того чтобы лучше представить себе развитие латинского языка, мы можем разделить его жизнь на несколько периодов, связанных с периодами развития общественно-политической жизни Рима. Стадии развития латинского языка можно наметить следующие: 1) ранняя латынь, которой пользовались древнейшие писатели — Ливий Андроник, Невий, Плавт, Энний, Катон Старший и другие⁴; 2) республиканская латынь, до времен Цицерона; 3) классическая латынь, латынь «золотого века», от Цицерона до Августа; 4) латынь «серебряного века», т. е. латинский язык, на котором писали авторы времен ранней Империи; 5) поздняя латынь, до падения Западной

Империи; 6) средневековая литературная латынь, существовавшая как особый литературный язык в странах Европы наряду с отдельными национальными литературными языками.

После эпохи Возрождения живой литературный латинский язык отмирает, а «возрожденная» по цicerоновским нормам латынь становится по преимуществу языком научной литературы.

На всем протяжении своего существования живой литературный язык сильно изменялся и в своем лексическом, и в своем синтаксическом составе, и в области фразеологии и стилистики. Так, например, язык Плавта очень сильно отличается от языка Цицерона; поздняя латынь Аммиана Марцеллина (IV в. н. э.) — от языка Тацита (I—II вв. н. э.). Что же касается средневековой литературной латыни, то она, в самом своем составе чрезвычайно разнообразная и даже причудливая, ярко отражает национальные и индивидуальные черты отдельных авторов.

Для характеристики первой намеченной нами стадии развития латинского литературного языка — ранней латыни — богатый материал

⁴ Этому раннему периоду предшествовал период долитературной латыни, которого в истории римской литературы мы не касаемся.

дают комедии Плавта. В них мы находим и литературный и вместе с тем живой разговорный язык, который считали образцовым латинским языком и Цицерон («Об ораторе», III, 12, 14) и Плиний Младший («Письма», I, 16, 6), т. е. писатели, отделенные один от другого полуторавесковым промежутком. Язык Плавта во всей своей полноте не стал, однако, ни языком классической прозы, ни языком эпоса. Это — язык разговора (драматического диалога), значительно менее условный, чем язык других литературных жанров, с которыми мы знакомы по произведениям Цицерона, Вергилия и других представителей классической латинской литературы. Разговорные обороты, которыми полон язык Плавта, применялись тем же Цицероном в живой речи, но ни в своих ораторских произведениях, ни в теоретических сочинениях Цицерон их не допускал, как не допускали их и позднейшие представители серьезной художественной литературы.

Вторую стадию развития латинского литературного языка — республиканскую латынь до времен Цицерона — мы знаем гораздо хуже ранней латыни, потому что до нас дошло очень мало текстов, которые могли бы сколько-нибудь полно осветить эпоху от Плавта до Цицерона в отношении языка. Но если эпоха Плавта и Энния создала язык литературной поэзии, то этот второй период создал язык литературной прозы, родоначальником которой является Катон Старший, одно из произведений которого — трактат «О сельском хозяйстве» — сохранилось до наших дней, хотя, по-видимому, и в несколько подновленном в отношении языка виде. О том, что в этот период создавалась литературная проза, свидетельствуют как дошедшие до нас отрывки из речей Гракхов, так и риторический трактат неизвестного автора (Auctor ad Herennium), написанный во время юности Цицерона. Этот период, заканчивающийся первыми десятилетиями I в. до н. э., отмечен в истории Рима напряженной борьбой между аристократической партией сената и партией демократической — борьбой между Суллой и Марием.

Следующий период — «золотой век» латинского литературного языка — известен нам очень хорошо. Благодаря тому что до нас дошли и



Стрелок-этруск

*Бронзовая статуэтка италийской работы
VI—V в. до н. э.*

произведения Цицерона, и записки Юлия Цезаря, и произведения таких поэтов, как Лукреций, Катулл, Вергилий, Гораций, и других крупных представителей римской литературы, мы можем видеть, какого совершенства достиг латинский язык и в области поэзии и в области прозы. Если Лукреций, который был современником Цицерона, и жалуется еще на «нищету родного языка» для выражения философских понятий, если его яркая речь (и в морфологии, и в словоупотреблении, и в синтаксисе) еще не отлилась в совершенные и законченные формы, то в произведениях Цицерона, Цезаря и поэтов эпохи Августа мы находим уже тот классический язык, который, при всем разнообразии его у отдельных писателей, становится на будущие времена *нормой* латинского языка, нормой, которой старались следовать писатели эпохи Возрождения и которая остается основой и для новой латыни. Этот литературный латинский язык, который мы называем «языком Цицерона», завоевал свои права далеко не без борьбы. Убедительным свидетельством тому служит проза современника и противника Цицерона — историка Саллюстия, старавшегося внедрить в литературную речь архаические формы языка, по всей вероятности, на основании языка Катона и других ранних прозаиков. Но победа в этой борьбе осталась на стороне писателей, стремившихся, подобно Юлию Цезарю, к ясности и простоте латинской речи.

Жизненность латинского языка «золотого века» римской литературы сказалась в том, что он, будучи не искусственно созданной, а естественной литературной речью, продолжал развиваться и в эпоху «серебряного века», достигнув огромной силы и красоты у Тацита и Ювенала, а у Марциала — свободного изящества и остроты. Очень характерным произведением этой эпохи является роман Петрония — его «Сатурны» (известные под неправильным заглавием «Сатирикон»). Этот памятник, дошедший до нас только в очень небольшой части, исключительно ценен для изучения живого латинского языка, для изучения той «вульгарной» латыни, которая послужила основой для романских языков и которую мы знаем очень мало по памятникам более ранней письменности. В своем романе Петроний заставляет действующих лиц, принадлежащих по своему происхождению к низам общественной лестницы, говорить их обычным разговорным языком со всеми своеобразными особенностями лексики и синтаксиса. Латинская речь этих действующих лиц уже совершенно не похожа на литературный язык Цицерона или Тацита и дает нам возможность видеть, что со времен Плавта латинский язык народа претерпел коренные изменения, но вместе с тем именно благодаря сопоставлению Петрония с Плавтом специалисты-филологи имеют возможность проследить историю развития живой народной латыни на протяжении почти трех столетий. Кроме того Петроний в речи выведенного в его «Сатурах» ритор дает образец и чистого литературного языка своей эпохи.

Язык поздней литературной латыни продолжает развиваться, следуя в общем тем нормам, какие установились в «золотом» и «серебряном» веках, но отнюдь не стесняя себя отказом от новых достижений и добытых ранее богатств латинской речи. Произведения писателей позднего периода сильно разнятся между собой по стилю; так, например, в произведениях ритор Фронтоня ясно видна его любовь к архаизации латинского языка, тогда как его современник Авл Геллий пишет языком простым и ясным, стремясь в своих «Аттических ночах», большая часть которых посвящена филологическим вопросам, передать стиль безыскусственного рассказа или анекдота. Исключительный интерес для истории литературной латинской речи этой эпохи представляют сочинения соотечественника Фронтоня — Апулея, писавшего изысканным, нарядным и вместе с тем чрезвычайно

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК

живым языком. По его произведениям, главным образом по его «Метаморфозам», прекрасно видно, какого богатства, яркости и разнообразия достиг латинский язык ко второй половине II в. н. э.

В дальнейшем своем развитии литературный латинский язык чрезвычайно мало отражает те явления, какие происходят в живом разговорном языке. Проникновение этого языка в латинскую письменность можно, однако, проследить по эпиграфическим памятникам и по переводам произведений христианской литературы уже со II в. н. э., в которых применялась «вульгарная» латынь для того, чтобы сделать эти произведения доступными для широких масс. Одним из такого рода памятников является частично дошедший до нас ранний перевод библейских текстов, так называемая *Itala*.

Кроме произведений авторов, сочинения которых подлежат рассмотрению в истории римской литературы и являются для нас предметом изучения как относящиеся преимущественно к произведениям литературы художественной, ценные сведения по истории латинского языка мы находим и в сочинениях древних римских филологов, или «грамматиков». Крупнейшими из них были: Марк Теренций Варрон, старший современник Цицерона; Веррий Флакк, живший при Августе; Проб и Плиний Старший (I в. н. э.); упомянутый уже Авл Геллий и Великий Лонг (II в. н. э.); Марий Плотий Сацердот (III в. н. э.); Ноний Марцелл, Донат, Харисий и Диомед (IV и V вв. н. э.) и Присциан, крупнейший филолог VI в. н. э.

Произведения латинской литературы написаны латинским алфавитом, который лишь в немного измененном виде существует и в наши дни. Латинский алфавит представляет собою видоизмененный греческий в так называемой халкидской его разновидности. Греки из Халкиды на острове Эвбее уже в глубокой древности вывели колонии в Кумы и в другие места на побережье Кампании. Так как эти колонии играли очень значительную роль в торговых сношениях с Италией и, в частности, с Лацием, а также и в распространении всей многообразной греческой культуры на Апеннинском полуострове, то совершенно понятно и заимствование римлянами у этих халкидских соседей искусства письма и алфавита. Но вследствие того, что звуки латинского языка не вполне совпадали со звуками греческого, в окончательной своей форме латинский алфавит несколько отошел от греческого, а кроме того, немного изменилась и форма отдельных букв. Первое отступление от греческого алфавита выразилось в исчезновении знаков трех греческих придыхательных согласных⁵. Из других видоизменений следует отметить введение особого знака для звука *Г* — *G* (вероятно, ок. 300 г. до н. э.), который, однако, в некоторых случаях обозначался в силу традиции по-старому: *C* (в сокращениях собственных имен).

⁵ Латинская буква *x* (кс) совпадает со знаком халкидского алфавита для обозначения того же сочетания согласных.



Глава III

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Изучение римской литературы в древности.— 2. Занятия римской литературой в средние века.— 3. Работы по римской литературе в эпоху Возрождения. Труды ученых XVI в.— 4. Работы по римской литературе в XVII—XVIII вв. и в новое время.— 5. Изучение римской литературы в СССР

1. ИЗУЧЕНИЕ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ДРЕВНОСТИ

Изучение литературных произведений в Риме началось, по словам Светония («О грамматиках», 2), с того времени, как в Рим приехал греческий ученый *Кратет* в качестве посла пергамского царя Евмена II. Это было в период между второй и третьей Пуническими войнами, около 169 г. до н. э. Кратет вынужден был задержаться в Риме, потому что сломал себе ногу, и в течение своего пребывания там стал читать публичные лекции на филологические темы. Кратет и его ученик, стоик *Панетий*, с которым был дружен Сципион Эмилиан, равно как и другие почитатели Кратета, пробудили у римлян живой интерес к литературоведению.

Светоний сообщает, что некий *Гай Октавий Лампадион* (во второй половине II в. до н. э.) занимался критикой текста древних латинских поэтов, причем главным образом сочинений Невия, «Пуническую войну» которого Лампадион разделил на семь книг. О работе его над текстом «Анналов» Эния мы знаем по сообщению Авла Геллия («Аттические ночи», XVIII, 5, 11).

Однако первым настоящим римским литературоведом следует считать плодovitого поэта конца II и начала I в. до н. э. *Луция Акция*. Из тех крайности скудных отрывков, какие дошли до нас от литературоведческих сочинений этого драматурга¹, видно, что он занимался историей и греческой и молодой римской литературы. Так, в книге I своих «Дидакалий» Акций, по свидетельству Авла Геллия, доказывал на основании анализа содержания гомеровских поэм и произведений Гесиода, что Гесиод был старше Гомера («Аттические ночи», III, 11, 4). Занимался Акций и вопросами римской литературной хронологии (см. Цицерон, «Брут», § 72 и 229) и, по всей вероятности, положил начало исследованию комедий Плавта и установлению подлинности или подложности отдельных из них (Авл Геллий, там же, III, 3, 9).

Литературоведением занимались и другие римские поэты, современники Акция. Следы таких занятий видны в «Сатурах» *Луцилия* (фр. 341, 437 и др. по изд. Маркса), который живо интересовался филологическими вопросами, равно как и другие члены кружка Сципионов. В «Сатурах» Луцилия имеются и следы литературной полемики, которая в его време-

¹ Основные отрывки сохранены Авлом Геллием (III, 11, 4; III, 3, 9) и Цицероном («Брут», § 72).

на, видимо, уже получила достаточное развитие, что явствует из прологов комедий Теренция, вступавшего в принципиальные споры с *Лусцием Ланцувином* (см. прологи к комедиям «Евнух», «Андрианка», «Самоистязатель» и «Формион»).

Среди римских литературоведов после Акция и до Марка Теренция Варрона следует отметить деятельность *Порция Лицина*, от произведений которого дошло несколько трохаических стихов, посвященных истории римской литературы и сохранных нам Авлом Геллием (XVII, 21, 45) и Светонием («Жизнь Теренция», 1) и *Волкация Седигита*, написавшего стихотворную книгу «О поэтах», в которой он, между прочим, устанавливал, по примеру греческих филологов, канон римских драматургов, писавших «комедии плаща», и отводил первое место Цецилию, второе — Плавту, а Теренцию всего лишь шестое из десяти.

Но крупнейшим из римских литературоведов ранней эпохи республики следует, по всем данным, считать специалиста-филолога *Луция Элия Преконина Стилона*. Оценка деятельности Элия Стилона очень затруднена, однако, тем, что от его сочинений, как и от работ его предшественников-филологов, остались только разрозненные фрагменты. Тем не менее значение его деятельности видно по сочинениям таких крупных римских ученых, как Марк Теренций Варрон и Цицерон, которые оба были его учениками. Стилон занимался толкованиями древних гимнов жреческой коллегии салиев (см. Варрон, «О латинском языке», VII, 2) и исследованием комедий Плавта, признав из всех, ходивших под его именем, подлинными лишь двадцать пять пьес (см. Авл Геллий, III, 3, 12). Исследованием литературных произведений занимались и современники Элия Стилона — *Аврелий Опилл* и *Сервий Клодий*².

Изучение римской литературы, основанное которому было положено перечисленными выше авторами, достигло значительных успехов во времена Цицерона. Крупным литературоведом этой эпохи был в Риме старший современник Цицерона, ученый-энциклопедист *Марк Теренций Варрон Реатинский*. От всех литературоведческих сочинений Варрона, как и от большинства его произведений, сохранились лишь заглавия и ничтожное количество разрозненных фрагментов, по которым весьма трудно судить не только о содержании его историко-литературных работ, но в некоторых случаях даже и об их темах. Заглавия нескольких из этих сочинений, перечень которых дан Иеронимом³, остаются загадочными. Однако по свидетельствам древних авторов (главным образом по свидетельствам Авла Геллия — III, 3 и XVII, 21) можно составить понятие о трудах Варрона и даже о методах его работы⁴.

У Цицерона не было специальных историко-литературных сочинений, кроме его истории античного красноречия, изложенной в диалоге «Брут». Но что касается отдельных вопросов стилистики, композиции литературных произведений (преимущественно ораторских), то об этом много замечаний рассеяно по разным произведениям Цицерона. В речи «За поэта Архия» Цицерон говорит о важности литературных произведений как для общества, так и для отдельных людей.

По сочинениям Цицерона, в частности по его письмам, видно, что литературные проблемы в его время занимали не одних только специалистов, но живо интересовали и более широкие круги римского общества.

² Сведения о филологах этой эпохи и фрагменты их сочинений собраны у Фунайоли (Funaioli, Grammaticae Romanae fragmenta. Лейпциг, 1907).

³ См. Фунайоли. Указ. соч., стр. 182.

⁴ О филологических работах Варрона см. в книге «Античные теории языка и стиля» (ЛИФЛИ, 1936).

Не говоря уже о детальной разработке проблем ораторского искусства (трактаты «Оратор», «Об ораторе» и другие), Цицерон затрагивает и общие, философские проблемы творчества, например вопрос о природном даровании и мастерстве⁵, а также принимает участие в полемике между сторонниками старых поэтических традиций и «новыми» поэтами, приверженцами александрийской школы. Переписка Цицерона дает очень интересный материал касательно литературных споров в Риме.

Особенно важны для освещения литературоведения этой эпохи произведения двух современных Цицерону поэтов, принадлежавших к различным школам, — Лукреция и Катулл. В лице Лукреция, одного из крупнейших поэтов мировой литературы, мы встречаем сторонника серьезного поэтического творчества, считающего поэзию сильнейшим средством для проникновения в сущность законов мироздания, но вместе с тем, несколько не принижающего ее и не сводящего ее значения до степени вспомогательного дидактического приема.

В «золотом веке» римской литературы теоретические проблемы ее становятся предметом специальных обсуждений и исследований. Дошедшее до нас послание *Горация* к Пизонам, или «Искусство поэзии», хотя и не представляет собою систематической теории поэзии, но, как и некоторые другие его произведения, особенно же послание к Августу, содержит ряд наставлений, показывающих большую глубину опыта и знаний в области литературоведения, накопленных римлянами к этому времени. В самих поэтических произведениях этой эпохи встречаются (например, в оправдательном послании Овидия к Августу — «Тристии», II) рассуждения на литературоведческие темы. Подобные же рассуждения находим мы и у позднейших римских писателей (например, в «Сатурах» Петрония).

Крупнейшим произведением по теории литературы было произведение «Об образовании оратора» *Марка Фабия Квинтилиана*; в этом трактате (в книге X) дан очень интересный обзор греческой и римской литературы. Весьма важное значение имеет для истории ораторского искусства «Диалог об ораторах» *Тацита*.

Ко времени Квинтилиана относится и деятельность *Марка Валерия Проба*, о котором мы знаем главным образом по биографии, написанной Светонием. Деятельность Проба направлена была преимущественно на критику текста и подготовку доброкачественных изданий отдельных римских авторов. Мы знаем о его изданиях Лукреция, Вергилия, Горация, но в какой мере отразилась работа Проба на имеющихся в наше время текстах римских авторов, решить невозможно.

Специально биографиям римских писателей были посвящены некоторые сочинения Светония, находившегося в дружеских отношениях с Плинием Младшим, в письмах которого много места отводится литературным вопросам.

Из писателей-филологов позднейших времен следует отметить *Авла Геллия*, жившего во II в. н. э. Его «Аттическим ночам» мы обязаны тем, что сохранились многие отрывки из утраченных римских авторов. Одна из наиболее ценных для истории и теории античной литературы глав этого сборника — рассуждение о переделке Цецилием Стацием комедии Менандра (II, 23).

В более поздние времена деятельность римских «грамматиков» в области литературоведения сосредоточивается преимущественно на толковании произведений отдельных авторов. *Асконий Педян* (III в.) составля-

⁵ См., например, письмо Цицерона к его брату Квинту от февраля 54 г. до н. э.

ет комментарии к речам Цицерона, *Элий Донат* занимается комментированием Теренция и Вергилия, которым занимается и *Сервий* (оба жили в IV в.); *Макробий* (начало V в.) дает любопытный комментарий к «Сну Сципиона» Цицерона и сообщает много ценного материала из древнеримской литературы; большой интерес представляет и его исследование текста Вергилия.

Особо надо отметить христианского ученого *Иеронима* (ок. 348—420 гг.), который в своей переработке хроники Евсевия дает много хронологических указаний по римской литературе. Хотя сообщения Иеронима и очень сжаты, а в приводимых им датах много недостоверного, но тем не менее он дает ценный материал, часто восходящий к утраченным сочинениям Светония и других античных историков, на что указывает и сам Иероним (Предисловие к хронике, 3).

Начиная с Гая Октавия Лампадиона, многие римляне занимались приведением в порядок текста древних писателей, писали к ним комментарии и т. д. Огромное большинство этих работ остается нам не известным, но кое-что от них сохранилось. Так, например, сохранились стихотворные изложения содержания комедий Плавта, дидактики к его «Псевдолу» и «Стиху», комментарии и схолии к Теренцию, Цицерону, Вергилию, Горацию, Ювеналу и некоторым другим авторам. По большей части эти схолии относятся к очень поздней эпохе и часто приписаны в рукописях каким-нибудь знаменитым комментаторам, которым, однако, не принадлежат. Наряду со значительным количеством неточностей и даже нелепостей, схолии дают и ценный материал для понимания текстов, которые они комментируют.

2. ЗАНЯТИЯ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Нашествия варваров в V—VI вв. н. э. вызвали оживление интереса к произведениям античных авторов в Италии, старавшейся сохранить свою национальную культуру, которой угрожала гибель от иноплеменников. Но христианская церковь, влияние которой все больше и больше усиливалось, отнюдь не благоприятствовала сохранению и изучению сочинений древних авторов. С точки зрения рядовых деятелей христианской церкви, языческие авторы годились только для школьных целей и для извлечения из них материала в защиту христианских догматов. Однако у виднейших представителей христианской церкви была очень важная причина изучения классических латинских авторов в первые века распространения и укрепления христианства. «Отцы церкви» — Лактанций, Амвросий Медиоланский (Миланский), Иероним, Августин — изучали произведения классических римских авторов не только из интереса к их творениям, но и для того, чтобы совершенствовать свои проповеди в угоду слушателям, привыкшим к красноречию языческих ораторов. А после падения в 476 г. Западной Римской империи наиболее культурные представители христианской церкви проявляли особую заботу о сохранении памятников римской литературы. Особенно важна в этом отношении деятельность видного государственного деятеля Остготского королевства и ученого *Кассиодора* (ок. 480 — ок. 575 гг.), основателя монастыря в южной Италии, где, согласно его указаниям, переписывались латинские рукописи, и *Исидора Севильского* (ок. 570—636 гг.), автора «Начал» (*Origines*), — своего рода энциклопедии классической учености⁶. Оба эти деятеля стремились примирить античную культуру с христианством.

⁶ См. История средних веков, т. I, гл. X. М., Изд-во АН СССР, 1938.

В VII в. важную роль в сохранении остатков античной культуры сыграли ирландские миссионеры. Еще в V в. в Ирландию бежали из Галлии последние представители античной образованности, знакомые не только с римской, но и с греческой литературой. Преемники их, переправляясь из Ирландии на континент и основывая там монастыри, насаждали в них научные знания и заботливо относились к памятникам классической литературы, поощряя монахов к переписыванию рукописей.

Но, вообще говоря, период средневековья от VI в. до конца XI в., т. е. до расцвета схоластики, был временем упадка классической филологии. Средневековый Запад этих времен знакомился с античностью почти исключительно по сочинениям *Марциана Капеллы* (V в. н. э.), составившего энциклопедию «семи свободных искусств» под аллегорическим названием — «Бракосочетание филологии и Меркурия» (*De nuptiis Philologiae et Mercurii*), Кассиодора, философа *Бозция* (470—524 гг.)⁷ и Исидора Севильского.

Несмотря, однако, на упадок классической филологии в средние века, эта наука обязана средневековым монастырям сохранением многих произведений классической литературы, которые усердно переписывали в монастырских скрипториях. Наиболее выдающиеся мастерские письма находились в Италии в Монте-Кассино (основан был этот монастырь *Бенедиктом Нурсийским* в 529 г.) и Боббио (основанном в 612 г. ирландским миссионером ученым монахом Колумбаном), в Германии — в Санкт-Галленском монастыре (в нынешней Швейцарии у Боденского озера, основан учеником Колумбана Галлом в 614 г.), во Франции — в Корби (основан в 662 г.)⁸.

В конце VIII в. Карл Великий (742—814) приглашает из Италии, Британии и Ирландии ученых и всячески старается распространять просвещение. Главным деятелем этого «Каролингского возрождения» был англосаксонский монах *Алкуин* (735—804 гг.), которого Карл убедил перейти к нему на службу, поставил во главе придворной школы и сделал аббатом Турского монастыря. Алкуин обучал монахов переписыванию рукописей, и благодаря его деятельности сохранились многие памятники античной литературы (сохранению, например, произведений Тацита и Лукреция мы обязаны в конце концов деятельности Алкуина). В каролингских скрипториях тексты переписывались чрезвычайно внимательно и старательно, и работа писцов проверялась лучшими монастырскими учеными. Во времена Карла Великого вырабатывается особый тип очень изящного и удобочитаемого письма, так называемый «каролингский минускул» — родоначальник современного латинского курсива и печатного шрифта. Лучшие списки римских авторов, не считая немногих рукописей более древнего времени, относятся к Каролингскому периоду.

После «Каролингского возрождения» интерес к древним латинским авторам начинает угасать. Наиболее известными остаются Вергилий, которого Данте делает своим путеводителем по Аду и Чистилищу и который считался провозвестником христианства (его «Энеида» и особенно четвертая эклога толковались в средние века аллегорически), Теренций, Овидий, бывший как певец любви излюбленным поэтом трубадуров, Гораций, Лукан,

⁷ Кроме знаменитого в средние века «Утешения философией», от Бозция сохранились, между прочим, комментарии к «Топике» Цицерона.

⁸ Ценнейшая коллекция рукописей Корбийского монастыря имеется в Ленинградской публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. См. О. Д о б и а ш - Р о ж д е с т в е н с к а я. История Корбийской мастерской письма в годы 651—830 по ленинградским кодексам. Л., Изд-во АН СССР, 1934, и е е ж е: История письма в средние века. Изд. 2. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1936.

Стаций, Ювенал и Персий. Часто цитируются риторические и философские произведения Цицерона и его «Сон Сципиона», текст которого был сохранен Макробием.

3. РАБОТЫ ПО РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

ТРУДЫ УЧЕНЫХ XVI в.

В противоположность большинству северных стран Европы, в которых в период средневековья единственными носителями образованности были монастыри и духовенство, в Италии были и светские люди, продолжавшие интересоваться античной литературой. Этот интерес развивается и крепнет вместе с развитием городской буржуазной культуры, вступающей в борьбу с культурой феодальной. В Италии городская культура достигает расцвета уже в XIV в. Это широкое культурное движение, которое носит название Ренессанса, или Возрождения, привело к перевороту во всех областях культуры и, в частности, возбудило живой интерес к античной литературе. Ко времени Возрождения появилась острая потребность в античных текстах, которые были или недоступны для большинства мирян, так как хранились в монастырях, или же были переписаны невежественными переписчиками со множеством ошибок, потому что искусство письма в XIV—XV вв. очень упало сравнительно с превосходным мастерством Каролингского периода. И вот появляются страстные собиратели списков произведений античных авторов, с неослабным и живым интересом относящиеся к древним латинским писателям. Этот период мощного возрождения античности связан в первую очередь с именами Петрарки (1304—1374 гг.) и Боккаччо (1313—1375 гг.), которые были ревностными коллекционерами текстов римских авторов. Из многих других деятелей этого периода в Италии следует также упомянуть гуманиста Томмазо Парентучелли, ставшего в 1447 г. римским папой под именем Николая V и обогатившего рукописями латинских авторов Ватиканскую библиотеку, Никколо Никколи (1363—1437 гг.), Поджо Браччолини (1380—1459 гг.), хорошо известного своими «Фацетиями», и двух крупных меценатов — Козимо и Лоренцо Медичи (правителей Флоренции в 1434—1464 и в 1469—1492 гг.), создателей знаменитой Лаврентийской библиотеки. Петрарке наука обязана находкой речи Цицерона за поэта Архия и писем Цицерона к Аттику, брату Квинту и Марку Бруту; Боккаччо нашел списки Тацита, Варрона, Марциала, Авзония и др.; главными находками Браччолини были 20 комедий Плавта, Лукреций, 10 речей Цицерона, Квинтилиан, Витрувий, I—VI книги «Апналов» Тацита и др. Среди выдающихся ученых итальянского Возрождения следует упомянуть Анджеоло Полициано (1454—1494 гг.) и Пико-делла-Мирандола (1463—1494 гг.). К этому же периоду относится и деятельность знаменитого издателя античных текстов Альда Мануция (1449—1515 гг.). Так же как Данте, «последний поэт средневековья и в то же время первый поэт нового времени»⁹, Петрарка и Боккаччо не только преклоняются перед древнеримской литературой, но на основе ее создают язык литературной прозы и поэзии. «Для итальянцев времен Возрождения,— говорит академик М. М. Покровский,— деятели и события римской империи были как бы современными: мы знаем, например, что арестованные убийцы тирана Александра Сфорца вдохновились описанием заговора Катилины, а еще раньше Кола ди Риенци, под влиянием изучения римской юрис-

⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. 2, стр. 327.

ВВЕДЕНИЕ

пруденции, сделал попытку возродить римский народный трибунал»¹⁰ и т. д. Это живое отношение к древности составляет основу изучения римской литературы в Италии эпохи Возрождения, но строго научный подход к изучению античной литературы далеко еще не выработался в это время; в частности, приемы критики текста остаются чрезвычайно произвольными.

В XVI в. изучение античной литературы сосредоточивается преимущественно во Франции и Нидерландах, а критическая работа над текстами связана в первую очередь с именами таких ученых, как Эразм Роттердамский (1466—1536 гг.), Гильом Бюде (1467—1540 гг.), Иосиф Скалигер (1540—1609 гг.), Липсий (1547—1606 гг.) и Казобон (1559—1614 гг.). Главный интерес во Франции возбуждает римская литература: Роберт Этьенн (1531—1598 гг.), Дени Ламбин (1520—1572 гг.), Марк Мюре (1526—1585 гг.) отдают ей все свои научные силы и создают ряд изданий и комментариев, полных ценными и весьма живыми толкованиями текста. Такие издания, как «Гораций» и «Лукреций» Ламбина, до наших дней остаются чрезвычайно важными для толкования этих поэтов, несмотря на произвольный порою подход к изучению текстов, который, однако, продиктован настоящим живым отношением к древним писателям¹¹.

4. РАБОТЫ ПО РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В XVII—XVIII вв. И В НОВОЕ ВРЕМЯ

В XVII и XVIII вв. появляется большое количество изданий текстов римских авторов, среди которых особенно важны работы английского ученого Ричарда Бентли (1662—1742 гг.), обладавшего поразительным критическим чутьем и известного в науке римской литературы изданиями Горация и Теренция¹².

Научная критика текста, заключающаяся в двух основных процессах — *рецензии*, т. е. выборе из всех наличных списков того или другого текста лучшего чтения, и *эмендации*, т. е. уничтожении ошибок, попадающихся даже в лучших рукописях, — получила свое настоящее начало в «Трактате о дипломатике» (*De re diplomatica*) бенедиктинца Жана Мабильона (1632—1707 гг.), происходившего из крестьян французской провинции Шампани. Приложение же критического метода к классическим текстам развивалось главным образом благодаря немецким ученым — Ф. А. Вольфу (1759—1824 гг.), Иммануилу Беккеру (1785—1871 гг.) и Карлу Лахманну (1793—1851 гг.). Но работы этих ученых, несмотря на всю их значительность, страдают гиперкритикой, т. е. чрезмерным недоверием к рукописной традиции; а основной ошибкой Беккера было то, что он считал древнейшие списки непременно за лучшие, тогда как поздние списки могут восходить (и часто восходят) к более надежному, но утраченному оригиналу, а древнейшие основываться на худших текстах. Работы Вольфа и Лахманна по Гомеру подверглись в свое время весьма убедительной критике русского ученого Ф. Ф. Соколова¹³, а произвольные «исправления» (конъектуры) Лахманна в его, вообще говоря, весьма ценном издании поэмы Лукреция, теперь в большинстве случаев отвергаются.

¹⁰ Акад. М. М. Покровский. История римской литературы. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1942, стр. 15.

¹¹ См. История греческой литературы, т. I. М., Изд-во АН СССР, 1946, стр. 53.

¹² См. там же, стр. 53—54.

¹³ «Гомеровский вопрос». — «Журнал Министерства народного просвещения» 1866, № 11 и 12.

Но в наши дни работа над текстами римских авторов поставлена на лучшие основания, и критика текста большинством ученых-классиков производится на принципах консервативного, а не конъектурального подхода к рукописям, т. е. стремится как можно бережней относиться к рукописной традиции.

История римской литературы, которой занимаются ученые-классики со времен Возрождения, в настоящее время основательно разработана. Первый труд, который можно назвать «Историей римской литературы», появился сравнительно очень поздно, а именно в 1697 г. Это сочинение Иоанна Альберта Фабриция, вышедшее в Гамбурге. Называется оно «Латинская библиотека» (*Bibliotheca Latina*) и представляет собой хронологический список латинских авторов с их биографиями, указанием их сочинений, перечнем их изданий и переводов на новые языки. Несмотря на отсутствие в этом сочинении какой бы то ни было научной системы, оно настолько значительно как сводка материала, что несколько раз переиздавалось вплоть до 1858 г. Современник Фабриция Функций в сочинении «О происхождении, детстве, юности, зрелом возрасте, приближающейся старости, бодрой старости и о бездейственной и дряхлой старости латинского языка» (*De origine et pueritia, de adolescentia, de virili aetate, de imminente senectute, de vegeta senectute, de inertis ac decrepita senectute linguae latinae*), вышедшем в Гиссене в 1720 г., делает уже попытку систематического изложения развития римской литературы. Как ни фантастичны порою домыслы в шеститомном сочинении Функция и как ни идеалистичны его построения, все же его история римской литературы имеет то значение, что в ней развитие литературы рассматривается в связи с историческим развитием римского народа. В дальнейших трудах по истории римской литературы у Бернгарди (*Grundriss der römischen Literatur*. Галле, 1872), у Риббека (*Geschichte der römischen Dichtung*. Штуттгарт, 1887), у Ламарра (*Histoire de la littérature latine depuis la formation de Rome jusqu'à la fin du gouvernement républicain*. Париж, 1901, и *Histoire de la littérature latine au temps d'Auguste*. Париж, 1907) и у некоторых других авторов видно стремление идти по пути, намеченному Функцием и его предшественниками вроде Марка Антония Сабеллика (ум. в 1506 г.), т. е. рассматривать литературу в связи с развитием умственной, общественной и политической жизни римского народа, но чисто статистическое направление Фабриция нашло себе многих последователей, главным образом в нашем столетии. Особенно это видно в «Истории римской литературы» Шанца, переработанной Гозиусом (т. 1—4, Мюнхен, 1930—1936), которое в этой переработке обратилось в чистый справочник или даже библиографический каталог. То же, в сущности, можно сказать и об «Истории римской литературы» Тейффеля, вышедшей в новой переработке Крöllля и Скутша в 1913—1920 гг. Оба эти издания очень удобны и полезны благодаря чрезвычайно подробно и тщательно подобранным свидетельствам и библиографическим данным, но полноценной историей римской литературы они не могут быть названы.

5. ИЗУЧЕНИЕ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СССР

Занятия римской литературой в России начались, строго говоря, лишь в XVIII столетии, после открытия в конце XVII в. Славяно-греко-латинской академии, из питомцев которой вышли первые профессора древнеклассической литературы в Московском университете — Н. Н. Поповский и А. А. Барсов. В XVIII в. и в начале XIX появляется ряд переводов римских авторов. Отчасти по распоряжению Петра I исполняются переводы

ВВЕДЕНИЕ

Квирта Курция, Горация, Вергилия. Особенно интересны переводы эклог Вергилия, сделанные А. Ф. Мерзляковым, и перевод «Энеиды» Петрова (посвящение датировано 1 января 1770 г.), замечательный по своему изяществу и точности. Важное значение в XIX в. имело издание под редакцией П. М. Леонтьева пятитомного сборника «Прописки», в котором появляются интересные статьи по римской литературе Н. М. Благовещенского, известного своим превосходным изданием сатир Персия с переводом и комментариями (СПб., 1873), а также монографией о Горации, «Мысли о первоначальном различии римских патрициев и плебеев в религиозном отношении» Д. Л. Крюкова и другие статьи. В 1869 г. выходит большая и основательная работа И. В. Помяловского «Марк Теренций Варрон Реатинский и Мениппова сатура» и затем его труды по римской эпиграфике. В 1873 г. В. И. Модестов издает большое научное руководство по истории римской литературы, неоднократно переиздававшееся и до сих пор не утратившее своего значения. При Московском университете в 1868 г. защищает свою капитальную работу «О сатурнийском стихе» (на латинском языке) Ф. Е. Корш. И. В. Цветаев работает в области италийской эпиграфики и диалектологии. Выходит много статей в «Журнале Министерства народного просвещения», в «Филологическом обозрении» и в «Гермесе». Среди монографий по римской литературе появляются две крупных работы по Марциалу — А. В. Олсуфьева (М., 1891) и А. И. Малеина (СПб., 1900) и много других работ учеников Помяловского, Корша и др. Среди изданий текстов античных авторов следует упомянуть издания ранних латинских поэтов Лукиана Миллера.

Работы филологов-классиков после Великой Октябрьской революции, помимо разработки специальных проблем, доступных ученым специалистам, имели целью ознакомить возможно более широкие слои советского общества с тем замечательным наследием античного мира, которое было мало или же совсем неизвестно людям, не занимавшимся детальной разработкой проблем классической филологии. Это стремление выразилось в первую очередь в издании многочисленных переводов произведений античной литературы со вступительными статьями, комментариями и всевозможным пояснительным материалом, показывающим роль античной культуры в мировой истории. В области римской литературы наша наука может с полным правом гордиться новыми переводами Плавта, Теренция, Лукреция, Катутла, Горация, Петрония, Катона, Цицерона, Плиния Младшего, Лукана, Апулея и других римских авторов. Все эти переводы снабжены подробными комментариями и статьями, позволяющими и не знающим латинского языка ориентироваться в римской литературе. Следует отметить, что молодые советские филологи-классики дали ряд хороших монографий по римской литературе, защитив их в качестве диссертаций.

Специально истории римской литературы посвящены три работы, вышедшие за последние десятилетия: «История римской литературы» акад. М. М. Покровского, изданная Академией наук СССР в 1942 г.; «Римская литература» проф. И. М. Тронского, составляющая вторую половину его «Истории античной литературы», вышедшей в Ленинграде в 1946 г., которая в настоящее время переиздается. В 1954 г. в Москве вышла «История римской литературы» под общей редакцией Н. Ф. Дератани. В этой книге дана достаточно подробная библиография сочинений русских ученых по истории римской литературы.

РАННЯЯ РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА





Глава IV

НАЧАЛО РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ЛИВИЙ АНДРОНИК

1. Ранняя римская литература и письменность.— 2. Данные о древнейшей латинской поэзии и о стихосложении.— 3. Рост культуры римского общества в III в. до н. э.— 4. Ливий Андроник.

1. РАННЯЯ РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПИСЬМЕННОСТЬ

Ввиду того что римскую литературу, точнее — ее памятники, связанные с письменностью, принято считать наследницей литературы греческой, уместно будет напомнить, что древнейший памятник греческой литературы — поэмы «Илиада» и «Одиссея», создание которых вероятнее всего отослать к IX и VIII вв. до н. э.¹, — получил свою более или менее окончательную форму в VI в. до н. э., т. е. в то время, от которого дошли до нас древнейшие памятники латинской письменности — надписи на «пренестинской заколке» (Fibula Praenestina — CIL, XIV, 4123) и на обломке каменного столба, найденного на римском форуме в 1899 г. (CIL, I², 1)², а также надпись на вазе, найденной у основания Квиринала в 1880 г.³

Таким образом, начало римской письменности относится к тому времени, когда греки в гомеровских поэмах и в лирике Архилоха, Алкея, Сапфо и Анакреонта создали крупнейшие произведения, которые были закреплены на письме и вошли в сокровищницу мировой литературы. Но начало римской письменной художественной литературы обычно относят к значительно более позднему времени, а именно — к эпохе утверждения господства Рима в Италии и к окончанию первой Пунической войны, т. е. к III в. до н. э. Первым же римским поэтом считается грек из Тарента — Ливий Андроник, который перевел на латинский язык «Одиссею», поставил на «Римских играх» в 240 г. до н. э. первую свою пьесу на латинском языке и сочинил гимн Юноне в 207 г. Дату постановки пьесы Ливия Андроника и принято считать началом римской художественной литературы.

Таким образом, начало римской литературы относится к тому времени, когда литература греков уже пережила свой расцвет в произведениях Эсхила, Софокла и Эврипида и продолжала свое развитие главным образом не в самой Греции, а в Александрии египетской и была представлена такими поэтами, как Феокрит, Каллимах, Аполлоний Родосский и Эвфорион⁴.

¹ См. История греческой литературы, т. I, стр. 124 сл.

² См. Hülsen. Roman Forum. Roma, 1909², p. 195.

³ Ср. Ч. Лоукотка. Развитие письма. М., ИЛ, 1950, стр. 177.

⁴ Имя Эвфориона тесно связано с римской поэзией. Подражателей ему Цицерон пренебрежительно обозвал «подголосками Эвфориона» (cantores Euphorionis). См. «Тускуланские беседы», III, § 45, где Цицерон говорит об Энии: «O poetam egregium! Quamquam ab his cantoribus Euphorionis contemnitur».

2. ДАННЫЕ О ДРЕВНЕЙШЕЙ ЛАТИНСКОЙ ПОЭЗИИ
И О СТИХОСЛОЖЕНИИ

Доказывая несамостоятельность римской поэзии и зависимость ее от поэзии греческой, эллинистической, ссылаются обычно на то, что латинское стихосложение всецело зависит от греческого: размеры, применяемые в драматических произведениях, дактилический гексаметр с его разновидностью — элегическим дистихом и, наконец, лирические размеры Катутлла, Горация и др. все чисто греческие. Относительно древнейшего размера римлян и латинян — сатурнийского стиха — и то существует мнение, что этот размер вовсе не италийского происхождения, а тоже греческий, только искаженный латинянами⁵. Это последнее мнение в настоящее время не находит сторонников. Продолжает существовать гипотеза и даже теория, что этот *saturnius*, или *faunius versus*, представляет собою стихотворный размер, построенный на чередовании ударяемых и неударяемых слогов⁶, а не на чередовании кратких и долгих, подобно греческому стиху.

До нас дошли лишь чрезвычайно скудные примеры сатурнийских стихов, из которых наиболее достоверны эпиграфические памятники (гимн или молитва жреческой коллегии арвальских братьев, надгробные надписи фамилии Сципионов III—II вв. до н. э., посвятельная надпись того же приблизительно времени, так называемая *Dedicatio Sorana* — CIL, X, 5708), фрагменты из «Одиссеи» Ливия Андроника и фрагменты Невия, в том числе и его автоэпитафия, сохраненная Авлом Геллием (I, 24). Такие же памятники, как гимн жреческой коллегии салиев, который был непонятен не только простым смертным (Гораций, «Послания», II, 1, 86—89), но, по свидетельству Квинтилиана, и самим жрецам (Квинтилиан, «Об образовании оратора», I, 6, 40: *Saliorum carmina vix sacerdotibus suis satis intellecta*), ритуальные тексты, приводимые Катонем в его трактате «О земледелии» (например, молитва Марсу в гл. 141), пословицы и поговорки, извлекаемые из текстов Плавта или Петрония, — все это материал для суждения о строении сатурнийского стиха крайне ненадежный и недостоверный. Что же касается текстов, дошедших в прозаической передаче у Тита Ливия (например, I, 32; XXII, 1; XL, 46 и др.) или «Стихотворения о нравах» (*Carmen de moribus*) Катона, которое приводит Геллий и которое попытка восстановить в форме сатурнийских стихов Ричль (Op., IV, 305 сл.), то эти тексты никоим образом не могут иметь значения для тех или иных выводов о строении древнейшего латинского стиха.

Хотя в настоящее время вопрос о строении сатурнийского стиха все еще остается открытым, тем не менее отказ от его разрешения, какой, в конце концов, виден, например, у Линдсея⁷, отстаивавшего в прежних своих работах акцентную гипотезу, не может быть оправдан. Наиболее вероятной, несмотря на все трудности, связанной с ее доказательством, представляется гипотеза о квантитативном строении исконного латинского

⁵ Такое мнение встречается у римских «грамматиков». Так, например грамматик IV в. н. э. Марий Викторин восстает против предположения, что сатурнийский, или «фавнов», стих исконно италийский, и утверждает, что его употребляли не только греческие комические, но и трагические поэты, а древние италийцы только его искажали (GL, VI, 138). Это же утверждал и грамматик I в. н. э. Цезий Басс (GL, VI, 265).

⁶ Таково мнение Келлера, Турнейзена, Скутша и др. Акцентную теорию поддерживает и Мартини («История римской литературы», ч. I. СПб.—М., 1912, стр. 31).

⁷ См. его работу о раннем латинском стихе: W. M. Lindsay. *Early Latin Verse*. Oxford, 1922.



Воин с конем
Кампанский кратер V в. до н. э.

сатурнийского стиха⁸, но не по тем нормам, какие были в Греции, а по тем особым *латинским* правилам, какие наблюдаются и в стихосложении Плавта, и в гексаметре латинских поэтов, стихосложение которых значительно и существенным образом отличается от норм Менандра и греческих эпиков.

Основным отличием метрики латинских поэтов, начиная с самых ранних и кончая писателями первых веков нашей эры, было то, что кроме строения стиха на основе чередования кратких и долгих слогов (как было у греков), принималось во внимание и *ударение*, игравшее большую роль в латинском произношении и порою бывшее первенствующим даже в стихах, построенных по квантитативной системе; это видно, например, в трохаических септенариях триумфальных солдатских песенок, сохраненных Светонием в биографии Юлия Цезаря. Особую роль в латинском стихосложении играла и цезура, применение которой, значительно отличающееся от греческой практики, давало на основе законов живой речи возможность строить стих не только на чередовании долгих и кратких слогов, но и на чередовании ударений, как, очевидно, это было и в прозаической ритмической речи.

Надо сказать, что при выяснении правил построения латинских стихов классического периода можно лишь с чрезвычайной осмотрительностью пользоваться показаниями латинских грамматиков, в большинстве случаев писавших о латинском стихосложении не на основании самостоятельного его исследования, а приспособляя к нему греческие нормы. Отсюда, между прочим, вытекает и непонимание латинскими грамматиками сущности сатурнийского стиха, который они старались уложить в прокрустово ложе греческой метрики⁹.

Будь у нас больше остатков римской устной поэзии, мы бы могли, наверное, иметь гораздо больше данных для суждения о ранних формах латинского стихосложения; мы бы могли судить о них, например, на основании тех застольных песен, какие распевались в честь былых героев и об утрате которых горюет Цицерон¹⁰. Но даже те жалкие остатки народной поэзии, которыми мы располагаем¹¹, позволяют утверждать, что кроме сатурнийского стиха, существовали и другие формы поэзии, хотя бы трохаический септенарий, о котором мы только что упомянули, по который вовсе не заменил собою исчезавший сатурнийский стих¹², а существовал наряду с ним. Сатурнийский стих был стихом торжественным, применявшимся в ритуальной поэзии, надгробных и посвячительных надписях и т. п. и в поэме Невия «Пуническая война», напоминающей некоторыми из сохранившихся стихов элогию Сципионов; а трохеи были народным размером, живым и веселым. Не исключена возможность, что в устной поэзии применялись и другие формы стиха, но документально подтвердить это невозможно.

Как бы там, однако, ни было, на основании комедий Плавта¹³, проис-

⁸ Квантитативную гипотезу о строении сатурнийского стиха отстаивали, начиная с Годфрида Германна (считавшего, однако, что сатурнийский стих этрусского происхождения, см. *Elementa doctrinae metricae*, Лейпциг, 1816, стр. 606), многие ученые, в том числе и Ф. Е. Корш, магистерская диссертация которого «*De versu Saturnio*» (М., 1868) является одной из лучших работ по этому вопросу.

⁹ См. об этом в указанных работах Ф. Е. Корша и Линдсея.

¹⁰ «О если бы,— восклицает он в диалоге «Брут» (§ 75),— сохранились те песни, которые, как пишет Катон в «Началах», за много веков до его времени пелись отдельными участниками пиров о подвигах славных мужей!»

¹¹ См. *Fragmenta poetarum Romanorum collegit et emendavit A. Baehrens*. Лейпциг, 1886.

¹² Так на основании слов Горация считает возможным предполагать Дюбуа (*Eli-zabeth Hickman Du Bois*. «*The stress accent in Latin poetry*». N. Y., 1906, 43 сл.).

¹³ О драмах Ливия Андроника и Невия мы здесь не говорим, так как от них, кроме разрозненных фрагментов, ничего не дошло.

ходившего не из знати, а из простого народа, мы вправе считать, что римскому народу не были чужды те сложные стихотворные размеры (не говоря уже о ямбах и хорях), какими написаны «кантики» комедий этого драматурга, жившего во второй половине III и начале II в. до н. э. Если бы Плавт целиком заимствовал свою необыкновенно сложную и превосходно разработанную систему стихосложения у греческих драматургов, не имея для нее никакого основания в латинской поэзии, в частности в лирике, мы бы имели пример совершенно невероятного художественного перерождения народа, который, без разработанной стихотворной техники и чуждый квантитативному строению стиха, вдруг не только стал вровень с утонченнейшими греками, слушавшими произведения новой аттической комедии, но даже превзошел их в понимании сложнейшей стихотворной структуры, подобной которой нет в комедиях Менандра. Да и младший современник Плавта, поэт Энний, никак не мог бы сразу привить римлянам понимание греческого гексаметра, не будь для этого подходящих условий в ранней римской поэзии¹⁴.

Поэтому можно считать не подлежащим сомнению то, что к III в. до н. э. у римлян не только существовала обширная поэзия, но было разработано и стихосложение, благодаря чему римские поэты легко восприняли и переработали греческое сложение и, вероятно, даже обогатили его.

Что касается содержания римской поэзии во времена Невия и Плавта, то здесь мы находимся еще в худшем положении, чем при суждении о ранних формах латинских стихов. Ни от *застольных песен* (*carmina convivalia*), о которых было упомянуто выше, ни от *плачей по умершим* (*peniae*), о которых упоминает Варрон (фр. 303, изд. Фунайоли), ни от шуточных и язвительных *фесценнинов* (*versus Fescennini*), о которых говорит Гораций («Послания», II, 1, 139 сл.), ни от долитературной *ателланы* (*fabula Atellana*) не осталось ровно ничего. Лучшее всего можно судить о народной ателлане (или подобной ей драматической импровизации) в позднейшие времена по описанию сценки, разыгранной некими Мессием Ципирром и Сарментом, в стихах 51—69 сатиры 5, книги I «Сатир» Горация¹⁵.

Совершенно естественно возникает вопрос, почему же римская поэзия раннего периода (до III в. до н. э.), раз она очевидно существовала, осталась незаписанной? Дело в том, что римляне относились к письму совершенно иначе, чем греки, и римские правящие круги (первоначально патриции), по-видимому, препятствовали широкому распространению письменности, не допуская не только записей произведений народного творчества, но даже записи законов. Сами же создатели народной поэзии ни в каких записях не нуждались, да, вероятно, в большинстве случаев и не могли бы записать своих произведений по неграмотности¹⁶.

Сильная государственная власть нобилитета была заинтересована в применении письма только в тех случаях, когда без него невозможно было обойтись, например, при заключении договоров, для летописных записей и т. п. Поэтому и понятно, что в нашем распоряжении нет почти

¹⁴ Одним из лучших свидетельств чуткости римского народа к поэтической форме служат наблюдения Цицерона в его «Парадоксах» (III, 26), в диалогах «Оратор» (§ 173) и «Об ораторе» (III, 196). Цицерон говорит, что малейшая ошибка против размера и ритма, допущенная исполнителем, вызывает всеобщее возмущение у зрителей, из которых (замечает Цицерон) мало кто знаком с теорией стихосложения.

¹⁵ Ср. «Филологическое обозрение», 1897, т. XIII, кн. 2, стр. 106 сл.

¹⁶ Очень знаменательно то, что некоторые записи народного творчества (главным образом ритуального характера) в раннюю эпоху (конец III и начало II в. до н. э.) сделаны плебеем — Катонем Старшим.

даже следов записи литературных памятников раннего периода Рима. Несмотря на очень раннее развитие латинской письменности и наличие официальных эпиграфических документов и регистрационных или памятных надписей на предметах, вроде надписи на так называемой «пренестинской заколке», и некоторых посвячительных надписей, а также надгробий.

Даже в области правовых отношений письмо прививалось у римлян очень туго. В то время как у греков мы находим указания на письменность в самом их языке (слова, производные от *γραφή* — писание и *γράφω* — пишу¹⁷), у римлян сохраняется в качестве словообразовательного элемента корень глагола *dico* — говорю¹⁸. Слову доверяли больше, чем письму. Пережиток такого отношения к слову можно видеть в словах Энея, обращенных к Сибилле («Энеида», VI, 71 сл.). Обещая пророчице, что ее предсказания будут сохраняться в особом хранилище (указание на позднейшие обычаи), Эней тем не менее просит их не записывать, а изречь или пропеть (древний обычай):

...Листам не вверяй предсказаний,
Чтобы не смешались они и не стали игралищем ветров;
Пой их сама, я молю.

(Перевод Ф. А. Петровского)

Таким образом, памятники раннего римского словесного художественного творчества не были (да и не могли быть) сохранены на письме, а правящие круги римского общества и не были в этом заинтересованы и, видимо, относились с таким же пренебрежением к созданиям латинского народного гения, с каким относился к ним и Гораций.

Однако социальная борьба в Риме времен Пунических войн коренным образом изменила отношение к литературным произведениям, интерес к которым стал настойчиво проявляться среди передовых римлян, а это повело к созданию и записанного эпоса («Пуническая война» Невия) и записанной драматической поэзии, словом, к настоящей литературе.

Нельзя представить себе, чтобы народ, прошедший длительный период культурного развития (по меньшей мере от VI до III в. до н. э.), не создал за это время никакой художественной литературы и был обречен на то, чтобы создателем ее на римской почве оказался не римлянин, и даже не италиец, а грек из Тарента, каковым был Ливий Андроник, а первыми римскими литературными произведениями стали не самобытные создания римского народного гения, а перевод греческой эпической поэмы и переделки греческих трагедий и комедий, каковыми были драматические произведения Андроника. Но если в древности не сомневались, что «и до Гомера были поэты» (Цицерон, «Брут», § 71), то и по отношению к римской литературе можно сказать с полной уверенностью, основываясь на показаниях самих римлян, что у Ливия Андроника были предшественники в лице не известных нам латинских поэтов. Одного из них мы даже знаем по имени; это — Аппий Клавдий Слепой (цензор 312 г.

¹⁷ Ср. *γράφην γράφειναι* — обвинять, *γράφην φεύγειν* — быть обвиняемым в уголовном преступлении, *γράφειν* в значении причислять, *νόμον γράφειν* — предлагать закон, *δικήν γράφειναι* — обвинять и т. д.

¹⁸ Ср. *venire in dicionem* — покориться, *redigere in dicionem suam* — подчинить, *se in clientelam dicare* — сделаться клиентом, *dicere ius* — судить, *dicere leges* — устанавливать законы, *dictatorem dicere* — назначить диктатором, *dictare* — предписывать, *dictitare causas* — вести судебные процессы, *dictator* — диктатор, *iudex* — судья, *index* — 1) доносчик, 2) заголовок, надпись и т. п.

до н. э.), от которого дошло до нас несколько стихотворных «сентенций» и речь которого в сенате против заключения договора с царем Пирром была записана и была известна Цицерону (Цицерон, «Брут», 55 и 61; «О старости», 16).

Что касается остального, необыкновенно скудного наследия ранней римской поэзии, то оно сводится к отрывкам, сохранившимся от гимнов жреческих коллегий арвальских братьев и саллиев, к остаткам молитв и ритуальным изречениям, а кроме того, к нескольким эпиграфическим памятникам, из которых хорошо сохранились надгробные надписи Сципионов, относящиеся к III в. до н. э.

Кроме этих ничтожных остатков, у нас имеются свидетельства о ранней латинской поэзии, но самих произведений, по которым можно было бы составить о ней сколько-нибудь ясное представление, до нас не дошло. К таким произведениям относятся застольные песни, которые распевались в честь предков и прославившихся людей (Цицерон, «Брут», 75; Варрон у Нония под словами *assa voce* и др.). Эти застольные песни, по предположению голландского ученого Перизония (Perizonius-Voorbroek, 1651—1715), а затем Нибура (1776—1831), были источником древнейшей римской историографии. Гипотеза Нибура до настоящего времени находит и сторонников и противников, но так как от застольных песен раннего периода до нас ничего не дошло, то и решение вопроса о справедливости этой гипотезы остается открытым.

Так же скудны наши сведения и о другом виде устной поэзии — о причитаниях по умершим, или «нениях», о которых упоминают римские писатели. Ранние нении до нас не дошли, а на основании сатирической нении в «Отыквлении божественного Клавдия» Сенеки (I в. н. э.) судить о ранних причитаниях, разумеется, нельзя.

Зачатки драматической поэзии появились в Лации, вероятно, задолго до начала его эллинизации. Эти зачатки можно видеть в так называемых фесценнинах¹⁹. О фесценнинах мы можем судить главным образом на основании свидетельства Горация:

Встарь земледельцы — народ и крепкий, и малым счастливый —
Хлеб уберут лишь с полей, облегчение в праздник давали
Телу и духу, труды выносившим в надежде на отдых:
С теми, кто труд разделял, и с детьми, и с супругою верной
В дар молоко приносили Сильвану, Земле — поросенка,
Гению — вина, цветы за заботу о жизни короткой.
В праздники эти вопел Фесценнин паловливых обычай:
Бранью крестьяне в стихах осыпали друг друга чредою.
С радостью вольность была принята, каждый год возвращаясь
Милой забавой, пока уже дикая шутка не стала
В ярость открыто впадать и с угрозой в почтенные семьи
Без наказания врываться. Терзались, кто зубом кровавым
Был уязвлен уж; и кто не задеты, за общее благо
Были тревоги полны; но издан закон наконец был:
Карой грозя, запрещал он кого-либо высмеять в злобной
Песне, — и все уже тон изменили, молуганы казнью,
Добрые стали слова говорить и приятные только.

(«Послания» II, 1, 139—156; перевод Н. С. Гиммбург)

Хотя свидетельство Горация, равно как и рассказ Тита Ливия о возникновении драматических представлений у римлян («История Рима»,

¹⁹ По названию этрусского города Fescennia, а не от *fascinum* — наговор, сглаз, как иногда толкуется.

VII, 2), очень возможно, основаны не только на фактическом материале, но являются и позднейшей ученой комбинацией, тем не менее оба эти свидетельства заключают несомненно достоверные сведения о ранних зачатках римской драматической поэзии, носившей сатирический характер, всегда остававшийся свойственным римскому народу.

К жанру фесценнинов относятся также и вольные свадебные песни и песенки солдат, распевавшиеся ими во время триумфальных шествий. Об этих солдатских песенках можно составить представление по песенкам о Цезаре, приводимым Светонием («Божественный Юлий», 49 и 51), а о свадебных песнях — по литературной их обработке в 61-м стихотворении Катутла.

Итак, хотя почти никаких остатков древнейшей римской поэзии не сохранилось, мы тем не менее можем с полным правом говорить о ее существовании в Лации до Ливия Андроника. Доказательством популярности в Риме некоторых ее видов служит упоминание о ней в древнейшем римском писаном законодательстве — в Законах XII таблиц, в которых, по словам Цицерона («О государстве», IV, 10, 12), была установлена смертная казнь за сочинение или исполнение песни (*carmen*), «содержащей в себе клевету или опозорение другого», а также был наложен запрет на неумеренные причитания по умершим («О законах», II, 23, 59).

3. РОСТ КУЛЬТУРЫ РИМСКОГО ОБЩЕСТВА В III в. ДО Н. Э.

Доказательства существования латинской пародной словесности раннего периода (до III в. до н. э.) и те ничтожные крохи ее, какие удается собрать, практически не дают нам права делать о ней какие-нибудь достоверные выводы историко-литературного характера. Мы можем лишь считать несомненным, что такая словесность существовала в Лации задолго до того, как письмо стало применяться для записи не только деловых документов (законов, договоров, летописи и т. д.), но и произведений художественной литературы. Поэтому изучение римской художественной литературы приходится поневоле начинать с очень позднего времени, то есть с III века до нашей эры; причем, первыми латинскими авторами, от которых сохранилось достаточное литературное наследство в виде целых произведений, а не разрозненных фрагментов, оказываются поэт-драматург Плавт и прозаик Марк Порций Катон. Время жизни обоих этих писателей относится ко второй половине III и первой половине II в. до н. э. Первый принадлежал к самым низам римского общества, второй, хотя и не происходил из римской патрицианской аристократии, но тем не менее и по своему положению в обществе и по своим убеждениям являлся поборником старины и защитником аристократических учреждений и привилегий. Уже из этого видно, что к III в. до н. э. римское общество в самых различных своих слоях достигло весьма высокого культурного уровня, и отдельные представители этого общества вступили как полноправные члены в среду античных, теперь уже греко-римских, писателей.

Высокий культурный уровень римского общества времен Катона и Плавта стоит, безусловно, в связи с превращением в мировую державу маленькой Римской республики, которая, сбросив царскую власть и выйдя из подчинения этрускам, начинает расширять свои владения и, в конце концов, в первые десятилетия III в. до н. э. подчиняет себе всю Италию. Продвижение на юг Италии приводит Римскую республику к непосредственному соприкосновению с южноиталийскими греческими городами, с которыми уже давным-давно (не позднее VI в. до н. э.) римляне вели торговлю.

Для развития римской культуры сношения с италийскими греками имели исключительно важное значение. Особенно существенны были захват римлянами кампанского города Неаполя, приведший ко второй Самнитской войне (327—304 гг.), и борьба Рима с крупнейшим южно-италийским городом Тарентом, закончившаяся в 272 г. до н. э. сдачей Тарента римлянам. Этот год для истории римской литературы знаменателен тем, что в Рим привезли пленного Ливия Андроника.

Постепенное развитие господства Рима над всей Италией и превращение его из маленького города-государства в мировую державу основано на изменении его социального строя в результате длительной борьбы патрициев и плебеев. Плебеи составляли основную массу римского войска и были, таким образом, той истинной силой, которая и создала мощь Римского государства. Борьба плебеев за уравнивание в правах с патрициями имела огромное значение для развития римской культуры, так как в процессе этой борьбы развивалось законодательство, совершенствовалось внутреннее государственное устройство и расширялся кругозор былой замкнутой общины благодаря выходу основной части свободного населения на политическую и военную арену. Расширение римской территории стоит в теснейшей связи с этой борьбой, так как плебейская масса, добившись политических прав, смогла активно бороться за улучшение своего экономического положения путем завоевания италийской территории и расширения земельных владений, причем, в отношении завоеваний «в некоторых случаях плебс был настроен более агрессивнее, чем сенаторское сословие»²⁰.

После того как Рим в результате своей завоевательной политики возглавил федерацию италийских земель и Великой Греции, в нем усилилось воздействие эллинистической культуры. Новые социально-экономические условия никак не могли быть согласованы со старым римским бытом. В разных слоях римского общества проявляется тяготение к более высоким культурным формам жизни, с которыми римляне знакомятся в эллинистических италийских городах. Начинается крупная перестройка римской идеологии на почве греческих культурных форм. Эта перестройка видна и в области техники (например, в перестройке домов по эллинистическим образцам), и в домашней обстановке, и в религии (введение греческих богов), и в усложнении образования (появление греческих учителей), и в литературе, на которую начинают смотреть все более и более серьезно и внимательно.

Само собою разумеется, что многое в процессе «эллинизации» ранней римской литературы остается для нас неизвестным и неясным, но, во всяком случае, несомненным остается факт признания Римом литературной деятельности делом нужным и полезным для государства. Это видно хотя бы из того, что через год после окончания первой Пунической войны — в 240 г. до н. э. — курульные эдилы ввели в ритуал праздника «Римских игр» (*ludi Romani*) драмы, написанные по греческому образцу, и поручили это дело Ливию Андронику.

Год постановки драм Ливия Андроника, как уже указано, и принято считать началом римской литературы.

4. ЛИВИЙ АНДРОНИК

Полное имя Ливия Андроника, которое он носил в Риме после отпущения на волю, — *Луций Ливий Андроник* (*Lucius Livius Andronicus*).

²⁰ Н. А. Машикин. История древнего Рима, стр. 155.

Первая часть его тройного имени засвидетельствована Авлом Геллием (VI, 7, 11; XVII, 21, 42), Фестом (р. 297^b, 7) и Кассиодором (в хронике под 239 г. до н. э.). В хронике Иеронима (под годом 1830) ошибочно дано первое имя — Т. (Titus). Второе имя (Ливий) указывает, что Ливий Андроник был первоначально рабом римлянина Ливия. Чаще всего у римских авторов ссылки на Ливия Андроника делаются под одним этим именем. Третье, — греческое имя — Андроник — засвидетельствовано Квинтилианом (X, 2, 7), Авлом Геллием (XVIII, 9, 5) и другими.

Биографические данные крайне скудны. Основные данные у Цицерона («Брут», § 72), который сообщает, на основании изысканий Тита Помпония Аттика, о первой постановке драмы Ливия Андроника в 240 г. до н. э. Данные о Ливии Андронике приводят также (на основании Варрона) Авл Геллий (XVII, 21, 42), Светоний («О грамматиках», 1) Кассиодор (указ. текст), Тит Ливий (VII, 2, 8) и Иероним (указ. текст). По этим данным можно заключить, что Ливий Андроник был, по-видимому, родом из Тарента, прибыл в Рим как пленный в 272 г. до н. э., был отпущен на волю Ливием Салинатором и занимался, помимо своей литературной деятельности, преподаванием греческого и латинского языков, для чего и перевел «Одиссею».

Произведения Ливия Андроника известны лишь по заглавиям и по ничтожному количеству разрозненных фрагментов: трагедии — «Achilles», «Aegisthus», «Aiax mastigophorus», «Andromeda», «Danae», «Equos Troianus», «Hermiona», «Ino», «Tereus» — все это (как и комедии Андроника), очевидно, переводы или переделки греческих оригиналов; комедии — «Gladiolus», «Ludius», «Virgus» (?); перевод «Одиссеи»; гимн для хора девушек, сочиненный по поручению римского правительства в 207 г. до н. э. по случаю благоприятного поворота второй Пунической войны (Тит Ливий, XXVII, 37 и Фест, р. 333).

Свидетельств о творчестве Ливия Андроника довольно много, но они очень кратки и отрывочны. Основные свидетельства у Цицерона («Брут», 71) и у Тита Ливия (XXVII, 37). Оба эти автора невысокого мнения о Ливии Андронике.

Основное издание фрагментов: *Livii Andronici fragmenta*, coll. H. Düntzer (Берлин, 1835). Фрагменты драматических произведений изданы Лукианом Миллером *Livi et Naevi fabularum fragmenta* (Берлин, 1885) и Риббеком — *Scaenicae Romanorum poesis fragmenta* (третье издание — Лейпциг, 1897—1898). Обширное исследование о Ливии Андронике — H. de la Ville de Mirmont в книге *Études sur l'ancienne poésie latine* (Париж, 1903).

Наследие, дошедшее от Ливия Андроника, настолько ничтожно, что не будь у нас свидетельств позднейших римских авторов о его литературной деятельности, мы не могли бы иметь о ней почти никакого представления. От его перевода «Одиссеи» дошло всего каких-нибудь сорок отрывков, причем подавляющая часть их не более одной строчки, а иные и того меньше. Два самых больших отрывка состоят каждый из трех строк, соответствующих — один стихам 138—139 книги VIII греческого подлинника, другой — стиху 17 и следующим стихам книги XII. Не богаче наследство и от драматических произведений Ливия Андроника: четыре десятка разрозненных и неполных строк из трагедий на сюжеты из греческой мифологии и полдюжины стихов из комедий. От гимна, сочиненного Андроником по заказу римского сената в 207 г. до н. э., не сохранилось ни одного стиха, так что мы принуждены судить об этом гимне только по свидетельству Тита Ливия (XXVII, 37), мнение которого не менее пренебрежительно, чем отзыв Цицерона о драмах Ливия Андроника. А они, по мнению



Кратер с изображением мифологической сцены

этого знатока и поклонника древней римской литературы, таковы, что их «не стоит перечитывать»²¹ («Брут», § 71).

Тем не менее даже по скудным отрывкам перевода «Одиссеи», который Цицерон называет «какой-то Дедаловой работой» («Брут», § 71), т. е. грубым и архаичным произведением, — даже по этим ничтожным отрывкам можно видеть, как велика была заслуга перед римской литературой этого пионера в области художественного перевода. Перевод Андроника, видимо, был и достаточно точен и вместе с тем достаточно свободен. По отрывкам, хотя и дошедшим до нас часто в искаленном состоянии, можно судить о степени проникновения в сознание римлян греческих мифологических образов, которые были известны латинам задолго до завоевания ими Южной Италии (Великой Греции) и приобщения к эллинистической культуре. Мы знаем об этом по отдельным собственным именам, вроде Pollux (Поллукс) при греческом Πολυδευκῆς (Полидевк); но будь у нас остатков «Одиссеи» Ливия Андроника, мы не могли бы сколько-нибудь полно судить, является ли то или другое мифологическое греческое имя в латинском языке случайным заимствованием или же с ним связывался определенный круг мифологических представлений. Римляне времен Андроника не только уже восприняли многое из греческой мифологии, но даже отождествили некоторые свои национальные божества с божевами греков. Гомеровский Гермес превратился у Ливия Андроника в латинского Меркурия, Муза — в Камену²², Мойра — в Морту²³, Дионис — в Либеру (в отрывке из одной трагедии Андроника), Мнемосина — в Монету. Все эти замены греческих имен божеств именами латинскими оказались возможны, несомненно, потому, что были уже привычными для римлян. Интересно и то, что вместо гомеровских Кронида (Зевса), Геры, Аполлона мы находим во фрагментах Андроника не Юпитера и Юнону, а «сына Сатурна» и «дитя Сатурна», а Аполлон тоже назван не прямо по имени, а «сыном Латоны»; да и Муза обращается не только в Камену но и в «дочь Монеты». Из древних заимствований из греческого в латинский язык мы встречаем у Андроника имена: Латона (из дорийской формы Λατώ при гомеровской Λητώ) и очень интересную форму Ulixes (из Ὀλύσευς, или Ὀλύτευς, при гомеровском Ὀδυσσεύς).

Что касается позднейших свидетельств о Ливии Андронике, то к ним приходится относиться крайне осторожно. Суждения о несовершенстве его произведений находятся в несомненной зависимости от вкусов его позднейших критиков, а такие свидетельства, как указание Феста, относящееся ко II—III вв. нашей эры, об учреждении Ливием Андроником «содружества писателей и актеров»²⁴, нельзя принимать на веру.

Но одно можно установить совершенно определенно: со времени Ливия Андроника начинается новая эра в римской литературе; римская литература, не прекращая питаться из источников народного, национального творчества, приобщается к литературе эллинистической, чтобы впоследствии обратиться в самостоятельную римскую, а затем и в латинскую литературу. Эта последняя существовала не только в Риме и в Италии, но и в других странах Европы вплоть до Возрождения и соперничала с литературами на отдельных национальных европейских языках.

²¹ Livianae fabulae non satis dignae quae iterum logantur.

²² «Одиссея» Ливия Андроника начинается стихом

Virum mihi, Camena, insece versutum,

²³ Фр. 12 В. См. свидетельство у Авла Геллия в III, 16,9—11.

²⁴ Указание на это извлекают из довольно неясного текста у Феста (р. 333 М).



Глава V

НЕВИЙ

1. Сведения о жизни и произведениях Невия.— 2. Драматические произведения Невия.— 3. Поэма о первой Пунической войне.—
4. Значение Невия для римской литературы

1. СВЕДЕНИЯ О ЖИЗНИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НЕВИЯ

Ближайшим продолжателем дела Ливия Андроника был поэт Гней Невий, от произведений которого дошло до нас значительно больше литературных фрагментов и биографию которого мы знаем лучше, чем биографию Ливия Андроника.

Родовое имя *Невий* (Naevius) и личное имя *Гней* (Spaesus) устанавливаются по свидетельству Авла Геллия (I, 24, 1), приводящего эпиграмму-эпитафию для гробницы поэта, а также по многочисленным упоминаниям этого автора римскими писателями.

Годы рождения и смерти Невия устанавливаются лишь приблизительно. Свидетельство Иеронима о смерти Невия в 201 г. расходится с показанием Цицерона, который в «Бруте» (§ 60) говорит, что Невий умер в 204 г.; однако и Цицерон не уверен в своей датировке. О годе рождения Невия нет никаких указаний у древних авторов, но так как Цицерон в «Катоне Старшем» (§ 50), говорит, что Невий написал свою поэму о Пунической войне в старости, то годом его рождения можно считать приблизительно 270 г. Таким образом, время жизни Невия относится к эпохе завоевания римлянами господства в Италии и к первой и второй Пуническим войнам, а смерть — ко времени второй Македонской войны.

По свидетельству Марка Теренция Варрона, которое приводит Авл Геллий (XVII, 21, 44), Невий служил в римской армии во вторую Пуническую войну (264—241 гг.). Начало драматической деятельности Невия относится, согласно указанию Авла Геллия (там же), к 235 г., когда была поставлена первая его пьеса. По другим свидетельствам о Невии, приводимым главным образом тем же Авлом Геллием, видно, что Невий в своих произведениях (очевидно, драматических) отличался смелыми и резкими выпадами против лиц, стоявших во главе Римской республики, и был настолько постоянен в своих нападениях, что был заключен в тюрьму, откуда был освобожден народными трибунами, после того как удалил из своих пьес оскорбительные для многих места (Авл Геллий, III, 3, 15). Однако, как можно судить по словам Иеронима, Невий не прекратил и впоследствии своей борьбы с аристократами (главным образом с Метеллами), за что был выслан из Рима и умер в Утике.

Место рождения Невия остается неизвестным. На основании слов Геллия (I, 24, 1), что эпиграмма, которую он считает автоэпитафией Невия, «полна кампанской заносчивости», никак нельзя делать вывода о кампан-

ском происхождении этого поэта. Более вероятно на основании наших сведений о Невии предположить, что он принадлежал к римскому плебейскому роду.

Произведения Невия дошли до нас лишь во фрагментах, по большей части очень мелких. Известно, что Невий написал 6 трагедий на сюжеты греческой мифологии, 2 претексты (трагедии на римские сюжеты), свыше 30 комедий и эпическую поэму «Пуническая война». Относительно того, какой реальный смысл имеют слова лексикографа Феста «у Невия... в сатуре» (257^a, 29), вопрос остается открытым.

Остатки произведений Невия собраны в издании Лукиана Мюллера, вышедшем в Петербурге в 1885 г. вместе с фрагментами Энния, и в издании Отто Риббека *Scaenicae Romanorum poesis fragmenta* (3-е изд. 1897—1898).

2. ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕВИЯ

Поэтическая деятельность Невия была очень широка и разнообразна. Невий, следуя примеру Ливия Андроника, обратился вначале к драматической литературе, но сочинял главным образом не трагедии, а комедии. По некоторым отрывкам из них можно заключить о крупном поэтическом таланте этого поэта, а также о прекрасном его языке, которым восторгался и сам Цицерон («Об ораторе», III, 12, 45).

Невий не только продолжал идти по пути, проторенному Ливием Андроником. Главная заслуга его в том, что он создал на римской почве самостоятельные жанры, в которых наряду с использованием приемов эллинистической поэзии со всей силой выступает латинская основа. В области драматической поэзии это — трагедии на римские сюжеты. Этот вид трагедий получил и чисто римское название *претекста* (*fabula praetexta*), которое произошло от названия одежды римских магистратов — претексты — тоги, окаймленной пурпурной каймой. Такую тогу носили главные действующие лица этих римских драм.

Из претекст Невия нам известно всего лишь пять стихов и два заглавия — «Ромул» и «Кластидий». Но даже эти более чем скудные остатки проливают яркий свет на новый вид римской драматической литературы. Обе претексты Невия написаны на чисто римские сюжеты: одна на сюжет легенды об основателе Рима, другая, насколько можно заключить из ее заглавия, — на тему современного Невию события: подвига консула Клавдия Марцелла, убившего галльского вождя Вирдумара в сражении под циспаданскою крепостью Кластидием в 222 г. до н. э.¹

С большой степенью вероятности можно предполагать, что мы находимся на итальянской почве и в одной из комедий Невия, комедии «Вещун» (*Agriolus*), в которой говорится о потчевании каких-то гостей из Пренесты и Ланувия. Если так, то в Невии следует видеть зачинателя и национальной римской комедии — «комедии тоги» (*fabula togata*), в которой действие происходило в Италии.

3. ПОЭМА О ПЕРВОЙ ПУНИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ

Главным произведением Невия по его значению для развития римской литературы была поэма о первой Пунической войне — произведение, на-

¹ До нас дошла, к сожалению, лишь одна претекста несравненно более позднего, императорского времени — «Октавия» Сенеки. Но и то это скорее драма для декламации, а не для исполнения на сцене, как и другие драмы Сенеки (см. Сенека. Трагедии. Перевод Сергея Соловьева. М., 1933).



Юноша с конем
Бронзовая статуэтка римской работы

чинающее национальный римский эпос, достигший впоследствии своего высшего совершенства в «Энеиде» Вергилия. Что Вергилий продолжал традицию, основоположником которой был Невий, очевидно и на основании свидетельств древних комментаторов Вергилия и по тем фрагментам, какие дошли до нас от «Пунической войны». Исторической части своего эпоса — описанию событий первой войны римлян с Карфагеном, войны, в которой он сам участвовал, Невий предпосылает изложение мифов и легенд об основании Рима и Карфагена, о бегстве из Трои Энея, о его пребывании у карфагенской царицы Дидоны и о водворении троян в Лации. Таким образом, Невий был первым римским поэтом, последовательно изложившим предание об основании Рима, предание, тесно связывавшее Рим с Троей. Но эта легендарная часть истории Рима занимала всего две книги из семи, на которые впоследствии была разделена вся «Пуническая война». Основная часть поэмы Невия была посвящена подлинным историческим событиям и, насколько можно судить по сохранившимся фрагментам, была изложена сухим деловым языком в стиле военных донесений или официальных записей; однако, несмотря на это, язык Невия достигает порою замечательной силы и выразительности. Так, например, по фрагменту 39 (изд. Беренса) —

Они предпочитают пасть на этом месте,
Чем к землякам вернуться со стыдом и срамом²,

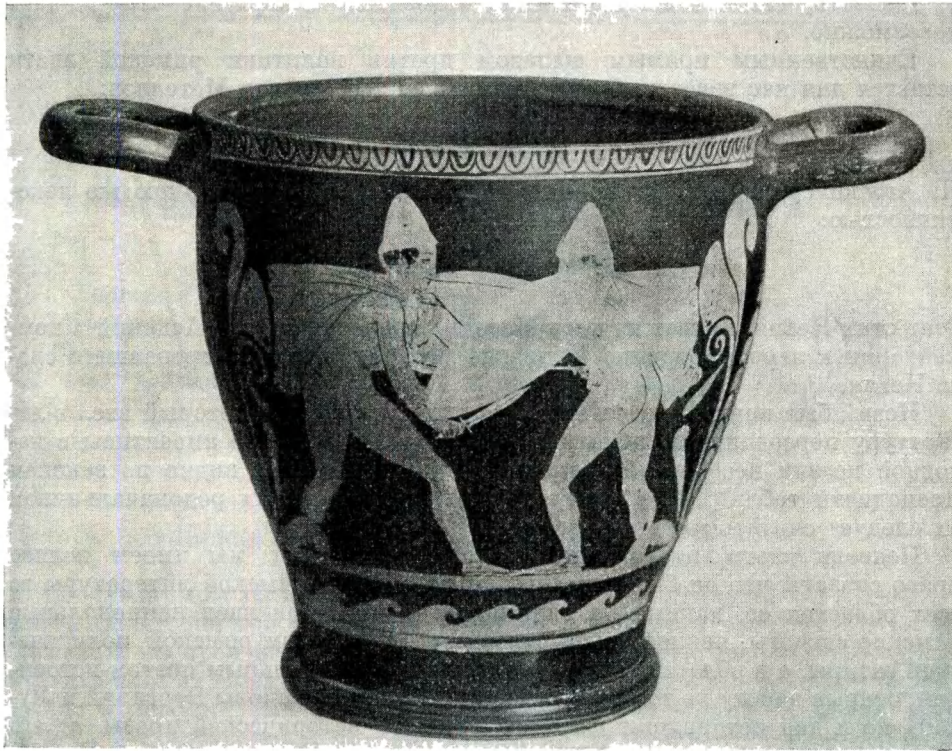
видно, что Невий сумел применить сухой и деловой стиль своего изложения для придания чисто римской силы и яркости своей речи.

«Пуническая война» была написана Невием уже в старости (Цицерон, «Катон Старший», § 50) и, так сказать, подводила итог всей его литературной деятельности. Несмотря на всю скудость дошедших до нас фрагментов и на порою сбивчивые и неточные биографические данные об этом поэте, облик его предстает нам в достаточно ясных очертаниях. Он — первый латинянин, а быть может даже римлянин, который целиком отдается после военной службы литературной деятельности и, несмотря на свое видимое подражание грекам в драматических произведениях, создает настоящую римскую литературу, используя в своем эпосе не только внешнюю латинскую форму — сатурнийский стих, но и следуя тем традициям римской письменности, какие знакомы нам по сухим надписям надгробий Сципионов, облеченным в тот же сатурнийский стих, что и «Пуническая война» Невия, и по официальным документам древнего Рима. Вместе с тем Невий применяет в своих произведениях и тот «вольный язык» (*libera lingua*, фр. 113 CRF), каким не перестает блистать римская литература вплоть до императорского периода и который Авл Геллий напрасно считает заимствованным у греков («Аттические ночи», III, 3, 15).

4. ЗНАЧЕНИЕ НЕВИЯ ДЛЯ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Литературная деятельность Невия тесно связана с жизнью современного ему Рима, и он со смелостью, которая так характерна и для его последователя Луцилия, выступает против влиятельнейших людей Рима, римских аристократов, всегда ратуя за достоинство римского народа и за его свободу. Авл Геллий приводит пример нападок Невия даже на таких прославленных лиц, как Сципион Африканский Старший («Аттические ночи», VII (VI), 8, 5):

² Отрывки из Невия даны в переводе Ф. А. Петровского.



Шоединок

Кампанский скифос IV в. до н. э.

Кто много подвигов свершил своей рукою славно,
И чьи дела досель живут, кому дивятся люди,
Того в одном плаще отец сам зывел от подружки.

Этот выпад против Сципиона очень напоминает насмешливые песенки солдат, которые пелись при торжественном шествии вступавших в Рим победоносных полководцев, и довольно безобиден. Но, очевидно, «постоянное злословие» Невия, о котором говорит Авл Геллий (III, 3, 15), было совсем не так безобидно, раз его даже заключали в тюрьму, на что указывают и слова Плавта в комедии «Хвастливый воин» (ст. 211):

Так, подперши подбородок, варварский поэт сидит,
При котором неусыпно сторожат два сторожа³.

По недостатку документального материала мы не можем ближе определить, в чем состояли политические выпады Невия; а если их и можно предполагать в некоторых из его фрагментов, как, например, в двух стихах, приводимых Цицероном («Катон Старший», 7, 20):

Как вашу погубили вдруг вы славную республику?—
Да вот ораторы пошли, юнцов толпа безмозглая —

³ Плавт называет Невия «варварским поэтом» (poeta barbarus) с точки зрения греков, которые были персонажами «комедии плаща». Ср. ст. 11 пролога к Asinaria Плавта: Maccus vortit barbare (см. Paul. Fest. 36).

РАННЯЯ РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

то доказать, что этот вопрос и ответ относятся к определенным лицам, невозможно.

Единственным прямым выпадам против политики римской знати остается для нас известный стих, направленный против Метеллов:

Злой рок дает Метеллов Риму в консулы!

На что консул 206 г. Квинт Цецилий Метелл ответил с такою же лаконичностью:

Погубит род Метеллов Невия-поэта.

Этот стих Невия и ответ на него Метелла приводит псевдо-Асконий в комментарии к первой Веррине Цицерона (10, 29), перефразировавшего слова Невия.

Невий был первым известным нам римским поэтом, который ввел в литературу персональную политическую инвективу. Такие инвективы в народной поэзии несомненно существовали и ранее, что видно по законам Двенадцати таблиц, но в *литературных* произведениях родоначальником их следует считать именно Невия.

Подводя итоги литературной деятельности Невия, мы имеем полное право сказать, что он был основателем настоящей римской литературы во всех областях ее, какими он занимался: в драму он ввел национальные римские сюжеты, явился, очень возможно, создателем римской политической сатиры, а в области эпоса стал первым национальным поэтом-историком, открыв дорогу не только для будущих эпиков, каковы Вергилий и Лукан, но и для историков-прозаиков. Римской исторической прозы в его времена еще не существовало, и современники Невия — Фабий Пиктор и Цинций Алимонт, первые римские историки, — до такой степени зависели от своих греческих образцов, что даже писали не по-латыни, а по-гречески. Невий первый осуществил изложение римской истории на родном языке и в том стихотворном размере, какой был привычен для римлян в деловых записях о подвигах римских полководцев, в так называемых «триумфальных таблицах» (*tabulae triumphatoriae*). Всем этим Невий поставил римскую литературу на твердую почву и дал ей возможность, органически воспринимая греческие образцы, развиваться как самобытной национальной литературе.

Слава Невия надолго пережила его, и даже такой противник старых поэтов, как Гораций, не может не признать, что и в его времена произведения Невия не утратили своей свежести в глазах римлян:

Невий в руках не у всех? Разве в память встал он не твердо,
Свежий почти?

говорит Гораций в послании к Августу («Послания», II, 1, 53).



Глава VI

РАЗВИТИЕ РИМСКОГО ТЕАТРА

1. Римские театральные представления до 55 г. до н. э.— 2. Первый каменный театр в Риме и дальнейшее театральное строительство.— 3. Устройство римского театра и распределение зрительных мест.— 4. Театральная публика и ее вкусы.— 5. Римские актеры.— 6. Театральный репертуар.

1. РИМСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДО 55 г. до н. э.

Следующим за Невием римским писателем был младший его современник — Плавт, первый из римских авторов, с которыми мы знакомы не по отрывкам его произведений, но по целиком сохранившимся его комедиям; а следующим за Плавтом римским литератором, сочинения которого дошли до нас в целости, был опять-таки драматург — Теренций. Комедии этих авторов — единственные, сохранившиеся не во фрагментах произведения римской художественной литературы первого и второго ее периодов. Ввиду того что для лучшей оценки творчества этих драматургов необходимо, хотя бы вкратце, ознакомиться с римским театром и с условиями исполнения драматических произведений, мы должны остановиться на истории развития римского театра, игравшего большую роль в жизни Рима.

Если бы, кроме комедий Плавта и Теренция, сохранились еще какие-либо другие драматические произведения римских писателей республиканского и императорского времени, было бы целесообразнее рассматривать эволюцию римского театра в связи с разбором этих произведений, но так как все они, за исключением трагедий Сенеки, предназначенных не для постановки на большой сцене, а для декламационного («камерного») исполнения, погибли, то в настоящей главе будет изложена краткая история римского театра от его начала вплоть до позднейшего императорского времени.

По свидетельствам римских писателей (Тита Ливия, Овидия, Горация и других) мы можем вывести заключение о существовании драматических представлений уже в раннюю эпоху Римского государства; но все-таки настоящие театральные представления были организованы в Риме лишь со времен Ливия Андроника и Невия, авторов трагедий и комедий, написанных и подготовленных для исполнения на специальной театральной сцене.

В Риме, так же как и в Греции¹, театральные представления происходили не постоянно, а приурочивались к определенным празднествам. Ко временам Плавта (ок. 250—184 гг. до н. э.) театральные представления входили в состав следующих регулярно справлявшихся празднеств: 1) Римских, или Великих, игр (Ludi Romani, или Magni), происходивших

¹ См. Историю греческой литературы, т. I, стр. 283.

в сентябре; 2) Плебейских игр (Ludi plebei) — в ноябре; 3) игр в честь Аполлона (Ludi Apollinares) — в июле; 4) игр в честь «Великой матери богов» (Ludi Megalenses) — в апреле. Позднее на играх в честь Флоры (Floralia) — в апреле — мае давались представления мимов, регулярно устраивавшиеся с 173 г. до н. э. Театральные представления входили и в состав специальных празднеств — погребальных, триумфальных и др.

Регулярно происходившие в Риме игры устраивались на средства государства, дававшего деньги и на расходы по театральным постановкам через должностных лиц — эдилов или претора, — ведавших играми². Но государственных средств не хватало на пышное устройство игр, и большая часть расходов уплачивалась самими должностными лицами, старавшимися показать народу свою щедрость и этим обеспечить себе избрание на высшие государственные должности, связанные со значительными материальными выгодами.

Устроители покупали пьесу у автора обычно через посредника — антрепренера («хозяина труппы» — dominus gregis). Подробности этой купли-продажи остаются для нас неясными за недостатком свидетельств, но самый факт ее несомненен: он подтверждается словами первого и второго пролога «Свекрови» Теренция (ст. 5 сл. и 47 сл.), указанием Горация на корыстолюбие Плавта («Послания», II, 1, 175) и другими данными.

В комедии Плавта «Перс» (ст. 159 сл.) есть указание на то, что эдилы сдавали театральные реквизиты (ornamenta) *хорагу*, входившему в состав театральной труппы, снабжавшему актеров костюмами и бутафорией³ и бывшему, согласно показанию Доната⁴, и театральным режиссером или, скорее, по современной театральной терминологии, помощником режиссера — «разводящим», который следил за своевременным выходом актеров на сцену⁵.

Судя по комедиям Плавта, сценическая техника в его времена была очень высока, а устройство сценической площадки было довольно сложно. Можно сказать с полной уверенностью, что для разыгрывания его пьес требовались и декорации, и бутафория, и разнообразные костюмы. Так как в самом Риме постоянного каменного театра не было до 55 г. до н. э., а римский тип театра к этому времени уже совершенно выработался, то естественно предположить, что этот римский тип театра восходит к тем сценическим постройкам, какие были на юге Италии, в частности в Сицилии, где была создана особого рода комедия, первым литературным автором которой был Эпихарм⁶. Развитие близкой к римскому типу сценической пло-

² Первые пьесы Ливия Андроника (трагедия и комедия) были поставлены на Римских играх, которыми ведали курульные эдилы. Из пьес Плавта только две — «Псевдол» и «Стих» — имеют краткие официальные заметки (дидакалия), по которым можно определить время их первой постановки: «Псевдол» был поставлен в 191 г. на играх в честь «Великой матери», а «Стих» — в 200 г. до н. э. на Плебейских играх (первыми ведали курульные, вторыми — плебейские эдилы). Из пьес Теренция «Андреанка», «Самоистязатель», «Евнух» и «Свекровь» впервые были поставлены на играх в честь «Великой матери», «Формион» — на Римских играх, «Братя» — на погребальных играх в честь Луция Эмилия Плавта.

³ См. также «Куркулион», ст. 462 сл., «Тринумм», ст. 858 и «Пленники», ст. 61. У Теренция слово «хораг» не встречается.

⁴ В комментарии к стиху 967 «Евнуха» Теренция.

⁵ Общим между римским *хорагом* (choragus) и греческим хорегом (χορηγός, дор. χοραγός) было только то, что в ведении того и другого был театральные реквизиты. Но в Греции хорегия была почетной должностью, а в Риме хораг был простым исполнителем приказаний заказчиков. О греческих хорехах см. Историю греческой литературы, т. I, стр. 290.

⁶ См. Историю греческой литературы, т. I, стр. 430 сл. Гораций в послании к Августу (II, 1, 58) прямо указывает, что

Плавт по примеру спешит сицилийца всегда Эпихарма.

шадки произошло, несомненно, и в Кампании⁷, откуда идет особый вид комедии — ателлана.

По свидетельству древних писателей (Тита Ливия, Тацита и др.), римские власти, несмотря на то, что сами положили начало сценическим представлениям в Риме, пригласив в 364 г. до н. э. актеров из Этрурии (Тит Ливий, VII, 2), упорно противились возведению в Риме постоянного театрального здания с местами для зрителей. В течение почти всего республиканского периода для театральных представлений во время празднеств возводилось деревянное сооружение, которое по окончании «сценических игр» разбиралось. Особых мест для зрителей в Риме первоначально совсем не устраивали, и они смотрели спектакли либо стоя, либо сидя по склону примыкавшего к сцене холма. Переноса свой рассказ на легендарные времена Ромула, Овидий («Наука любви», I, 103—108), вероятно, правильно описывает общий вид театрального зрелища в древнем Риме:

Мраморным не был театр, покрывала еще не висели,
Сцены еще не залил желтою влагой шафран.
Только и было всего, что листва с палативских деревьев
Просто висела кругом, не был украшен театр.
На представленьях народ сидел на ступенях из дерна
И покрывал волоса только зеленым венком.

(Перевод Ф. А. Петровского)

Первоначально не было никакого распределения мест между разными классами населения, но в 194 г. до н. э., как сообщает Тит Ливий (XXXIV, 44), «цензоры получили от сенаторского сословия большую благодарность за то, что они во время Римских игр приказали курульным эдилам отделить сенаторские места от мест народа; прежде все зрители размещались как попало».

Попытки приступить к постройке постоянных театров, а тем более мест для зрителей, даже исходившие от цензоров, постоянно пресекались римским сенатом; нам известно, по свидетельству того же Тита Ливия (XLVIII)⁸, что в 154 г. до н. э., «когда делались места для зрителей, постройка которых была сдана с подрядом цензорами, то, по предложению Публия Корнелия Назики, они были сломаны, согласно постановлению Сената, как сооружение бесполезное и развращающее общество, а народ некоторое время смотрел на представления стоя». По словам Августина (*De civitate dei*, I, 31), авторитет Сципиона Назики «был настолько велик, что предусмотрительный Сенат, возбужденный его словами, воспретил с тех пор ставить даже скамьи, которыми граждане начали было пользоваться в театре, внося их во время представлений».

По указанию Валерия Максима (первая половина I в. н. э.), сенат вместе с этим запретил устраивать сидения для зрителей не только в самом Риме, но и в ближайших его окрестностях, ближе 1000 шагов от городской черты (Валерий Максим, II, 4, 2).

В свидетельствах о постановлении римского сената 154 г. видно отражение ожесточенной борьбы между поборниками старины во главе с Марком Порцием Катонем Старшим и прогрессивной частью римского об-

⁷ В Помпеях хорошо сохранились остатки двух театров, один из которых был построен около 200 г., в основном по греческому типу, а другой (малый), построенный вскоре после захвата Помпей Суллой (в 80 г. до н. э.), — совершенно римский.

⁸ Эта книга Ливия не сохранилась; она известна только по позднему изложению ее содержания.

щества во главе с представителями фамилии Сципионов — сторонников приобщения Рима к эллинистической культуре⁹. Очень знаменательно, что постановление о сломке зрительных мест и даже о продаже пошедшего на них материала с аукциона (о чем говорят Валерий Максим) относится именно к тому времени, когда Рим все больше и больше соприкасается с греческой культурой, когда в нем появляются (в начале 60-х годов II в. до н. э.) греческие школы, а в 155 г. приезжает афинская делегация в лице представителей трех философских школ во главе с академиком Карнеадом, что глубоко возмущает Катона.

Но никакие запретительные меры подобного рода не могли быть действительны на долгое время, и у нас есть данные предполагать, что постановление сената от 154 г. было нарушено через десять лет после его издания¹⁰.

Можно, кроме того, с полной уверенностью говорить о том, что уже при Плавте устраивались места для зрителей. Это очевидно и из прологов к его комедиям «Амфитрион» (ст. 65), «Пуннец» (ст. 5), «Пленники» (ст. 12), по заключительному стиху «Эпидика», а также и по таким местам его комедий, как ст. 1224 «Пунийца», где Агорастокл просит Ганнона говорить покороче, потому что тем, кто сидит (*qui sedent*) в театре, хочется пить; такие же указания на сидящих зрителей имеются и в комедии «Горшок» (ст. 719) и в комедии «Купец» (ст. 160), где Аканфион спрашивает Харина: «Спящих зрителей боишься разбудить?».

Однако постоянного театра с каменными, а не деревянными местами для зрителей все-таки в Риме не было до середины I в. до н. э. Такой консерватизм дорого стоил организаторам спектаклей. Плиний Старший (XXXVI, 2, 2.) с возмущением рассказывает, что «в эдилство Марка Скавра (58 г. до н. э.), при молчании законов, власти видели, что были доставлены триста шестьдесят колонн для сцены временного театра, которыми предстояло пользоваться едва ли не один всего месяц».

2. ПЕРВЫЙ КАМЕННЫЙ ТЕАТР В РИМЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Первый каменный театр в Риме был построен Помпеем во второе его консульство, в 55 г. до н. э. (см. Плутарх, «Помпей», 52; Кассий Дион, «Римская история», XXXIX, 38 и др. Дион слышал, что этот театр построил не Помпей, а Деметрий, его вольноотпущенник, на средства, приобретенные им, когда он совместно с Помпеем участвовал в походе». Но этот «слух» никакими свидетельствами не подтверждается). Театр этот, от которого в настоящее время сохранились только остатки фундамента на Марсовом поле, был, как сообщает Плутарх («Помпей», 42), построен по образцу греческого митиленского театра, который «привел Помпея в восторг... Он выстроил его в больших размерах и более великолепным».

Но и после постройки первого постоянного театра в Риме возводились временные театры. Плиний Старший (XXXVI, 15, 24), сообщающий, как указано выше, о постройке театра Скавра, в котором была трехъярусная сцена с 360 колоннами, сделанная из мрамора, стекла и позолоченных досок, и который отличался неслыханною пышностью и роскошью и дру-

⁹ См. Н. А. Машкин. История древнего Рима, стр. 210. Однако не все Сципионы были людьми передовыми: указанный выше Публий Корнелий Сципион Назика был, очевидно, ярым консерваторм.

¹⁰ Такое заключение можно вывести из слов Тацита («Анналы», XIV, 21), ср. *M o m m s e n. R. G. II, 443* (русск. пер., изд. 1887, стр. 453).

РАЗВИТИЕ РИМСКОГО ТЕАТРА

гого своего убранства, рассказывает о «еще более безумном сооружении из дерева» — двух огромных деревянных театрах, вращавшихся при помощи особого поворотного механизма и бывших таким образом то театрами, обращенными в разные стороны, то, при повороте их друг к другу, превращавшимися в один амфитеатр. Это грандиозное сооружение было построено Гаем Курионом в 53 г. до н. э.

После театра Помпея в Риме были построены еще три каменных театра: театр Марцелла, который собирался построить Юлий Цезарь, но который был построен только Октавианом; театр Бальба, построенный Луцием Корнелием Бальбом и открытый в 13 г. до н. э., и театр Траяна, разрушенный императором Адрианом. О размерах римских театров мы можем судить и по остаткам театра Марцелла и по данным у древних писателей. Театр Бальба вмещал до 7700 зрителей, театр Марцелла — до 14 000, театр Помпея — до 10 000 (а не до 40 000, как сообщает Плиний Старший в кн. XXXVI), театры Скавра и Куриона были также огромны (хотя 80 000 зрительных мест в театре Скавра — очевидное преувеличение Плиния). Вне Рима строились, разумеется, и меньшие театры, но были и очень большие, как, например, хорошо сохранившийся театр в Оранже (во Франции), построенный в I в. н. э.¹¹

3. УСТРОЙСТВО РИМСКОГО ТЕАТРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНЫХ МЕСТ

Римский архитектор Витрувий в книге V своего руководства по архитектуре дает подробные сведения об устройстве театрального здания. План римского театра, согласно указаниям Витрувия (гл. 6), а также судя по античному плану театра Помпея и по остаткам римских театров, существенно отличался от греческого плана, описанного в томе I «Истории греческой литературы», изданной АН СССР (стр. 291 сл.). Основные особенности римского театрального здания были следующие: 1) места для зрителей образуют в плане точный полукруг (в греческом — подкову); 2) орхестра полукруглая (в греческом — круглая); 3) римская орхестра была местом для зрителей (греческая — для хора); 4) сцена низкая и глубокая (у греков — высокая и узкая)¹².

Места для зрителей в римском театральном здании подымались кверху концентрическими полукругами и были устроены приблизительно так же, как и в греческом театре. Но распределение мест было иное. Первоначально, как было уже указано, никаких разграничений зрителей по их социальному положению не было, но уже в 194 г. до н. э. выделяются особые места для сенаторов. После постройки каменных театров для сенаторов отводилась орхестра, а 14 первых рядов отведены были всадникам по специальному закону — *lex Roscia Othonis* — в 67 г. до н. э. Но если законы о распределении театральных мест и соблюдались в самом Риме, то вряд ли за ними строго следили вне столицы, особенно в периоды ожесточенной политической и социальной борьбы конца Республики. Во всяком случае, у нас имеется прямое свидетельство Светония («Август», 44), что «Август уничтожил обычай занимать на зрелищах места произвольно, как кому заблагорассудится, и установил для этого определенные правила; поводом

¹¹ Подробности о вращении театров Куриона см. в книге: «Десять книг об архитектуре Витрувия с комментарием Даниеле Барбаро». Перевод А. И. Венедиктова, В. П. Зубова и Ф. А. Петровского. М., 1938, стр. 384.

¹² Другие отличия планов греческого и римского театра см. у Витрувия, кн. V, гл. 6 и 7.

ему послужило оскорбительное обращение с одним сенатором, которому в Путеолах при многолюдных играх и чрезвычайной тесноте никто не захотел дать места. По этому случаю сенат издал декрет, чтобы на всяких зрелищах, где бы они ни давались, первый ряд мест был предоставляем исключительно сенаторам; в Риме же Август запретил сидеть в оркестре послам свободных и союзных государств, ибо, как он обнаружил, среди них иногда оказывались вольноотпущенники. Военным он отвел места отдельно от народа; женатым людям из простого народа предоставил особые ряды, а молодым людям, еще не достигшим совершеннолетия, специальный сектор (*синеиум синиум*) и поблизости от них посадил их воспитателей. Простонародью он запретил занимать средние места. Женщинам он разрешил присутствовать на зрелищах исключительно в верхних рядах, даже на гладиаторских боях, где раньше они обыкновенно садились вперемешку с мужчинами. Только девам-весталкам он дал в театре особое место насупротив трибуны претора».

Отдельные места в театрах не были нумерованы, а на жетонах, или *тессерах*, для входа в театр обозначались только клинья и ряды, на которые были разделены места для зрителей. Театральные представления, как и другие зрелища, устраивавшиеся по государственным праздникам или на других «играх», были бесплатными.

4. ТЕАТРАЛЬНАЯ ПУБЛИКА И ЕЕ ВКУСЫ

Как видно по только что приведенному свидетельству Светония о распределении мест в театре, театральная публика во времена Августа была очень разнообразна. Такою она, очевидно, была и в отдаленные республиканские времена — от сенаторов до простого народа. Но основную массу зрителей, разумеется, составлял простой народ, очень охотно посещавший спектакли. От этого народа зависел и успех пьесы. Вкусы римской публики в ранний период безусловно были на стороне веселого комического жанра, главным представителем которого был Плавт. Несравненно меньшим успехом пользовался Теренций, пьесы которого иной раз совершенно проваливались. Трагедия не могла иметь успеха среди широких слоев населения; не говоря уже о трагедиях, переделанных с греческих образцов, даже трагедии на римские сюжеты (претексты) не пользовались популярностью.

В последние годы Республики мы встречаемся с попытками удовлетворить вкусы большинства театральной публики литературной обработкой двух видов национальной италийской драмы — ателланы и мима, которые всегда пользовались успехом. Ателланы ставились в качестве заключительных веселых комедий после серьезных драм. Но еще больше чем ателланы, нравились в I в. до н. э. мимы, лучшие литературные обработки которых принадлежали современнику Юлия Цезаря, римскому всаднику Дециму Лаберию. Публике нравилось в мимах изображение повседневной жизни, а также и то, что в мимах допускались прямые политические намеки, строго запрещенные в прежнее время в драматических произведениях. Известно, что Лаберий вводил в свои сценки такие политические намеки, направленные между прочим, и на самого Юлия Цезаря.

Во времена Империи и в последние годы Республики господствует увлечение внешней стороной представлений. Очень интересно прямое свидетельство Цицерона об этом в его письме к Марку Марию от 55 г. до н. э. («Письма к друзьям», VII, 1). Цицерон описывает театральное представление в Риме: «Игры, если хочешь знать, были подлинно великолепными, но

не в твоём вкусе; сужу по себе... Смотреть на пышность обстановки было совсем невесело. ...Что за удовольствие смотреть на шесть сотен мулов в «Клитемнестре», или на три тысячи кратеров в «Троянском коне», или на различное вооружение пехоты и конницы в какой-нибудь битве? Это вызвало восхищение публики, но тебе не доставило бы никакого удовольствия».

Внешняя, показная сторона представлений все больше и больше вытесняла из театра литературную драму, и никакие протесты по этому поводу, вроде тех, какие видны в диалоге об ораторах Тацита, не могли ничего сделать. Актеры, разыгрывавшие комедии, принуждены были переходить на более доступный публике жанр: герой романа Петрония хватается, что он купил целую труппу комедиантов, исполнявших греческие комедии, и заставил их разыгрывать ателланы («Сатурны», гл. 53). Но даже и ателланы и мимы перестают удовлетворять театральную толпу и вытесняются *пантомимами* — античным балетом. Один из таких балетов описан в романе Апулея (II в. н. э.): «На сцене высоким искусством художника сооружена была деревянная гора... усажена она была живыми зелеными деревьями, источник, сделанный на самой вершине... ручьями стекал по склонам, несколько коз щипали травку, и юноша в прекрасной рубашке, поверх которой струились складки азиатского плаща, с золотой тиарой на голове изображал, что он присматривает за стадом...» («Метаморфозы», X, 30—32). Дальше идет описание спектакля — суд Париса, в котором главных актеров и актрис сопровождает многочисленная свита в пышных костюмах, играет сложная музыка многоствольных флейт и т. д. Спектакли в Риме во времена Апулея, несомненно, были еще пышнее и великолепнее описанного им коринфского пантомима. Грубый натурализм вытесняет тонкую интригу комедии и пафос трагедии. Дело доходит до того, что на сцене совершаются настоящие казни: на представлении мима «Лавреол» предводителя разбойничьей шайки пригвождают ко кресту и бросают на растерзание медведям. Об этом рассказывает в одной из своих эпиграмм Марциал (книга эпиграмм «Зрелища», 7):

Как Прометей, ко скале прикованный некогда скифской,
Грудью своей без конца жадную птицу кормил,
Так и утробу свою каледонскому отдал медведю,
Не на поддельном кресте голый Лавреол вися.
Жить продолжали еще его члены, залитые кровью,
Хоть и на теле лигды не было тела уже.
Кару понес, наконец, он должную: то ли отца он,
То ли господина пронзил в горло преступно мечом,
То ли, безумен, украл потаенное золото храмов,
То ли к тебе он, о Рим, факел жестокий поднес.
Древних сказаний злодей далеко превзошел преступленья,
И театральный сюжет в казнь обратился его¹³.

Перевод Ф. А. Петровского)

Раз дело могло доходить до перенесения казни на сцену, то ни о каких постановках трагедий Акция или комедий Теренция и Плавта и думать было нечего. Подлинная драма сходит со сцены и видоизменяется в драму для чтения или декламации перед избранной аудиторией. Такими драмами для декламации были трагедии Сенеки.

¹³ Ср. Светоний, «Калигула», 57.

5. РИМСКИЕ АКТЕРЫ



Комическая маска

Пути, по которым шел римский театр, теснейшим образом связаны с развитием исполнительского искусства и с положением актеров в римском обществе¹⁴.

Если не считать отдельных исключений, римское общество всегда относилось к актерам-профессионалам отрицательно. Не говоря уже об актерам-рабах, положение которых было совершенно бесправным, римские актеры из числа людей свободных подвергались определенным ограничениям в правах: они исключались из высших (сельских) триб и не допускались к военной службе (Тит Ливий, VII, 2, 12; Авл Геллий, XX, 4; Августин «О гра-

де божьем», II, 13). Как видно из «Тринумма» Плавта (ст. 990), эдилы могли подвергать актеров телесному наказанию. Отрицательное отношение римского государства к актерам времен Республики видно очень хорошо из рассказа Макробия («Сатурналии», II, 7, 2—9) о случае с автором мимов Децимом Лаберием. Когда Юлий Цезарь захотел опозорить Лаберия, он заставил его выступить в качестве исполнителя мима за плату. Правда, по окончании представления Цезарь дал ему золотое кольцо (знак всаднического сословия), но когда Лаберий хотел сесть в театре среди всадников, те не пожелали дать ему места, хотя прекрасно знали, что слушаться Цезаря было невозможно даже Лаберию, делавшему в своих мимах резкие выпады против всемогущего диктатора.

Во времена Империи презрительное отношение к актерам не изменилось, хотя актерское искусство стало пользоваться у некоторых представителей молодежи из высших сословий таким успехом, что они предпочитали быть деклассированными, чем лишиться себя возможности выступать на сцене (Светоний, «Тиберий», 35). Хорошо известно, как увлекался сценой Нерон, но надо помнить и то, что позорным считалось лишь выступление за плату, а актеры-любители даже во времена Республики никакому ограничению в гражданских правах не подвергались (Тит Ливий, VII, 2, 12). Когда император Гелиогабал дошел до того в своем пренебрежении римскими обычаями, что назначил префектом когорты преторианцев человека, выступавшего в Риме в качестве актера,

¹⁴ О положении актеров в Греции см. Историю греческой литературы, т. I, стр. 299 сл.

это вызвало восстание в преторианском лагере (*Scriptores historiae Augustae*, XVII, 12 и 15).

Однако во времена Республики римляне умели по-настоящему ценить и уважать истинно великих актеров. К таким актерам в последний век Республики принадлежали трагик Эзоп и комик Росций, которого защищал на суде сам Цицерон. Оба эти актера чрезвычайно добросовестно и серьезно относились к своей профессии; они специально изучали ораторские приемы, присутствуя на выступлениях оратора Гортензия, проверяли дома свои сценические движения и т. д. Росций тщательно обучал и своих учеников и делал из них тоже выдающихся актеров.

Сведения об игре римских актеров нам известны главным образом из древних комментариев (схолиев) к комедиям Теренция, из сочинений по риторике Цицерона, который был дружен и с Росцием и с Эзопом, а также по сочинению Квинтилиана (вторая половина I в. н. э.) «Об образовании оратора», в котором глава 3 книги XI посвящена внешней стороне ораторского искусства (голосу, движениям и т. д.); Квинтилиан указывает, что для этой части своего труда он пользовался сочинениями по теории актерского искусства¹⁵. Из этих источников известно, что исполнителями ролей в римской драме были только мужчины, что, само собою разумеется, очень усложняло задачи актеров. Роли тщательно распределялись между отдельными исполнителями, и совершенно разнородные по своему характеру роли не могли исполняться одним и тем же лицом.

Единственный род драмы, в исполнении которого могли принимать участие и женщины, был мим. Особенностью римского театра, в отличие от театра греческого, было то, что первоначально актеры не пользовались масками. По ряду текстов из комедий Плавта и Теренция видно, что лицо актера должно было оставаться открытым (Плавт, «Менехмы», 828; Теренций, «Формион», 890; «Андрианка», 878 и др.). По прямому указанию грамматика Диомеда (*G. L.*, I, p. 489, 10) видно, что маски вошли в употребление на римской сцене лишь во времена Цицерона: «Сперва, — говорит Диомед, — были в ходу не маски, а парики для того, чтобы окрас-



Комическая маска

¹⁵ Имеется неполный русский перевод: «Марка Фабия Квинтилиана 12 книг риторических наставлений», ч. II. Перевод А. Никольского. СПб., 1834, стр. 357—405.

ка, у кого белые или черные, или рыжие волосы, указывала на возраст. Масками впервые стал пользоваться Росций Галл, превосходный актер: у него глаза были косые, и это не подходило достаточно к его выступлениям в каких-либо ролях, кроме параситов». Комментатор Теренция Донат («О комедии», стр. 26 по изд. Весснера) дает несколько иное показание, но тоже говорит о сравнительно позднем введении масок. В ателланах исполнители, по-видимому, всегда выступали замаскированными¹⁶.

6. ТЕАТРАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР

В репертуар римского театра входили произведения различных драматических жанров: трагедии, комедии, мимы со всеми их разновидностями. Но мы лишены возможности судить обо всех этих жанрах на основании текстов, а можем составить себе достаточно полное представление лишь о комедиях Плавта и Теренция, да еще о трагедиях Сенеки, но последние, как было уже сказано, предназначались не для большой сцены, а для декламационного исполнения. О других римских драматических произведениях мы знаем только по заглавиям, свидетельствам и по разрозненным фрагментам подлинных текстов.

Введенная в репертуар римского театра Ливием Андроником трагедия достигает своего высшего расцвета в произведениях Акция (170 — ок. 90 г. до н. э.). Несмотря на попытки ввести на римскую сцену трагедии на мифологические сюжеты, переделанные из произведений Эсхила, Софокла, Эврипида и других греческих трагиков и даже несмотря на создание римской героико-исторической трагедии — «претексты», этот жанр драмы не имел успеха у римской публики, а крупных трагиков после Акция римская литература не знает. Трагедии Акция долгое время ставились на римской сцене; так, претекста «Брут», поставленная в 30-х годах II в. до н. э., была вновь поставлена в год убийства Цезаря. Но успех трагедии Акция — скорее исключение в судьбе римской трагедии.

Во времена Гракхов и Суллы (конец II и начало I в. до н. э.) на римской сцене ставятся комедии, действие которых происходит в Италии и персонажи которых носят не греческие (как у Плавта и Теренция), а латинские имена и одеты в латинские костюмы, почему и называются эти комедии «комедией тоги» (*fabula togata*). Сюжеты этих «тогат», судя по фрагментам, были чисто бытовыми, на крупные политические события тогаты не откликались. Представителями этой комедии были Титиний, Атта и Афраний. Несмотря, однако, на латинскую внешность персонажей тогаты и на то, что действие происходило в ней в итальянских городах, она, видимо, очень походила по существу на комедии Теренция и на его эллинистические образцы.

Наряду с тогатой в начале I в. до н. э. на сцене появляется исконная итальянская комедия постоянных масок — ателлана (*fabula Atellana*), получившая литературную форму в произведениях Помпония и Новия. Ателлана допускала большие вольности политического характера, за которые авторы и исполнители могли жестоко поплатиться во времена Империи: по сообщению Светония («Калигула», 27, 4), «автора одной ателланы за стихи, содержащий двусмысленную шутку, Калигула приказал сжечь посреди арены амфитеатра». Ателлана долго держалась на римской сцене, но уже к концу республиканского периода первое место на римской

¹⁶ См. у Феста под словом *personatus*. См. «Филологическое обозрение», т. XX кн. 2, стр. 96 сл.

РАЗВИТИЕ РИМСКОГО ТЕАТРА

сцене занимает мим, продолжающий господствовать на ней во все время Империи.

Многие стороны римской драмы остаются в настоящее время неясными, спорными и вовсе неизвестными. Так, мы очень мало знаем о музыке, которая входила непременно во все драматические представления и служила аккомпанементом для речитативов и арий актеров (так называемых кантиков). Но подробный анализ театральных постановок не может входить в историю римской литературы и составляет предмет специальных сочинений по истории античного театра, общему очерку которого посвящена книга Б. В. Варнеке — «История античного театра» (М.—Л., 1940).

Лучше всего, как уже было указано, нам известна римская «комедия плаща», сохраненная в двадцати комедиях Плавта и в шести комедиях Теренция.



Глава VII

ПЛАВТ

1. Сведения о жизни и произведениях Плавта.— 2. «Комедия плаща» и греческие оригиналы Плавта.— 3. Контаминация.— 4. Основные сюжеты комедий Плавта.— 5. Действующие лица.— 6. Римские элементы.— 7. Метрика и язык Плавта.

1. СВЕДЕНИЯ О ЖИЗНИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПЛАВТА

Обычное полное имя Плавта — *Тит Макций Плавт* (Titus Maccius Plautus). Первая и третья части этого тройного имени хорошо засвидетельствованы в римской литературе: в прологе к комедии «*Trinummus*» имя Plautus встречается два раза: в стихах 8 и 19; из стиха 10 комедии «*Mercator*», несмотря на явно ошибочное чтение рукописей в этом стихе, выясняется имя Titus, правильность которого подтверждается цитатой из Варрона, приводимой Авлом Геллием («*Аттические ночи*», III, 3, § 9). Что касается второй части тройного имени Плавта, то всего вероятнее оно было не Maccius, а Maccus, как оно и засвидетельствовано в стихе 11 пролога в комедии «*Asinaria*». Форма Maccius могла быть выведена в позднейшее время из формы родительного падежа Macci, так как окончание на одно *-i* в этом падеже было и в существительных на *-us* и в существительных на *-ius*. (Ср. указатели авторов к книгам XIV, XV и XIX «*Естественной истории*» Плиния Старшего: ех...Maccio Plauto). Таким образом, полное тройное имя римского комедиографа скорее всего было Titus Maccus Plautus. Но в подавляющем большинстве случаев Плавт называется у римских авторов просто Plautus (см. Цицерон, «*Тускуланские беседы*», I, 4, 3; «*Брут*», 18, 72 сл.; Авл Геллий, XVII, 21, 46 сл. и др.).

Кроме отрывочных данных у разных римских писателей, сведений о жизни Плавта не имеется. Год его рождения определяется лишь приблизительно: около 250 г. до н. э.; год смерти, по свидетельству Цицерона («*Брут*», 15, 60), — 184 г. до н. э. (Иероним в дополнении к хронике Евсевия, 1817, дает 200 г. до н. э.). Свидетельства о жизни Плавта у Авла Геллия (III, 3, 14 сл.) и Иеронима, по всей вероятности, недостоверны.

Из комедий Плавта сохранилось 20: «*Амфитрион*» (*Amphitruo*), «*Ослы*» (*Asinaria*), «*Горшок*» (*Aulularia*), «*Бакхиды*» (*Bacchides*), «*Пленники*» (*Captivi*), «*Казина*» (*Casina*), «*Шкатулка*» (*Cistellaria*), «*Куркулион*» (*Curculio*), «*Эпидик*» (*Epidicus*), «*Близнецы*» (*Menaechmi*), «*Купец*» (*Mercator*), «*Хвастливый воин*» (*Miles gloriosus*), «*Привидение*» (*Mostellaria*), «*Перс*» (*Persa*), «*Пуниец*» (*Poenulus*), «*Псевдол*» (*Pseudolus*), «*Канат*» (*Rudens*), «*Стих*» (*Stichus*), «*Три монеты*» (*Trinummus*), «*Грубиян*» (*Truculentus*). Текст этих комедий сохранился хорошо; в них встречаются только незначительные пропуски; лишь в комедии «*Aulularia*» не дошел конец, а в комедии «*Bacchides*» — начало. Кроме этих два-



Карикатурная фигура пляшущего толстяка

дцати комедий, дошли крупные фрагменты из комедии «Vidularia» (Чемодан) и значительное число разрозненных отрывков из других комедий в цитатах у римских авторов¹.

Свидетельства римских авторов о Плавте и его произведениях собраны в первом выпуске издания: Titi Macci Plauti comoediae ex recensione Georgii Goetz et Friderici Schoell. Lipsiae, Teubner, 1922, страницы XXI — XXXVII.

Только начиная с Плавта можно рассматривать римскую поэзию и судить о ней, стоя на твердой почве и видя перед собой широкий и определенный горизонт, потому что Плавт — первый латинский писатель, от которого дошло до нас обширное наследство: целых двадцать комедий, из которых, как уже отмечалось, большинство сохранилось целиком, а кроме того — значительное количество иной раз крупных фрагментов. Строго говоря, лишь благодаря комедиям Плавта мы можем составить себе представление и о его предшественниках и о его современниках-драматургах (комиках), от произведений которых, как мы видели, остались только жалкие отрывки. Благодаря комедиям Плавта мы можем лучше судить и о дальнейшем развитии римской комедии, сравнивая с ними комедии Теренция и фрагменты прочих позднейших римских драматургов-комиков.

Кроме того, по комедиям Плавта можно судить о том культурном уровне, какого достигло римское общество к первой четверти II в. до н. э. К этому времени завершилось покорение Римом всей Италии (265 г.), окончилась борьба с галлами и были основаны на севере Италии колонии Плаценция и Кремона (222 г.), после победоносного окончания Римом тяжелой второй Пунической войны (218—201 гг.) был заключен мир с Карфагеном. Продолжалась успешная борьба за преобладание Рима в бассейне Средиземного моря, и Рим все больше и больше воспринимал эллинистическую культуру, превращаясь в мировой центр. За столетие до смерти Плавта диктатор Квинт Гортензий провел закон, по которому решения народа по трибам получали силу без последующего одобрения сенатом (287 г.). Это было завершением борьбы между патрициями и плебеями. Но времени жизни Плавта расстановка сил в Римской республике стала совершенно иной, чем была в эпоху борьбы патрициев и плебеев: господствующими сословиями стали, с одной стороны, *нобилитет* — римская знать, сенаторская аристократия, привилегированная социальная группировка, состоявшая из сохранившихся патрицианских родов и знатных плебеев, и с другой — *всадники*, т. е. римляне, записанные в восемнадцать всаднических центурий и принадлежавшие в большинстве своем к наиболее зажиточным плебеем, не проходившим магистратур и не включенным в список сенаторов. Экономической основой нобилитета было крупное землевладение, а в руках всадников сосредоточиваются торговоростовщические операции.

Обе эти группировки — нобилитет и всадничество — принадлежали к высшей прослойке рабовладельческого общества, которой противостоял, с одной стороны, основной производящий класс — рабы, а с другой — все более и более разорявшееся италийское крестьянство, которое принуждено было нести тяжесть военных походов, и римская свободная беднота,

¹ Заглавия комедий Плавта далеко не одинаковы в разных переводах. Особенно произвольно они переведены А. В. Артюшковым. Следует еще отметить, что заглавия с окончанием на *-aria* (Asinaria, Aulularia и др.) — прилагательные женского рода с подразумеваемым существительным *fabula* (пьеса, или комедия). Поэтому, например, «Asinaria» значит собственно «Комедия об ослах», или «Ослиная комедия», «Mostellaria» — «Комедия о привидении» и т. п.

составлявшаяся в значительной степени из разоренных крестьян, которые, не будучи в состоянии конкурировать с рабским трудом, не превращались в свободных рабочих, а шли в Рим, чтобы жить там либо случайным заработком, либо подачками богачей и помощью государства.

Из тех данных, какие имеются у нас о социальной и экономической жизни Рима III и II вв. до н. э., мы можем понять и явления культурной, в частности литературной, жизни Рима. Прошли времена, когда Рим был, в сущности, крестьянским городом. Соприкосновение Рима с эллинистической культурой возбудило новые интересы, породило новые требования и дало замечательные плоды римского литературного творчества, которые ясно видны даже по фрагментам предшественников Плавта и Энния.

Неуклонный и быстрый рост римского государства отразился очень ярко в римской литературе, отнюдь не бывшей достоянием одних привилегированных слоев римского общества, а получившей свои права и развивавшейся в самых широких его слоях. Комедии Плавта — лучшее тому доказательство.

Хотя о жизни Плавта нам известно очень мало, так как, кроме позднейшей его биографии, приводимой Авлом Геллием (III, 3), не сохранилось почти никаких данных для извлечения биографических сведений об этом крупнейшем римском драматурге, тем не менее можно с полной уверенностью утверждать, что Плавт по своему происхождению принадлежал к низшим слоям италийского общества.

Достоверные сведения о жизни Плавта сводятся к следующему: Плавт родился около 250 года до н. э. в умбрийском городке Сарсине, а умер в 184 г. до н. э. Судя по его второму имени-прозвищу Массус, Плавт был актером осского фарса — ателланы — и исполнял роли одного из постоянных типов (масок) этой комедии — дурака-обжоры Макка. То, что Плавт был долгое время актером, видно также по его исключительному знанию сцены. Вот, в сущности, и все, что известно нам из биографии Плавта и за что можно поручиться. Сведения, которые сообщает Геллий, сводятся к тому, что Плавт сначала был служителем в труппе актеров, где скопил деньги; на эти деньги он пустился в торговлю, уехав из Рима, но потерял все свое состояние. Вернувшись в Рим, Плавт, чтобы заработать себе на пропитание, поступил на службу к мельнику и, находясь на этой службе, написал три комедии — «Saturio», «Addictus» и еще одну, название которой Геллий забыл. Это сообщение Авла Геллия (как и совпадающее с ним свидетельство Иеронима) никакими достоверными данными не подтверждается. Сведения о литературной деятельности Плавта следует извлекать из текста его комедий, из прологов к комедиям Теренция и из таких заслуживающих доверия источников как сочинения Цицерона.

Комедии Плавта сохранились в нескольких списках, из которых один (так называемый Амброзианский палимпсест) относится к IV или V в. н. э. В этом палимпсесте, открытом в начале XIX в. кардиналом Анджело Маи, сохранились более или менее значительные отрывки семнадцати комедий; полностью имеющийся в нашем распоряжении текст Плавта восстанавливается по более поздним рукописям, относящимся к X и XI вв. Но дошедшие до нас комедии Плавта далеко не исчерпывают всей творческой продукции этого плодовитого драматурга. Кроме уже упомянутых фрагментов его комедий, сохранилось много указаний древних писателей на его пьесы, нам теперь неизвестные. Правда, о принадлежности некоторых из этих утраченных комедий возникали споры уже в древности, но относительно тех комедий, какие до нас дошли,

не может возникать сомнений: все эти пьесы бесспорно принадлежат Плавту².

Существенное отличие Плавта от его предшественников — Ливия Андроника и Гнея Невия — состоит в том, что он посвятил себя исключительно одному литературному жанру — комедии: никаких других произведений Плавта, если не считать приводимую Авлом Геллием (I, 24, 3) автоэпитафию, мы не знаем. Со времени Плавта, если мы и встречаемся с римскими поэтами, обращавшимися к разным литературным жанрам, то это скорее исключение, чем обычное явление в римской литературе классического периода. Примеру Плавта последовал и Теренций, тоже сочинявший исключительно комедии, а из других поэтов этой эпохи только младший современник Плавта, поэт Энний, является еще поэтом-энциклопедистом — автором и эпоса, и драматических произведений, и других сочинений.

2. «КОМЕДИЯ ПЛАЩА» И ГРЕЧЕСКИЕ ОРИГИНАЛЫ ПЛАВТА

Все комедии Плавта принадлежат к тому драматическому жанру, который назывался римскими теоретиками литературы «комедией плаща» — *fabula palliata*, в противоположность другому комическому жанру — «комедии тоги» — *fabula togata*³. Название это произошло оттого, что актеры этой комедии были одеты в греческий плащ — гиматий или, по-латыни, паллий (*pallium*). В греческом происхождении этой комедии не может быть никаких сомнений. Ни Плавт, ни его предшественники — Ливий Андроник и Невий, ни его последователи — Цецилий и Теренций — не были изобретателями «комедии плаща»; их комедии восходят к греческим оригиналам. Однако произведения греческих драматургов-комиков, насколько мы можем судить по дошедшим до нас частям комедий Менандра и фрагментам других представителей «Новой аттической комедии», существенно отличаются от комедий Плавта. Если бы сохранились именно те комедии, которые упоминаются в прологах к комедиям Плавта как его оригиналы, задача литературоведов значительно облегчилась бы; но до нас не дошло полностью ни одной из таких комедий, а те фрагменты, какими мы располагаем, могут оказать лишь косвенную помощь в определении точности передачи римлянами греческих образцов. Для Плавта мы не располагаем ни одним сколько-нибудь значительным отрывком, который мог бы быть привлечен как свидетельство зависимости римского драматурга от Менандра, Филемона, Дифила или совсем нам неизвестного Демофила, упомянутого в прологе к комедии «*Asinaria*». Но так как ни Плавт, ни, тем более, Теренций не только не скрывали своих оригиналов, но даже сами указывали на них в прологах к своим комедиям, то мы имеем возможность (для Теренция во всех случаях, а для Плавта в некоторых) указать те греческие образцы, какие легли в основу их произведений. Плавт указывает на греческие оригиналы в *прологах* следующих комедий:

«*Asinaria*» — комедия Демофила Ὀναγρός («Погонщик ослов»).

«*Casina*» — комедия Дифила Κληροῦμενοι («Сонскатели»);

«*Mercator*» — комедия Филемона Ἐμπορός («Купец»);

² Попытку Авэ доказать, что комедия «*Asinaria*» не принадлежит Плавту, следует отвергнуть. (См. Pseudo-Plaute. Le prix des ânes (*Asinaria*). Texte établi et traduit par Louis Havet. Paris, s. a.).

³ См. Диомед, 3, гл. 9. Русский перевод помещен в книге: Б. В. Варнеке. История античного театра. М., 1940, стр. 243.

«*Poenulus*» — комедия неизвестного автора *Καρχηδόνιος* («Карфагенянин»); так называлась одна из комедий Менандра и одна из комедий Алексиды;

«*Rudens*» — комедия Дифила, название которой неизвестно;

«*Trinummus*» — комедия Филемона *Θησαυρός* («Сокровище»);

«*Vidularia*» — комедия Дифила *Συδέλια* («Ладья») ⁴;

«*Miles gloriosus*» (ст. 86) — комедия *Ἀλαζών* («Хвастун») неизвестного автора. Оригинал комедии «*Stichus*» устанавливается по сохранившейся к этой комедии *дидаскалии*: это — *Ἀδελφοί* («Братья») Менандра.

С гораздо меньшей степенью достоверности устанавливаются оригиналы комедий «*Mostellaria*», «*Cistellaria*» и «*Bacchides*». Комедию «*Mostellaria*» считают переделкой греческой комедии *Φάσμα* на основании того, что лексикограф Фест, ссылаясь на «*Mostellaria*», называет ее «*Phasma*». Такое название носили пьесы Феогнета, Менандра и Филемона, но считать, что Плавт взял за оригинал именно пьесу Филемона, как полагают и Тейфель, и Шанц, и Лео, и другие историки римской литературы, по меньшей мере опрометчиво; в советской научной литературе уже отмечалась необоснованность такого утверждения ⁵. Столь же шатким следует признать и возведение комедии «*Cistellaria*» к комедии Менандра с предположительным названием *Σύρα*, а комедии «*Bacchides*» к его же комедии *Δίς ἐξαπατῶν* («Двойной обман») ⁶.

Очень интересно свидетельство Теренция относительно оригинала не дошедшей до нас комедии Плавта «*Commoventes*» ⁷. Оправдывая метод своей работы при переделке греческих комедий для римской сцены, Теренций говорит, что он взял в свою комедию «Братья» (восходящую, как указано в *дидаскалии*, к Менандру) одну сцену из комедии Дифила, опущенную Плавтом при его обработке этой комедии («Братья, ст. 5 сл.):

Имеется Дифилова комедия,
Заглавием она *Synapothnescontes*,
А в переделке Плавта «Смерть совместная» ⁸.
В той греческой комедии есть юноша,
У сводника девицу отнимает он
В начале пьесы; это место выпустил
Из пьесы Плавт.

(Перевод А. В. Артюшкова)

Относительно оригиналов других, дошедших до нас, комедий Плавта нельзя сказать ничего определенного.

Судя по таким прямым указаниям, какие имеются в прологах к комедиям Теренция, по некоторым другим достоверным данным, а также на основании анализа текста самих комедий Плавта видно, что Плавт очень свободно пользовался при сочинении своих пьес произведениями греческих драматургов и был прекрасно знаком не только с эллинистической, но и с более древней греческой литературой.

⁴ Отождествление этой комедии Плавта с комедией Дифила нельзя считать безусловно достоверным ввиду плохой сохранности текста плавтовского пролога.

⁵ См. Т. Макций П л а в т. Избранные комедии, т. II. М.—Л., 1933—1937, стр. 276.

⁶ Ср. там же, т. I, стр. 406 и т. III, стр. 67.

⁷ По свидетельству Варрона, приводимому Авлом Геллием, Акций считал, однако, что эта комедия не принадлежит Плавту (Авл Геллий, III, 3, 9).

⁸ «*Commoventes*».

3. КОНТАМИНАЦИЯ

При сочинении своих пьес римские драматурги применяли своеобразный прием, засвидетельствованный уже для Невия в прологе к комедии Теренция «Антрианка» и, возможно, даже впервые примененный в римской литературе именно Невием. Это — так называемая «контаминация»⁹, сущность которой сводится к следующему. Римский драматург брал две (или даже больше) греческие комедии и соединял их в одну или к основной комедии добавлял сцены, взятые из других. Составляя таким образом свою комедию, римский автор, руководствуясь, разумеется, требованиями римской сцены и зрителей, то усложнял, то упрощал свой основной оригинал, давал подчас новые характеристики действующим лицам и т. д., словом, создавал, по существу, новое произведение! Такая «контаминация» отнюдь не была механической работой компилятора: при работе над текстами греческих комедий надо было органически связать между собой все вставки и переделки и, так сказать, уничтожить все швы, какие при неумелом обращении с материалом неприятно бросались бы в глаза. Теренций в своих прологах не боится указывать на некоторые подробности своих контаминаций; что же касается Плавта, то у него эти «швы» можно увидеть лишь при детальном разборе его произведений, да и то работа филологов в этом направлении все-таки не может выйти за пределы гипотез с большей или меньшей степенью вероятности, так как, повторяем, оригиналы комедий Плавта и Теренция в настоящее время утрачены.

Прием контаминации широко применялся выдающимися римскими драматургами, за исключением, по-видимому, Цецилия Стация; но не во всех литературных кругах контаминация встречала сочувствие и одобрение. Некоторые писатели, особенно же Луций Ланувин, произведения которого до нас не дошли, решительно восставали против этого литературного приема. Во времена Теренция по этому вопросу велась несомненно жестокая полемика, но знаем мы о ней очень мало: все сведения наши ограничиваются тем, что известно из прологов Теренция.

Таким образом, при изучении творчества Плавта (да и Теренция) следует иметь в виду, во-первых, то, что текстов греческих комедий, которые он, по данным наших источников, перерабатывал, не имеется, а во-вторых, что он весьма свободно обращался со своими оригиналами, создавая свои латинские комедии. Поэтому, рассматривая комедии Плавта, должно не стараться в первую очередь определить степень зависимости их от греческой комедии, о чем мы можем в большинстве случаев только догадываться, а рассматривать эти комедии как произведения самого Плавта, какими и считали их римляне, несмотря на возведение их знатоками литературы и самим Плавтом к греческим первоисточникам.

Греческая внешность комедий Плавта — то, что действие их происходит в Греции, то, что действующие лица носят греческие имена и одеты в греческое платье, — никоим образом не может затмить их римской, или италийской, сущности.

4. ОСНОВНЫЕ СЮЖЕТЫ КОМЕДИЙ ПЛАВТА

Даже при беглом обзоре комедий Плавта бросается в глаза их разнообразие, объясняемое несомненно разносторонним дарованием этого круп-

⁹ Хотя слово *contaminatio* и встречается в латинских текстах, но в том значении, в каком оно применяется в истории литературы, это термин новейший. Теренций в своих прологах употребляет не существительное *contaminatio*, а только глагол *contaminare* (дословно: марать, пятнать).

нейшего римского драматурга, его знанием сцены и умением учитывать требования и вкусы народа, смотревшего его пьесы в театре.

По сюжетам комедии Плавта можно разделить на такие группы: 1) комедии характеров, среди которых главное место занимает «Aulularia», 2) комедии из семейной жизни, каковы «Captivi» и «Trinummus», 3) комедии интриги — большинство пьес — «Pseudolus», «Bacchides» и др., 4) комедии-фарсы, каковы «Asinaria», «Persa» и «Casina», 5) мифологическая комедия, единственным примером которой является «Amphitruo».

Само собою разумеется, такое разделение очень условно, так как в комедиях из семейной жизни, например, имеются и элементы интриги, в комедиях интриги есть изображения характеров и т. д., но оно представляет известное удобство при разборе творчества Плавта.

Одна из лучших комедий Плавта, конец которой, к сожалению, утрачен, это — «Aulularia». Центральная фигура в этой комедии — бедный старик, неожиданно нашедший клад, который он боится потерять и с которым вместе с тем не знает, что делать. Все время переживая беспокойство и тревоги, он находит, наконец, выход из положения: отказывается от клада в пользу своего зятя. Эта комедия послужила образцом для Мольера в его комедии «Скупой», но французский драматург коренным образом изменил характер главного персонажа, обратив его в купца-скрягу¹⁰. Некоторые ситуации этой комедии были использованы А. Н. Островским в комедии «Не было ни гроша, да вдруг алтын», но, взяв эти ситуации, русский драматург создал однако совершенно самостоятельное, оригинальное произведение, очень тонко и глубоко продумав характер главного действующего лица и все подробности развития действия.

Комедия «Captivi» отличается, в противоположность большинству пьес Плавта, чрезвычайно скромным содержанием, что отмечено и в прологе этой комедии. Эта комедия, по словам Плавта,

Составлена совсем не так, как прочие:
В ней сквернословных нет стихов, не стоящих
Произнесенья; нет и вероломного
Здесь сводника, коварной нет распутницы,
Ни воина хвастливого.

(Перевод А. В. Артюшкова)

В этой комедии совершенно отсутствует эротический элемент, столь характерный для новоаттической комедии, нет в ней и преувеличенно буффонадных сцен, какими блещут комедии Плавта.

Комизм отдельных сцен не нарушает основного трогательного содержания комедии, основанного на дружбе двух молодых людей — пленников. Эта комедия принадлежит к лучшим произведениям Плавта.

Скромностью отличается и комедия «Trinummus», в основу которой, по словам пролога, положена комедия Филемона «Сокровище». С комедией «Пленники» сходна эта комедия и по мотиву самопожертвования, хотя и менее значительного, чем в «Пленниках».

Из комедий интриги следует остановиться на «Menacchmi» («Близнецы»), пьесе, неоднократно переведившейся на русский язык и ставившейся на нашей сцене. Действие здесь основано на всевозможных недоразумениях, возникающих на почве поразительного сходства двух

¹⁰ См. М. М. Покровский. Опыт нового толкования «Aulularia» Плавта. «Изв. АН СССР», 1932, № 5.

ПЛАВТ

братьев-близнецов. Эта чрезвычайно живая и веселая комедия послужила основой для «Комедии ошибок» Шекспира. Мотив полного сходства двух действующих лиц имеется у Плавта и в «Хвастливом воине (Miles gloriosus)» и в «Амфитрионе», где Юпитер принимает вид Амфитриона, а Меркурий — вид Амфитрионова раба.

Комедия «Псевдол», поставленная на сцене в 191 г. до н. э. (как видно из остатков дидаскалии к ней), написана Плавтом уже на склоне лет и принадлежала, по словам Цицерона («Катон Старший», 14, 50), к любимым пьесам римского драматурга. Вот ее содержание. Молодой афинянин Калидор влюблен в гетеру Феникию, но не в состоянии купить ее у хозяина-сводника (ленона). Между тем один военный сторговал уже Феникию за двадцать мин, заплатил пятнадцать, а остальные пять мин должен прислать с человеком, который передаст своднику письмо и получит купленную девушку. Раб Калидора Псевдол берется помочь Калидору, ловко обманывает посланца военного, получает от него письмо, достает деньги для уплаты своднику и добывает своему молодому господину его возлюбленную. Эта комедия замечательна по живости действия и по разработке интриги. Подобный Псевдолу раб-интриган выведен и в комедии «Бакхиды».

В комедии-фарсе «Asinaria», которую перевел в свое время А. Н. Островский¹¹, выведены легкомысленные сын и отец, которого ловит жена во время его любовных похождения. Подобная же тема разработана и в комедии «Casina».

Относящаяся к тому же виду комедий-фарсов пьеса «Перс» очень интересна тем, что в ней действуют рабы в отсутствие своего хозяина, так что обычного для Плавта сопоставления *в действии* господ и рабов здесь нет. Подобной комедии в известной нам римской и эллинистической литературе не имеется. «Перс» оканчивается веселой пирушкой рабов и выкупленной ими гетеры. Подобным же образом заканчивается и комедия «Стих».

Совершенно особняком от остальных комедий Плавта стоит «Амфитрион». Это — пародия на мифологический сюжет. В комедии изображены любовные похождения Юпитера, проникающего под видом фиванского полководца Амфитриона к его жене Алкмене, будущей матери Геркулеса. Сопутствующий Юпитеру Меркурий принимает вид слуги Амфитриона. Недоразумения, возникающие на почве совершенного сходства богов с людьми, обличье которых они приняли, напоминают недоразумения в комедии «Близнецы». Сам Плавт устами произносящего пролог Меркурия называет эту пьесу *трагикомедией*; он обращается к слушателям с такими словами:

Теперь сначала просьбу нашу выскажу,
А после содержание трагедии.
Что морщитесь, услышав про трагедию?
Я бог: не затруднюсь и превращением.
Хотите, шерestroю всю трагедию
В комедию, стихи ж оставлю прежние?
Хотите так? А впрочем, глупо спрашивать!
Как будто сам не знаю! Я ведь бог на то!
Вам смешанную дам трагикомедию.
Сплошную дать комедию никак нельзя:

¹¹ См. «Бюллетень Государственного литературного музея» за 1938 год. В 1950 г. рукопись перевода А. Н. Островского впервые изучена и подготовлена к печати Ф. А. Петровским.

РАННЯЯ РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Цари и боги в действии участвуют.
Так как же быть? А роль раба имеется:
Вот и возможно дать трагикомедию.

(Перевод А. В. Артюшкова)

Подобных «трагикомедий» не сохранилось ни в греческой, ни в римской литературе. Поэтому «Амфитрион» Плавта — единственное в своем роде произведение, по которому только и можно судить о составе мифологических драм-пародий, очень, видимо, распространенных в эллинистическую эпоху и хорошо нам известных по изображениям сцен из таких драм на вазовой живописи¹².

5. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Что касается состава действующих лиц в комедиях Плавта, то это — те же персонажи, что и в новой аттической комедии: старики-отцы, молодые (большую частью легкомысленные) их сыновья, гетеры, рабы, паразиты, сводники, воины и т. д.

Из всех этих действующих лиц первое место в комедиях Плавта принадлежит безусловно рабу: он самая деятельная и подробно разработанная личность из всех персонажей Плавта. Недаром в приведенном выше отрывке из пролога к «Амфитриону» жанр комедии определяется именно ролью раба. Рабы в комедиях Плавта далеко не однородны по своему характеру и способностям — от лукавого и ловкого проныры Псевдола до верного и идущего на самопожертвование Тиндара (в комедии «Пленники»). Но излюбленная Плавтом фигура — это раб ловкий, изворотливый, находчивый, плутоватый, а главное — далеко превосходящий по уму своих господ.

Надо сказать, что и остальные действующие лица у Плавта, несмотря на шаблонность их ролей в «комедии плаща», имеют во многих случаях хорошо обрисованные индивидуальные черты. Умение Плавта создавать в рамках обычного комического типажа живые и яркие лица и ловко ставить их в разнообразные сценические положения делает его комедии веселыми, жизненными, увлекательными, а порою и искренно трогательными. Правда, мы далеко не всегда в состоянии определить, что именно в комедиях Плавта принадлежит всецело ему самому, а что восходит к его греческим образцам, но, сравнивая его комедии с комедиями Теренция, мы сразу видим огромную разницу между этими двумя драматургами и в развитии действия, и в характеристике персонажей, не говоря уже о резком различии в стихотворно-музыкальном построении песенных частей («кантиков») у первого и второго поэта. Из этого сопоставления можно с достаточным основанием заключить, что Плавт несравненно свободнее обращался с греческим материалом, чем его преемник, который хотя и применял контаминацию, но в общем, видимо, довольно близко следовал своим греческим образцам.

6. РИМСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Несмотря на то, что действие комедий Плавта происходит, как это было обязательно для «комедии плаща», в каком-нибудь греческом городе, несмотря на то, что его действующие лица носят греческие имена, все-таки сквозь греческие «плащи» у Плавта постоянно сквозит римская одежда, не говоря уже о том, что порою Плавт вводит в свои комедии

¹² См. Историю греческой литературы, т. I, стр. 430 сл.

ПЛАВТ

чисто римские подробности, которых никак не могло быть в греческих комедиях. Одним из наиболее характерных в этом отношении эпизодов является третья сцена II акта комедии «Куркулион». Парасит Куркулион выбегает на сцену и кричит:

Эй, знакомцы, незнакомцы, прочь с дороги, службу я
Справить должен, все бегите, уходите все с пути,
Чтоб не сбил я вас головою, локтем, грудью иль ногой!
Вот представилось внезапно, сразу, скоро дело мне.
Нет теперь таких богатых, кто б меня остановил:
Будь стратеги, будь тиранны, или будь агораном,
Ни демархи, ни комархи, ни по славе равные:
Всякий свалится — вверх ногами станет он на улице!
Вон и греки-плащеносцы: голову покрыв, идут,
Начиненные томами, выступают с сумками...
Стали в кучку и толкуют меж собою, беглые,
Всю дорогу перегородили, лезут с изречениями;
Их всегда ты встретишь можешь за кабацким столиком.

(Перевод Ф. А. Петровского и С. В. Шервинского)

С одной стороны, здесь ясно просвечивает греческая подкладка: целый ряд слов почти сырьем заимствован из греческого обихода — стратеги, агораномы, демархи, комархи, но, с другой стороны, совершенно ясно, что так издеваться над «греками-плащеносцами» (Graeci palliati), как издевается Куркулион, мог только римлянин и притом в то время, когда Рим уже осознавал свое первенствующее положение в античном мире. Эти греческие «беглые» (Плавт употребляет греческое слово *dragetae*) со всеми их атрибутами и с их болтливостью несомненно введены самим Плавтом. То же надо сказать и об упомянутых выше греческих терминах: находиться в греческой комедии при таком контексте, как у Плавта, они никак не могли. Плавт перечисляет первые попавшиеся названия должностных лиц, да присоединяет к ним тут же «тиранна»! В бытовых и исторических условиях, в каких создавалась и развивалась новая аттическая комедия, для «тираннов» не могло быть места среди тех «богатых», каких упоминает Плавт. Все эти соображения заставляют считать, что данный текст представляет собой собственную композицию римского драматурга. Но уже чисто римскую окраску носит в той же комедии своего рода «парабаза»¹³, с которой выступает театральный костюмер (хораг), дающий советы зрителям (начало IV акта):

Объясню, кого и где вы можете найти легко.

.....
Нужен клятвенарушитель — так ступай к Комицию,
Лжец, хвастун — так отправляйся к храму Очистительной;
Дармоотрателей богатых под Базиликой найдешь;
Там же выцветшие девки, на все руки мастера;
Сотрапезнички-кутилы — возле Рынка рыбного,
А внизу на Рынке ходят — с состояньем, важные;
Посредине, у Кашала, — там пройдохи явные;
Болтуны, нахалы, всякий злой народ — над Озером.
.....
В Старом ряде же — дающие и берущие деньги в рост;
За святилищем Кастора — там уж люди темные;

¹³ См. Историю греческой литературы, т. I, стр. 429.

Дальше же, в квартале Тусском, — продавцы самих себя;
 На Велабре — мукомолы, мясники, гадалели,
 Те, кто сами извернутся и тебе помогут в том.

(Перевод Ф. А. Петровского и С. В. Шервинского)

Не может быть никакого сомнения в том, что Плавт в данном случае не зависит от греческого оригинала и что буффонная картина римского форума — между прочим, очень важная для нас по своим археологическим данным¹⁴ — карикатура современного Плавту Рима.

В комедиях Плавта можно легко найти и много других эпизодов, по которым ясно видна самостоятельность его творчества. Греческими источниками он пользовался как основой, по которой выводил свою собственную прихотливую италийскую ткань, давая этим толчок к развитию национальной латинской комедии — литературной ателлане и тогате, из которых последняя, однако, насколько можно судить по скудным ее фрагментам, не всегда шла по пути, намеченному Плавтом, но в лице некоторых своих представителей брала за образец все-таки новую аттическую комедию и произведения Теренция — «полу-Менандра», по выражению Юлия Цезаря (Светоний, Жизнь Теренция, 5), хотя и передела действующих лиц в римское платье. По крайней мере, полуироническое, полухвалебное замечание Горация («Послания», II, 1, 57), что тога Афрания, одного из виднейших авторов комедии тоги, была бы впору Менандру, можно понимать именно в этом смысле.

Оставаясь формально «паллиатистом», Плавт следовал установившейся традиции: не выходить из сюжетов и обстановки греческой комедии. В известном отношении эта традиция была даже очень выгодна и удобна, так как гораздо меньше стесняла его творчество, чем если бы он перенес действие своих комедий с греческой на римскую почву: гораздо удобнее было потешаться над глупыми богатыми стариками, хвастунами-военными и изображать проделки плутоватых рабов, водящих за нос своих господ, раз действие комедий происходило в Греции; в Риме не потерпели бы издевательства над римскими гражданами на сцене¹⁵, не потерпели бы раба, который оказывается умнее римского хозяина; римской публике (по крайней мере ее верхушке) веселее и приятнее было потешаться над греками, чем над своими земляками. Что же касается чуждых Риму времен Плавта обстановки, ситуаций и некоторых действующих лиц, вроде паразитов и блестящих, образованных гетер, то все это было вполне понятно римскому зрителю, независимо от того, к какому классу общества он принадлежал: греческие нравы и быт городов Великой Греции были настолько хорошо знакомы римлянам, современникам Плавта, что никакие «греческие» подробности его комедий не могли остаться непонятыми в Риме. К тому же Плавт, как мы видели, любил изображать своих «греков» в смешном, даже неприглядном виде, а это могло только льстить римскому самолюбию.

Таким образом, Плавт вводит в свои комедии такие сцены, каких никак не могло быть в новой аттической комедии.

Но Плавт не ограничивается такими вставными эпизодами, каковы приведенные выше два отрывка из монологов действующих лиц; он примени-

¹⁴ См. книгу: Архитектура античного мира. Сост. В. П. Зубов и Ф. А. Петровский. М., 1940, стр. 440 сл.

¹⁵ Упоминание сзната, в котором должен был заседать грек Деменет, на самом деле кутиющий вместе с сыном, никого из настоящих сенаторов, разумеется, оскорбить не могло (ст. 871 комедии «Asinaria»).

вает римские элементы к чисто греческой обстановке и, разрушая иллюзию этой обстановки, возвращает своих зрителей в Рим. Так, например, в комедии «Амфитрион» трусливый раб Сосия, выходя ночью из дома своего господина, боится столкнуться с фиванскими кутилами (ст. 154):

Ночь! Наша молодежь буйна, а я гуляю здесь один.

Но тут же греческая обстановка меняется на римскую: в следующем же стихе оказывается, что Сосия боится главным образом не греческих кутил, а римской городской стражи:

А ежели в тюрьму меня сведет сейчас ночной дозор?
Назавтра же из погреба — под плети? ¹⁶

В комедии «Псевдол» во время перебранки между сводником Баллионом, молодым Калидором и рабом его Псевдолом неожиданно упоминается чисто римская подробность — отпущение раба на волю перед *претором* (ст. 358); в той же комедии говорится о *диктаторе* «для аттических Афин» (ст. 415 сл.), Калидор жалуется на римский закон (закон Плетория), не дающий ему возможности занять денег (ст. 303 сл.). Подобных впадения римских бытовых, юридических, военных и других подробностей в греческую обстановку комедий у Плавта сколько угодно. В комедии «Бакхиды» (ст. 1075) встречается *квестор*, которому как заведующему римским казначейством раб Хрисал собирается продать свою добычу; в комедии «Близнецы» (ст. 590) упоминаются заведовавшие римскими рынками *эдилы*; в комедиях «Ослы» (ст. 871), «Казина» (ст. 536), «Эпидик» (ст. 189) — *сенат* и т. д. Но не только такие, большею частью буффонадные, подробности римской жизни вводит в свои комедии Плавт. Во многих сценах имеется гораздо более существенное изображение римского быта (ср., например, рассказ Сосии о подвигах Амфитриона в ст. 186 сл. комедии «Амфитрион», где этот полководец представлен настоящим римским главнокомандующим); вводятся рассуждения в духе римской официальной морали («Амфитрион», 645 сл. и 839—842, где Алкмена рассуждает совершенно как римская матрона). В комедиях Плавта мы на каждом шагу сталкиваемся с жизнью современного ему Рима и с его интересами, тесно связанными, как это совершенно естественно, с развитием римской мощи. В этом отношении очень характерна комедия «Пуниец», поставленная впервые на сцену, по всей вероятности, по окончании второй Пунической войны. Хотя знакомство с Великой Грецией началось у римлян задолго до столкновения с Карфагеном, Пунические войны еще больше расширили их кругозор и знакомство с соседними народами. Поэтому вполне понятно, что Плавт решился вывести в своей комедии «пунийца», придав ему забавные и смешные черты. Доказательством хорошего знакомства римлян с их заморскими соперниками служит в этой комедии то, что выведенный Плавтом карфагенинин, носящий прекрасно известное римлянам имя полководца Ганнона, говорит не только на латинском, но и на родном своем языке.

Отличное знакомство Плавта с современным ему бытом и умение брать из него живые и занимательные подробности создали этому драматургу крупный успех на римской сцене. Плавт не был ни аристократом,

¹⁶ Quid faciam nunc, si tresviri me in carcerem compegerint?

Ind' cras quasi e promptaria cella depromar ad flagrum...

См. статью: акад. М. М. Покровский. О литературных приемах, стиле и стихосложении Плавта (Тит Макций Плавт. Избранные комедии, т. II, стр. XXXI).

ни даже клиентом аристократов, подобно Эннию и Пакувию; он был человеком из народа, жившим среди толпы и превосходно с ней знакомым; он сам имел дело не только с римлянами и италийцами, но и с греками — и с паразитами, и с рабами, и с купцами, и со всем мелким римским людом в убогой одежде — с «народишком в рубахах» (*popellus tunicatus*), по выражению Горация («Послания», I, 7, 65). Но успехом пользовался Плавт не только у низших, а и у высших слоев римского общества, и когда Гораций говорит, обращаясь к Пизонам («Наука поэзии», 270 сл.),

Правда, хвалили прапрадеды ваши в комедиях Плавта
Соль и размер,

то под этими «прапрадедами» (*proavi*) надо разуметь, конечно, не толпу, а наиболее образованные и культурные слои римского общества, к которым в следующих за Плавтом поколениях принадлежали и Цицерон, восторговавшийся языком Плавта («Об ораторе», III, 12, 45), и Варрон, отдававший ему пальму первенства в ряду других римских комиков за его речь («Менипповы сатуры», ст. 399 В), и учитель Варрона и Цицерона Элий Стилон, считавший, что «если бы Музы заговорили по-латыни, они стали бы говорить языком Плавта» (Квинтилиан, «Образование оратора», X, 1, 99). Это объясняется исключительным талантом Плавта, с которым он изображает самые разнообразные слои общества, и умением пользоваться всеми средствами латинского языка во всех его стилях, начиная с самого простого и кончая изысканнейшей речью. Но это еще не все: удивительное знание сцены дает Плавту средства непрерывно занимать зрителей, для чего он охотно жертвует цельностью композиции своих комедий, постоянно нарушая последовательное развитие действия откровенной буффонадой, сверкающей самым веселым, хотя часто и грубым, юмором, до которого римляне были большие охотники.

Ради театральных эффектов Плавт прибегает и к неожиданному усилению театральной иллюзии, как, например, в комедии «Горшок» (*Aulu-lagia*), в которой Эвклион просит зрителей выдать ему вора, утащившего клад (ст. 713 сл.), и к разрушению этой иллюзии, как, например, в комедии «Перс», где на вопрос раба Сатуриона, откуда взять наряд для переодевания, его приятель, раб Токсил, советует взять нужный наряд у театрального костюмера (хорага):

Возьми у костюмера. Он
Обязан дать. На это и сданы ему
Эдлами костюмы театральные.

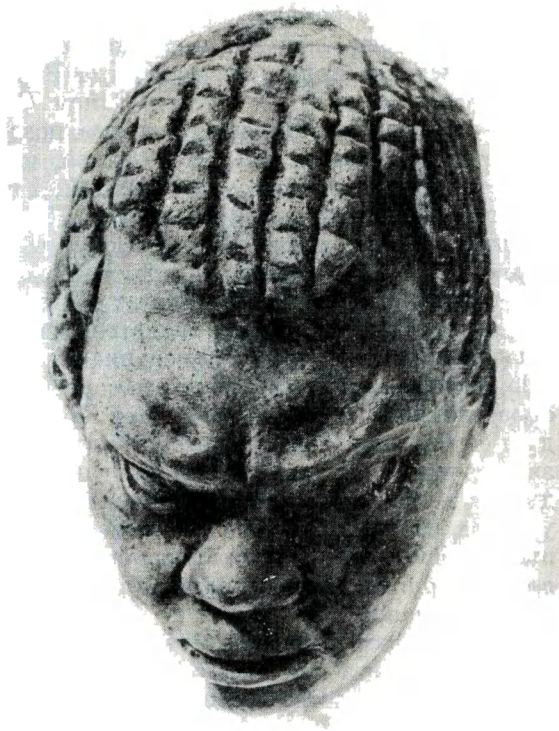
7. МЕТРИКА И ЯЗЫК ПЛАВТА

Одна особенность Плавта, резко отличающая его и от Теренция и, насколько мы можем об этом судить, от Менандра, служит лишним доказательством высокого уровня, которого достигла в его лице римская литература. Эта особенность — исключительное богатство и разработанность стихосложения Плавта, бросающиеся в глаза при изучении песенных, лирических частей его комедий, «кантиков», певшихся или произносившихся речитативом под музыкальный аккомпанемент. Эти кантики, в отличие от ямбических частей комедий, какими написаны диалоги римских комедий и какие носят название *diverbia* (разговоры, диалоги), написаны у Плавта чрезвычайно разнообразными и сложными размерами и могут

быть сопоставлены в этом отношении с хорами классических греческих драм и с хоровой преческой лирикой. Новая аттическая комедия, судя по сохранившимся ее фрагментам, таких кантиков не применяла. Решить вопрос о степени самостоятельности Плавта в построении этих песенных частей комедий в настоящее время невозможно за недостатком материала для сопоставлений, но несомненно то, что Плавт и в области стихосложения является совершенным мастером. Для нас его исключительно развитая полиметрия, т. е. разнообразие стихотворных размеров, все его «бесчисленные метры» — *pumeri in pumeri*, как названы они в эпитафии Плавта, приводимой Авлом Геллием (I, 24), важны, повторяем, и для оценки той степени совершенства, какой достигла ко времени второй Пунической войны римская драматическая поэзия, и того эстетического уровня, какой должен был быть у театральной публики времен Плавта, у публики, которая любила и ценила не только остроумные шутки его комедий, но и музыкальную их форму.

Что касается шуток и острот, которыми переполнены комедии Плавта, то их особенно любили римские зрители. Это был тот «италийский укус» — *Italum acetum* — по выражению Горация («Сатиры», I, 7, ст. 32), которым пропитаны и фесценнины, и солдатские песенки о триумфаторах, и многие лучшие произведения даже самой изысканной римской литературы вплоть до Марциала и позднейших ее представителей вроде Авзония (IV в. н. э.). И недаром уже на закате римской литературы Макробий (IV—V вв. н. э.) восторгается шутками Плавта, сопоставляя его с Цицероном и считая обоих самыми остроумными и самыми красноречивыми людьми древности («Сатурналии», II, 1, 10).

В одной из своих «Сатур» Марк Теренций Варрон говорит, что из трех римских комедиографов «в содержании получает пальму первенства Цецилий, в изображении характеров — Теренций, а в речах — Плавт». Этот отзыв крупнейшего античного знатока Плавта, сохранившийся в лексикографом Нониуме (р. 374, 5 М.), прямо указывает на исключительное совершенство языка Плавта. По свидетельству Авла Геллия (III, 3), Варрон считал, что наблюдение над языком — лучший способ определить, действительно ли принадлежат Плавту те или другие комедии, ходившие под



Маска негра

его именем, и восстановить авторство Плавта в тех случаях, когда какая-нибудь комедия приписывалась другому автору. Так, например, Варрон, исследуя язык комедии «Воеотиа», которую приписывали неизвестному нам драматургу Аквиллию, признавал ее безусловно принадлежащей Плавту¹⁷. Высокая оценка языка Плавта Варроном подтверждается, как уже было указано, и его учителем Элием Стилоном и позднейшим писателем — Макробием. Но свидетельства поздних римских авторов, даже таких знатоков языка, как Авл Геллий, называющий Плавта изысканнейшим мастером латинской речи (VI, 17, 4 и I, 7, 17), или Иероним, превозносящий Плавтово красноречие («К Паммахию», LVII, 10) и любивший почитать Плавта после почных бдений и сокрушений о грехах («К Евстохию», XXII, 30), не могут иметь такого значения, как свидетельства знатоков латинской речи ближайших к Плавту поколений. Одним из наиболее интересных и важных свидетельств о превосходных качествах языка Плавта служит поэтому замечание Цицерона, вложенное им в диалоге «Об ораторе» в уста старшего его современника, оратора Красса. «Раз есть определенный говор, — рассуждает Красс, — свойственный римскому народу и его столице, говор, в котором ничто не может оскорбить наш слух, вызвать чувство неудовольствия или упрек, ничто не может звучать на чуждый лад или отзываться чужеземной речью, то будем следовать ему и учиться избегать не только деревенской грубости, но также и чужеземных особенностей. По крайней мере, когда я слушаю мою тещу Лелию — ведь женщины легче сохраняют нетронутым характер старины, так как, не сталкиваясь с разноречием широкой толпы, всегда остаются верными первым урокам раннего детства, — когда я ее слушаю, мне кажется, что я слышу Плавта или Невия» (III, 12, 44 сл.).

Это свидетельство Цицерона весьма ценно тем, что указывает не только на совершенство языка Плавта, но и на то, что речь этого драматурга воспроизводила живой разговорный язык, которым говорили в Риме все настоящие римляне — весь римский народ — и который был понятен и близок слушателям Плавта своею простотою и естественностью. А мы хорошо знаем, что в дальнейшем на всем протяжении развития латинского языка именно язык Плавта с его выразительностью и естественной художественностью возобладал в живой речи над языком речей Цицерона, «Энеиды» Вергилия, «Анналов» Тацита и других образцовых произведений, написанных хотя и превосходно выработанным, но все же искусственным литературным латинским языком. Огромная заслуга Плавта в том, что он сумел отвоевать литературные права живого латинского языка, права которого отстаивал, между прочим, и Цицерон в своих письмах,

¹⁷ Отрывок из этой комедии, приводимый Геллием, — самый крупный из отдельных фрагментов Плавта. Вот его перевод (говорит голодный паразит):

Пусть сгинет тот, кто первый изобрел часы,
Поставил первый измеритель солнечный!
День раздробил на части он мне бедному!
В ребячестве часами было брюхо мне
Гораздо лучше и вернее этих всех:
Оно внушит тебе, бывало, — ты и ешь
(Не в счет идет то время, если нет еды);
Теперь, когда и есть еда, а не едят,
Понуда не позволит солнцу этого,
И город так часами переполнен весь!
Иссох народ, чуть ползает от голода.

(Перевод М. М. Покровского)

ПЛАВТ

применявший в них народный язык (*sermo plebeius*) и повседневные выражения (*cotidianae verba*), какие употребительны в разговоре «с друзьями, женами, детьми и слугами» и какие достаточны «для передачи желаемого смысла, не нуждаясь ни в какой надуманности и отделке» (Цицерон, Письма к близким, IX, 21, 1; Квинтилиан, «Образование оратора», XII, 10, 40).

Говоря живым, повседневным языком, персонажи Плавта охотно пародируют вместе с тем и торжественную речь, причем комизм таких пародий усиливается еще тем, что их применяют главным образом рабы. Одна из лучших пародий этого рода есть в комедии «Бакхиды» (ст. 925—978), где раб Хрисал в длинном напыщенном монологе ставит себя выше всех троянских героев. Пародирует Плавт и любителей вставлять в латинскую речь греческие слова и выражения, подбирая при этом такие из них, какие были понятны и знакомы самой широкой публике. Примером разговора со вставками греческих слов может служить разговор раба Псевдола с его хозяином Симоном («Псевдол», ст. 481—488). В латинскую речь здесь вставлены хорошо знакомые всем зрителям греческие *καὶ γάρ* (да), *καὶ τοῦτο καὶ γάρ*, *καὶ τοῦτο καὶ* (и это да).

Симон. Ну что, не правда ли, сынок во флейтщицу
Влюбился?
Псевдол. *Καὶ γάρ.*
Симон. Хочет, что ли, выкупить?
Псевдол. *Καὶ τοῦτο καὶ γάρ.*
Симон. Так! А правда, двадцать мин
Ты хочешь у меня стащить?
Псевдол. Я? У тебя?
Симон. Сынку отдать, чтоб он подружку выкупил?
Ну, говори: *καὶ τοῦτο καὶ!*
Псевдол. *Καὶ τοῦτο καὶ.*

Очевидно, греческий язык был хорошо знаком зрителям комедий Плавта именно в той мере, в какой применяет его Плавт в своих комедиях, давая греческие имена действующим лицам и строя на них свои каламбуры (см., например, каламбур с именем Хрисал в «Бакхидах», 362 и с названием Эпидама в «Менекмах», 263 сл.), пародируя изречение «Я знаю только то, что я ничего не знаю» («Бакхиды», 324) и т. д. Всем этим греческим материалом пересыпаны комедии Плавта и, разумеется, все это придумано самим Плавтом, а не заимствовано из греческих комедий, где такие остроты не имели бы смысла, по крайней мере, в большинстве случаев.



Глава VIII

ЭННИЙ

1. Сведения о жизни и произведениях Энния.— 2. «Анналы» Энния. Введение в римский эпос дактилического гексаметра.— 3. Драматические произведения Энния.— 4. Сатуры и другие произведения Энния.

1. СВЕДЕНИЯ О ЖИЗНИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЭННИЯ

Полное имя Энния было *Квинт Энний* (Quintus Ennius), но обычно он называется просто Ennius. Это имя засвидетельствовано в собственной эпиграмме Энния, приведенной Цицероном в «Тускуланских беседах» (I, 15, 34), а полное имя дается Цицероном в речи «За Архия» (22), Корнелием Непотом в «Катоне» (1, 4) и многими другими авторами.

Связной биографии Энния, кроме краткой заметки у Иеронима (в дополнении к хронике Евсевия — г. 1777), не имеется. Сведения о жизни Энния извлекаются из фрагментов сочинений самого Энния, из сообщений Цицерона, Корнелия Непота и других авторов. Год рождения — 239 г. до н. э. и смерти — 169 г. до н. э. устанавливаются по свидетельству Цицерона («Катон», 14 и «Брут», 78), а также по данным Авла Геллия (XVII, 21, 43; ср. Цицерон, «Брут», 72 и «Тускуланские беседы», I, 1, 3). Место рождения — калабрийский город Рудии — указано самим Эннием в его «Анналах» (фр. 377 V).

Ни одного из произведений Энния не дошло до нас целиком, но фрагментов — много. Самые значительные фрагменты сохранились в сочинениях Цицерона («О гадании», I, 20, 40 сл. и I, 48, 107 сл.). Произведения Энния были следующие: «Летопись», или «Анналы» (Annales); трагедии: «Ахилл» (Achilles), «Аякс» (Ajax), «Алкмеон» (Alcmeo), «Александр» (Alexander), «Андромаха» (Andromacha), «Андромеда» (Andromeda), «Атамант» (Athamas), «Кресфонт» (Cresphontes), «Эрехтей» (Erechtheus), «Эвмениды» (Eumenides), «Выкуп Гектора» (Hectoris lytra), «Гекуба» (Hecuba), «Ифигения» (Iphigenia), «Медея» (Medea), «Меланиппа» (Melanippa), «Немея» (Nemea), «Феникс» (Phoenix), «Теламон» (Telamo), «Телеф» (Telephus), «Фiest» (Thyestes); претексты: «Амбракия» (Ambracia), «Сабинянки» (Sabinae); комедии: «Трактирщица» (Caupuncula), «Панкратиаст» (Pancratiastes); сатуры (?); «Сципион» (Scipio); эпиграммы; «Сота» (Sota); «Правила» (Praecepta); «Лакомые блюда» (Hedypagetica); «Эпихарм» (Epicharmus); «Эвгемер» (Euhemerus); фрагменты из неизвестных произведений. Ввиду того что сколько-нибудь подробных и точных свидетельств о некоторых из перечисленных произведений не сохранилось, приведенный список не может претендовать на исчерпывающую полноту.

Начиная со времен Цицерона, имеется много свидетельств о деятельности Энния и о нем самом. Эти свидетельства собраны в издании сохранив-



Битва богов с гигантами.

шихся фрагментов Энния, выпущенном Фаленом (*Euphoniae poesis reliquiae. Recensuit Iohannes Vahlen. Lipsiae, B. G. Teubner, 1854*. Второе издание этого труда вышло в 1903 г., третье — в 1928). В 1885 г. фрагменты Энния были изданы в Петербурге Луккианом Мюллером (*Q. Enni carminum reliquiae. Accedunt Sp. Naevi belli Poenici quae supersunt*). Новейшее издание фрагментов Энния, сделанное Вармингтоном, вышло в Лондоне в 1935 г. (*Remains of Old Latin. Vol. I. London, 1935*). Некоторые отрывки Энния переведены В. И. Модестовым в его «Лекциях по истории римской литературы».

По завершении длительной борьбы за господство в Италии, борьбы, длившейся около двух с половиной столетий и начавшейся покорением Лация, а закончившейся завоеванием в 265 г. до н. э. этрусского города Волсиний, Рим стал могущественным городом-государством, которому вскоре удалось выйти на первое место среди прочих государств Средиземноморья.

В области литературы создание своеобразного культурного целого, начавшееся с деятельности Ливия Андроника, Невия и Плавта, становится особенно хорошо видно по творчеству Квинта Энния, которого Цицерон считал крупнейшим римским эпическим поэтом («Речь за Бальба», § 22; «Брут», § 19; «О лучшем роде ораторов», § 1 и др.), и который, по словам Горация, сделался для римлян вторым Гомером («Послания», II, 1, 50).

Молодость Энния приходится на время второй войны Рима с Карфагеном (218—201 гг. до н. э.), а в дальнейшей своей жизни Энний был свидетелем все больших и больших успехов римлян в завоевании бассейна Средиземного моря.

Квинт Энний родился в городе Рудиях в Калабрии, или Мессапии. Хотя Рудии и не были греческой колонией, подобно Таренту и другим городам Великой Греции, но этот древний итальянский город¹ давно уже был эллинизирован, как и вся область мессапов. Понятно поэтому, что Энний, принадлежавший к местной аристократии и даже считавший себя потомком древних мессапских царей (Овидий, «Искусство любви», III, 409, Силий Италик и др.), с ранних лет находился под воздействием греческой культуры и был «полугреком», как называет его Светоний («О грамматиках», 1). Кроме осского языка, на котором говорили на его родине, и языка греческого, Энний, вероятно уже в юности, прекрасно владел и латинским языком. Авл Геллий (XVII, 17, 1) сообщает: «Квинт Энний сказывал, что у него три естества (*tria corda*), потому что он умел говорить и по-гречески, и по-осски, и по-латыни». Где получил Энний свое несомненно очень тщательное образование, нам неизвестно, но вполне вероятно, что в Таренте. Косвенным указанием на это может служить ошибочное свидетельство Иеронима (хроника, г. 1777, 240 до н. э.), который говорит, будто родиной Энния был Тарент. Будучи воспитан в аристократической среде, симпатии которой были на стороне Рима, Энний был горячим приверженцем римлян и во вторую Пуническую войну служил в римском войске в должности центуриона. На острове Сардинии в 204 г. до н. э. ему посчастливилось обратить на себя внимание Марка Порция Катона, бывшего в это время квестором. Уезжая из Сардинии в Рим, Катон взял с собою Энния, который и остался жить в Риме, поселившись в плебейском квартале на Авентине, где находился храм Минервы, служивший со времен Ливия Андроника местом собрания поэтов и актеров (Фест, р. 333 М). По свидетельству Светония («О грамматиках», 1), Энний первое время занимался преподаванием греческого языка, очевидно для заработка, и в

¹ Поэт Силий Италик называет родину Энния «древние Рудии» (XII, ст. 393).

то же время не забывал и о литературной деятельности. Смерть Ливия Андроника и удаление из Рима Невия создали выгодные условия для выступления Энния в качестве драматурга, который мог не опасаться таких сильных соперников в области трагедии. В Риме Энний сблизился со Сципионом Африканским Старшим, как об этом свидетельствует Цицерон в речи за поэта Архия (§ 22), и с другими влиятельными римлянами, поклонниками греческой культуры, разоидясь, таким образом, с противником увлечения ею и первоначальным своим покровителем Катона Старшим. О дружеских отношениях Энния со Сципионами свидетельствует и анекдот, приводимый Цицероном в диалоге «Об ораторе» (II, 68, 276) и, возможно, рассказанный самим Эннием в его «сатурах»: однажды Сципион Назика (который был консулом в 191 г. до н. э.) пришел к Эннию, но служанка его непустила, сказав, что Энния нет дома. Назика ушел, но заподозрил, что поэт был дома, и только приказал служанке не говорить этого. Несколько дней спустя, когда Энний пришел к Назике и, подойдя к двери, его окликнул, Назика крикнул, что его нет дома. Тогда Энний сказал: «Что ж, ты думаешь, я не узнаю твоего голоса?». Тогда Назика ответил: «Как тебе не стыдно. Когда я спрашивал тебя, я поверил твоей служанке, что тебя нет дома, а ты не веришь мне самому».

В 189 г. до н. э. консул Марк Фульвий Нобилиор, отправляясь на войну в Этолию, взял с собою Энния в качестве поэта, который должен был воспевать его подвиги (Цицерон, «Речь за поэта Архия», 27; «Тускуланские беседы», I, 2, 3; «Брут», 20, 79), что Энний и выполнил как в своих «Анналах», так и в претексте «Амбракия», названной по имени этолийского города, взятого и разгромленного Фульвием. О том, каково было прославление Фульвия Эннием, мы судить не можем, так как от книги XV «Анналов», где описывалась Этолийская война, и от «Амбракии» не сохранилось ничего, кроме нескольких разрозненных фрагментов². В 184 г. до н. э. (в год смерти Плавта) Энний при содействии сына Фульвия, Квинта, получил римское гражданство, что представлялось высшим почетом потому что мессапских царей:

Стали мы римлянами, а были мы раньше рудийцы³.—

воскликает Энний в «Анналах» (377 V).

Близость Энния к Сципионам и к другим представителям римского нобилитета, которые были поборниками приобщения Рима к эллинистической культуре, вызывала, по-видимому резкое недовольство Катона, защитника старых римских обычаев. В речи Катона, о которой мы знаем по «Тускуланским беседам» Цицерона (I, 2, 3), были жестокие упреки Марку Фульвию за то, что он взял с собою в свою провинцию поэтов. Это,

² Фален относит к XV книге «Анналов» стихи, в которых описывается мужество одного воинского трибуна:

Словно как дождь на трибуна отвсюду слетаются стрелы:
Щит прокололи, бречит вместе с ним от копейных ударов
Медный шпикан, но не может никто проколоть его тело.
Целые тучи он копий ломает и прочь отрясает.
Тело его покрывается потом и сильно томится,
Некогда даже вдохнуть ему: истряпе снова бросают
Быстрые стрелы рукою в него, все его разжигая.

(Перевод В. И. Модестова)

Но Вармингтон относит этот отрывок к книге XVI.

³ Nos sumus Romani, qui fuimus ante Rudini.

очевидно, намек именно на Энния. Более чем вероятно, что Катон был решительно против «эллинизации» римской поэзии, которую проводил Энний; а уж такие философские произведения Энния, как «Эпихарм» и «Эвгемер», вызывали сильное беспокойство консервативного блюстителя нравов и римской религии.

Что касается отношений Энния с современными ему писателями, то об этом нам почти ничего не известно. С Ливием Андроником и Невием Энний не был знаком лично, так как ко времени переселения Энния в Рим первый умер, а второй был удален из Рима. Никаких данных нет у нас и о возможности личного знакомства Энния с Плавтом. Иероним в своей хронике (г. 1838, 179 до н. э.) упоминает о близости Энния с комедиографом Цецилием, которого называет товарищем (*contubernalis*) Энния. Несомненно, Энний хорошо знал Пакувия, который был его племянником (Плиний, «Естественная история», XXXV, 19). Но Пакувий, бывший долгое время живописцем, вряд ли переменял свою профессию и стал драматургом при жизни Энния, хотя, по свидетельству какого-то Помпилия, приводимому Нопием (88, 5—7), Пакувий был учеником своего дяди.

Несмотря на близость к римскому нобилитету, Энний до конца своей жизни был небогат и вел очень скромный образ жизни, о чем свидетельствует Цицерон («Катон Старший», 5, 14). Он умер, по указанию того же Цицерона («Брут», 20, 78), в возрасте семидесяти лет, после постановки на сцене своей трагедии «Фиест». Известие о том, что Энний был погребен в фамильном склепе Сципионов, более чем сомнительно; нельзя считать достоверным и то, что там стояло его изваяние (Цицерон, «Речь за поэта Архия», 9, 22; Тит Ливий, XXXVIII, 56; Овидий, «Наука любви», III, 409). В склепе Сципионов портрета Энния при раскопках найдено не было. Изображений Энния не сохранилось, а на найденной в Риме скульптуре с надписью «Кв. Энний» нет головы⁴. Цицерон сохранил в «Тускуланских беседах» (I, 15, 34) четыре стиха из эпиграммы-эпитафии, сочиненной самим Эннием. Если соединить эти стихи в одно целое, то они звучат так:

Граждане, о посмотрите на старого Энния образ!

Славные он воспевал подвиги ваших отцов.

Не почитайте меня ни слезами, ни похоронным

Воплем. Зачем? Я живой буду порхать по устам⁵.

(Перевод В. И. Модестова)

В римской литературной традиции образ Энния как человека обрисован несколькими очень живыми чертами. По словам Горация, Энний приступал к описанию сражений не иначе, как выпив вина («Послания», I, 19, 17):

Ennius ipse pater numquam nisi potus ad arma prosiluit dicenda.

Цицерон («Катон Старший», 5, 14) говорит, что Энний так относился к своей старости и бедности, будто и то и другое не только его не тяготят,

⁴ См. журнал «Not. d. scav.», 1903, 600 сл.

⁵ *Aspicite, o cives, senis Enni imaginis formam.*

*Hic vestrum panxit maxima facta patrum.
Nemo me lacrimis decoret, nec funera fletu
Faxit. Cur? Volito vivus per ora virum.*

но даже доставляют ему удовольствие. Авл Геллий («Аттические ночи», XII, 4, 4) приводит слова Элия Стилона о том, что Энний изобразил самого себя в собеседнике «знатного человека» (*viri nobilis*) Сервилия Гемина и дает этот автопортрет из седьмой книги «Анналов»:

Так он сказал и зовет того, с кем частенько охотно
 Стол и беседу свою, и дел своих бремя делил он
 Тяжкое, после того как придет, бывало, усталый,
 Целый день проведя в обсуждении дел государства
 Или на Форуме он, или в собраньи священном Сената.
 Вольно беседовал с ним о важных делах и ничтожных
 И поболтать был не прочь, говоря и серьезно и в шутку
 Без опасенья о всем, что только на мысль приходило.
 Наедине и при всех ему был мил и любезен
 Тот, у кого на уме и быть никогда не могло бы
 Сделать дурное, хотя бы нечаянно; верный, ученый,
 Ласков он был и речист; довольный своим и счастливый,
 Тонкий, умевший сказать все вовремя, вежливый; слова
 Даром не тратил; хранил об усопших он память; преклонный
 Возраст его умудрил в обычаях древних и новых;
 Много законов былых — и людских и божеских ведал;
 И промолчать он умел и сказать свое веское слово.
 К этому мужу в бою Сервилий так обратился.

(Перевод Ф. А. Петровского)

Очень вероятно, что Геллий не совсем правильно понял слова Элия Стилона, которые (как он говорит) ему передавали. Известный ученый древности, учитель Марка Теренция Варрона, мог говорить, что, описывая другого человека, Энний, сам того не подозревая, дал свой собственный портрет, а вовсе не восхвалил себя самого сознательно. Но как бы то ни было, в римской традиции остался образ Энния не только как крупнейшего поэта, но и как очень привлекательного и легкого по характеру человека.

Указание одного из поздних латинских авторов — Серена Саммоника — в его медицинской поэме о том, что Энний умер от подагры (о чем говорит и Иероним в своей хронике под 1849 г.) в результате пристрастия к вину, не имеет, по всей вероятности, документальной ценности, а основано, в конечном счете, на словах самого Энния —

Я стихотворец только при подагре⁶

и на том шуточном замечании Горация, которое было приведено выше.

2. «АННАЛЫ» ЭННИЯ. ВВЕДЕНИЕ В РИМСКИЙ ЭПОС ДАКТИЛИЧЕСКОГО ГЕКСАМЕТРА

Будучи чрезвычайно одаренным и очень образованным писателем, Энний обладал и необыкновенно разносторонним талантом: он писал и драматические произведения, и философские, и всевозможную «смесь», или «сатуры», и эпиграммы. Но произведением, которое принесло ему наибольшую славу, была его «Летопись», или «Анналы». Эта поэма Энния представляет собою, действительно, летопись, или «деяния», римского народа с легендарных времен почти до конца жизни самого поэта. Мы, конечно, не в состоянии судить об этой поэме в целом, поскольку ни одна из книг (или «иссен») этой поэмы не дошла до нас не только полностью,

⁶ Numquam poetor, nisi si podager («Сатуры», 64 V).



Воин с конем
Апулийская ойнохоя IV в. до н. э.

но хотя бы в значительных отрывках; но, тем не менее, дошедшие до нас фрагменты, из которых в самых крупных не более как по 17—20 стихотворных строк, а большинство состоит всего из одного стиха, дают нам возможность судить о творчестве Энния как эпического поэта.

По прямому свидетельству грамматика Диомеда, указывающего, что «латинский эпос впервые достойно написан Эннием»⁷, «Анналы» разделялись на восемнадцать книг. Насколько можно судить по указанию Плиния Старшего (VII, 101), Энний первоначально закончил свою «Летопись» книгой XV. К заключительным стихам этой книги новейшие издатели относят две строчки, сохраненные Цицероном в его диалоге «О старости» (5, 14):

Так же, как борзый конь, после многих побед олимпийских
Бременем лет отягчен, предается ныне шокою.

(Перевод Ф. А. Петровского)

Относительно содержания отдельных книг «Анналов» серьезных разногласий между исследователями не существует; лишь тема книги VII представлялась одно время спорной: была ли описана в ней первая Пуническая война, или же Энний опустил ее, поскольку она была уже описана Невием в особой поэме. Последнее предположение, как оно ни представляется на первый взгляд странным, более вероятно, потому что оно основано на прямом свидетельстве Цицерона («Брут», 19, 75), великолепного знатока и поклонника Энния. Цицерон говорит, что Энний пропустил (*reliquisset*) в своем изложении первую Пуническую войну, так как

...О ней писали другие

Виршами, коими встарь сказители пели и Фавны⁸,—

т. е. Невий, к стихам которого, как видно из слов Цицерона, Энний относился с пренебрежением, но уважал его труд.

Итак, содержание «Анналов» по отдельным книгам было приблизительно следующее:

Книга I. От разрушения Троя до смерти Ромула.

Книга II. Царствование Нумы, Туллы и Анка.

Книга III. Царствование трех последних царей и установление Республики.

Книга IV. События до нашествия галлов в 390 г. до н. э.

Книга V. Самнитские войны до 295 г. до н. э.; приготовления к войне с Пирром.

Книга VI. Война с Пирром.

Книга VII. История возникновения Карфагена: обзор событий первой Пунической войны⁹, захват римлянами Сардинии и Корсики, покорение иллирийских пиратов и завоевание Цисальпийской Галлии.

Книга VIII. Вторая Пуническая война до отправления Сципиона в Африку.

Книга IX. Военные действия Сципиона в Африке; мир 201 г. до н. э.

⁷ *Epos latinum primus digne scripsit Ennius, qui res Romanorum decem et octo complexus est libris eqs.* («Grammatici latini», I, p. 484 K).

⁸ ...*Scripsere alii rem*

Versibus, quos olim Fauni vatesque canebant. (Cic., «Brut.», 19,75+18,71 = «Ann.» 213—214 V).

⁹ Полное умолчание о событиях первой войны с Карфагеном представляется нам маловероятным.

ЭНИИ

Книга X. Македонские войны с Филиппом до заключения перемирия после битвы при Киноскефалах.

Книги XI—XII. События от мира 196 г. до начала войны с Антиохом III (192—191); Катон в Риме и Испании.

Книга XIII. Война с Антиохом, вероятно, до отъезда Луция Сципиона и Публия Сципиона Африканского на Восток в 190 г. до н. э.

Книга XIV. От отъезда Сципионов до конца войны с Антиохом.

Книга XV. Этолийская война 189 г. и прославление Марка Фульвия Нобилиора. Первоначальное заключение «Анналов».

Книга XVI. От 188 г. до окончания Истрийской войны.

Книги XVII—XVIII. Дальнейшие события, вероятно, до начала Третьей Македонской войны.

Из первой книги «Анналов» сохранились благодаря Цицерону два значительных отрывка, из которых в одном дочь Энея Илия рассказывает о своем пророческом сне (35—51 V), а в другом описывается птицагадание Ромула и Рема при основании города (77—96 V). Так как оба эти отрывка дают хорошее представление о величавой простоте Энноева рассказа, особенно в сравнении с повышенной торжественностью пафоса Вергилия, мы приводим их в переводе В. И. Модестова с небольшими изменениями.

Сновидение Илии

Лишь, пробудившись, старуха внесла к ней дрожащей рукою
Свет, как она начинает в испуге от сна со слезами:

«Дочь Эвридики, которую обидел твой родитель!

Силы и жизнь в моем теле теперь как бы вовсе исчезли.

Вижу я сон, что прекрасный мужчина меня увлекает

На берег к ивам приятным, к местам незнакомым; потом я

Вижу, родная сестра, что хожу я одна и не скоро

След нахожу и ищу я тебя, но с духом собраться

Я не могу, и нога моя ищет напрасно тропинки.

Вдруг слышу голос отца я, который меня призывает

В этих словах: «Много, дочь моя, горя тебе придется

Перенести, но затем из реки тебе счастье восстанет».

Только, родная, отец мой лишь это сказал, вдруг исчез он.

И не могла я увидеть его, вожделенного сердцу,

Хоть воздевала я руки в пространство небесной лазури,

Слезно прося, и хоть голосом нежным его призывала.

В эту минуту от сна пробудилась я с бьющимся сердцем».

Птицагадание Ромула и Рема

Много заботясь в то время о троне и сильно желая

Царствовать, знамений ищут они, указаний по птицам.

Вот предается гаданию Рем и один наблюдает,

Не полетит ли счастливая птица; но Ромул прекрасный

На Авентинской горе следит за птицами также.

Ромой ли город назвать или Реморою, спорили братья.

Всех занимало людей, кто из них императором будет.

Идут. Точно так, когда консул сигнал подает к состязанию,

Смотрят все, полные жадного взора, на переторжки,

Как из ворот расписных появятся вдруг колесницы:

Так и теперь ждал народ и смотрел с напряженным вниманьем,

РАННЯЯ РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кто из двух братьев одержит победу и царствовать будет.
Бледное солнце меж тем ушло в пренеподнюю ночь.
Вот пробивается вновь блистательный свет его в небо:
Вдруг с высоты полетела со счастьем крастная птица
Слева; в то самое время явилось и солнце золотое.
Трижды четыре из птиц священных спускаются с неба;
К счастливым и благолепным местам они все устремились.
Видит из этого Ромул, что он предпочтен божествами.
Царственный трон и земля по гадачью ему отдаются.

Небольшой отрывок из книги VI, в котором описывается приготовление погребального костра интересен тем, что его, следуя указанию Макробия, можно сравнить с подобным же описанием в VI книге «Энеиды» Вергилия и с приготовлениями к погребению Патрокла в XXIII песне «Илиады» Гомера, бывшего постоянным образцом и для Энния, и для Вергилия, и для всех остальных эпических поэтов античного мира.

Энний (187 — 191 V)

Между высоких деревьев идут; топорами срубая,
Мощные рушат они дубы, повергается падуб,
Ясень, ломаясь, трещит, и высокие падают ели,
Стройные сосен стволы сокрушают; и вся загудела
С прохотом громам крутом лесов густолиственных чаща.

(Перевод Ф. А. Петровского)

Вергилий («Энеида», VI, 179 — 182)

В лес стародавний идут, к звериным глубоким берлогам.
Падают пихты, трещит топорами подрубленный падуб,
Ясень бревна и дуб на поленья колется ломкий
Клином, и катятся вниз стволы огромные вязаов.

(Перевод Ф. А. Петровского)

«Илиада» (XXIII, 114 — 122)

Взяв топоры древорубные в руки и верви крутые,
Воины к роцам пускаются; мулы идут перед ними;
Часто с крутизн на крутизны, то вкось их, то вдоль переходят.
К холмам пришедши лесистым обильной потоками Иды,
Вдруг изопренною медью высоковетвистые дубы
Дружно рубить начинают; кругом они с треском ужасным
Падают; быстро древа рассекая на бревна, данаи
К мулам вяжут; и мулы землю копытами роя,
Рвутся на поле ровное выйти сквозь частый кустарник.

(Перевод Н. И. Гнедича)

Макробий приводит несколько таких сопоставлений Энния с Вергилием и Гомером, которые чрезвычайно интересны для изучения развития античной поэтики и литературной преемственности, считавшейся не только не пороком, но обязанностью писателей. Приведем еще одно из этих сопоставлений.

ЭННИЙ

Энний («Анналы», 514 — 518 V)

Тут, подобно коню, который, отъездивши в стойле,
Силы набрался и прочь, порвав свою привязь, несется
Вдаль по простору полей, по зеленым пастбищам тучным,
Грудь высоко подняв; он привок тустой потрясает
И, разгоревшись, уста орошает белою пеной.

(Перевод Ф. А. Петровского)

Вергилий («Энеида» XI 492 — 497)

Привязь порвав, наконец, из стойла так выбегает
Конь на свободу лихой: завладевши полем открытым,
Или к стадам кобылиц и к пастбищам тучным несется,
Или к знакомой реке, где привык купаться издавна,
Мчитя и весело ржет, подымая высокую шею,
Силы избытком кипит, и по ветру грива играет.

(Перевод С. М. Соловьева)

«Илиада» (VI, 506 — 511)

Словно конь застоялый, ячмёном раскормленный в яслях,
Привязь расторгнув, летит, поражая копытами поле;
Пламенный, плавать обькший в потоке широкотекущем,
Пышет, голову «верху несет, вокруг рамен его мощных
Грива играет; красой благородною сам он гордится;
Быстро стопы его мчат к кобылицам и паствам знакомым.

(Перевод Н. И. Гнедича)

Но хотя сравнительно крупные отрывки из «Анналов» и дают возможность судить и о стиле и о содержании этого произведения, в огромном большинстве случаев мы можем оценить лишь словесные формы, стихосложение и некоторые другие приемы в эпической поэтике Энния. Так, можно видеть любовь его к риторической технике, к антитезам, к метафорам и т. п. Очень интересно то, что Энний использует не только греческую, но и латинскую поэтику, что видно по широкому применению им народного латинского приема — аллитераций, которыми он иной раз даже злоупотреблял, как можно судить по знаменитому его стиху:

O Tite, tute, Tati, tibi tanta, tyranne, tulisti¹⁰.

По тем фрагментам, какие дошли до нас от произведений Невия, мы можем заключить, что он прекрасно был знаком с греческой литературой и пользовался ее образцами; но все-таки его стремлением было, по-видимому, создание самостоятельной, национальной римской литературы, независимой от греческих источников, чрезмерное влияние которых могло быть опасно. Энний делает очень смелый шаг вперед; он чувствует силу Рима не только в области военной, но и в области литературной. Он совершенно не боится пользоваться греческими образцами, не опасается, что благотворное воздействие греческой культуры разрушит римскую литературную самобытность и самостоятельность. И вот Энний решает на коренную реформу в римском национальном эпосе. Он берет за основу изложения событий не сухую официальную летопись, а греческий эпос, в ко-

¹⁰ Можно передать этот стих так:

О Тит Татий, тиранн, тяготят тебя тяготы эти.

тором и в эллипстической литературе сохранялись гомеровские традиции. Берет он и его стихотворный размер — дактилический гексаметр. Эта последняя реформа Энния была исключительно важна для дальнейшего развития римской поэзии.

Даже грек Ливий Андроник не решился на это и свой перевод «Одиссеи», как мы видели, сделал сатурнийским размером. О Невии нечего и говорить, так как применение исконного италийского стиха отвечало его задачам. Но насколько можно судить на основании скудных фрагментов, сохранившихся от эпических произведений этих обоих предшественников Энния, и по немногочисленным эпиграфическим памятникам, сатурнийский стих был мало пригоден для создания поэтических произведений широкого и свободного стиля с картинными описаниями, драматизацией действия, изображением душевных движений действующих лиц — словом, со всеми художественными чертами, какие впоследствии развились в классическом латинском эпосе, начало которому положил поэт,

...С живописных высот Геликона
Первый принесший венок, сплетенный из зелени вечной,
Средь италийских племен стяжавший блестящую славу¹¹,

т. е. Квинт Энний.

Латинский гексаметр Энния не представляет, однако, простой копии греческого героического стиха. Энний прекрасно чувствовал разницу между системой греческого и латинского произношения, отлично сознавал необходимость считаться с экспираторным латинским ударением, которого не было в греческой поэзии, но которое безусловно играло немаловажную роль в исконном латинском стихосложении. Не вдаваясь здесь в подробный разбор своеобразия латинского гексаметра, многие особенности которого неизбежно остаются неясными, отметим только две черты его, которые для него характерны и которые мы находим уже у Энния. Это — совпадение в конце гексаметра метрических ударений с ударениями слов по закону второго слога от конца и исключительное преобладание цезуры «пентемимерс» (у Энния 88%), т. е. явления, необъяснимые из греческой практики. Хотя гексаметры Энния и казались позднейшим римским поэтам грубыми и несовершенными, но тем не менее в них наличествует и сила и изящество. Само собою разумеется, что введение в латинскую поэзию совершенно нового для нее размера мог сделать человек, для которого латинский язык был вторым родным языком и который обладал тончайшим музыкальным слухом. После Энния сатурнийский стих был совершенно изгнан из римской литературы и сохранялся еще несколько десятков лет лишь в некоторых надписях.

3. ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЭННИЯ

От комедий Энния до нас дошло всего навсего шесть достоверных, но совершенно разрозненных стихов¹², и судить о его творчестве в этом

¹¹ ...Qui primus amoeno
Detulit ex Helicone perenni fronde clara coronam,
Per gentis Italae hominum quae clara clueret
(*Lucretius, I, 117, sq.*)

¹² Если только не относить к комедиям отрывка в шесть стихов, который, по указанию Доната (к «Формиону» Теренция, II, 2, 25), принадлежит к «Сатурам».

жанре совершенно невозможно. Но если судить по канону римских комедиографов Волкация Седигита (ок. 100 г. до н. э.), то Эниий не обладал комическим талантом: Волкаций ставит его на самом последнем месте, да и то только «древности ради» (*causa antiquitatis*).

От трагедий Эниия дошло сравнительно много отрывков и заглавий, судя по которым, как и по некоторым свидетельствам, большинство его трагедий восходит к оригиналам Эврипида. Главные фрагменты трагедий Эниия сохранены Цицероном в сочинениях философских, риторических и в речах. Одним из наиболее важных для истории литературы фрагментов является, однако, фрагмент, сохраненный не Цицероном, а анонимным автором «Риторики к Гереннию» (II, 22, 34). Это — начальные стихи «Медей», которые произносит кормилица:

О если б в роще Пелиона не упасть
 На землю соснам, топорами срубленным,
 И никогда оттуда не возник бы тот
 Корабль, который ныне именуется
 Арго, ибо на нем мужи аргосские
 Пошли украсть, по воле царской Пелия,
 В Колхиду шкуру овна золоторунного!
 Не бросила бы дома госпожа моя
 Медея, злой любовью в сердце ранена¹³.

(Перевод Ф. А. Петровского)

В диалоге «О пределах добра и зла» (I, 2, 4) Цицерон говорит о дословной передаче латинскими поэтами греческих оригиналов (*fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas*), напоминая при этом первые слова из приведенных нами стихов Эниия (*Utinam ne in nemore*). Но в своих «Академиках» (I, 3, 10) Цицерон указывает, что римские трагики — Эниий, Пакувий, Акций и многие другие — передавали греческие оригиналы не дословно, а воспроизводили только смысл их (*non verba, sed vim Graecorum expresserunt poetarum*). Как видно по начальным стихам Энииевой «Медей», да и по другим дошедшим до нас фрагментам, второе указание более правильно. Эниий, как и другие трагики, сознательно изменял греческий текст, причем не в одних мелочах, а часто коренным образом, приспособляя греческие трагедии ко вкусам римской публики. Отступал Эниий и от точной передачи стихотворных размеров своих оригиналов: греческие анапесты обращаются у него порою в ямбические сенарии, а триметры — в трохаические септенарии и октонарии. Сравните, например, стихи 293—295 из «Гекабы» Эврипида, которые, по мнению Геллия (XI, 4, 1), удачно переданы Эниием (199—201 V), со стихами этого латинского поэта. Здесь сразу бросается в глаза намеренная латинизация подлинника: триметры обратились в привычный римлянам трохаический септенарий, греческие ἀδοῦντες и δοῦντες в *ignobiles* и *orulentī*, и введено чисто латинское сопоставление *aequa non aequae*, передающее αὐτός οὐ ταύτόν. Однако не всегда такая латинизация была удачной. Так, вполне понятно разъяснив этимологию слова «Арго» в «Медее», Эниий (по прямому указанию Варрона — «О латинском языке», VII, 82)

¹³ Ср. стихи 1—8 «Медей» Эврипида: «О как хорошо было бы, если бы корабль Арго не пролетел между сизыми Симплегадами, быстро несясь в страну колхов; если бы в лощине Пелиона никогда не падала сосна под ударами топора и не дала бы весел в руки благородных мужей, которые ходили за золотым руном для Пелия! Тогда госпожа моя Медея не поплыла бы к твердыням земли Иолкской, увлеченная любовью к Язону...».

забывает, что имеет дело не с греческими, а с римскими слушателями и дает этимологию имен «Александр» и «Андромаха» так же, как ее дает Эврипид. Но, вероятно, подобные промахи у Энния бывали не часто¹⁴.

Стремление Энния дать чисто римскую окраску некоторым эпизодам в переделках греческих трагедий видно и по введению им таких терминов, как «император» или «плебс»; в «Андромеде» (120 V) и в «Кресфонте» (129 V) мы находим чисто римскую юридическую формулу из законов о браке. Это стремление сильно влияло у Энния и на такие формальные моменты, как скопление слов с одинаковыми окончаниями; например, *nitescere, frondescere, pubescere, incurvescere* во фрагменте из «Эвменид» (151—153 V), применение аллитерации, о чем уже было упомянуто, и т. д.

Находим мы во фрагментах Энния и следы *контаминации* греческих пьес. Не говоря уже о контаминировании драм одного автора, как соединение трилогии Эсхила в одну трагедию («Выкуп Гектора»), значительный отрывок которой приводит Цицерон в «Тускуланских беседах» (II, 16, 38), можно подозревать контаминацию в «Ифигении», где Энний, видимо, соединил в одно целое трагедию Эврипида и не дошедшую до нас трагедию Софокла. На это указывает замена хора девушек (как у Эврипида) хором воинов (см. 234—241 V). Косвенным доказательством контаминации в «Ифигении» может служить и рассказ о принесении в жертву Ифигении (Ифианассы) в I книге поэмы Лукреция, рассказ, возможно, восходящий к софокловской части трагедии Энния¹⁵. Подобные замены, несомненно, отвечали вкусам римской публики.

4. САТУРЫ И ДРУГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЭННИЯ

Мы не можем составить себе сколько-нибудь полного представления о том, что такое были так называемые «сатуры» Энния, от которых дошло очень немного и всего лишь два сравнительно крупных фрагмента — один в шесть, а другой в четыре стиха. Но, по-видимому, в этой «смеси» были и басни, и философские рассуждения, облеченные в художественную форму, вроде, например, спора между Жизнью и Смертью, и беседы поэта о себе самом. К этим последним принадлежит известное признание Энния, что он может сочинять стихи лишь во время приступов подагры, словом, это была настоящая литературная смесь.

От произведения, посвященного Сципиону Африканскому — «Сципион», осталось также очень мало отрывков, из которых замечательны несколько стихов с великолепным описанием «мировой тишины» (9—12 V), с гораздо большими подробностями, чем у воспроизводящего ту же картину Вергилия («Энеида», X, 100 сл.). Подобно «сатурам», «Сципион» был также написан разными размерами, изменявшимися, очевидно, в зависимости от темпа развития изображаемых событий — подвигов Сципиона во вторую Пуническую войну.

Сципиону Африканскому посвятил Энний и несколько эпиграмм, написанных в новой для римлян форме элегического двустипхия.

Гастрономическая поэма «Лакомые блюда» — своеобразная пародия на эпос, восходящая к греческому поэту IV в. до н. э. Архестрату из Гелы, —

¹⁴ Ср. также: *Id quod nostri caelum memorant. Grai perhibent aethera* (То, что у нас называют небом, греки именуют эфиром) у Пакувия (89R). Пакувий забывает, что эти слова говорит грек, а не римлянин.

¹⁵ См. Лу к р е ц и й. О природе вещей, т. II. Изд-во АН СССР, 1947, стр. 315.

известна нам лишь по цитате в 11 стихов, приведенных *по памяти* Апулеем в его «Апологии» (39) ¹⁶.

От дидактической поэмы «Эпихарм», в которой излагалось материалистическое учение о природе и «четырех элементах», сохранилось всего 14 строк, из которых лишь один связный фрагмент в 5 стихов в трактате Варрона о латинском языке (V, 65).

Значительное количество текстов дошло из Энноева «Эвгемера». Тексты эти приводятся христианским писателем Лактанцием, цитирующим их для опровержения языческих верований. Все эти отрывки представляют большой интерес не только для суждения о творчестве Энния, но и потому, что это — пересказ не дошедшего до нас сочинения самого Эвгемера, доказывавшего, что боги и мифологические персонажи на самом деле люди, лишь в преданиях обратившиеся в божеств и героев. В настоящее время считается, что Лактанций цитирует не подлинный текст Энния, а прозаический пересказ его. Подлинник Энния, очень вероятно, был написан трохаическими септенариями.

От произведений «Сота» ¹⁷ и «Правила» сохранились лишь ничтожные следы.

Остаются еще претексты Энния, но о них мы можем судить почти только по заглавиям. Однако можно с уверенностью сказать, что «Амбракия» была написана на современную Эннию историческую тему — на взятие Амбраки Марком Фульвием Нобилиором, которого, как уже указано, Энний сопровождал в Этолию, сюжет же «Сабинянок», очевидно, касался легендарной римской истории.

В творчестве Энния можно и по фрагментам и по свидетельствам античных авторов видеть необыкновенное многообразие его таланта и недюжинное мастерство. Это, действительно, был крупнейший писатель, оказавший огромное влияние на всю позднейшую римскую поэзию. Цицерон, Лукреций и Вергилий были пламенными поклонниками Энния, и последние два продолжали следовать созданной им традиции в римском героическом эпосе и дидактической поэзии; но Гораций иронически относился к этому поэту. Овидий тоже не считает Энния образцовым поэтом, признавая за ним лишь крупное дарование, значительно превосходившее его писательское мастерство (см. «Тристии», II, 424), которое в раннем своем произведении — «Amores» (I, 15, 19) даже начисто отрицает. Но тем не менее для нас Энний — один из крупнейших римских поэтов, а презрительные отзывы о нем Горация не имеют силы, так же как и высокомерное отношение к Эннию «подголосков Эвфориона», т. е. Катуллы, Кальвы и прочих «неотериков», о котором говорит Цицерон в «Тускуланских беседах» (III, 19, 44), восторгаясь «Андромедой» Энния. Отдельные стихи Энния вошли в поговорки, из которых одна — о том, что верный друг узнается в беде (*Amicus certus in re incerta cernitur* — трагедия «Гекуба», 210 V), — прекрасно известна начинающим изучать латинский язык.

По своему мировоззрению Энний был несомненным рационалистом, чем и объясняется его пристрастие к Эврипиду, но вместе с тем в своих философских убеждениях это — определенный эклектик, у которого материалистические воззрения уживаются с верованиями в загробный мир и в переселение душ (Энний говорит в начале «Анчалов» о переселении в него души Гомера!), над чем смеется даже его поклонник Лукреций

¹⁶ Стихи эти в переводе С. П. Маркиша помещены в книге: Апулей. Апология... М., Изд-во АН СССР, 1956, стр. 42.

¹⁷ Название «Sota» или «Asota» непонятно.

РАННЯЯ РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

(I, 102—126). Отрицательное отношение Энния ко всяким суевериям, гаданиям и т. п. видно, например, из отрывка, приводимого Цицероном в сочинении «О гадании» (I, 58, 132):

Суеверные пророки, колдуны бесстыжие,
Иль невежды, или безумцы, или просто нищие,
Кто, своей тропы не зная, наставляют нас на путь.

(Перевод Ф. А. Петровского)

А в начале «Анналов (10—12 V) мы находим пифагорейско-платоновское представление о внедрении души в тело после его рождения на свет:

Яйца сначала кладет существ оперенных породе,
Но без души, а потом в птенцов по велению божью
Входит душа.

(Перевод Ф. А. Петровского)



Глава IX

РИМСКАЯ «КОМЕДИЯ ПЛАЩА» ПОСЛЕ ПЛАВТА

Каноны римских комиков.—2. Цецилий Стаций.

1. КАНОНЫ РИМСКИХ КОМИКОВ

Согласно канону Волкация Седигита, зрелый возраст которого приходится (предположительно) на 100 г. до н. э., латинские авторы «комедии плаща» распределяются по своему литературному достоинству в таком нисходящем порядке: 1) Цецилий Стаций, 2) Плавт, 3) Невий, 4) Лициний, 5) Атилий, 6) Теренций, 7) Турпилий, 8) Трабея, 9) Лусций, 10) Эвний.

Этот «канон» римских комиков, сохраненный нам Авлом Геллием (XV, 24), не дает никаких сведений о творчестве авторов «комедии плаща» и содержит чисто субъективные оценки. Выдающийся знаток литературы Марк Теренций Варрон (согласно цитате, приводимой Нонием Марцеллом, р. 374, 5 М.) в своей сатуре «Парменон» говорит лишь о трех авторах «комедии плаща» — Цецилии, Теренции и Плавте. Эти три автора, видимо, и считались обычно наиболее выдающимися представителями «комедии плаща». Такой же «канон» из трех поэтов приводит и Квинтилиан (X, 1, 99).

Но из произведений комиков, перечисленных и в каноне Волкация Седигита, и в «тройном» каноне Варрона и Квинтилиана, до нас дошли только произведения Плавта и Теренция. Об остальных авторах «комедии плаща» мы можем судить лишь по скудным фрагментам и по названиям их пьес в цитатах у древних писателей. Из произведений авторов, перечисленных Волкацием Седигитом (кроме Плавта, Невия, Теренция и Цецилия), от Лициния сохранилось два стиха, от Атилия — три, от Трабеи — шесть, от Лусция Ланувина — ничего (кроме двух стихов, предположительно восстанавливаемых Фридрихом Лео), от Эвния, которого Волкаций Седигит ставит на десятое место лишь «из уважения к древности», — четыре; и только от Секста Турпилия — сотни две, но совершенно разрозненных стихов. Даже время жизни этих комедиографов невозможно сколько-нибудь точно определить за самыми редкими исключениями. Словом, о том цветнике (или «цвете») поэтов, о котором говорится в после-плавтовском прологе к комедии «Casina»¹, мы, в сущности, ничего не знаем.

¹ ...В ту пору цвет поэтов был,
Отшедших ныне к общему пристанищу.

(ст. 18 сл. Перевод В. А. Артюшкова)

2. ЦЕЦИЛИЙ СТАЦИИ

Единственный драматург-комик, кроме Плавта и Теренция, о котором мы можем составить несколько более ясное представление, это *Цецилий Стаций* (Caecilius Statius).

Цецилий Стаций был младшим современником Плавта. Родился он, вероятно, около 220 г. до н. э., а умер в 168 г. или немного позднее. Он происходил из галльского племени инсубров, живших в Северной Италии и покоренных римлянами в 222 г. Цецилий был привезен в Рим, по-видимому, еще ребенком и был рабом в доме какого-то римского гражданина из рода Цецилиев, отпустившего его на свободу и давшего ему свое родовое имя (nomen) — Цецилий; а Стаций было рабским именем нашего комедиографа. Цецилий Стаций находился в дружественных отношениях с Эннием и даже жил вместе с ним в одном доме. Подобно Плавту, он писал, насколько нам известно, только комедии. Сведения о Цецилии Стации передают Иероним, Авл Геллий и другие римские авторы (Иероним, Хроника под 1838, 179 г. до н. э.; Авл Геллий, IV, 20, 13; Цицерон, Письма к Аттику, VII, 3, 10 и др.).

Так как ни одной комедии Цецилия до нас не дошло даже в скольконибудь значительных отрывках, то непосредственно о его творчестве можно судить лишь по небольшим фрагментам в цитатах у разных древних авторов. Всего сохранилось от Цецилия около 290 строк и заглавия 42 его комедий. Эти заглавия отчасти латинские, отчасти греческие, отчасти греческие и латинские вместе.

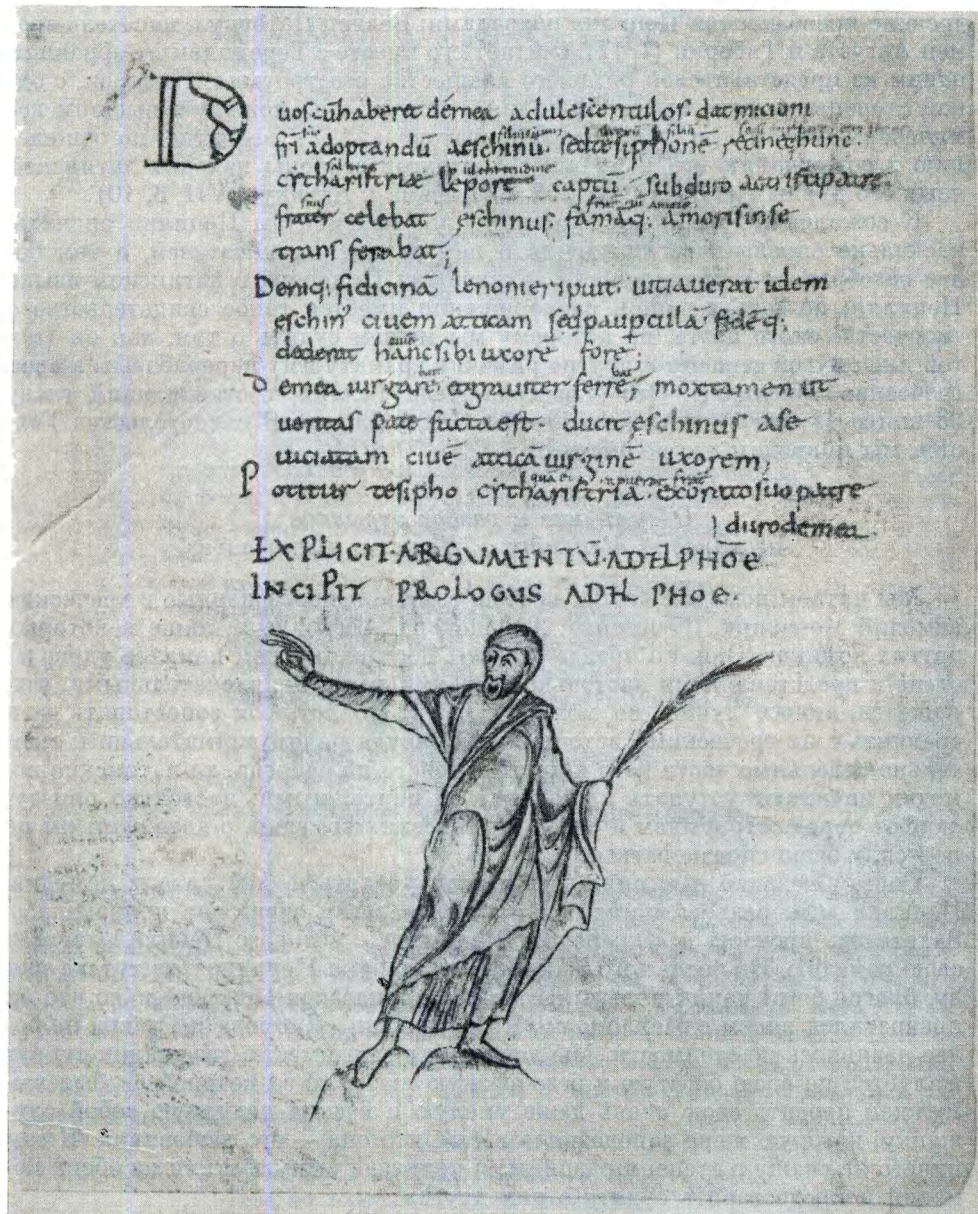
Свою литературную карьеру Цецилий начал, как можно предполагать, около 190 г. до н. э., т. е. еще при жизни Плавта. Первые шаги его на драматическом поприще были неудачны, может быть, отчасти потому, что на римской сцене в это время царил Плавт. Но, по счастью для Цецилия, он встретил сочувствие со стороны директора труппы, Амбивия Турпиона, бывшего одним из выдающихся актеров, который поддержал начинающего драматурга, и с течением времени пьесы его стали нравиться публике.

Насколько можно судить по заглавиям комедий, Цецилий использовал произведения разных греческих драматургов, представителей новой аттической комедии — Менандра, Посидиппа, Алексиды, Филемона. Но он, как можно предполагать, ближе, чем Плавт, следовал своим греческим образцам, не прибегая при этом и к контаминации; во всяком случае, Теренций, оправдывая свои контаминации авторитетом Невия, Плавта и Энния (в прологе к комедии «*Andria*»), на Цецилия не ссылается.

В сохранившихся отрывках из комедий Цецилия встречаются те же фигуры, что и у Плавта: рабы, паразиты, гетеры, сыновья-моты, отцы-старика и т. д. Некоторые, сравнительно крупные отрывки позволяют судить, что у Цецилия не было недостатка в умении метко обрисовывать характеры и ловко использовать комические положения; его мастерство в этом отношении было, вероятно, близко к мастерству самого Плавта. Фрагментом, по которому можно судить о комическом таланте Цецилия, служит, например, отрывок из комедии «*Synephebi*» (Друзья юности), приводимый Цицероном в диалоге «О природе богов» (III, 29, 72). В этом отрывке сын-мот жалуется на то, что отец его слишком щедр и уступчив, лишая этим самым сына удовольствия надуть его, как поступают сыновья со строгими и скупыми отцами.

Отзывы древних писателей о Цецилии по большей части очень благоприятны: Варрон хвалит его за искусство построения пьес и за то, что он превосходно изображает аффекты (см. Charisius, GL. I, p. 241, 27)²;

² См. H. Funaioli. Grammaticae Romanae fragmenta, vol. I, p. 203. Соединяя



Изображение актера, читающего пролог к «Адельфам» Теренция
 Амбросиевский список X в.

Гораций («Послания», II, 1, 59) передаст мнения критиков, хваливших Цецилия за его *gravitas*³. Квинтилиан (X, 1, 99) свидетельствует, что древние превозносили Цецилия похвалами; Веллей Патеркул, писатель времен Августа и Тиберия (I, 17), считает его вместе с Теренцием и Афранием одним из представителей римского изящества и остроумия. Цицерон, с одной стороны, высоко ставит Цецилия, называя его «пожалуй, высшим комическим поэтом» («О лучшем роде ораторов», 1, 2), вероятно, по отношению к содержанию его комедий, а с другой стороны находит латинский язык его дурным («Брут», 74, 258 и «Письма к Аттику», VII, 3, 10).

К сожалению, мы не в состоянии по фрагментам Цецилия оценить, насколько справедливы суждения о нем латинских писателей, а тем более разобраться в правильности заключения Цицерона о латинском языке Цецилия; но зато в нашем распоряжении имеется такое свидетельство о творчестве этого поэта, по которому мы можем судить о том, как он (а в той или другой степени и другие римские драматурги) перерабатывал свои греческие оригиналы. Это — рассказ Авла Геллия, составляющий главу 23 книги II его «Аттических ночей». Ввиду важности свидетельства Геллия, мы приводим его полностью.

*Обсуждение и разбор отрывков
из комедий Менандра и Цецилия «Ожерелье»*

Мы читаем комедии наших поэтов, взятые и переведенные с греческих комедий Менандра, Посидиппа, Аполлодора, Алексиды и также некоторых других комиков. Они, по правде сказать, доставляют нам немалое удовольствие и представляются настолько остроумными и привлекательными, что, кажется, ничего лучше не может и быть. Но вот если сопоставить их и сравнить с их греческими источниками, сличая рядом внимательно и тщательно отдельные части того и другого текста по очереди, то латинские комедии начинают уступать и становиться ничтожными; настолько они тускнеют перед остроумием и блеском греческих комедий, с которыми им не под силу было соревноваться.

Совсем недавно нам пришлось в этом убедиться. Мы читали комедию Цецилия «Ожерелье»; и мне и присутствовавшим очень она понравилась. Захотелось прочесть и «Ожерелье» Менандра, с которого Цецилий перевел свою комедию. Но после того, как мы взяли в руки Менандра, то тут же сразу, благие боги! каким вялым и холодным показался Цецилий и во что он превратился рядом с Менандром! Право, оружие Диомеды и Главка не более разнилось по стоимости. Мы дочитали до того места, где старик-супруг жалуется на свою богатую и безобразную жену, из-за которой он был вынужден продать свою очень даже умелую и весьма недурную собой служанку, которую жена заподозрила в том, что она — его любовница. Я сам ничего не скажу о степени разницы; я приказал вынуть стихи из обеих комедий и предоставить судить о них другим.

Менандр говорит так:

Во всю ноздрю теперь моя супружница
Храпеть спокойно может. Дело сделано
Великое и славное: из дома вон
Обидчицу изгнали, как хотелось ей,

свидетельства разных писателей, Фунайоли попытался восстановить в достаточно полном виде суждение Варрона о Цецилии.

³ По-видимому, «сила слова», «серьезность».

«КОМЕДИЯ ПЛАЩА» ПОСЛЕ ПЛАВТА

Чтоб все кругом глядели с изумлением
В лицо Кробилы и в жене чтоб видели
Мою хозяйку. А взглянуть-то на нее —
Ослица в обезьянах,— все так думают.
А что до ночи, всяких без виновницы,
Пожалуй, лучше помолчать. Кробилу я
На горе взял с шестнадцатью талантами
И с носом в целый локоть! А надменности
Такой, что разве стерпишь? Олимпийский Зевс,
Клянусь тобой с Афиной!.. Нет, невысказано!
А девушку-служанку работающую —
Пойди, найди-ка ей взамен такую же!

А Цецилий так:

Да, жалок тот, кто скрыть своих несчастий неспособен:
Молчу, а все улыка мне дела и вид супруги.
Опряхь приданого — всё дрянь; мужья, на мне учитесь:
Свободен я и город цел, а сам служу как пленник.
Везде жена за мной следит, всех радостей лишает.
Пока ее я смерти жду, живу в живых, как мертвый.
Затвердила, что живу я тайно со служанкою;
Плачем, просьбами, мольбами, руганью заставила
Чтоб ее продал я. Вот теперь, думаю,
Со сверстницами и родными говорит:
«Кто из вас в цвете лет обуздать мог бы так
Муженька своего
И добиться того, что старуха смогла:
Отнять у мужа своего наложницу?»
Вот о чем пойдет беседа: загрызут меня совсем.

Помимо совершенно неодинаковой привлекательности содержания и выражений в этих двух произведениях, я, по правде сказать, постоянно обращаю внимание на то, что написанное Менандром очень ясно, уместно и остроумно Цецилий не попытался передать даже там, где он мог бы это сделать, но опустил, как совершенно не стоящее внимания, и ввел что-то шутовское; а взятое Менандром из самой сущности человеческой жизни — простое, правдивое и увлекательное — зачем-то выпустил. Вот ведь, как тот же старик-супруг, беседуя с другим стариком-соседом и жалуясь на надменность жены, говорит:

Жена моя с приданным — ведьма. Ты не знал?
Тебе не говорил я? Всем командует —
И домом, и полями — всем решительно,
Клянусь я Аполлоном, зло зловредное;
Всем досаждают, а не только мне она,
Нет, еще больше сыну, дочке.
[Сосед] Дело дрянь,
Я знаю.

А Цецилий предпочел оказаться здесь скорее смешным, чем быть в соответствии и согласии с характером выведенного лица. Вот как он это испортил:

РАННЯЯ РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

[Сосед] Жена твоя сварлива, да?
[Супруг] Тебе-то что?
[Сосед] А все-таки?
[Супруг] Противно вспомнить! Стоит мне
Домой вернуться, сесть, сейчас же целовать
Безвкусно лезет.
[Сосед] Что ж дурного? Правильно:
Чтоб все, что выпил ты вне дома, выbleвал.

А вот еще отрывок обеих комедий, из которого ясно, как надо судить о нем. Смысл этого отрывка приблизительно такой: дочь одного бедного человека была обещана на ночном празднестве. Отец об этом не знал, и дочь считалась девицей. После бесчестия она понесла, и в положенный срок начались роды. Верный раб, стоявший у дверей дома и не знавший ни о том, что хозяйская дочь должна родить, ни о насилии над нею, услышал стоны и плач роженицы. Он испуган, рассержен, подозревает, жалеет, горюет. Все эти душевные движения и переживания сильны и ярки в греческой комедии, а у Цецилия все это вяло и лишено всякого достоинства и прелести. Затем, когда раб узнал из расспросов о случившемся, он выступает у Менандра так:

Злосчастен трижды тот бедняк, что женится
Да и детей рождает. Безрассуден тот,
Кому поддержки нет ни где в нужде его,
И кто, когда позор его откроется,
Укрыть его от всех не может деньгами,
Но без защиты продолжает жизнь влачить
Под вечной непогодой. Доля есть ему
Во всех несчастьях, ну а в счастья доли нет.
Один вот этот горемыка — всем пример.

Посмотрим, постарался ли Цецилий приблизиться к искренности и правдивости этих слов. Вот соответствующие Менандровым стихи Цецилия: слова урезаны и сшиты из трагической напыщенности:

...Тот несчастный, право, человек,
Который беден и детей на нищету обрек:
Его судьбина вся всегда открыта всем.
А вот позор богатых никому не зрим.

Итак, как я уже сказал, когда я читаю это отдельно у Цецилия, все кажется отнюдь не лишенным приятности и вовсе не вялым: когда же я сравниваю и сопоставляю его с греческим текстом, я думаю, что Цецилию нечего было гнаться за тем, чего догнать он не мог.

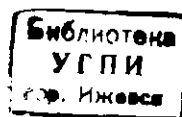
(Перевод Ф. А. Петровского)

Однако, несмотря на все остроумие и видимую доказательность слов Геллия, его оценка Цецилия направлена не по верному пути; если бы комедия Цецилия была *переводом* комедии Менандра, то, разумеется, такой перевод не выдерживал бы никакой критики. Но Цецилий отнюдь не переводил Менандра, а перерабатывал его комедии, беря из них лишь основные ситуации (по крайней мере, в отношении текстов, приводимых Геллием, это очевидно) и приспособляя их ко вкусам римской публики. Для

нас свидетельство Геллия ценно не субъективной эстетической критикой, а главным образом тем, что мы на конкретном примере можем видеть, как поступали римские драматурги со своими греческими оригиналами. Слова Геллия лишней раз доказывают самостоятельность и самобытность римских поэтов в обработке греческой комедии, которая в их руках делается настоящей *римской*. Если даже Цецилий, автор, по-видимому, мало самостоятельный в отношении содержания или сюжетов своих комедий, свободно переделывал греческие оригиналы так, что они совершенно преобразовывались на римский театральный лад, то, разумеется, у такого крупнейшего комика, как Плавт, греческий оригинал служил только наиболее удобной и привычной для римского общества вывеской, под которой он мог давать совершенно, по существу, самобытные комедии, имевшие огромный успех у римского народа.

В примерах, приводимых Геллием из комедии Цецилия, есть одна важная подробность, на которую он сам не обращает внимания, но которая чрезвычайно интересна. Это то, что Цецилий свободно переделывает по своему не только содержание греческого оригинала, но и его стихотворную форму. Вместо спокойного, разговорного ямбического триметра Менандра в первом из приводимых Геллием отрывков Цецилия мы видим сложную структуру стиха, очень напоминающую кантики Плавта: здесь и ямбический септенарий (первые шесть стихов), и трохаический септенарий, и кретики⁴. Очевидно, и тут Цецилий шел навстречу требованиям римской сцены и следовал песенному характеру латинской комедии в противоположность разговорной, по преимуществу, новой аттической комедии.

⁴ Вполне точной метрической схемы рукописная традиция не дает.



16521
173591



Глава X

ТЕРЕНЦИЙ

1. Биография Теренция.— 2. Литературная деятельность Теренция.—
3. Прологи Теренция и литературная полемика. Дидаскалии и периохы.—
4. Характерные особенности комедий Теренция.— 5. Язык Теренция.

1. БИОГРАФИЯ ТЕРЕНЦИЯ

Публий Теренций Африканец (Publius Terentius Afer) был младшим современником Цецилия. До нас дошла из древности его биография, составленная Светонием (II в. н. э.) и входившая в состав его большого сочинения историко-литературного содержания. Она сохранилась в комментарии Доната (IV в. н. э.) к комедиям Теренция. В ней наряду с верными известиями есть, по-видимому, много вымыслов. Вот наиболее достоверные сведения, какие можно извлечь из этой биографии и из других источников (главным образом, из прологов к его комедиям).

Теренций родился в Карфагене, но его прозвище Afer показывает, что он не был карфагенинином (потому что римляне называли карфагенин Carthaginenses, или Roeni), а принадлежал к какому-то африканскому племени. Год его рождения в точности неизвестен. Год смерти его назван: это был год консульства Гнея Корнелия Долабеллы и Марка Фульвия Нобилиора, именно 159 год до н. э. Судя по тому, что ему было тогда лет 26, годом его рождения следует считать 185 год¹ или немного более ранний — между 190 и 185 годами.

Теренций попал в Рим и был рабом у сенатора Теренция Лукана. Когда и как это произошло, неизвестно; надо полагать, что это случилось в раннем детстве, так как иначе Теренций не мог бы усвоить латинский язык в таком совершенстве. Сенатор, ценя выдающиеся умственные способности и красоту своего раба, дал ему хорошее воспитание и даровал свободу. Как вольноотпущенник, он получил по обычаю родовое имя своего патрона Terentius, а его прозвище Afer стало его cognomen. Об его дальнейшей судьбе известно очень мало. Сказано только в биографии, что он находился в дружеских отношениях со многими знатными лицами, особенно со Сципионом Африканским Младшим и Гаем Лелием.

Из дальнейших событий его жизни в биографии сообщается только то, что, еще не достигнув 25 лет от роду, он поехал в Грецию. Цель поездки не была известна уже и древним: по мнению одних, он уехал из Рима, чтобы

¹ Некоторые ученые относят год его рождения к более раннему времени на том основании, что, если бы он родился в 185 г., то при постановке его первой комедии «Андреанка» в 166 г. ему было бы только 19 лет. Но это возражение не достаточно убедительно: есть примеры раннего выступления на литературном поприще и других драматургов древности: Аристофана, Эвполида, Менандра.

ТЕРЕНЦИЙ

избегать слухов о том, что он будто бы выдает чужие сочинения за свои; по мнению других, чтобы познакомиться с преческими учреждениями, а также с нравами, которые он передавал в своих сочинениях не так, как следовало. О смерти его тоже были разные слухи: по одним известиям, он утонул в море (при кораблекрушении) со 108 комедиями, переведенными из Менандра; по другим, он умер в Аркадии в городе Стимфале или на Левкадии (острове на Ионийском море), заболев от огорчения вследствие потери багажа, посланного вперед на корабле, а также комедий, которые он написал за это время.

Теренций сосредоточил свою литературную деятельность исключительно на комедии. В первый раз он выступил перед публикой в 166 г. с комедией «Андреанка». По поводу этой комедии в биографии приводится такой рассказ. Когда Теренций предложил эту комедию эдилам, они приказали ему предварительно прочесть ее Цецилию. Он пришел к Цецилию, когда тот обедал. Так как Теренций был плохо одет, то был принят Цецилием сперва не очень любезно и прочел начало комедии, сидя на скамейке подле дивана, на котором во время обеда лежал Цецилий. Прочитав немного стихов, он получил от хозяина приглашение также возлечь с ним за стол и обедать вместе с ним; а потом он прочел остальную часть пьесы при большом восхищении Цецилия. Большая часть ученых нового времени считают этот рассказ за анекдот²; но рассказ этот сам по себе, независимо от хронологических соображений, не включает ничего невероятного. Вполне естественно, что эдилы, заведовавшие сценическими представлениями, не считая себя компетентными судьями в области литературы и имея дело с начинающим, не знакомым им автором, пожелали иметь отзыв о пьесе от старого, опытного драматурга и послали автора к Цецилию.

2. ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРЕНЦИЯ

Литературная деятельность Теренция была кратковременна. Он написал шесть комедий, которые все дошли до нас. Нам даже известен год постановки каждой из них. Вот список их в хронологическом порядке: «Андреанка», или «Девушка с Андроса» (*Andria*) — 166 г.; «Самоистязатель», или «Сам себя наказывающий» (*Heautontimorumenos*) — 163 г.; «Евнух» (*Euphuchus*) — 161 г.; «Формион» (*Phormio*) — 161 г.; «Братья» (*Adelphoe*) — 160 г.; «Свекровь» (*Несуга*) — 160 г. (после двукратной неудачи в 165 и 160 гг.).

Образцами для своих комедий Теренций брал преимущественно пьесы Менандра; только две комедии — «Формион» и «Свекровь» — составлены по пьесам Аполлодора Каристского, да в «Братьях» одна сцена заимствована из комедии Дифила. Представляется вопрос: почему Теренций в этих двух комедиях обращался к греческому комику второго разряда, а не воспользовался и для них какими-либо пьесами Менандра? Почему и из комедий Менандра он брал иногда пьесы второстепенные? Правдоподобный ответ на это заключается в том, что во времена Теренция требовались пьесы исключительно повые, с оригинальным сюжетом, а наиболее оригинальные сюжеты Менандра были уже использованы предшественниками и старшими современниками Теренция.

² Главным основанием для такого скептицизма служит то, что Цецилий, по древнему свидетельству (Иеронима), умер через год после смерти Эниия, именно в 168 г., а «Андреанка» была поставлена на сцену в 166 г. Но можно предположить, что или год смерти Цецилия передан неправильно и он умер позднее, или что свидание Теренция с Цецилием произошло задолго до постановки на сцену «Андреанки».

Как уже сказано выше, Теренций близко следует за оригиналом; по словам Светония (в биографии Теренция), Юлий Цезарь, хваля Теренция, назвал его «полу-Менандром». Однако, помимо греческих сторон, изображенных в его комедиях, мы находим в них то и дело черты римской жизни, набросанные в виде намеков и отдельных выражений.

3. ПРОЛОГИ ТЕРЕНЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛЕМИКА. ДИДАСКАЛИИ И ПЕРИОХИ

Подобно своим предшественникам, Теренций предпосылал комедиям *прологи*, которые произносились в начале каждого представления. Но прологам он придал совершенно иное значение, чем Плавт.

Плавт пользуется прологами для двух целей: чтобы ознакомить публику с содержанием комедии и с действующими лицами и просить зрителей отнестись внимательно и благосклонно к поставленной пьесе. У Теренция прологи имеют характер возражений его литературным противникам, во главе которых стоял Лусций Ланувин, тоже автор комедий. Лусций Ланувин держался мнения, что греческие комедии следует переводить на латинский язык (не дословно, конечно), но не переделывать, потому что переделка только испортит их. Он ставит в упрек Теренцию, что тот прибегает к контаминации.

Против обвинения в контаминации Теренций искусно защищается. Признавая этот факт, он указывает, что тут он следует примеру своих знаменитых предшественников — Невия, Плавта, Энния (см. «Андреанка», пролог, ст. 18—21).

Лусций Ланувин негодует на простоту речи Теренция и упрекает его в том, что он пользуется разговорным языком³. По мнению Лусция, как видно, даже и комедии следовало писать высоким слогом.

Третье обвинение, которое предъявлялось Теренцию, было обвинение в заимствованиях у римских предшественников — обвинение в плагиате. В прологе к «Евнуху» (ст. 23 сл.) Теренций так формулирует это обвинение: «Он [т. е. Лусций] кричит, что не поэт, а вор провел пьесу на сцену, а все же его [Лусция] не провел: это — «Колак» Невия или Плавта, старая пьеса; из нее украдена роль парасита и воина». Намек на обвинение в воровстве есть и в прологе к «Братьям» (ст. 13 сл.).

Эти обвинения носят принципиальный характер: тут видно расхождение тогдашней критики во взглядах на литературное творчество. Лусций требует от Теренция полного подчинения латинского автора греческому образцу; облагораживания и возвышения содержания при помощи формы; строжайшего уважения к чужой литературной собственности.

Остается еще одно обвинение, которое, по-видимому, придает спору личную окраску, — обвинение Теренция в несамостоятельности.

Литературные враги Теренция распространяли среди публики слухи, будто ему при сочинении комедий в значительной мере помогали Сципион Младший и Лелий. Это мнение держалось тем упорнее, что сам Теренций не принимал никаких мер к его опровержению; напротив, он как будто старался поддержать его. Так, в прологе к «Братьям» (ст. 15 сл.) он говорит, что слухи такого рода ему очень приятны: они свидетельствуют, что его комедии нравятся таким лицам, которые пользуются любовью всего народа. Главным основанием для этого подозрения служило то, что Теренций, молодой человек, да еще не римского происхождения, представил с первого раза на римскую сцену произведение, в которых отделка языка

³ Tenui... oratione et scriptura levi (пролог к «Формиону», ст. 5).



Изображение Теренция в Ватиканском списке IX в.

не оставляла ничего более желать. Поэтому в публике говорили: «Он вдруг [т. е. без надлежащей теоретической подготовки] принялся за поэзию, надеясь на талант друзей, а не на свои природные дарования» («Самоистязатель», пролог, ст. 23 сл.). Теренций предоставляет публике решить этот вопрос (там же, ст. 26). Всего скорее могли бы рассеять эти слухи сами Сципион и Лелий; но не видно, чтобы они сделали хоть что-нибудь для опровержения их. Эти слухи упорно держались и дошли даже до Цицерона: он указывает на изящество языка Теренция, как на причину их (Письма к Аттику, VII, 3), но не опровергает их. Квинтилиан (X, 1, 99) также упоминает об этом слухе. Биограф Теренция, приводя разные мнения и факты, относящиеся к этому вопросу, приводит из Корнелия Непота следующий рассказ. Однажды Лелий, работая в своем кабинете, на приглашение жены идти обедать отвечал просьбой не прерывать его занятий, а затем, спустя немного времени войдя в столовую, сказал, что ему редко приходилось сочинять с таким успехом. Когда его попросили продекламировать то, что он написал, он прочел несколько стихов, которые находятся теперь в «Самоистязателе», комедии Теренция. Но еще в древности грамматик Сантра (I в. до н. э.) указал на невозможность участия в комедиях Теренция Сципиона и Лелия, так как они были тогда еще очень молоды. Есть ли в этих слухах зерно истины, мы не можем определить; уже Цицерон и Квинтилиан передают это известие только как молву; но, очевидно, возможность такого факта они допускали.

Кроме текста комедий Теренция, до нас дошли еще «дидаскалии»⁴ и «периохы». Дидаскалии — это краткие заметки о постановке пьес, сохранившиеся в некоторых рукописях Теренция; они все составлены по одному плану и в них сообщаются следующие сведения: 1) название пьесы и латинского автора ее; 2) название праздника (или события), по случаю которого пьеса представлена; 3) имена лиц, распорядившихся праздничными играми (например, курульных эдилов); 4) имя директора труппы (бывшего обыкновенно и главным актером); 5) композитора, сочинившего музыку к пьесе; 6) вид музыкального инструмента, на котором игралась эта музыка; 7) имя автора и название греческого оригинала; 8) номер пьесы в числе произведений поэта; 9) имена консулов года, в котором происходило представление. Относительно истории этих дидаскалий точных указаний нет. Вот пример дидаскалии к комедии «Братья»:

«Начинается комедия Теренция «Братья». Поставлена на погребальных играх в честь Луция Эмилия Павла, устроенных Квинтом Фабием Максимом и Публием Корнелием Африканским. Играли Луций Амбивий Турпион и Луций Гатлий Пренестинский. Мелодии сочинил Флакк, раб Клавдия. Целиком на сарранских флейтах. Греческая — Менандра. Поставлена шестой в консульство Марка Корнелия Цетега и Луция Аниция Галла».

В периохах кратко излагается содержание комедии. Их сочинил Гай Сульпиций Аполлинарий, живший во II в. н. э. Каждая периоха состоит из 12 шестистопных ямбических стихов.

4. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМЕДИЙ ТЕРЕНЦИЯ

Если обратиться к содержанию комедий Теренция, то будет видно, что он не внес ничего существенно нового сравнительно с содержанием комедий

⁴ Дидаскалия — слово греческое (см. Историю греческой литературы, т. I, стр. 289), и в латинской литературе его нет; оно применяется к сведениям о римской комедии издателями нового времени.

Postquam poeta sensit scripturam suam
 ab iniquis observari, et aduersarios.
 R. apere in opere parte qua accursumus,
 Indigades ipso erit equoseras iudices.
 L. alid nan utro ducit
 S. Ynapon nes conec. d. d. m. a. comedia. e.
 I. am com o r. m. i. plai. m. i. s. e. r. u. o. u. l. a. m.
 I. n. e. r. i. a. u. d. u. l. e. s. e. n. s. e. q. u. i. l. e. n. o. m. i. n. i. s. p. i. t.
 M. e. r. c. e. i. n. p. r. i. m. a. f. a. b. u. l. a. e. u. p. l. a. u. t. i. s. l. o. c. u.
 R. e. l. i. q. u. i. d. i. n. t. e. r. u. m. q. u. i. h. i. c. l. o. c. u. m. s. u. p. e. r. i. s. i. b. i.
 I. n. a. d. e. l. f. o. s. u. e. r. b. u. d. e. u. e. r. b. o. e. x. p. r. e. s. s. u. e. x. a. l. t. e.
 I. n. n. o. s. a. c. c. u. r. s. u. m. u. s. n. o. u. a. m. p. e. r. n. o. s. e. n. t.
 F. u. r. t. i. m. n. e. t. a. c. r. u. m. e. x. i. s. t. a. m. e. a. s. a. n. l. o. c. u. m.
 R. e. p. h. e. n. s. u. q. u. i. p. e. r. t. u. s. n. e. g. l. e. z. e. n. t. a. e.
 N. a. m. q. d. i. s. t. a. d. i. c. i. u. r. t. m. a. l. u. o. l. u. h. o. m. i. n. e. s. n. o. b. i. l. e. s.
 F. u. r. t. i. m. a. d. i. u. t. a. p. e. a. d. i. d. u. e. q. u. i. a. s. c. r. i. b. e. r. e.
 Q. u. o. d. i. l. l. u. m. a. l. e. d. i. c. t. u. m. u. e. h. e. m. e. n. s. e. e. x. i. s. t. a. m. e. n. t.
 E. a. m. l. a. u. d. e. m. h. i. c. d. u. c. i. t. m. a. x. i. m. a. c. u. i. l. l. i. s. p. l. a. c. e.
 C. u. o. b. i. s. u. n. i. u. e. r. s. i. s. a. p. o. p. u. l. o. p. l. a. c. e. n. t.
 C. u. o. r. u. o. p. o. n. i. m. b. e. l. l. o. i. n. d. o. c. t. o. i. n. n. e. g. o. t. i. o.
 S. u. o. q. u. i. s. q. t. e. p. o. r. e. u. s. u. s. e. s. i. n. e. s. u. p. e. r. b. i. a.
 D. e. h. i. n. c. n. e. e. x. p. e. c. t. a. s. a. r. g. u. m. e. n. t. u. m. f. a. b. u. l. a. e.
 S. e. n. e. s. q. u. i. p. r. i. m. i. u. e. n. i. e. n. t. i. l. l. p. a. r. t. e. a. p. e. r. i. e. n. t.
 I. n. a. d. e. n. d. o. p. a. r. t. e. m. a. s. c. e. n. d. o. n. e. f. a. c. i. e. t. e. q. u. a. n. i. m. i. t. a. t.
 P. o. a. t. e. y. a. d. s. c. r. i. b. e. n. d. u. a. u. g. e. a. t. i. n. d. u. s. t. r. i. a. m. v. a.

Пролог к «Адельфам» Теренция
 Амбросиевский список X в.

своих предшественников и новой аттической комедии. Он сам сознавал злую зависимость от последней и то, что выводимые им типы не представляют чего-либо оригинального. Так, в прологе к «Евнуху» (ст. 35 сл.) он говорит: «Если нельзя ему [т. е. поэту] брать тех же ролей, то как же можно изображать бегущего раба, выводить честных матрон, скверных гетер, обжору-паразита, хвастливого воина, представлять подкидывание ребенка, обман старика слугою, любовь, ненависть, подозрение? Да, наконец, теперь нет такой роли, которая не была бы выведена уже раньше».

В главных чертах характеристику Теренция можно формулировать так. Теренций был искусный, одаренный развитым вкусом переделыватель преческих комедий; у него было удивительное чутье латинской речи, которую в литературе он довел до высокой степени обработки, но у него не было собственного творческого таланта. Отсутствие такого таланта весьма резко сказывается при сопоставлении его пьес с произведениями Плавта: у последнего, несмотря на чужую, греческую оболочку, живым ключом бьет природная даровитость, чисто римский национальный комизм, и это искупает те заимствования, которые он делает в содержании. Если бы у нас была возможность сравнить любую пьесу Плавта с ее греческим оригиналом, то мы наверное не узнали бы его в латинской переработке. Имена, места действия, может быть, были бы одинаковыми, но в греческой комедии, несомненно, не оказалось бы юмора, свежего, нередко грубоватого, но тем не менее неподдельного юмора, дающего всем пьесам Плавта самостоятельную окраску.

Совершенную противоположность в этом отношении представляет Теренций. Все его произведения носят исключительно греческий характер; он близко следует за оригиналом. По своим вкусам и по складу своего ума Теренций не мог сделаться таким любимцем народа, каким был Плавт. Действительно, комедии Теренция были скучны для массы публики, и народ не раз показывал свое невнимание к ним; так, представление комедии «Свекровь» два раза не могло состояться: при первой ее постановке (в 165 г.) народ, не дождавшись конца представления, оставил театр и ушел смотреть представление канатного плясуна; при второй постановке (в 160 г.) представление опять не было доведено до конца, так как публика побежала из театра смотреть на бой гладиаторов; только при третьей постановке (в том же 160 г.) «Свекровь» была прослушана зрителями до конца. Но зато комедия «Евнух» прошла с таким успехом, что в тот же день была повторена, и за нее автору была дана награда в 8000 сестерциев, т. е. такая цена, какой до тех пор ни один поэт не получал за одну пьесу. Комедия «Андрианка» несколько раз возобновлялась после смерти Теренция.

Действующие лица комедий Теренция уступают плавтовским в свежести и яркости красок. Поэтому, например, сводники почти не появляются на сцене у Теренция, а только подразумеваются в комедиях как одно из гнусных явлений современной жизни, а у Плавта эти лица обрисованы яркими чертами и действуют с поразительным бесстыдством. Далее, гетеры не поражают у Теренция своей открытой продажностью; раб не такой пьяница, обжора и плут, как обычно у Плавта. Паразит у Плавта — человек, претерпевающий всякие оскорбления от подкутившего хозяина, человек, который покупает себе лакомое блюдо ценою боли наносимых ему ударов. Паразит у Теренция — лишь ловкий, остроумный шут, льстец, человек себе на уме; ему не приходится выносить тех унижений, которые сыпались на его плавтовского предшественника. Таким образом, некоторые типы плавтовских комедий почти не выводятся Теренцием, другие получили у него иную окраску; у них нет тех пороков, того смелого до дерзости

языка, который у Плавта пестрит площадными выражениями и блещет шутками.

Следующая отличительная черта Теренция — его человечность в обрисовке характеров. Это свойство проглядывает в том, как Теренций обрисовывает отношения молодых людей к их возлюбленным. В его комедиях они нередко всей душой любят своих гетер и являются их верными друзьями, и гетеры, в свою очередь, человечны и искренни. Так, одна из них, Андрианка, живет только для своей сестры; другая (в «Евнухе») всеми силами старается спасти свою молодую рабыню от порока и вернуть ее семье; третья (в «Свекрови») своими душевными качествами возбуждает в своем поклоннике искреннюю привязанность.

В 60-е годы II в. до н. э., в которые протекало творчество Теренция, все социально-экономические явления, существовавшие в эпоху Плавта, не только не исчезли, а напротив, еще более определились и развились, классовые противоречия еще более углубились. Однако конфликты в пьесах Теренция не стали резче. Наоборот, при сходном отборе конфликтов у Плавта и у Теренция, конфликты в комедиях Теренция либо оказываются мнимыми, основанными на недоразумении, либо, несмотря на известную их остроту, завершаются компромиссом.

Так, по существу мнимыми, основанными на неведении являются конфликты между отцом и сыном в комедиях «Андрианка», «Самоистязатель» (конфликт между стариком Менедемом и его сыном Клинием), «Формион» (конфликт между стариком Демифоном и молодым человеком Антифоном). Мнимым является и конфликт молодого человека с женой и родителями в «Свекрови». Все это — конфликты между благородными, любящими и уважающими друг друга людьми, интересы которых сталкиваются лишь в силу случайных обстоятельств. Например, в комедии «Андрианка» молодой человек влюбляется в названную сестру недавно умершей гетеры, в то время как отец, желая спасти сына от его увлечения, старается женить его на дочери соседа. Молодой человек с помощью ловкого раба пытается отсрочить ненавистную свадьбу. Конфликт разрешается случайным обстоятельством. Приезжает родственник умершей гетеры и помогает установить, что возлюбленная молодого человека — младшая, пропавшая в детстве дочь того же самого соседа, на старшей дочери которого отец хотел его женить. Пьеса заканчивается счастливым браком. Конфликт между отцом и сыном лишь результат неведения.

Во всех пьесах, развитие действия в которых основано на недоразумении и неведении, Теренций показывает психологический конфликт в душе молодого человека, чего не было у Плавта. Молодой человек в этих пьесах Теренция — любящий и почтительный сын с благородным, человеческим характером. Чувство любви борется в нем с чувством сыновнего долга. Борьба чувств раскрывается в развернутых монологах. Этот психологический конфликт, острый и болезненный, не разрешим, как и сюжетный конфликт в этих пьесах, без вмешательства случая. Но даже и тогда, когда конфликты не являются мнимыми, они, по сравнению с конфликтами у Плавта, сильно смягчены и заканчиваются у Теренция компромиссом. Так, в комедии «Самоистязатель» молодой человек Клитифон, не испытывающий ни любви, ни почтительности к отцу, обманывает его с помощью ловкого раба. Но торжество молодого человека у Теренция очень непродолжительно. Клитифон склоняется перед властью отца, порывает с подружкой, обещает жениться. Такой исход конфликта обусловлен деспотическим характером старика Хремета.

Особенно же показательным компромиссным разрешением Теренцием конфликтов между молодым человеком и сводником, между молодым человеком

и хвастливым воином — конфликтов, наиболее непримиримых у Плавта. В комедии «Евнух» компромисс между молодым человеком и воином искусственно вводится в пьесу, противореча развитию сюжета и сущности характеров. Гетера Фаида любит молодого Федрию и отвергает любовь воина Фрасона. Молодой человек получает возможность беспрепятственно наслаждаться любовью Фаиды, а воин сознает свое полное посрамление. Но в конце пьесы, вопреки ожиданию, Федрия соглашается делить с Фрасоном любовь Фаиды в расчете на его богатство и щедрость. Компромиссом заканчивается и конфликт молодого Эсхина со сводником в комедии «Братья».

Комедией «Братья» Теренций закончил свою литературную и театральную деятельность. Начало этой комедии, обработанной по одноименной комедии Менандра, Теренций, по его собственному признанию в прологе, переделал по комедии Дифила «Вместе умирающие», а конец, как мы узнаем уже от комментатора Доната, подверг радикальной переработке: у Менандра его главный герой, носящий у Теренция имя Микциона, в конце концов без особенного упорства соглашается жениться на теще своего приемного сына; у Теренция он сначала резко отказывается от этого, но затем уступает насмешливой настойчивости своего мужиковатого брата, Демей, который до сих пор играл лишь смешную роль, а теперь берет учительский тон и уже высмеивает всю, в общем высоко просвещенную и передовую, теорию воспитания Микциона.

Теория гуманного воспитания интересовала Менандра в разных комедиях: она затронута в «Самоистязателе» Теренция, в «Бакхидах» Плавта.

Консервативным римлянам того времени, несомненно, симпатичнее и понятнее был Демей (по крайней мере, преобразенный), чем Микцион; наиболее просвещенный из них, Катон Старший, в трактате Цицерона «Катон Старший» (§ 65) хвалит у стариков строгость, правда умеренную. Таким образом, точное воспроизведение морали Микциона, да еще на сцене, было несвоевременным. Позднее, через 104 года, Цицерон применяет ее как один из аргументов в защиту своего талантливого ученика, тогдашнего «беспутного гения», Целия; но это было в разгар острой революции, когда от патриархальной власти эмансипировались не только молодые люди, но и женщины, а органы, следившие за общественной нравственностью — цензоры и сам сенат — были сильно распатаны.

Комедия «Братья» — истинное украшение античного театра. Помимо чисто технических и драматических достоинств, т. е. остроумия и ярких характеристик всех действующих лиц, она проникнута философским элементом: Менандр (сверстник Эпикура), а через него и Теренций, сумел гениально воплотить в образе Микциона эпикурейское благодушие в соединении со здравым смыслом и нежной простотой в обращении с друзьями и близкими родственниками.

Что касается построения комедий Теренция, то в его пьесах видна тщательность отделки как в расположении их частей и в обработке сюжетов, так и в языке.

Расположение частей пьесы, ведение интриги, обрисовка характеров — все это у Теренция строго продумано и выдержано. Он не имел обыкновения вставлять сцены с тою только целью, чтобы возбуждать внимание публики; не выводил лиц с тем только, чтобы сказать каламбур или произвести смех в публике какой-нибудь выходкой.

Комедии Теренция несомненно способствовали смягчению римских нравов, семейных отношений, способствовали выработке художественных вкусов римской публики. Велики успехи Теренция и в разработке приемов раскрытия человеческого характера, в достижении художественного прав-

ТЕРЕНЦИЙ

донодобия. В этом отношении он является выдающимся предшественником новой драмы. Но Теренций уступает Плавту по силе реализма и по яркости драматического таланта.

5. ЯЗЫК ТЕРЕНЦИЯ

Язык Теренция занимает среднее место между архаическим языком Ливия Андроника, Невия, Плавта, Энния и языком классического периода — языком Цицерона, Цезаря и др. Речь Теренция есть «чистая речь» современного ему образованного общества. Так определяется его речь в прологе к «Самоистязателю» (ст. 46): «В этой комедии — чистая речь». Так определяет ее и Юлий Цезарь в дошедшем до нас (в биографии Теренция) отрывке своего стихотворения, где он говорит, что Теренций «любитель чистой речи». Цицерон тоже в отрывке стихотворения называет его речь словом *lectus* «отборный», а в одном письме к Аттику (VII, 3, 10) говорит: «Я следовал не Цецилию, — он — дурной образец латинского языка, — но Теренцию, пьесы которого, как думали на основании изящества его речи, писались Гаем Лелием».

Литературная деятельность Теренция почти на 100 лет предшествовала литературной деятельности Цицерона, Цезаря и других авторов классического периода. В сравнении с ними, в языке Теренция много архаического. Кроме того, так как язык комедии вообще близок к разговорному, то уже и поэтому язык Теренция отличается от строго литературного языка классической прозы. Но в то же время язык Теренция отличается и от языка Плавта: некоторых устарелых форм, какие встречаются у Плавта, уже нет у Теренция. Это объясняется отчасти тем, что Теренций получил воспитание в кругу более образованного общества, тогда как Плавт вращался среди простого народа и передавал особенности его языка.



Глава XI

ОБЗОР РИМСКОЙ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВРЕМЕН ПЛАВТА, ТЕРЕНЦИЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПЕРИОДА РЕСПУБЛИКИ

1. Трагедия.— 2. Комедия тоги.— 3. Ателлана.— 4. Мим.

1. ТРАГЕДИЯ

Скудость наших сведений о римской драме периода Республики позволяет нам составить достаточно полное представление лишь о тех драматургах, от которых сохранились их произведения, т. е. о Плавте и Теренции. Об остальных римских драматургах мы судим лишь по фрагментам их произведений и по свидетельствам о них римских писателей. Насколько ненадежен такой материал, можно заключить хотя бы по тому, что, не будь у нас комедий Плавта, мы были бы сбиты с толку резко отрицательным мнением Горация об этом крупнейшем римском драматурге.

Тем не менее некоторое представление о драматических произведениях Невия, Энния, Цецилия, Афрания и других драматургов, произведения которых дошли лишь во фрагментах, составить можно. Но тут приходится поневоле быть очень осторожным в оценке их деятельности.

Выше уже было сказано о творчестве трех древнейших латинских авторов, сочинявших трагедии,— о Ливии Андронике, Невии и Эннии. Как от произведений этих писателей, так и от трагедий их последователей дошли до нас только одни фрагменты. Основываясь первым делом на таких фрагментах, мы можем судить о произведениях двух драматургов-трагиков времен Плавта и Теренция — о Марке Пакувии и Луции Акции.

На основании слов Цицерона («Брут», § 229) и указания Иеронима (в Хронике под 1863, 154 г. до н. э.), можно заключить, что *Пакувий* (M. Pacuvius) родился в Брундисии около 220 г. до н. э. и умер в Таренте, дожив почти до девяноста лет. Он был тоже осского происхождения, как и Энний, которому он приходился племянником. Варрон («Менипповы сатуры», 356 В.) называет Пакувия учеником Энния. Если не считать смутного упоминания у позднего грамматика Диомеда (GL. I, 485) и неясного указания схолиаста Горация — Порфириона (к «Сатирам» Горация, I, 10, 46) о «сатурах» Пакувия, он был только трагическим драматургом. Кроме того, Пакувий был и живописцем, и Плиний («Естественная история», XXXV, 19) говорит, что его живопись пользовалась известностью даже в императорские времена. Авл Геллий приводит очаровательную по скромности автоэпитафию Пакувия («Аттические ночи», I, 24, 4):

Хоть ты спешишь, однако просит камень сей:
Взгляни на надпись и прочти, о юноша:

Пакувия-поэта кости здесь лежат.
Вот это, я хотел, чтоб знал ты. Будь здоров.

(Перевод Ф. А. Петровского)

Пакувий не был очень плодовитым драматургом: мы знаем всего о двенадцати его трагедиях на греческие сюжеты и об одной национальной римской драме — претексте — «Павел», в которой, по-видимому, прославлялись подвиги Луция Эмилия Павла, победителя македонского царя Персея в битве при Пидне. От этой претексты сохранилось всего четыре отдельных стиха. Большинство фрагментов из трагедий Пакувия — отдельные строчки и слова, приводимые позднейшими римскими грамматиками из чисто филологического интереса; более крупными фрагментами мы обязаны главным образом Цицерону, который, хотя и находил, что Пакувий (как и Цецилий) плохо говорил по-латыни («Брут», § 258), но считал его выдающимся трагиком («О лучшем роде ораторов», 1, 2). В отрывках из трагедий Пакувия виден его крупный талант, и Квинтилиан (X, I, 97), очевидно, прав, видя в его трагедиях силу выражений. Однако сколько-нибудь ясного представления о мировоззрении Пакувия извлечь из его фрагментов нельзя. Интересно лишь отметить следы рационалистического отношения этого племянника Элия к мирозданию (фр. 84 сл.): он считает, что отец всего существующего — эфир, а мать — земля, напоминая этим Лукреция:

Ты взгляни на этот свод, что свыше и вокруг земли,
Яркий при восходе солнца, темный, лишь зайдет оно;
Свод, что эллины — эфиром, небом — мы привыкли звать.
Все, что есть, одушевляет, зиждет образует он,
Он же всё в себя приемлет и хоронит, он — отец.
Из него берет начало и конец свой всё, что есть.
.....
Мать — земля; она рождает тело, дух творит эфир.

(Перевод Ф. А. Петровского)

С таким же презрением, как и Эпий, относится Пакувий и к гадателям, которые понимают язык птиц и больше узнают из чужой печени, чем из собственной. Их, говорит Пакувий, можно слушать, но слушаться не следует (фр. 83).

Раза в полтора больше фрагментов сохранилось нам от другого римского драматурга-трагика — *Луция Акция* (L. Accius), родившегося в 170 г. до н. э. (Иероним, Хроника под 1878, 139 г. до н. э.). Он был сыном вольноотпущенника из Умбрии, где у его отца было имение. Акций был не только драматургом, но и филологом. Нам известно более 45 названий трагедий Акция и две его претексты — «Брут» на тему о низвержении царя Тарквиния Гордого и «Энеады», или «Деций», тоже на тему из древней римской истории; в этой претексте прославлялся Деций Мус, пожертвовавший собою в битве с галлами и самнитами.

Первую свою трагедию Акций поставил на сцену в 140 г. до н. э. — ровню через сто лет после выступления на сцену Ливия Андроника, имея своим соперником Пакувия. Покровителем Акция был Децим Юний Брут, консул 138 г. до н. э., которому он и посвятил претексту «Брут». Акций, доживший до глубокой старости, был современником трех поколений римских писателей — от Пакувия до Цицерона, которому в год смерти Акция было от роду лет двадцать. Как и Пакувию, оригиналами трагедии служи-

ли Акцию произведения трех главных греческих трагиков и поэтов после эврипидовского периода. В противоположность Пакувию, у которого к Эврипиду восходит только трагедия «Антиона», Акций, видимо, главным образом подражал Эврипиду. Самым крупным отрывком Акция, приводимым Цицероном («О природе богов», II, 35, 89), является отрывок из «Медей», в котором пастух описывает невиданное зрелище подплывающего корабля аргонавтов:

...Такая движется громада
 На берег моря с грохотом и шумом
 Неистовым. Пред ней валы бегут,
 Водовороты от ее напора
 Крутятся. Устремленная вперед
 На лоно вод бросается она,
 И море брызгами с шипеньем диким
 Ее встречает. Ты подумал бы,
 Оторванная туча грозовая
 Скатилась в волны, иль с горы высокой
 Валун ветрами буйными снесен,
 Иль столбовеньем яростных бурунов
 Ком шаровидный создан водяной.
 Боюсь, на землю ополчилось море;
 А то, пожалуй, сам Тритон, трезубцем
 Подводные пещеры выметая,
 Воздвиг под шум разорванного моря
 Скалистую громаду до небес.

(Перевод Ф. Зелинского)

При обработке своих трагических сюжетов Акций прибегал к контаминации и, если один и тот же сюжет обрабатывался разными греческими трагиками, использовал все эти обработки. При недостаточности и фрагментарности текстов Пакувия и Акция между этими поэтами трудно провести различие и определить их индивидуальные особенности, а слова Горация («Послания», II, 1, 53), что Пакувия считали поэтом «ученым», а Луция Акция «возвышенным», не могут быть как следует проверены на конкретном материале. Но все-таки Акций, видимо, был риторичнее Пакувия, и построение его диалогов было близко к ораторскому искусству, о чем свидетельствует и анекдот, приводимый Квинтилианом (V, 13, 43), о том, что на вопрос, предложенный Акцию, почему он не выступает как судебный оратор, он ответил: «Потому, что в трагедии я могу говорить то, что мне угодно, а на форуме противники будут говорить то, что мне совсем не угодно». К событиям политической жизни Акций относился, вероятно, с большим интересом, чем Пакувий. В его трагедиях часто изображалась злая судьба тираннов. Интересно отметить, что претекста Акция «Брут», поставленная на римской сцене в 30-х годах II в. до н. э., когда римской политикой руководил единолично Сципион Младший, имела, несомненно, в виду этого государственного деятеля. «Брут» настолько ярко выражал мысли противников единоличной власти, что не потерял своего значения и через девяносто лет, когда эта претекста была вновь поставлена на сцену в год убийства Юлия Цезаря.

После Акция трагический жанр приходит в упадок. Трагедии продолжали писать многие авторы, но не для сцены, а для декламации. Примером подобных трагедий служат дошедшие до нас трагедии Сенеки.

2. КОМЕДИЯ ТОГИ

После смерти Теренция, во времена, близкие к эпохе Гракхов, возникает в Риме особый вид комедии — *комедия тоги*, или *тогата* (*fabula togata*). «Она возникает не случайно, а как естественный продукт политического, общественного и литературного развития римского общества»¹. Плавт, Теренций и Цецилий вместе с другими авторами «комедии плаща» исчерпали весь репертуар, который предоставляла им греческая комедия. Уже у Плавта мы видим в его «греческой» обстановке живым ключом пробивающуюся римскую жизнь. Но прикрытия греческим «плащом» римская комедия, очевидно, перестает удовлетворять римлян, и появляются авторы, желающие его сбросить и показать в сценическом отражении жизнь родной Италии, сменив эллинистический «плащ» на римскую «тогу». В области трагедии уж давно появилась национальная драма — претекста; в области веселого сценического жанра национальная драма появилась с усилением демократии и с ослаблением авторитета сената и знати.

Представителями национальной римской комедии тоги были три автора — *Титиний* (*Titinius*), *Тит Квинклий Атта* (*T. Quinctius Atta*) и *Луций Афраний* (*L. Afranius*). Ни об одном из этих драматургов нет никаких биографических сведений, но старшим из них был, по всей вероятности, Титиний. Год смерти Атты — 77 до н. э. устанавливается Иеронимом (Хроника под 1940 г.), деятельность Афрания датировать точнее, чем эпохой Гракхов, невозможно.

Произведения авторов комедии тоги не сохранились; дошли только фрагменты их комедий: от Титиния дошло около 180 отдельных строк, от Атты — около 20, от Афрания — немного более 400. Все эти фрагменты приводятся почти исключительно лексикографами (главным образом Ноцием) и грамматиками и представляют большой интерес для изучения латинского языка, но дают очень мало для истории римской литературы.

Судя по названиям тогат (все латинские) и по фрагментам, местом действия в них была Италия и ее столица Рим. Мы встречаем указания на «Теплые воды» (вероятно, Байи, бывшие римским курортом), Брундисий, Ферентин, Сетию, Велитры; действующие лица носят латинские имена или называются по местным ремеслам (например, валяльщиками шерсти); в названиях тогат видно отражение бытовых интересов: «Пожар», «Супруги», «Тетки», «Развод» и т. п. Чрезвычайно интересно например, что у Титиния большинство комедий названо по женским именам, а по фрагментам тогат видно, что женские роли занимали очень много места; и эти женщины не гетеры, как в «комедии плаща», а свободные гражданки. Но крупные политические и общественные события, видимо, не занимали авторов тогаты.

Т. Бирт в своей «Истории римской литературы в пяти лекциях»² очень ярко (пусть несколько произвольно) рисует обстановку, в которой разыгрывалась тогата:

«Мы слышим, как разговаривают женщины. Вот две служанки бранятся: «Я не такая доносчица, как ты, ехидна ты этакая! Я не болтаю всего госпоже». Или же мы попадаем в комнату портних: несколько клиенток заказывают новые платья. В другой пьесе мужья исполняют обязанности служанок у своих богатых жен, и один из них говорит: «Скорей дайте ей выпить, а то она начинает злиться». «Тетки» чрезвычайно взволнованы:

¹ В. И. Модестов. Лекции по истории римской литературы. СПб., 1888, лекция 17, стр. 169.

² Русский перевод И. Б. Румера (М., 1913, стр. 50 сл.).

муж так долго не приходит домой! Одна совсем вне себя от страха. И вот, когда он входит, она только плачет и ни слова не говорит. Он нервно спрашивает ее: «Что ты плачешь, что ты так расточительно льешь слезы?». И только тогда у нее развязывается язык. В «Невестках» главное действующее лицо — красивая девушка; ее красота так велика, говорят про нее, что она стоит полного приданого. Но она скупа. На семейном совете решают, что она должна выйти за булочника. Но не лучше ли за кондитера? Ведь тогда она сможет приносить своим маленьким племянникам пирожки. И, наконец, еще одна сцена — из комедии «Хвастун». Кто-то бьет другого стаканом; оказывается, что это жена колотит своего мужа. В эту минуту входит дочка и кричит: «Мама, не дерись так на моих глазах с отцом». А мать в ответ ей: «Не буду, если ты этого не хочешь, моя куколка».

Тогата пользовалась успехом недолго — всего несколько десятков лет во времена Гракхов и Суллы, и хотя некоторые пьесы Атты и Афрания возобновлялись на сцене вплоть до времен Нерона, новых авторов тогаты мы не знаем.

3. АТЕЛЛАНА

Борьба между эллинистическим и национальным направлением в римском обществе в период конца II и начала I в. до н. э. отразилась в драматической литературе не только созданием тогаты и претексты, но и литературной обработкой старинного народного жанра деревенских фарсов, или ателлан (fabula Atellana). Ателланы были небольшими пьесками или сценками, бытовавшими в Кампании и получившими свое название от осского города — Ателла. Исполнители ателлан импровизировали сценический текст на основе какого-нибудь забавного сюжета, причем долгое время языком ателлан оставался осский, а не латинский. В ателланах действовали всегда определенные карикатурные маски: Буккон (Bucco) — хвастливый глупец, Макк (Maccus) — прожорливый дурак, Папп (Pappus) — простоватый старик, Доссен (Dossenus) — хитрый горбун.

После ослабления интереса римской публики к серьезной драме к началу I в. до н. э. появились драматурги, давшие народной ателлане литературную обработку; и эта уже литературная ателлана, текст которой стал латинским, сделалась излюбленным видом драматического представления на римской сцене. Подобно греческой драме сатиров литературную ателлану стали ставить после трагедий (Цицерон, Письма к друзьям, IX, 16, 7). Но хотя ателланы пользовались успехом вплоть до императорского периода включительно, до нас дошло от них всего около трехсот по большей части разрозненных стихов. Как и в комедии тоги, действие ателлан происходило в Италии, а действующими лицами были представители низших слоев римского общества. Постоянные маски ателланы выводились в самых различных положениях, что хорошо видно по заглавиям: «Макк-трактирщик», «Макк-солдат», даже «Макк-девушка» (Maccus virgo), «Буккон усыновленный», «Папп-земледелец», «Папп, провалившийся на выборах» и т. д. Выступают маски ателланы и парами, например, «Два Доссена», «Макки-близнецы». Грубость ателлан превосходила все другие комические жанры, а язык этой комедии полон самых простонародных форм. Сохраняя черты старинного народного фарса, ателлана смело высмеивала уродливые стороны римской общественной и политической жизни, между прочим грекоманию и греческие философские учения. Пестрота заглавий ателлан показывает необычайное многообразие их содержания: наряду с такими заглавиями, как «Prostibulum» (проститутка) или «Невеста Пап-

ОБЗОР ДРАМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

па», встречаются такие, как «Философия», «Спор между жизнью и смертью» и т. п. Такие заглавия, как «Поддельный Агамемнон», «Геркулес-сборщик» указывают на сюжеты, подобные гиларотрагедии, а такие, как «Братья» или «Синефебы» (ср. названия комедий Теренция и Цецилия), на буффонадную травестию комедии плаща.

Наряду с постоянными четырьмя масками в ателлане выводились и такие, например, типы, как паразит и другие обычные фигуры комедии.

Из авторов литературной ателланы нам известны *Новий* (Novius) и *Луций Помпоний* (L. Pomponius), время «расцвета» которого Иероним (Хроника под 1928 г.) относит к 89 г. до н. э. Он был родом из Бононии (Болонья). О происхождении и времени жизни Новия данных нет.

4. МИМ

К народной драме восходит и римский *мим*, с успехом ставившийся на сцене со времен Суллы. Содержание мимов бытовое; в них было много и намеков политического характера. В отличие от ателланы с ее постоянными масками, актеры мимов выступали всегда с открытым лицом, причем исполнителями выступали и женщины, чего не было ни в каком другом античном театральном жанре. По содержанию же мимы были, по-видимому, очень сходны с ателланами, только буффонадного элемента было в них еще больше.

Отрывков из римского мима сохранилось почти вдвое меньше, чем от ателланы, но есть два-три отрывка довольно крупных. Они принадлежат Лаберию.

Децим Лаберий (D. Laberius) был римским всадником, но сведений о его жизни до шестидесятилетнего его возраста у нас нет. Родился он, предположительно, в 106, а умер (согласно Хронике Иеронима под 1974 г.) в 43 г. до н. э. О принудительном, по предложению Юлия Цезаря, выступлении Лаберия на сцене уже было сказано.

Любопытен анекдот, передаваемый Макробием («Сатурналии», VII, 3). Когда шестидесятилетний Лаберий со всадническим кольцом на пальце, окончив свое состязание с Публилием Сиrom, пошел занять место среди всадников в театре, то Цицерон, возле которого Лаберий хотел сесть, будто бы сказал ему: «Я дал бы тебе место, если бы мне самому не было тесно сидеть». На что Лаберий, намекая на неустойчивость политических воззрений знаменитого оратора, ответил: «Да, ведь ты всегда сидишь на двух стульях». Макробий сообщает нам и знаменитые слова Лаберия со сцены, направленные против Цезаря: «Эй, квинтиты, мы теряем свободу». Вообще, Макробий дает нам наибольшие сведения о Лаберии и римском миме (см. «Сатурналии», II, 7 и VII, 3).

О современнике Лаберия *Публилии Суре* (Publilius Syrus) известно очень мало. Он был в детстве привезен как раб из Сирии в Рим, отпущен на волю и получил хорошее воспитание. Свои мимы он представлял в разных городах Италии и по смерти Лаберия стал крупнейшим римским мимографом. Сведения о Публилии сообщает тот же Макробий. Фрагменты Публилия ограничиваются всего двумя отдельными строками, но Петроний («Сатуры», 55) сочинил стихи, в которых, очевидно, подражает Публилию, так как устами Трималхиона выдает их за Публилиевы.

В мимах Публилия было много стихов-афоризмов, о которых с большой похвалой отзывался Авл Геллий (XVII, 14). До нас дошло под именем Публилия большое собрание сентенций, главным образом морального содержания, но далеко не все они принадлежат знаменитому мимографу.



Глава XII

РАННЯЯ ЛАТИНСКАЯ ПРОЗА

1. Возникновение литературной прозы в Риме.— 2. Древние анналисты.—
3. Средние анналисты.— 4. Историческая монография.— 5. Автобиографии и мемуары.— 6. Юриспруденция.

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРОЗЫ В РИМЕ

Началом латинской прозаической литературы была история, а первыми памятниками историографии — разные записи исторического характера как официальные, так и частные. Такой была «летопись» (анналы), которую с незапамятных времен вел главный, или великий, понтифик и которая поэтому называлась *annales maximi*. Так объясняет это название Павел Диакон: «Великая летопись называется так не по своей величине, а потому, что ее составлял великий понтифик»¹. Это же говорит и Сервий: «И эту [летопись] называли великою летописью по великим понтификам, которые ее составляли»². Наряду с официальным историческим материалом существовали и частные исторические записи. Возможно, что в знатных римских домах велись семейные хроники. Обычай произносить на похоронах похвальные речи в честь покойного (*laudationes funebres*) также был одной из форм историографического творчества.

Эти памятники до нас не дошли; даже упоминаются они авторами редко. Во всяком случае, краткие, сухие заметки жрецов нельзя назвать литературными памятниками.

Литературная проза (да и то не художественная) появилась в Риме очень поздно, позднее литературной поэзии, как это замечено и у других народов. Началом литературной поэзии считается начало творчества Ливия Андроника, т. е. приблизительно середина III в. до н. э. (перевод «Одиссеи», постановка трагедии и комедии на праздничных играх 240 г.). Началом литературной прозы следует считать исторический труд Фабия Пиктора, написанный им, вероятно, вскоре после окончания второй Пунической войны (218—201 гг.), т. е. в начале II в. до н. э. Таким образом, первое прозаическое произведение римской литературы появилось лет на 50 позднее первого поэтического произведения.

Влияние греческой культуры на римскую заметно уже в период царей. Отдельные случаи сношений римлян с греками засвидетельствованы и во время Республики: так, в 454 г. до н. э. были отправлены послы в

¹ *Maximi annales non magnitudine, sed quod eos pontifex maximus confecisset* (Festus. Ed. Lindsay, p. 113).

² *Eosque a pontificibus maximis a quibus fiebant, annales maximos appellarunt* (Ad Aen, I, 373).

Афины, чтобы «списать законы Солона и узнать учреждения, нравы и права других греческих государств» (Тит Ливий, III, 31).

Моментом, с которого начинаются непосредственные и постоянные сношения Рима с Грецией и столкновение римской культуры с греческой, была высадка Пирра в Италии в 280 г. до н. э. Потерпев поражение от римлян, Пирр в 274 г. возвратился на родину, оставив во власти римлян всю греческую Италию. Взятие городов, обладавших всеми сокровищами высокой эллинской культуры, не могло остаться без влияния на римские понятия и нравы. Одним из ближайших последствий этого события было появление в Риме множества греков, пленных и рабов. В числе этих греков были люди, получившие хорошее образование. Римляне воспользовались наплывом этих греков в Рим, чтобы поручать им образование своих детей. Особенно широко стала проникать греческая культура в Рим в период второй Пунической войны. Это новое течение в культурной жизни Рима нашло себе усердных покровителей среди римской аристократии. Во главе его в начале II в. до н. э. стоял Тит Квинкций Фламинин, замечательный полководец и государственный деятель. Он рано познакомился с греческой образованностью и везде являлся другом греков. После победы над Филиппом Македонским при Киноскефалах (197 г.) он несколько лет оставался в Греции в качестве римского военачальника и посла и, глубоко преданный эллинизму, много способствовал политическому и культурному сближению своих соотечественников с греками. При Квинции Фламинине филэллинское направление римской знати широко развилось, а римская литература (трагедия, комедия) глубоко прониклась эллинизмом. После Этоло-сирийской войны (192—189 гг.) в Риме возникла была реакция против эллинизма, однако оппозиция против всего греческого стала быстро ослабевать, и общение римлян с греческой культурой постепенно возрастало. Консул Эмилий Павел, победивший македонского царя Персея, в 167 г. привез в Рим первую греческую библиотеку, принадлежавшую царю Персею, и подарил ее своим сыновьям. Один из них, Сципион Младший Эмилиан, был также приверженцем эллинизма. Многие из римской знати в увлечении новыми духовными веяниями пошли по стопам Сципиона. Эллинизм стал неудержимо проникать в Рим, и, хотя энтузиазм ко всему греческому заметно ослабел, греческое образование распространилось повсюду.

В таком положении находилась духовная жизнь Рима в начале II в. до н. э., когда впервые появилась там литературная проза, именно исторический труд Фабия Пиктора, за которым последовали другие труды такого же рода. Творцы этих трудов называются в истории литературы «анналистами», т. е. летописцами, потому что они излагали историю в виде летописи — по годам. Анналистику делят обыкновенно в хронологическом отношении на три раздела: на древнюю, среднюю и новую. Древняя анналистика приходится приблизительно на первую половину II в. до н. э.; средняя — на вторую половину II в.; новая — на первую половину I в. до н. э. (78 г. и след.). Авторами древней анналистики были: Квинт Фабий Пиктор, Луций Цинций Алиммент, Гай Ацилий, Авл Постумий Альбин и Марк Порций Катон. К числу средних анналистов принадлежали: Луций Кассий Гемина, Луций Кальпурний Пизон, Геллий, Венноний, Гай Фанний, Квинт Семпроний Тудитан. Главными представителями новой анналистики были: Квинт Клавдий Квадригарий, Валерий Анциатский, Гай Лициний Макр, Квинт Элий Туберон. Время жизни многих из них в точности неизвестно.

От сочинений всех этих анналистов не сохранилось ни одного в целом виде; дошли только мелкие отрывки, и притом по большей части в изло-

жении цитирующих их авторов (например, Тита Ливия). Надо предполагать, что некоторый материал из сочинений анналистов скрывается в трудах пользовавшихся ими авторов, хотя последние не упоминают имен анналистов.

Цицерон устами Антония и Аттика, которых он представляет говорящими в своих сочинениях, дает такой отзыв о древних и средних анналистах, излагавших «Великие анналы»: «Подобного способа письма держались многие, которые без всяких украшений оставили памятники, в которых указываются только даты, люди, места и события. Каковы у греков были Феркид, Гелланик, Акусилай и очень многие другие, таковы наши Катон, Пиктор, Пизон; они не знают, чем украшается речь (эти украшения лишь недавно у нас введены); стремясь лишь к тому, чтобы их рассказ был понятен, они считают достоинством изложения одну краткость. На несколько более высокий уровень поднялся и придал истории высокий тон друг Красса, достойный Антипатр, а остальные были не украшателями истории, но только рассказчиками» («Об ораторе», II, 12, 53—54). В другом месте Цицерон устами Аттика дает такой отзыв об анналистах: «После Летописи великих понтификов, пустее которой не может быть ничего, если обратиться к Фабию, или к тому, который у тебя всегда на устах, — к Катону, или к Пизону, или к Фаннию, или к Веннонию, то хотя из них один имеет сил больше, чем другой, все-таки, что может быть так сухо, как они все?» («О законах», I, 2, 6).

Эти отзывы прекрасно характеризуют в общем древнюю и среднюю анналистику. Римские анналисты, по словам Цицерона, имели сходство по стилю с греческими логографами («Об ораторе», II, 12, 53); не удивительно, что и участь их была та же: ни от тех, ни от других не сохранилось ни одного полного сочинения.

2. ДРЕВНИЕ АННАЛИСТЫ

✓ *Квинт Фабий Пиктор* (Fabius Pictor) принадлежал к знатному роду Фабиев. Свое прозвище Пиктор («Живописец») он получил от деда (или прадеда), который считался лучшим живописцем своего времени. Год рождения Фабия неизвестен; можно только приблизительно сказать, что он родился около 254 г. до н. э. В тридцатилетнем возрасте он принимал участие в нескольких небольших войнах: в 225 г. против галлов, в 223 г. против лигуров. После поражения при Каннах в 216 г. он был послан в Дельфы спросить оракула, что делать римлянам при таких горестных обстоятельствах; рассказ об этом посольстве и ответ оракула находится у Тита Ливия (XXII, 57, 5; XXIII, 11, 1—6). Затем, известно, что он был сенатором и пользовался репутацией высокопоставленного человека.

Фабий был первым историком Рима. На это прямо указывают Дионисий Галикарнасский (I, 6, 2 и VII, 71, 1) и Тит Ливий (I, 44, 2). Как и другие древние анналисты, Фабий писал на греческом языке.

Заглавие сочинения Фабия нам в точности неизвестно; латинские авторы называют его по большей части «Annales» — «Летопись» (Цицерон, «О предвидении», I, 21, 43; Плиний, «Естественная история», X, 34, 71). Свое сочинение Фабий начинает с прибытия Энея в Италию и кончает второй Пунической войной. Дионисий замечает, что подробно он описал лишь события своего времени, а история предшествовавшего времени была рассказана им лишь в общих чертах (I, 6, 2). Для истории второй Пунической войны Ливий считал Фабия как современника событий важным авторитетом (XXII, 7, 1).

Полибий не вполне доверяет Фабию, он говорит: «С какою целью я

упомянул о Фабии и его сочинении? Не из боязни того, как бы его рассказ не был принят кем-либо с доверием, ибо нелепость его очевидна для читателей сама по себе и без моих объяснений, но для того, чтобы напомнить людям, которые возьмут в руки его сочинение, что следует обращать внимание не на имя писателя, но на содержание его сочинения. Ибо иные читатели обращают внимание не на то, что пишется, а на личность пишущего, и, зная, что писатель был современником описываемых событий и членом римского сената, по тому самому принимают всякое известие его за достоверное. Я же утверждаю, что хотя и не должно пренебрегать показаниями этого историка, однако не следует считать его непогрешимым» (III, 9, 1—5). В другом месте Полибий дает приблизительно такой же отзыв о Фабии и, между прочим, указывает на то, что он из патриотизма возвеличивает римлян и унижает карфагенян. «Писавшие о ней [т. е. о первой Пунической войне] Филип и Фабий, хотя и считаются весьма сведущими историками ее, сообщают нам известия не вполне точные. Принимая, впрочем, во внимание жизнь их и настроение, я не думаю, что они намеренно говорили неправду; мне кажется, с ними случилось нечто подобное тому, что бывает с людьми влюбленными. Так, благодаря своему настроению и вообще благоговению к карфагенянам, Филип находил все действия их разумными, прекрасными и великодушными, во всем этом совершенно отказывая римлянам. Фабий поступал наоборот» (I, 14, 1—3).

Труд Фабия был переведен на латинский язык; в этой редакции он цитируется Квинтилианом, Сервием, Нонием и др.

Древние анналисты, как уже сказано, писали по-гречески. Какая причина этого, нам неизвестно; в науке было выставлено несколько гипотез. Причину видят в том, что латинский язык того времени не был достаточно выработан для прозаических сочинений³. Эта гипотеза едва ли верна. Во-первых, как уже видно из отзыва Цицерона, изложение этих анналистов было сухое, мало отличавшееся от летописи поптифика; а если в летописи прозаический латинский язык оказывался достаточным для описания упоминаемых там событий (войны, небесные явления, цены на хлеб), то, значит, все нужные для этого термины были уже выработаны, и их было достаточно и для краткого изложения анналистов. Во-вторых, на латинском языке писались фамильные хроники, которые также имели историческое содержание. Затем, в комедии — у Плавта и Теренция — мы видим прекрасный язык, вполне пригодный для выражения всякого рода мыслей; а между тем, язык комедии в сущности ничем не отличается от прозаического языка, кроме как стихотворным размером. Так, например, Сосий в «Амфитрионе» прекрасно описывает сражение, с которого он бежал; почему не мог бы сделать такое описание анналист?

Поэтому более вероятным надо считать предположение, что первые анналисты пользовались греческим языком потому, что в то время он был модным языком тогдашнего образованного общества, для которого главным образом и предназначали свои сочинения анналисты.

Эту цель, вероятно, преследовали и римские писатели более позднего времени, когда латинский язык был уже вполне выработан: сам Цицерон написал по-гречески историю своего консульства, как он сообщает об этом Аттику (К Аттику, I, 19, 10 = № 25 по изд. АН СССР); «Сочинение о моем консульстве, написанное по-гречески, я тебе послал... если напишу его

³ На эту причину указывает, между прочим, С. И. Ковалев в «Истории Рима», стр. 16. Правильнее говорит Н. А. Машкин в «Истории древнего Рима» (1949, стр. 13): «Произведения их [старших анналистов] рассчитаны были на узкий круг эллинов, интересовавшихся римским прошлым, и на римских государственных деятелей, владевших греческим языком».

по-латыни, то пришлю тебе». На эту же цель косвенным образом указывает тот факт, что анналист Авл Постумий Альбин, написавший свою историю по-гречески, извиняется перед читателями за свое плохое знание греческого языка (Авл Геллий, XI, 8, 3): «Я — римлянин, родившийся в Лации; греческий язык нам совершенно чужд»⁴. Если он по-гречески писал плохо, то не проще ли было написать плохо по-латыни? Значит, была какая-то причина писать по-гречески, хотя и плохо.

Главными источниками Фабия Пиктора для истории древнего периода служили, как можно предполагать, Летопись великого понтифика и семейные хроники рода Фабиев, который играл видную роль в истории Рима. При описании современных событий Фабий руководился как своими личными наблюдениями, так и рассказами очевидцев.

Из римских писателей сочинением Фабия Пиктора пользовались Цицерон, Тит Ливий, который иногда, но не более шести раз, прямо указывает на заимствования у него, (заимствований из Фабия Пиктора у Тита Ливия, несомненно, больше, но они сделаны без упоминаний имени древнего анналиста), Плиний Старший, три раза ссылающийся на него. Из греческих писателей, пользовавшихся сочинениями Фабия, нам известны Полибий, Дионисий Галикарнасский, который указывает на труд Фабия как на свой источник для истории древнейшего периода Рима, Диодор Сицилийский, Страбон, Плутарх, Дион Кассий и др.

Луций Цинций Алимент (L. Cincius Alimentus) происходил из старинного, именитого плебейского рода и был современником Фабия Пиктора, как видно из свидетельства Дионисия Галикарнасского (I, 6, 2), называющего Фабия и Цинция древнейшими историками и «процветавшими» во время Пунических войн. Подобно Фабию, Цинций был сенатором и играл важную роль в государстве. В 210 г. до н. э. он был претором, а в следующем году пропретором Сицилии. После этого его имя не раз встречается у Тита Ливия в числе римских полководцев, воевавших с Ганнибалом. Известно, что он попал в плен к карфагенянам и там близко сошелся с Ганнибалом, с которым вел беседы. То, что ему пришлось слышать от него, он записал в своем сочинении (о числе войска карфагенского).

Сочинение Цинция не дошло до нас в подлиннике, да и цитаты из него у позднейших историков встречаются очень редко. Сводя эти разрозненные указания, мы можем узнать о характере его труда лишь следующее. Он излагал (тоже по-гречески) римскую историю до второй Пунической войны лишь в общих чертах, а подробно рассказывал события, близкие к своему времени. Источники Цинция были те же, что у Фабия: Летопись великого понтифика; фамильные хроники, личные наблюдения, рассказы очевидцев. Нам неизвестно ни заглавие его труда, ни построение его. В древней литературе нет и отзывов об его сочинении, по которым мы могли бы определить его значение для современников и последующих писателей. Несомненно, однако, что им пользовались и Тит Ливий и Дионисий Галикарнасский. На него делают ссылки Сервий (комментатор Вергилия) и еще один грамматик IV в. н. э.

С вопросом о Цинции Алименте тесно связано одно мнение Нибура, который, несмотря на всю парадоксальность его взгляда, увлек многих исследователей римской истории своим авторитетом. Нибур превозносит Цинция похвалами за его остроумие, прилежание, глубокое знание римских древностей и языка древних римских памятников. Нибур руководится выдержками и ссылками Авла Геллия, Феста, Макробия и других на такие сочинения Цинция Алимента, которые относятся к древностям и

⁴ Nam sum homo Romanus, natus in Latio; graeca oratio a nobis alienissima est.

грамматике (*De fastis, De comitiis, De consulum potestate, De officio jurisconsulti, De re militari, De verbis priscis*).

Но как показали позднейшие исследователи, автором этих грамматических и антикварных трудов был Луций Цинций, современник Цицерона или даже Августа, когда в Риме, по примеру Элия Стилона, многие ученые стали заниматься грамматикой и древностями. Автором этих грамматических сочинений не мог быть анналист Цинций Алиммент уже потому, что многие из тех слов, которые в них объясняются как устарелые, употреблялись не только современниками анналистами, но и Эннием, Акцием, Луцием и другими.

К числу первых римских историков, писавших по-гречески, относится и *Публий Корнелий Сципион Африканский* (P. Cornelius Scipio Africanus) сын Сципиона Африканского Старшего. Его историческое сочинение, по словам Цицерона, было написано очаровательно (*dulcissime*; «Брут», 19, 77). В другом месте Цицерон хвалит его за ученость («Катон Старший», 11, 35) и выражает сожаление, что слабость здоровья мешала его научным занятиям.

✓ *Гай Ацилий* (C. Acilius) был сенатором, и в 155 г., когда в Рим явилось греческое посольство, в котором находились академик Карнеад, стоик Диоген и перипатетик Критолай; он служил для них переводчиком перед сенатом (Авл Геллий, VI (VII), 14, 9). Свой исторический труд (на греческом языке) Ацилий начал с древнейших времен (с Эвандра) и довел до своего времени. В увлечении греческими источниками он дошел до того, что без всякой критики заимствовал отсюда мнение об основании Рима греками (Страбон, V, 3, 3). Судя по немногим ссылкам на Ацилия, встречающимся у Цицерона, Дионисия, Страбона, Плутарха, в изложении его было много мелких подробностей. Сочинение Ацилия, написанное по-гречески, было переведено на латинский язык каким-то Клавдием, о чем сообщает Тит Ливий (XXV, 39, 12 и XXXV, 14, 5), который, очевидно, пользовался сочинением Ацилия в этом переводе.

Авл Постумий Альбин (A. Postumius Albinus) занимал высшие государственные должности и был консулом в 151 г. В 148 г. он был отправлен в Грецию в числе десяти лиц для обращения Ахайи в римскую провинцию. Своим знакомством с греческим бытом и греческой литературой он заслужил в Греции такое уважение, что греки поставили ему статую на Истме (Цицерон, «К Аттику», XIII, 32, 2=№ 614 по изд. АН СССР). Трудно согласовать с этим его извинение пред читателями за плохое знание им греческого языка.

Цицерон отзывался хорошо об Альбине и его историческом труде: он называет его красноречивым («Брут», 21, 81) и ученым («Учение академиков», II, 45, 137). Но совершенно другой отзыв о нем дает Полибий (XXXIX, 12, 1): «Авл Постумий принадлежал к знатнейшему дому и роду, но сам по себе был человек пустой, болтливый и величайший самохвал. С ранней юности он увлекался эллинским образованием и языком и переступал в этом отношении всякую меру; по его вине стали относиться враждебно к увлечению эллинизмом, которое возбуждало недовольство в среде именитейших римлян и старшего поколения. Наконец, Постумий вздумал написать стихотворение и политическую историю, во вступлении к которой просил у читателей снисхождения, если он, как римлянин, не совладал с эллинским языком и не осилил правил построения целого. Говорят, Марк Порций Катон метко возразил на это: «Удивляюсь, зачем он просит снисхождения: если бы писать историю обязало его собрание амфикионов, тогда можно было бы просить о милости, но написать историю без малейшего принуждения, по собственному почину, и затем вы-

прашивать снисхождения к ошибкам против языка,— это служит признаком величайшей глупости»⁵... Во всей своей жизни он, как человек сластолюбивый и изнеженный, подражал тому, что есть наихудшего в эллинизме. Подтверждение дают недавние события: так, ко времени сражения в Фокиде Постумий явился в Элладу первый, но под предлогом болезни удалился в Фивы, лишь бы не участвовать в опасностях битвы. Зато после, когда сражение кончилось, он тоже первый послал сенату письменное уведомление о победе со всеми подробностями, как будто сам участвовал в битвах».

Сочинение Альбина также начиналось с рассказа об основании Рима (или, по крайней мере, с учреждения республики) и доходило до современных автору событий. Читали его, по-видимому, мало и скоро забыли; но все-таки оно было переведено кем-то на латинский язык.

Первым, кто решил писать сочинения по истории и другим наукам на родном языке прозой, был Марк Порций Катон. Катон хронологически причисляется к древним анналистам; но так как он писал на латинском языке, то по этому признаку он должен считаться родоначальником средних анналистов, писавших на латинском языке. (Произведения Катона рассматриваются в главе XIII).

3. СРЕДНИЕ АННАЛИСТЫ

Средние анналисты не составляют группы писателей, имевших внутреннюю связь между собою, подобно греческим историкам эллинистического периода, которые нередко продолжали историю своих предшественников. Каждый из них шел своей дорогой, не думая ни о том, что было сделано до него, ни о том, что еще следовало сделать; вместо того чтобы идти вперед, они начинали дело сызнова и, может быть, даже шли назад. По мнению Цицерона, все эти историки сходны между собой. И действительно, это летописцы, которые довольствуются сообщением сведений о людях, местах и событиях, без малейшей заботы о литературном достоинстве изложения. Они не чувствуют ни малейшего сомнения насчет преданий; для них нет разницы между легендой и историей. Однако они не были совсем бесполезны: они собирали предания, составили из них как бы свод. Они не обладали художественным чувством. Это были люди деловые — они несли раньше государственные должности и предводительствовали войсками, некоторые были участниками важных событий. Они приобрели таким образом опыт, здравое суждение и определенный взгляд на дела; они впервые стали вводить в литературу политический элемент.

Нам неизвестно, какие цели они преследовали в своей работе: были ли они просто историками-литераторами или, как люди государственные, желали возвеличить себя и свои деяния и прославить свой род. Судя по тому, что Катон не упускал случая указать на свои заслуги и даже приводил свои речи, можно думать, что и эти анналисты имели такую цель, и, может быть, даже писали для какого-нибудь небольшого кружка, подобно тому как писались фамильные хроники. Если был кружок, группировавшийся около Сципионов, почему не предположить, что были и другие подобные кружки, для которых и писали эти анналисты свои истории.

Луций Кассий Гемина (L. Cassius Hemina) — древнейший из анналистов после Катона, писавший по-латыни. О его жизни и личности мы ни-

⁵ Этот рассказ приводит также Авл Геллий (XI, 8) из сочинения Корнелия Непота («О знаменитых людях», 13).

чего не знаем кроме того, что он жил около 146 г. до н. э., как видно из свидетельства Цензорина (*De die natali*, 17, 11), который сообщает, что в консульство Гнея Корнелия Лентула и Луция Муммия Ахейского, т. е. в 146 г., праздновались «вековые игры» (*ludi saeculares*) и ссылается на «жившего в это время» (*qui illo tempore vivebat*) Кассия Гемину. Сочинение Кассия Гемины носило заглавие «*Annales*» (иногда называлось «*Historiae*»). Начиналось оно с древнейшей истории Италии, которая была изложена подробно, и доводило изложение римской истории по меньшей мере до 146 г. Начиная с основания Рима, изложение, по-видимому, было краткое, судя по тому, что во второй книге заключалась история основания Рима, царского периода и древней Республики и все сочинение состояло только из четырех книг. Впервые оно упоминается Плинием; до Плиния, может быть, знал его Варрон; остальные, цитирующие его (Ноний, Диомед, Присциан, Макробий, Солип, Цензорин, Авл Геллий), кажется, не знали его непосредственно. Ни один историк им не пользовался, даже у Дионисия нет упоминания о нем.

Дошло до нас из этого сочинения только 40 фрагментов (из них 20 цитируются грамматиками по поводу языка Кассия Гемины). По-видимому, были в нем и описания курьезов, необыкновенных явлений. Вот для примера фрагмент 37, приведенный Плинием Старшим (XIII, 84—86): «Писец Гней Теренций, вскапывая свое поле на Яникуле, вырыл гроб, в котором лежал Нума, царствовавший в Риме. В гробу были найдены его книги в консульство [таких-то], до консульства которых от царствования Нумы прошло 535 лет. Книги были из папируса: это было еще большее чудо, что они, зарытые, сохранились в целости. Поэтому, ввиду такого важного факта, я приведу слова самого Гемины: «Все удивлялись, каким образом эти книги могли сохраниться; а он [Теренций] давал такое объяснение: почти в середине гроба был камень квадратный, обвязанный по всем направлениям навощенными веревками⁶. На этом камне сверху были положены книги; поэтому, думал он, книги не сгнили. Да и книги были намазаны цитрусовым маслом⁷; поэтому, думал он, моль их не тронула. В тех книгах были сочинения Пифагоровой философии — и они были сожжены претором Кв. Петилием, потому что это были философские сочинения».

Луций Кальпурний Пизон (*L. Calpurnius Piso*), имевший прозвание *Frugi* (честный), занимал высокие государственные должности: был народным трибуном в 149 г., консулом в 133 г., цензором, вероятно в 123 г. В политике он был на стороне оптиматов и решительным противником Гая Гракха. Он был автором исторического сочинения, носившего заглавие «*Annales*», в котором излагалась история, как и у других анналистов, с древнейших времен (с Энея) до его времени. Сочинение состояло из семи книг, причем, как и у других, подробно излагались события царского периода и события, современные автору, и кратко события древней республики. Сочинение его считалось заслуживающим доверия — уже вследствие прославленной честности самого автора. У него встречаются некоторые попытки объяснять рационалистически древние мифы. По-видимому, он имел в виду и педагогические цели: в двух фрагментах (38, 40) он жалуется на испорченность нравов, в других (8, 27, 33) восхваляет старое время. Сочинение его также было написано сухим слогом.

Из историков им пользовались немногие — только Ливий и Дионисий;

⁶ Разумеется очищенный от коры тростник (*scirpus palustris*), служивший фитилем для ламп и факелов, которыми обматывались вещи, опускаемые в могилу с покойником, для предохранения их от гниения.

⁷ По другому толкованию: «были покрыты цитрусовыми ветвями».

из древних писателей есть упоминания о нем у Цицерона, Варрона, Плиния Старшего, Авла Геллия.

До нас дошло 45 фрагментов от его сочинения. Иллюстрацией могут служить фрагменты 8, 27, 33.

Фрагмент 8

Говорят, Ромул, приглашенный на обед, мало пил там, потому что-де на следующий день у него есть дело. Ему говорят: «Ромул, если бы так стали поступать все люди, вино стало бы дешевле». Он ответил им: «Напротив, оно было бы дорого, если бы каждый пил, сколько захочет: ведь я выпил сколько хотел». (Авл Геллий, XI, 14).

Фрагмент 27

Гней Флавий, сын вольвоотпущенника, занимал должность писаря. Он служил у курульного эдила, и его в трибе выбрали курульным эдилом. Эдил, который председательствовал в комициях, отказывается признать этот выбор и говорит, что ему не нравится, чтобы сделался эдилом писарь. Гней Флавий, сын Анния, говорит, положил письменные дощечки, отказался от должности писаря, и он стал курульным эдилом.

Тот же Гней Флавий, сын Анния, говорят, пришел к своему коллеге навещать больного. В той комнате, когда он вошел, сидело там несколько знатных юношей. Они, презирая его, никто не захотел встать перед ним. Гней Флавий, сын Анния, посмеялся над этим, велел принести себе курульное кресло, поставил его на пороге, чтобы никто из них не мог выйти, и чтобы они все против воли видели его сидящим на курульном кресле. (Авл Геллий, VII (VI) 9).

Фрагмент 33

Гай Фурий Кресим, вольвоотпущенник, собирал на довольно маленьком поле гораздо больший урожай, чем соседи с очень обширных, и потому был предметом большой зависти — будто бы он привлекает чужие плоды колдовством. Поэтому, вызванный на суд курульным эдилом Спурием Альбином, он, боясь осуждения, когда трибы должны будут идти на голосование, принес на форум все деревенские инструменты и привел своих людей, крепких и, как говорит Лизон, хорошо убитанных и одетых, железные орудия, превосходно сделанные, тяжелые кирки, увесистые сошники, привел сытых волов. Потом он сказал: «Вот мое колдовство, квириты, но я не могу показать вам и принести на форум свои ночные труды, бдения и пот». Итак, голосами всех он был оправдан. (Плиний Старший, XVIII, 6, 41—43).

Гней Геллий (Сп. Gellius), как предполагают, есть тот самый Гней Геллий, против которого произнес речь Катон (неизвестно в каком году). С другой стороны, из слов Цицерона («О предвидении», I, 26, 55) видно, что Геллий писал раньше Целия Антипатра, составившего свою историю после трибуната Гая Гракха — приблизительно между 120 и 110 гг. до н. э. Таким образом, временем жизни Геллия надо считать середину II в. до н. э.

Он был автором большого исторического сочинения, носившего заглавие «Annales» и состоявшего будто бы из 97 книг. Начиналось оно с древнейших времен и доходило до его времени. Этим сочинением охотно пользовался Дионисий (цитирует его шесть раз), но Ливий нигде не упоминает

нает; цитаты из него есть у Авла Геллия, Сервия, Макробия, Плиния и др. От него сохранилось 33 фрагмента, незначительных по содержанию.

Венноний (Vennonius) упоминается Цицероном («О законах», I, 2, 6) как плохой историк, живший раньше Целия Антипатра. Еще упоминает о нем Цицерон в письме к Аттику (XII, 3, 1 = № 465 по изд. АН СССР), где жалуется, что у него нет истории Веннопия. Один раз ссылается на него Дионисий (IV, 15, 1) в рассказе о Сервии Туллии. Более никаких сведений о нем нет.

Гай Фанний (C. Fannius) был другом Гая Гракха и благодаря его поддержке был выбран в консулы в 122 г. до н. э. Но во время своего консульства он перешел на сторону оптиматов и произнес речь против внесенного Гракхом законопроекта о предоставлении союзникам прав гражданства⁸. Фанний получил философское образование: по совету своего тестя, Гая Лелия, он слушал лекции стоика Панаэтия.

Фанний написал историческое сочинение, носившее обычное заглавие «Annales»; начиналось оно по традиции с древнейших времен и доходило до его времени. Как и в «Началах» Катона, в сочинении Фанния были и речи исторических лиц. Сочинение это, по-видимому, пользовалось уважением у римских историков: Саллюстий, по словам ратора Викторина, ценил его за правдивость. Цицерон считает его сухим (exilis) автором («О законах», I, 2, 6), но все-таки находит, что его история «написана не без изящества, не черезчур беспомощным слогом, но и не совершенно красноречивым»⁹ («Брут», 26, 101). Из истории Фанния сделал извлечение Марк Брут. Следы пользования ею видны у Плутарха.

До нас дошло из нее только 9 фрагментов. Вот один из них (из книги I): «Жизненный опыт учит нас, что многое, кажущееся в настоящее время хорошим, впоследствии оказывается дурным, и что многое бывает не таково, каким оно казалось раньше».

Гай Семпроний Тудитан (C. Sempronius Tuditanus), консул 129 г., был автором сочинения «Книги должностных лиц» (Libri magistratuum). Это сочинение состояло по меньшей мере из 13 книг; в нем говорилось, например, об учреждении должности народных трибунов, о находке книг Нумы (о чем писал и Кассий Гемина), о Регуле.

4. ИСТОРИЧЕСКАЯ МОНОГРАФИЯ

Кроме анналистов, писавших историю Рима от древнейших времен до своего времени, были историки, составлявшие монографии по истории меньших периодов времени. Эти монографии составляют самую ценную часть исторической литературы республиканского времени. Впервые появляются они около эпохи Гракхов; но и от них не дошло до нас ничего, кроме немногих фрагментов.

Родоначальником исторической монографии был *Луций Целий Антипатр* (L. Coelius Antipater). Как показывает его греческое прозвище (Antipater), это был не аристократ, какими были древние анналисты, но какой-нибудь потомок (может быть, сын) вольноотпущенника¹⁰. Цицерон приписывает ему речи, которые он мог говорить только в качестве римского гражданина, но он не занимал никакой служебной должности и был

⁸ См. об этом законопроекте: Н. А. Ма ш к и н. История древнего Рима, стр. 254.

⁹ Non ineleganter scripta..., neque nimis est infans, neque perfecte diserta.

¹⁰ Его самого считать вольноотпущенником нельзя потому, что, как говорит Корнелий Непот (у Светония, «О раторах», 3), первым из вольноотпущенников стал писать историю некий Л. Волтацилий Пилут, учивший Помпея риторике.

только знатоком права и ритором. Он был учителем оратора Луция Красса («Брут», 26, 102).

Целий выбрал темой для своего сочинения вторую Пуническую войну, но оно носило заглавие, по-прежнему, или «Historiae», или «Annales»; впрочем, Цицерон называет его «Пунической войной» («Оратор», 69, 230). Оно состояло не менее чем из семи книг и было написано после 121 г., как видно из того, что в нем предполагается известной читателям смерть Гая Гракха (Цицерон, «О предвидении», I, 26, 56). Оно было посвящено знаменитому филологу того времени Луцию Элию Стилону (L. Aelius Stilo). Уже в книге I был рассказ о битве при Каннах, а в книге VI описывалась высадка Сципиона в Африку. Источниками Целию служили сочинения его предшественников — Фабия Пиктора, Катона, — устные предания и, что было новостью в то время, он пользовался сочинением греческого историка Силеня, находившегося при Ганнибале и потому описывавшего события в благоприятном для карфагенян освещении. Пользовался ли он историей Полибия, сказать с точностью нельзя. Новостью для того времени была также критика источников. Так, Целий привел три версии рассказа о смерти консула Марцелла: одну — основанную на предании, другую — основанную на погребальной речи, произнесенной сыном Марцелла, бывшего очевидцем смерти отца; третью — основанную на его собственных изысканиях, которую он считал верной (Тит Ливий, XXVII, 27). Поэтому сочинение Целия имело большое значение в последующее время: оно считалось важнейшим источником по истории второй Пунической войны, и историки делали заимствования из него, как, например, Ливий в третьей декаде своей истории; пользовались им также Плутарх, Вергилий, Валерий Максим, Плиний, Фронтин. На важное значение его указывает также и то, что из него сделал извлечение Марк Брут. Во II в. н. э. император Адриан, любитель старинной литературы, ставил Целия даже выше Саллюстия (неизвестно, как историка или как писателя); грамматик Павел (современник Авла Геллия) комментировал его — вероятно, объяснял его архаизмы.

Однако главной задачей Целия была не история сама по себе: он, как ритор, взялся за исторический труд главным образом с целью показать на нем свое стилистическое искусство и старался сделать рассказ занимательным даже в ущерб исторической истине. По этой причине он вставлял в рассказ вымышленные речи действующих лиц (по образцу греческих историков), украшал рассказ собственными вымыслами; словом, центр тяжести у него лежал в искусстве изложения.

Мнение Цицерона о нем — двойственное: с одной стороны, Цицерон хвалит его за то, что он «приподнялся и придал истории более возвышенный тон» («Об ораторе», II, 12, 54)¹¹, тогда как другие были не «украшателями изложения, но только рассказчиками». Приблизительно то же мнение высказывает Цицерон и в трактате «О законах» (I, 2, 6): «... поднял тон немного выше, и мог других склонить к тому, чтобы писать старательнее». Но к этим похвалам Цицерон примешивает оговорки неодобрительного свойства: «Человек он был неученый и не имел ораторского таланта... не умел внести в рассказ разнообразия... но все-таки превзошел своих предшественников» («Об ораторе», II, 13, 54).

В предисловии к своему сочинению Целий заявлял, что он не будет стремиться к искусственной расстановке слов ради придания ритма изложению, разве только по необходимости будет делать это («Оратор», 69, 229). Тем не менее, как замечает Цицерон, Целий это делал.

¹¹ Paullum se erexit et addidit maiorem historiae sonum vocis... Antipater.

От сочинения Целия сохранились только фрагменты числом 65, на основании которых нельзя составить ясного представления о его труде.

Семпроний Азеллион (Sempronius Asellio) родился приблизительно около 160 г. до н. э. Из обстоятельств его жизни известно только то, что он служил военным трибуном под командой Публия Сципиона Африканского Эмилиана во время Нумантийской войны (134 г. до н. э.). Он описал события, в которых принимал участие, в своем сочинении, называемом одними писателями «Res gestae», другими — «Historiae». Это сочинение состояло будто бы из 40 книг (так сказано у грамматика Харисия); это число, как предполагают, неверно; в фрагментах, дошедших до нас, упоминаются только книги I, III, IV, V, XIII, XIV. По-видимому, оно начиналось с описания Нумантийской войны; в V книге говорилось о смерти Тиберия Гракха (133 г.), в XIV — о смерти трибуна Марка Ливия Друза (91 г.). Так как в 91 г. Семпронию Азеллиону должно было быть около 70 лет, то едва ли могло быть в его труде описание событий значительно более поздних.

Таким образом, его сочинение отличалось от сочинений предшествующих историков уже тем, что он описывал лишь события своего времени, не касаясь времен более ранних; это была именно монография. Затем, его труд должен был быть огромным шагом вперед в римской историографии, если он соблюдал в нем принципы, высказанные им в предисловии: это должна была быть история прагматического характера, в которую входило не только изложение внешних событий, но и описание внутренней жизни государства; в этой тенденции, вероятно, сказалось влияние Полибия. Вот его слова, сохраненные Авлом Геллием (V, 18, 8—9): «Между теми, которые пожелали составить летописи, и теми, которые попытались описать деяния римлян, была следующая разница. Летописи показывали только то, что было совершено в каждом году... Нам, как я вижу, недостаточно изложить только то, что было сделано, но еще следует показать, с какой целью и по какой причине оно было совершено... Летописи несколько не могут увеличить в людях энергию к защите отечества и уменьшить склонности к дурным деяниям. А описывать, при каком консуле начата война, при каком окончена, кто вступил с триумфом в Рим, что произошло на войне, но не говорить, что в это время постановил сенат, какой был внесен законопроект, с какими целями это делалось, это — рассказывать сказки детям, а не писать историю». Судя по этому предисловию, его сочинение имело цель также воспитательную: возбуждать патриотизм и карать пороки.

Однако, несмотря на все эти достоинства, от сочинения Семпрония до нас ничего не дошло, кроме 14 фрагментов, сохраненных главным образом Авлом Геллием; не видно даже следов его влияния в древней исторической литературе; несколько раз ссылаются на него грамматика (Присциан, Харисий, Ноний) по поводу некоторых старинных слов.

О стиле Семпрония упоминает один раз Цицерон, но с неодобрением: по стилю он ничто в сравнении с Целием Антипатром, а скорее близок к древним анналистам («О законах», I, 2, 6).

5. АВТОБИОГРАФИИ И МЕМУАРЫ

Около времени Гракхов в Риме появляется новый вид исторических сочинений — автобиография. Писались эти сочинения для оправдания политической деятельности авторов. Борьба партий этой эпохи вызывала к жизни эти политические памфлеты. Нам известны четыре автора таких

сочинений: Марк Эмилий Скавр, Квинт Лутаций Катул, Публий Рутилий Руф и Луций Корнелий Сулла.

Предшественниками их можно считать авторов политических писем. Самым древним из этих авторов был *Публий Корнелий Сципион Африканский Старший*, написавший царю Филиппу Македонскому по-гречески письмо, в котором (по словам Полибия, X, 9, 3) сообщал ему, какими соображениями руководился он и в походе на Испанию и при осаде Карфагена. Вторым автором подобного же письма был *Публий Корнелий Сципион Назика*, писавший тоже на греческом языке какому-то царю о событиях в войне с Персеем (Плутарх, биография Эмилия Павла, гл. 15). Наконец, Цицерон и Плутарх рассказывают о каком-то сочинении *Гая Гракха*; неизвестно, письмо ли это было, или политическая брошюра, — Цицерон называет это слишком общим словом — *scriptum* («О предвидении», I, 18, 36), Плутарх («Тиберий Гракх», 8) — столь же общим *βιβλίον*. Цицерон приводит рассказ Гая Гракха о том, что его отец, Тиберий Гракх, поймал в своем доме две змеи и созвал гадателей-гаруспиков. Они истолковали это в том смысле, что, если он выпустит змею-самца, то жена его вскоре умрет, а если самку, то сам он умрет. Гракх решил, что справедливее умереть ему, чем молодой его жене Корнелии, выпустил змею-самку и через несколько дней умер. Можно думать, что в этом сочинении Гай Гракх говорил о своей политике; если это так, то его надо считать основоположником автобиографического и мемуарного жанра.

Марк Эмилий Скавр (M. Aemilius Scaurus) происходил из аристократического, но захудалого рода. Он родился в 162 г. до н. э., умер между 90 и 88 г. Ему удалось достигнуть высших государственных должностей: в 115 г. он был консулом и принцем сената, в 109 г. — цензором. Он был ревностным поборником аристократической партии, и потому мнения древних писателей об его нравственных качествах различны, смотря по политическим взглядам автора. Так, Цицерон говорит о нем: «Всем мятежникам от Гая Гракха до Квинта Вария он противился; никакая сила, никакие угрозы, никакая зависть никогда не могли поколебать его» («За Сестия», 47, 101). Отзыв Саллюстия совсем другого рода: «Эмилий Скавр человек знатный, энергичный, пристрастный, жаждавший политического влияния, почестей, богатства, но искусно скрывавший свои недостатки» («Югуртинская война», 15, 4). Впрочем, и у Цицерона есть намек на его корыстолюбие («Об ораторе», II, 70, 283).

Эмилий Скавр был оратором незаурядным (*minime contemnendus*), по словам Цицерона («Об ораторе», I, 49, 214), но все-таки отличался более практическим умом, чем красноречием, — *prudencia rerum magnarum magis, quam dicendi arte, nititur* (там же).

Он написал свою биографию, довольно обширную, в трех книгах. Цицерон сетует, что «хотя она полезна для чтения, но никто ее не читает, тогда как «Киропедию» читают, которая, хотя и прекрасна, но не так пригодна для римлян и не заслуживает предпочтения пред прославлением Скавра» («Брут», 29, 112). От автобиографии Скавра сохранилось лишь семь ничтожных фрагментов, из которых пять цитируются грамматиками по поводу особенностей языка.

Квинт Лутаций Катул (Q. Lutatius Catulus) родился около 150 г. до н. э. Это был образованный человек: он имел отношение к кружку Сципиона, занимался философией, знал греческий язык. Из обстоятельств его жизни мы знаем только то, что, после трех неудачных попыток получить должность консула, он был избран в консулы в 102 г. вместе с Марием; в 101 г. он в качестве проконсула вместе с Марием победил кимвров при Верцеллах. Так как Катул принадлежал к партии оптиматов, то Марий,

вступив победителем в Рим в 87 г., приказал одному трибуну обвинить его в уголовном преступлении. Катул предпочел покончить с собой.

После победы Мария и Катула над кимврами, конечно, в Риме были разговоры о том, кому принадлежит главная роль в этой победе. Общественное мнение, по-видимому, склонялось в пользу Марии; чтобы выставить на вид свои заслуги, Катул написал сочинение «О консульстве и делах своих» (*De consulatu et de rebus gestis suis*). Цицерон хвалит стиль Катула и чистоту латинского языка, которая видна не только в его речах, но особенно в этом сочинении, написанном «мягким стилем Ксенофонта» («Брут», 35, 132). Однако, как прибавляет Цицерон, и оно было в его время несколько не более известно, чем сочинение Скавра. На это сочинение три раза ссылается Плутарх в жизнеописании Марии, хотя оно не было известно ему непосредственно, судя по тому, что Плутарх, упоминая его, употребляет везде выражение, «говорят, что Катул...» Только эти три фрагмента из этого сочинения и известны нам. Цицерон хвалит также «звук его голоса и приятное произношение букв» (там же, § 133). Несмотря на все эти качества, он не относит его к числу первостепенных ораторов (там же, § 134), и речи Катула исчезли бесследно. Не дошло до нас ни одного фрагмента из них; сохранилось лишь определенное упоминание о его надгробной речи в честь матери («Об ораторе», II, 11, 44).

Кроме истории своего консульства, Катул писал также стихотворения; одно из них (эротического содержания) приводит Геллий (XIX, 9, 14); другое (о знаменитом актере Росции) приводит Цицерон («О природе богов», I, 28, 79). Катулу принадлежит и сочинение под заглавием «*Communes historiae*» («Общие истории»). Что означает в точности это заглавие и какое было содержание этого сочинения, неизвестно; судя по сохранившимся трем отрывкам, в нем говорилось о мифах и местных сказаниях.

Публий Рутилий Руф (*P. Rutilius Rufus*) родился, вероятно, около 151 г. до н. э. Из обстоятельств его жизни мы знаем, что он служил военным трибуном под начальством Сципиона при осаде Нуманции в 134 г., потом был легатом консула Квинта Цецилия Метелла во время войны с Югуртой в 109—108 гг. и достиг консульства в 105 г. По своим политическим убеждениям он принадлежал к партии оптиматов и сражался против Сатурнина в 100 г. Вскоре после этого, по всей вероятности около 98 г., он в качестве легата и друга проконсула Квинта Муция Сцевола, бывшего понтификом, последовал за ним в Азию. Они оба заботились о благосостоянии провинциалов, защищая их от насилий и вымогательств со стороны откупщиков, и пользовались уважением жителей. Но когда Рутилий вернулся в Рим, на него обрушилась ненависть денежной аристократии, сословия всадников, которые смотрели на провинцию как на место обогащения. В то время суды были в руках всадников, и Рутилий был обвинен в вымогательстве, которое он будто бы производил в провинции. Рутилий был признан виновным и приговорен к изгнанию с конфискацией имущества. Сознывая свою правоту, он поехал в ту провинцию, которую будто бы грабил; города этой провинции наперерыв приглашали его к себе на жительство. Он, однако, поселился в Митилене, а потом в Смирне, где Цицерон виделся с ним в 78 г. («Брут», 22, 85). Вскоре после этого Рутилий, по-видимому, умер, но не ранее 77 г., так как в трактате Цицерона «О природе богов», сценировка которого относится к 77—75 г., о Рутилии говорится как о живом: «Почему П. Рутилий находится в изгнании?» (III, 32, 80).

Историк Веллей Патеркул называет Рутилия «наилучшим человеком не только своего века, но всякого времени» (*virum non saeculi sui, sed omnis aevi optimum*; II, 13, 2).

Плутарх отзывается о нем, как о человеке «правдолюбивом и нравственном» («Марий», 28). По свидетельству Цицерона, Рутилий был «человек ученый, знавший греческую литературу, слушатель Панетия, почти идеальный стоик» («Брут», 30, 114), был знатоком права (там же, § 113). Однако речи его были сухи, как вообще было сухо красноречие стоиков (там же, § 114).

Во время изгнания Рутилий написал свою автобиографию на латинском языке, которая состояла по меньшей мере из пяти книг; очевидно, он хотел в ней рассказать соотечественникам истину о своем судебном процессе. От этого сочинения дошло до нас шесть ничтожных отрывков, и притом все они находятся у грамматиков, которые приводят их ради особенностей языка.

Кроме автобиографии, Рутилий написал еще историю Рима на греческом языке. Каково было содержание и сколько книг она заключала в себе, также неизвестно; во всяком случае, она выходила за пределы жизни автора, судя по тому, что в одном фрагменте речь идет о смерти Сципиона (183 г.), в другом — о трех философах, посланных афинянами к римскому сенату в 155 г. От этого сочинения сохранилось шесть отрывков, как у латинских писателей (Ливий, Макробий, Авл Геллий), так и у греческих (Плутарх, Афиней).

Луций Корнелий Сулла (L. Cornelius Sulla), родившийся в 138 г. до н. э., известный государственный деятель, в 79 году до н. э. сложил с себя диктатуру и удалился в ПUTEОЛЫ. Там он написал записки о своей жизни. Это было большое сочинение — в 22 книгах; заглавие его в точности неизвестно.

В начале этого сочинения Сулла говорил о своих предках. До какого именно времени он довел свой рассказ, нельзя с точностью определить; но, во всяком случае, в фрагменте 19 речь идет о сражении при Сакрипорте в 82 г. Последнюю, XXVII книгу он продолжал писать еще за два дня до смерти и говорил в ней о предстоящей своей смерти. Поэтому можно предполагать, что рассказ был доведен до 78 г.

Мемуары Суллы дополнил (т. е., вероятно, прибавил рассказ о его смерти) и издал его вольноотпущенник, грек Корнелий Эпикад (Светоний, «О грамматиках», 12).

Этим сочинением пользовался очень много Плутарх (в биографии Марии и Суллы). До нас дошли из него лишь фрагменты, числом 21, и то почти все в изложении Плутарха на греческом языке в указанных биографиях; в подлинных словах автора — лишь два у Авла Геллия и один у Присциана. Известно было это сочинение также Цицерону (фр. 9) и Плинию Старшему (фр. 10).

6. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

«В царский период были заложены основы римского права. В эту эпоху появляется деление права на *fas* и *jus*. *Fas* охватывает предписания божеские, *jus* — предписания властей и вместе с тем суд. В раннюю эпоху *fas* охватывает широкую область: международные отношения, уголовные преступления, заключение брака, усыновление, различные договоры, установление межи — всё это было связано с религией. Источником образования права был обычай, а хранителем обычаев была жреческая коллегия понтификов»¹².

¹² Н. А. М а ш к и н. История древнего Рима, стр. 120.

В наших источниках упоминаются *Leges regiae* — «Царские законы» и *Leges actionis* — «Формулы обвинения в судебных процессах» как древнейшие юридические памятники; но даже и по сообщениям наших источников, это были собрания более позднего времени. Поэтому древнейшим юридическим памятником, дошедшим до нас, хотя лишь отчасти в подлинном виде, следует считать законы Двенадцати таблиц.

Наряду с политическим значением, законы Двенадцати таблиц, составленные в V в. до н. э., имеют и литературное значение. Прежде всего, это была первая попытка приспособить латинский язык к прозаическому изложению; во-вторых, они служили в течение нескольких веков учебной книгой в школах: еще во времена Цицерона дети учили их наизусть («О законах», II, 23, 59). Впоследствии некоторые места в них стали темными в результате изменения языка и изменения права; поэтому тогдашние филологи много раз комментировали их. Таковы были: Секст Элий Пет Кат (консул 198 г.), Марк Антистий Лабейон (современник Августа) и Гай (II в. н. э.); писал объяснения также знаменитый филолог Луций Элий Стиллон, комментировавший также песни салиев (II—I в. до н. э.).

Законы XII таблиц оказали огромное влияние на всю последующую юриспруденцию римлян, а через нее — и на юриспруденцию новых времен.

Тит Ливий говорит: «И по настоящее время, среди массы нагроможденных один на другой законов, они остаются источником всего уголовного и гражданского права» (III, 34, 6).

Во время пожара при нашествии галлов на Рим в 387—386 гг. таблицы эти погибли; как они были восстановлены впоследствии, неизвестно. До нас дошли от них только отрывки (вероятно, в подновленном виде) в сочинениях разных писателей. В новое время делались попытки восстановить их на основании сохранившихся фрагментов; но, конечно, такое восстановление не может претендовать на какую-либо достоверность.

Римляне сами сознавали, что в их законах и договорах, в противоположность позднейшей литературе, отражается римский национальный дух; они с патристической гордостью противопоставляли эти древние документы сочинениям поэтов, ораторов и философов. «Если кто интересуется филологией, — говорит Красс у Цицерона, — то во всем гражданском праве, в книгах понтификов и в Двенадцати таблицах есть очень часто отображение древности, потому что из них можно узнать слова глубокой древности, и некоторые виды судебных действий показывают привычки и образ жизни предков... Кто интересуется философией, тот в них находит источники всех своих рассуждений, заключающихся в гражданском праве и законах... И не бесконечные, полные полемики рассуждения, но авторитетное веление законов учит нас смирять чувственность, обуздывать все страсти, блюсти свое, удерживать ум, взор, руки от чужого. Пусть все возмущаются, но я выскажу свое мнение: одна книжица Двенадцати таблиц, как мне кажется, превосходит как весом авторитета, так и обилием пользы библиотеки всех философов... Знание права доставит вам радость и удовольствие: вы увидите, насколько предки наши оказались выше всех народов государственной мудростью, если сравните наши законы с их Ликургом, Драконом, Солоном. Нельзя поверить, насколько гражданское право все, кроме нашего, беспорядочно и, можно сказать, смешно» («Об ораторе», I, 43—44, § 193—197).

Вот для примера несколько постановлений законов Двенадцати таблиц:

«Если отец три раза продаст сына, то сын пусть будет свободен от отца».

«Если отец семейства, у которого нет своего [естественного] наследника, умирает,

РАННЯЯ РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

рает без завещания, то пусть ближайший агнат [родственник по отцу] получает фамильное имущество; если нет агната, то пусть члены рода получают фамильное имущество».

«Кто сознался в долге, после законного разбора дела, тому пусть будет предоставлено 30 дней срока. После этого пусть будет наложение руки [арест]. Пусть он [кредитор] ведет его в суд. Если он не исполнит присужденного и если никто не предъявит на него прав пред судом, то пусть он [кредитор] ведет его с собою. Пусть он свяжет его веревкой или ножными кандалами весом в 15 фунтов, не больше, или, если хочет, то меньше. Если он хочет, пусть живет на свое. Если он не будет жить на свое, то пусть он [кредитор] дает ему фунт муки в день. Если хочет, пусть дает больше».

«В третьи нундины [через 27 дней] пусть они режут его на части. Если отрезали больше или меньше, пусть это будет безнаказанно».

«Если рукой или палкой сломает кость свободному, то пусть платит 300 [ассов], если рабу — 150».

«Если кто ночью совершит кражу и его он [хозяин имущества] убьет, то пусть он будет убитым по праву».

«Мертвого человека в городе не хорони и не сжигай».

«Костер не отделявай топором».

«У кого зубы соединены золотом, и он [хоропящий его] будет хоронить или сжигать его с ним, то пусть будет это безнаказанно».

«Женщины пусть не царапают щеки и не производят громкого крика по случаю похорон».

Упомянутые выше «Царские законы» были собраны и обнародованы понтификом Гаем Паприем, жившим будто бы при Тарквинии Гордом, и потому они назывались «Jus Papirianum». Как полагают ученые нового времени, на самом деле это было извлечение из книг понтификов сакрального характера, сделанное в I в. до н. э. Оно было комментировано во время Цезаря Гранием Флакком.

«Формулы обвинения в судебных процессах» были собраны и обнародованы Гнеем Флавием, секретарем Аппия Клавдия Слепого, в IV—III вв. до н. э., и потому они назывались «Jus Flavianum».

От того и другого собрания сохранились лишь фрагменты.



Глава XIII

КАТОН

1. Биография Катона.— 2. Политические взгляды Катона.—
3. «Начала» Катона и его литературная деятельность.

*

1. БИОГРАФИЯ КАТОНА

Первым римским прозаиком, решившимся писать сочинения по истории и другим наукам на латинском языке, был *Марк Порций Катон* (M. Porcius Cato).

Относительно третьего имени этого писателя — Катон — мнения расходятся. По Плутарху («Катон Старший», 1, 2): «Раньше третье его имя было Приск, а не Катон. Имя Катона дано ему позже за его ум — умного человека римляне называют *satus*». Цицерон нигде не говорит ни о таком происхождении прозвища *Cato*, ни о прозвище *Priscus*, но упоминает о прозвище *Sapiens* (мудрый), которое было ему дано в старости, «потому что он обладал опытом во многих делах» («Лелий», II, 6).

Никакого сопоставления имени *Cato* с прилагательным *satus* (по-сабински = *acutus*) Цицерон не делает. Вернее всего, это домысел Плутарха. Прозвище же *Priscus* (древний, или *παῖος* — старший — было дано ему потомками в отличие от его правнука Катона Утического или *minor* — младшего). Впоследствии к нему прилагали еще прозвище «Цензор».

Источниками биографии Катона служат: 1) краткая биография — из фрагментов книги Корнелия Непота «О латинских историках» (вся книга не дошла до нас), являющаяся сокращением его подробной биографии, на которую ссылается сам Непот: «О жизни и нравах его я рассказал больше в той книге, которую написал специально о нем по просьбе Тита Помпония Аттика» («Катон», III, 5); 2) биография в «Жизнеописаниях» Плутарха; 3) ряд упоминаний о нем у Полибия, Цицерона, Тита Ливия и у позднейших авторов (Авла Геллия, Юлия Виктора, Нония и др.). Годом рождения Катона считается 234 г. до н. э.¹; год смерти — 149 — совпадает с началом третьей Пунической войны.

Из произведений Катона полностью дошло только одно — «О земледелии» (*De agri cultura*), — в некоторых изданиях называемое «О сельском хозяйстве» (*De re rustica*) в 162 главах. От всех остальных дошли только фрагменты, иногда имеются лишь ссылки на них у позднейших авторов (особенно много у Авла Геллия). Произведений, не дошедших до нас, было, по-видимому, восемь:

¹ Если верить сведениям Плутарха, что Катон выступал против Сервия Гальбы в 149 г. перед самой смертью уже в возрасте 90 лет, то его год рождения 239; но этому противоречат данные о его служебной карьере.

1) История Рима и италийских племен, обычно называемая «Начала» (Origines).

2) Энциклопедия, составленная Катонам для его сына и охватывавшая три раздела: сельское хозяйство, медицину и ораторское искусство. Есть предположение, что в ней были и разделы, касавшиеся права и военного дела и явившиеся сокращением самостоятельных сочинений по этим вопросам. Латинское название этого произведения неизвестно, у позднейших авторов оно передается по-разному; вернее всего, оно было озаглавлено «К сыну» (Ad filium).

3) Так называемое «Carmen de moribus» («Поэма о нравах»; Авл Геллий, XI, 2, 2). Несмотря на название «Carmen», эта книга, по-видимому, была написана прозой; приводимые из нее места не укладываются ни в какой стихотворный размер.

4) Лексикон, на который ссылается Плиний Старший (XXIX, 1, 14—15).

5) Работа по праву, упоминаемая Цицероном («Об ораторе», III, 33, 135), хотя ее существование не вполне достоверно.

6) Сочинение о военном деле (De re militari; Авл Геллий, VI (VII), 4, 4).

7) Речи и письма. Ссылок на речи Катона встречается много (особенно у того же Геллия); имеются фрагменты приблизительно из 80 речей. По всей вероятности, Катон сам собрал свои речи, или они были собраны вскоре после его смерти. У Цицерона было 150 его речей («Брут», 17, 65). Есть ссылки и на письма (например, Плутарх, «Катон Старший», 20, 8).

8) Сборник изречений по образцу греческих Ἀποφθέγματα и Γνωμολογίαи, частью переведенных с греческого (Плутарх, «Катон Старший», 2,4). Из него дошло только несколько отдельных метких выражений.

Свидетельства о произведениях Катона встречаются у тех же авторов, которые дают сведения о его жизни и в особенности о его характерных чертах и поступках.

Катон происходил из плебейского рода Порциев, члены которого до него не занимали крупных магистратур. Он родился в Тускуле, недалеко от Рима, и принадлежал, следовательно, к коренному населению римской области, но детство и юность провел в поместье своего отца в Самнии. С ранних лет он был знаком с сельскохозяйственными работами. Семья Катона была небогата; по своему происхождению и состоянию он принадлежал к разряду некрупных землевладельцев-помещиков. На государственном поприще он был homo novus, но в его время нобилитет еще не превратился в строго замкнутую касту, и настойчивый, честолюбивый человек с сильным характером, каким был Катон, имел возможность выдвинуться, особенно если он имел покровителей в среде самой знати.

Государственная деятельность Катона развертывалась во всех областях, в которых должен был проявлять себя римский гражданин в эпоху республики: Катон был храбрым воином, любил и хорошо знал военное дело и немало участвовал в боях; его ранняя молодость протекала в тяжелые годы второй Пунической войны, он участвовал во взятии Тарента под командой Фабия Максима, который на всю жизнь остался его любимым героем; в 195 г., будучи уже консулом, он с большой жестокостью подавил восстание в Испании, а через четыре года проявил личную храбрость и стратегические способности в войне с Антиохом (особенно в сражении при Фермопилах в 191 г.).

В области государственного управления Катон достиг высшего поста — цензуры: начав свой путь воинским трибуном в 209 г., он прошел всю лестницу государственных должностей — был квестором в Сицилии в

204 г., эдилом в 199 г., претором в Сардинии в 198, консулом в 195, легатом во Фракии в 194—191 гг. и цензором в 184 г. Его цензура вошла в историю. «Став цензором,— говорит Корнелий Непот,— Катон оказался очень строгим при выполнении этой должности: он покарал многих знатных лиц и провел много новых мероприятий, имевших целью подавить стремление к роскоши, которое в то время начало распространяться все шире».

В своей служебной карьере Катон, однако, не обошелся без сильного покровителя из патрициев. Его сосед по имению, Валерий Флакк, «человек, принадлежавший к одной из первых римских аристократических фамилий, пользовавшийся влиянием... убедил его ехать в Рим и принять участие в политической жизни» (Плутарх, «Катон Старший», 3). Судя по тому, что и консульскую и цензорскую должность Катон занимал вместе с тем же Валерием Флакком, покровительство последнего не ограничилось первыми шагами политической жизни Катона, а продолжалось до ее высшей точки — цензуры; очевидно, воюя постоянно с более молодой знатью, Катон имел возможность опираться на влиятельного представителя — и едва ли только одного представителя — старинного патрициата.

В заседаниях сената и в народном собрании Катон принимал горячее участие до конца своей жизни. Судебная деятельность его, в то время тесно связанная с государственной службой, была тоже очень обширна: он постоянно выступал в суде, притом почти всегда как обвинитель; сам же привлекался к суду 44 раза, но ни разу не был осужден. Выступления в сенате и в судах требовали владения ораторским искусством, и Катон овладел им настолько, что получил прозвище «римского Демосфена». Именно с этой практической целью он изучал речи греческих ораторов. Греческий язык он знал хорошо, но во время своего пребывания в Греции «говорил с афинянами через переводчика», «смеялся над теми, кто был влюблен во все греческое» (Плутарх, «Катон Старший», 12, 4) и к греческому образованию, как и к самим грекам, относился недоброжелательно.

В своей семейной жизни Катон старался следовать древне-римским обычаям. Своего сына от первой жены, Лицинии, происходившей из знатной, но небогатой семьи, он очень любил, сам обучал и «вывел в люди». Сын его достиг в молодые годы должности претора, написал книгу о праве, проявил большую храбрость в войне с Персеем, а своей женитьбой на сестре Сципиона Младшего, дочери Эмилия Павла, породнился с той самой эллинофильской верхушкой нобилитета, против которой боролся его отец. Он умер несколько раньше отца. Уже будучи восьмидесятилетним стариком, Катон женился вторично на дочери своего клиента Салония и имел от нее сына Катона Салонигана, внуком которого был Катон Младший Утический, ярый представитель сенатской партии в борьбе с Цезарем. Из этого видно, что консервативно-республиканские традиции в семье Катона прочно сохранялись: имя самого Катона вошло в литературу и в историю как имя образцового римлянина старого закала, типичного представителя древне-римской «доблести». Однако при ближайшем рассмотрении политических взглядов и политической деятельности Катона, а также и его своеобразного личного характера виден ряд противоречий, которые делались все заметнее и в государственном строе Республики в целом.

2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ КАТОНА

Позиция, занятая Катонем, как в вопросах внутренней, так и в вопросах внешней политики Рима, скрывала в себе ряд противоречащих друг другу моментов. В течение всей своей долгой служебной карьеры Катон выступал

против распущенности, легкомыслия и любви к роскоши — пороков, все более распространявшихся в среде нобилитета; поэтому на первый взгляд он может показаться отъявленным врагом этой верхушки римского общества. Однако на самом деле это было не так: борьба шла между двумя группировками самого нобилитета, из которых одну, более прогрессивную, возглавлял Сципион Африканский Старший; для руководства же группой ревнителей отеческих традиций наиболее подходящей фигурой оказался Катон. В это время руководящая роль в Риме перешла от рода Фабиев, с крупнейшим представителем которого, Фабием Максимом Кунктатором Катон был тесно связан, к роду Корнелиев, к которому принадлежала семья Сципионов. Поэтому Катон боролся отнюдь не против власти нобилитета вообще, а только против преобладания отдельных его представителей.

Его вошедшая в поговорку суровая цензура не привела, по существу, ни к каким серьезным реформам: он исключил из сената нескольких сенаторов по совершенно незначительным поводам и уменьшил, очевидно, сообразуясь с желаниями старой аристократии, число сенаторов из сословия всадников. Еще при жизни Катона, при проведении следующего ценза, эти мероприятия были отменены.

Ненависть к Сципионам побуждала Катона бороться с ними любыми средствами. Уже Плутарх отмечает, что Катон едва не сорвал подготовку к походу Сципиона в Африку из-за личной ненависти к нему: «Он кричал в сенате, что Сципион тратит громадные суммы и беззаботно проводит время в палестрах и театрах, как будто не командует войсками, а справляет праздник. Он добился того, что к Сципиону были посланы трибуны с приказанием доставить его в Рим, если обвинения окажутся справедливыми. Сципион одними своими приготовлениями к войне убедил их в близкой победе и дал понять, что ему приятно проводить свободное время в кругу друзей, но что веселое времяпровождение не сделало его небрежным в серьезных и важных делах» (Плутарх, «Катон Старший» 3, 7). Напротив, совершенно прав был Катон, когда возбудил дело против брата Сципиона Африканского, Луция Сципиона, ничтожного жестокого человека; он вполне справедливо исключил его из сената за то, что тот в угоду своему фавориту казнил пленного во время пирушки.

О выступлениях Катона против отдельных представителей враждебной ему группы нобилей сохранилось немало рассказов, послуживших основанием его громкой славы. Так, например, широкой известностью пользовалась его речь против наместника Сицилии Терма, сперва подвергнутого публичной порке, а потом казнившего десятерых видных горожан за несвоевременную доставку продовольствия. Сохранились два отрывка, по-видимому, из двух речей Катона: одной до казни этих децемвиров, другой — после казни. «Кто может терпеть такое оскорбление, такую власть, такое рабство? Ни один царь не осмелился на такое дело; а этот поступок совершен по отношению к благородным людям, знатного рода, высокого положения? Где же верность союзникам? Где заветы предков?.. Сколько я слышал плача, вздохов, сколько видел слез и рыданий! Даже рабы тяжело переносят несправедливость; что же, вы думаете, чувствуют эти люди знатного рода и большой доблести, что будут они чувствовать в течение всей жизни!» (Авл Геллий, X, 3, 17). После казни децемвиров Катон говорит еще резче: «Твое незаконное деяние ты хочешь прикрыть еще худшим преступлением: ты совершаешь убийство, ты устраиваешь бойню, по десяти человекам носят траур, ты рубишь десять голов свободных людей, ты у десяти человек вырываешь жизнь, у людей, не подвергшихся суду и не осужденных» (Авл Геллий, XIII, 25(24), 12).

Однако вся эта деятельность Катона носила очень односторонний характер, была всегда направлена против отдельных лиц, и ни в коем случае нельзя на основании подобных его выступлений делать заключение о демократизме его убеждений: он не провел ни одного подлинно демократического закона, действительно облегчающего участь беднейших слоев населения. Весь его интерес был сосредоточен на уменьшении расходов государственной казны и на ограничении трат частных лиц. Так, например, были вдесятеро повышены цены на предметы домашнего обихода, выходявшие за пределы строго необходимого; был запрещен отвод воды из государственного водопровода в собственные дома богачей.

Катон не только не хотел изменить в чем бы то ни было консервативно-республиканский строй, но протестовал как раз против малейших попыток нарушить установленные традиции и боролся против тех людей, которые это делали; именно такой характер носит, например, его столкновение с Фульвием Нобилиором, о котором рассказывает Геллий. «Марк Катон упрекал Фульвия Нобилиора в том, что он дарит солдатам венки по пустячным поводам, желая задобрить их (*per ambitum*). По этому поводу привожу слова Катона: «Кто видел в прежние времена, чтобы кому-либо давали венок, если не был взят город или подожжен лагерь врагов?» А Фульвий, против которого Катон выступал с этими словами, давал солдатам венки, если они хорошо починяли вал или упорно рыли колодец» (Авл Геллий, V, 6, 24 сл.).

Во внешней политике Катон тоже занимал позицию, противоположную линии, проводимой Сципионом. Он стоял за образование провинций в покоряемых Римом областях, желая сделать их полностью зависимыми от Рима, Сципион же считал более полезным окружить Рим системой вассальных государств с известной долей автономии. Относительно Испании, где Катону пришлось воевать в год, последовавший за его консульством, он настолько неуклонно и жестко провел свою линию, что это привело к массовым самоубийствам среди населения. Однако в последний год своей жизни Катон, наоборот, выступил защитником прав испанцев против Сервия Гальбы, нарушившего мирный договор с лузитанцами и казнившего около 10 000 пленных; правда, добиться осуждения Гальбы ему не удалось, но репутация Гальбы была погублена.

В тех случаях, когда не было надежды установить полное господство Рима, Катон умел проявить дипломатическую снисходительность и предпочесть примирение открытой вражде. Известно, например, что он с большим успехом выступил в защиту жителей Родоса от обвинения в измене Риму при войне с Персеем. Совершенно верно оценив положение и поняв, что дружба с Родосом, игравшим большую роль в торговле на Востоке, выгоднее вражды, Катон добился отмены карательных мер, которые сенат предполагал применить к Родосу. Напротив, к Карфагену, в это время ничем не провинившемуся против римлян, но являющемуся опасным конкурентом в западной части Средиземного моря, Катон подошел иначе: после поездки в Карфаген в 157 г. в составе римского посольства он разжигал всеми средствами ненависть римлян к Карфагену, повторяя свою знаменитую фразу: «Впрочем, я полагаю, следует уничтожить Карфаген»²— и даже намеренно возбуждал в римлянах самую низменную жадность, восхваляя богатства Карфагена и его роскошную природу.

Наибольшую славу и у современников и потомков Катон заслужил своим личным образом жизни, умеренным и суровым. Желая показать, что для него является примером древний римлянин времен Цинцинната,

² *Ceterum censeo Carthaginem delendam esse.*

он был чрезвычайно прост в своей одежде и в быту, крайне экономен, даже скуп в расходах на себя. О его строгости к себе и о его честности в расходовании государственных средств ходило много рассказов, например, что он не перевез в Италию своего коня, на котором проделал весь испанский поход, чтобы не доставлять излишнего расхода казне и т. п. Вполне естественно, что в то время, когда управители римских провинций уже начали смотреть на свою должность как на средство обогащения за счет провинциалов, эта личная честность Катона вызывала к нему уважение и симпатию именно за то, что он боролся с произволом и отстаивал непоколебимый, хотя бы и жесткий закон. О его беспощадности тоже свидетельствует анекдот о том, как он заставил повернуть к берегу свой флот, чтобы подобрать одного солдата, оставшегося на территории врага, но спасши ему жизнь, казнил его на корабле за то, что он опоздал к отплытию (Фронтон, IV, 1, 33).

Однако эта преувеличенная простота и строгость его нравов была по существу таким же демагогическим приемом, как щедрость и кажущееся легкомыслие Сципиона Африканского, ненавистного Катону; но она была приемом более оригинальным, более трудным для него самого и поэтому имевшим большой успех у народа, который восхищался его выпадами против отдельных богачей и не видел его жестокой расчетливости. Кроме того, осуждая крупные расходы, Катон вовсе не был против крупных доходов. В его жизнеописании у Плутарха (гл. 21) находятся интересные сведения о том, как Катон систематически занимался ростовщичеством, давая деньги своим рабам для дешевой покупки детей-рабов в целях их воспитания и перепродажи, и создавал из своих клиентов акционерные торговые компании для заморских торговых операций, при успехе которых он выигрывал много, а при неуспехе терял мало. Между тем, в 1-й главе своей книги «О сельском хозяйстве» он самым резким образом высказывается против отдачи денег в рост: «Предки наши так полагали и так постановили в законах: вор присуждается к двукратной пене, ростовщик к четырехкратной. Отсюда можно понять, насколько по их пониманию, ростовщик был худшим гражданином, чем вор» («О сельском хозяйстве», предисл., 1). Это явное противоречие в его личном поведении еще более подчеркивает двойственность его политической позиции. Оно являлось прямым следствием из основного противоречия в его взглядах на политику Рима в его время. Отнюдь не обладая широким политическим кругозором, Катон не видел, что борьба против роскоши и против произвола отдельных лиц прямо идет вразрез с той широкой завоевательной политикой, следствием которой являются и роскошь, и произвол, и в которой сам Катон участвовал по мере сил. Катон не понял, что, расширяя круг римских провинций и содействуя тем самым превращению Рима в мировую державу из италийской общины, он противоречит самому себе и подрывает тот самый древнеримский строй, который он своими выступлениями против отдельных нобилей хотел возродить.

3. «НАЧАЛА» КАТОНА И ЕГО ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Среди разнообразных сочинений Катона самым важным было его историческое сочинение «Origines» («Начала»). Оно состояло из семи книг, написано было, в противоположность древним анналистам, на латинском языке и обнимало историю Рима от начала почти до времени смерти автора. О содержании его и о времени его написания мы узнаем из сообщения Корнелия Непота, который говорит, что Катон начал писать это сочине-

ние уже в старости («Катон», 3, 3). Он передает его содержание так: «Первая книга содержит деяния царей народа римского; вторая и третья — о том, откуда началось каждое италийское государство, вследствие чего и все сочинение, кажется, он озаглавил «Origines». В четвертой говорится о первой Пунической войне, в пятой — о второй. Все это изложено лишь в главных чертах. Так же изложил он и остальные войны до преторства Сервия Гальбы [156 г. до н. э.], но военачальников, ведших эти войны, он не назвал по именам, а лишь обозначил их деяния без упоминания имен».

От этого сочинения дошли до нас только ничтожные отрывки, приводимые в произведениях позднейших авторов, и то по большей части не в подлинных словах, а в виде пересказа.

Это сочинение не было сухой хроникой, как видно из слов самого Катона: в IV книге его он прямо заявляет, что не имеет намерения писать то, что написано «на доске» у великого понтифика, сколько раз цена на хлеб была дорога, сколько раз происходило солнечное или лунное затмение (Авл Геллий, II, 28, 6).

Катон иногда старался оживить рассказ внесением в него речей действующих лиц, а для последнего времени — даже и своих собственных. Конечно, это сочинение должно было отличаться римским патриотизмом. Такой характер носит, например, рассказ о героическом подвиге одного воинского трибуна во время первой Пунической войны, приведенный Авлом Геллием (III, 7) из IV книги.

Этот трибун вызвался идти с 400 воинов на верную смерть, чтобы отвлечь внимание неприятелей и спасти римское войско из безвыходного положения. Действительно, все 400 воинов пали, но римское войско спаслось. Сам трибун получил много тяжелых ран, но потом был найден между убитыми и спасен.

Катон старался исследовать также причины, создавшие славу его отечества: «Государственное устройство наше, — говорит он, — превосходит строй других государств по той причине, что в них законы по большей части были установлены отдельными лицами: в Крите — Миносом, в Спарте — Ликургом, в Афинах, где часто все изменялось, то Тезеем, то Драконом, то Солоном, то Клисфеном, то многими другими, пока, наконец, бескровное и пришедшее в упадок государство не восстановил ученый муж Деметрий Фалерский, а наша республика устроена умом не одного человека, а многих, и не в продолжение жизни одного человека, а в продолжение нескольких веков и поколений» (Цицерон, «О государстве», II, 1, 2).

Если Катон не хотел сделать свою историю подобной летописи понтифика, то было бы интересно знать, каково было построение его истории. Некоторые ученые полагают, что изложение в ней было связное, по отделам, в зависимости от однородности собранных фактов. Такого мнения держится из числа русских ученых Д. Нагуевский, основываясь на слове *capitulatim* у Корнелия Непота («Катон», 3, 3). По-видимому, это мнение основано *только* на этом слове: ему придано значение «по отделам». Но такое значение этого слова сомнительно; это слово лишь два раза встречается в литературе: кроме указанного сейчас места Корнелия Непота (где значение его неясно), оно есть у Плиния Старшего (II, 12, 55): *nunc confessa de iisdem breviter atque capitulatim attingam*, где оно при *breviter* имеет определенное значение «[кратко и] в главных чертах [коснусь]». Это же значение оно должно иметь и у Корнелия Непота. А в таком случае исчезает основание думать, что Катон в своем сочинении группировал материал по отделам содержания, и вопрос о строении «Начал» остается не решенным. Из слов Корнелия Непота можно заключить только то, что

события, описанные в первых пяти книгах, были изложены лишь в главных чертах, т. е. были изложены лишь главные события; но это не исключает возможности, что эти главные события были изложены обстоятельно. По крайней мере, в фрагменте 62, взятом из книги II, Сервий, приводящий этот фрагмент, прибавляет от себя, что описываемое тут событие (изгнание вольсками царя Метаба) Катон «изложил очень подробно»³ (*plenissime exsecutus est*).

«Об остальных войнах, — говорит далее Корнелий Непот, — Катон рассказывал таким же образом [иными словами, также излагал лишь главные события], но имен вождей в этих войнах он не называл, а без имен излагал лишь главные события». Из того, что Цицерон («Об ораторе», II, 12, 51) ставит Катона наряду с Фабием Пиктором и Пизоном, надо заключить, что его история была тоже летописью, как и называет ее Плиний Старший («Естественная история», VIII, 11), указывающий, что «Катон, устранив из своей летописи имена полководцев, сообщил, что слона, с чрезвычайной храбростью сражавшегося в карфагенском войске, звали Суром»⁴. Очень возможно, что отсутствие в историческом труде Катона имен полководцев вызвано было нежеланием прославлять враждебных ему лиц.

Ученых интересовал вопрос, почему Катон после изложения истории царского периода перешел к истории первой Пунической войны, пропустив изложение событий двух с половиной веков. Большинство историков объясняют это недостатком сведений об этом времени. По их мнению, для истории царского периода и времени, предшествовавшего основанию Рима, автор мог пользоваться многочисленными легендами, в повествовании о Пунических войнах он основывался на личных наблюдениях и рассказах очевидцев. Но для истории первого времени Республики не было ничего, кроме Летописи понтификов, повторять которую было бы скучно. Но это — только гипотеза. Справедливее будет отказаться от решения этого вопроса за неимением данных.

В заключительных словах своей характеристики «Начал» Корнелий Непот говорит:

«Он изложил в них также то, что казалось удивительным (*admiranda*) в Италии и в Испании: в этом видно большое старание и точность (*industria et diligentia*), но нет никакой учености». Под словом *admiranda* (у греческих авторов — *παράδοξα*) понимаются всякие удивительные явления в природе (в морях, реках, источниках, озерах, камнях, животных): таков, например, рассказ в фрагменте 52 о диких козах, прыгающих со скалы слишком на 60 футов (т. е. слишком на 18 метров); в фрагменте 39 рассказ о том, что в Италии свиньи бывают до того жирны, что не могут стоять и ходить, и потому приходится переносить их на плечах; в фрагменте 93 рассказ о том, что в Испании (по эту сторону Ибера) есть большая гора из одной соли, и сколько ее снимешь, столько опять нарастает, и т. п.

Корнелий Непот указывает на «большое старание и точность» Катона. Это качество находят в нем и другие писатели: Цицерон, Дионисий, Веллей, Авл Геллий, Сервий. Так Цицерон говорит: «В нашем государстве в те времена ничего нельзя было знать и изучить такого, чего бы он [Катон] не исследовал и не знал, а потом и написал» («Об ораторе», III, 33, 135). Непот в другом месте так характеризует Катона: «Он во всем отличался

³ О краткости повествования Катона можно судить, сравнивая его рассказ о второй Пунической войне с рассказом Тита Ливия: у Ливия повествование об этой войне занимает десять книг (XXI—XXX), у Катона — лишь одну.

⁴ *Cato, cum imperatorum nomina annalibus detraxerit, eum elephantum, qui fortissime praeliatus esset in Punica acie, Surum tradidit vocatum.*

необыкновенной тщательностью: был искусный земледелец, опытный знаток права, великий полководец, достойный похвалы оратор, страстный любитель наук. Хотя он стал заниматься науками в пожилом возрасте, все-таки он достиг такого успеха, что не легко найти что-либо из истории Греции или Италии, что было бы ему неизвестно» («Катон», 3, 1—2).

Вопрос об источниках, которыми пользовался Катон при составлении «Начал», не разрешим. Прямых указаний на это нет, а догадок можно выставить много. Надо полагать, конечно, что он знал не только Летопись понтификов, но и сочинения своих предшественников (Фабия и др.), а при описании событий своего времени пользовался своими наблюдениями и рассказами других. Но, пожалуй, самый трудный вопрос — об источниках, касающихся происхождения италийских городов. Об этом были сочинения греческих историков, например, Тимея, но пользовался ли Катон ими или собирал предания сам в этих городах? Одни утверждают, что Катон не знал ни Антгоха Сиракузского, ни Тимея, которые написали специальные сочинения об Италии; другие держатся иного мнения.

Мы не знаем, каков был успех «Начал» у современников Катона, но тот факт, что ближайшие к нему по времени анналисты не пошли по его стопам, показывает, что это сочинение было чем-то для них неудобно, и они предпочитали ему сочинение Фабия Пиктора.

И в самом деле, уже одно то, что Катон не называл имен полководцев, было чрезвычайно неудобно для пользования его историей. Во времена Цицерона, как он сам говорит, любителей Катона было мало; Цицерон имеет в виду главным образом речи Катона, но то же касается и его «Начал». «Кто из наших ораторов,— говорит Цицерон,— читает или вообще знает Катона... Его «Начала» никакого цвета, никакого блеска красноречия не имеют. Любителей нет у него, как много уже веков назад не было любителей у Филиста Сиракузского и у самого Фукидида... Блеск Катона затемнил эта, так сказать, высоко построенная речь позднейших... Почему Лисия и Гиперида любят, тогда как Катона совсем не знают... Его речь устарела, некоторые слова грубоваты: так тогда говорили» («Брут», 17, 65—68). Саллюстий, правда, читал и любил Катона, но не столько за содержание, сколько за его архаический способ выражения, которому он так подражал, что заимствовал из «Начал» не только некоторые слова, но даже целые фразы (Светоний, «Август», 86). Ливий читал и пользовался «Началами», но только в четвертой декаде. Попадают, правда, и в первых книгах места, в которых Ливий передает то же, что Катон, но они не дают права заключать о прямом заимствовании у Катона. Дионисий сам указывает в числе своих источников сочинение Катона и везде, где он его упоминает, он восхваляет его; тем не менее, кажется, его краткому изложению он предпочитал более риторический слог позднейших историков (Валерия Анциата, Клавдия Квадригария, Кальпурния Пизона).

Пользовались Катоном как историком также Овидий, Веррий Флакк, Веллей Патеркул, Плиний Старший, Сервий в комментариях к Вергилию, Макробий, Авл Геллий, который приводит довольно значительное число цитат из него. Встречаются следы пользования Катоном и у других авторов, но трудно определить, знали ли они его сочинение непосредственно, или они заимствовали сведения о нем из вторых рук.

Кроме писателей, которые пользовались Катоном как историком, было немало таких, которые ценили его архаический язык. Большая часть таких любителей старинного языка жили в век императора Адриана, который сам любил древнюю латынь и предпочитал Катона Цицерону (по словам Спартиана в биографии Адриана, 16, 6). В эту эпоху возродился интерес к архаической литературе, и Катон был опять в почете. Так.

Фронтон, учитель Марка Аврелия, был его поклонником и находил, что следовало бы в каждом городе воздвигнуть ему статую. Марк Аврелий, идя по стопам своего учителя, также уважал Катона. Но кажется, «Начала» не были так читаемы, как речи.

Сочинения Катона служили для грамматиков источником устарелых слов. Так, грамматик Веррий Флакк (живший при Августе) пользовался сочинениями Катона не только для объяснения римской старины в реальном отношении, но и написал специальную работу «О темных выражениях Катона» («De obscuris Catonis»), в которой объяснял непонятные уже в век Августа слова Катона. Это сочинение не дошло до нас в полном виде, но значительная часть его перешла в лексикон Феста, извлечение из которого, сделанное Павлом Диаконом при Карле Великом, сохранилось до нашего времени; в нем имеются цитаты из сочинений Катона, в том числе и из «Начал», в подлинном виде.

Приводят цитаты из сочинений Катона и другие грамматика (Харисий, Присциан, Ноний), но неизвестно, непосредственно ли из него, или из других источников; в числе цитат есть и цитаты из «Начал».

Как видно из содержания, название «Начала» подходит лишь к первым трем книгам этого сочинения, в которых, действительно, шла речь об основании Рима и других городов Италии. Почему это заглавие присвоено целому сочинению, решить с достаточной вероятностью невозможно; всего вероятнее предположение, что первые три книги первоначально были изданы одни под заглавием «Origines» и лишь впоследствии к ним были присоединены четыре последние книги (может быть, уже по смерти автора), причём прежнее заглавие было сохранено.

О стиле «Начал» мы не можем составить самостоятельного суждения за неимением отрывков значительного размера. Мнение Цицерона о стиле Катона приведено выше; оно в высшей степени благоприятно. Однако эта похвала ослабляется возражением Аттика (в том же сочинении Цицерона — «Брут», 85, 293—294), который говорит: «Я едва мог удержаться от смеха, когда ты сравнивал с Лисием нашего Катона, величайшего, необыкновенного мужа, но как оратора... А когда ты говорил, что его «Начала» полны всякими ораторскими достоинствами, и сравнивал Катона с Филостом и Фукидидом, неужели ты мог думать, что это будет убедительно для Брута и для меня? Им и из греков никто не может подражать, а ты сравниваешь с ними тускуланца, который даже не подозревает, какие свойства имеет речь пространная и украшенная».

Получить представление о стиле «Начал» лучше всего можно из следующего фрагмента (самого крупного из числа дошедших до нас). Он приведен Авлом Геллием (III, 7) отчасти в изложении, отчасти словами подлинника; из него же видна манера Катона не называть имен полководцев. Стиль его — отрывистый, напоминающий стиль греческих логографов. Вот перевод его, по возможности близкий.

«Карфагенский полководец в Сицилии в первую Пуническую войну идет навстречу римскому войску, холмы и места удобные первый занимает. Римские воины, когда началось дело, попадают в место, угрожающее им засадой и гибелью. Трибун приходит к консулу, указывает на скорую гибель вследствие неблагоприятности места и окружения врагами. «Я думаю,— говорит он,— если ты хочешь спасти дело, что надо приказать четыремстам воинов идти к той «бородавке» [так Катон называет место возвышенное и неровное] и приказать и увещевать, чтобы они ее заняли. Неприятеля, конечно, как только это увидят, самые храбрые и решительные, обратятся прежде всего к тому, чтобы идти им навстречу и сражаться против них, и свяжут себя одним этим делом».

КАТОН

И те все четверста, без сомнения, будут перебиты. Тогда между тем, пока неприятели будут заняты этой резней, ты будешь иметь время вывести войско из этого места. Другого, кроме этого, пути спасения нет». Консул ответил трибуну, что совет этот, правда, ему кажется предусмотрительным, но «тех воинов,— сказал он,— четверста кто поведет к тому месту в клинья неприятелей?» — «Если другого,— сказал трибун,— ты никого не находишь, то можешь употребить меня для этой опасности; я даю эту душу тебе и республике». Консул благодарит и восхваляет трибуна. Трибун и четверста отправляются на смерть. Неприятели удивляются их смелости, недоумевая, куда они собираются идти, находятся в ожидании. Но как только стало ясно, что они направляют путь к занятию той же «бородавки», полководец карфагенский посылает против них пехоту и конницу, самых отважных мужей, каких имел в войске. Римские воины окружаются; окруженные, отбиваются; сражение долго происходит нерешительное. Наконец, численность одолевает. Четверста, все до одного пронзенные мечами и пораженные метательными снарядами, падают. Между тем, консул, пока там идет бой, незаметно удаляется в места безопасные и возвышенные. Но что случилось с тем трибуном, вождем четырехсот воинов, по соизволению богов в том сражении, мы присоединили уже не своими словами, а словами самого Катона:

«Бесмертные боги даровали военному трибуну участь по его доблести. Именно, случилось так: хотя он был ранен во многих местах, но ни одна рана не пришлась в голову, и его узнали среди мертвых, изнуренного от ран и от того, что кровь его вытекла. Его подняли, и он выздоровел и часто после этой заслуги оказывал республике услуги смелые и решительные; а тем подвигом, что он повел тех воинов, он спас остальное войско. Но чрезвычайно большая разница, в каком месте совершишь одно и то же хорошее дело. Наконец Леонид, совершивший подобное дело при Фермопилах,— за его доблесть вся Греция его славу и особенную признательность украсила памятниками, изображениями, статуями знаменитейшей славы; восхвалениями, историческими повествованиями и другими делами они сделали этот его подвиг в высшей степени привлекательным⁵. А военному трибуну осталась малая похвала за его подвиги, который совершил то же и спас республику».

В своей литературной деятельности Катон пытался, на словах, придерживаться тех же заветов предков, что и в своей политической карьере. Однако на этом поприще он показал себя более прозорливым и менее ограниченным. Греческая образованность была ему чужда по духу как в своих глубоких проявлениях — абстрактных философских системах и в изысканной поэзии, — так и в том внешнем изяществе, которое бросалось в глаза и увлекало молодежь. Обо всем этом Катон высказывался отрицательно. Вероятно, этому и была посвящена «Поэма о правах», из которой Геллий приводит два характерных отрывка: один говорит о тех, с кем Катон борется, второй — об обычаях отцов. «Они считали, что скупость — худший порок: только человек расточительный, изящный, порочный, беспорядочный удостоивался похвалы» (Авл Геллий, XI, 2). Напротив, нравы отцов Геллий (там же) изображает так: «Идя на форум, они имели обыкновение одеваться хорошо, а дома носили то, что необходимо. Они дороже платили за коней, чем за поваров. Искусство поэзии не было в почете. Если кто занимался им и выступал на пирах, его называли пустомелей (*grassator*)». Авла Альбина, написавшего историю Рима по-гречески и извинявшегося в предисловии за плохой греческий язык, Катон едко высмеял: «Мы обычно просим извинения,— сказал он,— либо если по неразумию опшибемся, либо

⁵ Вся эта фраза выражена в подлиннике крайне бессвязно и неясно. В переводе эта неправильность речи и неясность по возможности воспроизведена.

погрешим под чьим-либо принуждением. Скажи же, пожалуйста, тебя кто заставил поступать так, что ты просишь извинить тебя раньше, чем ты совершил проступок?» (Авл Геллий, XI, 8, 4).

Однако Катон был слишком практичен и наблюдателен, чтобы не видеть пользы образования и остановиться полностью на уровне «заветов отцов». Прежде всего его привлекло ораторское искусство, столь полезное для государственной карьеры, и он приложил усилия к полному овладению им с помощью греческих образцов. Правда, и здесь он остался верен себе; преклоняясь перед Демосфеном, он смеялся над Исократом, составлявшим речи, не имевшие практического значения. История родины, необходимая для развития чувства патриотизма, была ему настолько интересна и дорога, что он сам учил ей своего сына по рукописи, написанной им самим, притом особо большими буквами; в работе над своим историческим сочинением он тоже не избегал греческих образцов и читал Фукидида. В этом стремлении извлечь из образования только то, что практически нужно, Катон пришел к мысли создать Энциклопедию полезных знаний для римлян. В дошедших до нас отрывках Энциклопедии он обращается к своему сыну, но, несомненно, он рассчитывал на более широкий круг читателей. Необходимыми элементами образования, по его мнению, были: хозяйство, военное дело, право, практическая медицина, ораторское искусство. Вошли ли все эти элементы в Энциклопедию, неизвестно, но они были разработаны в отдельных сочинениях Катона.

В дошедшей до нас полностью книге Катона «О сельском хозяйстве» противоречия политической линии Катона отразились достаточно явно, хотя и косвенным образом. Он является горячим поклонником скромного деревенского образа жизни и личного занятия сельским хозяйством. Ссылаясь опять-таки на обычаи предков, Катон считает, что из «земледельцев выходят самые мужественные люди и самые дельные воины; доход земледельца самый чистый, самый верный и менее всего возбуждает зависть. Люди, занятые этим делом, благонамеренны» («О сельском хозяйстве», Предисловие, 3). Однако в своем собственном хозяйстве он отнюдь не ограничивается такими его размерами, в которых хозяйство должно только прокормить его самого и его familia, а советует развивать его так, чтобы как можно больше продавать и постепенно увеличивать свое состояние: «Следует смотреть [при покупке участка], чтобы земля не требовала больших расходов (sumptuosus ne siet); надо запомнить, что от земли, как и от человека, если они требуют больших расходов, бывает мало прибыли» (там же, I, 5—6).

В связи с этим он расценивает качество земли совсем не в согласии с принципами древнеримского землепашества: пахотное поле он ставит на шестое место по полезности; выше его стоят все другие культуры (виноград, плодовый сад, оливки и даже пастбища), а ниже — только лес для вырубки, лесной питомник и орешник. В конце каждого рабочего года он рекомендует «продавать излишки хлеба, старых волов, увечный скот, увечных овец, шерсть, шкуры, старую телегу, старые железные орудия, старого раба, больного раба и вообще продавать все, если есть что лишнее» («О сельском хозяйстве», II, 7). Включение «старых рабов и больных рабов» в список «ненужного инвентаря» вызвало негодование Плутарха, который, против своего обыкновения, включил свою неблагоприятную к Катону критику не в заключительное сравнение его с Аристидом, а в биографию Катона (гл. 5), сравнение же с Аристидом тоже проводится им далеко не в пользу Катона.

Помимо такой мелкой случайной торговли, Катон упоминает и о торговле в более широких размерах, но указывает на опасности, с которыми

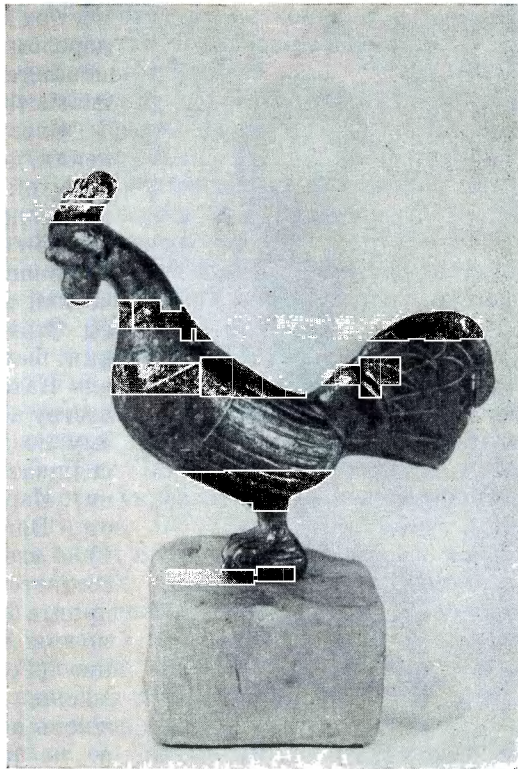
она сопряжена. По-видимому, здесь он подразумевает торговлю заморскую («О сельском хозяйстве», Предисловие).

Во всех советах, которые Катон дает земледельцу, чувствуется рука сурового, прижимистого хозяина. Особенно это заметно в точном вычислении выдачи порций хлеба и вина в рабочие и праздничные дни для рабов и в расчете корма для волов (гл. 56—60). Весьма экономен также и расчет одежды для рабов. «Туника в $3\frac{1}{2}$ фунта весом и плащ через год. Всякий раз, как даешь туннику или плащ, возьми сначала старые, чтобы сделать из них лоскутные одеяла (centones)» (гл. 59). «Рабам не должно быть плохо; пусть они не мерзнут и не голодают. Управляющий неизменно должен держать их в работе; так легче удержит он их от воровства» (гл. 5).

Книга «О сельском хозяйстве» представляет, помимо чисто специального интереса для истории экономики, большой интерес с точки зрения познаний быта: очень забавны советы об обращении с управляющими (vilicus) и обязанностях последнего: «Хозяину следует проверить по отчету уроки и рабочие дни. Если он не видит дела, а вилик говорит, что он старался, что рабам нездоровилось, погода была плохая, рабы убежали, то, когда он привел эти причины и множество других, — верни его к отчету уроков и рабочих дней...» (гл. 2). «Пусть вилик не будет гуляка, никуда не ходит на обеды... смотрит, чтобы делалось, что приказал хозяин, и не думает, что понимает больше хозяина. Пусть друзей хозяина он считает друзьями себе... без приказа хозяина никому не дает в долг... Дармоедов пусть у себя не принимает, не совещается с предсказателями, авгурами, гадателями и астрологами» (гл. 5).

Так же подробно изложены обязанности главной экономки, которую хозяин обычно дает в жены управляющему (гл. 143).

Неблагоклонно относясь к «нерегулярным» религиозным обрядам (предсказаниям, гаданьям), Катон поощряет все древние культовые обряды и точно указывает время и способ выполнения их. Благодаря Катону до нас дошли интересные культовые обращения к Юпитеру и Янусу на праздниках урожая, например: «Юпитер! Предлагая лепешку сию, какую предлагаю должно, усердно молю тебя, буди благ и милостив ко мне и к детям моим, к дому и к домочадцам моим, почтен будучи лепешкою сию» («О сельском хозяйстве», 134, 2). Еще большей древностью



Петух
Бронзовая статуэтка



Римский ключ

вет от заговора на вправление вывиха или перелома (гл. 160), заключающего в себе непонятные магические слова: «*huat haut istasis tarsis ardannabou dannaustra*».

Слог Катона в этом единственном сочинении, дошедшем до нас полностью, четкий и сухой; предписания даются в кратких предложениях в старинной форме императива 3-го лица (*scito, habeto* и т. п.), употребившегося в законах, и носят категорический характер, отмеченный уже Плинием. Этот сжатый и четкий способ выражений был, вероятно, наиболее характерен для Катона, судя по тому большому количеству афоризмов, которые приписываются ему позднейшими авторами (Плутарх посвящает им 8 и 9 главы биографии Катона). Изречение, приводимое ритором Юлием Виктором («Искусство риторики», 1), — «*gem tene, raene divinum*» — вполне соответствует характеру Катона: в речи против Целия он говорит: «Никогда не замолчит тот, кто заболел болезнью болтовни» (Геллий, I, 15, 9). Его изречение о жизни очень образно: «Человеческая жизнь подобна железу: если употребляешь ее на работу, она стачивается; если не употребляешь, ее губит ржавчина» (Геллий, XI, 2, 6). Катон не избегает и игры слов: «*Ut populus sua opera potius ob rem bene gestam coronatus subplicatum eat*

quam re male gesta coronatus veneat»⁶ (Авл Геллий, VI (VII), 4, 5); игра слов заключается в том, что слово *coronatus* в первом случае имеет в виду венок победителя, а во втором — венок, который надевали на рабов при продаже, а также в созвучии слов *eat* и *veneat*.

В своих речах Катон несколько отступал от такого лаконизма. Геллий приводит как образец чисто делового стиля речи не его, а Гая Гракха, Катона же считает до известной степени предшественником Цицерона. «Я полагаю, — говорит он, — что Катон, очевидно, не был удовлетворен красноречием своего времени и уже тогда хотел сделать то, что впоследствии сделал Цицерон» (Авл Геллий, X, 3, 16). Он хвалит язык Катона в речи против Гальбы за «изящество, ясность и чистоту»⁷ (Авл Геллий, I, 23, 1), указывает, что Катон охотно пользовался синонимами для украшения речи и приводит пример из речи за родосцев: «в делах удачных, счастливых и благополучных»⁸ (Авл Геллий, XIII, 25 (24), 14). По-видимому, Катон уже тщательно заботился о выборе соответствующих слов, о чем свидетельствует выписка того же Геллия из его речи «О своих подвигах» (Авл Геллий, XVI, 14, 1—2): «Поспешать» и «торопиться» — дело разное. Кто выполняет что-либо рано, тот поспешает;

⁶ Приблизительный перевод: «Лучше, чтобы люди, хорошо сделав свое дело, увенчанные, шли на молебствие, нежели чтобы, дурно сделав свое дело, увенчанные, шли на продажу».

⁷ *Cum venustate atque luce atque munditia verborum.*

⁸ *In rebus secundi atque prolixis atque prosperis.*

КАТОН

а кто разом начинает много дел и не доводит их до конца, тот торопится»¹⁰; очевидно, для Катона первое понятие — положительное, второе — отрицательное. Геллий уж этой разницы не чувствует.

Ораторские приемы Катона еще довольно однообразны, судя по уцелевшим отрывкам. Он охотно кончает фразы одним и тем же словом, желая как бы закрепить его в памяти слушателей; например, в приведенной выше речи против Терма: «*Succidias humanas facis tantam trucidationem facis decem funera facis decem capito libera interficis*». Также в речи за родосцев: «Если кто больше пятисот югеров иметь пожелает, да будет тот же штраф; если кто больше скота иметь пожелает, да будет тот же приговор; мы же всего как можно больше иметь желаем, и наказания нам за это нет»¹¹ (Авл Геллий, VI (VII), 3, 37).

Дальнейшая судьба Катона и его произведений была очень своеобразна. Не его сочинения, а он сам стал своего рода литературным образцом, идеальной фигурой консервативно-республиканских кругов; оттого его имя упоминается у Цицерона каждый раз, когда он начинает восхвалять нравы предков (*mos maiorum*). Тит Ливий описывает его с глубоким уважением; однако уже Цицерон упрекает своих современников в невнимании к речам Катона («Брут», 17, 68); по-видимому, язык Катона быстро устарел в течение бурного времени, наступившего вскоре после его смерти, а содержание его речей уже никого не интересовало, как слишком тесно связанное с его временем. Его образ, так восхваляемый Цицероном, был им, однако, неверно изображен в диалоге «Катон Старший». Сентиментальный, умудренный жизнью старец в этом диалоге, восхваляющий жизнь на лоне природы и прелести старости, не похож ни на «*dominus vendax pop etax*» («хозяин, которому любо продавать, а не покупать — «О сельском хозяйстве», 2, 7), ни на насмешливого цензора, который сказал одному порочному старику: «Друг мой, старость безобразна сама по себе, не прибавляй к ней безобразия порока» (Плутарх, «Катон Старший», 9, 6).

В императорское время Катон привлекал к себе внимание читателей и грамматиков именно теми «грубоватыми словами» (*horridiora verba*), о которых говорит Цицерон. Любителем его речей был император Адриан, предпочитавший его Цицерону, как Энния Вергилию. Читал их еще и Квинтилиан, который, однако, предупреждает своих учеников от опасности *durescere*, стать *horridi et ieiuni*, если они будут слишком часто читать Катона.

Таким образом, Катон, стремившийся только к практической деятельности и презиравший литературу, с течением времени стал сам определенным литературным образом, нарицательным именем для поклонников простоты и строгих гонителей роскоши и пороков; а его произведения долгое время привлекали читателей именно тем, о чем он менее всего заботился — своими своеобразными формальными качествами. В настоящее же время как его общественная деятельность, так и его специальное сочинение дают богатый материал для истории начинающегося распада римского республиканского строя.

¹⁰ *Aliud est properare, aliud festinare. Qui unum quid mature transigit, is properat; qui multa simul incipit neque perficit, is festinat.*

¹¹ *Si quis plus quingenta iugera habere voluerit, tanta poena esto; si quis maiorem pecuum numerum habere voluerit, tantum damnas esto? Atqui nos omnia plura habere volumus et id nobis impune est.*



Глава XIV

РАННЯЯ РИМСКАЯ САТУРА. ЛУЦИЛИЙ

1. Определение сатуры как литературного жанра.— 2. Сатура у ранних римских авторов.— 3. Луцилий и его литературная деятельность.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ САТУРЫ КАК ЛИТЕРАТУРНОГО ЖАНРА

«Сатура,— говорит Квинтилиан в своем обзоре римской литературы («Образование оратора», X, 1, 93—95),— всецело принадлежит нам; первым в ней прославился Луцилий, у которого до сих пор есть такие поклонники, что они предпочитают его не только авторам, писавшим в том же роде, но и всем другим поэтам. Я не согласен ни с ними, ни с Горацием, который говорит, что Луцилий «тек мутным потоком», и что из него «можно кое-что и выкинуть»¹, ибо я нахожу в нем удивительную ученость и непринужденность, от которой происходит колкость и значительная едкость. Гораций гораздо выработаннее и чище и, если только меня не вводит в заблуждение пристрастие к нему, занимает первое место. Персий, хотя и написал только одну книгу, но заслужил, по справедливости, немалую славу. У нас есть и теперь отличные сатирики, которые и впоследствии будут известны. Другой известный род сатуры, даже более древний, но состоящий не только в соединении различных стихотворений, создан Теренцием Варроном, самым ученым человеком из римлян».

Это свидетельство Квинтилиана, несмотря на его краткость, чрезвычайно важно как первое по времени историко-литературное определение римского сатирического жанра, данное притом лучшим знатоком литературы, жившим в императорское время. В этом определении мы находим указания: *во-первых*, на особый литературный жанр; *во-вторых*, на разделение этого жанра на два различные вида — сатиру, определяемую разнообразием входящих в нее стихотворений, представителями которой являются Луцилий, Гораций и Персий и которая имела и во времена Квинтилиана выдающихся авторов и сатиру, состоящую не только из стихотворных, но и прозаических частей, как мы можем с полным основанием заключить из слов Квинтилиана, ссылающегося на произведения Марка Теренция Варрона Реатинского; *в-третьих*, на сатирический (в нашем смысле слова) характер произведений Луцилия. Что касается указания Квинтилиана на сатиру Варрона как на древнейший жанр сати-

¹ Квинтилиан имеет в виду Горация:

Cum flueret lutulentus, erat quod tollere velles. (*Сатуры*, 1, 4, 11).

ры, то здесь, очевидно, имеется в виду тот жанр, создателем которого считался Менипп из Гадары, живший в III в. до н. э., а Варрон (родившийся лет на тринадцать раньше смерти Луцилия) упоминается Квинтилианом лишь как «создатель» этого жанра в римской литературе. Таким образом, в данных Квинтилиана хронологической ошибки нет.

Очень важно указание Квинтилиана на Луцилия как на первого римского сатирика, иными словами — на создателя того жанра сатиры, виднейшим представителем которого в римской литературе справедливо считается в наше время Ювенал. Не менее ценно и указание Квинтилиана на колкость и едкость произведений Луцилия, потому что в нем заключается определение не формы, а содержания сатирического жанра.

Но вследствие того, что Квинтилиан писатель поздний, творчество которого относится ко второй половине I в. н. э., для изучения римской сатиры следует обратиться к более ранним данным относительно этого литературного жанра, а также постараться выяснить, что разумели римляне под словом *сатура*.

Исходной формой этого слова было *satura*, а не *satira*; форма же *satira* возникла, очевидно, в позднее время из написания на греческий лад — *satura*, когда в силу известной грекомании слово *satura* выводили из греческого *σατύρος*. Слово «сатура» исконно римское, а наиболее ясное его толкование имеется у Павла Диакона (ученого времен Карла Великого) в его сокращении словаря Феста, пользовавшегося, в свою очередь, антикварным словарем Беррия Флакка, современника императора Августа: «Сатурой называется род кушанья, изготовленного из разных вещей, закон, составленный из многих других законов, и род стихотворения, в котором идет речь о многих вещах»². Марк Теренций Варрон, по свидетельству грамматика IV или V в. н. э. Диомеда (GL, I, p. 485, 34 K), во второй книге утраченных ныне «Плавтовских вопросов» приводит и рецепт кушанья (или фарша), называемого *сатура*; оно делалось из вяленого винограда, ячменной крупы и сосновых семян, вымоченных в медовом вине. Известны и такие выражения, как *satura lanx* — блюдо первосборных плодов — и *per saturam* — вперемешку, в беспорядке. Между прочим, например, закон, изданный при Августе Марком Папием Мутилом и Квинтом Поппеем Секундом (*lex Julia Papia Poppaea*) и рассуждавший о многих и различных предметах, назывался именно *satura lex*. К указанным свидетельствам о сатуре примыкает и одно из толкований Исидора Севильского (VI—VII вв. н. э.), указывающего в своих «Началах», что сатириками называются такие писатели, которые говорят одновременно о многих вещах — *de pluribus... simul rebus loquuntur*. Очень существенно указание и крупнейшего из сатириков — Ювенала — на то, что смесью, или начинкою (*farrago*), его книжки служит (I, 85).

Все, что ни делают люди, — желания, страх, наслаждения,
Радости, гнев и раздор.

Ясно, что для Ювенала *сатура* (или *сатира*) и есть всевозможная *смесь*. Очевидно, и Гораций понимал слова «сатура» как смешение, а не как «сатирическое» произведение, в позднем значении этого понятия. Поэтому и начальные слова его первой «Беседы» второй книги, где он говорит о сатуре, можно бы перевести так:

² *Satura et cibi genus dicitur ex variis rebus conditum, et lex multis aliis conferta legibus, et genus carminis, ubi de multis rebus disputatur.*

Многие думают, будто бы в смеси излишне я резок
Или, что я выхожу из пределов³.

То, что Гораций везде говорит о чрезмерной резкости в своей «сатуре», указывает на индивидуальный характер его «Sermones» («Беседы») ⁴, но вовсе не определяет еще жанра этого произведения. В подобном же смысле следует понимать и стих 17 «сатиры» VI книги II, где под словом *satura* надо разуметь просто стихи разного рода, которые Гораций пишет вдали от Рима, уехав в деревню.

Можно с уверенностью сказать, что древнейшие римские «сатирики» не называли своих произведений техническим термином «сатуры» или «сатиры». Для них это были либо *roemata* — стихотворения, либо *sermones* — беседы, как и для Горация. Луцилий в книге 30 (ст. 1039 М) называет свои произведения именно этим последним словом, а Цицерон обозначает их просто *scripta* в той чрезвычайно интересной для истории литературы главе своего диалога «О пределах добра и зла» (I, 3, 7), где он характеризует творчество Луцилия, но в очень немногих словах.

Определив понятие «сатура» как «смесь», что подтверждается приведенными выше, да и многими другими свидетельствами, можно заключить, что в ранние времена римской литературы никакого специально «сатирического» содержания в этой смеси не предполагалось. Лучше всего определить раннюю римскую сатуру (оставляя пока в стороне «Мениппеи» Варрона) как произведения, стоящие вне определенного литературного жанра: это — ни эпос, ни драма, ни элегия, а что угодно — именно смесь, т. е. своего рода поэтическая болтовня на всевозможные темы. Если же искать более определенный термин, то это — «беседы» (*sermones*), как и определил свои «Сатиры» Гораций вслед за Луцилием. Не подлежит, однако, сомнению, что ко временам Квинтилиана эти стихотворные «беседы» получили настолько определенный характер, что их можно было выделить в особый литературный жанр, какого у законодателей литературы — греков — не было. Это и дало право Квинтилиану сказать, что «сатура всецело принадлежит нам».

Остается, однако, еще одно свидетельство о ранней римской сатуре — свидетельство Тита Ливия, на основании которого обычно говорят о римской *драматической сатуре*.

Во 2-й главе книги VII «Истории Рима от его основания» Тит Ливий рассказывает, что в консульство Гая Сульпиция Петика и Гая Лициния Столона (в 364 г. до н. э.) римляне, страдавшие от моровой язвы, решили для умилостивления небесного гнева прибегнуть к необычному средству — к устройству сценических представлений. Приглашенные из Этрурии актеры, танцуя под аккомпанемент флейты, исполняли довольно красивые телодвижения, не сопровождая их никакими словами. Римская молодежь начала подражать этим актерам, перекидываясь вместе с тем шутивными стихами в соответствии со своей жестикуляцией. Исполнители таких представлений стали называться по-этрusco гистрионами. «Они, — продолжает Тит Ливий, — уже не перекидывались друг с другом попеременно, как ранее, нескладными и грубыми стихами-экспромтами, но уже стали исполнять положенную на музыку смесь (*saturas*) под определенный мотив флейты и с соответствующими дви-

³ Sunt quibus in satura videar nimis acer et ultra.

Legem tendere opus.

⁴ Обычно их называют «Сатиры», но хотя мы и следуем этому обыкновению, точнее было бы сохранять за ними название «Беседы».

жениями». Несколько лет спустя, как говорит далее Тит Ливий, поэт Ливий Андроник впервые заменил эту смесь пьесой с определенным содержанием (*ab saturis ausus est primus argumento fabulas serere*). В результате дальнейшего развития сценических представлений веселые и свободные сценические шутки стали мало-помалу превращаться в настоящее драматическое искусство (*ab risu ac soluto ioco res avocabatur, et ludus in artem paulatim verterat*). Молодежь предоставила исполнение пьес профессиональным актерам, а сама, по старинному обычаю, стала перекидываться шутками в стихотворной форме. Эти представления молодежи были названы *эксодиями* (т. е. заключительными дивертисментами) и присоединялись главным образом к ателланским пьескам.

Как указывал еще в 1892 г. И. А. Лециус⁵, слово *saturae* дважды встречающееся в изложенном тексте Тита Ливия, не имеет значения технического термина, а обозначает произведения разнообразного, неопределенного содержания, иначе говоря, именно — смесь.

Таким образом, рассказ историка времен Августа, который и составлен-то скорее всего на основании какой-то древней теории о происхождении драмы⁶, не имеет отношения к определению жанра римской литературной сатуры. А разделение сатуры путем выводов, неосновательно извлекаемых из материала этого рассказа, на «драматическую» и «недраматическую» — плод недоразумения, порожденного неправильным пониманием текста Тита Ливия.

2. САТУРА У РАННИХ РИМСКИХ АВТОРОВ

Обращаясь к свидетельствам о древнейших римских литераторах, мы находим в них указания на сатуру у Невия, Энния и Пакувия, но во всех этих свидетельствах слово «сатура» не имеет того специального значения, какое придает ему Квинтилиан в приведенном выше тексте⁷. Только у Энния можно подозревать существование какого-то сборного сочинения, вроде сатур Луцилия; что же касается Невия и Пакувия, то указания на их сатуры настолько неопределенны, что никакого сколько-нибудь конкретного материала для истории римской литературы из них извлечь невозможно. И. А. Лециус в указанной выше статье о сатуре говорит, что изложение истории римской сатиры следует начинать с Энния, а не с какой-то «сценической сатиры». Принципиально это справедливо, но ввиду того что от сатуры Энния остались лишь самые скудные отрывки, а также и потому, что с точки зрения римских литературоведов создателем⁸ сатирического жанра (в нашем смысле) был Луцилий, мы имеем полное право начинать историю римской сатиры именно с произведений этого писателя. Существенная разница между сатирами Энния и Пакувия, с одной стороны, и сатирами Луцилия, Горация и Персия — с другой, указана грамматиком Диомедом (см. стр. 485 в издании Кейля). «Сатирой у римлян считается, по крайней мере теперь, стихотворение язвительное и сочиненное для обличения людских пороков на манер древней комедии, каковы произведения Луцилия, Горация и Персия. А некогда сатирой называлось стихотворение, составленное из разных сочинений, каковы произведения Пакувия и Энния». В связи с этим разделением по внут-

⁵ В статье «О значении слова *satura* в истории римской литературы» («Филологическое обозрение», т. II, кн. 1, стр. 1—10).

⁶ Ср. М. М. Покровский. История римской литературы, стр. 26.

⁷ Все эти свидетельства очень поздние.

⁸ *Inventor*, как называет Луцилия Гораций («Сатиры», I, 10, 48).

ренному содержанию и по формальному признаку находится у Диомеда и этимология слова «сатира», которое он считает возможным производить и от греческих «сатиров» (из сатирической драмы) и от латинского слова «сатура». Первая этимология подходит к сатирам Луцилия, Горация и Персия, вторая — к сатурам Энния и Пакувия. (Сатуры Варрона Диомед не упоминает).

На основании определения Диомеда и на основании сопоставления его с рассуждением Квинтилиана можно с полным правом заключить, что в императорском Риме уже существовало понятие сатиры в нашем (или в очень близком к нашему) смысле этого слова. Такое понятие сатиры существовало, очевидно, уже задолго до времен Диомеда, зависимость которого от более раннего источника (не позднее 100 г. н. э.) ясна из того, что он, упомянув Луцилия, Горация и Персия, ни словом не обмолвился о Ювенале. Поэтому можно считать, что понятие сатиры как язвительного и бичующего пороки жанра определилось не позже I или II в. н. э.

3. ЛУЦИЛИЙ И ЕГО ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Время жизни поэта, которого и римские писатели и мы считаем создателем литературного жанра сатиры, приходится на ту эпоху, когда в Риме происходила ожесточенная внутренняя борьба. Эта борьба отмечена такими явлениями, как восстание рабов в Сицилии, вспыхнувшее в 136 г. до н. э. и подавленное лишь через четыре года; неудачами римского войска в Испании, где в ходе войны выявились крупные недостатки римского политического и общественного строя; реформами Гракхов и торжеством популяров над оптиматами, ознаменованном в 104 г. триумфом Мариа по окончании войны с Югуртой.

Гай Луцилий (С. Lucilius: см. Цицерон, «Об ораторе», I, 16, 72, и II, 6, 25), год рождения которого, указываемый Иеронимом (148 г. до н. э.), несомненно неверен и должен быть отнесен на три или два десятилетия раньше, происходил из богатой и знатной семьи. Он родился в латинском городе в Кампании — в Суэссе Аврунжской (Ювенал, I, 19 сл.). По свидетельству Веллея Патеркула (II, 9, 3), Луцилий происходил из сословия всадников, а брат его, приходившийся дедом Гнею Помпею Великому, был даже сенатором (см. схолии к «Сатирам» Горация, II, 1, 29). В зрелом возрасте Луцилий участвовал в Нумантийской войне (в Испании) под начальством Публия Корнелия Сципиона Африканского Младшего. О том, что Луцилий занимал какие-либо общественные государственные должности, ни один из древних авторов не упоминает, на основании же некоторых фрагментов и свидетельств можно считать, что политической карьерой он пренебрег и на всю жизнь остался только «римским всадником». Луцилий с молодых лет жил в Риме, где он купил себе дом (Асконий, «Комментарии к речи Цицерона против Пизона», р. 12, 9. К. S.). Луцилий был в дружбе со Сципионом Младшим (с которым и был на войне в Испании) и в его кружке занимал, несомненно, выдающееся положение: «Луцилий,— говорит Гораций («Сатиры», II, I, 62—74),—

Первый, писавший такие стихи⁹, не боялся, когда он,
С гнусных душ совлекая блестящую кожу притворства,
Их выставял в наготу.— Ты скажи: оскорблялся ли Лелтий

⁹ Т. е. стихи обличительные — сатиры.

Или герой, получивший прозвание от стен Карфагена,
 Да и казалось ли дерзостью им, что Луцилий Метелла
 Смел порицать или Лупа в стихах предавать поношению?
 Он нападал без разбора на всех, на народ и на знатных,
 Только падал добродетель, падал он ее лишь любимцев!
 Даже когда Сципион или Лелий, мудрец безмятежный,
 И от народной толпы и от дел на покой удалились,
 Часто любил он с ними шутить и беседовать просто,
 Между тем как готовили им овощей на трапезу.

(Перевод М. Дмитриева)

Дружен был Луцилий и с философом-академиком Клитوماхом (Цицерон, «Учение академиков», II, 32, 102). Умер Луцилий в 102 г. до н. э.

Произведения Луцилия дошли до нас только во фрагментах, представляющих собою в подавляющем числе случаев разрозненные отдельные стихотворные строки. Большинство стихов Луцилия сохранил нам лексикограф Ноний, приводящий их ради объяснения отдельных устарелых слов и выражений. Вырванные из контекста, эти стихи Луцилия не дают почти никакого материала для выяснения содержания произведений римского сатирика и непосредственной оценки его творчества. То же можно сказать и о цитатах из Луцилия, приводимых Фестом и поздними латинскими грамматиками. Более существенным материалом для суждения о творчестве Луцилия служат отрывки в несколько строк (самый длинный фрагмент в 13 строк), которые мы находим у Цицерона, Геллия, в некоторых случаях у Нония и других авторов. Согласно нумерации, приводимой Нонием, и некоторым другим данным, произведения Луцилия были разделены (вероятно, после его смерти) на тридцать книг; считая, что каждая книга заключала в среднем около 800 стихотворных строк (обычный размер античной стихотворной «книги») ¹⁰, мы получим общее количество стихов — 24 000. А осталось от произведений Луцилия всего около 1200 строк, т. е. двадцатая часть, да и эта часть безнадежно разрознена, и все попытки воссоединения стихов Луцилия в какое-нибудь связанное целое остаются тщетными ¹¹.

Сам Луцилий называл свои произведения *речами*, или *беседами* (*sermones*), т. е. так же, как называл свои сатиры и Гораций (см. фр. 1039 М). «Сатурами» называют произведения Луцилия только поздние римские писатели — Квинтилиан (X, 1, 93), Марциал (XII, 94, 7), Порфирион (комментарий к I, 3, 1 «Посланий» Горация) и др.

Довольно значительный материал для суждения о творчестве Луцилия дают свидетельства о нем Цицерона, Горация, Персия, Квинтилиана и некоторых других древних писателей. Эти свидетельства собраны в изданиях Луцилия (у Лукиана Миллера, стр. 170—189; у Фр. Маркса, т. I, стр. СXXXV—СXXXIV).

В связи с внутренней политической борьбой, происходившей в Риме времен Луцилия, там велась и ожесточенная борьба между национальной партией — противников вторжения в Рим эллинизма — и крайними эллинофилами. Эта борьба, одним из крупнейших документальных памятников которой является постановление сената против эксцессов куль-

¹⁰ В книге I «Сатир» Горация — 1030 стихов, во II — 1093; в «Сатирах» Ювенала: в книге I — 990, во II — 661, в III — 668, в IV — 704, в V — 814 стихов.

¹¹ Наиболее крупные фрагменты Луцилия (от 4 до 13 строк) распределяются по «книгам» Луцилия так: кн. II—1, кн. III—1, кн. IV—2, кн. V—2, кн. VI—1, кн. IX — 2, кн. XV — 2, кн. XVII — 1, кн. XXVIII — 1 и 2 фрагмента из неизвестных книг.

та Диониса 186 г. до н. э. (еще до рождения Луцилия), выразилась в литературной области постановлением сената 161 г. об изгнании из Рима философов и риторов. Национальная партия считала себя вынужденной прибегать к подобным мерам, потому что крайние эллиофилы забывали, по ее мнению, римское достоинство. Над одним из римских «грекоманов» — Титом Албуцием (которого Цицерон в диалоге «Брут» — 35, 131 — называет «прямо греком») издевается и Луцилий, воспользовавшийся рассказом о том, как претор Муций Сцевола подшутил в Афинах над Албуцием. «Этот случай,— говорит Цицерон в диалоге «О пределах добра и зла» (I, 3, 9),— с большим изяществом и со всею едкостью описал Луцилий, у которого Сцевола прекрасно выражается следующим образом:

Греком, Албуций, скорей, чем римлянином иль сабином,
 Чем земляком достославных мужей и центурионов,
 Понтий каков и Тритан, знаменитые знаменосцы,
 Слыть предпочел ты. И вот, я, претор, при встрече в Афинах,
 Греческим словом тебя приветствовал, как тебе любо:
 «Хайре, о Тит!» — И за мной все ликторы, турма, когорты:
 «Хайре, о Тит!» — И теперь ты враг мой и недруг, Албуций¹².

Но Луцилий отнюдь не принадлежал к крайним националистам; он был приверженцем Сципиона Африканского Младшего и разделял как политические, так и литературные интересы его кружка, в который входил и поэт Теренций. Несмотря на то, что Сципион был ревностным поклонником эллинистической философии, он был и приверженцем староримских идеалов и врагом неумеренной грекомании. Под влиянием, с одной стороны, Катона Старшего, а с другой стороны, стоической философии в кругу Сципиона и его сторонников создается идеал «доброто римлянина», который впоследствии усердно проповедовал Цицерон. Во фрагментах Луцилия ясно видны следы этой идеологии, распространенной не только в среде римского нобилитета, а захватывавшей и другие слои римского общества, и в частности всадничество, к которому принадлежал и сам этот поэт. Крупнейший из фрагментов Луцилия посвящен рассуждению о доблести (*virtus*) в духе стоической философии. Рассуждение это обращено к какому-то Альбину, в котором можно предпологать Спурия Постумия Альбина, консула 110 г. до н. э., или же его брата Авла, разбитого Югуртой в этом же году; но доказать этого нельзя. Вот этот фрагмент, сохранный нам Лактанцием:

Доблесть, Альбин, состоит в способности верной оценки
 Нашего быта, всего, что в жизни нас окружает.
 Доблесть — всегда сознавать последствия наших поступков,
 Доблесть — всегда разбирать, где честь, где право, где польза,
 Что хорошо и что нет, что гнусно, бесчестно и вредно;
 Доблесть — предел полагать и меру нашим желаньям,
 Доблесть — способность познать настоящую цену богатства,
 Доблесть — то почитать, что действительно чести достойно,
 И неприятелем быть людей и нравов зловердных,
 А покровителем быть людей и нравов достойных,
 Их возвеличивать, их поощрять, их делать друзьями;
 Сосредоточивать мысль всегда на пользе отчизны,
 После — на пользе родных, а потом уж на собственной пользе.

(Фр. 1326—1338 М)

¹² Фрагменты произведений Луцилия даны в переводе Ф. А. Петровского.

РАННЯЯ САТУРА

Лактанций сохранил нам и другой фрагмент из Луцилия, где тоже в духе отвлеченной морали осуждается жизнь римского форума, которая, между прочим, с гораздо большей остротой и живостью описана в «Куркулионе» Плавта; Луцилий, очевидно, противопоставляет современный ему Рим идеализированному старинному Риму:

Ну, а теперь от зари и до ночи, и в праздник, и в будни
Целые дни и народ и сенаторы — все без различья
Топчутся вместе толпой на форуме и не уходят.
Все ремеслу одному и заботе одной отдаются:
Как бы друг друга надуть, в борьбе коварно сразиться,
Ловко польстить, представить себя человеком достойным,
В сети завлечь, словно все и каждый стали врагами.

(Фр. 1228—1234 М)

Проповедуя свои нравственные идеалы, Луцилий прибегал, несомненно, и к введению в свои сатиры ходячих поговорок; так, например, впервые в римской литературе встречаем мы у него (Фр. 218 М) поговорку, хорошо известную по «Эклогам» Вергилия: «Не все на всё мы способны».

Очень возможно, что к рассуждениям о людских пороках относятся и такие фрагменты Луцилия, как фрагмент 243—246 М, в котором, видимо, изображается скупой:

Нет у него ни осла, ни раба, ни слуги никакого;
Только котомка при нем и все наличные деньги.
С этой котомкой он ест, умывается, спит; и в котомке
Всё достоянье его; висит за плечами котомка.

Два фрагмента, из которых один сохранен Нонием, другой — Лактанцием, характеризуют Луцилия как «просвещенного» римлянина, противника всяких суеверий и отрицающего всякие мифологические вымыслы:

Много, как видно, чудес и вымыслов всяких ужасных
Есть у Гомера в стихах; Киклоп-Полифем в целых двести
Ростом ступней, а затем — его маленький посох, повыше
Самой высокой из мачт, на судне грузовом водруженной.

(Фр. 480—483 М)

Ламий ужасных, каких Помпилии Нумы и Фавны
Установили на страх, трепещет он как всемогущих.
Точно ребята, что все живыми считают статуи
Медные, чья за людей, — так эти во бред сновидений
Верят и сердцем живым наделяют идолов медных.
Всё это — выдумки, вздор, галерея картинная только.

(Фр. 484—489 М)

Несомненный интерес вызывают у нас и два фрагмента, сохраненные Нонием и Цицероном, где Луцилий описывает гладиаторские игры, называя по имени гладиаторов, из которых одним он восхищается, а другого изображает как отвратительную личность:

На гладиаторских играх, устроенных Флакками, некий
 Был эзерний-самнит¹³, негодяй, своей жизни достойный.
 С Пацидеяном он там состязался, который был самым,
 После создания людей, гладиатором лучшим из лучших.

(Фр. 149—152 М)

«Право, его я убью, победив, коль хотите, — сказал он.
 Будет же, думаю так: он в лицо меня раньше ударит,
 Чем проколю я мечом его грудь и дурацкое брюхо.
 Я ненавижу его, сражаюсь взбешенный, и только
 Стоит нам взяться за меч — сейчас же битва начнется:
 Так я взбешен, и моя питается ненависть гневом».

(Фр. 153—158 М)

Для историков древнего Рима наибольший интерес представляют те фрагменты Луцилия, в которых он откликается на определенные факты общественной и политической жизни Рима и называет по имени своих врагов или лиц, вызывающих его негодование. Но, к сожалению, крупных фрагментов такого рода почти не сохранилось; один из них, с насмешкой над грекоманом Албуцием, приведен выше; из других мы приведем здесь фрагмент, касающийся претора Луция Корнелия Лентула Лупа, врага Сципиона. На этого Лупа, и по свидетельству Горация («Сатиры», II, 1, 68) и по указанию Персия (I, 114 сл.), Луцилий резко нападал в своих сатирах. Приводимый здесь фрагмент касается судопроизводства Лупа, и хотя не может быть удовлетворительно комментирован, так как вырван из контекста, но интересен не только выпадами против определенного лица, а и философской терминологией, которой, так сказать, играет Луцилий:

..Если это ты сделал,
 Лупу его отдадут, как ответчика, вместе с другими.
 Он не явился. Тогда «стихий» и «начал» вместе с ними
 Будет лишен, запретит ему Луп и пламя, и воду.
 Явится он — у него и тело и дух, две стихии
 (Тело — земля, а дух — это воздух); и все же последних,
 Коль предпочтет он, стихий лишит его Луп непременно¹⁴.

(Фр. 734—790 М)

Из этого отрывка ясно только, что он входил в какой-то рассказ о судопроизводстве: в нем говорится об изгнании — лишении права на две «стихии» — огонь и воду — и о смертной казни (лишении тела и духа — стихий земли и воздуха).

Отрывки, касающиеся других лиц, на которых нападал Луцилий, могут, в сущности, лишь служить подтверждением свидетельств Горация, Персия, Ювенала и др., что Луцилий открыто «бичевал» своих врагов, но для характеристики литературного творчества Луцилия не дают почти никакого материала. К таким отрывкам принадлежит, например, фрагмент (три строчки 418—420 М), где Луцилий говорит о двух Опимиях — консуле 154 г. до н. э., который был и замечательно красив и замечательно бесславен (*et formosus homo fuit et famosus*), и его сыне, консуле 121 г., виновнике убийства Гая Гракха, Луция Опимия, которого Луцилий назы-

¹³ Эзернии — особый род гладиаторов.

¹⁴ Курсивом напечатаны введенные Луцилием греческие слова.

РАННЯЯ САТУРА

ваает «Югуртинским» за то, что он был подкуплен нумидийским царьком Югуртой (через несколько лет после своего консульства).

Ужасающее разложение высших классов римского общества, бывшее одной из причин крушения римской рабовладельческой Республики в дальнейшем ходе исторических событий, несомненно, нашло свое яркое изображение в сатирах Луцилия. Он нападал и на недавно умерших, и на живых, и на разные группировки, вызывавшие его негодование. «Всякий раз, как Луцилий, — говорит Ювенал (I, 165 сл.), — как бы обнажив меч, выступает с бранным пылом и криком, краска стыда бросается в лицо слушателя, у которого от злодеяний уже застыла кровь». И такая характеристика подтверждается фрагментами Луцилия, умевшего соединить в своих сатирах присущую италийцам насмешливость с сокрушительной силой, не уступающей архилоховским ямбам. Этим Луцилий и создает настоящую сатиру.

Наряду с бичеванием всякого рода пороков (главным образом в духе кинико-стоической философии) и нападок на роскошь, скупость, тщеславие, суеверие и распутство, а также на грекоманов, надутых трагиков и эпикурейцев, наряду с общественно-политической сатирой, Луцилия привлекало изображение бытовых сторон жизни, которые он описывал, видимо, без резкой язвительности. К таким «сатурам» относится описание путешествия Луцилия в Брундисий (кн. III). Но и тут самый крупный отрывок (110—113М), сохраненный нам Авлом Геллием (XVI, 9, 3), заключает в себе всего четыре строчки:

Все это, правда, пустяк, что там было, и вздор совершенный,
Вздор, говорю я, и все шутяки и шитожная мелочь.
Тягостный труд начался при вступлении в Сетинскую область:
Горы огромные там, все крутые Афоны да Этвы.

Разумеется, мы лишены возможности дать характеристику этого «Путешествия» и должны довольствоваться указанием древнего комментатора Горация (Порфирион, к «Сатирам» Горация, I, 5, 1), что его 5-я сатира книги I написана в подражание Луцилию.

Особое место в произведениях Луцилия занимали вопросы филологические. Одна из сатир книги II была посвящена им рассуждениям по теории литературы и проблемам правописания. Ноний сохранил нам два близко связанные между собою фрагмента из этой книги, в которых Луцилий определяет разницу между понятиями *poesis* и *poema*, первое из которых обозначает целое крупное поэтическое произведение, а второе — небольшой стихотворный отрывок или небольшую поэму. В приводимом переводе этих отрывков мы условно сохраняем терминологию Луцилия, передавая *poesis* и *poema* посредством «поэзия» и «поэма», хотя значение этих слов у нас и изменилось.

Между *поэзией* ты и *поэмой* вовсе не видишь
Разницы. Ну так узнай, что *поэмой* мы называем.
Это лишь малая часть *поэзии*...
...любое письмо небольшое — это *поэма*.
Ну, а творение всё — то *поэзия*, как «Илиада»,
«Летопись» Эвния: в них весь эпос и тема едины;
Это значительно больше того, что назвал я *поэмой*,
Вот почему я скажу: никто, упрекая Гомера,
Не упрекает его за всю *поэзию* в целом.
Но за какой-нибудь стих, за слово, за мысль, выраженье!

(Фр. 338—347 М)

Язык Луцилия был чрезвычайно разнообразен: в его произведениях встречается и живой язык народа, и отделанная «городская» речь, и смешение греческих и латинских слов. Таким образом, его произведения были «сатурами» не только по своему смешанному содержанию, но и по языку. Что касается стихотворной формы сатир Луцилия, то всюду, где можно судить о ней по мало-мальски связным отрывкам, эта форма удивительно неряшлива, что заставляет признать справедливым мнение Горация («Сатиры», I, 4, 6, сл.; 1, 10), резко критикующего стихи Луцилия со стороны их формы. Но мы можем также судить по тем же отрывкам о необычайной силе и выразительности первого римского сатирика, что признавал и тот же Гораций и другие римские авторы.

Стихотворные размеры, применявшиеся Луцилием, были разнообразны: книги XXVI и XXVII были написаны трохаическими септенариями, в книге XXVIII были и септенарии и ямбические септарии; применял Луцилий и элегический дистих, и, может быть, и другие стихотворные размеры. Но основным размером сатир Луцилия был дактилический гексаметр, который и стал обычным размером у позднейших римских сатириков — Горация, Персия и Ювенала.

Деление сатир Луцилия на книги, как уже было указано, ему не принадлежит и не соответствует хронологии их написания.

Творчество Луцилия знаменует собой новую эру в римской литературе: «В ту эпоху, когда поэзия сосредоточивалась преимущественно в руках вольноотпущенников, — говорит академик М. М. Покровский, — Луцилий первый из людей знатных признал поэзию могучей общественной силой; он не отдался ей, как богатый дилетант, для личного времяпрепровождения или для увеселения своих друзей и политических единомышленников, но, по его собственному заявлению, решил писать «для народа». Как богатый всадник он мог бы увеличить свое состояние в качестве откупщика в Малой Азии, но мысль об этом он отвергал с негодованием во имя служения широким общественным кругам»¹⁵.

¹⁵ История римской литературы, стр. 94.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА РЕСПУБЛИКИ





Глава XV

ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО В РИМЕ ДО ЦИЦЕРОНА

1. Ораторское искусство в Риме до Цицерона.— 2. Ораторы консервативно-республиканской группировки и ораторы-демократы.— 3. Греческая и латинская школы красноречия.— 4. Ораторы — современники Цицерона.— 5. Теория ораторского искусства в первой четверти I в. до н. э. Риторика «К Геренцию» и трактат Цицерона «О подборе материала».

1. ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО В РИМЕ ДО ЦИЦЕРОНА

История ораторского искусства в Риме до Цицерона представляет, если подходить к ней с узко литературной точки зрения, сравнительно небольшой интерес. От тех многочисленных ораторов, имена которых дошли до нас, мы не только не имеем ни одной полностью сохранившейся речи, но и те фрагменты речей, какими мы располагаем, часто мало интересны по содержанию и не настолько крупны, чтобы по ним можно было с достаточным основанием судить об ораторских приемах того или иного деятеля. Однако, взятые во всей своей совокупности и, главное, рассматриваемые в связи с историей общественной борьбы III — I вв. до н. э., даже эти разрозненные отрывки далеко не лишены значения.

Материал, на основании которого можно воссоздать, хотя бы в общих чертах, историю развития ораторского искусства в Риме до Цицерона, распадается в основном на три группы источников:

1) Фрагменты речей, сохранившиеся в сочинениях поздних авторов (Авл Геллий, Макробий и др.).

2) Исторические обзоры и очерки истории ораторского искусства, составленные античными писателями, а также отзывы об отдельных ораторах, встречающиеся в речах, письмах и сочинениях историков и раторов. Основными источниками такого рода являются: диалог Цицерона «Брут», фрагменты сочинений Светония «О раторах», «Диалог об ораторах» Тацита и сочинение Квинтилиана «Об образовании оратора»; отдельные высказывания встречаются у многих позднейших историков (Веллей Патеркул, Валерий Максим, Аппиан и др.).

3) Источником совершенно особого рода, к которому надо относиться с чрезвычайной осторожностью, являются речи ораторов и политических деятелей, влагаемые в их уста их позднейшими биографами (Светонием, Плутархом) и историками (Титом Ливием, Полибием, Дионисием Галикарнасским и др.). Эти биографы и историки, несомненно, имели в своем распоряжении подлинные материалы, которые они использовали, однако, очень произвольно. К группе источников этого типа следует причислить и большой диалог Цицерона «Об ораторе». Основная задача его — систематическое изложение теории красноречия, но в качестве собеседников Цицерон выводит крупнейших ораторов своего времени: Луция Красса, Марка Антония и др. Стараясь, по-видимому, в общем сохранить своеобразие речи каждого оратора, Цицерон настолько явно использует имена их для

изложения своих собственных литературных и политических взглядов, что создать точное представление об этих ораторах на основании диалога Цицерона все же нельзя.

Несмотря на всю скудость перечисленных источников, можно, однако, установить, что ораторское искусство эпохи Республики было теснейшим образом связано с общественной борьбой. Ожесточенная политическая борьба, всё нараставшая от III к I в. до н. э., отражалась косвенным образом и на образовании различных школ и направлений в сфере самого ораторского искусства; в первую очередь — на противоположности между «эллинофильским» направлением, доходившим до полной грекомании, и попытками создать собственную национальную, *латинскую* школу красноречия. Конечно, нельзя механически связывать то или иное риторически-литературное направление с той или иной политической линией: так, «аттикистами» были и Цезарь и Брут; ярый националист Катон хорошо говорил по-гречески и в известной мере признавал необходимость выучки у греков; а в эллинофильском кружке Сципионов подшучивали над грекоманией «золотой» римской молодежи. Но тем не менее и эти, как будто чисто литературные, столкновения имели свои корни в сложных политических отношениях этого времени и были тесно связаны с общественной жизнью, бытом и нравами римлян.

Республиканский строй уже сам по себе давал возможность римским гражданам развивать в себе способность к публичным выступлениям. Для римского гражданина имелись в основном три сферы, в которых он мог выступать публично. Это были комиции, суд и сенат. Во всех этих учреждениях искусство речи, несомненно, находило себе применение уже с древнейших времен. Однако никаких *теоретических* систем красноречия и общих принципов построения речей в раннюю эпоху выработано не было. И только когда борьба внутри государства стала все более обостряться, техника речи стала приобретать все большее значение, и были сделаны первые попытки создать на римской почве теорию ораторского искусства. Такими первыми попытками являются: сочинение анонимного автора, прежде приписывавшееся Цицерону, под названием «К Гереннию» и юношеское сочинение самого Цицерона «О подборе материала».

Первой речью, которая дошла полностью до времен Цицерона, была речь Аппия Клавдия Слепого против заключения мира с Пирром (Цицерон, «О старости», 6, 16). Имеются сведения еще о двух речах, произнесенных в III в. до н. э. Это — две речи частного характера, принадлежащие к типу речей надгробных: речь Фабия Максима об его умершем сыне и речь сына Марцелла (покорителя Сиракуз) в честь его умершего отца. Об основном характере таких речей (*laudationes*), составлявших особый ораторский жанр, Цицерон говорит в диалоге «Об ораторе» (II, 84—85, § 341—349), критикуя их традиционную топику, искажавшую историческую действительность.

2. ОРАТОРЫ КОНСЕРВАТИВНО-РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ГРУППИРОВКИ И ОРАТОРЫ-ДЕМОКРАТЫ

С начала II в. до н. э., когда самая острая опасность карфагенского нашествия миновала, внутренние противоречия в римском обществе стали более резкими, а враждебные одна другой группировки обозначились еще яснее. Консервативно-республиканская группировка не была цельной: в ней были и представители старой аристократии, поклонники древней «простоты нравов», не сочувствовавшие эллинофильству, и в нее же входили аристократы нового типа, мечтавшие о диктаторской власти и не же-

лавшие беспрекословно подчиняться сенату. Демократическая группа тоже была не единой. Примирительную позицию занимал Тиберий Семпроний Гракх, отец Тиберия и Гая, сохранявший хорошие отношения с обоими лагерями. Непримирым оставался Катон, равно враждовавший и с аристократией нового типа и с демократами.

По-видимому, уже в начале II в. самыми видными и типичными представителями консервативной патрицианской «древней доблести» были члены рода Метеллов, от которых, благодаря счастливой случайности, сохранились очень характерные фрагменты речей. Квинт Цецилий Метелл, консул 205 г., еще в 221 г. произнес хвалебную речь о своем отце, Луции Метелле, в которой точно обрисовал идеал «древней доблести» (Плиний Старший, VII, 43, 139 сл.). Речь того же Цецилия Метелла, произнесенную им в сенате в 201 г. при заключении мира с Карфагеном, Валерий Максим (VII, 2, 3) называет «серьезной и возвышенной». Метелл выражает в ней сомнение относительно того, «не принесет ли эта победа государству больше зла, чем блага, потому что она полезна тем, что восстановила мир, но вредна тем, что низложила Ганнибала. Переход Ганнибала в Италию пробудил уже уснувшую было доблесть римского народа, теперь же приходится опасаться, что он, освободившись от сильного соперника, снова впадет в сон». Метелл, по-видимому, ясно понимал, что выход Рима на мировую арену из пределов Италии и превращение его в средиземноморскую державу из итальянской замкнутой общины грозит полным крушением тому строю, в котором аристократии удавалось в течение стольких веков играть первую роль.

Сыну Цецилия Метелла, получившему прозвище «Македонского», пришлось жить в еще более трудное время. В качестве полководца в Македонии он сам содействовал внешним завоеваниям Римской державы, внутри же государства воевал на два фронта: и против Сципиона Африканского, по-видимому, из вражды к которому он защищал взяточника Аврелия Котту, обвинявшегося Сципионом, и против Тиберия Гракха по поводу проектов аграрного закона. Авл Геллий сохранил два отрывка из его речей, могущих служить образцом сухого скептического юмора и характерного для римлян умения выражать мысль в сжатой, легко запоминающейся сентенции. Известностью пользовалась речь Метелла Македонского о принудительном вступлении в брак для своевременного рождения детей на пользу государства (Авл Геллий, I, 6).

Первым предвестником эпохи диктатур был Сципион Африканский Старший, открыто нарушавший республиканские традиции и положивший начало той линии политической борьбы, которая в конце концов привела к диктатуре Цезаря. Столкновение Сципиона с народным трибуном Невием сильно взволновало Рим в 187 г. до н. э., и сведения о речах той и другой стороны передает Тит Ливий (XXXVIII, 50); изложение речи Сципиона имеется у Авла Геллия (IV, 18), и о ней же упоминает Цицерон («Об ораторе», II, 61, 249).

Речь Сципиона при столкновении с Невием, обвинявшим его в произвольном и не вполне честном расходовании средств, полученных после победы над Антиохом, была, по существу, не столько защитительной речью, сколько искусным демагогическим выступлением. Явившись в суд, Сципион напомнил собравшимся, что день его явки совпадает с годовщиной победы над Ганнибалом, призвал всех следовать за собой в храм Юпитера и, в передаче Тита Ливия, закончил свою речь надменными словами:

«Молите богов, Квириты, чтобы вы всегда имели вождей, подобных мне. Ведь, если вы опережали меня, оказывая мне почести в течение

всей моей жизни, начиная с семнадцатилетнего возраста до старости, то я успевал опередить эти почести моими подвигами» (Тит Ливий, XXXVIII, 51).

Об отце Гракхов, Тиберии Семпронии Гракхе, Цицерон отзывается одобрительно, как о хорошем ораторе, отмечая его речь на греческом языке, произнесенную им по делу о родосцах, державшихся во время Пунических войн весьма двусмысленно по отношению к Риму («Брут», 20, 79).

От Катона Старшего до нас дошли фрагменты 80 речей на самые разнообразные темы, но преимущественно речей обвинительных.

Менее всего мы осведомлены об ораторах демократического движения II века до Гракхов. Известно, что сами братья Гракхи получили свое образование у греческих учителей — Диофанта и Блоссия, однако Цицерон («Брут», 25, 96) упоминает и о том, что Тиберий Гракх и его сперва сподвижник, а потом предатель, Гай Папирий Карбон были учениками и слушателями крупного римского оратора Лициния Порцины, консула 137 г. По словам Цицерона, «впервые у этого оратора появилась гладкость речи, которую имеют греки, понимание значения слов и, так сказать, художественный стиль» (там же).

Во второй половине II в. до н. э. внутренние противоречия в римском обществе все более обостряются, что приводит к усилению демократического движения, которое возглавили Гракхи в 133 и 123 гг. Аристократическая группа спланируется все теснее вокруг Сципиона Эмилиана. Как сам Сципион, так и все его друзья — Лелий, Элий Туберон и другие — были эллинофилами. Однако именно на примере их и братьев Гракхов видно, как неверно было бы расценивать влияние греческой образованности как чего-то связанного с определенными политическими симпатиями: и Сципион, воспитанник Полибия, и братья Гракхи, тоже воспитанные на греческий лад, заимствуют свои идеи из греческой философии.

От речей самого Сципиона Эмилиана (Сципиона Африканского Младшего) сохранилось лишь несколько интересных фрагментов. Соответственно той характеристике его личных строгих нравов, какую дает Полибий, Сципион не раз выступал против распущенности и легкомыслия; он возмущался тем, что мальчики и девушки из почтенных семейств учатся пляскам, «которые постыдился бы плясать даже нескромный раб» (Макробий, «Сатурналии», III, 14, 7), издевался над фатом Сульпицием Галлом, «который, натертый благовониями, ежедневно наряжается перед зеркалом, чьи брови подбриты, кто прогуливается с завитой бородой и носит тунику с длинными рукавами, закрывающими пальцы» (Авл Геллий), VI (VII), 12).

Если Сципион был главной политической опорой аристократической эллинофильской группы, то ее главным идеологическим столпом был его друг Лелий, получивший прозвище Мудрый (Sapiens). Очень образованный и вместе с тем крайне консервативный, он является первым представителем того типа людей, который получил свое полное воплощение в друге Цицерона Тите Помпонии Аттике. Цицерон восхваляет речи Лелия за их изысканность («Брут», 23, 89).

Выдающееся влияние и исключительный ораторский талант братьев Гракхов, в особенности Гая, признает даже не слишком любивший их Цицерон, никогда не упускавший случая выразить свое порицание по поводу их деятельности; но у него все же хватает профессиональной честности рекомендовать речи Гая для чтения юношеству («Брут», 33, 126).

«О если бы,— говорит Цицерон,— Тиберий Гракх и Карбон обладали таким же умом для правильного ведения государственных дел, сколь велик был их талант к прекрасной речи,— поистине никто не превзошел бы

их славой... И тот, и другой были великими ораторами. Правда, мы говорим это со слов наших отцов; мы сами имеем речи и Карбона, и Гракха не столь великолепные по словесному выражению, сколь острые и исключительные по уму» («Брут», 27, 103—104).

Еще больше хвалит Цицерон Гая Гракха: «...выдающийся по таланту, пламенный и ревностный, с детства прекрасно образованный Гай Гракх. Я не думаю, чтобы кто-либо был богаче одарен в искусстве речи... О если бы он захотел не чтить память брата, а служить государству! Как легко он при таком таланте заслужил бы славу, равную славе отца и деда, если бы дольше прожил!» (там же, 33, 125—126).

О характере ораторского таланта обоих братьев говорит и Плутарх: «...В чертах лица Тиберия, в выражении его глаз, в движениях было больше мягкости и сдержанности; Гай же был человек более живой и пылкий... Речь Гая, полная бурной страсти, могла утратить; речь же Тиберия, более мягкая, возбуждала скорее чувство сострадания. Слог Тиберия был чист и тщательно обработан, Гая — убедителен и блестящ» (Плутарх, «Тиберий Гракх», 2, 3).

От речей Гая Гракха остались лишь незначительные фрагменты. Правда, несколько фрагментов являются почти протоколом о преступлениях должностных лиц; по своей резкой сухости они напоминают слог Катона. Таковы отрывки, приводимые Авлом Геллием (X, 3, 3 и 5) из речи против консула, приказавшего высечь видных граждан в угоду своей жене, пожаловавшейся на них, и из речи против какого-то молодого аристократа, по распоряжению которого до смерти засекали мальчика-плебея за невинную шутку. В этих отрывках нет пафоса, но само изложение фактов сильнее патетических фраз.

Гай Гракх, вернувшись из Сардинии, где был квестором, характеризует свое бескорыстие, закончил речь эффектной антитезой: «Итак, квириды, я покидал Рим с поясами, набитыми серебром, но из провинции привез их пустыми; другие же везут с собой из Рима амфоры, полные вина, а привозят их обратно набитыми серебром» (Авл Геллий, XV, 12, 4).

И, наконец, сохранился отрывок из знаменитой речи Гая перед смертью, который, вероятно со слов Цицерона («Об ораторе», III, 56, 214), приводит Квинтилиан (XI, 3, 115):

«Куда обратиться мне, злосчастному? Куда идти? На Капитолий? Но он залит кровью брата. Домой? Чтобы видеть мою несчастную мать, рыдающую и покинутую?»

Цицерон прибавляет: «Он говорил это таким голосом и сопровождал такими взглядами и движениями, что даже враги не могли удержаться от слез». И на многие века сохранилась память о Гае Гракхе как о самом горячем и искреннем из всех римских ораторов; еще Апулей его характерной чертой называет «порыв» (*impetus*; «Апология», 95).

3. ГРЕЧЕСКАЯ И ЛАТИНСКАЯ ШКОЛЫ КРАСНОРЕЧИЯ

После гибели Гракхов внутренняя политическая борьба на некоторое время становится несколько менее бурной и разгорается вновь только после неудач римлян в Югуртинской войне, которые Саллюстий объясняет продажностью руководителей внешней политики и пассивностью народа, отвыкшего от активных политических выступлений, задавленного нуждой и притеснениями. В связи с временным затишьем общественной борьбы на ораторском поприще не появляется крупных деятелей.

Грозная внешняя опасность со стороны кимвров и тевтонов несколько отдалила наступление последней страшной схватки между демократами

и консерваторами. До 80-х годов I в. до н. э. приглушенные политические конфликты прорывались, однако, наружу и в области литературной вылились в борьбу между греческой и латинской школой красноречия.

Вполне естественно, что греческое образование было в первую очередь доступно представителям богатых и знатных семей. И если в первой половине II в. до н. э., после покорения Греции, влиянию греческой образованности сопротивлялись по мотивам национальным некоторые представители «древней доблести и простоты», как из аристократов, так и из средних землевладельцев, приверженцев Катона, то в конце II в. и в начале I в. против эллиофильства протестуют подлинные представители народа, примыкавшие к Марию, который даже не знал греческого языка (Саллюстий, «Югуртинская война», 85, 32). Изгнание философов из Рима, совершившееся, вероятно, при участии Катона в 161 в., не привело ни к чему; уже через шесть лет Карнеад, приехавший в Рим с греческим посольством, привлек к себе множество слушателей и учеников.

Реакция против греческого образования в конце II и начале I в. имела целью демократизацию ораторского искусства; друг Мария, Плотий Галл, открыл школу латинской риторики. Это было воспринято консервативными кругами именно как попытка демократов снова поднять голову. Против этих тенденций выступили в 92 г. представители аристократии, оба цензора,— известный в то время оратор Лициний Красс и Домиций Агенобарб: они издали декрет, запрещающий латинским учителям красноречия преподавание риторики на латинском языке. Этот декрет, полностью приведенный Геллием (XV, II, 2), носит явно консервативный характер:

«Нам стало известно, что имеются люди, которые ввели новый способ обучения и в школу которых собирается молодежь; эти люди присвоили себе название латинских риториков, и подрастающее поколение проводит у них целые дни, бездельничая. Наши предки установили, чему, согласно их воле, должны учиться их дети и какие школы они должны посещать. Эти же новые затеи, идущие вразрез с обычаями и нравами предков, нам не угодны и представляются нам неразумными. Поэтому и тем, у кого имеются эти школы, и тем, кто имеет обыкновение их посещать, да будет известно, что нам это не угодно».

Доводы цензоров, издавших приведенный декрет, вложены Цицероном в диалоге «Об ораторе» (III, 24, 91, 92) в уста самого Красса. Красс выступает против внешнего пустозвонства в речах, которое он называет «орудием речей на форуме; задорным, острым, *извлекаемым из мнений черни*, ничтожным и лживым». Ясно, что этот декрет направлен против школ красноречия, в которых произносились речи, может быть, и неискусные, но во всяком случае неугодные властям не только своей формой, а, очевидно, и своим содержанием.

По-видимому, крупное столкновение Красса с «латинскими риториками» произошло за несколько лет до издания декрета 92 г.— между 106 и 104 гг., когда сперва по закону Сервилия, за который выступал именно Красс, суды были отняты у всадников и возвращены сенату, но затем опять возвращены всадникам. Цицерон сообщает имя одного оратора из всадников, Гая Тития, который, по его мнению, «достиг того, чего мог достигнуть латинский оратор, не прошедший греческой школы и не имевший большой практики; его речи так остроумны, так наглядны, так изящны, словно написаны аттическим стилем» («Брут», 45, 167). Счастливая случайность сохранила нам образец речи Тития в отрывке, приводимом в «Сатурналиях» Макробия (III, 16, 15—16). Отрывок этот представляет собой бойкое выступление Тития, очевидно, против судей из богатых аристократов:

«Умашенные благовониями, окруженные куртизанками, они играют в кости. В десять часов [т. е. за два часа до захода солнца — в последний срок явки в суд] они посылают слугу узнать, о чем говорили на форуме, кто выступал, какие трибы голосовали за и какие против. Потом только они идут в комиции... В комиции они приходят сумрачные и велют начать выступления. Те, чье дело разбирается, выступают, судья вызывает свидетелей, а сам отходит в сторону. Возвратившись, он говорит, что все слышал, требует подачи голосов. Он читает, а сам так пьян, что глаза у него слипаются; а идя на совет, он говорит: «Что мне за дело до всей этой чепухи? Лучше бы нам выпить меда, смешанного с греческим вином, да съесть жирного дрозда и славную рыбку, хорошую щуку, пойманную между двух мостов».

Последних крупных ораторов, непосредственных предшественников и отчасти современников Цицерона, мы узнаем только из его диалога «Об ораторе». Этот круг состоит из Лициния Красса, автора приведенного декрета, Марка Антония (деда триумвира), Юлия Цезаря Страбона, Аврелия Котты и Сульпиция Руфа. Второстепенными фигурами являются Катул и юрист Муций Сцевола.

При сочинении этого диалога Цицерон вывел на сцену в мирной беседе группу людей, бывших политическими противниками, желая, вероятно, доказать свой любимый политический тезис — *consensus bonorum omnium* (согласие всех благонамеренных) вне политической жизни, в обстановке дружеского обсуждения теоретических вопросов. Лициний Красс (140—91 гг.), которому Цицерон, видимо, более всех симпатизирует, был, как и сам Цицерон, не очень устойчив в своей политической линии; первым его выступлением в возрасте 21 года было обличение Папирия Карбона в 119 г. в двоядушной предательской политике по отношению к Опимию, виновнику смерти Гая Гракха. Красс выступил против Опимия и его защитника и так дискредитировал Карбона, что, возможно, этим своим выступлением побудил его к самоубийству. Затем, через несколько лет, Красс, желая приобрести хорошую репутацию в народе, опять выступил против сената за выведение колонии в Нарбонскую Галлию; однако в 106 г. он изменил свою политику и речью за передачу судов из рук всадников в руки сената снова завоевал себе его расположение. Далее до конца жизни Красс оставался на стороне консервативно-республиканской партии и умер в 91 г. Цицерон не находит слов, чтобы выразить свое восхищение Крассом: «Я считаю, — говорит он, — что никто не мог быть совершеннее Красса. В нем была глубокая серьезность и соединенное с серьезностью остроумие, изящное, красноречивое, не вульгарное; в рассуждениях объяснения его были изумительны; когда спорили о гражданском праве, когда говорили о справедливости и добре, он приводил изобилие доказательств и примеров... В истолковании, в определении, в выяснении правды никто не был тщательнее Красса» («Брут», 38—39, 143—144). Именно Красса Цицерон делает проповедником своего тезиса о необходимости для оратора иметь широкий философский, научный и юридический кругозор. К сожалению, однако, мы можем судить о Крассе как ораторе лишь по отзывам о нем и по ничтожным фрагментам его речей.

В начале книги III диалога «Об ораторе» Цицерон выражает радость по поводу того, что Красс не дождал до войны между Суллой и Марием. Его собеседники по диалогу, Марк Антоний и Юлий Цезарь Страбон, были менее счастливы: они погибли в 87 и 86 гг. как активные противники Мария. Цицерон вспоминает о них с сожалением. Нельзя забывать, что диалог «Об ораторе» написан в 55 г., когда Цицерон был особенно яростно настроен и против последних отпрысков демократии, выродив-

шихся в беззастенчивых демагогов, — в особенности против Клодия, — и против уже намечавшейся полной диктатуры одного из триумвиров, только что скрепивших в Луке свой в то время всемогущий союз.

Другим крупнейшим оратором конца II и начала I до н. э. был Марк Антоний (143—87 гг.). Он начал свою карьеру почти так же, как Лициний Красс; обвинив консула Гнея Папирия Карбона, потерпевшего поражение на войне с кимврами, он довел его до самоубийства (в 113 г.) подобно тому, как Красс за шесть лет до этого погубил репутацию другого члена того же рода — Гая Папирия Карбона. Но если Красс имел основание заклеймить позором перебежчика Гая Карбона, то выступление Антония против побежденного полководца было только средством выдвинуться. В дальнейшей своей деятельности Антоний, как и Красс, не держался единой политической линии: так, выступив в 99 г. сторонником оптиматов против народного трибуна Тития и в защиту Манья Аквилля, жестоко подавившего восстание рабов в Сицилии, Антоний в 94 г. защищал ненавистного сенату трибуна Норбана, бывшего его сверстником и личным приятелем. По-видимому, Марку Антонию ставилось это в вину, потому что Цицерон влагает в его уста («Об ораторе», II, 48—49, 199 сл.) речь, в которой Антоний объясняет мотивы своего поведения и при этом совершенно беззастенчиво раскрывает свои приемы воздействия на слушателей. Сперва, используя горячий и бурный способ речи, он возбудил снова ненависть против побежденного и изгнанного консула, и горе тех, чьи родные погибли в битве с кимврами, а после этого «стал примешивать другой вид красноречия, мягкий и сдержанный, заступаясь за своего товарища, который по обычаю отцов должен был быть ему так же близок, как родные дети», и, наконец, стал умолять судей не причинять такого горя ему, «который всегда старался спасти даже чужих людей, а теперь не сможет спасти товарища», ему, который «просил всегда только за друзей, никогда ничего не прося для себя».

По этой речи, составленной Цицероном, несомненно в стиле Антония, сильно отличающемся от спокойных рассуждений, излагаемых Цицероном от лица Красса, видна характерная черта Антония: уметь использовать в любой момент то, что наиболее выгодно. В «Бруте» (37—38, 139—141) Цицерон говорит: «Антонию приходило в голову именно то, что в данном случае было особенно полезным и подходящим... Огромная память, ни одной минуты размышления...». Далее Цицерон восхваляет у Антония исключительное умение владеть жестом, «полностью совпадающим со смыслом речи, движением руки, плеча, бедер, ударом ноги о землю, положением тела, умением взойти [на трибуну], всеми движениями и голосом, несколько глухим, но неутомимым».

Последний оратор, играющий значительную роль в диалоге «Об ораторе», — Юлий Цезарь Страбон, выведен как мастер шутки, «легкости и соли», которые он, по свидетельству Цицерона, ввел первый, между тем как до него у римских ораторов это было не принято (II, 23, 98).

Подробно охарактеризовав ораторов группы оптиматов и присоединив к ним как ученика только Сульпиция Руфа, ставшего впоследствии марианцем, Цицерон почти не упоминает об ораторах противоположного лагеря. Только консул Марций Филипп, столкновение которого с Крассом в сенате по поводу законов Ливия Друза Цицерон красочно описывает в начале книги III диалога «Об ораторе», удостоился его отзыва, как «человек пылкий, красноречивый, особенно сильный в сопротивлении». Но он ставит его всё же значительно ниже Красса и Антония («Брут», 47, 173). Остальных ораторов демократического направления Цицерон упоминает вкратце, считая, что «из всех мятежников после Гракхов наиболее

красноречивым был Луций Апулей Сатурнин» («Брут», 62, 224). Совершенно ясно, что как ни ценен для нас очерк истории римского красноречия, данный Цицероном, он составлен согласно консервативным установкам, и оценки римских ораторов в нем безусловно односторонни и тенденциозны.

Подводя итог достижениям ораторского искусства до Цицерона, мы видим, что в постоянной борьбе как между политическими группировками, так и между судившимися сторонами (что часто совпадало) оно достигло уже очень высокого развития и к нему стали предъявляться требования, далеко выходявшие за пределы чисто деловой практической программы Катона Старшего — «знай дело, а слова придут». От оратора уже требовалось и общее образование, и осведомленность в самых разных областях юриспруденции, и изворотливость, и серьезность, и шутливость, и красота в выборе и расстановке слов и в ритме речи, а также хороший голос, красивые движения и т. д. Удовлетворить всем этим требованиям было нелегко, и на приобретение нужных навыков приходилось затрачивать все больше и больше времени. Для того чтобы наглядно представить себе, каким образом Цицерону, судя по отзывам современников и последователей и по его богатейшему литературному наследству, удалось в полной мере удовлетворить всем этим разнообразным требованиям, надо вкратце познакомиться с той теоретически-практической выучкой, на почве которой выросло его искусство, т. е. с греческими школами азианизма и аттицизма, а также с теми отголосками обучения ораторскому делу, которые запечатлены в анонимном сочинении «К Геренпию» и в юношеском сочинении самого Цицерона «О подборе материала» (*De inventione*).

4. ОРАТОРЫ — СОВРЕМЕННОКИ ЦИЦЕРОНА

Так называемое азианское направление, возникшее в начале III в. до н. э. и получившее свое название от того, что преимущественно было распространено в Малой Азии, во времена Цицерона, по его свидетельству («Брут», 95, 325), в свою очередь распалось на два течения: одно культивировало «рубленный стиль», короткие, звонкие фразы с однотипными, даже иногда рифмованными концовками; другое, напротив, стремилось к максимально патетическому, нередко темному и запутанному выражению мыслей, многословному и образному способу речи. Следы таких тенденций навсегда сохранились в речах самого Цицерона, который, однако, избрал для себя несколько эклектический, но более умеренный, стиль речи; этот стиль носил название «родосского», от известного ритора Аполлония, или Молона, открывшего на Родосе большую школу красноречия, слушателями которой были и Цицерон и Цезарь.

От многочисленных речей азианиста Гортензия до нас не дошло ничего. Цицерон характеризует его как человека, обладавшего исключительной памятью, и блестящего оратора, имевшего, однако, успех больше у молодежи и пока он сам был молод («Брут», 92—97, 317—332).

К азианистам причисляют и Марка Антония (триумвира), от речей которого, впрочем, до нас ничего не дошло.

Направление аттицизма было диаметрально противоположно азианскому: его целью была только полная ясность речи и точность выражения мысли; своим образцом аттицисты избрали Лисия.

В «бескровности» и даже сухости Цицерон упрекает аттициста Лициния Кальва (поэта, друга Катиллы), признавая за ним «изысканность речи»: «он разрабатывал тему научно и изящно, но он слишком вдумывал-

ся сам в себя, все время смотрел на себя со стороны и, боясь сказать что-либо грубое, становился совершенно бескровным» («Брут», 82, 283). Его ценили любители, но на форуме он успеха не имел. Его принадлежность к неотерическому направлению в поэзии, культивировавшему изящество и изысканность тематики и формы, дает возможность думать, что характеристика Кальва у Цицерона верна.

Наиболее крупный из ораторов-аттицистов — Марк Юний Брут — Цицероном не охарактеризован. От речей Брута не сохранилось ничего. Интересное сведение мы находим у Квинтилиана (III, 6, 93): после убийства Клодия Брут, как и Цицерон, написал речь в защиту Милона; но в то время как Цицерон оправдывал Милона необходимостью самозащиты, Брут требовал одобрения его поступка как патриотического подвига, выявляя этим крайний консерватизм своих убеждений.

Формальное понимание терминов «республика» и «диктатура» сделало в эпоху французской буржуазной революции из этого ярко выраженного аристократа-консерватора борца за свободу. Только советским историкам удалось раскрыть реакционную сущность римской «республиканской» доктрины эпохи Цицерона и Цезаря.

После краткой вспышки ораторских «битв» между Марком Антонием и Цицероном в 44 и 43 гг. ораторское искусство как политическая сила закончило свою жизнь. При новом всемогущем принцепсе ему осталось только узкое поле действия: это были залы риторических школ; о том, какие темы обсуждались там и в каких формах, дают представление «Контроверсии» Сенеки-отца.

5. ТЕОРИЯ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ I В. ДО Н. Э. РИТОРИКА «К ГЕРЕННИЮ» И ТРАКТАТ ЦИЦЕРОНА «О ПОДБОРЕ МАТЕРИАЛА»

Деятельность крупнейших ораторов (Лициния Красса, Марка Антония и др.) развивалась в основном в последней четверти II в. до н. э. В начале I в. они стали один за другим сходить со сцены. Жестокие гражданские войны 80-х годов не были благоприятны для ораторских выступлений: политическая обстановка менялась слишком часто и слишком резко; высказывать открыто те или другие симпатии, побуждать к деятельности в том или ином направлении было небезопасно. Только Гортензию, старшему современнику Цицерона, многократно бывшему впоследствии его антагонистом, удалось создать себе имя. Однако изучение ораторского искусства и подготовка к карьере оратора не прекратились и в эти беспокойные годы: риторические школы продолжали свою работу; именно в эти годы получили свое прекрасное риторическое образование и Цицерон и Цезарь; от этих же лет до нас дошли первые пособия по теории ораторского искусства, которая до тех пор оставалась в Риме неразработанной. Цицерон в «Бруте» (44, 163) упоминает только о маленьком пособии по ораторскому искусству, составленном Марком Антонием, называет его «довольно сухой книжкой» (*sane exilem libellum*) и выражает сожаление, что ни он, ни тем более Красс — оратор философского направления, которому сочувствовал Цицерон, — не составили чего-нибудь более серьезного.

Поэтому для историка литературы чрезвычайно важно то обстоятельство, что до нас дошли два ранних сочинения по риторике — анонимный учебник, носящий название «К Гереннию» (*Ad Herennium*), и первое, юношеское сочинение Цицерона «О подборе материала» (*De inventione*). Это сочинение более целесообразно рассматривать не в связи с позднейшими

крупными риторическими произведениями Цицерона, излагающими его собственные взгляды, а в связи с риторикой «К Гереннию», потому что оба эти сочинения, являясь, с одной стороны, изложением ходячей школьной системы,— что доказывается подчас буквальными совпадениями между ними,— с другой стороны, исходят из взглядов и установок, друг другу противоположных. Возможно, даже, что авторы их полемизируют друг с другом. Хотя не удалось установить, которое из них появилось раньше, но едва ли можно сомневаться в том, что они отделены друг от друга лишь небольшим промежутком времени.

Риторика «К Гереннию», включавшаяся обычно в собрание сочинений Цицерона, долгое время считалась одним из его ранних произведений наряду с трактатом «О подборе материала». Однако уже в конце XV в. возникли сомнения в авторстве Цицерона; попытки установить имя автора ни к чему не привели, кроме ряда гипотез, и в результате тщательного изучения как формы, так и содержания этого сочинения исследователи пришли только к тому бесспорному выводу, что автором его не мог быть Цицерон.

Главный интерес обоих сочинений заключается не в отдельных подразделениях, определениях и предписаниях, а в общих взглядах на ораторское искусство и на его источники.

Круг вопросов, рассматриваемых риторикой «К Гереннию», шире, чем тема сочинения Цицерона. Являясь пособием для изучающего риторику, она разделяется на четыре книги: первая дает краткое определение четырех основных понятий, лежащих в основе искусства речи,— подбор материала (*inventio*), расположение его (*dispositio*), форма выражения (*elocutio*) и использование памяти для приведения убедительных примеров (*memoria*)

Сочинение Цицерона «О подборе материала» состоит из двух книг, рассматривающих те же вопросы, что и две первые книги риторики «К Гереннию», но подробнее; оно написано более изысканным языком. По своему содержанию и подходу к теме оно слабее, чем риторика «К Гереннию», что вполне понятно, если принять во внимание юный возраст автора; однако даже в этом сочинении стремление Цицерона к широкой эрудиции уже ясно заметно.

Цицерон с самых первых шагов показывает себя учеником и приверженцем греческих теоретиков и раторов. Он начинает с довольно длинного исторического и философского введения о происхождении красноречия, его отношения к государственной и общественной деятельности и его связи с философией. К своим взглядам Цицерон, по его заверению, пришел «после долгих и глубоких размышлений» («О подборе материала», I, 1, 1). Однако не забудем, что Цицерону было тогда никак не больше 20 лет. Впрочем, изложенных здесь взглядов Цицерон придерживался действительно во всей своей дальнейшей деятельности. «Одна только мудрость,— говорит он,— без красноречия мало приносит пользы государству, красноречие же без мудрости может часто повредить, пользы же не приносит никогда» (там же).

Свое знакомство с греческой риторикой философского направления, т. е. аристотелевской школы, Цицерон показывает и в следующих словах: «Имеются и другие правила подразделения [материала], правила, которые не относятся собственно к ораторскому искусству; они применяются в философии, откуда я и перенес сюда все, что мне показалось полезным. В прочих руководствах... я ничего такого не нашел» (I, 23, 33) Еще более открыто говорит Цицерон о компилятивном характере своей работы в начале II книги того же сочинения. Начав с анекдота о том, как знамени-

тый Зевксид, задумав изобразить идеальную красоту Елены, выбрал пять красавиц из города Кротона, где женщины славились красотой, и соединил их черты, Цицерон ставит себе такую же задачу — объединить в своей работе все лучшее, что сделано до него: «Решив написать об искусстве речи, мы не поставили перед собой единого образца, все части которого мы должны были бы воспроизвести во чтобы то ни стало; но, собрав всех писателей вместе, мы выбрали из них те предписания, которые у каждого, как нам казалось, были наилучшими, и из всех умов извлекли все лучшее» (II, 2, 4). Далее, Цицерон жалуется на то, что очень трудно охватить такое огромное количество материала, ссылается на Аристотеля и Исократу и говорит о различных направлениях риторических школ, подразумеваемая конечно здесь греческие, а не латинские сочинения. Чрезвычайно характерен для Цицерона и тот принцип, которому, по его словам, он намерен следовать в своей работе: «Мы будем говорить, ничего не утверждая категорически, а как бы ища и сомневаясь, чтобы, погнавшись за малым преимуществом краткого и сжатого удобопонятного изложения, мы не упустили самого важного. Мы не хотим высказываться в пользу какого-либо взгляда слишком легкомысленно и необдуманно. Этому правилу мы будем тщательно следовать по возможности и в данном случае и во всей жизни (II, 3, 10). Таким образом, с первых шагов своей литературной деятельности Цицерон сознательно становится эклектиком, стремящимся примирить самые разнообразные взгляды и течения; следовал он этому принципу и позже как в ораторском искусстве, избрав промежуточный путь между изощренностью азианизма и сухостью аттицизма, так и в философии.

В подборе примеров Цицерон еще не самостоятелен: в огромном большинстве случаев он берет их из греческой мифологии и истории, т. е., очевидно, из греческих источников; римским материалом он пользуется редко. Излюбленным же его примером из римской истории является вопрос, имел ли право последний из Горациев убить свою сестру за то, что она оплакивала Куриция, своего жениха, но врага Рима.

С литературной стороны руководство «О подборе материала» стоит еще не высоко; оно местами довольно сухо излагает многочисленные подразделения и терминологические тонкости. Есть, однако, занимательные «казусы» (о том, кто «покинул корабль», — II 51, 153; о шуточной беседе Аспази с Ксенофонтотом и его женой — I, 34, 51 сл.); есть уже и излюбленный в дальнейшем прием цicerоновской антитезы (например, II, 3, 9, 11, 59, 178).

В последующие годы Цицерон неодобрительно отзывался о своем юношеском произведении. В начале трактата «Об ораторе» он так обращается к брату Квинту: «Когда мы были детьми и подростками, то в наших писаниях много попадалось едва только намеченного и недоделанного, что недостойно моего нынешнего возраста и опыта, вынесенного мною из ведения столь многих важных дел: поэтому ты, как ты часто говорил мне, хотел бы, чтобы я на эту же тему высказал что-нибудь в более гладкой и совершенной форме» (I, 2, 5).

Иной характер, чем сочинение юного Цицерона, носит риторика «К Гереннию»; она значительно суше; ее правила и определения сформулированы сжато. Установка автора ясна с первых же слов: в противоположность Цицерону, он — противник греческой риторики и ее философских рассуждений. В введении, адресованном к Гереннию, автор пишет: «Умение говорить и изящество речи приносят немалый плод, если они управляются правильным размышлением и сдержанной умеренностью души. Поэтому мы опустили все то, что греческие писатели в их пустой занос-

чивости выдают за свое. Ибо они, чтобы не показалось, что они знают весьма мало, привлекли и то, что вовсе к делу не относилось, чтобы искусство это казалось более трудным для постижения; мы же взяли только то, что казалось нам относящимся к искусству речи. Мы ведь взяли за эту работу, побуждаемые не жаждой славы или надеждой на успех, как другие, но чтобы нашим усердием укрепить твою волю. Поэтому, чтобы не затягивать своей речи, начнем говорить о самом деле» («К Гереннию», I, 1, 1). Под рассуждениями, не имеющими отношения к делу, возможно, подразумеваются обычные введения в риторику, с какого начинается и Цицерон (о происхождении и пользе краспоречия и т. п.).

Борьба против греков, считавшихся непревзойденными мастерами риторики, ведется автором и далее. В конце книги III, после очень интересных рассуждений о природе памяти и средствах развития и обострения ее (§ 28—38), основанных, несомненно, на вполне реальных психологических наблюдениях, автор переходит к использованию художественных образов (*imagines*) в речи, имеющих целью произвести впечатление на слушателей, и возражает против необходимости иметь готовый «арсенал» таких образов. «Я знаю,— пишет он,— что многие греки, писавшие о памяти, составили списки образов для многих слов, чтобы те, кто хочет обучать, имели их готовыми и не тратили труда на подыскание их. Но мы по многим причинам не одобряем этих соображений: во-первых, потому, что при неисчислимом множестве слов смешно подбирать образы для какой-нибудь тысячи слов. Какую ничтожную ценность могут иметь они, если из бесконечного числа слов нам надо будет запоминать то одно, то другое? Далее, почему мы хотим отучить человека от прилежания, чтобы он не сам искал, а мы бы всё передавали ему в готовом виде? Кроме того, на разных людей производят впечатление различные сравнения... Поэтому каждому следует самому подбирать образы для своей цели. Наконец, дело преподавателя — научить, каким образом следует что-либо искать; его дело — приводить в качестве примера, чтобы вопрос стал яснее, то одно, то другое, а вовсе не всё, что относится к данной теме. Так же, как во всяком деле, теоретические предписания (*artis praescriptio*) бесполезны без величайшего упорства в упражнении, тем более при [развитии] памяти теория ничего не стоит, если она не подкрепляется прилежанием, усердием, трудом» (III, 23—24, §§ 38—40).

Уже в этом подчеркивании необходимости практических упражнений заключается протест против философской подготовки, за которую вступает Цицерон. Однако наиболее резкое опровержение вызывает со стороны автора риторики «К Гереннию» греческая система подбора примеров (*exempla*), который, подобно сравнениям и образам, в риторических школах имелись на любой случай целые вороха. Именно эта форма пользования готовым материалом, по мнению автора, особенно недостойна хорошего оратора. Он посвящает этому вопросу подробный экскурс в начале IV книги и придает ему настолько большое значение, что считает нужным изложить и серьезно раскритиковать все аргументы своих противников. «В тех случаях,— говорит он,— когда по ходу дела необходимы примеры, мы использовали свои собственные примеры и сделали это вопреки обычаю тех греков, которые писали на эту тему» (IV, 1, 1). Он издевается над теми, кто утверждает, что приводить примеры от себя, когда были великие поэты и ораторы, является признаком излишней самоуверенности (ср. IV, 2, 4 и 6, 9).

Автор недаром придает такое большое значение нахождению примеров: он сам большой мастер этого дела. Примеры, приводимые им, по меткости и ясности намного превосходят примеры, приводимые Цицероном

даже в его поздних, совершеннейших риторических сочинениях. Наиболее же интересной чертой этого собрания примеров в IV книге риторики «К Гереннию» является их определенная политическая направленность демократического характера, правда, достаточно искусно замаскированная большим числом индифферентных примеров, но все же ясно заметная при последовательном чтении. Приведем наиболее яркие из этих примеров.

§ 22. «Обращаюсь к тебе, [Сципион] Африканский, чье имя даже после смерти является блеском и красой государства. Твои знаменитейшие внуки [Гракхи] своєю кровью напоили жестокосердие своих врагов».

§ 31. «Тиберию Гракху, взявшемуся за управление государством, позорное убийство помешало продолжать его дело. Гая Гракха постигла подобная же гибель, вырвавшая этого мужа, более всех любившего родину, из ложа государства. Сатурнина, излишне доверчивого, подлость злодеев с помощью преступления лишила жизни. Твоя кровь, Друз, обрызгала стены дома и лицо твоего отца. Сульпиция, которому еще недавно предоставляли всё, что угодно, через малый срок лишили не только жизни, но даже погребения».

§ 66. «Если бы теперь воскрес знаменитый Л. Брут и встал здесь перед вами, разве не сказал бы он вам; «Я изгнал царей, а вы ввели к себе тиранов; я создал свободу, которой не было, а вы ее, уже созданную, не хотите сохранить; я освободил родину, рискуя своей жизнью, а вы не заботитесь о том, чтобы быть свободными, хотя вам не грозит никакая опасность».

К концу сочинения автор приберет самые яркие примеры. В § 67 он дает сжатую сильную сентенцию: «Не полагайся слишком, Сатурнин, на благосклонность народа: Гракхи лежат неотмщенными»; наконец, в предпоследнем параграфе своей книги (§ 68) он приводит как пример наглядного драматического повествования довольно длинный рассказ о гибели Тиберия Гракха, в котором его убийца, Сципион Назика, описан в таких красках: «Преисполненный преступных намерений и злобных мыслей, он выбегает из Храма Юпитера: весь в поту, с горящими глазами, волосы дыбом, в измятой тоге, он бежит всё скорее, со многими спутниками...». После же убийства, «обрызганный кровью храбрейшего мужа, оглядываясь вокруг, как будто совершил величайший подвиг и радостно приветствуя своей преступной рукой поздравляющих его людей, он скрылся в храме Юпитера». Этот пример служит как бы заключением всей книги; именно он должен был особенно ярко запечатлеться в памяти ученика (или учеников). Но не только этот пример, а и слова (IV, 56, 69), подводящие еще раз итог содержанию всего сочинения, тоже скрывают в себе своеобразный пафос, совсем не похожий на установку цицероновских сочинений. Автор противопоставляет себя и своего ученика тем, кто либо недостаточно упражняется практически, либо не уверен в себе, либо не знает, каким путем идти. «Всех этих трудностей для нас не существует,— пишет он,— нас связывает дружба... мы верим в себя, потому что мы уже кое-чего достигли и потому, что есть нечто лучшее, к чему мы более упорно стремимся в жизни, так что даже если мы на ораторском поприще [in dicendo] не достигнем того, чего хотим, то нам будет не доставать лишь малой части для полноценнейшей жизни» [vitae perfectissimae].

Это патетическое заключение сухого учебного пособия по риторике невольно вызывает вопрос: что же то «лучшее, к чему мы стремимся», и кто же эти «мы», т. е. в каких кругах создана риторика «К Гереннию»? Наиболее вероятным ответом представляется следующий: риторика «К Гереннию» есть продукт именно тех «латинских» учителей красноречия, о

которых так презрительно и враждебно говорит Цицерон устами Лициния Красса в трактате «Об ораторе». Вернее всего, она либо принадлежит Плотию Гамлу, другу Мариа, имевшему латинскую риторическую школу, или кому-то из воспитанников этой школы. Если принять это предположение, то многие особенности этого сочинения становятся понятны: оппозиция против греков и греческой науки и философии была вполне закономерна среди приверженцев Мариа, которому и самому греческая образованность была совершенно чужда; отсюда возникло стремление латинизировать всю греческую терминологию, что и сделано автором риторики «К Гереннию» очень удачно. Далее, для приверженца демократии риторика не является «искусством для искусства», он знает «то лучшее, к чему мы горячо стремимся в нашей жизни», — это борьба за права народа; если часто ораторские успехи даже и будут недостаточны, то это не уничтожит основной цели жизни — политической борьбы. Этим же объясняется особая тенденция в подборе примеров. Все эти разрозненные черты данного сочинения смыкаются в одно целое и дают полную картину тенденций латинского направления в риторике и полемике его с направлением греческим.

Относительно времени составления риторики «К Гереннию» точных данных нет; высказывались предположения, что она написана между 87 и 83 гг. во время господства марианцев в Италии. Однако, возможно, что тогда автор говорил бы более открыто. Может быть, ее следовало бы отнести к более раннему периоду, когда борьба между оптиматами и популярями велась еще не в самых резких формах, а именно — к концу 90-х или началу 80-х годов, когда латинские школы риторики то закрывались (декретом Красса в 92 г.), то снова возрождались. Именно в этот период вполне естественной является несколько маскированная, но понятная для посвященных демократическая тенденция той школы, где, по словам Красса «учили дерзости». Приведенные выше примеры из IV книги «К Гереннию», вероятно, на взгляд Красса, и были такими образцами «дерзости». Не раз в примерах высказывается и осуждение бесчеловечного метода войны и обращения с союзниками и покоренными народами; например, очень интересен длинный рассказ о жестоком и жадном полководце, имя которого не названо, но, вероятно, было известно.

Надо обратить внимание еще на одну стилистическую черту риторики «К Гереннию». Автор ее охотно пользуется в примерах изречениями,носящими характер поговорок, «летучих слов»: «Проявляй себя миролюбивым по отношению к врагам, по отношению же к друзьям беспощадным» (IV, 45, 58); «Если собаки станут выполнять обязанности волков, чьей же защите мы доверим стада?» (IV, 34, 46); «Стихотворение есть говорящая картина, картина — молчаливое стихотворение» (IV, 28, 39). Очень хороши, к сожалению не поддающиеся переводу, примеры игры слов¹.

Из разобранных нами двух памятников ранней латинской риторики сочинение «К Гереннию» своей самобытностью, ясностью и оригинальностью стоит выше, чем сочинение Цицерона «О подборе материала», что вполне естественно. Слава Цицерона, как образцового оратора, еще ожидала его через много лет; но и его позднейшие, блестящие произведения носят совершенно иной характер, чем риторика «К Гереннию», этот оригинальный памятник недолго существовавших, но пропитанных демократическим боевым духом, латинских риторических школ.

¹ Например: «*Deligere oportet, quem velis diligere*»; «*Hic sibi posset temperare, nisi amore mallet obtemperare*» (IV, 21, 28). «*Veniam ad vos, si mihi senatus det veniam*»; «*Nam amare iucundum sit, si curetur, ne quid insit amari*» (IV, 14, 21).



Глава XVI

Ц И Ц Е Р О Н

1. Основные сведения о Цицероне.— 2. Биография и произведения Цицерона (по периодам).— 3. Цицерон как политический деятель, оратор и писатель.— 4. Переписка Цицерона.— 5. Сочинения Цицерона по различным философским вопросам.— 6. Сочинения Цицерона по теории ораторского искусства.— 7. Речи Цицерона.— 8. Отражение воззрений Цицерона в его речах.— 9. Речи Цицерона как литературные произведения.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЦИЦЕРОНЕ

Марк Туллий Цицерон (Marcus Tullius Cicero) происходил из всаднического рода Туллиев, ничем особенным себя в истории не проявившего. Сам Цицерон не раз называл себя «*homo novus*» и подчеркивал, что он по своему происхождению не имеет никакого отношения к аристократическому роду, носившему то же имя Туллиев.

Отец Цицерона имел небольшое имение в Арцине, где и родились его два сына, Марк в 106 г. до н. э. и Квинт в 100 г.

Цицерон прожил около 63 лет (до декабря 43 г.). В противоположность биографиям многих других римских писателей, его биография известна настолько хорошо, что ее можно изложить с полной точностью по годам, а иногда даже по месяцам. Она теснейшим образом связана с политической историей Рима I в. до н. э. и поэтому ее для более удобного обозрения следует разделить на несколько периодов, причем переломные моменты в общественной жизни являются такими же и для биографии Цицерона. Таких периодов в жизни Цицерона можно насчитать семь.

I. 106—76 гг. Детство, юность, начало ораторской деятельности и годы ученья в Греции до возвращения в Рим после смерти Суллы.

II. 75—67 гг. Квестура, эдилитет, процесс Верреса.

III. 66—59 гг. Вступление на чисто политическую арену; претура, консульство, победа над Катилиной, борьба с Клодием.

IV. 58—50 гг. Изгнание, возвращение в Рим, неопределенная позиция между триумвирами и сенатом, проконсульство в Киликии.

V. 49—47 гг. Гражданская война, отъезд в Грецию с Помпеем, возвращение в Италию, год в Брундисии, возвращение в Рим.

VI. 46—44 гг. Под диктатурой Цезаря в Риме.

VII. Март 44 г.—декабрь 43 г. Убийство Цезаря. Связь Цицерона с Брутом и Кассием после мартовских ид. Борьба против Марка Антония. Отношения с Октавианом. Второй триумвират. Проскрипции. Смерть Цицерона.

Изменения в государственной жизни и в личной судьбе Цицерона, связанные с границами перечисленных периодов, чрезвычайно ярко отражаются и на характере его политических выступлений и на всем содержании литературных произведений и его обширной переписки.

Литературное наследство, дошедшее до нас от Цицерона, чрезвычайно богато, несмотря на то, что многие произведения его не сохранились или имеются только в незначительных фрагментах. Число дошедших до нас сочинений Цицерона во много раз превышает количество сочинений, которые в отдельности сохранились от всех известных нам как римских, так и греческих писателей. Это литературное наследство охватывает:

1. Пятьдесят восемь речей, политических и судебных (по делам уголовным и гражданским); первая речь была произнесена в 81 г., последняя в 43 г.

2. Огромная переписка, а именно: 397 писем к ближайшему другу Цицерона, Титу Помпонию Аттику, 28 к брату Квинту, 23 к Марку Бруту, 421 к разным лицам; первые письма, дошедшие до нас, датированы 68 г., основная же масса писем относится уже ко времени после консульства, т. е. после 63 г.

3. Двенадцать философских произведений, из которых не все дошли в полном виде; два из этих произведений («О государстве» и «О законах») написаны в 53 и 52 гг., во время некоторых колебаний Цицерона между сенатом и триумвирами, большинство остальных — в 46 и 45 гг., в годы диктатуры Цезаря, когда Цицерон поневоле отошел от государственной деятельности, и последнее («Об обязанностях») — в 44 г.

4. Семь трактатов по риторике: первый «О подборе материала» (*De inventione*) является юношеским произведением; он написан не позже 86 г. Большой трактат «Об ораторе» (55 г.) и трактаты «Брут» (с более поздним подзаголовком «О знаменитых ораторах» — 47 г.) и «Оратор» (46 г.) представляют собой изложение всего ораторского опыта самого Цицерона. «Брут», кроме того, дает ценнейший исторический очерк развития римского красноречия. Имеются еще три небольших сочинения «Топика», «Подразделения речей» и «О лучшем роде ораторов».

Помимо этих, полностью или почти полностью сохранившихся произведений, до нас дошли фрагменты многих речей и некоторые стихи из поэтических произведений Цицерона, приводимые им в различных позднейших сочинениях. Поэтических произведений Цицерон, по-видимому, написал немного: в ранней юности (в 91—90 гг.) он сочинил поэмы «О Главке Понтийском» и «О Марии», который был, как и Цицерон, уроженцем Арпинна, тогда же перевел с греческого астрономическую поэму Арата «Явления» (*Φαινόμενα*), а в 60 г., опьяненный своим успехом в борьбе с Катилиной, сочинил поэму «О своем консульстве», которую Аттик перевел на греческий язык. Судя по сохранившимся отрывкам, поэтический талант Цицерона был незначителен и ни в какой мере не мог идти в сравнение с его исключительным владением речью художественной прозы.

2. БИОГРАФИЯ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЦИЦЕРОНА (ПО ПЕРИОДАМ)

І период

Детство Цицерона прошло в отцовском поместье в Арпинне. Это поместье осталось и впоследствии во владении братьев. Отец Цицерона, желая дать хорошее воспитание своим сыновьям, переехал с ними в Рим, когда они были еще подростками. Цицерон имел возможность в очень юном возрасте слушать знаменитых в то время ораторов Лициния Красса и Марка Антония, и учиться у них, пользоваться литературными советами поэта Архия и знакомиться с философией у эпикурейца Федра и

стойка Диодота. С 15 лет допущенный на форум, по получении *toga virilis*, он рано приступил к изучению гражданского права под руководством авгура Муция Сцеволы и его двоюродного брата, известного юриста, носившего то же имя. Одновременно он продолжал заниматься философией под руководством Филона, последователя Новой Академии, и риторикой у известного родосского учителя Молона, находившегося в это время в Риме; уже тогда внешняя сторона ораторского искусства привлекала его внимание, и он работал над ней под руководством актеров Эзопа и Росция. Надо отметить, что всем этим мирным занятиям Цицерон предавался в то время, когда вся Италия пылала в огне гражданской войны между Марием и Суллой: в 91 г., когда Цицерон получил *toga virilis*, был убит Ливий Друз и вспыхнула союзническая война, в 88 г. Сулла стал консулом, в 87. после его отъезда на войну с Митридатом, Рим был взят Марием и Цинной, и до 82 г. в Риме и в Италии господствовали демократические группировки; в 82 г. началась диктатура Суллы с ее страшными проскрипциями. Во всей этой борьбе партий Цицерон, находившийся всё время в Риме, — за исключением краткой военной службы в войске Помпея Страбона, отца Гнея Помпея, — никакого участия не принимал и, по-видимому, особенно далеко держался от марianцев, так как даже его поэма о Марии никогда впоследствии не ставилась ему в вину приверженцами аристократии.

Но лишь с 81 г. (25 лет от роду) он решился на публичные выступления, сперва по гражданскому делу некоего Публия Квинкция, потом по уголовному процессу Росция, обвинявшегося в отцеубийстве. В своих речах на этих процессах Цицерон несколько раз затрагивал, конечно, не самого Суллу, но лиц, которым он оказывал покровительство; эти речи принято считать доказательством демократических тенденций Цицерона в этот период его жизни. Однако анализ речей не подтверждает этого; тем не менее они, по-видимому, вызвали недовольство Суллы. После еще одного выступления в процессе, где его противником был известный оратор Котта, Цицерон решил уехать из Рима и отправился в Грецию пополнить свое риторическое и философское образование. За два года, проведенные им в Греции, он успел побывать в Афинах, где слушал знаменитого в то время философа-эклектика Антиоха Аскалонского, потом объездил ряд малоазийских городов и довольно долго пробыл на Родосе у своего прежнего учителя Молона; там, по-видимому, он и выработал для себя тот особый тип краспоречия, который составил его славу, — речь, избегающую сухости чистых атиккистов и бессодержательной звонкости азиализма, но стремящуюся заимствовать у представителей обоих направлений их лучшие черты — точность выражения мысли у одних и красоту формы у других.

Пока Цицерон путешествовал по Востоку, Сулла снял с себя диктаторские полномочия и вскоре умер. В 77 г. Цицерон вернулся в Рим, женился на Теренции и в 75 г., 31 года от роду, начал свою государственную службу. Годы ученья кончились.

Как видно из всего сказанного, Цицерон вступил на государственное поприще, имея серьезную подготовку: те основные отрасли знания, которые были необходимы для оратора, — риторика и право, — изучались им почти с детства; за философию он взялся тоже очень рано; к этому он прибавил еще изучение греческой литературы; в 16 лет он перевел поэму Арата, в 32 года — «Домострой» (Οἰκονομικός) Ксенофонта и несколько диалогов Платона. Все это свидетельствует о его прекрасном знании греческого языка. По данным его биографии видно, что Цицерон унаследовал от отца довольно значительное состояние, позволившее ему

безбедно прожить два года в Греции и завершить свое образование, что стоило педешво. Однако не исключена возможность, что первые процессы, проведенные Цицероном, не только сблизили его с некоторыми влиятельными лицами, но и доставили ему материальные средства.

И период

Свою государственную карьеру Цицерон начал, согласно обычаю, в качестве квестора в Сицилии, где ему удалось показать себя с наилучшей стороны. Должность квестора требовала личной честности и умения обходиться с людьми; и тем, и другим Цицерон обладал в полной мере и оставил по себе добрую память у жителей Сицилии. Поэтому, когда после его отъезда в Сицилию прибыл пропретор Веррес и повел себя совершенно иначе, чем Цицерон, но так, как нередко вели себя римские магистраты, — правда, большей частью в провинциях, более далеких от Рима, чем Сицилия, — население, возмущенное грабительским управлением Верреса, его распущенностью и жестокостью, послало в Рим к Цицерону ходатаев просить помощи и защиты. Полномочия Верреса, продленные им сверх законного срока, истекали, и его можно было привлечь к ответственности. Цицерон взялся за это дело очень горячо, вероятно, отчасти из желания помочь населению, отчасти предвидя, что победа в таком процессе доставит ему громкую славу; а на победу можно было рассчитывать, так как преступления Верреса превосходили всякую меру. Тем не менее сторонники Верреса приложили немало усилий к тому, чтобы обвинителем его был назначен не Цицерон, а более расположенный к Верресу Цецилий. Цицерону, который собрал уже огромный обвинительный материал и подготовил ряд выступлений по разным пунктам обвинения, пришлось отстаивать свое право на роль обвинителя в особой речи, произнесившейся еще до самого разбирательства и носившей специальное название «дивинации» (*divinatio*). Это ему удалось, и уже после первой речи (*Actio prima*) Веррес считал свое положение безнадежным и удалился в изгнание добровольно, по совету своего защитника Гортензия. Остальные пять обвинительных речей Цицерону произнести не пришлось; он издал их для читателей вместе с двумя произнесенными. Эти шесть речей вместе с вводной «дивинацией» являются первым крупным памятником литературного таланта Цицерона.

Во время процесса Верреса, происходившего в 70 г., Цицерон был эдилем (через нормальный срок после квестуры); по обычаю, он устроил игры, но довольно скромные, так что благосклонность избирателей к нему, проявившаяся как при избрании его претором на 66 г., так и впоследствии при избрании в консулы, основана больше на его возросшей известности после процесса Верреса и его всадническом происхождении, чем на особом средствах угождения римской толпе, к каковым принадлежало устройство роскошных игр. В годы между квестурой и эдилитетом и между эдилитетом и претурой он продолжал выступать в качестве судебного оратора; из речей этого периода до нас дошла полностью только речь по гражданскому делу некоего Цецины и ряд фрагментов из других речей (за Фонтеем, за Опшия).

От этого же периода сохранилось восемь писем к Аттику, касающихся почти исключительно семейных дел и устройства виллы в Тускуле, которую Цицерон впоследствии любил больше всех других своих поместий. Никаких упоминаний о процессе Верреса в них нет.

Как видно из всего сказанного, до 66 г. Цицерон не играл видной политической роли. Подобно тому как бури гражданской войны лишили не

отразились на произведениях его молодых лет, так и в речах о Верресе имеются лишь беглые упоминания о войне с Серторием, о восстании Спартака и об опасности, угрожавшей Риму со стороны огромных полчищ гладиаторов и рабов; это тем более характерно для Цицерона, что восстание Спартака закончилось трагическим поражением как раз в том году (71 г.), когда Цицерон был особенно занят сицилийскими делами, готовясь к процессу Верреса. Ясно, что Цицерон сознательно избегал каких бы то ни было решительных политических высказываний, внимательно присматриваясь к политической обстановке. А эта обстановка все больше выдвигала на первый план одного деятеля — Помпея, который победил Сертория, гладиаторов и пиратов. Именно выступлением в пользу Помпея, отличного полководца, но неаппетитного политика, Цицерон сделал решительный шаг уже на чисто политической почве.

III период

Первая чисто политическая речь Цицерона была вызвана предложением народного трибуна Манилия о предоставлении Помпею неограниченного командования в войне с Митридатом. Так как утверждение Помпея в таких правах было связано со смещением крупного военачальника из аристократов — Лукулла, который воевал на Востоке с переменной удачей и вел дела основательно, но не так быстро, как это, казалось, мог вести Помпей, то сенат долго колебался, прежде чем принять предложение Манилия, опасаясь личного усиления Помпея. Всадники же, спешившие возможно скорее извлечь доходы из восточных провинций, разоряемых войной, настаивали на скорейшем прекращении войны. Цицерон примкнул к Манилию и тем самым связал свою судьбу не с чисто аристократической частью сената, которая была ему, как и Помпею, по существу чужда, а с мощным возвышавшимся «временщиком», поддерживаемым всадниками и городским населением Рима. Этим он обеспечил себе успех на консульских выборах, к которым он вел подготовку в течение двух лет (65 и 64 гг.) и на которых блестяще прошел благодаря тому, что сенат согласился на выбор этого *homo novus*, предвидя худшую опасность от Катилины и его сторонников, выступавших уже не раз с угрозами и даже организовавших уже свой так называемый «первый», неудавшийся заговор.

Став консулом, Цицерон заговорил более ясным политическим языком как защитник всех имущих от неимущих, к какому бы сословию они ни принадлежали и каких бы претензий ни предъявляли: он с равным жаром выступил и против земельных законов Рулла о наделении беднейших граждан землей, и против обедневших отпрысков аристократических родов, поддерживавших Катилину. В обоих случаях основная часть сената пришла к нему на помощь, оценив его энергичную защиту «устоев»; законопроекты Рулла были, насколько известно, взяты обратно самим автором их; Катилина покинул Рим, его сторонники были казнены в последний месяц консульства Цицерона (декабрь 63 г.). Цицерон занимал в это время позицию оптиматов, которую он старается представить как «согласие всех благонамеренных» (*consensus bonorum omnium*). За эту позицию Цицерону скоро пришлось поплатиться. Уже в момент, когда истек срок его консульских полномочий, народный трибун Метелл не разрешил ему произнести речь перед народом как человеку, казнившему римских граждан без суда. Оппозиция против Цицерона еще усилилась, после того как ее возглавил Клодий. Со стороны Помпея, отсутствовавшего во время заговора Катилины, Цицерон никакой поддержки не получил; стремившийся уже в это время к консульству Цезарь, о связях которого с Катилиной ходили упорные слухи, тоже едва ли был склонен защищать Цицерона.

Тем не менее, когда в 60 г. будущие соперники, привлекая к себе еще и богатейшего человека в Риме, Красса, заключили первый триумвират, они сделали Цицерону несколько лестных предложений в расчете на ту выгоду, какую они могли извлечь из его ораторского таланта. Но Цицерон в триумвирах увидел призрак неограниченного единовластия, того, к чему он всю жизнь относился отрицательно. Он отказался от всех предложений, уехал в свои поместья и попытался опять стать вне политической борьбы; но после его консульства это было уже невозможно. Клодий, раздраженный отношением Цицерона к себе во время своего процесса (61 г.), стал все резче выступать против него. Цезарю, ставшему консулом на 59 г., удалось провести в сенате законы, очень близкие к проектам Рулла, отвергнутым Цицероном, и в начале 58 г., в консульство Габиния и Пизопа, был принят декрет об изгнании Цицерона из Рима. Цицерон заранее выехал из города, и, не дожидаясь принятия декрета, отправился в Грецию, в Фессалоники; его дом в Риме был разрушен и большая часть имущества конфискована.

К этому периоду жизни Цицерона относится ряд его наиболее знаменитых политических речей — речь «О законе Манилия» (другое название «О полномочиях Гнея Помпея» — 66 г.), три речи «Об аграрном законе» (начало 63 г.), речь «В защиту Гая Рабирия» и четыре речи «Против Катилины» (конец 63 г.); помимо этого, имеются чрезвычайно интересная речь по уголовному делу Клуенция и речи по государственным и гражданским делам: за Мурену, обвинявшегося в подкупе избирателей, за Корнелия Суллу (племянника диктатора), обвинявшегося в участии в заговоре Катилины, за поэта Архия по вопросу о римском гражданстве и за Луция Валерия Флакка по делу о взятках; имеются также фрагменты еще нескольких речей.

Переписка Цицерона за этот период в высшей степени интересна: процесс Клодия, политическая борьба между всадниками, сенаторами, откупщиками — все это живейшим образом отражено в его письмах.

IV период

Свое изгнание Цицерон переносил чрезвычайно тяжело; его письма из Греции полны жалоб и упреков судьбе. В изгнании ему пришлось пробыть около 17 месяцев. Друзья Цицерона в Риме, преимущественно из сенатской аристократии, особенно консул Лентул Спинтер и Тит Анний Милон, сумели добиться декрета о его возвращении, несмотря на противодействие приверженцев Клодия. Первое время жалобы Цицерона носили более личный характер: дом Цицерона в его отсутствие был частично разрушен Клодием, частично перестроен в «Храм Свободы», и потребовалось немало хлопот, чтобы вернуть его, для чего нужна была особая санкция жреческой коллегии. Управление поместьями за время изгнания расстроилось, денег не хватало. В августе 57 г. Цицерону, однако, было разрешено вернуться в Италию, куда он и прибыл в начале сентября. Там его сперва ожидала большая радость: его путь от Брундисия до Рима обратился почти в триумфальное шествие. В самом Риме, впрочем, после первых торжественных приемов в комициях и сенате и благодарственных речей Цицерона здесь и там, начались немалые неприятности. За время его отсутствия борьба между враждебными группировками еще более обострилась и из сословных прений, державшихся еще в некоторых рамках законности, перешла в форму анархических уличных столкновений между вооруженными отрядами, которыми на левом крыле руководил Клодий, на правом — тот Милон, который настаивал на возвращении Цицерона, явно

желая использовать его авторитет и ораторский талант. Цицерон примкнул к правому крылу; о *consensus bonorum omnium* уже не могло быть и речи. Ему не удалось занять сколько-нибудь значительного места в политической жизни. В 57 г. стали намечаться разногласия между Цезарем и Помпеем, и Цицерон решился на выступление против внесенного в сенат проекта Цезаря о разделе гауланских земель. Выступление оказалось неудачным — в 56 г. на съезде в Лукке триумвиры снова закрепили свой союз; Цицерону пришлось заглаживать свой неосторожный поступок речью «О консульских провинциях», в которой он должен был ратовать за предоставление Цезарю полномочий в Галлии еще на 5 лет, и любезной перепиской с Цезарем, по выражению Саллюстия, «стремившимся к обладанию мощным войском и великой славой» в Галлии.

С 54 г. политическая обстановка стала еще сложнее; отношения между триумвирами стали быстро ухудшаться после смерти Юлии, дочери Цезаря и жены Помпея, и гибели Красса в 53 г. в неудачном и позорном для римлян парфянском походе. В 52 г. в уличной схватке погиб Клодий, и в преднамеренном убийстве его был обвинен Мило, которого волей-неволей пришлось защищать Цицерону, между тем как Помпей, бывший в это время консулом, вооруженными силами наводил порядок в городе и окружил стражей сенат. Мило был вынужден удалиться в изгнание, с трудом спасшись от самосуда толпы. И Помпею и Цицерону пришлось все теснее связывать свою судьбу с сенатом. Положение было настолько напряженным, что Цицерон, по-видимому, довольно охотно принял назначение проконсулом в Киликию с половины 51 до конца 50 г., где он, как всегда, когда ему не приходилось вести высокой политики, исполнял свои обязанности честно и толково и даже проявил некоторые стратегические способности в пограничных схватках. В Рим он вернулся в январе 49 г., за два месяца до начала гражданской войны. Отношения между Цезарем и Помпеем были уже крайне натянутыми, и гроза приближалась.

От этого периода деятельности Цицерона, как и от предыдущего, дошел ряд крупных речей и много фрагментов. Однако серьезное политическое значение имеют только речи «О консульских провинциях», отчасти «Против Ватиния», крестур Цезаря, и «За Милона»; остальные речи, в защиту Сестия, Целия, Бальба, Рабирия Постума и Глея Планция, носят скорее частный характер. Чем тоньше становится литературная обработка речей, тем менее глубоко их содержание. Зато в эти же годы Цицерон, пытавшийся утешить себя в потере политической роли, впервые выступает с серьезными литературными трудами. В 55 г., после неудачного выступления против проекта Цезаря, он занят своим большим сочинением по теории речи — «Об ораторе», где с исключительным искусством, полнотой и ясностью излагает теорию краспоречия и различные взгляды на него, которые он высказывает от лица крупнейших ораторов предыдущего поколения (Красса, Марка Антония, Катула и др.). Однако занятия теорией речи, по-видимому, не удовлетворили Цицерона, и, отстраненный от реальной политики, он обратился к политическим теориям и написал, в подражание Платону, два больших диалога «О государстве» и «О законах», в которых на основании истории Рима, с одной стороны, и политических теорий Платона и Полибия, с другой, создал свою эклектическую теорию. Таким образом, удаление Цицерона от государственных дел сослужило немалую службу римской литературе. Из писем этого периода чрезвычайно интересна переписка с Целием, который обещал сообщать Цицерону о всех римских новостях. К счастью, сохранились письма Целия, в которых ясно отражается назревающее столкновение между двумя главами государства — Цезарем и Помпеем.

V период

Известие о переходе Цезарем границ собственно Римского государства застало Цицерона в Риме и крайне возмутило его как резкое нарушение основных законов и традиций. С другой стороны, спешный отъезд Помпея и большей части сената из Рима тоже вызвал его негодование; поэтому он долго колебался, последовать ли ему за Помпеем или остаться нейтральным и выждать в Риме развития событий, тем более, что он получил и от Марка Антония и от самого Цезаря письма, просившие его именно об этом. Тем не менее он принял решение поехать в Грецию за Помпеем, решение, которое он впоследствии не раз проклинал в письмах к Аттику. В лагерь Помпея в Фессалии он, однако, не поехал, а остался в Диррахии вместе с Катонем. После поражения Помпея при Фарсале, когда Катон переправился в Африку, Цицерон вернулся в Италию, где провел в Брундисии весь 48 год в крайне угнетенном настроении, окончательно потеряв почву под ногами, разлученный с семьей и даже материально стесненный. Как и во время изгнания, твердости характера он не проявил.

Цезарь, занятый борьбой с остатками помпейцев на нескольких фронтах, долго не посылал Цицерону разрешения вернуться в Рим; но в 47 г., после окончания александрийской войны, он нашел время повидаться с Цицероном в Таренте, после чего Цицерон вернулся в Рим — к семье и к литературным занятиям: в политике места ему уже не было. Однако Цицерон, который, как казалось, совсем растерялся и пал духом в Брундисии — его письма этого времени представляют собой сплошные жалобы, упреки и взрывы раскаяния и самобичевания, — по возвращении в Рим, в том же 47 г., нашел в себе силу вернуться к умственной работе и написал одну из своих лучших книг — «Брут» — историю ораторского искусства в Риме, являющуюся основой и подтверждением его собственной теории красноречия.

VI период

В течение двух лет полного единовластия Цезаря Цицерон держался вдалеке от общественной жизни и проводил много времени в своем поместье в Тускуле. Он пытался занять себя литературой и философией, но это ему не удавалось, и многие его письма этого времени полны горькой иронией и даже озлоблением — настроением, обычно не свойственным его добродушному, самодовольному и впечатлительному характеру.

К недовольству общей политической ситуацией присоединились некоторые семейные неурядицы. В 46 г. он развелся с Теренцией, с которой прожил 30 лет; новый брак с богатой, молодой девушкой Публилией, опекуном которой он был, Цицерону счастья не принес, и после нового тяжелого удара — смерти своей любимой дочери Туллии, последовавшей в 45 г. от родов, Цицерон развелся и с Публилией, но, видимо, потому, что смерть Туллии скорее обрадовала ее, чем огорчила. Молодой сын Цицерона, Марк (род. в 65 г.), был в это время в Афинах, и Цицерон, одинокий и расстроенный, находил утешение только в занятиях теорией речи, а в особенности философией. Плодovitость его творчества в эти два года поистине удивительна: он написал свой большой риторический трактат «Оратор», полный интереснейших образцов различных приемов и стилей красноречия, и ряд философских сочинений — «Парадоксы стоиков», «О пределах добра и зла», «Учение академиков» (посвящено Варрону), «Тускуланские беседы», «О природе богов», «О предвидении», «О судьбе», «Катон, или о старости», «Лелий, или о дружбе» — и несколько не дошедших до нас трудов: «Гортензий, или о философии», «Утешение» (очевид-

но, по поводу смерти Туллии) и «Хвалебное слово Катону» (Младшему, или Утическому) — сочинение, потребовавшее от Цицерона большого политического такта, но тем не менее сильно задевшее самолюбие Цезаря. Почти все философские произведения посвящены Цицероном Бруту.

Несмотря на то, что Цицерон не раз говорит в своих письмах за эти годы, что он никогда не будет выступать с речами и что его ораторский талант никому не нужен, он все же три раза произносил перед Цезарем речи, в которых ходатайствовал о прощении своих бывших единомышленников, еще не прощенных Цезарем. Всякий раз он добивался успеха у Цезаря, для которого *clementia* (милость) была постоянным приемом обезоруживания его врагов. Таким образом, даже от этого, наименее деятельного, периода жизни Цицерона сохранились речи в защиту помпейцев Марцелла и Лигария и вифинского царя Дейотара, которого Цезарь ранее лишил престола за помощь, оказанную им Помпею.

VII период

Последние полтора года жизни Цицерона прошли снова в бурной политической деятельности, к которой его пробудила смерть Цезаря. Сперва он с восторгом приветствовал восстановление республики, а Брута и Кассия восхвалял как восстановителей древней «свободы». Однако ему скоро пришлось убедиться, что смерть Цезаря привела только к новым осложнениям и что цезарианцы во главе с Марком Антонием опаснее для него, чем сам Цезарь. Цицерон хотел покинуть Италию, но когда его судно было прибито ветром обратно к итальянскому берегу, он передумал и вернулся. Все последующее время он проводил между Римом и Тускулом, нередко отчаиваясь в успехе республиканцев, а иногда возлагая преувеличенные надежды то на Децима Брута, то на консулов Гиртия и Пансу, то, наконец, на высадившегося в Италии молодого Октавиана, вначале ставшего на сторону сената. Октавиан, видимо, сильно хотел привлечь на свою сторону Цицерона и использовать его многолетний авторитет, но Цицерон держался осторожно, чувствуя некоторое недоверие к внуку Цезаря, который, как ему казалось, будет, подобно деду, стремиться к единовластию — что и случилось позднее. В данное же время, после некоторых неудач, Марку Антонию удалось перетянуть на свою сторону сперва Лепида, командовавшего одной из сенатских армий, потом заключить соглашение с Октавианом и приняться за расправу со всеми, кто стоял ему поперек дороги. Одной из первых жертв, намеченных Антонием для проскрипций, был, как известно, Цицерон. По сообщению Плутарха, Октавиан в течение двух дней отстаивал Цицерона, но был вынужден уступить. Цицерон уже не был нужен Октавиану: скорее он мог даже помешать ему, если бы он высказался против нового «трехглавого чудовища» — триумvirата, что он бы, несомненно, и сделал. Проскрипции и казни начались немедленно после заключения триумvirата. Цицерону советовали бежать, но он долго колебался, а когда решился, то было уже поздно: убийцы, посланные Антонием, настигли его между его поместьем в Кайете и гаванью Антия и отрубили ему голову и правую руку. Если верить биографии Плутарха, то Цицерон, по-видимому, не спешил бежать, решив положиться на судьбу и не сопротивляться; он не видел уже ничего, за что стоило бы бороться. Его голову Антоний приказал выставить напоказ на форуме.

В последние годы жизни Цицерону еще раз удалось проявить во всем блеске свой ораторский талант: в 44 г. он произнес четыре речи, а в 43 — десять речей против Марка Антония, которые, по аналогии с речами Демосфена против Филиппа Македонского, принято называть «Филиппиками».

ми». Эти именно речи и стоили ему жизни. От того же года осталось и последнее литературное произведение Цицерона — книга «Об обязанностях», посвященная сыну. В этом сочинении Цицерон отчасти подводит итог своей политической и судебной деятельности и излагает свои взгляды, отчасти дает советы сыну; старость и утомление нередко сквозят в его высказываниях.

Переписка Цицерона в эти последние годы тоже очень обширна. Однако в ней все реже мелькают имена друзей; она важна главным образом как источник для военной истории этих бурных 20 месяцев, так как Цицерон вел переписку со всеми вождями сенатских армий и отрядов — Лепидом, Мунацием Планком; один раз появляется имя человека, сыгравшего такую значительную роль в правлении Августа, — Асиния Поллиона.

Источником биографии Цицерона являются, помимо Плутарха, прежде всего письма самого Цицерона.

3. ЦИЦЕРОН КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ, ОРАТОР И ПИСАТЕЛЬ

Своей славой Цицерон в первую очередь обязан своим речам: не столько глубиной их содержания, сколько образцовая разработанность их формы восхищала и даже ослепляла тех, кто брался за изучение произведений Цицерона. Ученые эпохи Возрождения, итальянские, французские и немецкие гуманисты, борясь против живой, «варварской» латыни, создавшейся естественным образом в средние века, возвели именно язык речей Цицерона в непреложный канон классического латинского языка, гордились, если их называли «цицеронианцами», и старались в своих сочинениях не употреблять ни одного слова, которого не встречалось бы у «божественного» Цицерона. Эта традиция, в силу которой другие произведения Цицерона оставались в тени, сохранилась и в сочинениях по истории литературы до нашего времени. В тех разделах общих пособий по истории литературы, которые посвящены произведениям Цицерона, принято располагать их таким образом: на первом месте стоят речи, на втором — сочинения по риторике, на третьем — философские трактаты и на последнем — письма. Такое расположение материала не дает возможности охватить творчество Цицерона в целом и составить себе цельный образ его как политического деятеля, человека и писателя. Именно речи Цицерона, произносившиеся им в самых различных условиях и с различными целями, являются наиболее официальными, так сказать, внешними продуктами его творчества; ключ ко многим из этих речей лежит вне их, и изучение их самих по себе может быть только формальным, если оно не учитывает политической линии поведения Цицерона и индивидуальных черт характера самого оратора, а также своеобразия римской юрисдикции и норм античного красноречия. Между тем, эти источники, которыми питается ораторское искусство Цицерона, лежат не в самих речах, а в других его сочинениях, в письмах, философских и риторических трактатах. Поэтому, решаясь нарушить традиционную форму изложения, мы располагаем сочинения Цицерона не в общепринятом порядке, а начав с писем, в которых наиболее ясно раскрывается перед нами живой Цицерон. Далее мы переходим к той философской системе, которую он выработал в результате своего житейского опыта и изложил уже на закате своей жизни. После этого мы ознакомимся с его произведениями по ораторскому искусству, которые, с одной стороны, подводят итоги его ораторских выступлений.

с другой — раскрывают те принципы, на которых он строил их, и лишь тогда рассмотрим те конкретные труды, где нашли свое реальное воплощение и его политические взгляды, и личные особенности его характера, и внешние события его жизни. Именно этими конкретными трудами являются речи, изучением которых должно заканчиваться, а не начинаться знакомство с Цицероном.

4. ПЕРЕПИСКА ЦИЦЕРОНА

Едва ли можно дать более удачную характеристику писем Цицерона, чем та, которую дает Корнелий Непот в своей панегирической биографии Аттика. Говоря о дружбе между Аттиком и Цицероном, он упоминает и об их переписке. «Свидетельством этого [т. е. их дружбы] являются, кроме упоминаний о нем в тех книгах, которые уже изданы (*in vulgus sunt editi*), еще шестнадцать свитков писем, которые он [Цицерон] писал Аттику, начиная с времени своего консульства до последних дней своей жизни. Если кто прочтет эти письма, тому едва ли будет не доставать каких-либо сведений для воссоздания связной истории того времени; в них настолько полно описаны стремления вождей, пороки полководцев и тревожения государственной жизни, что нет ничего, что не было бы отражено в них; и может показаться, что мудрость есть своего рода прозрение; ведь Цицерон не только предсказал те события, которые произошли при его жизни, но предрек, как прорицатель, и то, что совершается в наше время» (Корнелий Непот, «Аттик», 16, 3—4). Нельзя, однако, согласиться с той высокой оценкой, которую дает Корнелий Непот государственной мудрости Цицерона: Цицерон, напротив, не раз доказывал свою недалекость в ответственные моменты, но характеристика его писем как зеркала времени действительно вполне верна.

В обычных изданиях оригинального текста писем Цицерона они расположены так, как их находят в рукописях, а именно, в собрание писем входят: 16 книг писем к разным лицам, 2 книги писем к брату Квинту, 16 книг — к Аттику и 2 книги — к Марку Бруту. Однако при таком порядке труднее хронологически охватить огромный материал, имеющийся в этих письмах, и поэтому в переводах писем принято их располагать в хронологическом порядке, что удается без особых затруднений, — настолько ясно описаны даже мельчайшие события этого времени.

Круг корреспондентов Цицерона чрезвычайно широк; в него входят представители большого числа виднейших родов, и патрицианских, и плебейских, стоявших во главе государства и игравших первую роль в сенате. Имена Эмилиев, Антониев, Целиев, Корнелиев, Клавдиев, Метеллов, Скрибониев, Сульпициев не сходят со страниц писем. Все политические деятели и еще более все те, кто стремился стать ими, в той или иной форме входили в сношения с Цицероном — одни покровительствовали ему, другим покровительствовал он; смотря по обстоятельствам, оценки его часто менялись и лишь с немногими лицами он оставался всю жизнь в неизменно хороших отношениях — как с Аттиком; только с ним он был вполне открыт, и поэтому именно письма к Аттику наиболее важны для изучения политических течений и различного рода интриг в сенате и в суде. По меняющимся отзывам и оценкам Цицерона можно сразу судить о колеблющихся политической атмосферы, столь часто изменявшейся в эти бурные годы.

Насколько широк круг корреспондентов Цицерона, настолько же мало в нем лиц, с которыми — за исключением Аттика — он вел бы длительную систематическую переписку; его политические друзья то появляются, то не-

чезают. Так, например, во время галльских походов Цезаря частым адресатом его писем был юрист Требатий Теста, рекомендованный им Цезарю и, по-видимому, информировавший Цицерона о положении Цезаря в Галлии и о видах на будущее. От времени пребывания Цицерона в Киликии, первого года диктатуры Цезаря, сохранилась переписка с тем самым Целием, которого Цицерон успешно защитил от обвинения в попытке отравить сестру Клодия (вослетую Катиллом под именем Лесбии). Целий, вращавшийся в кругах аристократии и пользовавшийся успехом как оратор, был опять-таки нужен Цицерону, чтобы, даже находясь в Киликии, он мог оставаться в курсе римских дел. В последние полтора года своей жизни, после знаменитых мартовских ид, Цицерон вел постоянную переписку с теми, кого он вначале превозносил, как небывалых героев, и в ком, по-видимому, довольно скоро разочаровался, — с Кассием и Марком Брутом, а также с теми, в чьих руках находилось командование сенатскими войсками, — Децимом Брутом и Мунацием Платком.

С крупнейшими же деятелями своего времени Цицерон в частой переписке не состоял. Ни Цезарь, ни Помпей, ни Красс, ни Катон не были его постоянными корреспондентами: сохранилось только четыре письма его к Цезарю, три к Помпею, одно к Крассу, три к Катону, одно к Марку Антонию¹. Конечно, нельзя ручаться за то, что письма, попавшие в собрание, были единственными, тем более, что, по-видимому, в древности существовали сборники писем к отдельным лицам, о размерах которых мы ничего не знаем, но все же такое малое число писем к подлинным вершителям политических судеб сравнительно с большим числом писем к второстепенным деятелям дает некоторую возможность судить о той политической роли, которую в действительности играл Цицерон и которая едва ли была такой значительной, какой она казалась ему самому.

Значительный интерес представляют и письма Цицерона к тем лицам, с которыми его связывают личные, семейные интересы, особенно письма к младшему брату, Квинту Цицерону, тоже пытавшемуся играть известную политическую роль. И, наконец, с чисто бытовой и психологической стороны интересны письма, правда немногочисленные, к людям, державшимся более далеко от политики, но связанным с Цицероном научными, философскими и литературными интересами — к Варрону, Нигидию Фигулу и Папирию Пету; особенно последний, которому адресовано 12 писем, носящих интимный, часто шуточный характер, ярко обрисован в этих письмах как последователь эпикуреизма, и философского, и бытового. Круг тех вопросов, которых Цицерон касается в своих письмах, столь же широк, как круг его корреспондентов: на первом месте, безусловно, стоит политика как в ее серьезных, основных моментах, так и в тех сплетнях и интригах, которые густо опутывают каждое крупное событие. В любой политической обстановке Цицерон никогда не забывает упомянуть — и не раз — о том, какое место занимает в ней он сам; его честолюбие и самовлюбленность иногда простираются так далеко, что отодвигают на задний план даже его несомненную подлинную любовь к Италии и «великому городу», вне которого для него нет жизни. Насколько восторженно переживает Цицерон свои успехи, настолько же болезненно затрагивает его каждая неудача. Недостаточно внимательный ответ, нелюбезный прием, не говоря уже о таких серьезных бедах, как его изгнание или шаткое положение во время гражданской войны, — всё это вызывает чрезвычай-

¹ Письмо к Октавиану, обычно включающееся в качестве приложения в изданиях писем, признается неподлинным, так же как инвективы Саллюстия против Цицерона и Цицерона против Саллюстия.

чайню бурную реакцию, выливающуюся в потоках жалоб и трагических тирад, раздражавших его хладнокровного друга Аттика.

Немало места уделяет Цицерон в письмах и своим денежным и хозяйственным делам, что совершенно понятно: политическая роль в то время обходилась недешево. Его прекрасное юридическое образование и его важные судебные выступления — лишь изредка находят отражение в его письмах. Если приять во внимание большое число его судебных речей и ту тонкую обширную юридическую аргументацию, которая требовала от него, несомненно, большой затраты сил и времени, то можно только удивляться тому, что именно эта сторона его деятельности занимает сравнительно небольшое место в его переписке; даже шумевший процесс Клодия по поводу его кощунственного посещения праздника в доме Цезаря, интересует Цицерона больше с политической, чем с юридической стороны. Наконец, вопросы чисто литературные, а также вопросы, касающиеся его как профессионального оратора и писателя, например о той или иной форме выражения мысли, о языке выходящих в свет сочинений, живо интересуют Цицерона. Однако в то время, когда жил Цицерон, истинному римлянину еще нельзя было слишком сильно увлекаться науками и искусствами в ущерб государственной деятельности; поэтому Цицерон порой старается как бы оправдаться и извиниться за свою любовь ко всему тому, что не приносит большой практической пользы государству. Он считает возможным предаваться полностью своим занятиям философией и литературой только в годы абсолютной диктатуры Цезаря, но и в это время чувствует себя обиженным тем, что ему пришлось удалиться от государственных дел.

Ознакомившись в общих чертах с содержанием и объемом переписки Цицерона, перейдем к тем высказываниям его, которые выражают его собственную политическую установку, а также дают характеристику современных ему деятелей.

Ни малейшей симпатии к демократическим тенденциям в римском обществе и к их представителям у Цицерона нет. Уже давно был замечен особый смысл, который Цицерон постоянно влагает в термины «честные, добрые граждане», т. е. консервативно настроенные (*boni cives* или просто *boni*), и «дурные граждане» (*malī, improbi, malevoli cives*), т. е. все, желающие перемены режима. Но он редко высказывается так ясно, как в письме к Аттику от 60 г. (К Аттику, I, 19, 4 — № 25 по изд. АН СССР), в котором идет речь о наделении землей ветеранов Помпея: «Я, с полного одобрения жаждущих земли, подтвердил права собственности всех частных лиц. Ведь наше войско, как ты хорошо знаешь, составляют состоятельные люди (*is enim est noster exercitus, hominum, ut tute scis, locupletium*)...». Там же: «С одобрения народа я старался выбросить из этого закона все, что было невыгодно частным собственникам». Однако на пассивность и легкомыслие этого своего «войска» Цицерон не раз жалуется; он порицает при этом и Красса, который «ни слова не говорит наперекор тем, кто пользуется успехом», и Помпея, боящегося потерять право носить свою одежду триумфатора, которую Цицерон свысока называет «расшитой одежкой» — «*togulam illam pictam*» (К Аттику, I, 18, 6 — № 24 по изд. АН СССР); о прочих же, по мнению Цицерона, и говорить нечего; «Они настолько глупы, что, видимо, надеются, что их рыбные садки уцелеют, несмотря на гибель государства». Этим проищеским прозвищем «любителей рыбных садков» Цицерон еще не раз награждает своих сторонников, причем упоминает, что именно они в момент суда над Катилиной заняли по приказу самого Цицерона Капитолий под начальством Аттика; так вполне выявляются политические симпатии их обоих. К 60 г. эти

locupletes перестали бояться, и «всадники оставили сенат на произвол судьбы» (К Аттику, II, 1, 7 — № 27 по изд. АН СССР). У самого Цицерона отношения с богатыми всадниками в это время разладились, чем и можно объяснить тот факт, что решение об изгнании Цицерона в 59 г. было принято без большого сопротивления с их стороны. Сам Цицерон говорит, что они его «недолюбливают» (К Аттику, I, 20, 3 — № 26 по изд. АН СССР), хотя он продолжает оказывать им услуги: например, зная, что они неправы в одном громком судебном деле — о расторжении договора об азиатских откупах, Цицерон согласился пойти на многие уступки и выступил в пользу всадников: «Что может быть бесстыднее откупщиков, отказывающихся от договоров? — негодует он. — Однако нужно было согласиться на эту жертву ради сохранения добрых отношений с этим словом... Ну и что же — скажешь ты — привлекать нам таких людей за деньги? Что же нам делать, если иначе пользы? Или же нам самим быть рабами у вольноотпущенников или даже у рабов» (К Аттику, II, 1, 8 — № 27 по изд. АН СССР).

Когда Цицерон вернулся из изгнания, он попал в обстановку еще более обострившейся политической борьбы. Дело доходило до уличных схваток между вооруженными отрядами Милона и Клодия. Цицерон, конечно, оказался в лагере Милона.

Вражда Цицерона и Клодия особенно обострилась после возвращения Цицерона из изгнания, главным виновником которого был Клодий. Немалую роль в углублении этой взаимной ненависти сыграла тяжба о доме Цицерона, который Клодий частично разрушил, частично перестроил в храм Свободы. Несмотря на резкие выступления Цицерона против Клодия и на прочный союз с Милоном, Цицерон в своих частных письмах нигде не отзывается о Милоне в таких лестных выражениях, как в знаменитой защитительной речи, которая издана Цицероном не в той форме, в какой произносилась, она была им литературно обработана. В письмах к брату (III, 6 и 7 — № 154 и 157 по изд. АН СССР) Цицерон, правда, с благодарностью упоминает о консуле Лентуле и о Милоне, содействовавших возвращению его из изгнания, но порицает Милона за ненужную расточительность на играх. Цицерон даже проговаривается о возможности убийства Клодия: «Публий [Клодий], мне кажется, если не будет убит раньше, будет привлечен к суду Милоном; или же, если он попадет ему в свалку, будет убит самим Милоном» (К Аттику, IV, 3, 5 — № 92 по изд. АН СССР). Похвалы Милону в этом же письме носят несколько иронический характер: «Он действует, не колеблясь, идет напролом; того, что случилось со мной, он не боится, так как он никогда не доверится совету завистника и лукавого человека и не поверит бездельному аристократу». Цицерону, человеку перешителю и излишне доверчивому по отношению к льстецам, грубая беззащитность Милона imponирует и в то же время отталкивает его.

Все дальнейшее развитие политических взглядов и выступлений Цицерона вплоть до смерти Цезаря является длительным и не всегда искусным лавированием — сперва между триумвирами и консервативной частью сената, потом между Цезарем и Помпеем до их разрыва, а в гражданскую войну между двумя воюющими лагерями, во время же диктатуры Цезаря — между обиженными друзьями из сената, которые стали добровольными или невольными эмигрантами, и всемогущим правителем, любезным и снисходительным к Цицерону лично, но уничтожившим все сферы деятельности, в которых привык блистать Цицерон. Все эти сомнения, колебания, доводы за и против того или иного решения ярко отражаются в его письмах. Лишь изредка поднимается он до прежних звонких риторических

тирад, которых так много в письмах из изгнания, как, например, в письме к Целию из Киликии от 50 г.: «Положение государства меня чрезвычайно тревожит. Я расположен к Куриону; Цезарю желаю почестей; за Помпея готов умереть. Тем не менее ничто не дороже мне, чем отчество» (К близким, II, 15, 3 — № 274 по изд. АН СССР). Чем дальше, тем больше переполняются его письма жалобами, просьбами о совете, с которыми он обращается то к Аттику, то к Целию, то к Лентулу, и даже упреками за то, что ему этого совета вовремя не подали. В письмах из Брундисия постоянно встречаются выражения вроде следующих: «О несчастная жизнь! Так долго бояться — большее зло, нежели то, чего боишься» (К Аттику, X, 14, 1 — № 396 по изд. АН СССР); «Видел ли ты более несчастного человека? Не говорю большего, чтобы не терзать и тебя. Сам мучусь из-за того, что пришло время, когда я уже ничего не могу сделать ни храброго, ни благоразумного» (К Аттику, X, 18, 3 — № 400 по изд. АН СССР); «Я действовал и неосмотрительно, как ты пишешь, и послешнее, чем надлежало, и у меня нет никакой надежды, ибо мне препятствуют оговорки в эдиктах» (К Аттику, XI, 9, 1 — № 418 по изд. АН СССР); «Каково состояние моих дел, ты видишь: нет счастья, которого бы я не терпел и не ожидал. Скорбь из-за этого тем тяжелее, чем больше вина» (К Аттику, XI, 11, 2 — № 421 по изд. АН СССР). «Пожалуйста, верь мне: после всех этих несчастий я стремлюсь только к тому, чтобы люди, наконец, поняли, что я предпочитал один только мир; что, отчаявшись в нем, я ничего так не избегал, как гражданской войны» (К близким, II, 6, 3 — № 390 по изд. АН СССР). Однако даже в эти времена, когда Цицерон явно раскаивается в том, что решил последовать за Помпеем, он все-таки упорно высказывается против возможной и почти уже несомненной диктатуры Цезаря и пишет Целию: «Если будет какая-либо республика, то я оставлю моему сыну... достаточно крупное наследство в виде памяти обо мне; если же не будет никакой, он не избегнет судьбы прочих граждан... Если республика когда-либо будет существовать, для меня в ней, конечно, будет место! Если же ее не будет, то ты сам, полагаю, приедешь в те же пустынные места, где, как ты услышишь, поселился и я» (К близким, II, 16, 5—6 — № 380 по изд. АН СССР). (Целий не оправдал этих надежд, а остался у Цезаря, правда, в качестве «внутреннего врага»). Диктатура одного человека, республика, где сенат и комиция не играют никакой роли, для Цицерона — не республика, и в течение всего периода диктатуры Цезаря Цицерон придерживается того мнения, что «республики нет». «Делать что-либо серьезное — невозможно, — пишет он Кассию. — Ты скажешь — можно смеяться — клянусь, это нелегко... совестно быть рабами» (*pudet enim servire*; К близким, XV, 18, 1 — № 530 по изд. АН СССР). «Во всех делах господствует такое смятение, что каждый считает свою судьбу наилучшей и каждый желал бы быть где угодно, лишь бы не там, где он находится, однако для меня несомненно, что для порядочного человека (*homo viri*) пребывание в Риме — самое ужасное несчастье. Правда, каждый, где бы он ни был, также горько чувствует и переживает крушение и общественных и своих личных судеб, но видеть это своими глазами еще болезненнее; ты видишь перед собой то, о чем другие только слышат, и не можешь отвлечься мыслью от всех этих бедствий» (К близким, VI, 1, 1 — № 542 по изд. АН СССР; письмо к изгнанному Торквату). Несмотря на запятия философией и литературой и на благосклонное отношение Цезаря, Цицерон не мог примириться с отсутствием той «свободы», под которой он понимал бурные прения в сенате, предвыборную агитацию, речи на форуме и в комициях, — все, что было установлено и принято со времен «предков». В его письмах появляются несвойственные ему тона горького сарказма;

так, сообщая Аттику о своем отказе выступать в суде в защиту Гая Мария (внука), он пишет: «Я написал ему, что ему не нужен защитник, так как вся власть находится в руках его родственника Цезаря, доблестного мужа и благородного человека. О времена! Кто мог подумать, что какой-то Курций будет размышлять о том, быть ли ему консулом?» (К Аттику, XII, 49, 1 — № 602 по изд. АН СССР). Положение Цицерона осложнялось тем, что ему не раз приходилось оправдываться перед бывшими единомышленниками, потому что, по его собственному признанию, находились «люди, которые, хотя моя гибель и не принесла бы пользы государству, считают преступлением то, что я жив» (К близким, VII, 3, 6 — 462 по изд. АН СССР). Он утешает себя тем, что он «уже оплакал отечество и сильнее, и дольше, чем любая мать единственного сына» (К друзьям, IX, 20, 3 — № 473 по изд. АН СССР), но все же считает себя обиженным судьбой и лишь с трудом убеждает себя в прелести отхода от политики: «В самом деле, кто не даст мне возможности, когда отечество либо не может, либо не хочет воспользоваться моими услугами, возвратиться к той жизни, которую многие ученые люди, быть может, неправильно, по все же считали заслуживающей предпочтения даже перед государственными делами? Почему не предаться, с согласия государства, тем занятиям, которые, по мнению великих людей, могут освободить нас от общественных обязанностей?» (К близким, IX, 6, 5 — № 468 по изд. АН СССР). Эти слова стоят в письме к Варрону (от 46 г.), который, будучи даже больше предан науке, чем Цицерон, тем не менее как более последовательный консерватор уехал в Испанию к сыновьям Помпея; слова эти показывают, что Цицерон все время как бы чувствовал себя неправым — и когда пошел за Помпеем, и когда вернулся к Цезарю. У него оставалось ощущение, что «все ненадежно, так как отошли от законности, и ни за что нельзя поручиться, — неизвестно, каково будет то, что зависит от доброй воли, не скажу, прихоти другого человека» (К близким, IX, 16, 3 — № 470 по изд. АН СССР. — Эти слова стоят в письме к Папирию Погу, с которым Цицерон охотно переписывается в эти годы как с эпикурейцем, далеким от политических дел).

Цицерону было суждено еще раз потешиться призраком той прежней «свободы», которую он так ценил. В первое время после смерти Цезаря Цицерон в восторге от совершившегося, но некоторое сомнение в том, возможно ли возвращение к прошлому, у него все же скоро возникает. «Всё в смятении, — пишет он Аттику. — Меня огорчает, что со свободой мы не вернули себе республику. Ужасно, что говорят эти люди [цезарианцы], чем они угрожают... Но пусть будет, что угодно; мартовские иды — мое утешенье. Наши герои сделали все, что от них зависело, наиславнейшим и наивеликолепнейшим образом; но то, что остается еще сделать, требует денег и войск, а их у нас вовсе нет» (К Аттику, XIV, 4, 2 — № 707 по изд. АН СССР). Уже в апреле 44 г., т. е. через месяц после убийства Цезаря, Цицерон видит, что «тиранн убран, но тиранния осталась... мы не могли рабствовать перед ним самим, а теперь повинемся его бумагам» (К Аттику, XIV, 14, 2 — № 720 по изд. АН СССР). Но Цицерону и в «героях»-тиранно-убийцах пришлось скоро разочароваться. После свидания с Брутом и Кассием в Антии, когда стала очевидна их полная растерянность, Цицерон пишет тому же Аттику: «Я нашел корабль совершенно разбитым, даже, вернее, развалившимся на куски: ни разумности, ни стройности, ни порядка... Если я раньше и сомневался, то теперь больше не сомневаюсь, что надо убираться отсюда подальше». Далее, сообщая, что он может поехать легатом Долабеллы, что даст ему возможность покинуть Италию на пять лет, он прибавляет: «Впрочем, чего я размышляю о пяти годах? Мне

думается, дело так долго не затянется» (К Аттику, XV, 11, 4 — № 746 по изд. АН СССР). Брута он упрекает в бездеятельности и в одном из последних писем, дошедших до нас, написанных за полгода до смерти, просит его быть решительнее и жестче. Во время Мутинской войны и долгих неопределенных отношений между Антонием, Децимом Брутом, вождями сенатских войск и Октавианом Цицерон вел обширную переписку с командующими войсками, особенно Мунацием Плапком, и всюду продолжал твердо стоять на своем убеждении, что необходимо бороться за восстановление республики в ее прежней форме. Поэтому можно сказать, что те упреки в полной «беспринципности», которые часто предъявлялись Цицерону, не вполне справедливы. Его шаткость и колебания касаются больше устройства его личных дел, его отношений к отдельным людям и оценки их, т. е. объясняются тем, что он был недалеким и плохо разбирался в людях, но его идеология, узкая и негибкая и безусловно строго консервативная, почти не изменялась: заветы предков (*Mores maiorum*) были и оставались его идеалом в течение всей жизни; он пытался видеть воплощение их то в одном, то в другом деятеле своего времени, быстро разочаровывался, но не мог понять только одного, что таких насадителей «заветов предков» в его время быть уже не могло, а быть может, никогда и не было. Именно для того чтобы убедиться во впечатлительности Цицерона по отношению к отдельным событиям и лицам, надо проследить ряд его отзывов о крупнейших политических фигурах того времени — Помпее, Цезаре и Катоне.

Отношения с Помпеем налаживались у Цицерона медленно и туго: Помпей импонировал Цицерону своими военными подвигами, но первые отзывы его о Помпее крайне неблагоприятны: «Твой известный друг, — пишет Цицерон Аттику, — о ком ты написал мне, что он, не посмея порицать меня, начал хвалить, — открыто показывает, что он высоко ценит меня, обнимает, любит, явно хвалит; втайне же — но так, что это очевидно, — относится недоброжелательно. Никакого дружелюбия, никакой искренности, никакой ясности в государственных делах, никакой честности, никакой смелости, никакой независимости [у него нет]» (К Аттику, I, 13, 14 — № 19 по изд. АН СССР; 61 г.). Столь же неодобрительно он отзывался и о первой речи Помпея в комициях (в том же году): «неприятная для бедняков, пустая для злонамеренных, негодная богатым, неубедительная для честных» (К Аттику, I, 14, 1 — № 20 по изд. АН СССР); но о второй речи он отзывался уже мягче, так как «Помпей произнес длинную речь в весьма аристократическом духе — авторитету сената он придает и всегда придавал величайшее значение во всех делах» (там же, § 2). Однако Цицерону понравилось и в этой речи, как видно из дальнейшего, главным образом то, что Помпей одобрительно отозвался о консульстве самого Цицерона, хотя, на его вкус, все же слишком кратко и сдержанно: зато Крассом, вознесшим Цицерона до небес, Цицерон очень доволен и отмечает: «Этот день очень сблизил меня с Крассом, однако, я охотно принял и все то, что более или менее скрыто воздал мне и тот другой» (т. е. Помпей; там же, § 4).

Чем больше Помпей сближается с сенатом, тем более благоприятными становятся отзывы Цицерона; в 59 г. он уже называет Помпея «предметом своей любви» (*Pompeius, nostri amores* — К Аттику, II, 19, 2 — № 46 по изд. АН СССР), хотя этот эпитет звучит все же несколько иронически, тем более что в следующем письме он, сообщая Аттику, что «Помпей любит меня и расположен ко мне», пишет дальше: «Ты веришь?» — скажешь ты. Верю: он совершенно убеждает меня в этом, но именно потому, что я этого хочу. Опытные люди... советуют остерегаться и запрещают верить: первое

я выполняю — остерегаюсь; второго — не верить — выполнить не могу» (К Аттику, II, 20, 1 — № 47 по изд. АН СССР). Оказалось, что действительно было лучше не верить, так как Помпей, хотя и неоднократно заверял Цицерона, что он защитит его от Клодия, сделать ничего не смог, а возможно, и не захотел.

По возвращении из изгнания вплоть до начала гражданской войны Цицерон не очень часто упоминает о Помпее. Его больше занимает борьба между Милоном и Клодием, домашние, денежные и литературные вопросы; но он продолжает якобы ему симпатизировать. В 55 г. в письме к Лентулу Спиттеру он говорит, что он только «приспособляется к желаниям того, кому нельзя с честью противоречить» (т. е. Цезарю), о Помпее же — что «душевная склонность и приязнь к Помпею настолько сильны у меня, что все, что полезно и желательно ему, уже кажется мне справедливым и истинным» (К близким, I, 8, 2 — № 123 по изд. АН СССР). Еще через год, как показывает письмо к брату, который находился в это время в Галлии у Цезаря и пользовался его милостями, он уже и сам видит, что с Цезарем ему надо всячески крепить дружбу. «Ты пишешь о величайшей дружбе Цезаря по отношению ко мне. Подогревай ее и ты, а я буду усиливать ее, чем только смогу. Что касается Помпея, то я тщательно выполняю и буду выполнять то, что ты советуешь» (по-видимому, удерживать его от ссоры с Цезарем; К Квинту, III, 1, 9 — № 145 по изд. АН СССР).

Пока между триумвирами сохранялись сравнительно неплохие отношения, положение Цицерона было терпимо, и хотя ему пришлось оправдываться перед Цезарем за свое выступление перед самым съездом в Лукке, а перед противниками Цезаря за свою речь о консульских провинциях (он подробно излагает это в очень интересном письме к Лентулу Спиттеру. — К близким, I, 9 — № 159 по изд. АН СССР), все же по пути в Киликию в 51 г. он пишет из Афин Целию: «Я провел с Помпеем много дней подряд в беседах только о государственных делах. Об этом и невозможно написать, и не следует писать; скажу только, что Помпей — выдающийся гражданин, и сердцем, и умом готовый ко всему, о чем следует позаботиться в государстве. Поэтому присоединяйся к нему; верь мне, он примет тебя с распростертыми объятиями. В своих взглядах на честных и дурных граждан он уже сходится с нами» (К близким, II, 8, 2 — № 200 по изд. АН СССР).

Начало гражданской войны, отъезд Помпея из Рима заставили Цицерона круто переменить свое мнение об этом «выдающемся гражданине»: В самый критический момент (в январе 49 г.), когда Цезарь уже шел на Рим, Цицерон пишет Аттику из Минтурны: «Ты замечаешь, насколько неспособен как военачальник наш полководец, которому не было известно даже то, что происходило в Пицене; насколько он лишен предусмотрительности, об этом свидетельствуют самые события. Ведь если не говорить о других оплошностях за десять лет, то любое соглашение было бы лучше, чем это бегство. Что он думает теперь, я не знаю... Бесспорно, нет ничего более трусливого, более беспорядочного... Для соглашений время упущено. Что произойдет, я не предвижу. Во всяком случае, мы или наш полководец довели дело до того, что, выйдя из гавани без кормила, отдали себя во власть бури» (К Аттику, VII, 13, 1—2 — № 306 по изд. АН СССР). Через месяц он выражается еще резче: «Наш Помпей ничего не сделал разумного, ничего храброго, — ничего, добавляю я, что не было бы противным моему совету и авторитету... Что отвратительнее, что беспорядочнее, чем это удаление из Рима или, лучше, позорнейшее бегство?» (К Аттику, VIII, 3, 3 — № 332 по изд. АН СССР). Все же,

несмотря на просьбу Цезаря не присоединяться к Помпею (это место из письма Цезаря Цицерон полностью приводит в письме к Аттику от 2 мая 49 г. из Кум), Цицерон был настолько возмущен действиями Цезаря и поведением Марка Антония, что решил поехать за Помпеем в Эпир. Еще в последний момент его пытался вернуть Долабелла, обещая ему исходатайствовать прощение у Цезаря (К близким, IX, 9 — № 405 по изд. АН СССР), по тем не менее Цицерон последовал за Помпеем. Долгое время Цицерон не упоминает больше о Помпее и только в письме из Брундисия, через пять месяцев после Фарсальской битвы, он говорит о Помпее, уже погибшем, на этот раз в примирительном тоне: «Конец Помпея никогда не внушал мне сомнений: ведь все цари и народы пришли к убеждению в полной безнадежности его дела, так что я считал, что это произойдет, куда бы он ни прибыл. Не могу не горевать о его судьбе: ведь я знал его как человека неподкупного, бескорыстного и строгого правил» (*hominem integrum et castum et gravem*; К Аттику, XI, 6, 5 — № 412 по изд. АН СССР). Но, похвалив Помпея за его личные моральные качества, он с отвращением отзываясь в этом же письме к Аттику о политике его сторонников: «Столь сильна была в них жестокость, столь силен союз с варварскими племенами, что проскрипция была составлена не поименно, а по родам... о тебе всегда помышляли с особой жестокостью» (там же, § 2). В письме же к Папирию Пегу от 46 г., в последний раз возвращаясь к воспоминаниям о гражданской войне и опять оправдывая себя за свою мирную жизнь в Тускуланской вилле, он говорит: «Я оградил себя применительно к нынешним обстоятельствам... разве только, пожалуй, лучше было бы умереть... Правда, прочие — Помпей, Лентул, Сципион, Афраний — погибли мерзко (*foede perierunt*). Но Катон прекрасно... Как раз это [т. е. самоубийство] будет дозволено, когда захочу» (К близким, IX, 18, 1—2 — № 477 по изд. АН СССР). Это — последний отзыв о человеке, о котором Цицерон высказал столько различных мнений.

Гораздо более последовательны его отзывы о Цезаре. Как это ни странно, Цезарь был, по-видимому, более заинтересован в дружбе и расположении Цицерона, чем Цицерон в дружбе с ним. Цицерон постоянно находился в известной оппозиции к Цезарю. Возможно, что он завидовал Цезарю, своему младшему школьному товарищу. В письме к брату Квинту, находившемуся в лагере Цезаря, Цицерон упоминает о том, что он написал второе письмо Цезарю, так как первое по дороге промокло и Цезарь не мог его прочесть, и характеризует свое письмо как шутовское, дружественное, но полное достоинства (*lusi que in eo genere et familiariter, et cum dignitate*). «О его же исключительной любви к нам мне сообщают со всех сторон» (К Квинту, II, 10, 5 — № 132 по изд. АН СССР). В следующем письме к Квинту, по-видимому преклонявшемуся перед Цезарем, Цицерон выражается несколько иронически о своем отношении к Цезарю: «Я, как ты знаешь, уже давно воспеваю Цезаря; поверь мне, он у моего сердца и я его не потеряю» (К Квинту, II, 11, 1 — № 133 по изд. АН СССР); в латинском тексте шутка — «он у меня за пазухой и я не стану развязывать пояса», т. е. не выроню его (*in sinu est neque ego discingor*): В дальнейшем Цицерон не раз упоминает о милостях Цезаря к нему и брату, но когда Цезарь переходит к решительным действиям, Цицерон обрушивает на него бурю негодования: «Цезарь настолько бессовестен, что удерживает за собой войско и провинцию против воли сената» (К близким, XVI, 11, 2 — № 300 по изд. АН СССР); «Что совершается?... Об императоре ли римского народа мы говорим или о Ганнибале? О безумный и жалкий человек, который никогда не видел даже я тени прекрасного!

И все это он, по его словам, делает ради достоинства! Но где достоинство, если не там, где честность? Честно, следовательно, иметь войско без всякого официального решения; занимать города, населенные гражданами; чтобы легче был доступ в отечество, задумать отмену долгов, возвращение изгнанников, шестьсот других преступлений... Пусть он изведает свою судьбу!..» (К Аттику, VII, 11, 1 — № 303 по изд. АН СССР). Весной того же года он предсказывает Цезарю скорую гибель как «тиранну», ссылаясь при этом на Платона: «Он, как я предвижу, не может устоять дольше, по сам собою падет... Это царство (regnum) едва ли может быть шестимесячным... Он неизбежно погибнет — или из-за противников или сам из-за себя — он сам себе худший противник. Это, надеюсь, произойдет при нашей жизни...» (К Аттику, X, 8, 6—8 — № 388 по изд. АН СССР). Своего мнения Цицерон не изменил во время диктатуры; в письме к Матию² он называет Цезаря «царем (rex), каким он всегда был в моих глазах» (К друзьям, XI, 27, 8 — № 784 по изд. АН СССР) и опять кончает риторической фразой: «Свободу родины следует предпочесть жизни друга», на что Матий, повторяя эту самую фразу, отвечает: «Говорят, что отечество надо предпочитать дружбе, как будто уже доказано, что его гибель полезна для отечества» (К близким, XI, 28, 2 — № 785 по изд. АН СССР).

Вероятно, Цицерону не раз пришлось вспомнить эти слова при измене Лепида, колебаниях Брута, издевательских выходках Антония и двуличном поведении Октавиана; еще сравнительно благоприятна для Рима была ранняя гибель сыновей Помпея, унаследовавших грубость отца без военных талантов. О младшем из них, Гнее, еще при жизни Цезаря сам Кассий писал к Цицерону во время испанской войны: «Клянусь, я очень озабочен и больше хотел бы сохранить прежнего милостивого владыку, чем испытать власть нового и жестокого; ты знаешь, как глуп Гней, знаешь, что доблестью он считает жестокость, знаешь, что он всегда думает, будто над ним смеются; боюсь, как бы он не велел нас всех попросту зарубить мечом» (К близким, XV, 19, 4 — № 545 по изд. АН СССР). Замена же Цезаря Антонием привела ко второй, еще более жестокой гражданской войне, конца которой Цицерон уже не видел.

Об Антонии, этом яром приверженце Цезаря, ловко использовавшем нерешительность Брута и Кассия, Цицерон держится самого низкого мнения. Он оскорблен его покровительственным тоном в начале первой гражданской войны, запрещением покинуть Италию и негодует на его поведение при Цезаре и на его образ действий после смерти Цезаря, возмущается его властолюбием, нахальством и распущенностью. Цицерону было суждено стать жертвой ненависти, которую к нему питал Антоний.

Интересны еще отзывы Цицерона о таких двух диаметрально противоположных характерах, как Катон и Октавиан. Катон, неуклонно придерживавшийся тех самых принципов и прав предков, которые восхвалял всю жизнь Цицерон, тем не менее не раз раздражал Цицерона именно этой своей принципиальностью, от которой сам Цицерон считал возможным отступать во имя «consensus bonorum omnium», особенно если дело касалось денежных вопросов. «Я люблю нашего Катона не меньше, чем ты, — пишет он Аттику, — а между тем, он, с наилучшими намерениями и со своей высокой добросовестностью, иногда наносит государству вред. Он высказывается так, словно находится в «Государстве» Платона, а не

² Обмен письмами между Цицероном и Матием, ученым и знатным другом Цезаря, открыто выражавшим свою печаль по поводу его гибели, подробно разобран в книге С. Л. Утченко «Идеологическая борьба в Риме накануне падения республики» (М.—Л., 1952).

среди подонков Ромула (in Romuli faece)». (К Аттику, II, 1, 8 — № 27 по изд. АН СССР). Смерть Катона произвела на Цицерона, только игравшего мыслью о самоубийстве, огромное впечатление, и в не дошедшем до нас панегирике Катону он решился восхвалить не только его личные качества — «строгость, честность» и т. п., но и «коснуться всего его образа мыслей и намерений, которые у него были относительно нашего государства». «По справедливости, нельзя хвалить этого мужа, — пишет Цицерон, — если не превозносить того, что он предвидел то, что есть теперь, боролся за то, чтобы это не совершилось, и чтобы не видеть совершившегося, расстался с жизнью» (К Аттику, XII, 4, 2 — № 467 по изд. АН СССР). Цицерон называет свою задачу достойно восхвалить Катона Архимедовой проблемой, так как это было не вполне безопасно. Полностью обойти ее трудности Цицерону, очевидно, не удалось: Цезарь был обижен и написал два ответных памфлета, но никаких репрессий к Цицерону не применил.

Уже на старости лет Цицерону пришлось встретиться с антиподом принципиального Катона — молодым Октавианом. Нельзя сказать, чтобы Цицерон совсем не понимал, с каким лукавым человеком он имеет дело: Октавиан, по его словам, достаточно умен, достаточно храбр, однако надо очень и очень подумать, насколько он заслуживает доверия по своему возрасту, имени, происхождению и «внушаемым ему мнениям»; его отчим говорит, что ему верить нельзя (К Аттику, XV, 12, 2 — № 747 по изд. АН СССР). В другом письме, написанном через полгода, зимой 44 г., Цицерон сохраняет это мнение; он получил от Октавиана в один день два письма, вызывающих его в Рим из Путеол, и колеблется, ехать ли ему: «Он настаивает, а я держусь выжидательно; я не доверяю его возрасту и не знаю, что у него на уме» (К Аттику, XVI, 9 — № 798 по изд. АН СССР). В последнем письме к Аттику, за год до своей смерти, Цицерон опять говорит о недоверии к Октавиану: «Я ответил Оппию, который уговаривал меня полностью примкнуть к этому молодому человеку, к его политической линии и к ветеранам, что я этого сделать не могу, пока не будет ясно, что он не только враг тиранноубийц, но их друг. Когда Оппий сказал, что так и будет, то я ответил: «К чему же тогда торопиться? Я ему до января не нужен [т. е. до выборов в консулы], а мы увидим, чего он хочет, еще в декабрьские иды при выборах Каски [убийцы Цезаря] в трибуны» (К Аттику, XVI, 15, 3 — № 808 по изд. АН СССР). Возможно, что именно эта, необычная для Цицерона, сдержанность по отношению к Октавиану и была причиной того, что Октавиан, не сумев сделать Цицерона своим покорным орудием, — чего он, по-видимому, хотел, — сравнительно легко отдал его в руки Антония.

В ряду тех крупных политических фигур, которые отражены в письмах Цицерона, имеется еще одна, нигде не выступающая на первый план и не охарактеризованная самим Цицероном, но не менее значительная, чем те, кто был у всех на глазах: это — Атик, друг, советчик, издатель и банкир Цицерона, да и не только Цицерона. Роль Атика представляется очень страшной: он живет в Эпире, якобы удалившись от политических дел и не принимая в них никакого участия, но во все решающие моменты истории он оказывается в Риме, и уже не он получает сведения о происходящих событиях от Цицерона, а сам информирует Цицерона, живущего по совету того же Атика именно в эти моменты в одном из своих имений. Атик явно руководит выступлениями Цицерона, как видно из ответных писем Цицерона; так, например, Атик оказывается в Риме при выборах Цицерона в консулы, во время заговора Катилины, в течение изгнания Цицерона, а также после смерти Цезаря. Не занимая никакой государственной

должности, он оказывается близким человеком к представителям самых разных группировок; огромно число тех лиц, которых Цицерон упоминает в письмах к Аттику с эпитетом «твой друг». Трудно подсчитать все те письма, где Цицерон просит у Аттика совета, благодарит за совет или упрекает за недостаточно ясные указания. В самые тяжелые дни, весной 49 г., Цицерон даже составил себе «сводку советов» (как он пишет) Аттика, чтобы не обвинять самого себя в безрассудстве; он считает, что этого он не может сделать, «так как мои поступки и решения соответствуют твоим советам» (к Аттику, IX, 13, 3 — № 369 по изд. АН СССР). Один раз Цицерон даже в комическом виде изобразил, как Цезарь и Помпей будут требовать от него решительного ответа, а он попросит их подождать, пока он посоветуется с Аттиком. Аттик был сторонником оптиматов, но с удивительным искусством находил друзей и среди цезарианцев. Наиболее удачным его шагом было покровительство, оказанное им жене и детям Марка Антония во времена неудач Антония; оно спасло его от судьбы Цицерона. Корнелий Непот объясняет эти всесторонние связи Аттика его необычайной добротой и щедростью и всячески защищает его от подозрения в хитрости; вернее, однако, объяснить их его политической осторожностью и прозорливостью, а также его широкими финансовыми возможностями и талантами. В той же панегирической биографии Корнелий Непот указывает, что Аттик вел дела многих римских всадников, причем занимался ими тщательно, честно и энергично; письма Цицерона к нему тоже полны сведений или вопросов о финансовых операциях, займах, выплатах, покупке и перепродаже имений, домов, садов. Характерно для Аттика и то, что не сохранилось ни одного его письма к Цицерону. По-видимому, Аттик не желал опубликования их и каким-то образом — вероятно через вольноотпущенника Цицерона, Тирона — добился их уничтожения. Хотя сам Цицерон нигде не говорит об Аттике в третьем лице, но его политическая фигура всегда стоит как бы на фоне тех событий, о которых Цицерон пишет. Очевидно, Аттик играл в них не меньшую, если даже не большую роль, чем сам Цицерон.

Гораздо менее сложна политическая роль младшего брата Цицерона — Квинта, тоже погибшего при проскрипциях Антония вместе с сыном. Он с молодости более решительно, чем старший брат, избрал для себя чисто политическую карьеру и был, по-видимому, настолько искушен в ней, что в 64 г., когда Цицерон выставил свою кандидатуру в консулы, Квинт считал себя достаточно компетентным, чтобы давать брату советы относительно всех средств, какими можно добиться успеха. Ему приписывают маленькое сочинение под названием «Записка о выборах в консулы» (*Commentariolum petitionis*), интересное с точки зрения бытовой. Он точно указывает, как надо привлекать к себе сторонников любезностью, услугами, даже подарками. Главный же совет, который он повторяет дважды, выражен им в меткой, стилистически обдуманной форме и гласит: «Каждый день, спускаясь на форум, ты должен думать: «Я — человек новый; я добиваюсь консульства»; и, в-третьих: «Это — Рим» («Записка о выборах в консулы», 1, § 2)³. В этих трех фразах Квинт суммирует сложность и важность той задачи, которую поставил себе его брат.

Хотя от самого Квинта дошло только четыре письма — три к Тирону и одно к брату, — в письмах самого Цицерона характер Квинта, желчный и эгоистический, обрисован совершенно ясно. В бытность Квинта пропретором в Азии (61—58 гг.) старший брат послал ему подробное письмо

³ ... Tibi cotidie ad forum descendenti meditando esse dixeram: «novus sum, consulatum peto». Tertium restat: Roma est.

об управлении провинциями, в котором особенно предупреждает его от проявлений жестокости и вспыльчивости. Немало пришлось поволноваться Цицерону и по поводу семейных дел Квинта, который был женат на сестре Аттика, Помпонии. Брак был неудачен, несколько раз грозил полным разрывом и удержался только благодаря стараниям Цицерона, Аттика и молодого Квинта, сына Квинта и Помпонии. Все эти мелкие семейные распри отнимали у Цицерона много времени, и в своих письмах к Аттику он не раз жалуется на это. Еще огорчительнее было для Цицерона то, что в самое тяжелое для него время «сиденья» в Брундисии брат, приверженец Цезаря, отшатнулся от него и даже, по слухам, пытался не допустить его примирения с Цезарем, на что Цицерон горько сетует. Однако впоследствии между братьями опять состоялось полное примирение; после мартовских ид Квинт стал на сторону Брута и Кассия и погиб, как и старший брат. Но Квинт был убит собственными рабами, в то время как Марка Туллия его челядь пыталась спасти.

По-видимому, Квинт обольщался мыслями и о своем литературном таланте — Цицерон удивляется тому, как Квинт мог написать в 16 дней целых четыре трагедии (к Квинту, III, 6 и 7 — 154 и 157 по изд. АН СССР); потом он начал сочинять поэму об экспедиции Цезаря в Британию и даже брался за «Анналы». Из всех этих произведений до нас ничего не дошло и если бы не упоминания о них в письмах Цицерона, об их существовании вообще не было бы ничего известно. О стиле Квинта старший брат отзывался очень лестно⁴ и посвятил ему свое сочинение «Об ораторе»; но про «Записку о выборах в консулы» этого сказать нельзя. Более интересно то, что Цицерон вывел младшего брата в качестве действующего лица в двух своих философских диалогах — «О законах» и «О предвидении», где Квинт представлен поборником самых крайних консервативных взглядов.

Помимо перечисленных нами крупных и мелких политических фигур, в письмах Цицерона перед нами проходит огромное число лиц: легкомысленные политические карьеристы из аристократии, Целий, Курион и Долабелла, аполитичный Матий и строгий Варрон — все эти люди становятся для нас живыми образами только благодаря письмам Цицерона. Надо удивляться тому таланту литератора и психолога, который раскрывается в этих письмах.

Не только как исторический и литературный, но и как чисто лингвистический памятник письма Цицерона имеют огромное значение: при скудости тех источников, в которых отразился живой разговорный, а не научный, официальный или школьно-риторический стиль латинской речи, эти письма являются незаменимым, бесценным вкладом в историю латинского языка. Сотни слов и оборотов, не встречающихся ни у одного из других авторов, не встречающихся и в других сочинениях самого Цицерона, рассыпаны по страницам писем: игра слов, шутки, поговорки щедро украшают эти произведения, естественные и изящные в одно и то же время. Стиль писем бесконечно разнообразен; смотря по адресату и по содержанию письма, Цицерон свободно играет всеми оттенками латинской речи. Острые шутки, даже иногда скользкого содержания (особенно когда дело касается репутации его врага Клодия), и серьезные мысли политического и философского характера — все находит соответствующую форму выражения у этого мастера слова. В письмах естественным образом больше, чем во всех других произведениях, раскрывается и личная душев-

⁴ Он характеризовал его как «приятный и важный» и даже писал: «Что может быть более изящного или украшенного, нежели твоя речь?» («Об ораторе», II, 3, 10).

ная жизнь самого Цицерона. Бросается в глаза, что он, так неумеренно восхваляющий себя в своих речах, в письмах отзывается о себе обычно довольно скромно, иногда даже иронически; а его письма после смерти дочери продиктованы совершенно искренним горем — видно, что он утратил человека, который был ему дороже всех.

Письма написаны проще и живее, чем все другие сочинения, и даже построение фраз, нередко как будто неожиданно нарушающее нормы классической латыни, созданные самим же Цицероном, придает им особую прелесть. Именно поэтому тот, кто хочет стать ближе к подлинному Цицерону, должен знакомиться с ним не по его речам, а прежде всего по его письмам.

5. СОЧИНЕНИЯ ЦИЦЕРОНА ПО РАЗЛИЧНЫМ ФИЛОСОФСКИМ ВОПРОСАМ

Произведения Цицерона, касающиеся различных философских вопросов, очень многочисленны и охватывают весь круг тем, непосредственно касающихся человека, т. е. этику, политику и религиозную философию, преимущественно в ее практическом аспекте. Вопросы натурфилософии, космогония, космология, физико-математические дисциплины не интересовали Цицерона как слишком далекие от повседневной жизни; правда, он пытался охватить и эту область и начал переводить «Тимея» Платона, но работу не закончил, а затрагиваемые там вопросы использовал только в литературных целях в «Сне Сципиона» («О государстве», VI.9—24, 9—28).

Весь цикл философских сочинений Цицерона можно разделить на три группы.

К первой относятся те, которые посвящены теории государства и права — «О государстве» (*De republica*), «О законах» (*De legibus*) и частично «Об обязанностях» (*De officiis*). Первый трактат дошел далеко не полностью. Издатели его отмечают, что в единственной рукописи только в двух первых книгах «О государстве», наиболее хорошо сохранившихся, отсутствует более ста страниц; от книг же третьей и четвертой имеются только фрагменты и цитаты у позднейших писателей; единственным крупным связным отрывком является упомянутый «Сон Сципиона». От сочинения «О законах» первые три книги дошли с незначительными пропусками, от четвертой не дошло ничего; цитату из пятой приводит Макробий (*Sat. VI, 4*); была ли эта книга последней или были еще дальнейшие, неизвестно.

Последнее сочинение — «Об обязанностях» — посвящено не исключительно политическим вопросам; оно было написано Цицероном в форме наставления сыну Марку, в это время уже взрослому, и очень разнообразно по своему составу: оно касается и политических тем и вопросов морали.

Вторую группу составляют сочинения общеполитического содержания, по вопросам теории познания и этики: «О природе богов» (*De natura deorum*), «О предвидении» (*De divinatione*), в которых разбирается вопрос о природе человеческого познания, его пределах и об отношении богов к миру, а человека к богам; к этой же группе принадлежит незаконченный трактат «О судьбе» (*De fato*). Вопросам этики посвящены два больших произведения «О пределах добра и зла» (*De finibus bonorum et malorum*) и «Тускуланские беседы» (*Tusculanae disputationes*), а также небольшие сочинения «Учение академиков» (*Academica*) и «Парадоксы стоиков»

(*Paradoxa stoicorum*). Последнее сочинение большого значения не имеет, так как оно является скорее риторическим упражнением, чем философским рассуждением; сам Цицерон, перечисляя свои философские работы («О предвидении», II, 1), о нем не упомянул. Еще от одного сочинения «О доблестях» (*De virtutibus*) дошли только незначительные фрагменты; было ли оно закончено, неизвестно. Оно, по-видимому, развивало далее мысли, изложенные в паставлении к сыну «Об обязанностях». Сочинением, которое должно было ввести читателя в круг всех этических вопросов, является диалог «Гортензий», неоднократно упоминаемый не только Цицероном, но и многими позднейшими авторами. По всей вероятности, он пользовался большим успехом. До нас от этого сочинения ничего не дошло.

В третью группу следует отнести небольшие сочинения, посвященные отдельным вопросам практической морали и носящие скорее литературный, чем философский характер: таковы диалоги «Лелий, или о дружбе» (*Laelius de amicitia*) и «Катон, или о старости» (*Cato de senectute*); по-видимому, тот же характер носили не дошедшие до нас сочинения «О славе» (*De gloria*) и «Утешение» (*Consolatio*), написанное Цицероном в несколько дней после смерти его дочери Туллии.

Философские произведения Цицерона были написаны им в то время, когда ему приходилось держаться вдалеке от государственных дел. Однако так как эти два периода отделены один от другого промежутком в 8—9 лет, произведения, возникшие в первый и второй период, отражают в себе различные настроения автора. Трактаты «О государстве» и «О законах» написаны в 53 и 52 гг., когда Цицерон, уже с трудом ориентируясь во все более осложнявшейся политической обстановке, тем не менее все время пытался принимать участие в политической жизни и хотел выступать в ней если не в качестве главного деятеля, то как опытный учитель и советчик. Именно в таком тоне и написаны эти два произведения, составляющие, по существу, одно целое, тем более что в трактате «О законах» Цицерон не раз ссылается на свой трактат «О государстве».

Умонастроение Цицерона в период написания основных философских произведений (46—45 гг., начало 44 г.) совершенно иное. Он, как и многие другие сторонники сепатской партии, уцелевшие при диктатуре Цезаря, был абсолютно устранен от какой бы то ни было политической деятельности и вынужден был предаться исключительно научным и литературным интересам и уйти в личную жизнь. Но именно в эти годы ему пришлось много перенести и в этой сфере жизни — развод с Теренцией, неудачную новую женитьбу и, что поразило его тяжелее всего, смерть его дочери Туллии, еще очень молодой и видевшей мало счастья. Все это настолько угнетало Цицерона, что он попытался забыться в своих занятиях философией и убеждал себя в их привлекательности и полезности. Так как Цицерон много раз упоминает о своей работе над философскими сочинениями в письмах к Аттику, то хронология этих его трудов установлена с точностью в пределах этих двух с половиной лет. После смерти Цезаря им были написаны только диалог «Лелий, или о дружбе» и сочинение «Об обязанностях». О поводах к написанию «Лелия» высказал остроумное предположение проф. С. Л. Утченко в своей книге «Идеологическая борьба в Риме», сопоставив взгляды, изложенные Цицероном в этом диалоге, с его перепиской с другом Цезаря Матием, где Цицерон спорит с Матием о том, можно ли быть другом человека, расходясь с ним в политических убеждениях; Матий отвечает на этот вопрос положительно, Цицерон — отрицательно. Уже отсюда видно, что Цицерон опять

включился в политическую деятельность. Это же его настроение отразилось и в трактате «Об обязанностях», представляющем собою смесь моральных предписаний, исторических примеров и анекдотов, юридической казуистики и крайне консервативных политических советов сыну. Участие в государственных делах придало его тону авторитетность; грустный сдержанный скептицизм приверженца «Новой Академии», господствующий в диалогах 46 и 45 гг., опять сменился категорическими поучительными высказываниями, не подлежащими критике и обсуждению.

Почти все философские произведения Цицерона написаны в одной и той же литературной форме диалога. Они примыкают к диалогам позднего периода творчества Платона и к диалогам Аристотеля. Живая беседа или рассказ, написанные языком разговорной речи, и развитие темы в форме быстро сменяющихся вопросов и ответов, характерные черты «сократических» диалогов Платона, у Цицерона не встречаются. В нескольких беглых штрихах обрисовывается обстановка, место действия, повод к беседе, перечисляются ее участники, намечаются подлежащие решению вопросы, а далее один или несколько участников делают пространный доклад, излагая либо свою точку зрения, либо учение какой-нибудь философской школы. Избирая форму диалога, Цицерон следовал установившейся к его времени традиции, над которой он сам подшучивает в своем письме к Варрону, служащем введением и посвящением к трактату «Об учении академиков»: «Я составил беседу, которую мы вели в Кумском поместье, когда с нами был Помпоний [Аттик]; я дал тебе роль представителя учения Антиоха, которое, как мне показалось, ты одобряешь; сам взялся говорить за Филона. Я думаю, читая, ты будешь удивляться, что мы говорим то, чего мы никогда не говорили; но ведь ты знаешь — таков обычай в диалогах» (Cicero Varroni, 1).

Однако нельзя сказать, чтобы диалоги Цицерона были лишены всякой литературной ценности. Несмотря на то, что действующие лица в них должны, по воле автора, излагать определенную точку зрения, Цицерону все же иногда удается ясно очертить характер говорящего: так, в трактатах «О законах» и «О предвидении» дан портрет его брата Квинта, очень сходный с тем, каким он рисуется в длинном наставительном письме Цицерона к нему в бытность его пропретором в Азии. Крайне консервативный, желчный, вспыльчивый и озлобленный, он произносит в трактате «О законах» ожесточенную антидемократическую речь, в трактате «О предвидении» же выступает в защиту всех суеверий и гаданий. Несомненно, эти резкие выступления Квинта должны служить тем фоном, на котором выгодно выделяются примиренческие тенденции и умеренное вольнодумство самого Цицерона, выступающего антагонистом Квинта. Но едва ли Цицерон мог выводить Квинта в тех сочинениях, которые читал и сам Квинт, совершенно иным, чем он был в действительности. Характерно и то, что хитроумный Аттик, введенный участником беседы в «Законах», в «Учении академиков» и в книге V «Тускуланских бесед», нигде не высказывается сам, а только ставит вопросы и вставляет беглые замечания; это, вероятно, было обычной линией поведения Аттика, сумевшего опубликовать все письма Цицерона к себе и ни одного своего к Цицерону.

О том, что занятия философией были для Цицерона невольным прибежищем на время удаления от государственных дел, он писал не раз и в письмах к друзьям и во вступлениях к своим философским трудам (см. «О пределах добра и зла», «Тускуланские беседы» и II книгу «О предвидении»).

Однако Цицерон видит в своих занятиях философией не только способ отвлечься, забыться и утешиться, а считает их тем поприщем, на котором он при данных условиях может принести больше всего пользы своему стечеству. «Я со своей стороны считаю... своей обязанностью, поскольку это в моих силах, работать в том направлении, чтобы благодаря моим стараниям, моему усердию и моим трудам мои сограждане расширили свое научное образование: я не стану спорить с теми, кто хочет читать греческие сочинения, — действительно ли они их читают или только делают вид, что читают, — а хочу оказать услугу тем, кто либо хочет пользоваться обоими языками, либо тем, кто, получив сочинение на родном языке, может не жалеть о том, что не читает на чужом» («О пределах добра и зла», I, 4, 10). «Я много и долго думал о том, каким образом я могу быть всего более полезным, чтобы не прерывать моей помощи государству; и мне не пришло в голову никакого лучшего способа, чем если я открою перед моими согражданами пути к высшим искусствам» (*vias optimarum artium*: «О предвидении», II, 1, 1).

Ввиду того, что сам Цицерон ясно очертил себе свою цель, его философские произведения и следует оценивать именно с точки зрения того, достигнута ли им эта цель или нет, а не искать в его работах вполне самостоятельных философских взглядов. Цицерон — эклектик и релятивист по глубокому внутреннему убеждению, он считает возможным и вполне правомерным соединять отдельные черты различных систем, не слишком вдумываясь в то, что эти черты являются подчас следствием взаимно противоположных философских положений. Более того, будучи сам авгуром, Цицерон считает вполне законным и правомерным выступать в теории против авспиций и утверждать, что «в философии не должно быть места выдуманым сказкам» (*commenticiis fabellis*; «О предвидении», II, 38, 80).

Наименьшей симпатией Цицерона из распространенных в его время систем пользуется, как и можно ожидать, последовательный материализм Эпикура, который он понимает довольно поверхностно и примитивно, не отличая его от учения Демокрита. Равным образом он не видит разницы между Древней Академией и перипатетиками («Учение академиков», I, 4, 17). Самому же ему в теории познания пришелся больше всего по душе умеренный скептицизм Новой Академии, и он отделяется от удивленного замечания Варрона — «я слышу, что ты покинул Древнюю Академию и проповедуешь учение Новой (*tractari autem novam... audio*)» — шуткой: «Почему же нашему другу Антиоху⁵ можно было перебраться из нового дома в старый, а мне нельзя переехать из старого в новый?». Когда же Варрон указывает ему на полемику между Антиохом и Филоном, он замечает только, что он «охотно припомнил бы то, что когда-то слышал от Антиоха, а заодно и посмотрел, можно ли это достаточно ясно и понятно выразить по-латыни?» («Учение академиков», I, 4, 13—14). В этой именно области и лежит главная заслуга Цицерона — он выразил «ясно и понятно по-латыни» то, чего никто не умел выразить до него.

Цицерон усиленно настаивает на том, что латинский язык пригоден для выражения философских понятий: «Трудно спорить с теми, кто презирает произведения, написанные на латинском языке. Но я удивляюсь больше всего тому, что они не находят удовольствия в чтении на родном языке о важнейших вопросах, а между тем охотно читают неважные латинские театральные пьесы, слово в слово переведенные с греческого».

⁵ Философ Антиох Аскалонский с течением времени становился все более ярким идеалистом.

(«О пределах добра и зла», I, 2, 4). «...Я удивляюсь, откуда берется такое презрение ко всему родному? Здесь, правда, не место останавливаться на этом; но вот мое мнение таково, и я не раз его высказывал: латинский язык вовсе не беден, нет, он даже богаче греческого. Когда же мне — или, лучше скажу, нашим хорошим ораторам и поэтам — особенно при наличии образцов для подражания, не хватало украшений для содержательной и изысканной речи?» («О пределах добра и зла», I, 3, 10).

В «Учении академиков» эти же мысли Цицерон влагает в уста Варрона. На слова Аттика — «можно ведь пользоваться греческим, если захочешь, в случае, если тебе не хватит латыни» — Варрон отвечает: «Конечно; но я постараюсь говорить по-латыни, кроме тех слов, которыми, как и многими другими, вошло уже в привычку пользоваться как латинскими, как, например, философия, риторика, физика или диалектика... Так, я назвал «качеством» (*qualitates*) то, что греки называют *ποιότητες*, причем это слово и у греков не ходячее, а исключительно философское; и это бывает во многих случаях. Слова же, употребляемые диалектиками, вовсе не распространены, а принадлежат только им. И это — общая черта всех искусств (*artium*); для новых предметов должны либо быть созданы новые имена, либо перенесены на них с других предметов. И если это делают греки, которые уже столько веков имеют дело с этими вопросами, то не следует ли тем более разрешить это нам, которые впервые пытаются за это взяться? Да, Варрон, — сказал я [говорит от себя Цицерон], — ты окажешь, как мне кажется, большую услугу твоим согражданам, если ты обогатишь их не только множеством мыслей, как ты уже сделал, но и множеством слов» («Учение академиков», I, 7, 25—26).

Именно эту заслугу, которую Цицерон признает за Варроном, следует признать за ним самим. Образцом этой тщательной работы над латинской философской терминологией служит книга III «Тускуланских бесед», где в главах 5—8 Цицерон очень тонко анализирует латинские термины для понятий «безумие», «уверенность в себе» (которую он отличает от самоуверенности) и др., сравнивает их с греческими и верно отмечает, где один язык в точности выражения уступает другому.

Для последующих поколений философские произведения Цицерона ценны еще одной своей чертой, которая для его современников особого значения не имела: они изобилуют цитатами из поэтов, до нас не дошедших, — Энния, Пакувия, Акция и др., а также выдержками из греческих поэтов и прозаиков. В одних случаях они тоже заимствованы из произведений, до нас не дошедших; в других случаях, если оригинал имеется налицо, мы можем судить о переводческом таланте Цицерона и принципах художественной передачи оригинала, которым он следовал и которые он выразил в своем небольшом предисловии к намеченному им для издания переводу нескольких речей Демосфена и Эсхила: «Я перевел их не как истолкователь, а как оратор, теми же предложениями и теми же формами и как бы образами, но словами, привычными для нас; мне не было необходимости передавать все слово в слово, но я сохранил и весь характер и силу слов. Я считал, что я должен передавать читателю слова не по счету, а как бы по их весу (*non ea adnumerare, sed tanquam appendere*; «О лучшем роде ораторов», 5, 14).

Тем разделом философии, в котором Цицерон чувствует себя наиболее уверенно и где он высказывает некоторые самостоятельные мысли, является теория государства. Его трактат «О государстве», даже в том виде, в каком он сохранился, представляет большой интерес. Несмотря на явную зависимость его от политической теории Платона о трех основных формах правления и на еще более тесную связь с той же теорией, примененной

Полибием к строю Римского государства, он заключает в себе много характерных примеров из римской истории и дает систематическое изложение той излюбленной Цицероном теории «согласия благонамеренных» (*consensus bonorum*), к которой он постоянно возвращается и в письмах и в речах. Ее же он пытается обосновать и в III книге «Законов».

Однако в трактате «О государстве» есть одно положение, которое расходится с той несимпатией к единовластию, которая была характерна для Цицерона в течение всей его жизни. Мало того что из трех форм правления в их чистом виде, он, правда устами Сципиона, высказывается в пользу монархии, в фрагментах V книги встречается упоминание о некоем идеальном «правителе» государства (*moderator reipublicae, rector patriae, princeps civitatis*), который руководится больше пользой народа, чем его желаниями, который постоянно стремится к славе для отечества. Не раз высказывались предположения, что под этим идеальным самоотверженным правителем Цицерон подразумевал Помпея. Это предположение едва ли можно признать сколько-нибудь основательным: из переписки Цицерона ясно видно, какого мнения он был об уме и патристических чувствах Помпея. Скорее в этом идеальном образе он рисовал себя таким, каким, по его собственному мнению, он был в год своего консульства. В таком же идеальном образе он рисовал себе римский сенат и аристократию, вступая в спор со своим братом Квинтом и Титом Помпонием Аттиком в трактате «О законах». После крайне консервативных жестоких нападок Квинта на популяров и на весь современный строй Республики Цицерон, желая занять примирительную позицию, указывает и на недостатки аристократии и говорит, что надо было бы принять закон о том, «чтобы это сословие было без порока и служило образцом для всех других». На восторженное одобрение Квинта Аттик отвечает ироническим замечанием, но, конечно, не забывает упомянуть о знаменитом консульстве: «Это самое сословие, хотя оно всецело предано тебе и хранит благодарную память о твоём консульстве, может — не сердись, пожалуйста, — не только любых цензоров, а даже всех судей вывести из терпения [умучить — *defatigare*]». На это Цицерон отвечает: «Не говори об этом, Аттик. Наша беседа касается не этого сената и не нынешних людей, а будущих, которые, может быть, захотят повиноваться законам. Ибо если закон повелит быть свободными от пороков, то никто и не сможет проникнуть в это сословие» («О законах», III, 12--13).

Все же сам Цицерон, видимо, плохо верит в то, что это когда-либо произойдет. Хотя он упрекает Платона (в начале трактата «О государстве») в том, что тот писал законы для воображаемого, а не для реального, государства, сам он пошел тоже по этому пути. Хорошо видя, что современный строй государства его идеалу ни в какой мере не соответствовал, он пытался убедить себя в том, что такой идеальный строй либо существовал в прошлом Рима, во времена «наших предков», либо что он возможен в будущем. Но в последнее он едва ли верил и сам.

Ценность философских сочинений Цицерона на этические темы довольно незначительна вследствие их компилятивного эклектического характера. Что касается их литературной формы и языка, то в них отразились те же характерные черты таланта Цицерона, что и в других жанрах: легкость изложения, прекрасное построение фраз, богатство слов и оборотов, благозвучие, но порой утомительное многословие и постоянные повторения. В этом отношении наиболее характерны литературные диалоги «Лелий» и «Катон», почти уже теряющие право называться философскими и соскальзывающие на почву обиходных правоучений; но именно вследствие этого они легко читаются.

6. СОЧИНЕНИЯ ЦИЦЕРОНА ПО ТЕОРИИ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА

К разработке теории ораторского искусства, так же как и к изучению философии, Цицерон обращался два раза в своей жизни. В первый раз это произошло после съезда в Лукке, неожиданно разрушившего составленный Цицероном план новой политической карьеры. В течение всего 55 г. Цицерон, по-видимому, воздерживался от выступлений: он занят сочинением большого трактата в трех книгах под названием «Об ораторе». Второе удаление Цицерона от государственных дел на целых три года произошло во время диктатуры Цезаря; в письмах от этого периода Цицерон не раз называет занятия «литературой» единственным утешением и украшением своей жизни. Плодом этого ухода в частную жизнь, помимо множества философских трудов, были два сочинения: одно исторического характера («Брут»), другое — теоретического («Оратор»). Интересно отметить, что оба раза обращение к риторике предшествует обращению к философии. Трактат «Об ораторе» относится к 55 г., сочинения по политической философии («О государстве» и «О законах») — к 53 и 52 гг.; «Брут» написан в 47 г., «Оратор» в 46, большинство же философских произведений относится к 45 г. и захватывает даже 44-й. Таким образом, Цицерон, оторвавшись от общественной жизни, сперва ищет утешения в изучении и обобщении своего ораторского опыта, а потом, не удовлетворенный этим, обращается к занятиям философией.

Мы видели, что сочинения по философии, написанные в эти два периода, носят различный характер; точно так же различаются по своему тону трактат «Об ораторе», с одной стороны, и трактаты «Брут» и «Оратор» — с другой. В первом Цицерон еще чувствует себя крупной величиной и говорит языком авторитетным и решительным; в двух других он считает свою карьеру законченной и видит, как новые течения в его любимом искусстве оттесняют его на задний план и просят подорвать его славу лучшего оратора. Поэтому его тон более печален, но в то же время и более полемичен, чем в первом сочинении.

Трактат «Об ораторе» по своей литературной форме, как говорит сам автор в начале его, подражает диалогам Платона. Действующие лица — крупнейшие ораторы предыдущего поколения — Лициний Красс, Марк Антоний, Юлий Цезарь Страбон, Катул, юрист Сцевола и их ученики Котта и Сульпиций Руф, в то время все принадлежавшие к консервативной группировке, ведут в основном беседу на тему своей специальности, несколько раз затрагивают и политические вопросы. И хотя Цицерон, отнеся действие диалога к началу I в. (91 г.), не может затрагивать в их речах вопросы по современному положению, их слова все же ясно отражают его установку.

«Когда консул Филипп стал резко нападать на политическую линию первых в государстве лиц (*in causam principum*) и трибуна Друза, выступившего в пользу власти сената, стал шататься и слабеть, в дни римских игр Лициний Красс, как мне говорили, отправился отдохнуть в свое тускуланское поместье [Далее перечисляются гости]... В первый день до позднего часу они беседовали о современных делах и о государстве вообще, для чего они и приехали сюда, Котта рассказывал, что в этой беседе три консула с такой божественной мудростью (*divinitus*) обсуждали события и сокрушались о них, что впоследствии с государством не приключилось ли одной беды, которой они бы уже в то время не опасались и не предвидели» («Об ораторе», I, 7, 24, 26). Отзываясь, как это обычно делает и сам Цицерон, с большой похвалой о красноречии и образованности

Гая Гракха, Красс жалеет о том, «что такие мужи впали в столь великое заблуждение касательно дел государственных; хотя ведь у нас и теперь ткнут ту же ткань, в государстве распространяется тот же образ мыслей и передается последующим поколениям; мы, очевидно, хотим воспитать граждан, похожих на тех, которые для наших отцов были нетерпимы» («Об ораторе», III, 60, 226). О том, что Гракхи «своим красноречием разложили государство», говорит и Сцевола («Об ораторе», I, 9, 38).

Даже цитата, которую Марк Антоний в качестве примера приводит из какой-то речи Красса, носит явно антидемократический характер: «Вырвите нас из бедствий, вырвите нас из пасти тех, чья жестокость не может насытиться нашей кровью; не заставляйте нас служить кому-либо, кроме всех нас вместе, тех, кому мы и можем и должны служить» («Об ораторе», I, 52, 225).

Те же мысли высказывает Цицерон уже от своего имени в начале III книги и посвящении брату Квинту, которому адресовано и все сочинение. Здесь, рассказав в трогательных тонах о смерти Красса, происшедшей после его возвращения из поездки в Тускул и жестокого столкновения в сенате с консулом Филиппом, Цицерон восхваляет его счастливую судьбу, ибо «боги бессмертные не отняли у него жизнь, а даровали ему смерть... и он не увидел как то государство, в котором он, во время его расцвета, превосходил многих своей славой, изменилось к худшему во всех отношениях» (*in omni genere deformatam*; «Об ораторе», III, 2, 8).

На этот «плач» по Крассу очень похожа вводная глава к «Бруту», где почти в тех же словах восхваляется судьба Гортензия, умершего вовремя («Брут», гл. 1—2). В последней же дошедшей до нас (96-й) главе этого сочинения⁶ он называет время Цезаря «ночью государства», «злосчастной судьбой» его, «печальным крушением». В «Ораторе», написанном уже не в форме диалога, а в виде послания к Бруту и посвященном исключительно вопросам ораторского мастерства, Цицерон тоже упоминает о «временах, враждебных доблести» («Оратор», 10, 35). Таким образом, Цицерон никогда не мог полностью отвлечься от своих основных политических интересов; занятия любыми теоретическими вопросам были для него только паллиативным лечением. Однако, несмотря на то, что политические намеки рассеяны и в специальных трактатах Цицерона, нельзя сказать, что они являются ведущей линией этих сочинений. Основной темой все же выступает тщательное рассмотрение задач ораторского искусства и его различных форм, а также задач практического оратора и приемов, используемых им — от самых общих правил до мельчайших деталей. Весь этот материал представляет огромный интерес: в нем отложился опыт и ряда предыдущих поколений, проводивших свою жизнь на форуме, в сенате и в судах, и почти 40-летний опыт самого Цицерона.

По-видимому, некоторые близкие Цицерону люди, может быть его товарищи по государственной деятельности, находили его занятия риторикой недостойными его положения и заслуг. Цицерон в «Ораторе» считает нужным опровергнуть это мнение: «Мне случалось встречать не только врагов, но и поклонников моей славы, которые считали, что не подобает человеку, о достоинствах которого сенат при одобрении народа выносил столько постановлений, сколько ни о ком другом, публиковать так много книг об искусстве речи» («Оратор», 41, 140). Сославшись на просьбы Брута написать для него «Оратора», Цицерон продолжает: «Но если бы я даже объявил, что я передам желающим правила и пути, ве-

⁶ «Брут» дошел не полностью; однако, судя по суммирующему характеру главы 96, она относилась уже к самому концу сочинения.

дущие к красноречию, кто, правильно оценивающий положение вещей, осудит меня?.. Мне надо было ответить тем, кто, как я полагал, будет осуждать меня... Но кто будет настолько жесток и груб, что не даст мне возможности теперь, когда мои общественные занятия и государственная деятельность рухнули, предпочесть научные занятия безделью, к которому я неспособен, или печали, которой я сопротивляюсь» (§ 148).

Изучение теории речи Цицерон считает до некоторой степени достойной заменой своей прежней общественной роли. Это вполне понятно, если учесть, какие высокие задачи Цицерон ставит перед оратором и какие требования он к нему предъявляет. Он, конечно, не ставит себя наравне с теми учителями техники речи, которые натаскивают своих учеников на шаблонных приемах пустой болтовни. Не раз он говорит с отвращением о речи «пустой и ребяческой» («Об ораторе», I, 6, 20), «ничтожной и достойной осмеяния» (там же, 12, 50), в которой нет никакого смысла и содержания (*nulla res subest*). Оставшись верным тем принципам, которые он в молодости, увлеченный риторическими учениями Греции, выставил в своем сочинении «О подборе материала», Цицерон требует от оратора высокой культуры — широкой образованности, и прежде всего хорошего знакомства с философскими системами. Представителем этого мнения в трактате «Об ораторе» является тот же Лидий Красс. «Величайшая сила оратора,— говорит он,— состоит в том, что он может возбуждать в умах людей гнев, ненависть и горе или, напротив, уводить их от этих волнений к успокоению и милосердию. Он не мог бы достигать этого, если бы он не видел различных характеров людей, общих свойств человеческой природы и тех движущих причин, которыми умы то возбуждаются, то успокаиваются. Но ведь все это — дело философов» («Об ораторе», I, 12, 53—54). Красс выражает сожаление, что он, как и другие общественные деятели, был всегда слишком загружен практическими делами и не имел времени для серьезных занятий философией.

Кроме овладения основами философии, Красс требует от оратора и хорошего знания гражданского права («Об ораторе», I, 41, 44). Почти те же требования Цицерон от своего лица выставляет и в «Ораторе»; однако здесь он подходит к делу несколько практичнее и говорит уже не о философии, а о ее «известных пунктах» вообще. Здесь же он вводит и понятие «диалектики», под которой он понимает умение спорить, доказывать и опровергать: «Между речью и спором есть разница; разговаривать (*loqui*) не то же самое, что говорить (*dicere*); а в речи встречается и то, и другое: спорить и разговаривать — дело диалектики, а говорить — дело оратора» («Оратор», 32, 113). На необходимости юридического образования для оратора Цицерон настаивает и здесь, но прибавляет к этому еще требование хорошей осведомленности не только в истории своей родины, но и «могучих народов и знаменитых царей... Не знать того, что было до твоего рождения, значит — всегда оставаться ребенком. Ибо что такое жизнь человека, если память о прошлом у него не смыкается с недавними событиями?» («Оратор», 34, 120). Однако очень глубокого знания истории Цицерон, очевидно, не требует, так как указывает, что «этот труд отныне оратору облегчен: хронологическое сочинение Атика, который в одной книге собрал все события за 700 лет, поможет ему» (там же).

Цицерон не скрывает того, что его мнение о необходимости эрудиции не является общепризнанным. В качестве антагониста Красса он выводит в диалоге «Об ораторе» практика Марка Антония, иронически относящегося к «философским» требованиям Красса. Якобы преклоняясь перед величием такого оратора, которого рисует Красс, Антоний возражает ему: «Для нас, возвращающихся среди народа на форуме, достаточно знать и го-

ворить о нравах людей то, что не расходится с их обычными правами: какой крупный серьезный оратор, желая возбудить гнев судьи против своего противника, остановится среди речи оттого, что он не знает, что такое гнев — возбуждение ума или стремление наказать за причиненную беду?.. Нам пужен человек острый, хитрый по природе и опытный, который видит насквозь, что думают, чувствуют, предполагают и чего ожидают его сограждане, а также те люди, которых он хочет в чем-нибудь убедить своей речью. Надо, чтобы он умел схватить основные жизненные интересы [буквально — жилы: *venas*] каждого рода людей — людей разных возрастов и сословий; он должен чутьем понимать мысли и чувства тех, среди которых он ведет или поведет дело; а книги философов пусть оставит себе для тускуланского отдыха» («Об ораторе», I, 51—52, 218 сл.).

Расходясь в этих требованиях по отношению к общему образованию оратора, и сам Цицерон, и изображаемые им известные предшественники его сходятся в одном требовании — оратор должен сам горячо переживать то, о чем он говорит. «Подобно тому как никакой материал не воспламеняется так легко, как тот, который вспыхивает при одном только приближении к огню, так же ни один ум не будет готов к восприятию речи и не сможет вспыхнуть, если сам оратор не подойдет к нему пламенющим и горящим» («Об ораторе», II, 45, 190). «Ни один слушатель не воспламенится, если речь дойдет до него, сама не пылая» («Оратор», 38, 132).

Наконец, последнее очень важное требование общего характера, которому, по мнению Цицерона, должен удовлетворять оратор, это — то, что мы назвали бы тактом. Оратор должен всегда тонко понимать, где и что уместно сказать. «Как и во всех прочих делах, основа красноречия — ум [*sapientia* — в данном случае, не мудрость, а скорее «ум» или даже «такт», как видно из дальнейшего]. Как в жизни, так и в речи труднее всего видеть, что именно подобает [делать]. Греки называют это *πρέπον* [подобающим], мы назвали бы это — *decorum*... Оратор должен следить, чтобы не только в целых фразах, но и в отдельных словах соблюдалось именно то, что уместно... например, неуместно, если ты выступаешь перед одним судьей по делу о водосточных трубах, говорить пышными словами и использовать общие места, а когда говоришь о величии римского народа, говорить скупо и сухо» («Оратор», 21—22, 70 сл.).

Вся сумма этих требований настолько велика, что Цицерон, по его словам, отчаивается найти где-либо такого оратора и ссылается опять-таки на слова Марка Антония, что он «видел многих людей, хорошо говоривших, но ни одного мастера речи» (*disertos multos, eloquentem neminem*; «Оратор», 5, 18). «Кто же этот мастер? — спрашивает Цицерон. — Скажу вкратце... Мастер речи тот, кто умеет говорить о незначительных вещах просто, о великих возвышенно, о повседневных умеренно» («Оратор», 29, 100). И совершенно несомненно, хотя Цицерон нигде этого открыто не говорит, что именно таким оратором он считает самого себя. В главе 37 «Оратора» он вспоминает свои успехи в любом образе речи — и в том, который греки называют «нравоописательным», и в речи патетической. Он вспоминает, как ему не сумел ответить Гортензий, как перед ним умолк Катилина, как сбился среди речи Курион, как плакали слушатели от трагических финалов его защитительных речей, как он добивался того, чтобы судья «гневался и смягчался, осуждал и жалел, презирал и восхищался, ненавидел и любил, жаждал и удовлетворялся, надеялся и боялся, радовался и печалился... Примеры суровости можно найти в моих обвинительных, мягкости — в моих защитительных речах. Нет того способа, которым дух слушающего мог быть возбужден или успокоен и которого я бы не испробовал...» («Оратор», 38, 131—132). Эта характерис-

тика, данная Цицероном самому себе, свидетельствует ясно, что он находил в себе как раз ту способность, которую особенно ценил, — такт, подсказывающий, что именно уместно говорить в каждом данном случае.

Чем выше ценил Цицерон свои, поистине опромные, достижения в мастерстве речи и чем меньше он замечал некоторые недостатки их (многословие, повторения, отклонения от темы), тем более горько было для него видеть, что многие представители молодого поколения, в том числе его приятели Брут и Целий, уже не были поклонниками его любимой формы речи, красивой и художественно построенной, а хотели говорить просто, ясно и сухо, считая этот стиль речи подлинно греческим, «аттическим».

Полемика против направления аттицистов пронизывает оба трактата 40-х годов. Цицерон ожесточенно спорит с приверженцами нового течения и местами остроумно высмеивает их. «Они хотят быть Гиперидами и Лисиями... они говорят, их радует аттический образ речи... Это умно — пусть они заимствуют, но не только кости, а и кровь!» («Брут», 17, 68). «Они думают, что только тот, кто говорит сухо и некрасиво (*inculte*), лишь бы он делал это складно и сжато говорит по-аттически. Они ошибаются, что только тот; что по-аттически — это верно. Но, по их мнению, если только это и значит — говорить по-аттически, то и сам Перикл не говорил по-аттически... если бы он пользовался сухим слогом, то никогда не сказал бы о нем Аристофан, что он сверкал молнией, гремел громом и потрясал Грецию» («Оратор», 9, 28—29). Кроме Перикла, Цицерон ссылается и на Демосфена, патетического в государственных речах, остроумного и ловкого в частных. Однако Цицерон, видимо, не надеется привлечь Брута на свою сторону и с некоторой грустью заканчивает свой трактат словами: «Вот, Брут, каково мое мнение об ораторе; ты можешь последовать ему, если одобришь его, или остаться при своем мнении, если оно иное. Я не буду спорить с тобой и не буду утверждать, что мое мнение, которое я изложил в этой книге, более истинно, чем твое. Ведь не только тебе и мне разное может казаться [правильным], но даже и мне самому представляется одно и то же дело то так, то иначе» («Оратор», 71, 237).

О богатстве технических советов и указаний, которые Цицерон дает ораторам, можно было бы написать целую книгу. Только подробный разбор их и детальное сопоставление с речами самого Цицерона могли бы раскрыть многие тайны его мастерства.

Оратор, по словам Цицерона, является полным хозяином тех огромных богатств, которые предоставляет ему язык. «Так как по этому огромному безграничному полю оратор может бродить свободно и где бы он ни остановился, он останавливается в своем владении, то он легко может найти любое средство и любое украшение для речи. Ибо множество предметов порождает множество слов. Если в тех предметах, о которых ведется речь, есть ясность, то самой силой вещей возникает какой-то естественный блеск в словах. Если тот, кто говорит или пишет, хорошо образован и воспитан с детства, если он пылает рвением и одарен от природы и, упражняясь в бесконечных разнородных делах, избрал себе в качестве образца для изучения и подражания знаменитейших ораторов и писателей, то ему не придется искать у этих учителей указаний, каким образом ему надо строить и освещать свою речь. При обилии предметов он легко, без руководителя, с помощью самой природы, если только она уже достаточно обучена, найдет способы украсить речь» («Об ораторе», III, 31, 124—125). Способов украсить речь имеется много, но раньше, чем перейти к их перечислению и характеристике, Цицерон (в лице Красса) предупреждает от злоупотребления ими. «Речь украшается прежде всего всем

своим общим характером, так сказать, красочностью и сочностью. Будь она строгой или нежной, ученой или легкой, необычайной или шаблонной, насмешливой или грустной, поскольку это требуется, — суть заключается не в отдельных ее частях; она должна проникать всю речь целиком. Далее, если речь усеяна цветами слов и изречений, то они не должны быть равномерно разложены по всей речи, но расположены так, как на роскошной одежде распределяются отдельные драгоценности и блестящие украшения... Однако трудно сказать, по какой причине все то, что доставляет нашим чувствам особое наслаждение и на первых порах сильнее всего потрясает, именно это всего скорее и утомляет, пресыщает и надоедает... Во всех областях с сильнейшим наслаждением граничит пресыщение... Будь то стихотворение или речь, но если они благозвучны, отполированы, разукрашены, нарядны — без перерыва, без передышки, без разнообразия — как бы написаны все одними яркими красками, они могут услаждать лишь недолго» («Об ораторе», III, 25, 96, 98, 99—100).

Чрезвычайно интересны те указания, которые Цицерон дает относительно нахождения этих «драгоценностей», украшающих речь: все слова, из которых оратор должен выбирать, Цицерон делит на «собственные имена вещей, которые как будто родились с ними», на те, которые переносятся и как бы помещаются на чуждые им места, «и на те, которые мы обновляем или сами создаем» («Об ораторе», III, 37, 128). Он приводит примеры архаизмов, придающих речи достоинство, если их употреблять не слишком часто (например, «отпрыски» и «чада» вместо «дети» — *proles*, *suboles* вместо *liberi*; «година» вместо «время» — *tempestatas* вместо *tempus*); можно составлять новые слова, как, например, *versutiloques* — «изворотливый в речах»; лучше же всего использовать метафору и сравнение: «Широко распространен способ переноса смысла; его породила бедность и узость [языка], впоследствии же его прославил его привлекательность и очарование. Подобно тому, как одежда была изобретена для защиты от холода, а потом употреблена для украшения и придания достоинства, так и перенос слов возник вследствие бедности, а закрепился в силу доставляемого удовольствия» («Об ораторе», III, 38, 155). Совершенно верно обосновывает Цицерон психологический процесс сравнения, происходящий на основе различных ощущений: «И аромат изящества, и мягкость хорошего воспитания, и *шепот* моря, и *сладость* речи заимствованы от других чувств... В природе нет никаких предметов, названием которых мы не могли бы воспользоваться для других» («Об ораторе», III, 40, 161). Однако он предостерегает от пользования непохожими сравнениями и порицает Эния за выражение «арка неба» (*Caeli fornices*). Далее он разбирает разные виды тропов («Африка» вместо «африканцы», «Церера» вместо «плоды», «тога» вместо «мир», «стены и крыши» вместо «здания» и т. п.). Все эти наблюдения носят вполне реальный характер. Напротив, ряд абстрактных общих мест, которые Цицерон-Красс рекомендует развивать как философские темы и черпать из них аргументы, производят на нас расхолаживающее впечатление — это темы школьных диатриб, взятых из греческих учебников риторики; например: «стремится ли человек к доблести ради своего достоинства или ради какой-либо выгоды?», «почему учнейшие люди расходятся в самых важных вопросах?», «следует ли добиваться славы или богатств?» и т. п. Среди них попадаются, однако, и такие, которые имели вполне реальную основу и политическое значение, например: «следует ли мудрецу заниматься государственными делами», или «должен ли мудрец руководиться мнением лучших людей или искать славы у народа?», «следует ли избегать бедности?» («Об ораторе», III, 29, 116).

Чисто звуковой стороне речи Цицерон тоже уделяет много внимания. Он предупреждает будущих ораторов и от грубого и от слишком вычурного произношения, отмечая красоту и чистоту говора коренного населения города Рима, сохранившегося особенно хорошо среди матрон, живущих в тесном домашнем кругу («Об ораторе», III, 12, 45).

Еще богаче, чем в диалоге «Об ораторе», этот раздел ораторского искусства представлен в «Ораторе». Едва ли есть хотя бы одна черта латинской речи, которая ускользнула от внимания Цицерона. Он говорит и о необходимости избегать зияния, и о стяжении гласных, и о различии между более старым и новым произношением, и об устаревающих грамматических формах. Ритм речи, ее музыкальность, высокий или низкий тон, чередование долгих и кратких слогов, особенно в концовках разделов речи (клаузулах), — все находит отражение в его трактате («Оратор», 45—68). Для нас наиболее трудно полностью оценить его учение о ритме и метре речи (*numerus*). Цицерон не раз говорит, что требование музыкальной отшлифовки речи вложено в нас природой, и возмущается теми, кто этого не понимает. «Что касается тех, кто этого не чувствует, — говорит он, — не знаю, что за уши у них и что в них человеческого» («Оратор», 50, 168).

Вопросы ритма были так тщательно разработаны Цицероном отчасти в целях полемических; его противники-аттицисты не одобряли всех этих приемов как слишком искусственных, указывая на то, что более древние ораторы обходились без них. Цицерон же, не без основания, возражал, что к красоте речи стремились все ораторы во все времена, но достигали ее часто с помощью не искусства, а своих природных дарований; но отчего же не пользоваться искусством, раз его законы открыты?

Кроме трех крупных риторических трактатов, до нас дошло еще несколько небольших произведений Цицерона. «Подразделения речей» (*Partitiones oratoriae*) — небольшое, сухое сочинение, написанное в форме вопросов и ответов. Действующие лица — сам Цицерон и его сын; вопросы задает сын, отец дает ответы; в такой школьной форме изложены основы риторики. Другое сочинение, «Тописка», адресованное юристу Требатию Тесте, одному из многочисленных корреспондентов Цицерона, представляет собой конспект «Тописки», т. е. учения о нахождении аргументов. Непосредственной связи с «Топиской» Аристотеля это сочинение, по-видимому, не имеет; оно гораздо проще и носит характер учебного пособия, хотя своим возникновением оно все же обязано именно «Тописке» Аристотеля. Требатий, не справившись с этим сочинением, слишком сложным и трудным, обратился к Цицерону с просьбой составить для него руководство в более легкой форме. Цицерон сам рассказывает об этом в сопроводительном письме и, учитывая интересы своего адресата, приводит многие примеры доказательств из юридической практики.

Последнее сочинение по риторическим вопросам, занимающее всего несколько страниц, носит название «О лучшем роде ораторов» и представляет собой введение к переводу образцовых речей Демосфена и Эсхина, который Цицерон, по его заявлению, уже сделал сам. Однако никаких сведений об этом переводе до нас не дошло; возможно, что он не увидел света или что дело ограничилось одним введением. Это маленькое сочинение носит полемический характер и направлено специально против аттицистов, которые, по мнению Цицерона, слишком узко понимают «аттический» стиль речи. Поэтому он хочет ознакомить их с Демосфеном и Эхином, горячими совсем иначе, чем столь любимый аттицистами Лисий. При этом Цицерон высказывает свое глубокое преклонение перед Демосфеном и говорит, что «нет оратора, который бы не хотел походить

на него» (гл. 2). О самом себе в этом сочинении Цицерон не говорит ничего, но высказанное им здесь желание исполнилось: он вошел в историю как единственный оратор, действительно похожий на Демосфена, и в «параллельных биографиях» Плутарха занял навсегда место рядом с ним.

7. РЕЧИ ЦИЦЕРОНА

В собрание речей Цицерона принято включать 58 речей. Большинство их сохранено полностью, в некоторых же не хватает начала (в речи против Писона), в других — конца (в речи за Гая Рабирия); речи за актера Росция, за Фонтея, Марка Туллия и Эмилия Скавра представляют собой крупные связанные фрагменты и поэтому включаются в собрание сохранившихся речей; помимо этого, имеются небольшие фрагменты от 17 речей, а около 30 речей известно только по упоминаниям о них у самого Цицерона или других авторов (например, о защите одной уроженки Арретия по вопросу о гражданстве; см. «За Цецину», 33, 97).

По тематике речи Цицерона можно разделить на несколько основных групп. Цицерон начал свою карьеру как ходатай по гражданским делам и никогда полностью от нее не отказывался; будучи хорошим знатоком и обычного, и писаного права, он нередко выступал по вопросам земельных имуществ, долговых обязательств, а также по вопросу о гражданстве. Однако большая часть дел, которые он вел, носила, помимо уголовно-административного, явно выраженный — политический характер, а именно: дела о подкупе на выборах, о взятках и несправедливых поборах в провинциях, об организации государственных заговоров и беспорядков или косвенном участии в них. Наконец, имеется ряд речей по чисто политическим вопросам, произнесенных в заседаниях сената или в комициях. Особняком стоят три речи, произнесенные перед Цезарем во время его диктатуры: преследуя в основном цель ходатайствовать за бывших политических противников Цезаря, они, несомненно, имеют и оттенок эпидиктических речей — поучений правителю. Тематика и хронология речей отражены в таблице на стр. 215.

Не следует думать, что в своих речах Цицерон строго придерживается только той основной темы, которой посвящена данная речь. Нет почти ни одной речи, где бы он не высказывался по общим вопросам римской политики, не выражал бы своих личных взглядов на эту политику и на положение в Риме, а также своих философских или моральных убеждений. Почти во всех речах имеются также очень ценные для нас указания на характер римского судебного процесса, даются интересные зарисовки нравов общества, характеров и типов лиц, участвующих в данном процессе. Наконец, и личные дела, и черты характера самого Цицерона тоже очень часто — на наш современный взгляд, даже слишком часто — играют значительную роль в оценке того или другого события.

Что касается формы речей, то во всех речах есть сходные излюбленные литературные приемы, которые, несомненно, развиваясь и совершенствуясь с возрастом и практикой оратора, представляют собой известную сумму характерных черт, типичных именно для цicerоновского ораторского искусства.

8. ОТРАЖЕНИЕ ВОЗЗРЕНИЙ ЦИЦЕРОНА В ЕГО РЕЧАХ

Время, когда Цицерону пришлось впервые выступать в качестве оратора, не было благоприятным для развития судебного красноречия. Суды при Сулле функционировали так нерегулярно и в них так слабо соблю-

Гражданские дела	Уголовные дела	Административно-уголовные дела политического характера	Речи политические	Речи политико-эпидейктические
«За Публия Квинция» (81 г.)	«За Росция Америкского» (80 г.)	«Против Верреса» (70 г.) — 7 речей	«О законе Манилия» (66 г.)	«За Марцелла» (46 г.)
«За Марка Туллия» (71 г.)	«За Клуенция» (66 г.)	«За Фонтя» (69 г.)	«Об аграрных законах» (63 г.) — 3 речи	«За Лигария» (46 г.)
«За Цецину» (69—68 гг.)	«За Целия» (56 г.)	«За Мурену» (63 г.)	«Против Катилины» (63 г.) — 4 речи	«За Дейотара» (45 г.)
«За Росция-актера» (66 г.)	«За Милона» (52 г.)	«За Гая Рабирия» (63 г.)	«К сенату и народу» (57 г.) — 2 речи	
«За поэта Архия» (62 г.)		«За Суллу» (62 г.)	«О консульских провинциях» (56 г.)	
«О своем доме» (57 г.)		«За Луция Флакка» (59 г.)	«Филиппики» (44—43 гг.) — 14 речей	
«Об авспидиях» (56 г.)		«За Сестия» (56 г.)		
«За Луция Корнелия Бальба» (56 г.)		«Против Ватиния» (56 г.)		
«За Рабирия Постума» (54 г.)		«Против Низона» (56 г.)		
		«За Гнея Планция» (54 г.)		
		«За Эмилия Скавра» (54 г.)		

дался порядок, установленный в более спокойные времена Республики, что Цицерон, выступая за Росция Америкского, решился назвать этот процесс первым за долгое время и именно этим объяснял дерзость обвинителей Росция, рассчитывавших на легкую победу («За Росция Америкского», 10, 28). В своей первой речи по гражданскому процессу Публия Квинкция Цицерон тоже говорил, что ему придется бороться против «насилия и лицепрятия» (*contra vim et gratiam* — «За Квинкция», 1, 5)⁷. Он даже начал эту свою речь с того, что против него выступают «две могущественнейшие силы в государстве — лицепрятие и красноречие (*quae res in civitate duae plurimum possunt... summa gratia eloquentia*; там же, § 1); его противником был уже известный в то время Гортензий, открытый приверженец сулланского режима. Казалось бы, применительно к судебным делам следовало бы, скорее, говорить о силе закона, но в первых речах Цицерона ни о законности вообще, ни об отдельных законах почти нигде не упоминается (кроме упоминания о древнем наказании отцеубийц, приводимом в качестве курьеза, «За Росция Америкского», 25). Цицерон оперирует исключительно общим моральным понятием «истины» (*veritas*; «За Квинкция», 2, 10); кроме того, он либо пытается пробудить в судьях сознание их обязанностей и достоинства, либо вызывает к их милосердию, что было, правда, «общим местом» судебных речей и одним из любимых приемов Цицерона, применявшимся им и впоследствии.

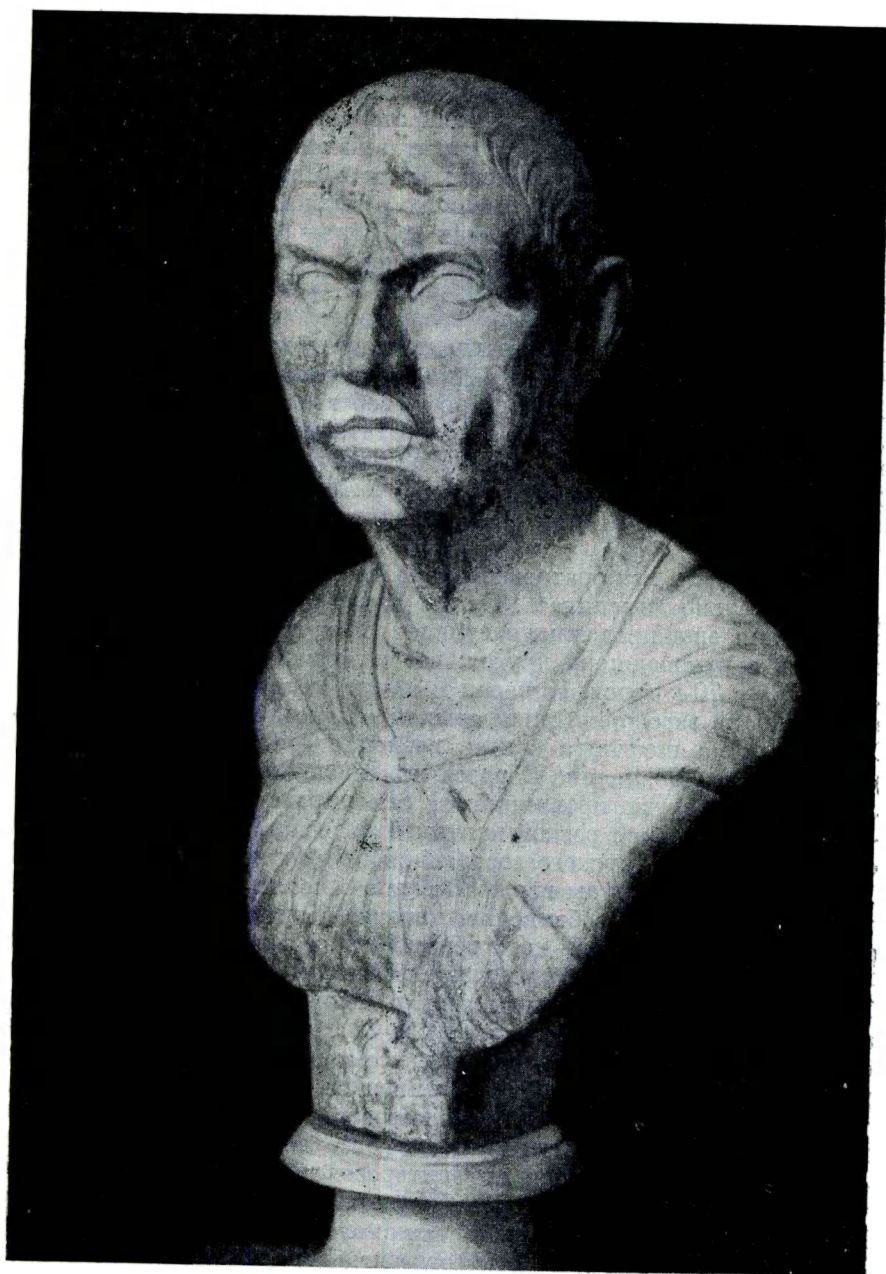
В состав суда в это время входили только сенаторы, и для Цицерона, как «человека нового», было очень важно найти себе подходящих покровителей в среде аристократии. По-видимому, этой цели он достиг, сблизившись с родом Росциев, принадлежавших к муниципальной знати, и через них с мощным древним родом Метеллов, игравшим всегда видную роль в политике.

Своего первого подзащитного, Публия Квинкция, Цицерон защищал по просьбе его шурина, знаменитого актера Росция, вольноотпущенника семьи Росциев («За Квинкция», 24—25). По всей вероятности, защита прошла успешно и привлекла внимание к молодому оратору, так как в следующем году ему было поручено более ответственное дело, защита члена самого рода Росциев, обвинявшегося в отцеубийстве своими же сородичами, пользовавшимися покровительством временщика Суллы, Хрисогона. Когда после успешной защиты Росция Цицерон покинул Италию, опасаясь недовольства Суллы, то, весьма возможно, расходы по его путешествию и двухлетнему пребыванию в Греции были покрыты благодаря покровительству знатных лиц.

Связь Цицерона с Росциями продолжалась и после возвращения, что видно из его выступления в пользу того же актера Росция по финансовому вопросу.

Первый период жизни Цицерона принято называть «демократическим»; этот взгляд обосновывается тем, что он решился, хотя и косвенно, выступить против диктатуры Суллы и покинул Италию. Оппозиция единоличному правлению Суллы могла, однако, идти с двух сторон: не только со стороны разбитых, хотя и не окончательно уничтоженных сторонников Мария, но и со стороны крупной родовой знати, консервативных республиканских кругов, отстраненных от участия в политике единовластием Суллы. Немало представителей древних родов лишились имущества и жизни, подав в проскрипционные списки.

⁷ В своих первых речах Цицерон употребляет слово *gratia* исключительно в этом дурном смысле — лицепрятие, потворство.



*Голова ликтора
Конец I в. до н. э. Мрамор*

Связывать себя с сулланским режимом Цицерону мешали преклонение перед древними традициями, а также личная честность. С демократическими кругами он явно не имел никогда ничего общего: только тот, на кого не могло пасть ни малейшего подозрения в его собственных связях с марианцами, мог рискнуть так решительно отмежеваться от них для опорожения своего противника, как это сделал Цицерон в процессе Квинкция. Цицерон пошел старым испытанным путем «новых людей» — придерживаясь тех, кто имел вековую силу в Римской республике, т. е. представителей древних родов, имевших основной вес в сенате. Своим образцом он избрал — о чем он говорил не раз — Катона Старшего, которого «вывел в люди» его аристократический сосед по имени, Валерий Флакк, и который стал ярким консервативом. Однако Цицерон оказался и менее тверд, чем Катон, и менее послушен своим покровителям; да и время было другое: сама аристократия уже не представляла собой единого целого, и Цицерон видел ее политическую слабость.

Поэтому он и попытался вести свою собственную политическую линию, направленную на укрепление консервативно-республиканской группировки представителями того сословия, из которого вышел он сам, т. е. состоятельными всадниками. В своих первых речах он еще не упоминает об этом, но в процессе Верреса эта тенденция выступает у него уже достаточно ясно.

За первые десять лет ораторской карьеры Цицерона политическая ситуация значительно изменилась. Сулла умер (78 г.), и хотя созданные им учреждения еще продолжали существовать, произошли многие переориентации в руководящих кругах: возросло влияние Помпея, на которого, начиная с 70-х годов, Цицерон и начал «ориентироваться» и поэтому в «Верринах» заговорил иным языком — уже открыто как всадник.

Основная тема шести (а считая введение — *divinatio* — семи) речей по делу Верреса — обвинение Верреса и защита Сицилийской провинции, а тем самым и других провинций от самоуправства римских чиновников — сочетается здесь с резкой критикой судебного дела, находившегося все еще в руках сенаторского сословия. Цицерон, правда, всегда указывает, что он критикует суды исключительно в целях восстановления авторитета сената. Основное обвинение, которое Цицерон выдвигает против сенаторов в качестве судей, — это обвинение во взяточничестве. Он говорит, что от него «римский народ узнает, почему в то время, когда судьями были всадники, не возникало ни малейшего подозрения в подкупности суда» («Против Верреса», I, 13, 38), и приводит примеры процессов, в которых судьи-сенаторы заведомо пошли на подкуп. Почувствовав возрастающую с возвышением Помпея силу всадников, Цицерон решился выступить как защитник своего сословия. Под «новыми людьми» (*homines novi*) подразумеваются у него вовсе не представители простого народа и даже не защитники его интересов из рядов аристократии, а всадники, представители финансовой знати.

Едва ли Цицерон мог выступать так смело на свой собственный страх и риск. В сенате, несмотря на некоторое недоверие к Помпею, все же, несомненно, уже намечалась тенденция к сближению с ним; с другой стороны, и Помпей, несмотря на восстановление им трибуната, вовсе не был склонен брать на себя роль демократа, второго Мария, и понимал, что полноты власти, хотя бы в делах войны, он сможет достигнуть только при содействии сената. Показательно в этом отношении выступление Цицерона в 66 г., т. е. через четыре года после процесса Верреса, в речи, носящей в рукописях и изданиях двойное название «О законе Манилия» и «О полномочиях Гнея Помпея». Предложение о передаче Помпею едино-

властного командования в третьей войне с Митридатом было внесено народным трибуном Манилием, не игравшим никакой роли в политике; против же возражений приверженцев крайнего крыла аристократии, Катуга и оратора Гортензия, должен был выступить именно Цицерон. Их возражения против необходимости единоличной власти Помпея Цицерон отводит не принципиальными политическими соображениями, а ссылками на доблесть, благородство, скромность, счастье Помпея и на его личную честность. В качестве же самого сильного аргумента в пользу назначения Помпея главнокомандующим в Азии Цицерон выставляет огромное богатство азиатских провинций и возможность утраты доходов, если в них будет и дальше хозяйничать Митридат; при этом он ловко использует жадность и захватнические тенденции сенаторов.

«Вам не следует пренебрегать тем, что... эта война затрагивает имущественные интересы многих римских граждан. Ведь и публиканы [откупщики государственных доходов], честнейшие и почтеннейшие люди, связали свои расчеты и имущество с этими провинциями. А об их делах и об их благополучии вам следует заботиться. Ибо если мы всегда считали, что поступления от податей (*vectigalia*) являются жизненными соками государства, то несомненно, именно то сословие, которое собирает их, мы по праву должны считать дающим силу всем другим сословиям» («За Манилиев закон», 7, 17). Таким образом, экономическая роль публиканов дает им право на высокое положение в государстве, а в богатую провинцию надо послать того, кто больше всего даст дохода государству, будучи лично честным, т. е. Помпея, человека, который умеет «удерживать свои руки, глаза и сердце от посягательства на деньги союзников, на их жен и детей, на золото и сокровища их дворцов» (там же, 23, 66). Так, превознося Помпея, Цицерон не забывает подчеркнуть, что он, Помпей, только всадник.

Прошло всего три года после этой речи, и сам Цицерон был избран в консулы. По словам Саллюстия, нобилитет решил пойти на его избрание скрепя сердце, боясь движения, возглавлявшегося Катилиной.

Антидемократическое направление деятельности Цицерона после его избрания в консулы является фактом общепризнанным, но чаще всего оно изображается, как отказ от прежних позиций, и главное внимание обращается на поведение Цицерона во время заговора Катилины. Между тем, никакого отказа от прежних позиций по существу в деятельности Цицерона не было, и ко всяким «крайним» проектам, посягавшим в конечном счете на имущественное положение состоятельных людей в форме ли раздела земли, отмены долговых обязательств и т. п., Цицерон всегда относился резко отрицательно. Его три речи против аграрных законопроектв Рулла, с этой точки зрения, может быть, более характерны, чем его знаменитые Катилинарии.

Основная задача речей против Рулла — возбудить страх за свое имущество в умах тех, кто получает доходы с государственных земель. Для государства, по мнению Цицерона, особенно опасны те, кого собираются поселить в Капуе (Рулл предполагал вывезти туда 5000 безземельных). «Что, вы думаете, — спрашивает Цицерон, — останется незатронутым в государстве, как вы сможете сохранить вашу свободу и достоинство, когда Рулл и те, кого вы боитесь больше самого Рулла, захватят Капуу и окрестные города со всем имуществом, серебром и золотом, заполонят их своей армией нуждающегося сброда?» (*cum omni egentium et improborum manu* — «Об аграрном законе», I, 7, 22). В своей второй речи он называет этих предполагаемых колонистов Капуи «пятью тысячами людей, подобранных для насилия, преступлений и убийств» («Об аграрном за-

конец», II, 28, 77). Тут же он пугает своих слушателей и тем, что с этой области перестанут поступать подати, которые выручали Рим не раз во времена войн с Митридатом, Серторием и Спартаксом, когда не было поштуплений из Азии, Испании и даже из близкой Сицилии.

В том же году, когда Цицерон так яростно выступал за охрану республиканских законов и «свободы» римских граждан, он сам, хотя и при поддержке большей части запуганного сената, нарушил основной закон, казнив сторонников Катилины без суда. В тот момент против Катилины сплотились между собой все имущие без различия происхождения. А после того как разнесся, может быть, намеренно пущенный слух о поджоге города, к ним присоединилось и остальное римское городское население, даже беднейшие ремесленники, дрожавшие за свое скудное добро. Это на всю жизнь запомнилось Цицерону.

Понял ли Цицерон, что казнь заговорщиков он совершил крупную политическую ошибку, сказать трудно: в его письмах к Аттику иногда звучат ноты сожаления о своих ошибках и насмешки над собой, но в речах этого, разумеется, нет.

События, развернувшиеся в римском государстве после разгрома движения Катилины, — изгнание Цицерона из Рима в результате обвинения его в превышении власти, триумвират Цезаря, Помпея и Красса — все это постепенно внушает Цицерону страх за свое положение, имущество и личную безопасность. Жизнь шла вперед, и воспоминания о заговоре Катилины перестали волновать римское общество.

Отношения между триумвирами, борьба Клодия с сенатом и лично с Цицероном, победы Цезаря в Галлии захватывали умы всех; Цицерон беспомощно метался между подлинными вершителями судеб Рима и старался в целях самозащиты напоминать постоянно о своих былых заслугах. Своим возвращением из изгнания он был обязан тому, что многие крайне консервативно настроенные сенаторы, а также всадники видели в нем полезное орудие против демократов. После возвращения из изгнания ему пришлось выступать в качестве защитника на некоторых процессах сомнительного свойства (процессы Сестия, Планция, Рабирия Постума и Милона).

Все эти речи политически менее содержательны, чем речи предыдущих периодов. Интересен историко-политический экскурс в речи за Сестия (гл. 45—55), дающий характеристику оптиматов и популяров, и речь «О консульских провинциях» (обе от 56 г.).

В историческом экскурсе, типичном образчике настроений той верхушки, интересы которой отстаивал Цицерон, материальное благосостояние основной массы населения италийского крестьянства целиком выпадает из поля зрения Цицерона. Угрожающий процесс обезземеления мелких землевладельцев и скопление огромных земельных владений в руках богачей из аристократии и из всадников — все это проходит мимо Цицерона: борьбу внутри государства он объясняет исключительно злонамеренностью некоторых людей.

Гражданская война на несколько лет прервала ораторскую деятельность Цицерона, да и диктатура Цезаря не поощряла ее. Три речи, произнесенные перед Цезарем (за Марцелла, Лигария и Дейотара), не касаясь непосредственно современного политического положения, все же отражают известную политическую установку, полную сдержанного неодобрения.

Наиболее принципиально проводит Цицерон свою консервативно-республиканскую точку зрения в последних своих речах — в «Филиппиках» против Марка Антония. Вполне откровенно выражая свою радость по по-

воду гибели «тирана» и возврата к прежней «свободе», он упорно борется с попытками Марка Антония присвоить себе право единолично распоряжаться судьбами государства.

Когда же Антоний открыто выступил против сената, Цицерон не может найти достаточно резких слов, чтобы унижить его (вся IV филиппика), считая его хуже Катилины, — «преступностью он равен ему, но энергией ниже; тот, не имея войска, быстро создал его; этот потерял войско, которое имел» («Филиппики» IV, 6, 15).

Помимо интересных наблюдений над отражением политических взглядов самого Цицерона в его речах, эти речи являются богатейшим источником для изучения форм римского судебного процесса и способа ведения дел в сенате и в комициях.

9. РЕЧИ ЦИЦЕРОНА КАК ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Речи Цицерона в том виде, в каком они были предназначены им к изданию и в каком дошли до нас, являются, как и его письма, не только важными памятниками его времени по своему содержанию, но и исключительно ценными образцами литературного мастерства. Среди исследователей было немало споров о том, произносил ли Цицерон свои речи в том виде, в каком они были изданы, или он перерабатывал их перед тем, как передать их в руки читателей, и в какой мере он это делал. Судя по тому, что в его письмах к Аттику не раз встречаются просьбы внимательно прочесть и отредактировать то или иное произведение, в том числе и некоторые речи, едва ли можно сомневаться в том, что речи перед изданием обрабатывались⁸. Однако для исследования истории литературных форм это скорее достоинство, чем недостаток, так как Цицерон, несомненно, чем дальше, тем больше старался отшлифовать свои труды именно в отношении литературных красот, и его риторические трактаты, особенно «Оратор», свидетельствуют о том, насколько тщательно и сознательно проводил он эту работу.

Всякая судебная речь должна, по учению Цицерона, во-первых, ввести слушателей во все обстоятельства расследуемого дела и, во-вторых, убедить их в той или иной оценке тех фактов, из которых слагается данное дело. Задача обвинителя — внушить слушателям отрицательную оценку данных фактов; задача защитника, говорящего после обвинителя⁹, может быть различна; он может доказывать, что данных фактов не было вообще, либо, что были факты, скрытые обвинителем, или он может, признавая наличие самих фактов, не соглашаться с той оценкой, которую им дал обвинитель. В речах Цицерона имеются и те, и другие случаи; так, например, в речи за Клуенция Цицерон должен был доказать, что Клуенций

⁸ Предположение о сильной переработке речей основано на историческом анекдоте (Дион Кассий, «Римская история», 40, 54) о том, что Милон, прочтя изданную уже после его изгнания речь Цицерона в его защиту, будто бы сказал: «Если бы он произнес эту речь, то мне не пришлось бы попробовать рыбы, которая ловится здесь в Массилии». Однако нельзя переносить это высказывание на все речи: речь за Милона была произнесена в совершенно особой обстановке, когда здание сената было окружено войсками ввиду возможности вторжения толпы, возбужденной смертью Клодия.

⁹ В своем первом деле (в защиту Публия Квинкция) Цицерон указывает на неправильное ведение судебного процесса, заключающееся именно в том, что он, неопытный молодой защитник, должен выступать раньше опытного красноречивого обвинителя Гортензия и «отражать стрелы, пока они еще не слетели с тетивы» («За Квинкция», 2, 8).

не отравил своего вотчина, а в речи за Мурену, обвинявшегося в заискивании перед избирателями, он доказывает, что поступки Мурены не подходят под определенные «заискивания перед избирателями» (*ambitus*).

Таким образом, всякая речь естественным образом распадается на основные части — повествование (*narratio* или *expositio*) и доказательство правоты своих взглядов (*probatio*) и неверности взглядов противника (*refutatio*). Введение (*exordium*) и заключение (*peroratio*) являются дополнительными частями этой схемы. Античная риторика устанавливает еще ряд более мелких подразделений этих основных частей.

Этой схемы Цицерон в общем придерживается во всех своих речах, но обладает способностью бесконечно варьировать ее. Он, несомненно, придавал большое значение повествовательной части своих речей и умел сделать ее интересной; это, вероятно, было нелегко, так как слушателям обстоятельства дела должны были быть известны уже из речи обвинителя, если даже они не знали их и раньше, что при громких процессах всегда имеет место еще до суда. Цицерон разнообразит повествование целым рядом особых приемов: он охотно приводит исторические анекдоты о знаменитых людях, примеры и аналогичные случаи, рисует живые бытовые картины, дает характеристики лиц, участвующих или прикосновенных к данному делу, умеет оживить последовательное однообразное изложение фактов вымышленным диалогом, употребить к месту цитату, изречение или поговорку, игру слов. Именно в повествовательной части речей большей частью обнаруживается литературный талант Цицерона.

Можно думать, что работа над повествовательной частью речей была более легкой работой, чем подготовка доказательств и «опровержений», требовавшая большого хитроумия, особенно в тех случаях, когда невиновность подсудимого была не очень ясна. Поэтому в этой, второй части Цицерону чаще приходилось прибегать к различным приемам «для отвода глаз»; именно здесь встречаются чаще, чем в повествовании, риторические украшения, вопросы, возгласы, общие теоретические рассуждения; исторических ссылок немало и тут, особенно часто проводится сравнение доблестных «нравов предков» с современной распущенностью. Чисто юридических аргументов, ссылок на определенные законы у Цицерона не так много, как можно было бы ожидать от опытного судебного оратора.

В политических речах Цицерона повествовательная часть заключает в себе обычно изложение политической ситуации данного момента, а вторая часть — доводы за или против намечающегося мероприятия.

Один из любимых приемов Цицерона, который он применяет, конечно, больше в судебных, чем в политических речах, — шутка и насмешка. Юмор Цицерона, часто украшающий его письма, нередко выступает и в его речах; оратор умеет использовать его искусно и неожиданно.

Во вступительных и заключительных частях речей Цицерон наименее оригинален. Вводные части содержат в себе обычно обращение к судьям и разъяснение причин, почему Цицерон решился взять на себя выступление в этом процессе. Финальные же части наиболее однообразны и часто растянуты; в них защитник изображает жалкое положение подсудимого и обращается к милосердию судей, используя во многих речах почти однотипные формулы.

Оценка литературного достоинства и красот каждого литературного произведения является тем участком в работе историка литературы, на который его индивидуальные вкусы оказывают наибольшее влияние. Тем не менее необходимо наметить некоторые общие линии и попытаться установить характерные черты различных периодов развития ораторского искусства Цицерона.

Речи первого периода (за Публия Квинкция и Росция Америкского), эти первые шаги Цицерона на судебном поприще, несут на себе черты некоторой неопытности автора. Например, в речи за Росция Америкского он повторяет в 3-й и в 52-й главах буквально одну и ту же формулу, но во второй раз перефразирует ее на несколько ладов: «Прежде всего я прошу Хрисогона, чтобы он удовлетворился нашими деньгами и имуществом и не требовал нашей крови и нашей жизни...» (3, 7); «Если мы от Хрисогона не добьемся, чтобы он удовлетворился нашими деньгами и не требовал нашей жизни, если, отняв у нас все, что нам принадлежало, он захотел отнять у нас и общее достояние, свет, если ему недостаточно насыщать свою жадность нашими деньгами, а надо еще напоить свою жестокость нашей кровью, то, судьи, Сексту Росцию остается только одна надежда — на ваше милосердие» (52, 150). Заключительная глава речи за Публия Квинкция также напоминает школьное риторическое упражнение: описывая положение Квинкция, в случае если он проиграет процесс, Цицерон изображает его участь в таких черных красках, что можно подумать, будто Квинкция, по крайней мере, идет в изгнание с конфискацией имущества; а он всего только мог лишиться земельного участка в Галлии («За Квинкция», 31).

Огромный шаг вперед сравнительно с первыми речами представляют собой так называемые Веррины (введение против Цецилия, одна речь на первой сессии в присутствии Верреса, пять речей произнесенных). Может быть, никогда, ни до, ни после процесса Верреса, Цицерону не приходилось прилагать так много труда к собиранию фактов для юридического обоснования своего обвинения и к литературному изображению их для возбуждения интереса у читателей: исход процесса был неясен. У Верреса, по-видимому, было много заступников и огромные денежные средства для подкупа; поэтому победа в этом процессе обещала Цицерону и личную славу, и шаг вперед в его политических планах. С обеих сторон, и с фактической, и с литературной, Веррины безукоризненны; с крайней тщательностью в них собран и обработан огромный материал «состава преступления»: время, место, имена пострадавших, характер и масштабы хищений, издевательств и прочих правонарушений, в которых был повинен Веррес, указаны ясно и точно. Но повествование от этого не становится скучным, а местами напоминает увлекательный уголовный роман — настолько искусно перемежает Цицерон чисто юридические доказательства с бытовыми картинами и историческими примерами. Особенно живо написана четвертая речь второй сессии, рассказывающая о тех хищениях, которые Веррес, «любитель искусств», произвел в храмах и богатых домах Сицилии. В ней дано множество интересных бытовых сведений, например, о существовании антикваров, знатоков и оценщиков художественных вещей, которые, чтобы подслужиться к Верресу, указывали ему, где можно конфисковать или фиктивно купить ценные предметы (вторая сессия, IV, 13—14); драматично рассказан эпизод о захвате драгоценного светильника у сыновей царя Антиоха, которые везли его в Рим, в храм Юпитера (там же, гл. 27—29). Чтобы противопоставить жадность Верреса былой честности римских магистратов, Цицерон рассказывает анекдот о некоем преторе Пизоне, который велел произвести починку своего сломанного золотого перстня при свидетелях, чтобы никто не заподозрил, что он взял золото из провинциальной казны (там же, гл. 25). Некоторые эпизоды о позорной карьере Верреса представляют законченные новеллы, как, например, рассказ о похищении красавицы-девушки в Лампсаке, последовавшем за этим восстанием и казни повстанцев (вторая сессия, I, 25—36).

Даже в такой небольшой и по содержанию незначительной речи, как речь за Цецину, повествовательная часть (гл. 3—8) тщательно отделана и дает живую бытовую картину склоки из-за небольшого земельного участка, приведшей к вооруженному столкновению; в части же «опровержения» есть интересный для филолога экскурс о значении слов *unde*, *ex*, *ab*; Цицерон требовал, чтобы Цецину вернули туда, откуда его выгнали, но так как вооруженные сторонники его противника набросились на него с оружием на границе его участка, то они и пошли на такую уловку, чтобы вернуть его на эту границу, не впуская на участок: «Это слово *unde*, — говорит Цицерон, — означает и «из какого места» и «от какого места». Откуда был выгнан Цинна? *Из* города; откуда [отброшен] Телезин? *От* города. Откуда галлы? *От* Капитолия. Откуда Сатурний? *Из* Капитолия. Вы видите, что под словом *unde* подразумевается и «из чего» и «от чего» («За Цецину», 30, 87—88). Даже из этого небольшого примера видно, как тщательно обрабатывал Цицерон свои речи и как он умел оживить сухую тему живыми примерами.

В 60-е годы ораторский и литературный талант Цицерона развертывается полностью. По своему содержанию речи этого периода чрезвычайно разнообразны. Уголовному делу посвящена речь за Клуенция, дающая мрачную картину ряда преступлений, совершенных некоей Сассией. Ненавидя своих двух детей от первого брака, она сперва отбила мужа у своей дочери, потом, когда он надоед ей, она с помощью нового поклонника, Оппианика, добилась включения его в проскрипции Суллы, вышла замуж за Оппианика и вместе с ним пыталась отравить своего сына Клуенция. Когда Оппианик, признанный виновным в попытке отравления пасынка, был выслан из Рима и через несколько лет умер в изгнании, Сассия подняла процесс против сына, обвиняя его в отравлении отца. Всю эту безобразную картину Цицерон изображает ярко и детально (может быть, только слишком подробно останавливаясь на процессе уже умершего Оппианика); в течение речи Цицерон не злоупотребляет патетическими возгласами, прибегая к эффектной концовке: «Попытка отравить [Клуенция] для матери не была тайной: Оппианик ничего не предпринимал без ее совета; если бы она не знала об этом, то после раскрытия дела она не только рассталась бы с ним, как с дурным человеком, а бежала бы, как от жестокого врага, и покинула бы дом, затопленный преступлениями. Но она не только не сделала этого, но с тех пор не уснула ни одного случая строить козни сыну; и дни, и ночи мать размышляла о гибели его... Когда она узнала, что скоро суд, она открыто прилетела сюда, чтобы придать обвинителям бодрости и снабдить их деньгами и чтобы мать не потеряла ничего из этого желанного для нее зрелища его бедствий, рыданий и мук...». Описывая, с каким отвращением ее встречало население городов, лежавших на ее пути, Цицерон говорит: «Не было никого, кто не считал бы, что надо подвергнуть очищению те места, через которые она проехала, никого, кто бы не считал землю, нашу всеобщую мать, оскверненной стопами этой преступной матери. Она не могла остановиться ни в одном городке, не нашлось ни одного из многих ее знакомых, кто не боялся бы соприкосновения с ней, как заразы; она должна была больше доверять тьме и одиночеству, чем городам и друзьям» («За Клуенция», 66—68).

Ярким контрастом к этим трагическим картинам являются речи Цицерона «За поэта Архия» и «За Мурену». Первая написана в таком спокойном добродушном тоне, что напоминает скорее литературные мемуары, чем судебную речь. Она восхваляет литературные занятия и любовь к литературе и в то же время немного подшучивает над теми, кто про-

тивится образованию, ссылаясь на древнюю доблесть великих людей, не учившихся никаким наукам, причем, конечно, дело не обходится без любимого героя Цицерона — Катона Старшего, который уже стариком выучился по-гречески. Заканчивая свою речь известным «общим местом» о полезности поэтов для восхваления подвигов великих людей, Цицерон подтверждает его примерами из греческой и римской истории и на этом основании требует предоставления Архю прав римского гражданства. Короткая, легко и просто написанная, эта речь представляется изящной безделушкой (*pugae*) среди серьезных больших речей.

На первый взгляд, характер такой же *pugae*, но уже в юмористическом духе, носит и речь «За Мурену». Цицерон вышучивает в ней сперва соперника Мурены, провалившегося на выборах в консулы юриста Сервия Сульпиция, потом Катона Младшего. Осыпая его комплиментами за его стоическую добродетель, он в то же время насмехается над стоическим учением о том, что нет разницы между крупным преступлением и малым проступком и, по-видимому, впервые открыто заявляет о своей симпатии к учению Новой Академии («За Мурену», 30, 62—63). Цицерону нужен этот философский экскурс, как будто совсем не относящийся к делу, чтобы доказать, что ряд поступков Мурены и обстоятельств, сопровождавших его выборы (встреча с многочисленными клиентами, угощение их, устройство игр и т. п.), не может быть квалифицирован как «заискивание» (*ambitus*), а является естественным выражением взаимной любви между Муреной и римскими гражданами. Вероятно, не только сам Цицерон, но и его слушатели понимали, что дело обстоит не так, и восхищались его находчивостью и остроумием. Однако эти веселые шутки только прикрывают основную политическую задачу речи — настоять на том, чтобы выборы Мурены в консулы не были аннулированы, так как Мурена — помощник и единомышленник Цицерона в борьбе с Катилиной, в то время еще не давшим последнего сражения. Поэтому Цицерон в заключительной части речи усиленно запугивает сенат и переходит от юмористического тона к патетическому. «Зараза от этого преступления распространена больше, чем обычно думают, и охватила многих. Внутри, внутри наших стен конь троянский... Ты спрашиваешь меня, боюсь ли я Катилины. Нет, не его боюсь я — и я позаботился о том, чтобы никто его не боялся — я считаю, что следует бояться его армии, которую я вижу здесь; не так страшно войско самого Катилины, как те, кто, как говорят, покинул его войско; они не покинули его, а оставлены им в укрытии и в засаде и угрожают нашей жизни» (буквально — сидят у нас на голове и на шее. «За Мурену», 37, 78—79).

Опять-таки совершенно иным стилем написаны знаменитейшие речи этого периода — четыре Катилинарии, представляющие собой полумимпровизации. События в эти дни неслись с такой быстрой, что едва ли Цицерон имел время долго готовить свои речи; вероятно, он отшлифовал их при издании, но основа их осталась. Саллюстий, не любивший Цицерона и избегавший слишком частых упоминаний о нем, ограничивается тем, что называет первую катилинарию «известной и полезной для государства речью, которую Цицерон потом издал» («Заг. Кат.», 31), и не говорит ни о каких изменениях, в нее внесенных.

В речах против Катилины подлинная любовь к старому Риму, страх за свое положение, имущество и жизнь, и самолюбивое увлечение своей ролью и возвышенностью своих чувств и слов сливаются в одно неразрывное целое. Можно вполне понимать всю некрасивую подоплеку этих речей, но трудно не поддаться их литературному обаянию.

Из четырех речей наиболее известна и заслуживает этой известности

первая речь: сильное политическое напряжение, острота момента придали пафосу Цицерона известную смелость и подъем. Хотя эта речь переполнена риторическими фигурами, но они не кажутся неуместными, как в речах его молодых лет. Остальные три речи значительно слабее — они повторяют целый ряд образов и оборотов, использованных уже в первой, и кладут начало тому безмерному самодовольству и самохвальству, которое с этих пор овладело Цицероном и от которого несвободна, в сущности, ни одна из его последующих речей, кроме трех речей, произнесенных во время диктатуры Цезаря, когда вспоминать о заговоре Катилины было и неудобно и даже опасно. Когда Цицерон, щеголяя своей скромностью, говорит: «Я не требую от вас, квириты, никакой награды за доблесть, никакой почести, никакого памятника моей славы, кроме вечного воспоминания об этом дне» («Против Катилины», III, 11, 26), то он в первый раз совершает ту ошибку, которую потом неоднократно повторяет, все более преувеличивая значение «этого дня» и свою собственную роль.

Меньшее литературное значение имеют чисто деловые речи «Об аграрном законе» и дышащая яркой ненавистью к демократическому движению речь в защиту Гая Рабирия, которого трибун Лабиен обвинил в убийстве Сатурнина (правда, несколько запоздало — через 40 лет после события). Цицерон в этой речи шрезошел всякую меру; так как ему надо было оправдать своего подзащитного, то он утверждал, что тот не убил Сатурнина, но желая подчеркнуть свою вражду к Сатурнину, он воскликнул: «Если бы он его убил! Тогда я не просил бы об освобождении его от кары, а требовал бы для него награды» («За Гая Рабирия», 11, 31). Выступать с порицанием восстания Сатурнина было особенно легко потому, что его подавление произошло с разрешения и даже по распоряжению консула Мария: самого Мариа Цицерон порицать нигде не решается и даже о Гракхах говорит всегда в более сдержанном тоне, чем о Сатурнине.

Речи 50-х годов так же разнообразны по содержанию, как и речи 60-х годов, но по своей композиции значительно ниже. Только в некоторых из них полностью проявляется литературное мастерство Цицерона в обрисовке быта и его остроумие; в этом отношении самой удачной можно считать речь «За Целия». Самая дружба с Целием, более молодым, чем Цицерон, талантливым оратором, но человеком совершенно беспринципным и легкомысленным, свидетельствует о том, что Цицерону после возвращения из изгнания пришлось сильно снизить свои моральные требования. В процессе Целия, обвиненного знаменитой Клодией, сестрой Клодия и женой одного из Метеллов, в попытке отравить ее, Цицерон использовал свой обычный прием — превратить обвинителя в обвиняемого, как в делах Росция Америкского и Клуенция. Он сделал это с тем большим удовольствием и искусством, что перед ним была сестра его величайшего врага и что репутация Клодии действительно была весьма не блестящей. Поэтому Цицерон, признавая факт связи между Целием и Клодией, с большой ловкостью развивает скользкую тему о том, что именно дозволено неженатому молодому человеку, какие его поступки можно считать безнравственными, какие нет и как надо расценивать поведение самой Клодии. Не стесняясь в выражениях, Цицерон возлагает всю вину на нее и дает попутно интересные бытовые наброски.

К жанру ипективы приближаются речи против Пизона и Ватиния, очень резкие, местами грубо издевательские, что тоже свидетельствует об изменении в характере Цицерона, которому ранее был присущ юмор или пафос, а не озлобленный сарказм. Тем не менее речь против Пизона

как политический памфлет построена хорошо и производит сильное впечатление. В большинстве же речей этого периода за Сестия, Планция, Бальба, не исключая и самой известной из них — речи за Милона, имеются ненужные повторения, экскурсы, иногда, правда, очень интересные по содержанию, но нарушающие стройность речи как литературного произведения.

Большинство этих экскурсов, повторений и отклонений касаются самого Цицерона, его «героизма», его страданий в изгнании, его торжественного возвращения в Рим, его любви к отечеству и т. д.

В речах благодарственных к сенату и народу (так называемых *post reditum*) и в речах «О своем доме» и «О решении авгуров» (опять-таки по поводу его дома) этот подробный разбор своих личных дел на общественных собраниях еще имеет некоторое основание. Но речи за Сестия и Планция вовсе не должны были наполняться исключительно воспоминаниями обо всех этапах изгнания и поводах к возвращению. Причины этого уклонения от главной темы и преувеличенного хвастовства, конечно, ясны. Цицерон вовсе не уверен, что Сестий и Планций не виновны в том, в чем их обвиняют, а, возможно, даже убежден в обратном (т. е. что Сестий действительно организовывал вооруженные беспорядки, наняв гладиаторов, а Планций подкупал избирателей на выборах в эдилы). По фактам, изложенным самим Цицероном, похоже, что дело так и было; еще яснее это, вероятно, было его современникам, хорошо разбиравшимся в организации и мятежей, и выборов. Поэтому Цицерону, как и в речи за Мурену, приходится оспаривать не факты, а их оценку. Однако в обеих речах он делает это гораздо менее искусно, а воспоминания о помощи в борьбе против Катилины не могли через 10 лет производить того впечатления, как при жизни Катилины. Поэтому Цицерон пытается отвлечь внимание слушателей от обвиняемых на себя, воздействовать исключительно на их чувства, а не на разум, и заодно напомнить о своих великих заслугах перед отечеством. Цицерон порой сам чувствует неуместность таких постоянных отклонений от основной темы и извиняется за них, но удержаться от них не может. «Я не настолько неопытен в судебных делах, судьи, и не столь дерзок в своих речах, чтобы склеивать свою речь из различных жанров, подхватывать всюду разные цветочки и ими щеголять. Я знаю, чего требует ваша должность, этот судебный процесс, это собрание, достоинство Г. Сестия, великая опасность, данный момент и мое положение; но я решился изложить в поучение юношеству, кто такие оптиматы» («За Сестия», 56, 119). Эти заключительные слова исторического экскурса об оптиматах и популярах можно объяснить только тем, что слушатели, очевидно, проявляли признаки нетерпения, слушая в судебной речи историко-политические поучения. Едва ли на слушателей могли производить сильное впечатление такие сходные патетические формулы, как, например: «О страшный день, судьи, гибельный для сената и всех честных людей, плачевный для государства, тяжкий для меня и моего дома, памятный для потомства!» (речь идет даже не о заговоре Катилины, а об изгнании Цицерона — «За Сестия», 12, 24) или «О печальные твои труды, Планций, о плачевное бодрствование, о тяжкие ночи, о злосчастная защита моей жизни! Я живой, не могу быть тебе полезен так, как был бы, если бы был мертв [т. е. если бы Планций, вместо того чтобы помочь Цицерону, убил его, то к нему бы относились благосклоннее]. Помню, помню и никогда не забуду ту ночь, когда я, несчастный, тешась ложной надеждой, давал тебе, бодрствовавшему, сочувствовавшему и горевавшему со мной, пустые и ложные обещания отблагодарить тебя, если я вернусь на родину» («За Планция», 42, 101). Этот пафос был бы еще уместен, если бы дело

шло о жизни Планция; но вопрос касается только его выборов в эдилы, которые сам Цицерон называет «неважными».

Более серьезное обвинение было предъявлено Милону, которого Цицерон, как одного из ходатаев за себя, тоже вынужден был защищать. Испытанный прием — обратить обвиняемого в обвинителя, доказать, что не Милон подготовил убийство Клодия, а Клодий готовил убийство Милона, — на этот раз не привел к желаемому результату, да и доказательства Цицерона, действительно, довольно слабы. Даже последующая обработка и множество литературных украшений, внесенных Цицероном в эту речь, не могут сделать его аргументацию убедительнее.

Наиболее сомнительным делом, за которое пришлось взяться Цицерону в эти годы, была защита банкира Рабирия Постума, который использовал явно украденные, правда, не им самим, деньги на выгодные для себя денежные операции.

Сороковые годы вплоть до мартовских ид были для Цицерона годами молчания — от времени гражданских войн не осталось ни одной речи, от диктатуры Цезаря только три. В этих речах совершенно ясно видно, насколько стесненным и униженным чувствовал себя Цицерон в это время: его собственное красноречие не радовало его, да у него было и мало слушателей, а имел значение только один — Цезарь. Весьма вероятно, что и сами речи были только шипецпировкой и что тот или иной ответ на ходатайство за Марцелла, Лигария и Дейотара был уже предрешен. Тем не менее Цицерон приложил серьезные усилия, чтобы блеснуть отделкой этих своих речей: они не многословны, как речи предыдущего периода; напротив, они просты и ясны по построению, а доказательство — местами, правда, совсем не убедительное — ведется без всяких отклонений, четко и точно. В основе каждой из трех речей лежит только одна мысль, подлежащая доказательству. Речь за Марцелла обращается исключительно к «милосердию» Цезаря: Марцелл был убежденным помпеянцем и никаких доказательств его приверженности к Цезарю привести было нельзя, да и сам он не захотел бы этого; поэтому была только одна возможность — просить о прощении его, т. е. играть на слабой струне Цезаря, на его пресловутом милосердии (*clementia*). Речь за Лигария пытается — правда, довольно неуверительно — доказать, что Лигарий не был помпеянцем, а случайно попал в Африку к остаткам помпеянских войск. Наконец, речь за царя Дейотара доказывает, что Дейотар не мог не быть помпеянцем и не помогать Помпею, так как он всегда имел дело только с сенатом как со своим покровителем и союзником и должен был оказать содействие тому, за кем пошел сенат. Живя далеко от Рима, он полагал, что за Помпеем пошел сенат в полном его составе; его помощь Помпею является, таким образом, доказательством его верности Риму, а не изменой ему. Все эти речи крайне хитроумны; Цицерон умеет в них сквозь преувеличенные комплименты Цезарю намекнуть ему на то, что он узурпатор, помянуть добрым словом Помпея, но так, что эта похвала Помпею обращается в еще высшую похвалу Цезарю, и дать Цезарю несколько советов, тоже не лишенных иронии. Однако наряду с этим встречаются и лесть, и ложь, производящая тягостное впечатление. Язык этих речей тоже, вероятно, подделан под вкус аттиквиста Цезаря, он проще, чем обычно, фразы короче и не столь патетичны; почти отсутствуют возгласы и риторические вопросы.

Совсем другим языком заговорил Цицерон, когда после мартовских ид он сбросил с себя маску философа и стал снова тем, чем он был всегда, — приверженцем старой Римской республики и ее красноречивейшим поборником в сенате. Его 14 речей против Антония, не без претензии назван-

ные «Филиппиками» самим Цицероном, может быть, лучшие, и во всяком случае, самые искренние из всех его речей: если во время заговора Катилины Цицерон рисовался, убеждая и себя и других в том, как сильно он рискует собой, то в борьбе с Антонием он действительно знал, что он сильно рискует, и продолжал рисковать. Конечно, и в этих речах есть патетические тирады, но его подлинная любовь к старине и отвращение к единовластию — по его выражению «диктатуре» и «тирании» — еще раз вспыхнули неподдельным огнем; именно они помешали ему полностью согласиться на неоднократные заигрывания хитрого молодого Октавиана и стать всецело на его сторону.

В «Филиппиках» Цицерон горячо восхваляет Октавиана за то, что тот, приняв командование над ветеранами Цезаря, поставил их на защиту сената. Но из писем Цицерона мы знаем, что он не доверял Октавиану; он скорее чувствовал, чем ясно сознавал, что этот новый Гай Цезарь будет более ловким, хотя и менее талантливым «тиранном», чем прежний. И возмущенные протесты Цицерона, глашатая консервативно-республиканских принципов, против единовластия, протесты, которыми полны его последние произведения, дали понять новому «узурпатору», что республиканские принципы еще не совсем умерли; может быть, это и побудило его скромно назвать свою тиранию, — много более последовательную и жесткую, чем диктатура Цезаря, — принципатом.

Общий обзор композиционных приемов, применяемых Цицероном в его речах, уже выявил его искусство повествования — на историческую ли, на современную ли тему, его умение спорить и опровергать, применяя при этом то спокойное систематическое аргументирование, то шутку, то пафос. Однако этим литературная «тематика» Цицерона в его речах не ограничивается; он владеет еще огромным запасом способов сделать свою речь интересной, и если не вполне убедительной, то во всяком случае, завлекательной. Прежде чем перейти к рассмотрению отдельных приемов, касающихся преимущественно формы словесного выражения мыслей, надо остановиться еще на таких приемах, как введение в речь характеристик и пользование литературными цитатами.

Характеристика обвиняемого или подзащитного в судебной речи — добавочное средство, служащее украшением для повествования и подмогой для доказательства. В теории античного красноречия она носила название «этопей», портрета нравов данного лица. Этим приемом Цицерон пользуется очень часто как в положительных, так и в отрицательных целях. Последнее удается ему лучше первого. Его положительные характеристики слишком изобилуют прилагательными в превосходной степени — эпитеты *optimissimus*, *honestissimus* и тому подобные применяются и к Сестию, и к Планцию, и к Милону, отчего теряют свою выразительность. Лучше других, но косвенным образом, обрисован Мурена, которого Цицерону пришлось защищать от нападок слишком строгого Катона, обвинявшего его в расточительности, легкомыслии и даже в плясках, что с точки зрения римлянина было позорным; возражения, приводимые Цицероном, таковы, что характер Мурены, храброго на войне и веселого на отдыхе, обрисован вполне ясно. Наилучшей из положительных характеристик можно считать ту, которую Цицерон дает Росцию Америйскому, скромному провинциальному землевладельцу, который, пока отец с другим сыном проводили время в Риме в политических делах и развлечениях, скромно управлял имением, почти никогда не приезжая в Рим («За Росция Америйского», 14—18).

В иронической характеристике, носящей характер инвективы, Цицерон не раз старается проявить свое остроумие: в первый раз, в речи «За Росция-актера», он делает это довольно неудачно, издеваясь над наружностью

обвинителя, некоего Фанвия Хереи: «Я прошу и умоляю тех, которые знают их обоих, сравните их образ жизни; те же, кто не знает, посмотрите на его лицо; разве форма его головы и эти почти сбритые брови не дышат лукавством и не вопиют о хитрости? Разве не видно, что он с ног до головы состоит из обмана, уловок и лжи, — если только наружность человека дает возможность делать выводы?» («За Росция-актера», 7, 20). Впрочем, насмешки над наружностью в римском суде считались допустимыми, о чем, свидетельствует анекдот, дважды приводимый Цицероном как доказательство остроумия оратора Красса, который, когда на трибуну вышел горбун, сказал: «Послушаем этого красавчика», а на возражение горбуна: «Я не сам сделал свою наружность, но сам достиг красноречия», — ответил, действительно, не без остроумия: «Ну, тогда послушаем этого красноречивого оратора», чем вызвал взрыв смеха в аудитории.

Более остры сатирические характеристики Габиния и Пизона, в которых их наружность подвергается насмешкам не как таковая, а как показатель их характера и склонностей: «Один из них — источающий благоволения, с завитыми волосами... окруженный толпой бездельников и ростовщиков, преследуемый которыми он некогда спасся в надежную гавань трибуна, чтобы не утонуть в бездне долгов и не попасть к позорному столбу: он презирал римских всадников, угрожал сенату, пользовался подкупом и только благодаря своим подкупленным избирателям он едва спасся от обвинения в «заискивании» и хвалился, что он добьется управления провинцией даже против воли сената; если бы он ее не получил, он знал — ему бы не уцелеть. А другой — боги милостивые! Как сурово он выступал, как важно, — страшно было смотреть! Можно было подумать, что видишь перед собой одного из бородачей, представителей древней мощи, образ минувших времен, столп государства! Одет в суровую, плебейскую, почти черную тогу, с волосами такими растрепанными, как будто в Капуе, которой он в то время управлял, не было цирюльника Сепласия. Но зачем я говорю о его нахмуренных бровях, когда именно эти нахмуренные брови в то время казались людям залогом благополучия государства? Взор его был так серьезен, морщины на лбу так внушительны, что на них, казалось, будет опираться все дело правления в том году. Все говорили: «Он — великая и прочная опора государства... он своим весом будет противодействовать распущенности и легкомыслию своего сотоварища. Сенату в этом году будет за кем идти; у честных людей будет руководитель и вождь» («За Сестия», 8).

Эту же характеристику Цицерон кратко суммирует в речи против Пизона, вспоминая о своем вынужденном отъезде из Рима: «Не бежал я от твоих нахмуренных бровей или от плясовой музыки твоего сотоварища; я, который провел корабль сквозь бурю и ввел его в надежную гавань, не настолько робок, чтобы испугаться тучек на твоем челе или ароматного дыхания твоего коллеги» («Против Пизона», 9, 20). В эпитетах, прилагаемых им к врагам, Цицерон не стесняется: ругательства, как, например *furia*, *monstrum*, *homullus*, густо усеивают страницы тех речей, где речь идет о Габинии, Пизоне или Клодии.

Цицерон охотно дает и иронические клички тем, против кого он выступает. Приведя цитату «Медея сурова душой и жестока в бешеной любви», он называет Клодию «этой Палатинской Медеей» (дом мужа Клодии, Метелла, был на Палатине — «За Целия», 8, 18); Пизона он обзывает «Эпикуром, вышедшим из грязи, а не из школы» («Против Пизона», 16, 37), Габиния — «факельщиком Катилины» (там же, 9, 20). Вероятно, эти прозвища легко запоминались и надолго приставали к тем, кому были даны.

Не лучше этих эпитетов и те, которыми Цицерон наделял Катилину,

но только пока Катилина был жив и опасен. О том, что Цицерон чувствовал обаяние, исходившее от этого загадочного человека, свидетельствует характеристика Катилины, данная Цицероном в речи «За Целия», одна из лучших в его речах. Цицерон хотел, чтобы Целию не ставили в вину то, что он в молодости был в числе юношей, во множестве окружавших Катилину. Это желание побудило Цицерона дать не инвективу, а правдивую характеристику Катилины, показывающую ясно, почему именно Цицерон так яростно боролся с ним: «Целий, уже несколько лет посещавший форум, был в числе друзей Катилины: многие из того же сословия и разного возраста делали то же самое. Ведь в Катилине были, как вы, вероятно, помните, многие неясные, затемненные признаки величайших доблестей. Он общался со многими дурными людьми и в то же время притворялся, что предан лучшим. Были у него многие недопустимые прихоти; но было и стремление к упорству и трудам. Он сторал в пороках и разврате, но обладал цветущим мужеством в воинских подвигах. Я не думаю, чтобы когда-либо было на земле другое такое чудовище, в котором противоположные и борющиеся между собой природные задатки и страсти так слились воедино. Кто был более мил знаменитейшим мужам того времени, кто был теснее связан с злодеями? Кто был иногда сторонником лучших, кто злейшим врагом государства? Кто более предан наслаждениям, кто выносливее в трудах? Кто был жаднее и кто расточительнее? Именно то, судьи, было изумительным в этом человеке, что он умел многих привлекать своей дружбой, защищать их и делиться с ними всем, что имел, помогать своим людям деньгами, покровительством, трудом, даже дерзкими поступками и преступлением, если это было нужно, умел согласно требованию времени изменить свой характер, гнуться и изворачиваться то так, то иначе: с печальными он умел быть серьезным, с огорченными приветливым, с преступными дерзким, с распущенными легкомысленным. Благодаря этой многосторонности и переменчивости своего характера он собрал вокруг себя дурных и дерзких людей со всех стран света, и в то же время вел дружбу со многими достойными и храбрыми мужами, обманывая их мнимыми добродетелями. Никогда он не смог бы подготовить такой преступный удар, чтобы разрушить это государство, если бы множество его пороков не опиралось на одаренность и выносливость... Меня самого, меня он едва не обманул, показавшись мне честным, стремящимся к благу гражданином, верным и надежным другом; я постиг его преступления скорее глазами, чем умом, схватил их руками раньше, чем заподозрил их. Если Целий и был в числе его многочисленных друзей, то ему, вероятно, тяжело вспоминать о своем заблуждении, так же как мне иногда досадно вспоминать с своей ошибке, но ставить ему эту дружбу в вину никак нельзя» («За Целия», 5—6, 12 сл.).

Эта характеристика настолько близка к знаменитой характеристике в «Заговоре Катилины» Саллюстия (гл. 5), что вполне естественно предположить, что Саллюстий ее использовал, изложив те же мысли, но со свойственной ему краткостью в противоположность несколько многословному красноречию Цицерона.

Литературное украшение речей цитатами из поэтов Цицерон в различных речах использует в разной мере. Они совершенно отсутствуют в серьезных политических речах, их мало в речах уголовных, а избылуют ими те речи, в которых Цицерон старается как можно больше развлечь слушателей и отвлечь их внимание от своих слабых доказательств. Такковы, например, речи «За Сестия» (гл. 55—58 переполнены литературными анекдотами и цитатами), «За Целия» (гл. 16), «За Планция» (гл. 24), против Пизона (гл. 19, 25, 33). В последней речи (гл. 30) есть

даже очень забавная литературная дискуссия по поводу цитаты из поэмы самого Цицерона: «*Cedant arma togae, concedat laurea laudi*». Пизон хотел побить Цицерона его же оружием, показывая, что этим стихом Цицерон унижает воинов и полководцев, в частности Помпея; Цицерон остроумно защищает свое положение.

Идя от крупного к мелкому, от большого к малому, закончим наш разбор речей кратким обзором работы Цицерона над их словесной формой. Это могло бы составить тему целой книги, настолько искусным мастером был Цицерон в этой области ораторского дела. Но так как полное представление об этом дают только большие выдержки из оригинала, а никакой перевод не может выполнить этой задачи, надо ограничиться лишь теми приемами, которые наиболее бросаются в глаза.

Нет не только ни одной речи, но пожалуй, ни одной главы во всех речах Цицерона, в которой его риторическая выучка и умение работать над словом и фразой не были бы в полной мере воплощены. Например, в приведенной выше характеристике Катилины сосредоточены все фигуры речи, но расположены так, что они не затемняют, а подчеркивают мысль; даже расстановка слов в фразе и употребление грамматических форм служит тем же целям. Вот несколько примеров.

1. *Studuit Catilinae, cum iam aliquot annos esset in foro Caelius* (§ 12). (Вынесение подлежащего на последнее место).

2. *Erant apud illum inlesebrae lubricum multae* (§ 12). Вынесение сказуемого на первое место — особый вид анафоры; при этом во фразе второе смысловое ударение падает на последнее слово *multae*.

3. *Наc ille tam varia multiplicique natura cum... homines improbos audacesque collegerat, tum etiam multos fortis viros... tenebat* (§ 14).

Употребление *plusquamperfectum* придает первому действию характер завершенности, *imperfectum* второму — характер продолжения; *cum* — *tum* — антитеза; смысл этой формулировки таков: Катилина уже собрал вокруг себя дурных людей, но все же продолжал поддерживать отношения со многими хорошими людьми.

4. *Utebatur hominibus improbis multis; et quidem optimis se viris deditum esse simulabat*, — хиазм (§ 12).

5. *Quis clarioribus viris... iucundior, quis turpioribus coniunctior?* (§ 13) — риторические вопросы, построенные на антитезе.

6. *Servire... pecunia, gratia, labore corporis, scelere etiam, si opus esset, et audacia* (§ 13) — климакс.

7. *Cum senibus graviter, cum iuventute comiter, cum facinerosis audacter* (§ 13) — параллелизм членов «с одинаковым концом» (*homoioteleuton*).

8. *Versare suam naturam et regere ad tempus (hendiadys)* (§ 13).

9. *Me ipsum, me inquam* — повторение (§ 14).

Число подобных примеров можно умножить.

Искусным применением словесных средств Цицерон вызывает у тех, кто слушал его, именно то впечатление, которое было ему желательно. Он хочет, например, вызвать сочувственное воспоминание о консуле Опимии, противнике Гракхов, похвала которого могла быть встречена некоторой частью слушателей недоброжелательно, и он тотчас же смягчает впечатление от своих слов, внося в антитезу трогательную ноту:

...*praecclare vir de republica meritis, L. Opimius, indignissime concidit: cuius monumentum celeberrimum in foro sepulchrum desertissimum in litore Durrachino relictum est* («За Сестия», 67, 140).

Защищая Мурену, которого осуждали за большие траты на роскошные угощения и пиры для избирателей, Цицерон приводит в форме звонкого

ЦИЦЕРОН

хиазма общее положение, лстящее морали римского народа: *odit populus Romanus privatam luxuriam, publicam magnificentiam diligit* («За Мурену», 36, 76).

Желая подчеркнуть незаконность поступков Марка Антония и вызвать подозрение в злоупотреблении завещанием Цезаря, Цицерон пользуется эффектной эпифорой: *De exilio reducti a mortuo, civitas data non solum singulis sed nationibus a mortuo, immunitatibus infinitis sublata vectigalia a mortuo* («Филиппики», I, 10, 24).

В своих последних речах Цицерон почти отказывается от своего обычного многословия и дает краткие резкие фразы: *Qui populus? Isne, qui exclusus est? Quo iure? An eo, quod vi et armis omne sublatum est?... demonstro vitia — tollite; denuntio vim, arma — removete* (там же, § 26).

Особой темой, потребовавшей от исследователей терпеливой и кропотливой работы, является исследование запаса слов в речах Цицерона. Он чрезвычайно велик и притом с большим тактом использован по-разному в различных группах речей. В политических речах встречаются нередко архаизмы, придающие им пышную торжественность; в ряде речей (за Архия, Бальба и др.) встречаются, напротив, разговорные обороты, поговорки, трудно переводимая идиоматика; в речах за Мурену, за Целия в ивентивах против Пизона много вульгаризмов и даже не вполне пристойных слов.

Интересная для филолога область исследования — синонимика в речах Цицерона. Охотно пользуясь антитезой и фигурой гендиадиса, Цицерон умеет находить в латинском языке огромное количество слов, то полностью, то почти однозначных. Если сам он впоследствии немного подшучивал над своей юношеской страстью к разысканию и повторению необычайных слов, то исследователи классической латыни могут ему быть за это только благодарны.

Наиболее трудно воспринимаемой для нас стороной речей Цицерона является их ритм, расположение долгих и кратких слогов, разложение всей речи на периоды и их части (по греческой терминологии — «колонны» и «коммы») и подбор особенно благозвучных концовок (клаузул). Все учение Цицерона о ритме прозаической речи (по его терминологии — *numerus*) нам не вполне ясно, несмотря на усилия ряда исследователей (Лоран, Норден, Ф. Зелинский и др.) точно установить законы и типы Цицероновых «клаузул». Несомненно одно: выражая свою мысль и строя речь, Цицерон учитывал не только смысловую и лексическую, но и музыкальную ее сторону и достигал в этом больших успехов, о чем он сам упоминает в «Ораторе». Он смеется над теми, кто не слышит и не оценивает этого элемента речи, и нам, чей язык, хотя и подчиняется иным ритмическим и тоническим законам, остается только принять эти шутки Цицерона и на свой счет.

Латинский язык во всех своих оттенках и со всеми доступными ему средствами был послушным орудием в руках Цицерона. Сам Цицерон сознавал это, и хотя он гораздо больше склонен хвалиться своими политическими подвигами, чем своими речами, однако в «Ораторе» есть фраза, которая свидетельствует о том, что он понимал, насколько его ораторское искусство более разносторонне и более художественно, чем все труды его предшественников и современников.

«Нет ни одной черты, достойной похвалы, в любом роде ораторского искусства, выявить которую, если не в совершенстве, то хотя бы приблизительно, мы не попытались бы в наших речах» («Оратор», 29, 103).



Глава XVII

ВАРРОН РЕАТИНСКИЙ

1. Филология в Риме.—2. Биография Варрона.—3. Литературная деятельность Варрона.—4. Исторические и антикварные сочинения.—5. Грамматические и историко-литературные сочинения.—6. Философские сочинения.—7. Сочинение по экономике.—8. Поэтические произведения.

1. ФИЛОЛОГИЯ В РИМЕ

Век Цицерона был началом также филологических и антикварных занятий в Риме. Правда, по некоторым свидетельствам древности, такие занятия начались еще раньше, но они были, по-видимому, ничтожны и касались почти исключительно орфографии. Так, будто бы уже Аппий Клавдий (IV—III вв. до н. э.) сделал некоторые орфографические изменения (заменял букву *s* между гласными буквой *r* согласно изменившемуся произношению). Эннию (III—II вв. до н. э.) приписывают даже сочинения по грамматике: «О буквах и слогах» и «О метрах». Но, как говорит Светоний в своем трактате «О грамматиках» («*De grammaticis*»), «изучение грамматики внес в город Кратет из Маллы, современник Аристарха. После окончания третьей Македонской войны в 168 г. пергамский царь Эвмен II отправил посольство в Рим, чтобы поздравить римлян с победой. В числе послов был Кратет из города Маллы (в Малой Азии), знаменитый ученый Пергамской школы¹. Совершенно случайное обстоятельство заставило Кратета пробыть в Риме довольно долго: он сломал себе ногу и во время пребывания посольства, в период своего выздоровления, стал читать римлянам лекции. Кратет занимался грамматическими вопросами: тогда между учеными Александрийской и Пергамской школы шел спор об «аналогии» и «аномалии»: первая школа следовала аналогии, вторая — аномалии. Спор этот касался не общего вопроса, разбиравшегося уже раньше, что такое язык, возник ли он «по природе» (*φύσει*), или «по установлению» (*θέσει*) т. е. по соглашению между людьми; спор касался более узкого вопроса — вопроса о склонении (главным образом) и о спряжении. Александрийцы с Аристархом во главе хотели подвести склонения и спряжения под известные правила: открыть, например, законы, по которым из формы именительного падежа можно произвести форму родительного падежа. Пергамцы с Кратетом во главе вообще отрицали аналогию и при-

¹ Рассказ об этом приводится Светонием в указанном сейчас сочинении, гл. 2, но он называет царя Атталом. По хронологическим соображениям, это невозможно; Аттал II вступил на престол в 159 г., а между тем, по словам Светония, это посольство прибыло в Рим «*sub ipsam Ennii mortem*» — «около смерти Энния», что может значить или «непосредственно перед смертью Энния» или «непосредственно после смерти Энния». Так как Энний умер в 169 г., то и посольство должно было быть в Риме тоже около этого года, когда царствовал еще Эвмен.

знавали нужным руководиться наблюдением над разговорной речью; так учили стойки.

Таким образом, Кратет во время своего вынужденного пребывания в Риме, читая лекции, вводил и это стоическое учение о языке. Возможно, что он касался и литературных вопросов, например, вопроса о поэмах Гомера, которым он специально занимался; но об этом у нас нет известий. Результатом этих лекций Кратета, говорит Светоний, было то, что его последователи в Риме стали редактировать и распространять стихи, до тех пор мало известные. Так, Гай Октавий Лампадион разделил на семь книг «Пуническую войну» Невия, которая была в одной свитке и написана без разделения на части (*continenti scriptura*). Квинт Варгунтей читал по известным дням при большом стечении публики «Анналы» Энния; в домах Лелия, Архелая и Веттия Филокома читались «Сатурны» Луцилия.

Вероятно, под влиянием лекций Кратета и первые работы римлян по языкознанию носят стоическую окраску. Первым автором в этой области был поэт *Гай Луцилий* (180—102 гг.), который в IX книге своих сатур касался грамматических вопросов и предлагал некоторые реформы. На основании скудных отрывков этой работы, дошедших до нас, нельзя судить о характере и объеме ее, но, как показывает исследование одного из ученых нового времени (Sommer), в этой работе Луцилия сказались влияние стоических теорий. В ней он осмеивал орфографические реформы трагического поэта *Луция Акция* (р. в 170 г.), занимавшегося, между прочим, и вопросами орфографии. Вообще с этого времени вплоть до самых поздних времен вопросы орфографии играют значительную роль у римских грамматиков.

Первым римским грамматиком в собственном смысле был *Луций Элий Стилон Преконин* (L. Aelius Stilo Praeconinus), живший приблизительно в 154—74 г. до н. э. Он был родом из города Ланувия, принадлежал к сословию римских всадников, держался стоических убеждений. Прозвище Stilo он получил за то, что хорошо владел «стилем» (орудием письма, соответствующим нашему карандашу или перу), искусно писал речи для римских аристократов (Светоний, «О грамматиках», 3). Варрон (у Геллия) называет его «в высшей степени образованным» — *litteris ornatissimus*, а Геллий — «самым крупным ученым того времени» — *doctissimum tunc civitatis hominem* (I, 18, 2). Цицерон в «Бруте» (56, 205) характеризует его как глубокого знатока греческой и римской литературы и как компетентного критика древних авторов и римских древностей, а в сочинении «Об ораторе» (I, 43, 193) указывает на его юридические и антикварные знания.

Элий Стилон был плодовитым писателем, но от его многочисленных сочинений не дошло до нас ничего, кроме ничтожных отрывков. Из его сочинений упоминаются древними следующие: 1) комментарий к гимнам Салиев; 2) список комедий Плавта, из которых он признавал подлинными только 25; может быть, в этом списке была и его похвала стилю Плавта, выраженная в словах: «Если бы Музы хотели говорить по-латыни, то они говорили бы языком Плавта» (Квинтилиан, X, 1, 99); 3) сочинение грамматического содержания — о формах предложений (*de proloquiis*), которое, по мнению Геллия, написано Элием «для себя» — *Sui magis admodum, quam aliorum docendi gratia* (XVI, 8, 3); 4) речи, о которых Цицерон высказывается неодобрительно, называя их «легковесными» — *leves orationunculas* («Брут», 56, 206); 5) издания сочинений, например, Метелла Нумидийского и, возможно, других авторов; 6) может быть, комментарий к законам Двенадцати таблиц (это недостаточно засвидетельствовано).

Как видно из этого перечня, работы Элия Стилона были грамматического, антикварного и историко-литературного содержания. Главными его учениками были Цицерон и Варрон.

2. БИОГРАФИЯ ВАРРОНА

Марк Теренций Варрон (M. Terentius Varro) родился в 116 г. до н. э. в Сабинской земле, в местечке Реате (Reate), отсюда — его прозвище Реатинский (Reatinus), которым его отличают от двух других Варронов — комика и Атацинского (Atacinus).

Сочинения Варрона показывают, что он имел хорошие сведения о языке и быте своей родины; на основании этого можно заключить, что детские годы он провел в семейной обстановке. Но, с другой стороны, широкая образованность и значительные средства его родителей или его самого дают возможность предполагать, что он еще в ранней молодости переехал в Рим, чтобы получить там элементарное образование. Что родители его и он сам были люди богатые, это доказывается обилием вилл и поместий, принадлежавших ему в разных местах Италии.

Благодаря такому состоянию, Варрон в юности мог пользоваться уроками лучших учителей того времени, к числу которых принадлежал грамматик Луций Элий Стилон.

По обычаю состоятельных молодых римлян, Варрон для усовершенствования своего образования поехал в Грецию, в Афины. В то время там славился своими лекциями философ Антиох Аскалонский. Эклектическое направление философии Антиоха, совмещавшее в себе учения Новой и древней Академии, нравилось Варрону и наложило резкую печать на его философские взгляды и сочинения. В многолюдной аудитории этого учителя Варрон свел знакомство со многими римлянами и, между прочим, с Марком Цицероном, с его младшим братом Квинтом и с Титом Помпнием Атикком, находившимся в ту пору в Афинах. Завязавшееся знакомство, особенно с Атикком, обратилось потом в серьезную и прочную дружбу, продолжавшуюся всю жизнь. Кроме Антиоха, Варрон слушал теоретика речи Деметрия и философов Федра и Зенона, также славившихся тогда в Афинах.

По возвращении на родину Варрон вступил в гражданскую службу и занимал общественные должности: был народным трибуном и эдилом. В 76 г. до н. э., когда Помпей готовился к походу в Испанию, Варрон, по его просьбе, составил ему нечто вроде путеводителя по этой стране. Здесь, таким образом, мы впервые встречаем Варрона в роли ученого-естествоведа. В другой раз, в 70 г., когда Помпей был консулом, Варрон составил для него трактат о консульских обязанностях. Это свидетельствует о довольно коротких отношениях между ними. В 67 г. Помпей для борьбы с морскими разбойниками разделил Средиземное море на 13 участков с легатом во главе каждого из них; одним из таких легатов был и Варрон: он должен был оберегать Ионическое море. Как любознательный человек, он воспользовался этой должностью для расширения своих сведений. Находясь в Эпире, он посетил те места, которые упоминаются в сказаниях об Энее. Там же он интересовался состоянием скотоводства и для этой цели входил в сношения с владельцами больших стад. Война с пиратами окончилась полным их поражением, и Варрон за свою распорядительность получил в награду *corona rostrata* — венок, украшенный золотыми изображениями корабельных носов; эта награда давалась тому, кто первым входил в полном вооружении на неприятельский корабль, или тому, при чьем содействии он был взят.

В 66 г. Помпею было дано новое назначение — вести войну с Митридатом Понтийским и армянским царем Тиграном. Судя по некоторым данным, Варрон сопровождал Помпея в этом походе.

О дальнейших обстоятельствах жизни и деятельности Варрона в течение нескольких лет у нас нет сведений. В 60 г., когда состоялся первый триумвират между Помпеем, Цезарем и Крассом, Варрон написал на триумвиров сатиру под заглавием *Τρικεφαλος* «Трехголовый». Но, по-видимому, имя автора осталось неизвестным, так как Варрон и после этого был в дружбе и с Цезарем и с Помпеем.

В 58 г. Варрон выступает перед Помпеем в роли защитника Цицерона. Цицерон находился тогда в изгнании и писал письма к разным лицам, прося их хлопотать перед Цезарем и Помпеем о возвращении его из ссылки. Тит Помпоний Аттик, принимавший большое участие в судьбе Цицерона, обратился за помощью к Варрону, зная его хорошие отношения с Помпеем. Варрон взялся за это дело и, по-видимому, выполнил его довольно успешно. Поэтому в письмах Цицерона не раз встречается упоминание о Варроне как полезном заступнике. Но между Варроном и Цицероном отношения не были особенно близкими: Варрон хлопотал о нем не столько из расположения к нему, сколько по дружбе к Аттику.

В 49 г. до н. э. началась гражданская война между Помпеем и Цезарем. Помпей, которому еще в 55 г. была назначена провинцией Испания, перевел туда свои италийские легионы и поставил во главе их трех своих легатов, из которых одним был Варрон. Победителем в этой войне оказался Цезарь. Варрон, в распоряжении которого остался в конце концов только один легион, был вынужден покориться Цезарю. Таков был конец военной и вообще политической карьеры Варрона. Никаких дальнейших известий о его политической деятельности не имеется.

Сойдя с политической сцены, Варрон занялся научно-литературной деятельностью. Впоследствии он помирился с Цезарем, который будучи сам литератором, лучше других понимал значение Варрона-ученого. Когда Цезарь задумал открыть библиотеки для публики, он поручил устройство этого дела именно Варрону.

Смерть Цезаря принесла много горя Варрону. Антоний завладел одним из его поместий; но это было лишь началом бедствий, посыпавшихся на голову Варрона. После образования второго триумвирата в 43 г. Варрон как явный враг единой державы и сторонник сенатской партии попал в список проскриптов. Ему удалось бежать из Рима, но его имущество было конфисковано, виллы разграблены; при этом довольно много его сочинений пропало безвозвратно.

В изгнании Варрон, по-видимому, жил недолго. В 38 г. Асиний Поллион, друг и сподвижник Октавиана, выстроил в Риме великолепную библиотеку и украсил ее бюстами писателей; был поставлен и бюст Варрона.

О дальнейшей жизни Варрона у нас имеются лишь отрывочные сведения. Он дожил почти до 100 лет и до конца сохранил бодрость духа и физические силы. На 81 году он писал сочинение о земледелии, которое свидетельствует о громадных сведениях и памяти автора. На 84 году он писал предисловие к своим «Портретам» (*Imagines*), а на 88 — какое-то сочинение, относившееся к области медицины.

Умер Варрон в 28 г. до н. э. Согласно его завещанию, его похоронили по пифагорейскому обычаю — в листьях мирта, оливы и черного тополя.

Круг его знакомств был очень обширен: весь цвет тогдашнего образованного римского общества был более или менее известен ему.

Цицерон ценил в Варроне его громадную и разностороннюю ученость и потому очень любил прислушиваться к его отзывам о своих сочинениях.

ях. В свою очередь, Варрону было лестно быть упомянутым в сочинениях Цицерона. Варрон долго хлопотал о том, чтобы Цицерон посвятил ему одно из своих сочинений или вывел его одним из действующих лиц в каком-либо диалоге. Цицерон тоже интересовался тем, какое сочинение посвятит ему Варрон. Цицерон вывел Варрона как представителя философии Антиоха в своем сочинении «Учение академиков», которое он считал самым изящным, самым отделанным из всех своих сочинений. Отправив его Варрону, он долгое время был занят вопросом, когда прочтет его Варрон и какое впечатление произведет оно. С своей стороны, Варрон посвятил Цицерону свое сочинение «О латинском языке» (*De lingua latina*), хотя и не вполне отделанное.

Другом Варрона был также и Корнелий Непот. Варрон общался и с другими политическими деятелями — Цезарем, Помпеем и учеными, которым, согласно тогдашним литературным обычаям, посвятил многочисленные свои сочинения.

3. ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВАРРОНА

Из всех римских писателей никто не оставил столько сочинений таких размеров и столь разнообразного содержания, как Варрон. Уважение к Варрону выказывали не только писатели последующих поколений, но и современники. Цицерон в начале своего сочинения «Учение академиков» обращается к Варрону со следующими словами: «Нас, бывших чужими в своем городе и блуждавших наподобие иностранцев, твои сочинения как бы привели домой, чтобы мы могли, наконец, узнать, кто мы и где мы. Ты раскрыл нам время существования нашего отечества, описал времена [= указал хронологию событий], богослужебные права, права жрецов, ты объяснил государственный строй и военную дисциплину, местонахождения стран и отдельных мест, истолковал названия, род, назначения, причины божественных и человеческих дел, пролил очень много света на наших поэтов и вообще на латинскую литературу и латинский язык; сам написал поэму, полную разнообразия и изящества во всех почти отношениях; так же и философии во многих ее отделах ты положил почин, достаточный для того, чтобы возбудить к ней охоту, но недостаточный для того, чтобы научить нас» (I, 3, 9).

Сочинения Варрона касаются почти всех областей, известных тогда науке. Кратко характеризует его Теренциан Мавр одним стихом: *Vir doctissimus undecimque Varro* — «муж ученейший во всех областях» (*Metr.* 2846). Августин делает о нем такое замечание: «Он так много читал, что мы удивляемся, как хватало ему времени что-нибудь написать; столько писал, сколько едва ли кто мог прочитать» («О граде божием», VI, 2). Он писал до самой смерти своей; Валерий Максим говорит: «На том же ложе угас и дух его, и течение превосходных трудов» (VIII, 7, 3).

До нас дошел список его сочинений, составленный Иеронимом и помещенный в его письме к Павле². В этом письме Иероним перечисляет 48 сочинений, изложенных в 486 книгах, причем Иероним заявляет, что он перечислил едва половину их. Авзоний говорит, что литературное наследие Варрона равнялось 600 книгам («Преподаватели», 20, 10).

На основании исследований ученого нового времени можно предположить, что Варрон написал около 74 сочинений приблизительно в 620 книгах.

² Факсимиле этого списка помещено в исследовании И. Помяловского «Марк Теренций Варрон Реатинский и Менишова сатура» (СПб., 1869, стр. 59—61).

Но все эти сочинения, за немногими исключениями, не дошли до нас: от огромного большинства сохранились ничтожные отрывки и лишь от нескольких уцелели более или менее крупные части. Эти сочинения следующие: «О сельском хозяйстве» три книги (*Regum rusticarum libri tres*), «О латинском языке» (*De lingua latina*) книги V—X.

Варрон писал и прозой и стихами. Большая часть сочинений написана прозой; их можно разделить на следующие группы: сочинения исторические и антикварные; грамматические и историко-литературные; философские.

4. ИСТОРИЧЕСКИЕ И АНТИКВАРНЫЕ СОЧИНЕНИЯ

К числу исторических сочинений Варрона относится «О жизни римского народа» (*De vita populi Romani*). Оно обнимало всю римскую историю от начала до времени самого автора, как можно судить по отрывкам. Варрон излагал здесь не только политическую историю, но также нравы, обычаи, предания и вообще всю бытовую сторону жизни римлян. Судя по тому, что оно состояло только из четырех книг, надо думать, что это был какой-то исторический компендий.

«*De gente populi Romani*», в четырех книгах. По свидетельству Сервия (в примечании к «Энеиде», VII, 176), в этом сочинении говорилось о том, что римляне заимствовали и чему подражали у других народов. Варрон восхвалял образ жизни и нравы древнего Рима. Отрывки из этого произведения сохранились у Августина в XVIII книге сочинения «О граде божием».

«Древности» (*Antiquitates*). По свидетельству Августина (там же, VI, 3), Варрон написал 41 книгу «Древностей»; эти книги он разделил на «Дела человеческие» и «Дела божеские». По-видимому, первая часть труда Варрона заключала в себе этнографию, географию, хронологию и историю, вторая — сведения о богах, храмах, праздниках, обрядах и жрецах.

5. ГРАММАТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СОЧИНЕНИЯ

Из грамматических сочинений Варрона первое место принадлежит его знаменитому трактату «О латинском языке». Это сочинение состояло из 25 книг, из которых дошло до нас 6 книг, а именно, книги V—X. Оно делилось на три части: 1) учение о том, каким образом даны были предметам наименования; 2) как эти наименования склоняются по падежам (причем под «склонением», по древнему учению, разумеется и спряжение глаголов); 3) как соединяются слова, образуя мысль. Таким образом, по нашей теперешней терминологии, первая часть (книги II—VII включительно) имела этимологический характер; вторая часть (книги VIII—XIII) охватывала морфологию; третья (книги XIV—XXV) — синтаксис. Книга I служила введением. Начиная с книги V, сочинение было посвящено Цицерону, который в свою очередь посвятил Варрону трактат «Учение академиков». Труд этот был написан Варроном уже под конец жизни и издан им самим (может быть, по частям) не позже 43 г.

Что касается его содержания, именно, этимологии слов, то, конечно, нельзя судить Варрона с точки зрения теперешней лингвистики; но даже и для древних некоторые толкования слов его казались странными (ср. Квинтилиан, X, 1, 95; I, 6, 37).

Язык Варрона вообще некрасив: нам даже кажется удивительным, как мог современник и школьный товарищ Цицерона писать языком, столь

далеким от языка последнего. Да и Квинтилиан в том же месте, где восхваляет его (X, 1, 95), признает, однако, что он «принесет больше пользы науке, чем красноречию». Язык трактата «О латинском языке» особенно небрежен. Можно предположить, что какие-нибудь обстоятельства заставили автора выпустить свой труд в недостаточно отделанном виде.

Такое большое сочинение не могло быть составлено без подготовительных работ, без источников и пособий. Об источниках Варрона мы можем до некоторой степени судить по тем 6 книгам, которые дошли до нас. Здесь мы находим много цитат из авторов современных и предшествующих, в том числе и греческих, преимущественно стоиков: таковы ссылки на Клеанфа, Антипатра, Хрисиппа, Кратета, Аристофана, Аристарха и др. Из соотечественников он цитирует Элия Стилона, Катона, Сизенну и др. Цитаты ясно показывают, с какой эрудицией приступил автор к своему сочинению. Кроме того, в своем грамматическом трактате Варрон должен был принимать во внимание произведения древней римской письменности. И действительно, у него есть ссылки на гимны салиев, на законы Двенадцати таблиц и другие архаические памятники латинского языка. Есть следы его личных наблюдений над живым, народным языком³, а равно и над италийскими диалектами: есть ссылки на сабийский, осский, этрусский языки и на греческие диалекты. Однако познания его в диалектах, по-видимому, не были обширными.

Для нас это сочинение ценно не этимологиями, которые в нем даются, а большим количеством цитат из архаической латыни и по многим замечкам антикварного характера. Интересны для нас также сведения о споре тогдашних ученых по вопросу об аналогии и аномалии. Варрон держался в этом вопросе средней линии: *neque anomalia neque analogia est repudianda* («ни аномалию, ни аналогию не следует отвергать» — IX, 3)⁴.

Кроме этого трактата, у Варрона были и другие труды грамматического характера, известные нам только по заглавиям и ничтожным отрывкам: «О латинской речи» (*De sermone Latino libri, V*); «О происхождении латинской речи» (*De origine linguae Latinae libri, III*); «О древности букв» (*De antiquitate litterarum*); «О сходстве слов» (*De similitudine verborum*); «О пользе речи» (*De utilitate sermonis*); «О грамматике» (*De grammatica*).

Последнее сочинение, как предполагают, составляло часть большого труда в 9 книгах (*Disciplinarum libri IX*), тоже не дошедшего до нас. Здесь Варрон рассматривал *artes liberales* — все отрасли знания, изучаемые человеком свободным (в противоположность *artes illiberales* — рабским знаниям или занятиям). Это были науки, входившие в круг образования юношества того времени: грамматика, диалектика, риторика, геометрия, арифметика, астрономия, музыка, медицина, архитектура. В точности состав этого сочинения неизвестен. Видно только, что это была своего рода научная энциклопедия. Предполагают, что это было одно из позднейших сочинений Варрона.

К области истории литературы относится сочинение Варрона «Портреты» (*De imaginibus*, или *Imagines*), или «Седьмицы» (*Hebdomades*). Оно было издано в 15 книгах и резко отличалось от других историко-литературных сочинений. К нему прилагались 700 портретов граждан, так или иначе прославивших свое отечество. Сочинение было разделено на 100 вы-

³ Для филологов нашего времени интересно узнать, например, что одинаково употребительны были (*volgo dicunt*) формы: *ovi* и *ove*, *-avi* и *-ave*; *civitatum* и *civitatum*, *parentum* и *parentium*, *montes* и *montis* (в вин. п. множ. ч., VIII, 66).

⁴ Места, касающиеся вопроса об аномалии и аналогии, переведены в книге «Античные теории языка и стиля». Под общей редакцией О. М. Фрейденберг (М.—Л., 1936, стр. 80 и след., 94 и сл., 98 и сл.).

пусков, из которых каждый заключал в себе по 7 портретов (отсюда и название «*Hebdomades*»). Насколько можно судить по некоторым данным, в состав знаменитых лиц входили и греки и римляне. Права на знаменитость определялись их заслугами в истории, а история включала в себя даже мифологию, судя по тому, что в числе помещенных знаменитостей был и Эней. Заслуги, которые принимались в расчет, были всякого рода: в сфере философии, поэзии, государственной жизни. Поэтому, например, Гомер и Гесиод были поставлены вместе с Пифагором, Платоном, Аристотелем, а также с Катонами, Сципионами, Деметрием Полиоркетом и др. В каждой книге были биографии соответствующих лиц. Плиний Старший довольно подробно говорит о характере этого сочинения в своей «Естественной истории» (XXXV, 2, 11): «Что страсть к портретам некогда пылала, свидетелями этого являются известный Атик, друг Цицерона, издавший сочинение о них, и М. Варрон, которому пришла в голову счастливая мысль — поместить в своих многочисленных книгах также изображения [портреты] семисот человек, каким-нибудь образом прославившихся; он не допустил, чтобы погибли изображения и чтобы долгота времени имела силу против людей. Он был изобретателем дара, которому позавидовали бы даже боги, потому что он не только даровал этим людям бессмертие, но даже разослал их по всем странам, чтобы они могли везде присутствовать, подобно богам».

Как видно из слов Плиния, это сочинение было разослано по всем странам, следовательно, было издано во многих экземплярах. Так как трудно предполагать, чтобы в каждом экземпляре портреты рисовались отдельно, то, вероятно, надо думать, что Варроном был придуман какой-то механический способ иконографической репродукции, сделавший ненужным рисование каждого портрета в отдельности; кажется, на это и намекает Плиний в приведенных словах. Впоследствии сам Варрон сделал из своего труда извлечение в четырех книгах.

Более мы ничего не знаем об этом своеобразном произведении Варрона. Но оно не было единственным в истории римской литературы: известно, что и Тит Помпоний Атик тоже издал собрание портретов римских знаменитых людей, снабженное стихотворными подписями, в которых излагались их подвиги (см. Непот, «Атик», 18, 5).

Столь же скудны сведения о других историко-литературных трудах Варрона. Лишь по названиям и по цитатам знаем мы о сочинениях его о Плавте: «О комедиях Плавта» (*De comoediis Plautinis*), «Плавтовские исследования» (*Quaestionum Plautinarum libri V*). Благодаря изысканиям Варрона в этой области наука знает, какие комедии действительно принадлежат Плавту из числа многих комедий, которые ему приписывались. Это число подлинных комедий Плавта, установленное Варроном, перешло и в науку нового времени.

Более общим характером отличалось сочинение «О поэтах» (*De poëtis*). Судя по отрывкам из книги I, здесь говорилось, между прочим, о хронологии сочинений Энния и времени жизни Невия; помещены были и надгробные надписи Невия, Плавта и Пакувия (Авл Геллий, I, 24; XVII, 21, 43 и 45). Были у Варрона и другие сочинения о комедии, о трагедии, об ораторском искусстве, но ничего из них не сохранилось.

6. ФИЛОСОФСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

К числу философских сочинений принадлежит сочинение «*Logistorici*» в 76 книгах, также не дошедшее до нас. Это был сборник популярных трактатов-диалогов на разные темы; нам известны 16 заглавий. Некоторые

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА РЕСПУБЛИКИ

из книг носили два заглавия: одно — собственное имя какого-нибудь лица, играющего главную роль в трактате-диалоге, а другое — название темы трактата, например: «Орест, или о безумии» (*Orestes vel de insania*); «Сизенна, или об истории» (*Sisenna vel de historia*); «Мессала, или о здоровье» (*Messala vel de valetudine*); «Кат, или о воспитании детей» (*Catus vel de liberis educandis*); «Марий, или о счастье» (*Marius aut de fortuna*) и др. Таким образом, это были сочинения, вероятно, похожие на философские трактаты Цицерона, вроде «Катон, или о старости», «Лелий, или о дружбе».

Кроме этого, у Варрона было специальное сочинение по философии «Об образе философии» (*De forma philosophiae libri, III*), о котором ничего не известно.

Популярно-философский характер имеют дошедшие до нас «Изречения» (*Sententiae*) Варрона, числом 158 (помещены в книге A. Riese. *M. Terenti Varronis saturarum Menippearum reliquiae*). Вот несколько примеров: «Глупость невежд есть слава знающего» (133); «Нет потери более тяжелой для знающего, чем потеря времени» (113); «Несчастен лишь тот, кто себя таким считает» (96); «Всё знать невозможно; немного знать не стоит похвалы» (56); «Мы были бы богами, если бы не умирали» (1); «Среди многих быть разумным против всех, значит, быть безумным» (10). Но неизвестно, много ли изречений принадлежит действительно Варрону.

Бесполезно было бы перечислять другие сочинения Варрона, о которых мы ничего не знаем, кроме заглавий; было, например, собрание его писем — «*Epistolicae quaestiones*» в 8 книгах; собрание речей в 22 книгах и др.

7. СОЧИНЕНИЕ ПО ЭКОНОМИКЕ

Почти полностью сохранилось сочинение «О сельском хозяйстве». В первой книге говорится о земледелии, во второй — о скотоводстве, в третьей — об уходе за домашними животными. Написано это сочинение автором на 80 году жизни по следующему поводу. Фундания, жена Варрона, купила поместье и просила мужа заняться управлением и приведением его в порядок. Варрон, несмотря на старость, принялся за дело с увлечением. Кроме своего собственного опыта, он пользовался при составлении этого труда сочинениями других писателей — как греческих, так и римских. Какой бы ни был повод к занятиям Варрона сельским хозяйством, его он мог и должен был изучать ради своих многочисленных поместий. Для нас это сочинение важно тем, что оно рисует положение сельского хозяйства в Италии того времени. Целью его, вероятно, было побудить соотечественников к занятию сельским хозяйством, которое приходило все более и более в упадок.

Сочинение это написано в форме диалога, в котором принимает участие и Фундания, — вероятно, с целью сделать его более популярным. Изложение значительно лучше, чем в трактате «О латинском языке», и не лишено изящества.

8. ПОЭТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Как уже сказано выше, Варрон писал не только прозой, но и стихами; нам известны по заглавиям следующие сочинения в стихотворной форме: «Псевдотрагедии» (*Pseudotragediae*) в 6 книгах; «Поэмы» (*Poëmata*) в 10 книгах; «Сатуры» (*Saturae*) в 4 книгах; «О природе вещей» (*De rerum*

natura), «Менипповы сатуры» (Saturae Menippeae) в 150 книгах. Они также не дошли до нас; можно сказать кое-что лишь о «Менипповых сатурах», из которых от 96 книг сохранился 591 фрагмент (по счету в книге Бюхелера: Petronii Saturae et liber Priapeorum, Берлин, 1912).

«Менипповы сатуры» — ранний труд Варрона. Каждая из 150 книг имела свое особое название, отдельный сюжет, отдельную форму. Название «Менипповы» происходит от имени Мениппа, греческого философа из школы киников, время жизни которого с точностью неизвестно; по всей вероятности, он жил в III или II в. до н. э. Никаких сочинений его не сохранилось, он не был знаменитостью; ссылки на него встречаются лишь у позднейших писателей. Он известен своим скептическим отношением ко всему на свете. Форма его сочинений была стихотворная, со всевозможными размерами. В этом только отношении и было сходство между сочинением Варрона и Менипповыми. Ни по цели, ни по отношению к предмету Варрон не мог быть подражателем Мениппа. Как видно из «Разговоров» Лукиана и из разных случайных указаний, Менипп осмеивал философов. Но Варрон имел совсем другую цель: он хотел распространить сведения по философии между своими соотечественниками. Для достижения этой цели Варрон прибегал только к форме сочинений Мениппа, веселой, шутливой, занимательной.

Сатурами назвал Варрон это сочинение потому, что оно представляло смесь как по содержанию, так и по форме. Таким образом, слово *satura* имеет здесь древнее значение «смесь», а не позднее «сатира». Он употреблял разные стихотворные размеры, перемежая стихотворные и прозаические части, в латинскую речь вводил греческие слова, так что сочинение в целом, действительно, должно было производить впечатление смеси⁵.

Заимствовав у Мениппа веселый тон и легкую насмешку, Варрон, как уже сказано, имел целью изложить в шутливой форме разные философские системы и указать в числе их ту, которую можно было бы назвать единственно верной. Что такова была цель Варрона, в этом убеждают нас слова самого Варрона, который в «Учении академиков» Цицерона (I, 2, 8) так характеризует свое сочинение: «Своих друзей, у которых есть любовь к философии, я посылаю в Грецию [т. е. советую обратиться к сочинениям по философии на греческом языке], чтобы они черпали знания из источников, а не обращались бы к ручейкам [т. е. к сочинениям на латинском языке]. Что же касается того, чему никто до сих пор не учил и чего любители философии ниоткуда знать не могут, то я насколько мог (я не восторгаюсь особенно ни одним из своих сочинений), старался сделать это известным нашим соотечественникам, потому что из греческих авторов им нельзя было этого получить, а после кончины нашего Л. Элия [Стилона] нельзя было и из латинских. Однако в том давнишнем моем труде, который я, подражая Мениппу, но не переводя его, посыпал некоторой веселостью, чтобы легче могли понять его люди не особенно ученые, привлекаемые к чтению его некоторой приятностью, многое присоединил я из недр философии, многое сказал в форме беседы; в похвальных словах, в этих самых предисловиях к древностям, я хотел писать по-философски, если только достиг этого». Из этого видно, что в каких-то сочинениях, написанных в подражание Мениппу, Варрон старался популяризировать греческую философию, придав ее изложению занимательную форму. Как Менипп относился отрицательно к учениям философов и порицал безнравственную жизнь их, так и Варрон, судя по некоторым фрагментам, относился враждебно к ним.

⁵ То же мы видим в «Сатурах» Петрония.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА РЕСПУБЛИКИ

дебно к некоторым (а может быть, и многим) философским измышлениям. «Нет,— говорил он,— ни одного столь нелепого бреда больного, которого не сказал бы какой-нибудь философ» (фр. 12 В). «Гераклид Понтийский, предписывающий сжигать мертвых, более разумен, чем Демокрит, предписывающий сохранять их в меду. Если бы народ последовал этому наставлению, то, пропади я, если бы мы могли купить чашку медовой сыты за сто денариев» (фр. 81 В).

Как уже сказано, от «Менипповых сатур» сохранились только фрагменты, и притом ничтожные, содержащие мало смысла, часто даже непонятные. Дело в том, что опромное большинство их сохранено грамматиком Нонием, который интересовался старинными словами и выписывал фразы или даже части фраз, где попадает такое слово, нисколько не заботясь о содержании отрывка. К тому же, в рукописях слова сильно искажены и восстанавливаются учеными по конъектуре; конъектуры, конечно, ненадежны и у разных ученых различны.

Ученые старого и нового времени делали попытки на основании сохранившихся фрагментов понять содержание целых сатур; но все эти попытки не имеют никакой научной ценности и представляют собою «игру ума». Желающие могут ознакомиться с такими реставрациями из «Римской истории» Моммзена (русск. пер. т. III, изд. 1941 г., стр. 510—511).

Варрон как ученый и литератор пользовался большим уважением и у своих современников и в последующие времена. Как сообщает Плиний Старший (VII, 30, 115), Варрон был единственным римлянином, которому при жизни поставили памятник в библиотеке Азиния Поллиона.

В последующие времена огромной известностью пользовались главным образом его антикварные труды. Так, Вергилий и Овидий заимствовали у него исторические сведения для своих произведений, Дионисию Галикарнасскому также служил он одним из источников, он называет его ученым из современников (II, 21, 2); Колумелла ссылается на него и называет его превосходным писателем (VIII, 8, 9); Плиний Старший часто упоминает о нем.

Пользовались Варроном также Светоний, Авл Геллий, который приводит из него цитаты, Плутарх и др. Грамматики позднего времени (Харисий, Диомед, Валерий Проб, Сервий, Руфин, Донат) приводят из его сочинений много цитат; особенно отличается в этом отношении Ноний, который сохранил большую часть фрагментов из «Менипповых сатур». Христианские писатели в борьбе с язычеством очень охотно ссылаются на его сочинения (главным образом на «Божественные древности»). В средние века еще были известны сочинения его (по крайней мере, некоторые); даже Петрарка знает его и восхваляет его как блестящего автора.

Для теперешней классической филологии утрата сочинений Варрона невоснаградима. По странной игре случая, дошедшие до нас его труды «О латинском языке» и «О сельском хозяйстве» являются, пожалуй, наименее интересными для истории римской литературы.



Глава XVIII

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА I в. до н. э.

1. Новые анналисты.—2. Квинт Клавдий Квадригарий.—3. Валерий Анцилат.—4. Гай Лициний Макр.—5. Квинт Элий Туберон.—6. Луций Корнелий Сизенна.—7. Корнелий Непот.

1. НОВЫЕ АННАЛИСТЫ

Новая анналистика, относящаяся к первой половине I в. до н. э., отличается от средней большей обработкой формы с риторической стороны, но зато и большей склонностью к вымыслам. Уже у Луция Кальпурния Пизона был рассказ о Ромуле, приглашенном на обед; вероятно, было и у других анналистов много рассказов из древней истории Рима, отличавшихся такой же степенью «историчности». Новые анналисты пошли в этом отношении значительно дальше.

Подкрашивание истории анекдотами имело целью главным образом сделать ее более интересной. Но еще хуже для достоверности истории было тенденциозное искажение ее с целью прославить какой-нибудь римский род или политическую партию.

По этим причинам сочинения новых анналистов были ненадежными историческими источниками.

2. КВИНТ КЛАВДИЙ КВАДРИГАРИЙ

Квинт Клавдий Квадригарий (Q. Claudius Quadrigarius) был современником Сизенны, претора 78 г. до н. э. Так говорят историк Веллей Патеркул, и это — все, что мы знаем о личности Клавдия Квадригария. На это же приблизительно время указывает и тот факт, что в его истории было упоминание событий 86 г.

Он написал историческое сочинение, которое Авл Геллий называет «Летопись» («Annales»), а грамматики Диомед и Присциан называют (вероятно, менее точно) «История» («Historiae»).

Как видно из цитат, оно заключало в себе не менее 23 книг. Во фрагментах из книги I говорится о взятии Рима галлами (387—386 гг. до н. э.). Отсюда можно заключить, что сочинение начиналось этим событием, что вся предшествующая история Рима в нем не излагалась. Последнее событие, упоминаемое в дошедших до нас фрагментах (именно, во фрагменте из XIX книги), это — осада Афин Суллой в 87—86 гг. Историк Орозий цитирует рассказ Клавдия даже об одном событии 82 г. Вот, как видно, приблизительные хронологические пределы повествования Клавдия.

По свидетельству Ливия (XXV, 39, 12 и XXXV, 14, 5), Клавдий перевел летопись Ацилия на латинский язык. Это свидетельство можно понимать

различно; скорее всего его надо понимать в том смысле, что летопись Ацилия была положена Клавдием в основу его собственного сочинения, причем он выпустил рассказ Ацилия о событиях, предшествовавших нашествию галлов, и сам изложил историю времени, до которого Ацилий не дошел в своей хронике, т. е. приблизительно времени после 184 г. Правда, некоторое сомнение относительно этого известия возбуждает то обстоятельство, что Ливий как в указанных сейчас двух местах, так и во всех других, называет цитируемого им историка просто Клавдием, без прибавления прозвища. Это дало повод некоторым ученым считать Клавдия, переводчика Ацилия, и Клавдия Квадригария разными лицами. Однако такое упоминание Ливием прозвища Клавдия едва ли может служить основанием против отождествления его с Клавдием Квадригарием, так как, например, и Целия Антипатра Ливий называет просто Целием, без прозвища.

Из римских историков цитирует Клавдия только Ливий (в 10 местах); пользовался ли им Дионисий, нельзя определить; совсем мало вероятно предположение, что им пользовался Диодор.

О достоверности исторических сведений у Клавдия Квадригария трудно судить; но сообщаемые им большие числа потерь у врагов вызывают сомнение. Равным образом, такие анекдоты, как во фрагментах 40 и 80, и описания, как во фрагменте 10 В, показывают, что Клавдий хотел заинтересовать читателей.

О стиле Клавдия мы можем судить на основании нескольких довольно длинных отрывков. Стиль его — отрывистый; предложения не связаны между собой. Таков, например, фрагмент 81, сохранный Геллием (XV, 1, 7)¹:

«Сулла, после долговременных усилий, вывел войско, чтобы зажечь деревянную башню, которую Архелай соорудил перед городом. Пришел, приблизился, подложил дрова, отеснил греков, придвинул огонь; довольно долго пробовали, никак не могли зажечь: так Архелай весь материал обмазал квасцами; этому Сулла вместе с воинами удивлялся и, не зажегши, отвел назад войско».

Цицерон в своем отзыве об историках («О законах», I, 2, 6) говорит о каком-то Клодии, которого он относит к числу плохих писателей (по стилю) сравнительно с Целием Антипатром и ставит его наряду с Семпронием Азеллионом: оба они — ничто в сравнении с Целием, а скорее близки к древним анналистам. Но нельзя с уверенностью сказать, какого Клодия имеет в виду здесь Цицерон: нашего ли Клавдия Квадригария или кого-либо другого.

Однако в императорскую эпоху любителям архаического стиля «Летопись» Клавдия нравилась. Так, Авл Геллий (XV, 1, 4) характеризует Клавдия как «писателя превосходного и правдивого». Более ясный отзыв о нем дает Геллий в другом месте (IX, 13, 4): «Кв. Клавдий описал это слогом в высшей степени чистым и ясным, простой, не украшенной приятностью древней речи». Фронтон у того же Геллия (XIII, 29(28), 2) называет Клавдия «мужем языка скромного, чистого и почти повседневного». В другом месте Фронтон, указывая характерные черты стиля разных историков (Саллюстия, Пиктора, Клавдия, Анциата и Сизенны), говорит, что Клавдий писал «изящно» — *terpide*, причем этот эпитет особенно ярко выделяется в сравнении с дурными характерными чертами других упомянутых историков: Пиктор писал «нескладно» — *incondite*, Анциат — «некрасиво» — *invenuste*.

¹ Речь идет об осаде Афин Суллой.

До нас дошло 96 фрагментов из «Летописи» Клавдия. Для иллюстрации могут служить следующие фрагменты.

Фрагменты

«Клавдий Квадригарий в XVIII книге Летописи рассказывает, что, когда осаждали Грумент² и город был уже в безнадежном положении, два раба пербежали к неприятелю и совершили дело, достойное награды. Когда после взятия города победители бегали повсюду, эти рабы по знакомым им улицам раньше всех прибежали к дому, в котором они были рабами, и повели свою хозяйку перед собою. Когда спрашивали, кто это такая, они отвечали, что это — их госпожа, и очень жестокая, и что они ведут ее на казнь. Потом, выведя ее за город, они старательно спрятали ее, пока не утихла ярость неприятелей. Потом, когда солдаты, насытившись, скоро вернулись к римским нравам, они также вернулись к своим нравам и сами дали себе госпожу. Она их тотчас же отпустила на волю и не стыдилась, что получила жизнь от тех, над которыми прежде имела право жизни и смерти» (Сенека, «О благодеяниях», III, 23, 2).

Фрагмент 41

Письмо консулов Гая Фабриция и Квинта Эмелия к царю Пирру. «Римские консулы шлют привет царю Пирру. Возмущенные до глубины души твоими неправыми поступками, мы стараемся воевать с тобою, как следует врагам. Но для примера всем и ради честности мы хотим, чтобы ты был жив, чтобы был человек, которого мы могли бы победить оружием. К нам приходил близкий тебе человек, Никий, который просил у нас себе награду, если он тайно лишит тебя жизни. Мы сказали, что не хотим этого и что он не должен ожидать за это никакой выгоды; вместе с тем мы решили известить тебя об этом, чтобы, если что-либо подобное случится, то народы не считали бы это сделанным по нашему умыслу. Если ты не примешь мер, то падешь» (Авл Геллий, III, 8).

Фрагмент 57

Приводим подлинные слова Квадригария из VI книги Летописи: «После этого были выбраны консулами Семпроний Грах во второй раз и Квинт Фабий Максим, сын того, который был консулом в предшествующем году. Отец-проконсул, ехавший на лошади, встретился с консулом [сыном] и не хотел сойти с лошади, потому что был его отец. Ликторы, зная, что между ними полное согласие, не посмели приказывать ему сойти. Когда он подъехал близко, консул сказал: «Прикажи сойти!». Тот ликтор, который прислуживал, сразу понял и приказал проконсулу Максиму сойти. Фабий повиновался приказанию и похвалил сына за то, что он охраняет власть, полученную им от народа» (Авл Геллий, II, 2, 13).

3. ВАЛЕРИЙ АНЦИАТ

*Валерий Анциат*³ (Valerius Antias) был, как и Клавдий Квадригарий, современником Сизенны, что основано также на свидетельстве Веллея Патеркула. Более ничего не известно о его личности.

² Грумент — город в Лукании, который осаждали римляне во время Союзнической войны (90—88 гг.). В 89 г. легат А. Габиний вел войну в Лукании и завоевал очень много городов, как сказано в кратком изложении (regiocha) LXXXVI книги Т. Ливия.

³ «Анциат» не указывает на то, что Валерий был родом из города Анция; это было его родовое прозвище, как видно из того, что уже во время второй Пунической войны упоминается Ливисем (XXIII, 4, 9) Валерий Анциат.

Он написал огромное историческое сочинение, от которого сохранились лишь ничтожные отрывки. Один отрывок (№ 62) приводится А. Геллием из 75-й книги; другой отрывок (№ 61) приводится грамматиком Присцианом из 74-й книги. Отсюда видно, что сочинение Валерия состояло не менее чем из 75 книг (а вероятно даже из большего числа). Оно носило заглавие «Annales» («Летопись») или «История» («Historiae»); вероятнее первое заглавие. Автор в нем вернулся к прежнему способу изложения — летописному. Оно начиналось, тоже по обычаю прежних анналистов, с древнейших времен, последнее же событие, упоминаемое в дошедших до нас фрагментах (именно, во фрагменте из 75-й книги), есть продажа наследства Луция Красса, погибшего в 91 г. до н. э.

Валерий, по-видимому, мало заботился об исторической истине, но старался сделать свой рассказ интересным; поэтому он не стеснялся приводить вымыслы там, где в предании были пробелы. Даже в древнейшей истории Рима ему все известно: он сообщает в точности число похищенных сабинянок — их было 527 (фр. 3); он указывает, сколько, в каком сражении было убитых, взятых в плен врагов (а отчасти и римлян), какая была взята добыча; числа все большие — вероятно, страшно преувеличенные. Так, в сражении 290 г. будто бы у римлян было убитых 5200, у врагов 6630 (фр. 19); в 212 г. в Испании римлянами было убито 17 000 врагов и взято в плен 4330 (фр. 23); в 203 г. у карфагенян было убито 5000 (фр. 29); в 202 г. у карфагенян было убито 12 000 и взято в плен 1700 (фр. 30). Но Валерий не щадит и римлян: в сражении с кимврами и тевтонами в 105 г. римляне потеряли 120 000 человек, так что из всего войска уцелели только 10 человек, которые и принесли своим это печальное известие.

Кроме этих, сравнительно невинных преувеличений, имевших целью возвеличение отечества, у Валерия есть и другие искажения истории, особенно для возвеличения рода Валериев или, наоборот, для унижения каких-нибудь лиц, ненавистных ему; есть и вымыслы событий, хронологические ошибки и т. д.

Но в сочинении Валерия было, по-видимому, и много дельного материала: недаром Тит Ливий упоминает 35 раз его имя и, вероятно, много раз пользуется им, не называя его имени, тогда как Клавдия Квадригария он упоминает только 10 раз. Пользовались сочинением Валерия также Дионисий и Плутарх, причем Дионисий относит его к числу «хвалимых» историков (I, 7). Но Цицерон о нем не упоминает.

Однако преувеличения и вымыслы Валерия вызывали возмущение уже у Ливия. Нередко, цитируя его, Ливий высказывает, иногда в довольно резкой форме, недоверие к его сообщениям (см. III, 5, 12; XXX, 19, 11; XXXIII, 10, 8; XXXVI, 38, 6; XXXVIII, 23, 8; XXXIX, 41, 6; XL, 29, 8; XLIV, 13, 12). Так, Ливий говорит: «Темно предание об этой битве. Валерий Анциат говорит, что неприятелей было убито пять тысяч: это — такая большая цифра, что она или бесстыдно выдумана или по небрежности пропущена [другими историками]» (XXX, 19, 11). «Если кто поверит Валерию, безмерно преувеличивающему число всего, то сорок тысяч врагов в тот день было убито, а взято в плен (тут ложь скромнее) пять тысяч семьсот» (XXXIII, 10, 8).

До нас дошло 65 фрагментов «Летописи» Валерия, но почти все не в подлинном виде, а в пересказе. Поэтому нам невозможно судить о его стиле. Фронтон говорит, что он писал «некрасиво» (*invenuste*); но так как Фронтон был любителем старины, то, вероятно, это выражение надо понимать в том смысле, что слог Валерия не был старинным и, значит, он писал языком своего времени. Для иллюстрации может служить следующий фрагмент:

Фрагмент 21

«Когда царь Пирр был в земле Италийской и одержал победу в двух сражениях, и римляне находились в затруднительном положении и большая часть Италии перешла на сторону царя, тогда некто Тимохар из Амбракии, друг царя Пирра, тайно пришел к консулу Г. Фабрицию, просил награды и обещал, если последует соглашение о награде, отравить царя ядом, сказав, что это — легко сделать, потому что его сын подает на пиру чаши царю. Фабриций написал сенату об этом. Сенат отправил послов к царю и приказал ничего не сообщать о Тимохаре, но советовать царю быть осторожнее и оберегать жизнь от козней близких людей. Это так, как мы сказали, написано в истории Валерия Анциата» (Авл Геллий, III, 8).

4. ГАЙ ЛИЦИНИЙ МАКР

Гай Лициний Макр (С. Licinius Maser) был современником Клавдия Квадригария и Валерия Анциата. Из обстоятельств его жизни известно только то, что в 73 г. до н. э. он был народным трибуном, а в 66 г., когда Цицерон был претором, он был привлечен к суду за взятки, был признан виновным и после приговора умер или (по другой версии) сам лишил себя жизни. Известно также, что он был отцом оратора и поэта Гая Лициния Макра Кальва, друга Катутла.

Лициний написал историческое сочинение. Сколько книг оно содержало, неизвестно; грамматик Присциан, правда, ссылается на 16-ю книгу «Летописи» (фр. 22), но называет автора «Aemilius Maser». Предполагают, что Aemilius поставлено ошибочно вместо Licinius, но, конечно, это — лишь догадка. Замечательно, что во всех дошедших до нас фрагментах цитируются только книги первая и вторая, если не считать приведенной сомнительной цитаты из Присциана и цитат из Нония (фр. 23), где Лициний назван ошибочно — вместо более позднего историка Гая Клодия Лицина. Из этого можно сделать вывод, хотя и проблематичный, что сочинение Лициния было небольшое. Начинаясь оно с древнейших времен: в первой книге был рассказ об Акке Ларенции, кормилице Ромула и Рема; во второй книге говорилось о Пирре. Уже это указывает на краткость его сочинения сравнительно с сочинением Т. Ливия, который дошел до рассказа о Пирре только в 12-й книге. Последнее событие, упоминаемое в дошедших до нас фрагментах, относится к 299 г. до н. э. (фр. 119). Заглавие сочинения передается в одних источниках «Annales», в других — «Historiae»; более вероятно первое.

Упоминание об Акке Ларенции как кормилице Ромула и Рема вместо традиционной волчицы, показывает, что Лициний (как и Валерий) трактовал мифы рационалистически. В политическом отношении он держался демократических убеждений: это видно из его речи, приведенной Саллюстием в «Истории» (III, 61). Его достоинством можно считать то, что он не только пользовался работами предшественников (особенно Геллия), но и обращался к первоисточникам, о чем не раз упоминает Тит Ливий (IV, 7, 12; IV, 20, 8; IV, 23, 2).

О достоверности Лициния как историка мы не можем судить: Тит Ливий говорит, что восхваление им рода Лициниев ослабляет его авторитет (VII, 9, 5). Из ученых нового времени одни (Нибур) высоко ставят его, другие (Моммзен) — низко.

Цицерон в двух местах говорит о Лицинии как об ораторе; оба отзыва неблагоприятны для Лициния. «Как адвокат, он был очень тщателен, но

не пользовался авторитетом: иметь более выдающееся положение ему мешали его образ жизни, характер, даже лицо; речь его не была богата, но и не была суха; в голосе, жестах и вообще во всех его действиях не было изящества; но он был очень способен находить материал и располагать его: однако и тут он проявлял больше ловкости, чем ораторского таланта; хотя он имел успех в процессах государственного характера, но более отличался в процессах частных» («Брут», 67, 238). Как историк, Лициний, по мнению Цицерона, был болтлив: «В болтливости его была некоторая доля остроумия, но и это было почерпнуто не из ученого богатства греков, а из латинских книжных лавчонок; в речах [вставленных в историческое повествование] масса ислепостей» («О законах», I, 2, 7).

«Летописью» Лицилия пользовались Т. Ливий, упоминавший его в семи местах, и Дионисий — в шести местах. Дионисий причисляет его к «хвалимым» историкам (I, 7, 3). Писатели эпохи императора Адриана, любители старины, не упоминают Лицилия, вероятно, потому, что стиль его не был архаичен. Приводят цитаты из него более поздние грамматик — Диомед, Присциан, Ноний, еще Цензорин и Макробий, но они могли заимствовать эти цитаты из вторых рук.

До нас дошло 27 фрагментов (или, вернее, 25, если исключить фрагменты 22 и 23, принадлежность которых Лицинию сомнительна).

5. КВИНТ ЭЛИЙ ТУБЕРОН

Квинт Элий Туберон (Q. Aelius Tubero) жил в эпоху войны между Цезарем и приверженцами Республики. Он принимал участие в сражении при Фарсале (48 г.) на стороне Помпея против Цезаря и после сражения получил прощение от Цезаря. Вернувшись в Рим, Туберон в 46 г. обвинил перед Цезарем Лигария, друга Цицерона, в государственной измене; но обвинение не имело успеха. Тогда Туберон посвятил себя литературной деятельности по гражданскому праву. Труды его в этой области ценились и не раз упоминаются в Пандектах и у Авла Геллия; до нас они не дошли.

Квинт Туберон был также автором исторического сочинения, от которого сохранилось 13 фрагментов. Оно начиналось с древнейших времен и было доведено до времени автора, состояло по меньшей мере из 14 книг, написано старинным стилем. Из историков им пользовались Тит Ливий и Дионисий; последний называет Туберона «тщательным» историком (I, 80, 1).

Фрагменты из истории Квинта Туберона незначительны. Для иллюстрации могут служить два следующие фрагмента в изложении Авла Геллия.

Фрагмент 8

«В Первую Пуническую войну консул Регул в Африке расположился лагерем у реки Баграды и вел большой, ожесточенный бой с одним змеем необыкновенной лютости, жившим в тех местах; долго он осаждал его баллистами и катапультами при большом усилии всего войска; убив его, он послал в Рим кожу змея длиною в 120 футов [= около 36 метров]» (Авл Геллий, VII (VI), 3).

Фрагмент 9

«Карфагеняне заперли Регула в мрачное, глубокое подземелье и после долгого времени, когда солнце казалось особенно жгучим, сразу выводили его,

держали его с лицом, обращенным к ярким лучам солнца, и заставляли направлять глаза к нему. Веки у него разводили вверх и вниз и пришивали, чтобы он не мог закрывать глаза» (Авл Геллий, VII (VI), 4, 3).

6. ЛУЦИИ КОРНЕЛИИ СИЗЕННА

Луций Корнелий Сизенна (L. Cornelius Sisenna) родился около 118 г. до н. э. Он был претором в 78 г., защищал Верреса на процессе 70 г. и, наконец, был легатом Помпея во время войны с морскими разбойниками в 67 г. Помпей послал его с поручением к Метеллу на остров Крит; там он заболел и умер. По своим политическим убеждениям он принадлежал к оптиматам. О его жизни более ничего не известно.

Сизенна, судя по отзывам древних, был наиболее выдающимся историком этого периода. Он был автором исторического сочинения, состоявшего по меньшей мере из 12 книг; есть даже ссылка на 23-ю книгу (у Нония), но эта цифра считается псевдой. Сочинение это носило заглавие «История» («Historiae»). По-видимому, оно содержало историю времени самого автора, так как уже в 1 книге говорится о событии, относящемся к началу войн с союзниками (фр. 6), около 90 г. Правда, в той же 1 книге речь идет о мифических временах (фр. 1 и 2), но надо думать, что рассказ об этом находился в предисловии, так как невозможно предположить, что в одной первой книге излагалась сколько-нибудь обстоятельно история огромного периода от мифического времени вплоть до 90 г. Последнее событие, которое упоминается в дошедших до нас фрагментах, относится к диктатуре Суллы 82 г. (фр. 132).

Таким образом, можно предположить с достаточной степенью вероятности, что сочинение Сизенны начиналось в основной части с истории Союзнической войны и кончалось смертью Суллы, т. е. историей времени 91—78 гг.

Сочинение Сизенны считалось древними главным источником для времени Суллы. Саллюстий замечает, что Сизенна «лучше и тщательнее всех изложил события того времени» [= времени Суллы], но, как кажется, говорил не достаточно свободными устами» («Югуртинская война», 95, 2). Цицерон высоко ставит Сизенну: «Сизенна, друг его [Макра], — говорит он, — можно сказать, превзошел всех наших предшествующих историков. Однако он никогда среди нас не считался оратором, да и в истории стремится к чему-то ребяческому, так что можно подумать, что из греков он читал одного Клитарха⁴ и никого другого, кроме него; по крайней мере, ему он хочет подражать; но даже если бы он мог дойти до него, все-таки он был бы довольно далек от совершенства» («О законах» I, 2, 7). В другом месте Цицерон дает такой отзыв о Сизенне: «Сизенна — человек ученый, преданный благородным занятиям; он говорил хорошо по-латыни, знал государственные дела [т. е. был практиком], был не лишен остроумия; но на судебные процессы он не тратил много труда и не был особенно искусен в них; занимая среднее место между двумя поколениями, между Гортензием и Сульпицием, он не мог дойти до старшего и принужден был уступить младшему. Все его способности можно ясно видеть из его истории, которая, хотя и превосходит все предшествующие [исторические труды], однако показывает, как далека она от совершенства и как недостаточно еще развит этот литературный жанр в латинской литературе» («Брут» 64, 228).

Об уважении современников к «Истории» Сизенны можно судить уже по следующему факту. Варрон в своем сочинении «Logistorici» отдельным

⁴ Клитарх — современник Александра Македонского, написавший его историю, украшенную разными чудесами и анекдотами.

трактатам (диалогам) дает двойные заглавия, из которых одно содержит название темы трактата, а другое есть имя лица, играющего главную роль в трактате-диалоге. Трактат «Об истории» озаглавлен у Варрона именем Сизенны: это свидетельствует об уважении Варрона к Сизенне как к историку. Вероятно, в этом трактате Сизенна и был главным из беседующих лиц на тему об истории.

Сизенна старался сделать свое сочинение интересным: на это не только указывает свидетельство Цицерона, что он подражал Клитарху, но даже и мы сами можем до некоторой степени судить по сохранившимся отрывкам. Видно, что в «Истории» были речи (фр. 10, 109—115), описания сражений и осад (фр. 33, 40, 70, 107), рассказы о снах и предзнаменованиях (фр. 5), экскурсии (например, фр. 99 о священной весне у сабинов).

Если верно предположение, что сочинение Сизенны оканчивалось рассказом о смерти Суллы, то можно думать, что Саллюстий в своей «Истории» был продолжателем Сизенны. Подобный обычай существовал у греческих историков — начинать сочинение с того времени, до которого дошел предшественник; вполне возможно, что этот обычай перешел и к римлянам. Есть даже предположение, что сочинение самого Сизенны было продолжением сочинения Семпрония Азеллиона, остановившегося на изложении событий 91 г.

Язык Сизенны в сохранившихся фрагментах — довольно ясный, но они слишком незначительны, чтобы мы могли высказать о нем самостоятельное суждение. Цицерон указывает на его пристрастие к «неупотребительным словам» (*in usitatibus verbis uteretur* — «Брут», 74, 259). Варрон у Авла Геллия (II, 25, 9) подтверждает это, замечая, что Сизенна один в сенате говорит *adsentio* (вместо *adsentior*). Из фрагментов, действительно, попадаются очень редкие образования наречий с суффиксом *-tim*: *vellicatim*, *saluatim*, *celatim* (фр. 126, 127).

До нас дошло 137 фрагментов из «Истории» Сизенны, из них более 120 цитируются Нонием; однако большинство из них состоит из одного или нескольких слов.

Кроме «Истории» Сизенна перевел «Милетские рассказы» Аристида — сочинение легкомысленного содержания, по словам Овидия («Скорбные элегии», II, 443); от этого произведения до нас дошло 10 фрагментов (все цитируются грамматиком Харисием по поводу языка). Сизенне приписывается также комментарий к Плавту, но ученые нового времени предполагают, что это была работа какого-нибудь позднейшего грамматика, носившего это имя.

7. КОРНЕЛИЙ НЕПОТ

Корнелий Непот (*Cornelius Nepos*) был уроженцем Галлии Цисальпийской. Он был в дружбе со своим земляком Катуллом, который посвятил ему сборник стихов, также с Аттиком и с Цицероном — по крайней мере, был в переписке с ним. Из его слов в биографии Аттика (19, I) можно, с некоторой степенью вероятности, заключить, что он был приблизительно ровесник Аттика, который родился в 109 г. до н. э. Как говорит Плиний Старший (IX, 137), он умер во время правления Августа; во всяком случае, он пережил Аттика, умершего в 32 г. до н. э.

Корнелий Непот писал и прозой, и стихами. Плиний Младший упоминает о стихотворениях его, по-видимому, эротических; о них мы не имеем никакого представления. Литературная деятельность его была сосредоточена на прозаических сочинениях исторического содержания. Нам известны, по упоминаниям из древних авторов, следующие сочинения его:

а) «Хроника» («Chronica»), б) «Примеры» («Exempla»), в) «Биография Катона», г) «О знаменитых людях» («De illustribus viris»). Эти сочинения до нас не дошли. Сохранилось только извлечение из последнего сочинения под заглавием «О выдающихся полководцах иноземных народов» («Liber de excellentibus ducibus exterarum gentium»); к этому сочинению присоединены биографии Катона и Помпония Аттика.

«Хроника» состояла из краткого очерка всей истории в хронологическом порядке, начиная с мифических времен до времени автора, с указанием годов до и после основания Рима, в трех книгах.

«Примеры» представляли собой сборник рассказов о разных достопримечательностях из истории, естественных наук, географии, в пяти книгах; им много пользовался Плиний Старший, также Валерий Максим, Светоний, Авл Геллий.

«О знаменитых людях». Это сочинение состояло из 16 книг и разделялось, как предполагают, на группы по разным родам знаменитых людей, причем в каждой группе одна книга содержала рассказ о знаменитых иностранных и одна книга о знаменитых римских. Так, на основании отчасти дошедших до нас из древности сведений, отчасти на основании догадок новых ученых, состав этого сочинения реконструирован следующим образом: цари (кн. 1 и 2), полководцы (кн. 3 и 4), государственные мужи (кн. 5 и 6), поэты (кн. 7 и 8), ораторы (кн. 9 и 10), историки (кн. 11 и 12), грамматики (кн. 13 и 14), риторы (кн. 15 и 16).

Из этого сочинения до нас дошла часть 3-й группы, именно часть о полководцах иностранных, и часть 6-й группы, содержащая биографии Катона и Аттика. Из введения к группе об историках сохранился фрагмент, в котором говорится, какую потерю понесла историография вследствие смерти Цицерона, так как он благодаря своему ораторскому таланту мог бы поднять римскую историографию на равную высоту с греческой.

Сочинение «О знаменитых людях» в первоначальном виде было написано до смерти Аттика (32 г.), вероятно, около 35 г. После смерти Аттика оно было переделано (около 29 г.), и в это второе издание были прибавлены биографии полководцев негреческих. — Датама, Гамилькара, Ганнибала.

Извлечением из этого большого труда и является, как уже сказано, дошедшее до нас сочинение. Оно содержит 23 биографии неримских полководцев, а именно: Мильтиад, Фемистокл, Аристид, Павсаний, Кимон, Лисандр, Алкивиад, Фрасибул, Конон, Дион, Ификрат, Хабрий, Тимофей, Датам, Эпаминонд, Пелопид, Агесилай, Эвмен, Фокион, Тимолеонт, цари (которые были также и полководцами), Гамилькар, Ганнибал. Таким образом, это — биографии исторических деятелей времени, начиная с Греко-персидских войн и кончая эпохой диадохов (преемников Александра Македонского).

В рукописях автором этого сочинения называется не известный нам Эмилий Проб. При этом после биографии Ганнибала помещено стихотворение, состоящее из 6 дистихов, обращенное к императору Феодосию (неизвестно, к которому: Феодосий I и Феодосий II были императорами в 379—450 гг. н. э.). В этом стихотворении, между прочим, сказано: «Если он [= Феодосий] спросит имя автора, то ты [= книга] понемногу открывай наше имя господину; пусть он знает, что я — Проб». Но за этим стихотворением следуют биографии Катона и Аттика и еще отрывок из письма Корнелии к ее сыну Гаю Гракху; об этих биографиях сказано, что они взяты из сочинения Корнелия Непота о латинских историках.

Все это дало повод издателям этого сочинения считать биографии полководцев сочинением Эмилия Проба, а биографии Катона и Аттика —

сочинением Корнелия Непота. Поэтому в первом издании этого сочинения, напечатанном в Венеции в 1417 г., и в следующих изданиях автором его прямо назван Проб. И только известный ученый Ламбин в предисловии к своему изданию 1569 г. доказал принадлежность всего этого сочинения Корнелию Непоту.

Тогда возникло новое предположение, что дошедшее до нас сочинение есть лишь извлечение из первоначального сочинения Корнелия Непота, доказательством чего будто бы служит краткость биографий в сочинении «О знаменитых людях». Он, подобно Варрону, сопоставлял греков (главным образом, и лишь немногих из других наций) с римлянами. Что автор имел целью именно сравнение описываемых лиц, видно из его слов в биографии Ганнибала: «Но пора уже нам кончить эту книгу [т. е. книгу об иностранных полководцах] и рассказывать о римских полководцах, чтобы посредством сравнения деяний тех и других легче было судить, которые заслуживают предпочтения».

При выборе групп, на которые делились биографии, Непот, конечно, должен был выбирать лишь такие группы, для которых можно было найти равноценных соперников: так, нельзя было образовать группу юристов, потому что у греков не было знаменитых юристов, а группу философов нельзя было образовать потому, что у римлян того времени не было достаточно философов, которые могли бы конкурировать с многочисленными греческими философами.

Затем, автору приходилось решать вопрос, каких представителей каждой группы считать наиболее знаменитыми. В этом отношении его выбор произволен: с одной стороны, нет биографий некоторых очень важных лиц (например, Никия, Брасида), с другой стороны, имеются биографии лиц сравнительно мало замечательных.

Источники свои, по крайней мере некоторые, Непот сам указывает в разных местах; для дошедших до нас биографий это были сочинения греческих авторов — Фукидида, Ксенофонта («Агесилай»), Феопомпа, Тимея и др.

В упрек Непоту можно поставить несоответствие размера биографии со значением описываемых лиц: так, биографии Кимона и Лисандра слишком коротки, а биография Датама слишком пространна для такого мало известного полководца. Затем, хотя в биографии полководцев на первом плане должны быть указаны их военные заслуги, однако у Непота они отступают на задний план сравнительно с другими их чертами или действиями: в биографии Эламинонда его военные заслуги упомянуты лишь вскользь, в биографии Фикиона совсем не упомянуты. Даже говоря о военных заслугах, Непот приводит иногда не самые важные; часто они только перечисляются; вместо описания военных подвигов рассказываются факты, не относящиеся к военному делу, но какие-нибудь необыкновенные или эффектные, и особенно анекдоты. В биографии Фемистокла, например, приводится рассказ о его посольстве в Спарту, о конце его жизни. В биографиях заметна односторонность: автор к одним лицам относится благоприятно, умалчивая позорящие их факты; к другим, напротив, относится неприязненно, умалчивая об их хороших поступках.

Как уже было сказано, в биографиях встречаются исторические и хронологические ошибки. Ответственность за них падает на самого Корнелия Непота. Он пользовался источниками довольно небрежно: одни факты пропускал, другие извращал — может быть, намеренно, а может быть, и по недостаточной подготовленности. Кроме того, как он сам говорит в конце предисловия, работал он поспешно; это тоже, вероятно, дурно отражалось на его сочинении. Встречаются даже противоречия,

объяснимые, вероятно, тем, что он заимствовал сведения из противоречивых источников, и, не заметив этого, не согласовал их. К тому же, он писал не историю в собственном смысле, а биографии, в которых по древнему обычаю, надо было восхвалять описываемое лицо. Чтобы представить себе различие между историей и биографией, полезно сравнить то, что Ксенофонт пишет об Агесилае в своей «Истории» и в его биографии: для биографии, по мнению древних, дозволительна ложь в пользу прославляемого человека, в истории в общем должна быть истина. Поэтому, может быть, Непот иногда противоречит самому себе: так, в биографии Агесилая (7, 2) он восхваляет его за то, что он, защищая всех, кто восставал против персидского царя, получал от них подарки и этим помог отечеству, нуждавшемуся в деньгах; а в биографии Тимофея (1, 3) он хвалит Тимофея за то, что он, в противоположность Агесилаю, не брал с персов денег. Таким образом, в биографии Тимофея автор уже считал возможным унижить Агесилая для большего прославления Тимофея.

Да и вообще, Непот, подобно многим другим, смотрел на историю в значительной степени как на риторическое произведение (в котором, следовательно, разные преувеличения в ущерб истине дозволительны): в отрывке из книги «О латинских историках» он говорит о Цицероне как о единственном человеке, который мог и даже должен был «достойным голосом [=языком] провозгласить историю (*historiam digna voce pronuntiare*) именно потому, что усовершенствовал ораторское красноречие и придал своей речи надлежащую форму философии» (фр. 18).

Ученые нового времени считают дошедшее до нас сочинение Корнелия Непота посредственным и самого автора ценят невысоко. Оценка современников Непота была иная. Его сочинения должны были казаться современникам гораздо более научными и интересными, чем нам, привыкшим к точности исторических трудов, если принять во внимание, что историография у римлян того времени стояла на весьма низком уровне. В самом деле, что значат исторические промахи Непота в сравнении с искажениями и вымыслами хотя бы Валерия Анциата? Кроме того, эти ошибки заметны нам при сравнении рассказа Непота с рассказом греческих историков: но те римляне, которые не знали по-гречески или не имели возможности читать греческих историков, не могли и заметить их. Наконец, он был *первым*, познакомившим своих соотечественников с историей других народов на латинском языке, — с тем, что мы назвали бы теперь «всеобщей историей». О том, как смотрели современники на «Хронику» — первое, по-видимому, сочинение Корнелия Непота, мы имеем свидетельство его земляка, поэта Катулла. Катулл посвятил собрание своих стихов Корнелию Непоту. Уже это обстоятельство указывает на уважение к нему со стороны автора.

Сочинения Корнелия Непота не были забыты и в императорское время (хотя, вероятно, обширные исторические труды Трога Помпея и Тита Ливия много повредили их славе). Были и подражания его сочинениям: его «Примеры» как собрание замечательных фактов послужили образцом для Гигина, давшего своему сочинению это же заглавие, и для Валерия Максима; из него же заимствовал кое-что Авл Геллий. «Хронику» Непота Авзоний посылает Пробу, правда, с язвительным замечанием, что она похожа на басни («Послания», 16).

Сочинение «О знаменитых людях» положило начало литературному жанру — сборникам биографий, каковы, например, сочинения Светония «О жизни цезарей» и «О знаменитых людях».



Глава XIX

ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ И ЕГО ПРОДОЛЖАТЕЛИ

1. Биография и произведения Цезаря.— 2. «Записки о Галльской войне».—
3. «Записки о гражданской войне».— 4. «Александрийская война».—
5. «Африканская война».— 6. «Испанская война».

1. БИОГРАФИЯ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЦЕЗАРЯ

Гай Юлий Цезарь (С. Iulius Caesar) происходил из древнего патрицианского рода Юлиев, которые вели свою родословную от Иула, или Аскания, сына Энея и внука Венеры. Иул считался основателем города Альба-Лонга и прародителем основателей Рима, Ромула и Рема. Представители рода Юлиев упоминаются в консульских списках уже с V в. до н. э. Все известные нам до I в. н. э. представители рода Юлиев принадлежали к аристократической партии.

Гай Юлий Цезарь родился в 100 г. до н. э. и 15 лет потерял отца. Повидимому, уже с ранней молодости он примкнул к демократическим течениям. По его распоряжению на похоронах его тетки, вдовы Мария, несли маску Мариа, что произвело большое впечатление в Риме, так как даже упоминание имени Мариа было не вполне безопасно. Ему же приписывали произведенное в одну ночь восстановление статуй Мариа, низверженных Суллой. В 18 лет он женился на дочери Цинны и не выполнил желания всемогущего диктатора Суллы, когда тот потребовал, чтобы Цезарь развелся с нею. Опасаясь столкновения с Суллой и послушавшись советов друзей, Цезарь на некоторое время покинул Рим, чтобы закончить на Родосе, в школе известного ритора Молона, свое образование, начатое в Риме у Антония Гнифона. На Востоке же он начал свою военную и государственную службу. Вернувшись в Рим в 78 г., он продолжал оставаться в близких отношениях с представителями умеренной оппозиции, не порывая в то же время связей и с представителями аристократических консервативно-республиканских кругов и ведя широкую демагогическую деятельность. Его успеху у городского плебса способствовала его чрезвычайная щедрость, открытый образ жизни, приветливость и услужливость. Он использовал любые средства, делал огромные долги, лишь бы достигнуть руководящего положения в политической и общественной жизни Рима. Его служебная карьера шла быстрыми шагами: в 67 г. он был квестором, в 65 — эдилом, в 63 — понтификом, в 62 — претором, в 61 — наместником в Испании, в 59 г. — консулом.

После раскрытия заговора Катилины ему угрожала опасность быть втянутым в число обвиняемых в заговоре или, по крайней мере, в сочувствии ему. Однако явных улик против Цезаря не было и ему нельзя было предъявить обвинения, как ни старались сделать это его враги.

В 60 г. ему удалось, помилив Помпея с Крассом, заключить негласный первый триумвират для управления всеми делами в Риме. В 59 г., в свое консульство, он провел ряд демократических законов и в 58 г., добившись всего, что было им намечено, получил на пять лет в управление обе Галлии. С 57 по 49 г. Цезарь управлял Галлией, вернее завоевывал ее. Несмотря на то, что в 51 г. за ним было сохранено управление Галлией еще на пять лет, уже с 50 г. на Цезаря начались сильные нападки в сенате. Отношения с Помпеем стали ухудшаться уже с 56—55 гг.; смерть Красса в 53 г., смерть дочери Цезаря, выданной им за Помпея, и окончательный переход Помпея на сторону сенатской консервативной партии — все это ускорило разрыв между Цезарем и Помпеем. В 49 г. началась гражданская война, кончившаяся разгромом сенатской партии. В течение четырех лет своей диктатуры Цезарь был вынужден обращать главное внимание по-прежнему на военные дела и постоянно быть при своих армиях в разных концах света. В 48 г. он разбил Помпея при Фарсале и к 48—47 гг. подчинил Египет и Восток, в 46 г. (при Тапсе) покончил с остатками сенатских войск в Африке, в 45 г. — с войсками сыновей Помпея в Испании (при Мунде). Наезжая в Рим между походами и в последний год своей жизни, Цезарь провел ряд реформ в управлении, а также земельные и финансовые реформы. Основной тенденцией их была, однако, уже не демократизация, а централизация управления, контроль над деятельностью управителей провинций и т. п. Но разбитая сенатская партия республиканцев-консерваторов еще раз подняла голову, и в марте 44 г. Цезарь был убит заговорщиками во главе с Брутом и Кассием.

Основными источниками для биографии Цезаря служат его жизнеописания у Плутарха и у Светония. Яркая характеристика его дана в «Заговоре Катилины» Саллюстия; не раз говорит о нем и Цицерон в своих письмах.

До нас дошли полностью два главных произведения Цезаря «Записки о Галльской войне» (*Commentarii de bello Gallico*), в семи книгах, и «Записки о гражданской войне» (*Commentarii de bello civili*), в трех книгах. Первое сочинение предположительно датируется 52/51 г., второе — 44 г. Ученые считают, что завершению «Записок о гражданской войне» помешала смерть; они доведены только до начала Александрийской войны.

К этим двум подлинным сочинениям Цезаря примыкают исторические записки, составленные его соратниками и приверженцами.

В своих «Записках о Галльской войне» Цезарь довел изложение событий до 52 г., до падения Алезии. События от 58 до 52 г. изложены им в семи книгах и кончаются капитуляцией Верцингеторига. О последних двух годах его пребывания в Галлии рассказывает в VIII книге «Записок» офицер, служивший под начальством Цезаря, Гиртий. В начале этой VIII книги Гиртий говорит о причинах, побудивших его взять на себя этот труд, несовершенство которого, по сравнению с сочинением Цезаря, он видит сам.

«Записки об Александрийской войне» (*Bellum Alexandrinum*) — 78 глав.

«Записки об Африканской войне» (*Bellum Africanum*) — 98 глав.

«Записки об Испанской войне», дошедшие в чрезвычайно поврежденном виде (*Bellum Hispaniense*), — 42 главы.

Считают, что автором «Александрийской войны» является Гиртий, так как она имеет некоторое сходство с VIII книгой «Записок о Галльской войне». Остальные два сочинения не принадлежат ему и, по всей вероятности, написаны разными лицами.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА РЕСПУБЛИКИ

Помимо двух исторических произведений Цезаря, дошедших до нас, у Цицерона, Плутарха и Светония упоминаются еще следующие его работы.

1. Юношеские опыты — поэма о Геракле и трагедия «Эдип».
2. Грамматическое сочинение «Об аналогии», написанное, вероятно, в 54 г. в ответ на риторическое произведение Цицерона «Об ораторе».
3. «Антикатоны» (Anticatores) — два памфлета, написанных Цезарем во время Испанской войны в качестве ответа на сочинение Цицерона «Катон», восхвалявшее Катона Утического как героя, погибшего за Римскую республику.
4. Поэма «Путь» (Iter) о пути до Испании в 46 г., когда Цезарь ехал на войну с сыновьями Помпея.
5. В первые века нашей эры были также известны сборник изречений, речи и письма Цезаря. Светоний упоминает о нескольких речах и о письмах к разным лицам, в том числе к Цицерону. По неизвестным причинам распространение изречений Цезаря было Августом запрещено.

2. «ЗАПИСКИ О ГАЛЛЬСКОЙ ВОЙНЕ»

«Записки о Галльской войне» представляют собой очень четкое последовательно изложение первых семи лет пребывания Цезаря в Галлии. Наиболее крупные и угрожающие события рассказаны Цезарем в I и в VII книгах, а именно — война с германским вождем Арновистом, вторгшимся в пределы Галлии (кн. I), и последнее огромное восстание всех галльских племен под предводительством арверна Верцингеторига (кн. VII). Остальные книги рассказывают и о непрерывных столкновениях и схватках то с одним, то с другим племенем галлов и германцев и об оборонительных и наступательных экспедициях на территории нынешней Франции, Бельгии и даже Англии, и об опасных зимовках в лагерях. Повествование ведется в спокойном, почти эпическом тоне, без отчетливо намеченного композиционного плана, исключительно в третьем лице и сперва производит впечатление настолько объективного и бесстрастного отчета, что, только вчитываясь в это своеобразное произведение, можно уловить и глубоко заложенную в нем сознательную политическую тенденцию, и сдержанный, но выразительный боевой пафос.

Однако, несомненно, Цезарь, не делавший никогда ни одного необдуманного шага, прекрасно знал, зачем он опубликовал эти «Записки» и почему он составил их именно в таком виде — в форме спокойного, фактического, в известной мере сухого и однообразного повествования документального характера. Даже название «Commentarii», данное самим Цезарем его произведению (именно так называет его Цицерон в диалоге «Брут» (§ 262) через несколько лет после его появления), подчеркивает деловой характер его сочинения и должно заранее отвести от автора подозрения в желании выставить себя на первый план, восхвалять свои подвиги и вообще составить историю того типа, которая была хорошо известна Цезарю по греческим образцам и которую брали еще Полибий — историю литературно-риторическую. Цезарь хорошо понимал, насколько большое впечатление произведет на римского читателя точный рассказ о подлинных боях с указанием имен лиц, названий местностей и подробным раскрытием всей обстановки. В силу этого повествовательный элемент является господствующим в «Записках». Цезарь, по-видимому, охотно принимал позу «простого военного» и подчеркивал свой интерес к чисто военным вопросам, интерес, который у него, несомненно, был очень

велик, но все же был для него не целью, а средством. И при внимательном чтении «Записок» все яснее выступает в их повествовательных частях определенная тенденция, а именно — показать и доказать, что не только все войны в Галлии, но и экспедиции за Рейн и в Британию совершенно необходимы для безопасности Римского государства и для поднятия его престижа. Именно такое освещение его деятельности было нужно Цезарю для завоевания общественного мнения в его пользу и для опровержения обвинений, исходивших от его противников, в том, что он без нужды растрчивает силы римского войска.

Особенно ясно проступает эта тенденция в IV книге «Записок» в рассказе о войне с германскими племенами усипетов и тенктеров. Дело в том, что самый вопрос о законности этой войны был крайне сомнителен, так как во время первых военных стычек между римлянами и германцами в ставке Цезаря находились германские послы, пришедшие с предложением договориться о расселении германцев по западной стороне течения Рейна без открытия военных действий. Положение было настолько неясно, что противники Цезаря в сенате в главе с Катоном требовали отдачи Цезаря под суд за нарушение посольского права или даже выдачи его германцам. Поэтому Цезарь изображает весь этот эпизод в хронологическом порядке в крайне спокойном, как будто незаинтересованном тоне следующим образом: «Услыхав о переходе Рейна усипетами и тенктерами, которых выгнали свевы и которые желали поселиться на землях галлов, Цезарь отправился к войску ранее, чем обыкновенно, чтобы пресечь войну, пока она еще не приняла более опасного оборота. По своем прибытии он убедился в том, что его предположения подтвердились... Обеспечив себя продовольствием и набрав конницу, он пошел походом в те местности, в которых, по слухам, находились германцы...» (IV, 6—7). С послами, прибывшими от германцев, Цезарь говорил сурово и отказывался дать им обещание не продвигаться вперед хотя бы в течение трех дней, так как, предполагал он, они поджидают возвращения большого конного отряда и именно с этой целью добиваются отсрочки (гл. 9). Послы отправились к своим и вернулись через три дня, опять прося Цезаря не двигаться дальше и дать им еще три дня. «Цезарь понимал, что все это делается к тому, чтобы выиграть эти три дня и дать вернуться отсутствующим всадникам. Он отдал приказ своему конному авангарду не нападать на врага, а если на них нападут, то ограничиваться обороной, пока он сам не подойдет с главными силами» (гл. 11). Но всадники Цезаря в тот день, на который было назначено перемирие, подверглись нападению германской конницы, по-видимому, потому, что продвинулись на 4 мили вперед за водой, что, по словам Цезаря, было договорено с послами. Печальные результаты этого боя Цезарь подчеркивает: «В этом сражении было убито из наших всадников 74 человека, в том числе храбрый и очень знатный аквитанец Пизон, дед которого был некогда царем своего народа и получил от нашего сената титул друга» (гл. 12). Далее Цезарь рассказывает о героической гибели Пизона и его брата, которые оба погибли, спасая друг друга, и только после этого отступления переходит к решительному оправданию своих действий: «После этого сражения Цезарь считал уже совершенно недопустимым выслушивать послов и принимать какие-либо предложения от людей, которые сначала живо и коварно просили мира, а затем сами, *без всякого повода, открыли военные действия...* Он сообщил легатам и квесторам свое решение *не терять ни одного удобного дня* для сражения. Но тут *весьма кстати* случилось, что на следующий день к Цезарю в лагерь явились в большом количестве — столь же вероломно и лицемерно — германцы вместе со своими князьями и ста-

рейшинами будто бы для извинения в том, что их люди завязали сражение вопреки соглашению и их собственной просьбе, а также для того, чтобы по возможности *обманно* выпросить себе новую отсрочку. Цезарь был очень *рад*, что они попались ему в руки и приказал их задержать, сам же выступил со всем своим войском из лагеря...» (гл. 13). Захватившие врасплох, германцы были разбиты наголову; немногие из них «завязали сражение между обозными телегами; но вся остальная масса, состоявшая из женщин и детей, бросилась бежать врассыпную; в погону за ними Цезарь послал конницу...» (гл. 14). Многие погибли в Рейне, «не справившись ни со своим страхом и утомлением, ни с силой течения. Наши все до одного, за исключением весьма немногих раненых, благополучно вернулись в лагерь, избавившись от очень опасной войны, так как число неприятелей доходило до 430 тысяч человек» (гл. 15).

Ясно, что на самом деле основные силы германцев вовсе не «открывали военных действий» и что сражение совершенно сознательно, подготовив все заранее, начал Цезарь. Однако приведенные выше отрывки, в которых субъективность освещения событий несомненна, в полном тексте тонут среди подробного спокойного повествования. По-видимому, сомнения Катона в справедливости поступков Цезаря были достаточно обоснованы, хотя и точка зрения Цезаря, что полчища германцев, перешедших в Галлию, могут угрожать Риму, тоже имела за собой грозные исторические примеры.

Однако Цезарю недостаточно было оправдать себя по поводу этой битвы, ему надо было доказать необходимость экспедиции за Рейн. К этому он и переходит и изображает ее не только как необходимую для Рима, но и предпринятую им в целях защиты союзного племени убиев: «По окончании войны с германцами Цезарь по многим причинам счел необходимым переправиться через Рейн. Важнейшей из них было желание внушить германцам... страх за их собственные владения... Наконец, убиив... теперь настойчиво просили помочь им против притеснений со стороны свевов... и обещали большое число кораблей для переправы войска... Но переправу на судах Цезарь считал небезопасной и не соответствующей его личной чести и достоинству римского народа» (гл. 16—17). Первый мотив был, конечно, существеннее; «союзники» убиив могли утопить римское войско в Рейне или, перевезя его на другой берег, отрезать ему отступление. Далее начинается знаменитый рассказ о невероятно быстрой — в 10 дней — постройке моста через Рейн. За Рейном Цезарь провел 18 дней и, узнав, что свевы собираются обороняться и «полагая, что им достаточно сделано для славы и пользы римского народа, он вернулся в Галлию и снес мост» (гл. 19).

Этот отрывок приведен нами так подробно как чрезвычайно типичный для всей писательской манеры повествования Цезаря, которая под кажущимся беспристрастным хронологизмом скрывает явное намерение оправдать все свои действия. В данном случае это ему, несмотря на все старания, все же удастся не вполне.

Несколько сходный эпизод имеется и во II книге, где рассказано, как после нарушения адуатками условий капитуляции «Цезарь приказал всю военную добычу с этого города продать с аукциона. Число проданных жителей, о котором ему было доложено покупателями, было 53 000 человек» (II, 33). Не раз говорит Цезарь и о своем недоверии к послам других народов, даже к послам своих друзей эдуев, отправших от Рима во время восстания Верцингеторига. «Втайне они задумывали войну и посылали для этой цели посольства к прочим общинам... Все это Цезарь хорошо понимал. Тем не менее он отвечал послам со всей ласко-

востью, на которую был способен: из-за глупости и легкомыслия черни он не намерен... лишать эдучев своего обычного благоволения» (VII, 43). Но по отношению к римским послам Цезарь требует безусловного уважения: когда венецы «задержали Силия и Велания» и «отправили к Крассу посольство с предложением вернуть им заложников, если он желает получить назад своих людей» (III, 8), Цезарь немедленно начал войну и, победоносно закончив ее, «решил строго покарать венецов, чтобы на будущее время варвары относились с большим уважением к праву послов. и приказал весь их сенат казнить, а всех остальных продать с аукциона» (III, 16).

Итак, все, что делает Цезарь, направлено, по его словам, только к славе Рима, только о ней он и заботится.

Однако нигде не прибегая к явному самовосхвалению, Цезарь, чтобы сообщить своему повествованию характер полной правдивости, не скрывает и своих неудач и рассказывает о них так же подробно, как и о своих успехах. Одним из наиболее интересных и драматических эпизодов в его «Заметках» является описание тяжелого поражения Котты и Сабина, попавших в ловушку князя галльского племени эбурунов Амбиорига (V, 27—37). Сжатый рассказ о гибели легиона рассчитан на сильное впечатление, причем Цезарь отмечает различное поведение двух вождей — растерянность Сабина и доблесть Котты, но воздерживается от какого бы то ни было проявления чувства. «Сабина окружили и убили. Тогда эбуруны по своему обыкновению закричали: «Победа! Победа!» и, бросившись с диким воем на наших, прорвали их ряды. Здесь был убит с оружием в руках Котта и большая часть его отряда. Остальные отступили в лагерь, перед этим ими покинутый. Из них орлопосец Л. Петросидий, теснимый массой врагов, бросил орла через вал в лагерь, а сам с чрезвычайной храбростью сражался перед лагерем, пока не был убит. Они с трудом выдерживали штурм вплоть до ночи, а ночью, потеряв всякую надежду на спасение, все до одного покопчили с собой. Лишь немногие спаслись из сражения, после блужданий по лесам добрались до зимнего лагеря легата Т. Лабисна и принесли ему вести о случившемся» (V, 37).

Цезарь не скрывает даже того, что его воины не всегда бывают бесстрашны. «Только что набранные солдаты, — говорит он, — без боевой опытности, глядят военному трибуну и центурионам в глаза и ждут их указаний. Нет такого храброго человека, которого неожиданность не смутила бы» (VI, 39). Все же гораздо чаще он подчеркивает ту исключительную храбрость, с которой сражались «наши» (*nostri*), — это то единственное употребление первого лица, которое Цезарь позволяет себе.

Так, при нападении нервий на зимний лагерь Квинта Цицерона, ответившего их послам, что «римский народ не привык принимать условий от вооруженных врагов» (V, 41), «наши солдаты проявили замечательную храбрость и присутствие духа: хотя их со всех сторон палил огонь и снаряды сыпались на них градом и хотя они видели, что горит весь обоз и всё их имущество — не только никто не отходил от вала, чтобы совсем его покинуть, но почти никто даже не оглядывался, а все сражались с необыкновенным ожесточением и отвагой» (V, 43).

В свое повествование Цезарь охотно вводит эпизоды, повествующие о подвигах отдельных людей. В его рассказе всегда точно приводятся имена римских военачальников, притом не только легатов и военных трибунов, но и центурионов, что, конечно, было мощным средством для приобретения популярности среди воинов. Из военачальников особенно часто упоминаются Тит Лабиев, впоследствии изменивший Цезарю, и млад-

ший брат Цицерона, Квинт, к которому Цезарь относился в это время очень благосклонно. Весьма вероятно, что и упоминания имен отдельных лиц, состоявших в высоких чинах, и их заслуг тоже делалось с определенной целью — завоевать себе сторонников не только в войске, но и в Риме, среди их приверженцев и друзей. Похвалы же низшим чинам тоже были в известной степени приемом демагогическим; конечно, это не исключает и того, что Цезарь любил свое войско и гордился его успехами. С точки зрения литературной такие эпизоды сильно оживляют повествование. Так, например, рассказ о двух центурионах Пуллионе и Ворене, между которыми был постоянный спор о том, кто из них заслуживает предпочтения для получения первого ранга, и которые в бою спасли друг другу жизнь, так что «нельзя было решить, кого из них следует признать храбрее другого» (V, 44); или рассказ о тяжело раненном центурионе Секстии Бакуле, который «уже пятый день не принимал пищи», но первым бросился на защиту ворот лагеря Цицерона, «лишился чувств от многих тяжелых ран, и его с трудом спасли, передавая с рук на руки» (VI, 38). Наиболее сильный эпизод такого рода — рассказ об орлоносце, прыгнувшем с корабля в воду перед высадкой на британский берег. Он «обратился с мольбой к богам, чтобы его поступок принес счастье легиону и сказал: «Прыгайте, солдаты, если не хотите предать орла врагам, а я во всяком случае исполню свой долг перед родиной и императором». С этим громким призывом он бросился с корабля и пошел с орлом на врагов. Тогда наши ободрили друг друга и, чтобы не навлечь на себя великого позора, все до одного прыгнули с корабля» (IV, 25). Цезарь отмечает, однако, не только храбрость своих воинов, но и выдающуюся храбрость врагов. При осаде Алезии, когда римляне подвезли к воротам башню, «один галл бросал по направлению к башне в огонь передаваемые ему из рук в руки комки сала и смолы. Пораженный в правый бок выстрелом из скорпиона, он пал бездыханным. Один из его соседей перешагнул через его труп и продолжал его дело; он точно так же был убит выстрелом из скорпиона, его сменил третий, третьего — четвертый. И этот пункт только тогда был очищен, когда... сражение вообще закончилось» (VII, 25). Из приведенных примеров видно, насколько искусно умел Цезарь изображать события так, как это было ему нужно, и так, чтобы они производили максимальное впечатление и давали читателю представление о тех страшных опасностях, каким подвергаются римляне в Галлии и от каких они своей жизнью защищают Рим, и о тех победах, которые они одерживают. Цезарь достигал своей цели. Не раз назначались в Риме благодарственные молебствия богам после известий о его завоеваниях, о чем Цезарь тоже трижды упоминает в «Записках» (II, 35; IV, 38; VII, 90). Только крайние консервативные республиканцы, как Катон, продолжали относиться к нему холодно и враждебно; более впечатлительный и неустойчивый Цицерон, гордившийся успехами брата и уже озабоченный сохранением хороших отношений с Цезарем, в своей речи «О консульских провинциях» передает отголоски тех восторгов, которые деятельность Цезаря вызвала в Риме.

«Цезарь считал нужным не только воевать с теми, кто с оружием в руках восставал против римлян, но покорить всю Галлию... Теперь наше государство кончается там же, где кончаются и эти страны... Пусть теперь ядут Альпы! Ибо по ту сторону этих гор до самого океана нет ничего, чего бы Италия должна была страшиться» («О консульских провинциях», 13—14).

Однако сомнения в том, действительно ли вполне правдив рассказ Цезаря о событиях в Галлии, возникли, по-видимому, довольно скоро

после его смерти. Светоний передает мнение Асиния Поллиона, близко стоявшего к Цезарю, правда, не в Галльской, а в гражданской войне. Он говорит, что «Записки» составлены не очень внимательно и с недостаточным соблюдением истины, ввиду того что Цезарь легкомысленно верил многому, что якобы было совершено другими; «а то, что он сам совершил, он изобразил неправильно, либо с определенным намерением, либо потому, что это выпало из его памяти» (Светоний, «Цезарь», 56).

Освещение событий со своей точки зрения Цезарь дает не только в ходе самого повествования, но и в речах, которые имеют немалое значение в «Записках о Галльской войне». В манере античной историографии они сочинены самим Цезарем соответственно той общей ситуации, о которой в данном месте идет речь, а также в согласии с его личными политическими целями. Обмен речами между Арниевом и Цезарем — наиболее яркий пример тенденциозности речей в «Записках», но если под этим углом зрения, в связи с исторической обстановкой, рассмотреть все приводимые речи, то могут открыться и другие важные указания на политические отношения последнего десятилетия перед гражданской войной.

Довольно значительным элементом в «Записках» Цезаря являются географические и этнографические сведения. Галлию Цезарь знал хорошо, а за точное указание собственных имен лиц и местностей ему должны быть благодарны как лингвисты-кельтоведы, так и специалисты по топонимике Франции. Германию он знает значительно хуже и сообщает о ней даже некоторые фантастические сведения, как, например, о существовании там оленя-единорога.

Значительно ценнее и интереснее его сообщения этнографического характера — о быте галлов и германцев. Конечно, и в них имеется определенная тенденция, присущая колонизаторам, — изобразить галлов детьми, требующими опеки. Цезарь относится к ним снисходительно, по уважению к ним чувствует только в некоторых случаях, когда они проявляют храбрость в бою. К германцам он относится серьезнее, считая их, по-видимому, более опасными врагами.

Все этнографические описания, приводимые Цезарем (особенно характеристика галлов и германцев, VI, 11—24), высоко ценятся историками, и в значительной степени именно на основании их Ф. Энгельсом написаны блестящие главы о «высшей ступени варварства» в «Происхождении семьи, частной собственности и государства». Чрезвычайно существенным считается сообщение Цезаря о ежегодном переделе земли у севов (IV, 1), о низком уровне земледелия у германцев (VI, 23), очень важны сведения о существовании «группового брака» у жителей Британии (V, 14).

Для специалистов по истории стратегии и военной техники «Записки о Галльской войне» представляют тоже немалый интерес. С увлечением знатока Цезарь описывает способы боя, расстановку войск, систему постройки укреплений (например, VII, 72—75), а его описание наведения моста через Рейл (IV, 17) издавна привлекало внимание инженеров. Хорошо известно, что «Записки» Цезаря были одной из любимых книг Суворова.

За всеми этими внешними подробностями в «Записках о Галльской войне» образ самого Цезаря скрывается. Он выступает в самые решающие моменты, он спешит на помощь своим, когда они попадают в беду, он дружелюбен и милостив к галлам-союзникам и беспощаден к врагам. Но в этом первом сочинении Цезаря еще нет портрета с теми чертами,

которые Цезарь сознательно хотел закрепить за своим образом. Это он делает в «Записках о гражданской войне».

3. «ЗАПИСКИ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ»

При переходе от первого произведения Цезаря ко второму сразу чувствуется значительно более субъективный характер повествования. Все события, а главное обоснование их, гораздо больше задевают автора за живое, и кое-где он даже вполне ясно высказывает свое собственное мнение, хотя форма изложения в третьем лице сохранена и здесь. Задача Цезаря при изложении событий гражданской войны была действительно гораздо труднее, чем в первом случае: если, описывая войны в Галлии, ему надо было доказать, что все они были необходимы, и тем самым защитить себя от обвинений в самовольном открытии военных действий, то главным доказательством в его пользу являлись блестящие результаты его завоеваний, которые обезоруживали даже многих из его противников. Обвинение же в развязывании гражданской войны, в явном нарушении законов Республики было гораздо опаснее. По-видимому, сам Цезарь в какой-то степени признавал это, вероятно, очень распространенное мнение; иначе едва ли бы он, находясь на вершине своей диктаторской власти (46—44 гг.), счел нужным написать свою апологию, а «Записки о гражданской войне» являются именно апологией.

Что сторонники Цезаря так и воспринимали эту книгу, ясно не только из многих высказываний самого Цезаря, но и из эпилога VIII книги «Записок о Галльской войне», написанной ярким цезарианцем Гиртием уже после смерти Цезаря. Естественным завершением для истории войны в Галлии было бы подведение итогов завоеваний и подвигов Цезаря. Однако Гиртий заканчивает свою книгу совсем иначе. Весь эпилог VIII книги (гл. 49—53) служит чисто политической цели — объяснить переход Цезаря с войском на почву Италии. Рассказав, как Цезарь употребил свое влияние для выбора Марка Антония в авгуры и подготовки своих собственных консульских выборов на 48 г., как торжественно встречали его в муниципиях, Гиртий дает исключительно характеристику внутренней политики сената, явно направленной против Цезаря. Он говорит о предложении трибуна Куриона, распустить войска не только Цезаря, но и Помпея, о незаконном требовании от Цезаря двух легионов якобы для войны с парфянами и заканчивает словами, которые почти непосредственно смыкаются с первыми словами «Записок о гражданской войне»: «Хотя теперь уже никто не мог сомневаться относительно того, что предпринимается против Цезаря, однако Цезарь твердо решил выносить всё, пока будет оставаться хоть малейшая надежда разрешить спор на почве закона, а не путем войны» («О Галльской войне», VIII, 55).

«Записки о гражданской войне» начинаются так: «Когда письмо Цезаря было вручено консулам, то лишь с трудом и благодаря вельчайшей настойчивости народных трибунов удалось добиться от них прочтения его в сенате; однако добиться, чтобы на основании этого письма был сделан доклад сенату они не могли» («О гражданской войне», I, 1).

Далее Цезарь достаточно ярко и убедительно рисует сумятицу в сенате: все приводимые им речи носят характер не делового обсуждения вопроса, а взаимных угроз. Консул Лентул грозит сенату, что он перейдет на сторону Цезаря, так как предпочитает «заботиться о своих интересах... и сумеет найти путь к расположению и дружбе Цезаря»; Сципион, сторонник Помпея, грозит сенату, что Помпей оставит сенат на произвол судьбы. Запуганный сенат послушно принимает решение потребовать,

чтобы Цезарь распустил армию — «в противном случае придется признать, что он замышляет государственный переворот» («О гражданской войне», I, 2). Весь дальнейший ход событий изображен таким же образом: трибунов, выступающих за Цезаря, лишают права интерцессии, «которое оставил за ними даже Сулла» (гл. 5), и они бегут к Цезарю, боясь за свою жизнь. Помпей собирает войско, производит набор, причем «попирается всякое право, божеское и человеческое» (*omnia divina humanaque iura permiscetur*; гл. 6).

Таким образом, не Цезарь, а его враги оказываются нарушителями законов и традиций Римской республики; зато о переходе самого Цезаря к решительным действиям — о нарушении им границы собственно Италии (между Циспаданской Галлией и Умбрией) рассказано бегло и глухо. Узнав о требованиях сената, Цезарь созывает солдат, произносит перед ними речь, в которой сравнивает Помпея с Суллой, порицая «трибунское насилие» Сатурнина и Гракхов, чтобы отвести от себя обвинения в насилии, и просит защиты у войска, которую XIII легион, находящийся при нем, ему обещает «единодушным криком» (I, 7). Следующая же глава начинается кратким сообщением: «Познакомившись с настроением солдат, он двинулся с этим легионом в Армин и там встретился с бежавшими к нему народными трибунами; остальные легионы он вызвал с зимних квартир и приказал следовать за собой» (I, 8). Именно этот момент, рассказанный как бы между прочим, на самом деле и был решающим; знаменитый рассказ у Плутарха о бессонной ночи на берегу Рубикона, отделяющего Умбрию от Галльской провинции, и о словах «*alea iacta est*» («жребий брошен»), здесь отсутствует. Возможно, конечно, что этот рассказ сложился позднее; но решающий характер самого факта перехода границы от этого не меняется.

Дальнейшее движение на Арреций и далее до Рима изображается уже как настоящий военный поход. Напуганный Помпей пытается «извиниться перед Цезарем», но от требований своих не отказывается; Цезарь же начинает сам выставлять требования. По-видимому, это было слабым местом в апологии Цезаря, так как он счел нужным ввести здесь объяснение, почему Помпею нельзя было верить. Помпей предлагал договориться на неравных условиях (*erat iniqua conditio*) и не указывал времени ни для своего отъезда в провинцию, ни для начала переговоров, чтобы его не обвинили во лжи, если он чего-либо не выполнит в течение года (I, 14).

В дальнейшем изображается первое посещение Цезарем Рима. Он рассказывает о нем в одной только главе (32), да и эта глава содержит в себе опять-таки только его оправдательную речь в сенате. Ни об окружении сената войсками, ни о взломе и конфискации казны не сказано ничего; не упомянуто и о том, что тот сенат, в котором Цезарь выступил с речью и который «одобрил предложение отправить послов» (гл. 33), составлял только часть сената, так как очень многие сенаторы бежали с Помпеем. Однако ясно, что Цезарь остался недоволен своим пребыванием в Риме: явным раздражением звучит краткая фраза: «Враги Цезаря подбили народного трибуна Луция Метелла... противодействовать вообще всем намерениям Цезаря. Появив его умысел и понапрасну потеряв несколько дней, Цезарь не пожелал тратить времени, но оставил Рим, не исполнив намеченных планов, и направился в Дальнюю Галлию» (I, 33). О том, что столкновение с трибуном произошло при взломе казначейства и едва не стоило трибуну жизни, Цезарь умалчивает.

Из всего сказанного видно, насколько резко выражена политическая и апологетическая тенденция в I книге «Записок о гражданской войне».

В дальнейшем, когда Цезарь переходит к рассказу о военных действиях во всех концах Римского государства — под Массилией, в Испании, в Греции, в Александрии, — тон его опять становится спокойнее и объективнее. Он опять откровенно говорит о своих неудачах, даже о своем почти отчаянном положении под Диррахием (III, 73 — «все прежние замыслы Цезаря потерпели крушение, и он решил изменить весь план войны»), опять охотно рассказывает отдельные военные эпизоды, причем, как и в «Записках о Галльской войне», особенно часто останавливается на подвигах низших чинов. Таков, например, рассказ об орлопосце, который, умирая, остановил всадников и умолял их «не допустить воинского бесславия, которого до сих пор не случалось в войске Цезаря, и доставить Цезарю орла целым» (III, 64). Таков же рассказ о центурионе Крастине, приводимый и Плутархом, сказавшем Цезарю перед Фарсальской битвой: «Я постараюсь сегодня, полководец, заслужить твою благодарность, живой или мертвый» (III, 91). О смерти этого центуриона Цезарь упоминает особо: «То, что он сказал перед боем, то и сделал. Цезарь знал, что Крастин проявил в этом бою беспримерную храбрость, и высоко ценил его заслуги» (III, 99). Подводя итоги Фарсальской битвы и, вероятно, преуменьшая свои потери (он якобы потерял 200 человек, а Помпей — 15 000), Цезарь с особым сожалением говорит о гибели 30 центурионов. Он отмечает и героизм Куриона, который погиб в бою в Африке, «твердо заявив, что после потери армии, вверенной ему Цезарем, он не вернется к нему на глаза» (II, 42).

Однако если в «Записках о Галльской войне» Цезарь никогда не отзывается о своих полуварварских и варварских противниках с отвращением или презрением, а только иногда подшучивает над их хвастливостью или рассказывает об их хитростях, то здесь отношение Цезаря к его врагам, особенно к руководителям сенаторской партии и к самому Помпею, совсем иное. Он не упускает случая подчеркнуть их лживость, жестокость, надменность и мелкие склоки, самоуверенность и необоснованное хвастовство. По приказанию Афрания и Петрея, вождей помпеянцев в Испании, были казнены солдаты Цезаря, захваченные во время братания в помпеянском лагере, тогда как Цезарь отпустил к своим солдат Петрея, оказавшихся у него в лагере в это же время, «но из военных трибунов и центурионов некоторые добровольно остались у него» (I, 77). Перед самой Фарсальской битвой Цезарь в последний раз посылает Авля Клодия к Сципиону с предложением «воздействовать на Помпея»: Клодия не допускают до переговоров (III, 57). Помпеянцы в это время заняты другим — они делят государственные должности и спорят о своих преимуществах. Эта картина — жесточайшая сатира на помпеянцев: уже и самого Помпея они стали упрекать за излишнюю осмотрительность (аристократы, по-видимому, все же считали его выскочкой) «и открыто стали спорить о претурах и жречествах, распределять консульства по годам, требовать себе домов и имущества приверженцев Цезаря... Лентулу хвастался преимуществом, которое дает ему возраст, Домиций хвастался популярностью и авторитетом в Риме, а Сципион полагался на свое родство с Помпеем... В конце концов, все хлопотали либо о почестях, либо о денежных наградах, либо о преследовании своих врагов и помышляли не о том, какими способами они могут победить, но о том, какую выгоду они могут извлечь из победы» (III, 82—83).

Цезарь резко порицает изменившего ему Т. Лабиена, своего многолетнего легата в галльских походах. Перед Фарсальской битвой Лабием издевался над слабостью войск Цезаря, сказав, «это не то войско, которое победило Галлию и Германию» (III, 87); он первым поклялся

«вернуться в лагерь не иначе как победителем» и получил за это похвалу Помпея. Но по-видимому, именно его впоследствии имел в виду Помпей, который, как говорили, «часто жаловался на то, что обманулся в своих предположениях — как раз те части, от которых он ожидал победы, обратились в бегство и предали его (III, 96).

В описании конца Фарсальской битвы Цезарь даже несколько отступает от своего обычного, спокойного тона и высказывает свое негодование не столько против самого Помпея, сколько против его аристократического окружения.

«В лагере Помпея можно было увидеть выстрошенные беседки; на столах стояла масса серебряной посуды; пол в палатках был покрыт свежим дерном, а палатки Лептула и некоторых других были даже обвиты плющом; много было и других указаний на чрезмерную роскошь и уверенность в победе. Ясно было, что люди, стремившиеся к ненужным наслаждениям, несколько не боялись за судьбу этого дня. И такие люди упрекали в излишествах несчастное и выносливое войско Цезаря, которое всегда страдало от нужды в предметах первой необходимости» (III, 96).

На всем протяжении «Записок о Гражданской войне» Цезарь нигде не высказывается особенно резко против самого Помпея: он, по-видимому, считал его игрушкой в руках аристократии, недостаточно решительным, несамостоятельным, самонадеянным и неумным человеком, которого не за что уважать, но не за что и ненавидеть. Это отношение к Помпею яснее всего выразилось в рассказе Цезаря о его трагической, но бесславной гибели. «Друзья египетского царя то ли боялись, что Помпей переманит к себе царское войско, то ли презирали его за его неудачи, — как, вообще, в беде люди легко превращаются из друзей во врагов — и предложили ему явиться к царю. Но втайне задумали иное: они послали начальника царских войск Ахиллу... и военного трибуна Л. Септимия убить Помпея. Последние дружески приветствовали его; кроме того, его сбilo с толку знакомство с Септимием, который во время войны с пиратами был у него центурионом. Он вошел в маленькую лодку с немногими спутниками и там был убит Ахиллой и Септимием» (III, 104).

Таким образом, и здесь Помпей изображен жертвой своей недалекости. Рассказ Плутарха о том, что Цезарь «отвернулся и заплакал, когда, по приезде в Александрию, ему принесли голову убитого Помпея», возможно, является уже измышлением более позднего времени; но, действительно, настоящей злобы против Помпея Цезарь в своем сочинении нигде не выказал. Напротив, из того факта, что, еще не закончив войны, Цезарь нашел время написать памфлет против Катона, видно, кого именно он считал своим подлинным и опасным противником. Вся консервативно-республиканская ограниченность и надменность воплотилась для него в Катоне, и в то же время Цезарь не мог отказать ему в уважении за выдержанность его характера и за личную строгую порядочность и храбрость.

По всей вероятности, именно так воспринимали их взаимоотношения и сторонники Цезаря; ни автор «Африканской войны», ни Саллюстий не удержались от почтительных отзывов о Катоне.

Избрав возможно более безличную и объективную форму изложения, Цезарь, все же не мог, конечно, и не хотел совершенно выключить из своих книг их главного героя — самого себя. Он сам положил начало тому литературному портрету, который дорисовали Светоний и Плутарх. Как ни мало, как ни бегло говорит Цезарь о самом себе, все же совершенно ясно, что он стремится выставить в особенно благоприятном свете

два момента — свою мягкость и свою популярность среди солдат. Уже в «Записках о Галльской войне» он не раз подчеркивает свою готовность прощать галльских вождей, что являлось, по его мнению, важнейшей мерой для замирения Галлии; однако, с этим прощением всегда соединено требование заложников. Достаточно же большое число сообщений о казнях, сожженных полях и деревнях и о продаже тысяч пленных — а обо всем этом Цезарь откровенно говорит — является некоторым противовесом к его милосердию. Но едва ли кто-нибудь из римлян поставил бы ему это в вину: ведь, с их точки зрения, такое отношение к «варварам» было вполне позволительно, и милостью Цезаря было уже то, что он обращался с их князьями вежливо и ласково.

Значительно важнее было для Цезаря подчеркнуть, что он проявлял неуклонно эту свою черту в гражданской войне.

При каждом удобном случае Цезарь подчеркивает свою гуманность. Воюя в Испании с Афранием и Петреем, он противится желанию и даже требованиям своего войска дать сражение помпеянцам, так как надеется «достигнуть своей цели без сражения и без потерь... зачем ему, хотя бы в счастливом бою, терять кого-нибудь из своих... Жалел он и своих сограждан, которых пришлось бы убивать, а он предпочитал одержать победу так, чтобы они остались невредимыми» (I, 72).

Уже построив войско перед Фарсальской битвой, Цезарь опять повторяет, что «он никогда не хотел бесполезно проливать кровь солдат и лишать Римское государство одного из обоих войск» (III, 90). Однако за этой кажущейся уступчивостью и мягкостью стояла железная воля и убежденность в своей силе.

Очень редко высказывает Цезарь в своих сочинениях что-либо похожее на философские положения или сентенции. Но даже эти немногие, брошенные вскользь мысли, раскрывают его уверенность в себе, твердость в бедствиях и непоколебимую надежду на успех храбрых.

Он не теряет даже после поражений, так как он — «человек, хорошо знакомый с превратностями войны» («О Галльской войне», VI, 42), и знает, что «судьба, столь могущественная в человеческих делах, особенно же на войне, часто производит громадные перемены благодаря незначительным случайностям» («О гражданской войне», III, 68). Он всегда умеет успокоить войско, напомнив, что «если не во всем бывает удача, то на помощь судьбе должна приходиться личная энергия» («О гражданской войне», III, 73), сам же твердо знает, что «задача полководца — побеждать столько же мечом, сколько умом» («О гражданской войне», I, 72). Полной уверенностью в себе звучит и его рассказ о том, как он с двумя легионами рискнул высадиться в Египте, еще не зная о смерти Помпея. «В обоих легионах было около 3200 человек; остальные были больны от ран, полученных в сражении, и изнурены военными тяготами и долгим путем и поэтому не могли последовать за ним. Но Цезарь так полагался на славу о своих подвигах, что без колебания двинулся в эту экспедицию с недостаточными силами, в расчете, что везде будет в безопасности» («О гражданской войне», III, 106).

Хотя сам Цезарь ничего не говорит о своей фантастической попытке переплыть на лодке из Диррахия в Брундисий, чтобы ускорить переправу войск, и о своих словах — «ты везешь Цезаря и его счастье», о чем рассказывает Плутарх, несомненно, повод к созданию этого рассказа дали неоднократные упоминания Цезаря о значении счастья и судьбы, рассеянные в его сочинениях, и, вероятно, в еще большем числе сохранившиеся в рассказах его современников.

Высокое стилистическое мастерство Цезаря проявляется прежде всего

в том, что его тенденциозное и хорошо продуманное повествование производит впечатление откровенного и безыскусственного. Цицерон, не любивший аттицистов, тем не менее высоко оценивает его «Записки о Галльской войне», говоря (в диалоге «Брут»), что Цезарь написал их так, что, вероятно, навсегда отбил у будущих историков охоту писать историю тех же событий.

Из двух сочинений Цезаря для современного читателя «Записки о гражданской войне» безусловно значительно интереснее «Записок о Галльской войне».

4. «АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ВОЙНА»

Сочинение «Александрйская война», автор которого неизвестен, непосредственно примыкает к «Запискам о гражданской войне». По всей вероятности, автор участвовал в восточных походах Цезаря, так как он приводит много подробностей и о боях в Александрии, и о войне с Фарнаком, последняя битва с которым описана очень живо и наглядно (гл. 74—75). Содержание этого сочинения не вполне соответствует его названию: оно охватывает не только войну в Египте, но и сирийский и малоазиатский походы и заканчивается возвращением в Рим во время мятежа Долабеллы, имени которого автор, однако, не упоминает, вероятно, по политическим соображениям. В середине сочинения (гл. 42—47 и 48—64) даны два экскурса, переносящие читателя в страны, далекие от Александрии. В первом из них говорится о том, как в Иллирии цезарианские войска под начальством Габиния потерпели поражение от помпеянцев Октавия, но вскоре обратили их в бегство. Еще дальше от местопребывания Цезаря уводит второй экскурс, подробно повествующий о преступных действиях управителя Испании, Кассия Лонгина, о покушении на него и о его гибели. Собственно, оба эти эпизода, в которых сам Цезарь не участвует, являются лишним привеском и нарушают композицию сочинения; но, по-видимому, введение их преследовало определенную цель — отвлечь читателя от вопроса, что же делал Цезарь между январем 47 г., когда закончилась Александрйская война, и маем того же года, когда началась Сирийская. Дело в том, что приверженцы Цезаря неохотно упоминали об увлечении Цезаря Клеопатрой, которому он уделил именно эти, сравнительно спокойные, пять месяцев. Имя Клеопатры автор бегло упоминает только один раз (гл. 33), немедленно прекращает рассказ о делах в Египте и больше к ним не возвращается. Он заканчивает эту главу словами: «Покончив с этими делами... он отправился сухим путем в Сирию». Далее идут 30 глав, в которых сам Цезарь не действует, а глава 65 начинается опять со слов: «Итак, Цезарь прибыл из Египта в Сирию». Создается обманчивое впечатление, будто поход против Фарнака непосредственно примыкает к египетскому.

По характеру повествования и по языку «Александрйская война» вполне выдержана в духе сочинений самого Цезаря. Автор, как и Цезарь, постоянно восхваляет храбрость римлян («александрийцы видели, что удача придает римлянам силу, а неудачи — мужество», гл. 23), рассказывает и о безумно рискованных поступках самого Цезаря, например, о том, как Цезарь во время морского боя бросился в море и вплавь добрался до одного из своих кораблей (гл. 21). Не без юмора рассказывает автор о том, как Цезарь выпустил на свободу молодого египетского царя, который плакал при прощаньи с Цезарем, а очутившись на свободе немедленно открыл против него военные действия (гл. 24). Однако этот

Юбы, сохраняет жизнь и имущество семье своего заклятого врага Фауста и при наложении огромных штрафов на города считается с их материальными возможностями.

Даже перед своими собственными солдатами Цезарь ходатайствует о сохранении жизни сдавшимся вражеским солдатам из войска Сципиона, однако — тщетно. При этом автор обращает внимание только на доброту Цезаря, а не на распущенность его войска: «Солдаты, надеясь в виду своих блестящих подвигов на безнаказанность, решили, что им все позволено. И хотя солдаты Сципиона и зывали к Цезарю о помиловании, они были все до одного перебиты у него самого на глазах, сколько он ни просил собственных солдат дать им пощаду» (гл. 85).

Хотя и сам Цезарь в своих сочинениях охотно отмечал как основную линию своего поведения по отношению к побежденному врагу свою *clementia*, но он не скрывал ни своих жестокостей, ни того, что эта линия выгодна для него самого, так как ведет к более скорому замирению покоренных стран. В устах же его приверженцев эта *clementia* становится основной чертой его «литературного портрета» и истолковывается уже только как следствие «прирожденной мягкости характера» (гл. 89).

Антитеза «Цезарь — Катон», которую так блестяще развил Саллюстий, намечается и в «Африканской войне». Смерть Катона автор описывает почти буквально так, как впоследствии описал Плутарх. Автор не отказывает Катону в уважении; ранее же (гл. 22) он приводит речь Катона, в которой Катон упрекает Помпея-сына за бездеятельность. Эта речь верно обосновывает психологический мотив самоубийства Катона — его полное разочарование в тех людях, которые окружали его. Автор «Африканской войны» еще раз подчеркивает превосходство Катона над его сподвижниками, указывая, как «после его смерти Луций Цезарь [проквестор Катона] пожелал извлечь из этого обстоятельства пользу для себя» (гл. 88), а также и изображая попытку самоубийства Юбы и Петрея в совсем ином тоне, чем самоубийство Катона: «Чтобы иметь вид людей, погибших смертью храбрых, Юба и Петрей вступили между собой в бой на мечах, и более сильный Петрей без труда убил более слабого Юбу. Затем он пытался этим же мечом пропнуть себе грудь, но не мог. Тогда он упрямил своего раба покончить с ним, чего и добился» (гл. 94).

Подобно Цезарю, автор «Африканской войны» вводит занимательные военные эпизоды в простое связное повествование; такой характер носят рассказы: о столкновении ветерана X-го легиона с изменившим Цезарю Лабиепом, которого, по-видимому, не проучила неудача под Фарсалом и который продолжал издеваться над «новобранцами» Цезаря (гл. 16); о центурионе, который, будучи поднят на воздух слоном, изрубил ему хобот и обратил слона в бегство (гл. 84); наиболее же драматичен эпизод, рассказывающий о жестокости Сципиона по отношению к ветеранам Цезаря, которые отказались перейти на его сторону (гл. 45). Вообще, в обработке этих эпизодов ясно видно, что автор «Африканской войны» по чужд риторических украшений и использует эпизоды, чтобы показать свое литературное мастерство. Однако он тем самым отказывается от правдоподобия: едва ли Сципион имел терпение слушать такую длинную, оскорбительную для себя речь пленного центуриона, какая приведена в главе 45.

Вполне в духе Цезаря выдержано описание последней победы над войсками Сципиона. Бой начинается раньше, чем думал Цезарь, который еще только обходит войска: «На правом крыле сами солдаты заставили трубачу затрубить... Центурионы силой удерживали солдат от самовольной атаки без приказа императора. Но это было уже бесполезно... Тогда Цезарь

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА РЕСПУБЛИКИ

дал пароль «счастье» (*fortuna*) и поскакал на врага» (гл. 82—83). Очень удачно, что именно это слово, встречающееся не раз у самого Цезаря, приводится здесь как пароль в решающей битве, закончившей «Африканскую войну».

6. «ИСПАНСКАЯ ВОЙНА»

«Испанская война» дошла до нас в сильно поврежденном состоянии; однако крупные различия между этим сочинением и всеми предыдущими бросаются в глаза. Единый композиционный замысел в нем отсутствует; по-видимому, хотя автор и принимал непосредственное участие в войне в Испании, он не был в состоянии обозреть ее план и оценить значение отдельных событий; так, например, автор не понял ни чрезвычайных трудностей битвы при Мунде, которые едва не вырвали у Цезаря из рук мировое владычество, ни решающей роли победы в этой битве. По языку это сочинение тоже сильно отличается от предыдущих: строй речи беспомощен и однообразен, многие главы начинаются словами «на следующий день», «на другой день», что придает этому сочинению характер уже не записок (*commentarii*), а дневника (*diarium*). Строем речи автор тоже не вполне владеет; у него встречаются совершенно необоснованные переходы косвенной речи в прямую. Что наиболее странно, это — наличие такого гречизма, как абсолютный родительный падеж. Очень ясно выступает стремление автора показать, что он — человек не без образования и владеет риторическими приемами; впервые на всем протяжении серии сочинений Цезаря и его приверженцев здесь встречаются литературные стихотворные цитаты (из Энния в гл. 23 и 34). Совсем не похоже на рассудительно деловые речи Цезаря то риторическое упражнение, которое влагается ему в уста на народном собрании в Гиспале после победы при Мунде.

Автор, по-видимому, находился при войске Цезаря в Испании, однако не только не занимал в нем какой-либо высокой военной должности, как автор «Африканской войны», но, может быть, даже вовсе и не был военным.

Вся серия произведений о войнах Цезаря представляет большой интерес не только как источник истории политических отношений в половине I в. до н. э., но и как очень своеобразный литературный жанр, заключающий в себе, с одной стороны, элементы делового документа и хроникального военного донесения, а с другой — *тенденциозных* мемуаров и *военного романа*.



Глава XX

САЛЛЮСТИЙ

1. Сведения о жизни и произведениях Саллюстия.—
2. Саллюстий как историк.— 3. Саллюстий как писатель.

1. СВЕДЕНИЯ О ЖИЗНИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯХ САЛЛЮСТИЯ

Гай Саллюстий Крисп (G. Sallustius Crispus) происходил из сословия всадников, из плебейского рода, и был уроженцем сабинского города Амитерна. Биографические сведения о нем находятся в сочинениях Тацита, Диона Кассия, в комментариях Аскония и Сервия, а также у Авла Геллия и Иеронима.

Саллюстий родился в 86 г. до н. э. Государственную службу он начал квестором в 54 г., в 52 г. был народным трибуном, сторонником демократической партии и противником Милона. В 50 г. он был исключен цензором Аппием Клавдием Пульхром из сената за безнравственный образ жизни. Вероятно, именно эту неудачу подразумевает Саллюстий, говоря о препятствиях, которые он встретил на своем политическом пути («Заговор Катилины», 3, 3). Поводом к исключению был тот позорный факт, что Милон высек его, застав со своей женой Фаустой; об этом сообщает Авл Геллий («Аттические ночи», XVII, 18) со слов Варрона. Однако уже в 49 г. Саллюстий, став квестором у Цезаря, снова был включен в состав сената. Всю гражданскую войну он провел на стороне цезарианцев, был военачальником в Иллирии, участвовал в подавлении военного мятежа в Кампании (в 47 г.), а во время Африканской войны, будучи претором, ведал переброской войск и продовольствия в Африку. После окончания войны он получил от Цезаря назначение в качестве проконсула новообразованной провинции Africa nova. Там он достиг такого богатства, что, вернувшись после смерти Цезаря в Рим, мог купить виллу самого Цезаря и огромные сады на нынешнем Monte Pincio, долго носившие его имя (*horti Sallustiani*). В политической жизни после смерти Цезаря он не участвовал, занявшись исключительно работой над своими историческими сочинениями. Умер Саллюстий в 35 г.

В своих произведениях Саллюстий — возвышенный и строгий моралист, ярый враг алчности и распущенности. Что же касается обогащения Саллюстия, о котором мы узнаем из его биографии, то здесь надо принять во внимание, что сведения о нечестной наживе имеются только в инвективе против Саллюстия (гл. 7). Сторонник Цезаря и участник его походов мог разбогатеть и от военной добычи, которая именно в Африканской войне была колоссальна (см. «Африканская война», гл. 90 и 97) и приобретение которой отнюдь не считалось позорным. Инвектива против Сал-

люстия, использование именно его имени для моральных декламаций несомненно свидетельствуют об особо враждебном отношении к нему со стороны противной партии.

От Саллюстия до нас дошли полностью два произведения: «О заговоре Катилины» (*De coniuratione Catilinae*) и «О Югуртинской войне» (*De bello Iugurthino*). От третьего произведения, «История» (*Historiae*) (в пяти книгах), охватывавшего период в 12 лет (от 78 до 66 г. до н. э.), до нас дошли только отдельные фрагменты, сохранившиеся у позднейших авторов (Сенеки, Авла Геллия, Доната, Иеронима, Сервия в его комментарии к «Энеиде» и у др.). Однако некоторые из этих фрагментов настолько велики и содержательны, что по ним можно составить себе достаточно ясное представление о характерных чертах этого сочинения¹.

Помимо этих произведений, достоверно принадлежащих Саллюстию, ему приписывают еще два письма к Цезарю «Об устройстве республики» (*De republica ordinanda*); подлинность этих писем, прежде подвергавшаяся сомнениям, в настоящее время общепризнана.

В собрание сочинений Саллюстия обычно включаются еще две инвективы: Саллюстия против Цицерона и Цицерона против Саллюстия, причем первая по своему содержанию является ответом на вторую. Обе инвективы полны личных грубых и оскорбительных выпадов, и обе считаются не подлинными документами эпохи Саллюстия, а риторическими упражнениями II в. н. э. Однако некоторое значение они все же имеют, так как свидетельствуют о том, что вражда между Саллюстием и Цицероном была настолько общеизвестным историческим фактом, что могла быть использована в качестве темы для школьных упражнений (как, например, вражда Демосфена и Эсхина).

Произведения Саллюстия обычно датируются следующим образом: I письмо — не позднее 50 г. (до полной победы над Помпеем — см. I, 4); II письмо — в 46 г. (после полной победы над Помпеем); «Заговор Катилины» — в 41 г.; «Югуртинская война» — в 39—36 гг.; «История» — в 36—35 гг.

2. САЛЛЮСТИЙ КАК ИСТОРИК

Вопрос о политических взглядах Саллюстия чрезвычайно сложен и может быть до некоторой степени разрешен только путем детального анализа его произведений и сопоставления между собою его высказываний в разные периоды творчества. О его ягучем политическом интересе к современным событиям свидетельствуют и выбор тем для его сочинений. «Заговор Катилины» и «История» касаются событий, в которых Саллюстий принимал участие уже как вполне сознательный деятель (между 22 и 37 годами жизни). Югуртинской войной, о которой он мог очень многое слышать от представителей предыдущего поколения, он заинтересовался, по его собственным словам, потому, что война эта была значительной и страшной, а затем потому, что тогда впервые началась борьба с высокомерием знати («Югуртинская война», 5). Этот второй довод занимал Саллюстия значительно больше, чем первый. Римский народ вел достаточно войн, которые были «значительными и страшными», внимание же Саллюстия привлекает именно та, в которой «высокомерию знати» был «впервые» нанесен жестокий удар: в консулы был избран Марий, и война, которую едва не проиграли именно из-за надменности и подкупности ноби-

¹ Нумерация фрагментов «Истории» дается по изданию: C. Sallustii Crispi quae supersunt. Rudolfus Dietsch. Lipsiae, 1859.

литета, была блестяще закончена. Югуртинская война тоже была для Саллюстия теснейшим образом связана со современной ему политической жизнью Рима, а ее деятели — Марий, Сулла, Метелл, Скавр — были для него не так далеки, как герои Пунических войн. Вероятно, этим отчасти и объясняется та историческая неточность, которую Саллюстий допускает, указывая, что во время Югуртинской войны «*впервые* пошли наперекор нобилитету». За 20 лет до этой войны выступал Тиберий Гракх, а за 10 лет — Гай Гракх. Однако этим первым крупным демократическим деятелям он посвящает только несколько слов; главный же его интерес прикован к тем 50—60-м годам, которые непосредственно подготовили великий переворот в государственном строе Рима. До завершения его Саллюстий не дожил, но отдельные моменты его он ясно осознал и блестяще описал — блестяще, но едва ли столь беспристрастно, как он утверждает: по его словам, «дух был свободен от надежд и опасений отдельных политических партий» («Заговор Катилины», 4, 2), когда он приступил к сочинению своих книг. Но даже если он освободился от личных «надежд и опасений» ввиду своего высокого положения и огромного богатства, он никогда не мог освободиться от сочувствия определенной политической группе и дал не «беспристрастную хронику» событий, а живой, подлинно исторический документ.

К окружающему его современному обществу Рима Саллюстий относится крайне отрицательно; не только в многочисленных речах действующих лиц, но и от своего имени он высказывается презрительно даже о Римском государстве. Уже в своем первом письме к Цезарю, в котором Саллюстий еще придает большое значение власти сената и считает желательным ее усилить, он тем не менее резко критикует аристократов: «В настоящее время люди знатные, погрязнув в бездействии и порочных наслаждениях, ненавидя труд, не имея понятия о войне и походах, сидя дома, думают только об интригах и, тем не менее, в своей надменности, думают управлять всеми народами» (письмо I, 10). Случайно возвысившиеся лица из аристократии фактически отняли власть даже у самого аристократического учреждения — сената, заставив его служить своим личным интересам. «Представители нобилитета с несколькими сенаторами, втянутыми в их партию, одобряют, порицают и постановляют все, что им вздумается, и делают все, что им угодно» (письмо I, 11)². В то время, когда Саллюстий писал это письмо, аристократия возмущала его еще и своим противодействием всем начинаниям Цезаря; он объясняет ее вражду к Цезарю только завистью к его славе: «Они кричат и всячески противодействуют тебе и считают чужую славу позором для себя» (письмо I, 8). Знать возмущает его также и жестокостью: «В настоящее время, в господство Катона, Л. Домиция и других лиц из той же партии, сорок сенаторов и много молодых людей, подававших надежды, были перебиты, как жертвенные животные. Но даже кровью стольких несчастных граждан не смогло насытиться это нечестивейшее отродье... Эти подлеишие люди готовы пожертвовать своей жизнью, лишь бы унижить тебя. Им, очевидно, даже не столь дорога их власть, как их оскорбляет твоя слава; они хотят только погубить тебя, рискуя своей свободой, чем допустить тебя еще более возвеличить мощь римского народа» (письмо I, 4). Резко отзываясь об отдельных представителях аристократии, он не щадит и Катона. Общая оценка нобилитета остается неизменной во всех произведениях Саллюстия.

² Выражение *additamenta factionis*, употребленное Саллюстием о сенаторах, показывает полное отсутствие уважения к сенату — оно приблизительно соответствует русскому выражению «прихвостни партии».

В «Заговоре Катилины», а в особенности в «Югуртинской войне» Саллюстий обвиняет аристократию — уже не только в лени, надменности, распущенности и зависти к чужой славе, но и в полной продажности и в измене родине. Примером этого является поведение нобилитета во время войны с Югуртой. Югурта после убийства Гиемпсала «испугался гнева римского народа и надеялся только на корыстолюбие знати и на свое богатство» («Югуртинская война», 13, 5). И действительно, «после огромных подарков, переданных послами Югурты, которым он поручил засыпать дарами старых друзей, а потом приобрести и новых, в сенате произошла такая перемена в настроении, что Югурта, вместо ненависти, стал пользоваться расположением и благоволением знати» (гл. 13, 7). Подкуп удается Югурте не только на этот раз: «в его душе засело твердое убеждение, что в Риме все продажно» (гл. 20). Только «когда Югурта заметил, что негодование, вызванное его поступком, превышает его влияние и средства», он покинул Рим, произнеся, как говорит Саллюстий, по слухам, знаменитые слова: «Этот город продажен и погибнет, как только найдется на него покупатель» («Югуртинская война», 35). Так изображает Саллюстий полное разложение нобилитета, отразившееся и на крупнейшем правительственном органе — сенате, который стал игрушкой в руках влиятельных богачей.

Не менее беспощадно относится Саллюстий к *homines novi*, самого выдающегося представителя которых, Цицерона, он ненавидел. «Даже новые люди, — говорит он с презрением, — которые прежде старались превзойти нобилей доблестью, теперь стремятся достигнуть власти и почетных должностей скорее тайными интригами и насильем, чем хорошими средствами, — и иронически прибавляет, — как будто бы претора и консульство славны и великолепны сами по себе, а не приобретают ценность от доблести того, кто их занимает» (гл. 7—8). В сенате эти выскочки еще более беспомощны и несамостоятельны, чем представители старой аристократии, они боятся более сильной кучки богатых олигархов.

Не слишком большие надежды возлагает Саллюстий и на народные массы: однако насколько твердо и непоколебимо его мнение о нобилитете, настолько его мнение о менее имущих классах выражено им не всюду с одинаковой последовательностью. То «полевание» Саллюстия, которое разобрано в книге С. Л. Утченко³, несомненно, в общих чертах имеет место, но оно никогда не выражено так ясно и определенно, как, например, резкое осуждение нобилей. Однако и в письмах и в «Заговоре Катилины» Саллюстий не раз подчеркивает шаткость и ненадежность народа. Эта неясность суждения о народной массе связана с тем, что Саллюстий недостаточно четко различает отдельные слои внутри этих народных масс и нередко объединяет в общую категорию «неимущих» и «жаждущих переворота» людей совсем различные группы: разорившихся нобилей, трудящийся городской плебс, опустившуюся городскую чернь и деревенский плебс, — которого Саллюстий, видимо, совершенно не знает и о котором нигде не упоминает. Выпадает из круга его наблюдений и итальянское население провинций и, тем более, рабы.

Если ненависть Саллюстия к нобилитету позволяет характеризовать его политические воззрения как в известной степени демократические, то в его отношении к народу, в его неумении разобраться в группировках народных масс и в характере политических движений отражается его большая заинтересованность в охране личной собственности. В «Заговоре Катилины» Саллюстий высказывает следующее общее положение: «Ведь

³ С. Л. Утченко. Идеино-политическая борьба в Риме накануне падения республики, М., 1952.

всегда в государстве неимущие завидуют состоятельным, превозносят дурных людей, ненавидят старое, жаждут нового; недовольные своим положением, они желают все изменить и без всяких забот кормятся смятением и беспорядками, так как нищете нечего терять» (37, 3). Это положение ясно характеризует политическую установку Саллюстия.

В 37-й главе «Заговора Катилины» Саллюстий обрисовывает все недовольные элементы следующим образом: в первую группу недовольных он зачисляет тех, «которые повсюду проявляли себя бесчестными и наглými поступками»; во вторую — тех, «кто позорно промотал отцовское имущество»; в третью — всех, «кого позор и преступление прогнали из дома». Нельзя не заметить, что характеристика всех этих групп почти одинакова и представляет собой риторическую тавтологию, а не перечисление разных общественных слоев. Следующую категорию Саллюстий определяет несколько конкретнее: недовольны были все, кому вскружило голову быстрое обогащение солдат Суллы; «деревенская молодежь, которая ранее трудами рук своих снискивала себе скудное пропитание, возбужденная слухами о щедрых раздачах из частных и общественных средств, предпочитала городскую праздность неблагодарному труду». И, наконец, к недовольным примыкали все те, «родители которых после победы Суллы попали в списки опальных, чье имущество было конфисковано, а гражданские права, присущие свободным гражданам, ограничены». Эта последняя группа — остатки марианской партии — упоминается Саллюстием вскользь и в дальнейшем повествовании никакой роли не играет; между тем, именно она являлась подлинной представительницей демократических стремлений.

По мнению Саллюстия, ведущую роль в организации заговора Катилины принадлежала только тем, кто «промотал отцовское наследство», т. е. разорившимся представителям нобилитета. Именно их положение изображает Катилина в словах: «У нас дома — нужда, вне стен его — долги, ужасное настоящее, еще худшее будущее» («Заговор Катилины», 20, 13). Саллюстий не раз подчеркивает, что заговор исходит именно из среды нобилей. Первое, что он говорит о Катилине, — это то, что «Катилина происходил из знатного рода» (гл. 5); на свое знатное происхождение ссылается и сам Катилина, защищаясь в сенате от предъявляемых ему обвинений (гл. 31); а когда Саллюстий перечисляет заговорщиков, он не забывает указать, что они состоят из лиц «сенаторского сословия», «всаднического сословия», а также из «представителей колоний и муниципий, знатных у себя дома граждан» (17, 4 — *domi nobiles*).

Иные элементы примыкают к сторонникам Катилины, когда восстание выходит за пределы городских стен. С одной стороны «Манлий в Этрурии подстрекал к восстанию плебс, жаждавший переворота, под влиянием вопиющей нужды и обиды на испытываемое угнетение; ведь во время диктатуры Суллы он потерял все недвижимое и движимое имущество»; с другой же стороны, он «привлекал и разного рода разбойников, которых много было в этих местах», а также разорившихся суллапских колонистов (гл. 28), т. е. совершенно разнохарактерные и даже враждебные друг другу элементы. Лентул же шел еще дальше, спрашивая Катилину через посланного: «Раз сенат объявил тебя врагом, то почему ты гнушаешься рабами?» (44, 6). Но Катилина считал «совершенно неподходящим для своих интересов создавать впечатление, что он объединяет дело римских граждан с делом беглых рабов» (гл. 56).

Таким образом, в изображении заговора Катилины Саллюстий, по существу, остается верен своей основной линии — ненависти к нобилитету. Обедневший нобилитет, на его взгляд, ничем не лучше богатого и силь-

ного; жадность, расточительность и нечестность остаются его характерными свойствами. Он желает чужого, не умея сохранить своего (*alieni appetens, sui profusus* — 5, 4), и его заговор не имеет глубоких корней и отнюдь не направлен на защиту прав народа. В программу Катилины Саллюстий включает «новые долговые записи, проскрипции богачей, магистратские и жреческие должности, грабежи, словом все то, что несет с собой война и произвол победителей» (гл. 21). Ни о каких демократических реформах в духе Гракхов нет и речи. Такой заговор заранее был обречен на неудачу: «У них, утомленных и ослабевших, отнял бы власть и свободу тот, кто оказался бы, в конце концов, сильнее их» (гл. 39). Саллюстий намекает здесь либо на Помпея, либо на Красса, отводя подозрение только от Цезаря.

Итак, отрицательное отношение Саллюстия к заговору Катилины вызвано, несомненно, двумя причинами: тем, что это — заговор нобилей, и тем, что он в первую очередь направлен против богатых и имеет в виду кассацию долгов и проскрипции богачей. Широкие слои народа к этому заговору не присоединились; к нему примкнула только городская беднота; но и то ненадолго, пока по городу не разнеслись слухи о замышлявшемся Катилиной поджоге. Саллюстий рассказывает об этом несколько иронически:

«Плебеи, которые сначала вследствие своей склонности к государственным переворотам относились к войне весьма сочувственно, после раскрытия заговора переменили свое мнение и, осыпая проклятиями замыслы Катилины, стали до небес превозносить Цицерона; они радовались и ликовали так, как будто им удалось стряхнуть с себя цепи рабства. Ведь во всех других видах военной разрухи они видели для себя скорее выгоду, но поджог, наоборот, в их глазах представлялся актом жестоким, чудовищным, исключительно губительным, так как все их богатство состояло из ежедневного пропитания и самой необходимой одежды» (гл. 48).

В совершенно ином тоне говорит Саллюстий в своих более поздних произведениях о тех случаях, когда на сцену выступает подлинный римский народ и защитники его интересов — Гракхи, Марий, Меммий и Лициний Макр. Не продажный нобилитет, а народ настоял на объявлении войны Югурте; тот же народ после позорного мира, заключенного в Африке, требовал преследования изменников, а нобилитет и здесь старался препятствовать этому, защищая своих виновных сотоварищей. Правда, Саллюстий прибавляет, что народ руководился «скорее ненавистью к знати, чем заботой о государстве», но в то же время подчеркивает, что «не поддается никакому описанию, с каким напряжением плебс следил за судьбой предложения, с какой энергией принял его в комициях» («Югуртинская война», 40, 3). Далее Саллюстий, отклоняясь от основной темы рассказа, дает очерк борьбы между нобилитетом и народом, указывает, почему жизнь народа стала очень тяжелой, и с большим сочувствием отзывается уже от своего собственного имени о деятельности Гракхов: «лучше быть побежденным во имя блага, чем победить несправедливость дурными средствами» (*bono vinci satius est, quam malo more iniuriam vincere* — 42, 3). Не случайно также Саллюстий, охарактеризовав Мария в его собственной речи как плебея и человека лично доблестного, заканчивает свою книгу словами: «В то время все надежды государства были сосредоточены на нем» (114, 4). Народ, по его мнению, виновен, правда, в некоторой инертности и равнодушии к делам государства, но он может и должен проснуться к жизни (ср. «История», фр. 61, речь Лициния Макра). Пока же этого не произошло, Саллюстий подводит печальный итог положению Республики, нравы которой ему «опротивели и опостытели».

Однако Саллюстий не останавливается на одном только изображении тяжелого состояния Римского государства; он ставит своей задачей раскрыть и те *причины*, которые привели к таким печальным результатам. Но во всех своих произведениях Саллюстий дает один и тот же ответ на этот вопрос. Вернее, он дает всюду несколько ответов, рассматривая вопрос то с экономической, то с политической, то с моральной стороны.

Уже в первом письме к Цезарю Саллюстий приводит причины разного порядка; первой причиной он считает обезземеление плебеев. Рука об руку с потерей земли, т. е. недвижимого имущества, которое способно прокормить своего владельца, растет интерес к приобретению денег. Этот процесс Саллюстий понимает вполне ясно, но считает возможным его остановить и тем самым переходит от установки реального политика и историка к установке моралиста: очень ярко и убедительно рисует он рост денежного хозяйства, но объясняет его моральным падением каждого отдельного человека.

Сопоставляя *virtus* и *resunia*, Саллюстий переходит от наблюдений над чисто экономическим явлением к моральным поучениям, на почве которых остается и в дальнейшем, советуя Цезарю бороться против этой власти денег: «Величайшее благодеяние сделал бы ты для отечества, для сограждан, для себя самого и твоих потомков и для всего человечества, если бы ты искоренил вовсе и, насколько возможно, уменьшил бы страсть к богатству» (письмо 1, 7). Заканчивает он свое рассуждение патетической тирадой против корыстолюбия (*avaritia*): «Корыстолюбие — дикий зверь, беспощадная нестерпимая страсть; где оно проявляется, оно опустошает города, поля, храмы и дома, смешивает все человеческое со священным; ни войско, ни стены не могут его задержать, оно отнимает у людей доброе имя, стыд, семью, родину и родителей. Если ты уничтожишь уважение к деньгам, то корыстолюбие легко будет побеждено добрыми нравами» (письмо 1, 8).

Ясно, что в то время когда Саллюстий давал Цезарю такие «благонамеренные» советы, он считал возможным для одного человека, пользующегося верховной властью, уничтожить силу денег путем одного только распорядка, чтобы богатые и бедные были уравнены в избирательных, вернее, совещательных правах. Другие конкретные меры, предлагаемые Саллюстием, — увеличение числа сенаторов, изменение системы выборов — являются частичными мерами; основная же его мысль заключается именно в уничтожении или уменьшении силы денег.

Во втором письме Саллюстий значительно снижает свои требования, но все еще считает возможным проведение государственной реформы путем морального воздействия или чисто политических мероприятий; искоренить надо, по его мнению, уже не власть денег вообще, а только открытые грабежи и бесстыдное ростовщичество.

«Надо всеми силами утвердить согласие между согражданами и пресечь разногласия. Это произойдет, если ты уничтожишь роскошь и жажду нечестной наживы. Пусть каждый соразмеряет свои расходы со своим достатком... Поэтому пусть погибнет ростовщик, пусть каждый занимается своим делом; это — единственный истинный и простой путь, чтобы должностные лица трудились не для кредитора, а для государства и проявляли величие своей души в том, чтобы давать государству, а не отнимать у него» (письмо II, 5).

Опять-таки и здесь Саллюстий предлагает некоторые конкретные меры: следует заботиться о том, чтобы народ, испорченный денежными и хлебными раздачами, занимался своими делами, которые отвлекали бы его от смут (см. письмо II, 7), и чтобы «тот хлеб, который выдавали в награду

за праздность, выдавали бы в муниципиях и колониях тем заслуженным воинам, которые возвращаются домой» (письмо II, 8). Однако, какие запятия надо предоставить плебеям, он, конечно, указать не может; награждение же воинов, отличившихся в походах, — отнюдь не новое мероприятие.

Письма к Цезарю были написаны Саллюстием, по-видимому, тогда, когда он, еще не устранившись от общественной жизни, в качестве легата Цезаря давал тому непрошенные советы по управлению государством, а сам усердно собирал те деньги, против власти которых советовал бороться. В своих исторических сочинениях он уже не претендует на роль реформатора, но по-прежнему стремится раскрыть причины тяжелого положения государства. В «Заговоре Катилины» главное внимание обращено им на чисто моральные причины — причем, кроме корыстолюбия, которое он осудил уже в письмах, он вводит еще один порок — честолюбие (*ambitio*), строит уже целую систему постепенного перехода от гражданской доблести к моральному падению. Первой ступенью морального падения была замена жажды славы честолюбием. Однако для честолюбия (*ambitio*) Саллюстий еще находит некоторое извинение: оно дурно не само по себе, но уже использует дурные средства: «Славы, почета и власти жаждут себе и доблестные и ленивые, но первые стремятся к ним верным путем, а вторые стараются достигнуть их хитростями и обманом» («Заговор Катилины», 11, 2). Честолюбие, в противоположность жажде к славе, оказывает разлагающее влияние на поведение человека. Последней же ступенью падения является подвластность корыстолюбию, которое дурно уже само по себе. «Корыстолюбие стремится к деньгам, которых не желает ни один мудрый человек; пропитанное ядом, оно расслабляет и духовные и телесные силы; безграничное, ненасытное, оно не уменьшается ни от избытка, ни от недостатка средств» (там же, 11, 3). «С того момента, как к богатству стали относиться с почтением и его спутниками сделались слава, власть и политическое влияние (*potentia*), доблесть начала ослабевать, бедность — считаться позором, а честность стала вызывать подозрение в злонамеренности» (там же, 12, 1).

Во введении к «Югуртинской войне», в котором Саллюстий уже не только отказывается от участия в общественной жизни, но и оправдывает и объясняет этот отказ, он уже не превозносит и «славолюбия», а осуждает стремление к чему бы то ни было преходящему. Он, правда, не высказывает прямого осуждения тем, кто ищет славы, но упорно настаивает на том, что в его время достигнуть славы хорошим, честным путем невозможно и поэтому надо стремиться только к неизменному благу. По-видимому, таким благом он считает посмертную славу; он с уважением говорит о культе предков и о его благотворном влиянии: «Ведь, конечно, не воск и не статуя имеют в себе силу, а воспоминание о подвигах питает пламя в сердцах великих людей» («Югуртинская война», 4, 6). Полному осуждению его подвергаются все непрочные блага: «Прекрасная наружность, большие богатства и телесные силы... скоро исчезнут; но деяния человеческого ума, как дух, бессмертны» (там же, 2, 2). Несомненно, во всех этих философских возвышенных тирадах Саллюстия немало риторических общих мест. Якобы отрекаясь от всего преходящего, Саллюстий продолжает им живо интересоваться; острая наблюдательность его не только не идет на убыль, а все растет. Именно в «Югуртинской войне», а еще больше в «Истории», Саллюстий окончательно отказывается от утопических планов спасения государства путем моральных реформ и дает все более реальный анализ действительного положения вещей, правильную оценку политики нобилитета и необходимости борьбы против него.

Саллюстий не только констатирует факт деградации государственного строя и падения нравов — он пытается установить начальный момент этого процесса и его основной фактор.

Долгое время Саллюстий, как и многие другие римские писатели (и даже иностранец Полибий), не может освободиться от преклонения перед многовековым непоколебимым строем и славой подвигов Римской республики. По концепции, данной им и в I письме и в «Заговоре Катилины», «золотой век» Республики тянулся очень долго, с начала VI до половины II в., т. е. около 450 лет. В противоположность этой традиционной идеалистической точке зрения, в «Истории» мы находим отрывок, говорящий совсем иное. Период без внутренних смут определяется Саллюстием как очень краткий. Наилучшие нравы и наибольшее внутреннее согласие дарил в государстве от второй до третьей Пунической войны («История», I, фр. 8), т. е. этот период охватывает всего только около 60 лет. Весь же предыдущий период от изгнания Тарквиния до второй Пунической войны Саллюстий характеризует как непрерывную борьбу между патрициями и плебсом («История», I, фр. 9). «Когда же исчез страх перед Карфагеном и не было более необходимости в единодушии, начались многие беспорядки, междоусобицы и, наконец, гражданские войны, в течение которых немногие сильные люди, от которых зависело множество других, стремились к власти... Граждан стали называть хорошими или дурными не по их заслугам перед государством — ибо все были одинаково никуда не годны; но кто был самым богатым и кто путем несправедливости стал сильнее других, того и считали хорошим» («История», фр. 10). «И с этих пор нравы предков стали уже не понемногу изменяться, а полетели стремглав в бездну; и юношество было до такой степени испорчено корыстолюбием и роскошью, что правильно говорили, будто родились теперь такие люди, которые и сами ничего иметь не могут и не терпят, чтобы у других что-нибудь было» (фр. 12).

Эта реальная картина не теряет ничего даже от введения в нее обычных для теории Саллюстия моральных понятий и сильно отличается от той, еще почти идиллической характеристики процесса развития Республики, которая дается в 5-й главе I письма. Более того, Саллюстий указывает и на действительную причину такого временного примирения борющихся групп; это страх перед Карфагеном (*metus Punicus*), о котором упоминает не раз и Цицерон. О подобном же прекращении распри из-за страха Саллюстий рассказывает в «Заговоре Катилины»: нобилитет долго противился избранию Цицерона в консулы, «но когда надвинулась опасность, тогда зависть и высокомерие отошли на задний план» («Заговор Катилины», 23, 6). О таком же настроении говорят заключительные строки «Югуртинской войны»: «Страх заставил содрогнуться всю Италию... Марий заочно был избран консулом, и ему была назначена провинцией Галлия» («Югуртинская война», гл. 114). Таким образом, по мнению Саллюстия, единственный фактор, который может временно прекратить внутреннюю борьбу, это страх.

Последним вопросом, который ставит себе Саллюстий, является вопрос о том, необходимо ли именно такое развитие исторического процесса и какова его основная движущая сила, закономерен ли он или случаен. На этот последний вопрос Саллюстий опять не дает единообразного ответа. Во-первых, он считает «разногласия» как бы необходимым, хотя и досадным следствием природы человека: «Первые разногласия у нас явились следствием порочности человеческой души, которая беспокойна, необузданна и всегда находится в борьбе то за свободу, то за славу, то за власть» («История», I, фр. 7). Далее Саллюстий как будто примыкает к схеме историче-

ского процесса, данной Платоном и Полибием и развернутой в трактате Цицерона «О государстве»; в историческом экскурсе в «Заговоре Катилины» он вводит, так сказать, трихотомию властей (царская власть, аристократия, власть народа). Однако на примере римской истории — а только она и интересует Саллюстия — провести трихотомию ему не удастся. Если придерживаться схемы Полибия (царство — тирания — аристократия — олигархия — демократия — анархия), то Рим во времена Саллюстия дошел только до ступени олигархии, что ясно видел Саллюстий, пути же к демократии афинского типа в его время ожидать было нельзя; скорее намечался обратный путь непосредственно к тирании. Поэтому Саллюстий включает в исторический процесс еще другие силы, нарушающие его закономерность и морально как будто не оправданные. Такими силами являются, во-первых, *fortis*, или *fortuna* (оба слова трудно переводимы, ни «случайность», ни «судьба» не передают их полностью), на которую Саллюстий не раз ссылается, во-вторых — сильные, выдающиеся люди. «Без сомнения, всем управляет *случай*, — говорит Саллюстий, сравнивая подвиги афинян с римскими. — Он скорее по своей прихоти, чем по справедливости и прославляет, и ввергает в забвение» («Заговор Катилины», 8). И далее, говоря о начавшихся социальных бурях после взятия Карфагена, он, который впоследствии в «Истории» дает такое конкретное изображение внутренней борьбы, вводит в «Заговоре Катилины» понятие «судьбы». «Но когда — государство окрепло, когда оно подчинило могущественных царей, сломило сопротивление диких племен... разрушило Карфаген, соперника Римской державы, тогда *судьба* (*fortuna*) начала неистовствовать и ставить все вверх дном» (10). С другой стороны, по мнению Саллюстия, даже *fortuna* не может сломить отдельных мощных героев. Прерывая свое связное повествование, он, после речей Цезаря и Катона в сенате, излагает свою теорию «сильной личности». «После зрелых размышлений у меня создалось убеждение, что все успехи римлян — результат доблести нескольких отдельных лиц: именно этим объясняется то, что богатство бывало побеждено бедностью, и множество — меньшинством» (53, 4). Этим высказыванием Саллюстий покидает путь историка, ищущего закономерности в историческом процессе, и переходит на иной путь.

Именно этот взгляд, к которому пришел Саллюстий, по его словам, много «прочитав и продумав», нашел чрезвычайно яркое отражение в художественной форме его произведений. Саллюстий потому и избрал форму исторической монографии, что она давала ему больше возможности писать портреты отдельных людей, чем это можно было сделать в общих трудах по истории. В изображении отдельных лиц можно было ярче отразить свои собственные взгляды, симпатии и антипатии, чем в рассказе о событиях. Именно этот взгляд на значение «великой доблести немногих граждан» заставил Саллюстия порвать с традиционной манерой античных историков и сделать его мастером индивидуальной характеристики и даже исторического памфлета. Но он же помешал ему довести до конца и четко сформулировать положение о *закономерности борьбы* различных общественных группировок в Риме. Как политик, он был движим ненавистью к нобилитету и негодовал на инертность народа; как историк, он искал причин этих явлений в прошлом и настоящем своей родины, и ему удалось почти правильно определить их. Как художник, заинтересованный выдающимися качествами отдельных личностей, он старался дать живые художественные образы.

Этим самым решается вопрос о так называемой объективности Саллюстия. Он сам с нескрываемой гордостью говорит о себе: «Ни одна из партий во время гражданских войн не могла отклонить меня от истины»



Фортуна

Бронзовая статуэтка римской работы

(*Neque me divorsa pars in civilibus armis movit a vero* — «История», I, фр. 5). Это, конечно, неверно. Мы ясно знаем, кого он любит и, в особенности, кого он ненавидит, и именно в этом одно из больших достоинств Саллюстия-историка. Но, как подлинный художник, он не может рисовать образы деятелей, руководясь только своей личной политической симпатией и антипатией. Благодаря этому стремлению к художественной правде, он, может быть даже против своего намерения, сделал Катилину более привлекательным, чем восхваляемого им Катона младшего. В нескольких словах он сумел воздать должное нелюбимому им аристократу Метеллу, а в речах и письмах, введенных им в ткань повествования (вероятно, в значительной степени фиктивных), дал яркие образы всех авторов этих речей и писем (Мария, Меммия, Помпея, Лициния Макра и даже Митридата). Поэтому незаменимой утратой является потеря самого зрелого произведения Саллюстия — его «Истории», даже фрагменты которой свидетельствуют о полном расцвете его художественного дарования.

3. САЛЛЮСТИЙ КАК ПИСАТЕЛЬ

Вследствие нашего недостаточного знакомства с римскими историками, предшественниками Саллюстия, мы не можем с полной достоверностью установить связи, существующие между их произведениями и его историческими монографиями. Сам Саллюстий не упоминает ни об одном из них, кроме Сизенны, которого он, признавая его тщательность в изложении событий, упрекает в том, что тот недостаточно откровенно высказался о деятельности Суллы. Произведения римских историографов в общем носили несколько хроникальный характер и чисто литературными художественными достоинствами, по-видимому, не обладали.

Значительно больше мог Саллюстий почерпнуть у греческих историков, с которыми он, несомненно, был знаком; он не раз сравнивает подвиги римского народа с подвигами афинян. Вопрос о зависимости Саллюстия от Фукидида и Ксенофонта имеет большую литературу; ясна также связь Саллюстиевых теорий смены форм государственной власти с учением Платона; напротив, недостаточно еще разработан вопрос о его соотношении с Полибием, к теории которого многие мысли Саллюстия ближе, чем непосредственно к «Государству» Платона. Образцы исторических портретов Саллюстий мог найти у Ксенофонта (характеристики казенных Тиссаферном греческих вождей; «Анабасис», II, 6). Прием введения занимательных рассказов вне хода общего повествования, по всей вероятности, тоже использовался греческими историками — Эфором, Феопомпом и Тимеем, которых Полибий порицает за легкомысленное отношение к исторической правде и беллетристический, поверхностный характер их произведений. Однако, даже если бы все эти связи были достоверно установлены, и тогда произведения Саллюстия все равно сохранили бы свою ценность как чисто римские исторические монографии, самостоятельно задуманные, с своеобразно подобранным и освещенным материалом, изложенным в оригинальной, высокохудожественной форме.

Художник в Саллюстии иногда берет перевес над историком; специалисты по истории Рима давно подметили немало неточностей в его изложении событий. Наиболее крупной неточностью является искажение даты первого неудавшегося заговора Катилины. Сделано ли это по недосмотру или из желания дать более сжатый, уплотненный рассказ, ускорить движение повествования, сказать нельзя.

Оба дошедших до нас исторических произведения Саллюстия с точки зрения художественной обладают одним и тем же характером, а по уце-

лучшим фрагментам «Истории» можно судить о том, что и этот наиболее поздний и зрелый труд в отношении своей художественной формы не имел каких-либо особенностей. Различие между тремя сочинениями заключается больше в постепенном изменении политических установок в сторону все большего отвращения к нобилитету, неуважения к сенату и симпатии к народоправству, чем в изменении художественных приемов обработки материала. Поэтому художественное творчество Саллюстия (исключая письма к Цезарю, которые лишь отчасти следует считать произведениями художественными) можно рассматривать как единое целое.

Основную ткань произведений Саллюстия, как произведений исторических, составляет повествование. Саллюстий является большим мастером в этом отношении, он умеет чрезвычайно выпукло, наглядно и драматически изображать события. Лучший образец такого динамического рассказа — описание последнего боя войск Катилины с сенатскими. Не менее драматично он изобразил панику, охватившую городское население Рима при приближении войска Катилины: «Эти известия взволновали всех, и даже вид города изменился; после веселья и беспечности, порожденных долгим спокойствием, всех охватил внезапный ужас: все опешили и трепетали, ни одного места не считали безопасным, ни одного человека надежным; на битву не решались, миру не верили, и каждый измерял величину опасности силой своего страха. Особенно женщины, которые за время величия государства не могли привыкнуть к опасностям войны, убивались и, воздымая руки к небу, сокрушались о своих детях, всех спрашивали, всего боялись и, забыв о своей надменности и увеселениях, не полагались ни на себя самих, ни на родину» («Заговор Катилины», 31). Подобные же сцены можно найти в «Югуртинской войне». Наиболее драматичны рассказы о нападении царя мавров Бокха и Югурты на зимние лагеря Мария (гл. 97—99), о посольстве Суллы и Бокху (гл. 105—113), когда до последнего момента Бокх не может решить «кого кому предать, Югурту — римлянам или Суллу — Югурте; его желание было — выступить против нас, а страх говорил в нашу пользу» (108, 3).

Следует заметить, что ни один перевод не может дать полного представления о напряженности и выразительности латинского текста; этому способствует природная сжатость латинской фразы, искусно используемая Саллюстием. В приведенных выше описаниях последнего боя катилинариев и паники в Риме Саллюстий почти сплошь использует самую краткую форму, передающую максимальное напряжение — *infinitivus historicus*: «*Catilina cum expeditis in prima acie vorsari, laborantibus succurrere, integros pro sauciis arcessere, omnia providere, multum ipse pugnare, saepe hostem ferire...*» («Заговор Катилины», 60, 4).

Саллюстий умеет концентрировать материал вокруг основной оси повествования и очень редко отвлекается в сторону. Единственным эпизодом, совершенно не связанным с историей Югуртинской войны, является рассказ о самоотверженной гибели двух карфагенских юношей, которые согласились, чтобы их живыми засыпали камнями, лишь бы вопрос о границе между Карфагеном и Киреной был решен в пользу Карфагена («Югуртинская война», 79). Другие же рассказы, носящие несколько анекдотический характер, связаны с основным повествованием и преследуют определенную цель. Таков, например, рассказ о лазутчике из войска Мария, который, собирая улиток, взобрался на вершину горы, увидел расположение неприятеля и привел отряд римлян в тыл нумидийской крепости (гл. 93—94). Таков же еще более похожий на сцену из авантюрного романа рассказ о заговоре нумидийских полководцев Бомилькара и Набдалзы против Югурты; этот разговор, случайно открытый слугой Наб-

далзы и сообщенный им Югурте, навсегда лишил Югурту покоя и доверия к приближенным. «Все казалось ему подозрительным: и место, и люди, и время дня; он боялся своих, как врагов; всегда озирался кругом, вздрагивал от каждого шума...» (72, 2). Саллюстий хочет показать, насколько *fors*, или *fortuna*, признаваемая им одной из главных движущих сил истории, в это время покровительствует Марию.

Кое-где Саллюстия можно упрекнуть в субъективном истолковании фактов. Он редко упускает случай объяснить, *почему* то или иное лицо приняло данное решение, дать психологическую характеристику и обоснование его поступка. Например, после первой речи Катилины к заговорщикам, в которой он впервые излагает свои планы, Саллюстий так объясняет их настроение: «Всё это было приятно слышать тем людям, у которых бед было в изобилии, дела которых были плохи, а в будущем никакой надежды; но хотя для них представляло уже большую выгоду — нарушить существующий порядок,— однако многие всё-таки стали спрашивать [Катилину], что он предлагает, каковы условия восстания, какова будет награда, какие средства находятся в их распоряжении и каковы виды на будущее» («Заговор Катилины», 21). И только после повторных обещаний, перечисления имен сочувствующих лиц, запугиванья, лести и поощрений Катилина увидел, что все настроены бодро.

Поступки отдельных людей Саллюстий тоже не только констатирует, но всегда вдумывается в них и пытается обосновать. Так, он приводит различные объяснения обиды Метелла после смещения его и назначения Мариа главным полководцем в Африке: «В это время он получил известие из Рима, что в Нумидию назначен Марий... Потрясенный этим больше, чем следовало, он не удержался от слез и не умел сдерживать языка; в других случаях человек выдающийся, он проявил слабость в перенесении обиды. Некоторые объясняли это его надменностью; другие тем, что его чувство справедливости было оскорблено; многие тем, что у него выхватили из рук уже почти готовую победу. Мне же совершенно ясно, что он страдал больше от того, что такая честь оказана Марию, чем от личной обиды; ему не так тяжело было бы перенести потерю провинции, если бы ее передали кому-нибудь другому, а не Марию («Югуртинская война», 82).

Умение проникнуть в мысли и чувства действующих лиц изображаемой исторической драмы позволяет Саллюстию создать цельные образы, отмечая в них характерные черты. Именно это умение делает его мастером исторической характеристики. Античная историография крайне бедна живыми портретами деятелей; бытовые и индивидуальные черты отдельных людей считались недостаточным материалом для истории, это была область анекдота, т. е. рассказа характерного, иногда забавного, но всегда недостоверного. О чертах характера, которые могли быть непосредственным обоснованием тех или других поступков, читателям предоставлялось судить только по самим этим поступкам. В дошедших до нас произведениях античных историков прямые характеристики (кроме упомянутых характеристик у Ксенофонта) мы находим впервые у Саллюстия. Они метки и сделаны с большим мастерством.

Все эти характеристики можно разделить в основном на две группы: прямые, данные от лица автора, и косвенные — в речах или письмах, приводимых Саллюстием от имени характеризуемого лица.

Наиболее знаменитой является сравнительная характеристика Цезаря и Катона. «Цезаря считали великим за благодеяния и щедрость, Катона — за непорочную жизнь. Первый прославился мягкостью и милосердием, второй заслужил уважение своей строгостью. Цезарь достиг славы, давая, по-

могая и прощая. Катон — никому ничего не спуская. Один был прибежищем для несчастных, другой — гибелью для дурных; одного восхваляли за мягкость, другого за твердость» («Заговор Катилины», 54). Можно бы упрекнуть Саллюстия за излишнюю идеализацию Цезаря, но далее он ясно показывает, что за всеми благодеяниями Цезаря скрывалась определенная цель: «Он добивался великой власти, войска, новой войны, в которой его доблесть могла бы проявиться в полном блеске», Катон же «больше хотел действительно быть человеком хорошим, а не казаться им». В этом случае Саллюстий, отнюдь не склонный к восхвалению сенатских консерваторов, все же поддался тому общему преклонению перед Катонем, которое распространилось после самоубийства в Утике. В I письме к Цезарю он высказывал иное суждение о нем: «Один только Катон, изворотливый, хитрый и речистый, не заслуживает презрения, это — результат его греческого образования: но доблести, бдительности и трудолюбия у греков нет» (гл. 9). Очевидно, в это время, в начале гражданской войны, Саллюстий считал Катона только сенатским говоруном; его смерть заставила Саллюстия переменить свое мнение о нем; он проявил, как полагал Саллюстий, именно те качества, которых он прежде в нем не замечал.

Чрезвычайно сложно отношение Саллюстия к Катилине. Уже в известной 5-й главе «Заговора Катилины» он признает выдающуюся одаренность Катилины: «Он отличался мощью духа и тела... он терпел голод, бессонницу и холод с невероятной выносливостью; смелый, коварный, изменчивый, умевший притворяться кем угодно и скрывать что угодно... Его необузданная душа всегда жаждала безмерного, невероятного, недоступного». Еще большее впечатление произвела на Саллюстия гибель Катилины: он дал описание последнего боя с изображением доблестного поведения Катилины: «Когда бой был кончен, то всякий мог увидеть, какая смелость и какой мощный дух жили в войсках Катилины. Почти все павшие покрыли своими телами те места, которые заняли в бою; лишь немногие, рассеянные преторианской когортой, лежали немного в стороне, но раны у всех были на груди. Катилина был найден далеко от своих, между трупами врагов; он еще чуть-чуть дышал, а лицо его носило печать того же неукротимого духа, как при жизни» («Заговор Катилины», 61).

Отношение Саллюстия к Катилине имеет двойственный характер; резко порицая его политическую программу, которую считает безнадежной, он не может противостоять очарованию его личности, мощной даже в своих пороках и «жаждавшей недоступного».

Из характеристик других крупных политических деятелей очень яркой является характеристика Суллы. Она дает тоже очень цельный образ, который, очевидно, показался самому Саллюстию более привлекательным, чем он хотел: автор тотчас же оговаривается: «о последующих его поступках говорить и стыдно, и противно — не знаю, что больше» («Югуртинская война», 95, 4). Кроме же этих заключительных слов, характеристика Суллы довольно положительна: «Он был знатоком греческой и латинской литературы, чрезвычайно умен, любил роскошествовать; но никогда наслаждение не мешало ему заниматься делами... он был речист, хитер, дружелюбен; невероятный притворщик, расточительный, в особенности на деньги. До победы в гражданской войне он был исключительно счастлив, но это счастье не превосходило его заслуг; многие сомневались, что выше — его доблесть или его счастье» (там же, 95, 3 сл.).

Значительно суше и неодобрительнее судит Саллюстий о более мелких представителях нобилитета — Метелле, консуле Кальпурнии, Скавре. К Метеллу он относится в общем с одобрением: «Нумидия досталась

Метеллу, человеку очень умному и хотя противнику популяров, но имевшему хорошую репутацию» («Югуртинская война», 43, 1). Он хвалит военные меры, принятые им. Однако, хотя «доблесть, славолубие и другие хорошие качества и преобладали [в нем], но ему было свойственно презрение к другим людям и надменность, порок — общий всем нобилиям» (там же, 64, 1). В консуле Кальпурнии Саллюстий еще признает некоторые достоинства, Скавр же характеризуется только отрицательными чертами: «Эмилий Скавр, нобиль, предприимчивый интриган, жаждавший власти, почестей и богатств, но умевший ловко скрыть свои пороки» (там же, 15, 4).

С не меньшим искусством Саллюстий дает и косвенные характеристики действующих лиц. Из большого количества речей и писем, включенных им во все три его произведения, прямую характеристику самому себе дает Марий в своей первой речи перед народным собранием. Агитационное значение этой речи было, вероятно, огромным. В коротких иронических фразах Марий клеймит пороки нобилитета: «Знавал я людей, которые, уже став консулами, брались изучать подвиги предков и греческие военные науки: поздновато! Сравните же с ними, надменными, меня, человека простого; то, о чем они слышали и читали, я частью видел, а частью сам пережил; чему они научились по книгам, тому я научился воюя. Решайте же, что больше значит — дела или слова. Они презирают мою незнатность, а я — их... непригодность... То, что они присваивали себе как следствие чужой доблести, того они не хотят признать во мне как следствие моей собственной: и всё потому, что у меня нет изображений предков и что мое благородство — недавнего происхождения; но, конечно, лучше приобрести его самому впервые, чем полученное в наследство испачкать. Я не могу предъявить ни изображений предков, ни триумфов, ни предков-консулов, но, если надо, я покажу копья, значки, украшения и другие военные награды, а также и шрамы на моей груди. Вот мои изображения, вот мое благородство, не полученное по наследству, а заработанное в трудах и опасностях. Неискусна моя речь; это не важно, ведь это *им* нужно изощряться, чтобы прикрыть речами дурные дела. Не изучал я греческих наук, но больно это было мне нужно; ученым они доблести не принесли. Но я изучил то, что важнее для государства — бить врага, стоять на посту, не бояться ничего, кроме дурной славы» («Югуртинская война», 85). В сравнении с этой характеристикой народного героя-полководца даже агитационные речи Меммия («Югуртинская война», 31), Лициния Макра («История», фр. 61) и Лепида («История», I, фр. 41) кажутся менее выразительными, так как в них больше общих мест и исторических аргументов (былая мощь народных трибунов и т. п.); здесь же дается живой художественный образ.

Насколько Саллюстий владеет изобразительными средствами, легко увидеть, сравнив с речью Мария письмо Помпея к сенату («История», III, фр. 96). Те же короткие четкие фразы, тот же солдатский стиль и даже то же хвастовство крупного военачальника, но то, что у Мария звучит уверенным достоинством, у Помпея носит характер наглой угрозы. «Я устал писать и посылать послов, я истратил все свои личные средства, а вы в течение трех лет едва-едва заплатили жалованье за год. Клянусь богами, что вы думаете? Что я — заместитель казны или что войско может существовать без хлеба и жалованья? Правда, я пошел в этот поход с усердием не по разуму; получив от вас одно только звание главнокомандующего, я набрал войско за 40 дней и прогнал за Альпы в Испанию врага, уже стоявшего в итальянских ущельях... В настоящее время положение вражеского войска и моего — совершенно одинаково: ни тому, ни другому не платят жалованья. И то, и другое может, победив, явиться в Ита-

лию. Напоминаю вам об этом, чтобы вы призадумались и не заставляли меня действовать на свой страх и риск... Я не только истратил свои деньги, но мне уже и в долг не дают. Остаются вы: если вы не выручите, то предсказываю, что, хотя я этого и не хочу, войско, а с ним и война перейдет из Испании в Италию». Весь тон этого письма вполне соответствует той иронической характеристике Помпея, которая сохранилась во фрагментах «Истории»: «Помпей с ранней юности, поверив льстецам, вообразил себя похожим на царя Александра и подражал ему в действиях и решениях» («История», III, фр. 7). Другой фрагмент (из неизвестной книги, фр. 75) характеризует Помпея, как «честного на словах и лживого душой».

Почти все деятели предыдущей и современной Саллюстия эпохи нашли себе место даже в том наследстве его, которое дошло до нас. Тем больше бросается в глаза, что Саллюстий не считал нужным дать портрет Цицерона и не привел ни одного его слова. Если вспомнить, что сам Цицерон десятки раз на все лады восхваляет величие своей роли в раскрытии заговора Катилины и считает себя главным спасителем Рима, то ясно, что скупые и сухие сообщения Саллюстия о Цицероне, иногда несколько иронические и даже недоброжелательные, сделаны им вполне сознательно. «Катилина всеми способами строил козни против Цицерона, но и у Цицерона не было недостатка в хитрости, осторожности и уловках» («Заговор Катилины», 26, 1—2) — это единственная характеристика, которую дает Саллюстий «отцу отечества». Правда, он говорит, что враги Цезаря никакими силами, ни подкупам, ни просьбам не смогли побудить Цицерона высказаться против Цезаря и обвинить его в соучастии; но тому, что Цицерон хотел очернить Красса, Саллюстий верит вполне и даже ссылается на слова самого Красса: «Я сам слышал, как Красс утверждал, что такое ужасное обвинение было взведено на него Цицероном» (там же, 48, 9). Кроме того Саллюстий сообщает, что слухи о том, будто сообщники Катилины приносили клятву над чашей с человеческой кровью, распускались сторонниками Цицерона, которые «старались смягчить вспыхнувшую впоследствии ненависть к Цицерону» (там же, 22, 3). О знаменитой же первой речи против Катилины, которая произвела едва ли не большее впечатление на самого оратора, чем на его слушателей, Саллюстий кратко и не без иронии упоминает: «Тогда консул Марк Туллий, либо боясь его [Катилины] присутствия, либо под влиянием гнева, произнес блестящую и полезную для государства речь, которую впоследствии записал и издал» (там же, 31, 6). Все эти намеки и недомолвки ясно раскрывают мнение Саллюстия о Цицероне.

Заканчивая обзор отдельных характеристик, данных Саллюстием, надо упомянуть и об остроумных, злых портретах женщин из высшего общества — Орестиллы, «в которой, кроме красоты, нечего было похвалить человеку порядочному» («Заговор Катилины», 15), и Семпронии, которая «танцевала и пела лучше, чем это требуется для приличной женщины, которой все, что угодно, было дороже, чем приличие и стыд, и трудно было решить, что она меньше жалест, деньги или свою репутацию» (там же, 25).

Итак, главный интерес Саллюстия как художника направлен на людей, их характеры, переживания, мысли и поступки. Элемент описательный играет в его сочинениях незначительную роль. В «Заговоре Катилины» описаний местности, кроме нескольких слов о месте последней битвы, нет совсем; в «Югуртинской войне» имеется небольшой географический экскурс, касающийся расположения и населения Африки (гл. 17—19). Можно предположить, что краткие очерки некоторых стран (Сардинии, припонтских областей, Сицилии и Испании) имелись и в «Истории». Однако эта сторона дела Саллюстия не интересовала и он затрагивал ее

очень поверхностно. Значительно бóльшую роль играют историко-философские экскурсы, носящие отчасти автобиографический характер.

Насколько своеобразна вся литературная манера Саллюстия, взятая в целом, настолько же оригинальны и до топокостей разработаны отдельные его литературные приемы и словоупотребление. Форма и содержание в его произведениях органически слиты между собой.

Саллюстий прекрасно владеет эпитетом; в нескольких словах он умеет дать ясный образ (см. выше о характеристиках). Из фигур речи он особенно охотно пользуется антитезой и ее особым видом — хиазмом, который дает возможность еще резче подчеркнуть противоположность, чем параллельная антитеза. Его выразительные хиазмы врезаются в память, как изречения: *satis eloquentiae, sapientiae parum* (из характеристики Катилины; «Заговор Катилины», 5, 4); *ita accipi, munditias mulieribus, viris laborum convenire* (из речи Мария; «Югуртинская война», 85, 40); *Contemnunt novitatem meam, ego illorum ignaviam* (там же, 85, 14).

В сравнительных характеристиках Цезаря и Катона слова расположены так, что легко запечатлеваются в памяти: «*Caesar beneficiis atque munificentia magnus habebatur, integritate vitae Cateo*» («Заговор Катилины», 54, 2). Параллельные построения, образования от одного и того же корня и синонимы тоже расположены в высшей степени искусно: «*In altero miseris perfugium erat, in altero malis perniciēs*» — «*[Cato] non divitiis cum divite neque factione cum factioso, sed cum strenuo virtute, cum modesto pudore, cum innocente abstinentia certabat*» (там же, 54, 3 и 6).

Сразу запоминается много таких же метких выражений в речах, например носящее характер лозунга выражение: «*Haec tempestate serviundum aut imperitandum; habendus metus aut faciundus, quirites*» («История», I, фр. 41 — речь Лепида).

В своем стремлении к максимальной сжатости и выразительности Саллюстий иногда даже переходит границу; уже древние авторы заметили в нем не только *Sallustiana brevitās*, но и *obscuritas*. Наиболее трудна и заключает в себе некоторые неясные места речь Лициния Макра («История», III, фр. 61). Однако мы не можем паверное сказать, что это сделано Саллюстием по недосмотру; речам действующих лиц он, несомненно, старался придать индивидуальный характер, поэтому, вероятно, и эта речь не случайно написана таким запутанным, сбивчивым языком.

Лексика Саллюстия нередко преднамеренно архаична; особенно упорно придерживается он фонетики, уже неупотребительной в его время: он пишет *o* вместо *e* в *advorsum, vortebant*; *u* вместо *i* в *ressume, optume*; *u* вместо *e* в формах герундива *serviundum, largiundo, capiundis*. По-видимому, даже этими необычными формами выражения Саллюстий хотел произвести возможно более сильное впечатление на своих читателей и заслужить себе ту славу, которая прошла мимо него па государственном поприще. Мы не знаем, насколько это удалось Саллюстию при его жизни: едва ли его политические установки, его своеобразное освещение фактов и его манера письма могли иметь успех в эпоху Августа и первых императоров. Однако, чем дальше отходило в прошлое то, что писал Саллюстий, тем яснее становились высокие художественные достоинства его произведений и тем больше оправдывалось то положение, которое он высказывает, приступая к своему первому сочинению: «Мне представляется более правильным искать славы силою ума, а не силами тела и, так как сама жизнь наша коротка, стараться оставить по себе как можно более долгую память» («Заговор Катилины», 1, 3).



Глава XXI

ЛУКРЕЦИЙ

1. Поэма Лукреция «О природе вещей» и биографические сведения об ее авторе.— 2. Учение Эпикура и приверженцы его в Риме.— 3. Философское и поэтическое значение произведения Лукреция.— 4. Лукреций и римская литература.

1. ПОЭМА ЛУКРЕЦИЯ «О ПРИРОДЕ ВЕЩЕЙ» И БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЕЕ АВТОРЕ

Поэма Лукреция «О природе вещей» справедливо считается одним из самых ярких и значительных произведений не только римской, но и мировой литературы. Лукреций в равной мере и замечательный поэт и глубокий философ. Помимо огромного самостоятельного значения поэмы Лукреция, это произведение исключительно важно тем, что оно является одним из главнейших источников восстановления учения Эпикура и вместе с тем самым ярким и красноречивым орудием пропаганды этого учения, оставившим неизгладимый след во многих литературных произведениях как античных, так и позднейших.

Биография Лукреция известна нам очень плохо, что, впрочем, представляет собою самое обычное явление и в римской и в греческой литературе. Однако в данном случае приходится особенно пожалеть о недостатке биографических сведений, потому что поэма Лукреция, несмотря на всю ее теоретическую подкладку, без всякого сомнения, стояла в самой тесной связи с его личной жизнью. При этом даже то немногое, что передано нам о жизни поэта античной традицией, не отличается полной достоверностью и противоречит одно другому. Основные хронологические даты расходятся между собой. Два главных свидетельства о Лукреции, относящиеся оба к IV в. н. э., принадлежат: первое — известному своей ученостью и литературным дарованием христианскому писателю Иерониму, другое — Донату. Иероним в дополнениях к хронике Евсевия указывает, что Лукреций родился в 95 г. до н. э. и умер 44 лет в 51 г. Показания Доната несколько сбивчивы: он приводит две различные датировки смерти Лукреция — 55 и 53 гг. В настоящее время считается общепринятой первая датировка Доната, так как она основана на определении года по консульству (что является для римской хронологии самой точной датировкой); вторая же дата, возможно, является лишь натяжкой, цель которой — отнести к одному и тому же году смерть Лукреция и совершеннолетие Вергилия.

Но если мы остановимся на 55 г. как дате смерти Лукреция, то с установлением года его рождения возникают затруднения. Как было указано, по расчету Иеронима, Лукреций родился в 95 г., однако тот же Иероним сообщает, что Лукреций прожил всего 44 года. Если так, то он умер в 51 г., т. е. на четыре года позже принятой нами даты его смерти. Итак,

Иероним допускает ошибку или в указании года рождения Лукреция или в определении числа прожитых им лет. Какое из этих двух предположений вероятнее, решить трудно, и вопрос остается открытым.

Как бы то ни было, если мы откажемся от точной датировки жизни Лукреция, все-таки с полной уверенностью можно утверждать, что Лукреций — младший современник Цицерона и Юлия Цезаря и современник другого замечательного римского поэта — Катулла.

Опираясь на исторические и литературные источники, можно без особого труда восстановить довольно подробную картину тогдашней общественной жизни в Риме. В политическом смысле это время может быть названо эпохой мучительной политической агонии республиканского Рима и предвестием принципата. Жестокая распря между Марием и Суллой, кровавая расправа Суллы со своими противниками, знаменитая вспышка, связанная с именем Катилины, и как ее эпилог выступление известного врага Цицерона, народного трибуна Клодия, — вот наиболее яркие моменты социальной борьбы в Риме времен Лукреция.

Вместе с тем эта переходная эпоха ознаменовалась тревожным упадком общественной нравственности, изображению которого посвящены многие страницы повествования Саллюстия о заговоре Катилины и особенно глава 11 этого сочинения, где Саллюстий клеймит жестокость, честолюбие и любостыжание римлян того времени. Этот общий исторический фон до известной степени восполняет отсутствие индивидуальных подробностей в биографии Лукреция, и с ним могут быть поставлены в связь не только увлечение этого поэта учением Эпикура, но даже некоторые частности в поэме «О природе вещей».

В этом отношении очень характерно уже самое начало поэмы Лукреция, где он обращается со страстной мольбой к Венере и Марсу об умиротворении римского государства. Не менее знаменательно в этой же связи и вступление ко 2-й книге поэмы, где Лукреций в превосходных стихах изображает мудреца, поднявшегося над миром страстей и повседневных треволнений и не без некоторой холодности взирающего на несчастных и слепых людей, отравляющих свое существование бесплодной борьбой.

Едва ли можно отрицать, что в этих частях поэмы Лукреция отражены личные переживания, стоящие в связи с теми историческими событиями и условиями, какие окружали Лукреция. Этот личный элемент в поэме «О природе вещей» обусловил и страстный тон ее, который придает ей совершенно специфический характер и который особенно замечателен в тех ее частях, где Лукреций выступает с проповедью эпикуровского бесстрастия, или безмятежности.

Место рождения Лукреция не передано традицией, но некоторые ученые, опираясь на то, что Лукреций, говоря о Риме, называет его в одном месте родиной (*patria*), а с другой стороны, определяет латинскую речь как родную (*patrius sermo*), предполагают, что родиной Лукреция был Рим; подтверждение этому видят и в некоторых намеках, рассыпанных в поэме. Если бы такая гипотеза была достоверна, то это было бы важным историко-литературным фактом, так как подавляющее большинство римских поэтов и прозаиков — италийцы или провинциалы по происхождению. Приходится, однако, признать, что эта гипотеза далеко не достоверна. Место рождения Лукреция остается неизвестным¹.

Не знаем мы также определенно и того, из какой социальной среды происходил Лукреций. Некоторые исследователи считали, однако, возможным извлечь данные из имени поэта, а также из его произведения. Дело

¹ О недостоверности гипотезы происхождения Лукреция из Помпей см. в книге: Лукреций. О природе вещей, т. II, стр. 281, примечание.

в том, что тройное имя поэта — *Тит Лукреций Кар* (Titus Lucretius Carus) — может указывать на принадлежность Лукреция к высшему классу римского общества республиканской эпохи. Однако тройное имя могло быть и у вольноотпущенного (ср., например, Публий Теренций Африканец). Кроме того (и это крайне существенно), ни один из древних авторов, начиная с Цицерона и кончая Сидонием Аполлинарием (ок. 430—480 гг. н. э.), никогда не называет автора поэмы «О природе вещей» Каром. В наиболее древних свидетельствах его называют просто Лукрецием, в более поздних (у Иеронима) он назван Титом Лукрецием. Третье имя — Carus — засвидетельствовано в так называемой *Vita Borgiana*, составленной в эпоху Возрождения (хотя, весьма возможно, и по античным источникам), кроме того, оно имеется в списках Лукреция, древнейший из которых относится, однако, лишь к IX в. Очень возможно, что тройное имя Лукреция — продукт позднейшего происхождения, вроде, например, тройного имени Витрувия: Марк Витрувий Поллион, от которого в современной научной литературе справедливо оставлено только Витрувий. Можно все же считать, что автор поэмы «О природе вещей» принадлежал или имел отношение к старинному римскому роду Лукрециев; нельзя только решить, к которой из его ветвей — патрицианской или плебейской. Но если Лукреций был вольноотпущенником какого-нибудь представителя рода Лукрециев, то во всяком случае тон поэмы ясно указывает на его независимость и на то, что он вращался в высшем и состоятельном римском обществе, быт которого он не раз описывает в своей поэме как хорошо ему известный. Например, в книге IV Лукреций рисует такую картину:

Тратят ч силы к тому ж влюбленные в тяжких страданиях,
И протекает их жизнь по капризу и воле другого;
Всё достояние их в вавилонские ткани уходит,
Долг в небреженьи лежит, и распатано доброе имя.
На умощенных ногах сикхонская обувь сверкает,
Блещут в оправе золотой изумруды с зеленым отливом,
Треплется платье у них голубое, подобное волнам,
И постоянно оно пропитано потом Венеры.
Все достояние отцов, нажитое честно, на ленты
Или на митры идет и заморские ценные ткани.
Пышно убранство пиров с роскошными яствами, игры
Вечно у них и вино, благовонья, венки и гирлянды².

Рассуждая в книге III о причинах душевных страданий, Лукреций описывает тяжелое состояние не находящего себе места римского богача:

Часто палаты свои покидает, кому опостылел
Собственный дом, но туда возвращается снова внезапно,
Не находя вне его никакого себе облегченья;
Вот он своих рысаков сломя голову гонит в именье,
Точно спешит на пожар для спасенья горящего дома,
Но начинает зевать, и порога еще не коснувшись;
Иль погружается в сон тяжелый, забыться желая,
Или же в город спешит поскорее опять возвратиться.

(ст. 1060—1067)

Превосходную картину, изображающую тех, кто стремится

Мощи великой достичь и владыками сделаться мира,

² Все цитаты из поэмы Лукреция даются в переводе Ф. А. Петровского.

дает Лукреций во вступлении к книге II, а также и во многих других частях своей поэмы. К Меммию, которому посвящена поэма, Лукреций обращается не только как равный к равному, но даже с оттенком превосходства и иронии³, чего не мог бы сделать человек, чувствовавший себя в зависимости от него.

Тем не менее все соображения о высоком социальном происхождении Лукреция — только гипотезы, но более вероятные, чем предположение о принадлежности поэта к низшим классам римского общества.

Возвращаясь теперь опять к биографической заметке Иеронима о Лукреции, мы находим в ней любопытное сообщение о душевной болезни Лукреция, которая будто бы произошла от любовного напитка, или приворотного зелья, и в конце концов привела поэта к самоубийству; а что касается поэмы Лукреция, то, по словам Иеронима, она написана была в светлые промежутки между отдельными приступами безумия. Это свидетельство создает новый ряд вопросов и противоречий. Наименее вероятна версия о любовном напитке как о причине безумия Лукреция. Однако нетрудно понять, как сложилась эта биографическая черта. Очень легко прийти к предположению, что она представляет собой не что иное, как плод этиологического творчества. Для этого следует прочесть конец книги IV поэмы «О природе вещей», где Лукреций дает в высшей степени интересный очерк физиологии и психологии любви, очерк, дающий право предполагать, что сам автор извещал на опыте все то, что он описывает и обличает. Эта часть поэмы Лукреция отнюдь не могла пройти незамеченной со стороны его позднейших читателей, а потому немудрено, что как раз отсюда и приходится объяснить введение этой романтической черты в биографию Лукреция. Такое объяснение тем более вероятно, что в античной литературной историографии вообще наблюдается тенденция извлекать биографические данные о том или другом авторе из его собственных произведений, причем нередко этот по существу правильный метод применялся в древности довольно наивно и влек за собой осложнение литературных биографий совершенно анекдотическим материалом; такова у греков, например, биография Сапфо, а у римлян — биографии Плавта и Теренция. С другой стороны, нет ничего удивительного в том, что сумасшествие было поставлено в связь именно с любовным напитком: приворотные зелья, которые должны были вселять или поддерживать любовь, были в большом ходу в древности. Кстати, и сумасшествие императора Калигулы, жалевшего, что у римского народа не одна голова, чтобы ее можно было сразу отрубить, объяснялось действием любовного напитка, данного ему его последней женой Цезонией (см. Светоний, «Калигула», 30 и 50); об этом говорит, между прочим, и Ювенал в своей знаменитой шестой сатире (ст. 616 сл.).

Но отвергая любовный напиток как нелепое объяснение причины безумия Лукреция, мы этим еще не опровергаем гипотезы о безумии. Впрочем, в настоящее время многие ученые скептически относятся к этой подробности, считая ее позднейшим домыслом, попавшим в заметку Иеронима. Они подозревают здесь участие христиан, которым было на руку выставить поэму Лукреция, отрицавшего вслед за Эпикуром всякий божественный промысел, как плод поврежденного ума. На первый взгляд это предположение, так сказать, христианской клеветы очень соблазнительно и даже могло бы быть подтверждено кое-какими поучительными аналогиями, вроде, например, рассказа Свиды о том, что Лукиан был растерзан собаками, или, что еще ближе, что болезнь Эпикура была результатом его печали. Однако

³ Ср. например, I, 410, сл.; IV, 44 и др.

эта гипотеза в действительности довольно сомнительна, потому что есть полное основание предполагать, что заметка Иеронима о Лукреции, подобно многим другим, заимствована из сочинения римского писателя-язычника Светония, отрывки из которого, посвященные биографиям римских писателей, до нас дошли. А для язычника неверие Лукреция не могло казаться черезчур предосудительным, так как римская литература, начиная с Энния, давала очень много примеров религиозного свободо-мыслия.

С другой стороны, однако, представляется мало вероятным, что такая грандиозная поэма, какова поэма Лукреция, обнаруживающая притом вполне ясный и определенный план, заключающая в себе множество строгих логических рассуждений, написана умственно-ненормальным человеком, хотя бы и в периоды умственного просветления.

Рассказ об умопомешательстве Лукреция, возможно, извлечен опять-таки из его произведения. Следует обратить внимание на то, что поэма «О природе вещей» может быть использована в качестве косвенной улики в пользу этого рассказа, так как хотя эта поэма и заключает в себе много строго проведенных логических доказательств, тем не менее наряду с этим в ней обнаруживается такая страстная напряженность тона, такая болезненно-тонкая наблюдательность и восприимчивость, которая, во всяком случае, прекрасно ладит с предположением о склонности Лукреция к душевной болезни. Весьма характерен в этом отношении обширный эпизод в книге IV, где Лукреций с поразительно яркостью изображает сновидения. Это делает возможным предположение, что он страдал галлюцинациями.

Добавочным поводом к предположению об умопомешательстве Лукреция мог в древности послужить один стих у поэта I в. н. э. Стация («Сильвы», II, 7, 76), где упоминается *furor* Лукреция. Но хотя Иероним обозначает помешательство Лукреция тем же словом, Стаций, скорее всего, разумел под ним не сумасшествие, а *поэтическое вдохновение*, в каком смысле это слово нередко употреблялось в латинском языке и сам Лукреций неоднократно подчеркивает его как основу своей литературной деятельности (см., например, I, 921 сл.).

Что касается вопроса о самоубийстве, о котором говорит тот же Иероним, то это известие уже совершенно сомнительно. Во всяком случае, характерно полное молчание других наших источников об этом факте. Например, один из христианских авторов — Лактанций («Божественные установления», III, 18, 5), упоминая о самоубийстве Демокрита, цитирует соответствующий стих из поэмы Лукреция (III, 1041) и тем не менее ни слова не говорит об аналогичной смерти Лукреция, что было бы чрезвычайно выгодно сделать для христианского писателя! Другой христианский автор — Арнобий, прекрасно знавший творение Лукреция, также ни слова не говорит об этом. Весьма возможно, таким образом, что сообщение Иеронима о самоубийстве Лукреция — тоже плод этиологического творчества.

Вот и все, что мы знаем о жизни Лукреция. Как видно, это *всё* представляет собою в сущности очень немногое, и, находясь лицом к лицу перед таким скудным биографическим материалом, невольно припоминаешь характерный афоризм Лукрециева учителя Эпикура — *λάτρε βιώτας*, т. е. «прячь свою жизнь», или «живи незаметно».

Жизнь Лукреция оказывается скрытой от взоров потомков, да, по-видимому, мало знали и современники, так как единственное свидетельство о нем мы имеем в виде нескольких слов у Цицерона, и то эти слова относятся не столько к самому Лукрецию, сколько к его произведению. К тому же

по какой-то странной иронии судьбы даже это единственное свидетельство современника сформулировано им так, что до сих пор многие филологи становятся втупик перед этой формулой и отказываются понять ее. Это свидетельство Цицерона о Лукреции находится в одном из писем к его брату Квинту, написанном в феврале 54 г., т. е., по всей вероятности, вскоре после смерти Лукреция, быть может в то самое время, когда Цицерон занимался редактированием поэмы Лукреция и ее опубликованием. Хотя об этих последних обстоятельствах нельзя заключить из письма Цицерона, однако, по свидетельству Иеронима (всё в той же его заметке), те «несколько книг», которые Лукреций написал «в промежутках между припадками безумия», «впоследствии отредактировал Цицерон». Мы не будем входить в детальное рассмотрение вопроса, неоднократно поднимавшегося в научной литературе, какого именно Цицерона имел в виду Иероним — Марка или же его брата Квинта. Никаких сколько-нибудь серьезных данных в пользу последнего нет. К тому же, если бы Иероним указывал на него, он, несомненно, сказал бы не просто «Цицерон», а «Квинт Цицерон».

Что касается того, что Цицерон вряд ли бы стал заниматься изданием и редактированием поэмы Лукреция потому, что не питал склонности к философии Эпикура и даже относился к ней враждебно, надо иметь в виду, что эта вражда, по всей вероятности, оформилась лишь позднее, когда Цицерон приступил к популяризации тех частей греческой философии, которые так или иначе соприкасались с учением Эпикура. Первой работой этого рода является трактат «О пределах добра и зла», относящийся к 45 г., т. е. на десять лет позже смерти Лукреция и издания его сочинения. Кроме того, если Цицерон и не сочувствовал учению Эпикура и был его философским противником, то это не помешало ему дружить с эпикурейцем Аттиком и защищать интересы главы современной ему эпикурейской школы — Патрона — перед Меммием. Помимо этого, Цицерон, будучи ярким противником поэтов новейшей школы, к которой принадлежал Катулл, стоял на стороне последователей поэта Энния и старался подражать ему сам; но продолжателем традиций Энния был как раз Лукреций. Сам не одаренный поэтическим талантом, Цицерон преклонялся перед поэтами и вполне мог содействовать изданию поэмы Лукреция, которого он, хотя и несколько сухо, но сочувственно охарактеризовал в упомянутом нами письме к брату Квинту. Цицерон был большим поклонником современных ему талантливых поэтов, о чем сам свидетельствует как и в речи в защиту поэта Архия, так и в речи в защиту Сестия (58, 123); а Плиний-младший (III, 15) приводит слова одного из своих друзей, Юлия Прокула, о том, что «Марк Тулий с удивительной добротой пестовал поэтические дарования».

Обращаясь теперь непосредственно к самому отзыву Цицерона о Лукреции в его письме к брату Квинту (II, 9, 3 - № 131 по изд. АН СССР), приведем его полностью:

«Поэма Лукреция такова, какой ты ее характеризуюешь в своем письме: в ней много блеска природного дарования, но вместе с тем и искусства».

Формулировка Цицерона с ее противопоставлением *природного дарования*, или *таланта*, *искусству*, или *мастерству*, смущала многих новых филологов и приводила их к разным (обычно нелепым) конъектурам. Но дело в том, что противопоставление дарования и мастерства — одна из излюбленных формул античной поэтики, которую и применяет Цицерон, чтобы показать высшее мастерство автора поэмы «О природе вещей». Лукреций, как следует из этого отзыва Цицерона, достиг высшего совершенства: он соединил в себе и талант и мастерство истинного художника.

2. УЧЕНИЕ ЭПИКУРА И ПРИВЕРЖЕНЦЫ ЕГО В РИМЕ

Вдохновителем Лукреция, как он сам неоднократно заявляет, был знаменитый греческий философ-материалист Эпикур, философ, живший на рубеже IV и III вв. до н. э. и создавший учение, на котором ярко отразились характерные черты тогдашней эпохи. Это учение сложилось в начале эллинистического периода, когда греческие государства потеряли свою политическую независимость и когда наряду с ними образовались абсолютные монархии. В культурном отношении эта эпоха характеризуется проникновением греческого искусства, литературы и науки в окружающие Грецию страны, открывшиеся для греческого влияния благодаря завоеваниям Александра Македонского. Философская мысль в эту эпоху отходит от попыток творческого решения теоретических вопросов. Философия становится главным образом житейскою мудростью, и основное значение в философских учениях приобретает практическая часть — этика.

Основными школами первой половины эллинистической эпохи были академическая школа, основанная Платоном; аристотелевская школа перипатетиков; школа Эпикура; школа стоиков, основанная Зеноном; скептические школы Пиррона и Тимона.

Самыми влиятельными из перечисленных философских школ оказались школа стоиков и школа Эпикура. Несмотря на некоторые общие черты обеих этих школ — практический дух их философских учений, космополитизм и индивидуалистический характер их этики, — близость, определявшуюся общей социально-культурной почвой и общими философскими запросами, эти две школы возникли и развились как противоположные и враждебные одно другому направления. Исходными пунктами стоиков были теологическое истолкованное учение Гераклита о живом огне как сущности и божественном начале мира и мораль киников с идеалом человека, не зависящего от внешних условий жизни и видящего блаженство в добродетели. Основами философии Эпикура были материалистический атомизм Демокрита и учение школы киренаиков, видевших благо человека в разумном удовольствии.

Однако Эпикур и в области физики существенно отошел от Демокрита и в области этики от киренаиков.

Эпикур учил, что атомы падают прямолинейно с одинаковой скоростью, но вместе с тем совершенно спонтанно слегка отклоняются в этом падении от прямой линии, благодаря чему оказывается возможным столкновение атомов и дальнейшее образование из них вещей. Это учение о спонтанном отклонении атомов служило в области практической философии обоснованием учения о свободе воли, а в области физики было развитием понятия атома как первопричины, не нуждающейся в качестве таковой в каком-нибудь другом начале: «...атом, — говорит Маркс, — отнюдь еще не завершен, пока в него не вложено определение отклонения. Спрашивать о причине этого определения всё равно, что спрашивать о причине, превращающей атом в принцип, — вопрос, очевидно, лишенный смысла для того, для кого атом есть причина всего и, следовательно, сам не имеет причины»⁴.

Применяя принципы своей атомистической теории и исходя из сенсуалистической теории познания, Эпикур строит картину мира, в которой всему дается материалистическое объяснение и устраняется участие каких-либо сверхчувственных идеальных начал.

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. I, стр. 45.

Хотя основным положением этики Эпикура было утверждение, что первое прирожденное благо есть удовольствие, однако, в отличие от Аристиппа, считавшего удовольствие положительным состоянием наслаждения, Эпикур признавал удовольствием отсутствие страданий. Целью счастливой жизни, по Эпикуру, является здоровье тела и безмятежность души (*ἀταραξία τῆς ψυχῆς*), а это достигается устранением телесных страданий и душевных тревог. Никакого грубого гедонизма в учении Эпикура нет: «Так как удовольствие есть первое и прирожденное нам благо, — пишет Эпикур Менекею (§ 129), — то поэтому мы выбираем не всякое удовольствие, но иногда мы обходим многие удовольствия, когда за ними следует для нас большая неприятность; также мы считаем многие страдания лучше удовольствия, когда приходит для нас большее удовольствие, после того как мы вытерпим страдания в течение долгого времени. Таким образом, всякое удовольствие, по естественному родству с нами, есть благо, но не всякое удовольствие следует выбирать, равно как и страдание всякое есть зло, но не всякого страдания следует избегать».

Эпикур отличался большой писательской продуктивностью: им написано более трехсот отдельных работ. К сожалению, однако, из всего этого богатого наследия до нас дошли лишь одни крохи, и это, конечно, в значительной мере затрудняет отчетливое восстановление Эпикуровой системы. Этими сведениями мы обязаны главным образом преческому писателю Диогену Лаэртскому, жившему во II или в первой половине III столетия н. э., который написал нечто вроде истории греческой философии или, точнее, биографии греческих философов в 10 книгах, причем книга X как раз и была посвящена Эпикуру и его последователям. И вот, наряду с биографией Эпикура и некоторыми данными по его философии, Диоген сохранил нам несколько его произведений, а именно: три письма к ученикам — Геродоту, Пифоклу и Менекею, а также ряд основных тезисов Эпикура, так называемых «Главных мыслей» (*Κύρια δόξα*), которые, может быть, были извлечены ближайшими учениками Эпикура из его сочинений и составляли для них, так сказать, квинтэссенцию его философии. Письма Эпикура также служили как бы сокращенным руководством по различным отделам его философского учения. Так, первое письмо — к Геродоту — касалось вопроса о строении мира и человека; второе — к Пифоклу — посвящено было атмосферным явлениям; наконец, третье письмо — к Менекею — заключало в себе учение о нравственности (этика). Кроме того, мы располагаем фрагментами из свитков, найденных при раскопках в Геркулануме, так называемым Ватиканским собранием изречений, и некоторыми другими фрагментами. Наконец, о многих подробностях учения Эпикура мы узнаем из сочинений его философских врагов; так, чрезвычайно интересны трактаты Цицерона «О природе богов» и «О пределах добра и зла», в которых автор горячо полемизирует с Эпикуром и попутно довольно добросовестно передает (впрочем, из вторых рук) многие положения доктрины Эпикура. Немало сведений об учении Эпикура дает также Плутарх, полемизировавший с Эпикуром в трех философских диалогах: 1) «К Колоту» (одному из учеников Эпикура), 2) «Невозможно приятно жить, следуя за Эпикуром», 3) «Правилен ли совет: живи незаметно». Эти диалоги интересны, между прочим, и тем, что тут Плутарх приводит некоторые подлинные цитаты из Эпикура. Наконец, для выяснения специально этики и нравственной физиологии Эпикура представляют интерес «Нравственные письма» Сенеки, а также его философский трактат «О счастливой жизни».

Таковы главнейшие источники, откуда, наряду с Лукрецием, мы можем извлечь данные об учении Эпикура.

Самое учение Эпикура делится на три главные части: 1) канонику, или учение о критериях, где рассматривается вопрос о гносеологии и языке; 2) физику, или учение о происхождении мира, человека и всего того, что относится к человеку; вместе с тем сюда же входило и учение об атмосферных явлениях; 3) этику, включавшую в себя учение о жизни, учение о том, чего надо достигать, чего надо избегать, о высшем благе.

Таковы внешние рамки, в которые Эпикур вложил свое учение.

Учение Эпикура, создавшего необыкновенно живучую школу в Греции, и на римской почве завоевало себе усердных поклонников, которые, по словам Цицерона, «множеством своих писаний заполнили всю Италию»; причем эпикурейство имело особенный успех, так сказать, в большой публике — «толпа с наибольшей охотой набросилась на это учение» (Цицерон, «Тускуланские беседы», IV, 3, 7). Справедливость этих свидетельств Цицерона подтверждается большим числом античных папирусных свитков, найденных в середине XVIII столетия при раскопках в Геркулануме и заключающих в себе фрагменты творений не только Эпикуровых учеников, но и самого Эпикура. Благодаря Цицерону мы знаем и некоторые имена тех римлян, которые были видными последователями Эпикурова учения. Но Цицерон не ограничивается этим общим указанием, он сообщает об эпикуреизме в Риме и детальные сведения. Из римских эпикурейцев надо в первую очередь назвать друга Цицерона Тита Помпония Атика, о принадлежности которого к числу последователей Эпикура Цицерон говорит не без некоторого юмора («О пределах добра и зла», V, 1, 3; «О законах», I, 7, 21). Другие упоминаемые Цицероном последователи Эпикура — это Тит Албуций, которого Цицерон в трактате «Брут» (34, 131) называет «совершенным эпикурейцем» (*perfectus epicureus*), далее — сенатор Гай Веллей, которого, по словам Цицерона, «римские последователи Эпикура выдвигали на первое место» («О природе богов», I, 6, 15). Эти слова Цицерона указывают уже на целую философскую группу, выдвинувшую корифея, который и выведен Цицероном как истолкователь эпикуровского взгляда на богов в книге I трактата «О природе богов». В соответствии с ним может быть поставлен другой политический единомышленник Цицерона — Луций Манлий Торкват, играющий видную роль в Цицероновом трактате «О пределах добра и зла» (книги I и II) в качестве истолкователя Эпикуровой доктрины вообще и этики в частности. О некоторых римских эпикурейцах мы узнаем из переписки Цицерона. Так, одно из писем Цицерона к Гаю Кассию (Письма к друзьям, XV, 16 - № 536 по изд. АН СССР) заключает в себе осторожные насмешки над учением Эпикура о восприятиях при помощи так называемых *образов* (*εἰδωλα*), причем Цицерон затрагивает и римского истолкователя этого учения Гая Катия. Наряду с этим письмом очень любопытно гораздо более раннее письмо Цицерона к его близкому приятелю и усердному корреспонденту Требатию («К близким», VII, 12 - № 162 по изд. АН СССР). Оно настолько характерно, что стоит привести его в переводе, причем, чтобы понять соль этого письма, надо иметь в виду, что Требатий был известным юристом: «Я был в удивлении, — пишет Цицерон, — что ты перестал писать мне письма. Но Панса объяснил мне, в чем дело, сказав, что ты превратился в Эпикурова ученика... Но каким образом ты будешь теперь вести гражданские дела, когда ты теперь преследуешь только свои личные интересы, а не интересы сограждан? Куда денется теперь формула, устанавливающая отношения доверия, гласящая, что «с добропорядочными людьми следует вести себя добропорядочно»? В самом деле, что это за человек, который делает только то, что в его интересах? Каким образом будешь вести судебные дела «о распределении общих имуществ», когда

у тех людей, которые всё измеряют с точки зрения личного наслаждения, не может быть никакого представления об общности интересов? Каким образом будешь ты приводить к присяге «камнем-Юпитером», когда ты убежден в том, что Юпитер не может ни на кого сердиться? Далее, что будет с твоими клиентами из Улубр⁵, раз ты решил не вмешиваться в политические дела (*si tu statueris πολιτεύεσθαι: non oportere*)?⁶ В самом деле, если ты серьезно расходишься со мной во взглядах, это очень горько для меня; если же ты только считаешь для себя полезным угодить Пансе, то я готов извинить тебя...».

Но римские эпикурейцы не ограничивались только пассивным восприятием Эпикуровой доктрины; некоторые из них выступали в качестве писателей, излагавших на латинском языке те или другие части учения Эпикура. Так, например, по свидетельству Цицерона («Учение академиков», I, 2, 5—6), некий Амафиний изложил физическую доктрину Эпикура. Какова была эта работа в литературном отношении, сказать трудно, так как критика Цицерона, высказанная им по поводу этого автора, касается собственно не его, а его греческого прообраза. Далее, мы знаем от комментатора Горация — Порфириона, что современник Цицерона Гай Катий, о котором упоминалось выше, написал «четыре книги о природе вещей и о высшем благе» (т. е. по физике и этике), причем Квинтилиан (X, 1, 124) называет его «писателем легковесным, но не лишенным приятности», что дает повод предполагать у него известные литературные достоинства; что касается приписываемой ему легковесности, то ее, по всей вероятности, надо объяснить тем, что Квинтилиан не сочувствовал учению Эпикура.

Как бы то ни было, уже приведенных фактов и свидетельств достаточно, чтобы показать несомненный успех, которым пользовалась в Риме доктрина Эпикура, по крайней мере во времена Цицерона. Знаменитый оратор попытался и объяснить причины этого успеха. Так, в 7-й главе книги I трактата «О пределах добра и зла» Цицерон, между прочим, говорит: «Что касается вопроса, который часто задается, отчего так много последователей Эпикурова учения, то, помимо некоторых других причин, особенно привлекает толпу то обстоятельство, что, по их мнению, Эпикур утверждает, что справедливое и честное вместе с тем само по себе дает радость, т. е. наслаждение». В «Тускуланских беседах» (IV, 3, 7) Цицерон, отмечая успехи философии Эпикура, объясняет их «или тем, что оно [учение Эпикура] было очень легко для усвоения, или тем, что очень привлекало толпу обаятельной приманкой наслаждения». Но совершенно ясно, что широкая публика, а вслед за нею и Цицерон несколько опошляли учение Эпикура, в чем отчасти виноваты были и стоики, жестоко полемизировавшие с эпикурейцами и в пылу этой полемики смешивавшие, отчасти сознательно, отчасти бессознательно, доктрину Эпикура с более грубой доктриной Киренской школы.

Таким образом, увлечение Лукреция Эпикуром и его учением не было чем-то необычным: он имел в данном случае много единомышленников в римском обществе; удивительно только то, что никем из современников Лукреций не упоминается как видный эпикуреец, а Цицерон (в упомянутом письме к брату Квинту) говорит о нем только как о поэте. Мы не знаем ни друзей, ни близких Лукреция, за исключением одного только Меммия, к которому он обращается в своей поэме.

⁵ Улубры — небольшой городок в Лации.

⁶ Намек на совет Эпикура — μή πολιτεύεσθαι.

3. ФИЛОСОФСКОЕ И ПОЭТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛУКРЕЦИЯ

Поэма «О природе вещей» — единственное, полностью дошедшее до нас поэтическое произведение, в котором учение Эпикура проповедуется убежденным и страстным его последователем.

Однако Лукреций не воспроизвел в своей поэме всего учения Эпикура, а тем менее придерживался он того порядка, в каком развивалось это учение у его учителя. Подобно первому римскому писателю-эпикурейцу Амафинию (см. § 2), Лукреций изложил главным образом Эпикурову физику; что же касается каноники и этики, то он затрагивает их лишь мимоходом, попутно. В подробном изложении физики Эпикура заключается огромная заслуга Лукреция, потому что именно эта сторона Эпикурова учения представляет совершенно исключительный интерес для истории развития материалистического учения.

Наряду с Эпикуром Лукреций упоминает в своей поэме и других греческих философов: Эмпедокла, Анаксагора, Гераклита, а также намекает на учения других философов, не называя их, однако, поименно. Так, например, в начале книги III (ст. 43 сл.) можно видеть намек на ученика Сократа — Крития, Анаксимена и Диогена Аполлонийского; опровергая разные космогонические системы в книге первой (ст. 705—829), Лукреций имеет в виду учения греческих философов VI в. до н. э. — Фалеса, Анаксимена, а также, очень возможно, Ферекида, Ксенофана и, может быть, младшего современника Анаксагора — Энопида Хиосского. Следует особенно отметить, что, постоянно полемизируя со стойками, Лукреций никогда не упоминает никого из них по имени и даже не называет их школы.

Из трех упоминаемых Лукрецием философов — Эмпедокла, Анаксагора и Гераклита — он с особенной симпатией относится к Эмпедоклу, философу-поэту V в. до н. э., автору знаменитой поэмы «О природе», о которой Лукреций отзывается с большой и даже восторженной похвалой. От этой поэмы до нас дошло довольно много фрагментов, сличение которых с поэмой Лукреция показывает, что римский поэт, несомненно, знал эту поэму Эмпедокла и в некоторых местах своего произведения подражал ей⁷. Можно даже думать, что поэма Эмпедокла в известном смысле служила для Лукреция литературным образцом. Далее, он упоминает знаменитого Анаксагора (I, 830 сл.), но еще вопрос, изучал ли его Лукреций непосредственно. Еще менее можно предполагать ближайшее знакомство Лукреция с Гераклитом, с которым он резко полемизирует в той же I книге; но, по всей вероятности, вся эта полемика заимствована Лукрецием у Эпикура, хотя в отношении не только формы этой полемики, но и ее страстного тона, Лукреций был совершенно самостоятелен.

Восторженный отзыв Лукреция об Эмпедокле и резкая характеристика Гераклита дают настолько яркое представление о стиле Лукреция, что мы их здесь приводим:

Вследствие этого те, кто считал, что все вещи возникли
Лишь из огня, и огонь полагали основой мира,
Кажется мне, далеко уклонились от здравого смысла.
Их предводителем был Гераклит, завязавший сраженья,
По темноте языка знаменитый у греков, но больше
Слава его у пустых, чем у строгих искателей правды.

⁷ Фрагменты Эмпедокла в стихотворном переводе помещены во II томе академического издания Лукреция, а в примечаниях указаны параллельные тексты Лукреция.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА РЕСПУБЛИКИ

Ибо дивятся глупцы и встречают с любовным почтеньем
Все, что находят они в изречениях запутанных скрытым;
Истинным то признают, что приятно ласкает им ухо,
То, что красивых речей и созвучий прикрашено блеском.

(I, 635—644)

Отзыв об Эмпедокле начинается с указания несостоятельности учения тех, которые «за основу всего принимают четыре стихии», но тем не менее дальше следует такой отзыв о главе этих философов:

Первым из первых среди них стоит Эмпедокл Акрагантский,
Коего на берегах треугольных вырастил остров,
Что омывают кругом Ионийские волны и горькой
Солью зеленых валов орошают его побережье,
Узким проливом стремясь, и проносятся вдоль побережья,
От Итальянской земли границы его отделяя.
Дикая здесь и Харибда, и здесь же глухие раскаты
Огненной Этны грозят разразиться накопленным гневом,
Чтоб, изрыгая опять из жерла могучее пламя,
Снова она к небесам внесла огненосные молнии.
Но, хоть и много чудес представляется взору людскому
В этой стране, и слывет она посещения достойной,
Полная всяких богатств, укрепленная силой народа,
Не было в ней ничего, что достойнее этого мужа
И драгоценней, святей и славней бы его оказалось.
И песнопенья его из глубин вдохновенного сердца
Так промолгласно звучат, излагают такие открытья,
Что и подумать нельзя, что рожден он от смертного корня.

(I, 714—733)

Этот отзыв Лукреция об Эмпедокле показывает, как умел автор поэмы «О природе вещей» разбираться в творчестве и восторгаться его поэтической сущностью даже у тех авторов, с мировоззрением которых он не был согласен. Это видно и из отзыва об Энии, писавшем о совершенно неприемлемой для Лукреция метемпсихозе и говорившем, что в него воплотилось существо Гомера (см. I, 117 сл.).

Вот вкратце изложение содержания поэмы Лукреция. Вся она состоит из шести книг. Из них в первых двух дается атомистическая теория мироздания, устраняющая вмешательство богов в мирские дела. В книге III излагается Эпикурово учение о душе, причем приводятся доказательства, что душа материальна, смертна и что страх перед смертью нелеп. Книга IV посвящена учению о человеке, о чувственных восприятиях, причем Лукреций видит в чувственных восприятиях основу наших знаний. В книге V Лукреций занимается вопросами космогоническими, объясняя происхождение земли, неба, моря, небесных тел и живых существ. В конце этой книги предлагается блестящий очерк постепенного развития человечества и человеческой культуры и разбирается вопрос о происхождении языка. Основное содержание книги VI — уничтожение суеверных страхов путем естественного объяснения явлений природы, поражающих человека. Здесь говорится о громе, молнии, облаках, дожде, землетрясениях, извержении Этны, разливах Нила, о разных необыкновенных свойствах источников и о других явлениях природы (между прочим, о магните). Кончается книга рассуждением о болезнях и заключается описанием повального мора в Афинах в 430 г. до н. э. Этот финал поэмы образует эффектный контраст

ЛУКРЕЦИЙ

со вступлением к поэме, представляющим собою патетическое прославление Венеры как творческой и животворной силы.

В своей поэме Лукреций дает объяснение всего сущего, стараясь прежде всего освободить человеческую мысль от гнета религии, от всяких суеверных и лживых представлений о чем бы то ни было сверхчувственном, мистическом, таинственном, ибо

...Род человеческий часто
Вовсе напрасно в душе волнуется скорбной тревогой.
Ибо как в мрачных потемках дрожат и пугаются дети,
Так же и мы среди белого дня опасаемся часто
Тех предметов, каких бояться не более надо,
Чем того, чего ждут и пугаются дети в потемках.
Значит, изгнать этот страх из души и потемки рассеять
Должны не солнца лучи и не света сиянье дневного,
Но природа сама своим видом и внутренним строем⁸,

(VI, 33—41)

Этот несколько раз повторяющийся Лукрецием рефрен (ср. также I, 146—148; II, 59—61; III, 91—93) указывает на основную философскую цель Лукреция — дать рациональное и материалистическое истолкование мира; и в его произведении мы находим как бы смутные предвидения многих современных научных открытий и проблем, которые волнуют и занимают наши умы.

Прежде всего следует остановиться на научной стороне дела. Тут сразу нас поражает своеобразный прием: приводить два или три друг друга исключаящих объяснения для одного и того же феномена. Это характерное равнодушное к точному ответу на конкретные научные вопросы, лишь бы только избежать признания чего-нибудь нематериалистического, сказывается во многих местах поэмы. Это — так сказать, злоупотребление рабочей гипотезой. Ср., например, такое любопытное заявление в книге VI:

Вещи есть также еще, для каких не одну нам, а много
Можно причин привести, но одна лишь является верной.
Так, если ты, например, вдалеке бездыханный увидишь
Труп человека, то ты всевозможные смерти причины
Высказать должен тогда, но одна только истинной будет.
Ибо нельзя доказать, от меча ли он умер, от стужи,
Иль от болезни какой, или, может быть также, от яда,
Но, тем не менее, нам известно, что с ним приключилось
Что-то подобное. Так говорить нам о многом придется.

(ст. 703—711)

Уж если перед лежащим поодаль трупом Лукреций становится втупик, то тем более — перед явлениями космологическими. Например, говорит он,

Может Луна блеснуть, ударяема Солнца лучами,
.
Но допустимо и то, что, собственный свет излучая,
Катится в небе Луна и дает изменения блеска....

(V, 705 и 715 сл.)

⁸ Или, по другому толкованию последнего стиха:

Но наблюденье и с ним толкованье явлений природы.

Точно так же, говоря о затмениях, Лукреций заявляет, что

И омраченья Луны и Солнца затмения также
 Могут, как надо считать, совершаться по многим причинам.
 Ибо коль может Луна от земли загораживать Солнцу
 Свет и на небе главу возвышать между ним и землею,
 Темный свой выставив диск навстречу лучам его жарким,
 Разве нельзя допустить, что на то же способно иное
 Тело, что может скользить, навеки лишённое света?
 Иль почему же нельзя, чтоб теряло огни, угасая,
 Солнце в положенный срок и сызнова свет возрождало...

(V, 751—759)

Для физики Лукреция безразлично, имеет ли Луна собственный свет или светит светом, отраженным от Солнца; происходят ли затмения от взаимодействия небесных тел или от потухания светил и т. п.—

Будто нельзя допустить, что возможно и то и другое,—

(V, 729)

лишь бы эти изменения согласовались с мировой закономерностью. Вот последнее, т. е. чтобы явления происходили «в положенный срок», как он неоднократно повторяет и в тексте книги V и в других частях своей поэмы,— это важно и необходимо!

Такой несколько наивный эклектизм Лукреция часто возбуждал критику, но в данном случае он шел по стопам своего учителя Эпикура. Не надо забывать заявления Лукреция, что

Трудно наверно решить, какая же действует в этом
 Мире причина; но то, что возможно и что происходит
 В разных вселенной мирах, сотворенных на разных началах,
 И объясняю и ряд излагаю причин, по которым
 Может движенье светил совершаться в пространстве вселенной.
 Все же из этих причин непременно одна побуждает
 Звезды к движенью, и здесь; но какая — предписывать это
 Никто не должен тот, кто ощушью путь пролагает.

(V, 526—533)

Это рассуждение Лукреция вполне совпадает с точкой зрения Эпикура, высказанной в письме к Пифоклу (§ 87): «...исследовать природу не должно на основании пустых предположений и произвольных законоположений, но должно исследовать ее так, как вызывают к тому видимые явления... всё происходит без потрясений по отношению ко всему, что может быть объяснено различным образом в согласии с видимыми явлениями, когда допускают, как и должно, правдоподобные высказывания об этом. Но если кто одно оставляет, а другое, в такой же степени согласное с видимыми явлениями, отбрасывает, тот, очевидно, оставляет область всякого научного исследования природы и спускается в область мифов» и т. д.

И такая беспомощность по отношению к космогоническим вопросам — совершенно естественное следствие, с одной стороны, характерного для Эпикура индифферентизма к таким научным вопросам, которые не имеют непосредственного утилитарного значения для человека и его счастья, а с другой — основного гносеологического принципа Эпикура, согласно ко-



Богиня воздуха

тому источником истинного знания является непосредственное ощущение, чувственное восприятие.

В тех случаях, однако, где, в соответствии с основной задачей Лукреция — освобождением человечества от гнета всяких суеверных представлений, — возможна и необходима только одна теория, одно «истинное учение» (*vera ratio*), он решительно отвергает всякие иные гипотезы, несмотря на их материалистичность. Так, он восстает против Демокрита, доказывая «отклонение» (*clinamen*) атомов во второй книге; так, он протестует против учения, что «душа состоит... из крови или из ветра» (III, 43—46), доказывая, что спокойствия духа можно достичь лишь при убеждении в правильности Эпикурова учения о душе.

Гносеологический принцип эпикурейской философии относительно чувственного восприятия как источника истинного знания воспроизводится Лукрецием в книге IV его поэмы (ст. 478 сл.):

Ты убедишься сейчас, что понятие истины чувства
В нас порождают; и чувств опровергнуть ничем невозможно.

Чувства это — основные критерии знания и основа жизни, —

То, на чем зиждется вся наша жизнь и ее безмятежность.

(IV, 506)

Мыслительный процесс, т. е. рассуждение, основывается на чувствах. Приписываемые чувствам ошибки проистекают не от них, а от разума, который плохо истолковывает показания чувств. И тем не менее есть вещи, которые ускользают от чувств, которых нельзя подвергнуть зрительному наблюдению и нельзя тронуть рукой, что

...Нельзя ни глазу сделать доступным,
Ни осязанию рук; а ведь это ближайший и торный
Путь убеждения, в сердце ведущий и в область сознания.

(V, 101 сл.)

Но тут на помощь является рассуждение, основанное на *аналогии*. То, что можно видеть глазами, помогает понимать то, чего глазами не видно. Так, например, движение пылинок, видимое в луче солнца, позволяет нам представить себе движение атомов в пустом пространстве; опустошения, производимые ветром, доказывают, что в природе могут быть невидимые факторы, испарение росы дает нам возможность угадать, каков был процесс отделения земли в первые дни мира (см. II, 114—141; I, 269—297; V, 457—466). Рассуждение всегда представляет собой не что иное, как преобразованное или переставленное ощущение; все, таким образом, сводится к наблюдению действительности.

С этим методом Лукреций доходит до великих принципов современной науки. Так, в книге I он устанавливает закон, научно сформулированный Ломоносовым, о неразрушимости, вечности материи: ничто не возникает из ничего и ничто не возвращается в ничто. Капли дождевой воды преобразуются в листья деревьев, в хлебные зерна, в траву, которые, в свою очередь, питают различные породы животных и самого человека, так что посредством непрерывного круговорота поддерживается и возобновляется мировая жизнь.

«Нет никакого сомнения, — пишет академик С. И. Вавилов, — что великая идея атомизма проникала до Галилея, Ньютона и Ломоносова не по-

средством разбросанных фрагментов Демокрита и Эпикура, а через гекзамеры поэмы Лукреция... В строках Лукреция вечная материалистическая доктрина — правда, еще в ее начальной форме — высказана с невиданной убедительностью и поэтическим пафосом. Культурный человек нашего времени, потомок предков, создавших великое естествознание, имеющий возможность видеть атомы воочию, считать их, разрушать, создавать и освобождать скрытую в них энергию, — этот человек, читая Лукреция, находит нередко не архаический примитив, а то, что он и до сих пор считает или до недавнего прошлого считал основой своего мировоззрения»⁹.

Вся II книга поэмы «О природе вещей» в очень тонких рассуждениях развивает учение о мировом механизме.

Этот механизм не представляет случайности. Лукреций очень энергично выставляет принцип неизменности законов природы. То, что родилось, должно произрастать и развиваться согласно законам природы, и никакая сила не может нарушить мировой порядок:

Силе нельзя никакой нарушить вещей совокупность,
Ибо и нет ничего, куда из вселенной могла бы
Скрыться материи часть, и откуда внезапно вломиться
Новая сила могла б во вселенную, сделать иную
Всю природу вещей и расстроить порядок движений.

(II, 303—307)

Уже самое словоупотребление Лукреция в данном случае весьма характерно; мы встречаем постоянное употребление двух терминов: 1) слово *certum* и его синонимы: *dispositum*, *redditum*, *finitum*, *foedus* и т. п., причем все эти слова предполагают наличие твердых неизменных правил или законов, определяющих собою все явления мира; 2) слово *periquam*, которое означает тщетность сопротивления законам природы. Лукреций восхваляет Эпикура за то, что он выяснил эти законы, определив,

...Что может
Происходить, что не может, какая конечная сила
Каждой вещи дана и какой ей предел установлен.

(I, 75—77)

Наконец, в поэме Лукреция «О природе вещей» мы находим ясно выраженное грандиозное ощущение бесконечности мироздания. Земной мир, который кажется нам таким огромным и который древние представляли себе как нечто самодовлеющее, вечное и божественное, был низведен Лукрецием до очень скромных размеров «окрута вселенной». Он предсказывает его будущее разрушение, которое произойдет или от воды, или от огня, но которое во всяком случае неизбежно (см. V, 343, сл.; V, 373 сл. и др.). Впрочем, из развалин земли родятся другие миры, которые будут ни выше, ни ниже ее. Наконец, земной мир есть не более как ничтожный уголок «всего». По словам ученика Эпикура, Метродора, предположение, что существует один только мир, было бы так же нелепо, как предположение, что на целом пшеничном поле возвышается только один колос (Аэтий, I, 5,4 — Diels, *Doxographi*, стр. 292). Хотя и может показаться, что мы достигли конца вселенной, а между тем, в действительности, сделано лишь несколько шагов. Картина бесконечности вселенной, или мироздания,

⁹ С. И. Вавилов. Физика Лукреция (см. в книге: Лукреций. О природе вещей, т. II, стр. 10). См. там же статью С. Л. Соболя. «Проблемы общей биологии в поэме Лукреция» (стр. 39 сл.).

ЛУКРЕЦИИ

полнее всего дана Лукрецием в книге первой (ст. 958—1051)¹⁰. В другом месте, в безграничном пространстве, другие атомы мечутся от века до века, другие существа живут и мыслят, чтобы потом умереть. Эта идея заимствована Лукрецием у Эпикура, а Эпикуром у Демокрита и представляет собой крупный шаг вперед сравнительно со взглядами Пифагора, Платона и Аристотеля, которые допускали только нашу космическую систему: Землю, Солнце, планеты, неподвижные звезды.

В связи с этой идеей бесконечной громадности вселенной у Лукреция говорится о ничтожной величине человека:

Должен ты помнить всегда, что вселенная неизмерима.
Видеть, что небо одно в отношении целой вселенной,
Есть лишь ничтожная часть у нее и малейшая доля,
Меньше еще, чем один человек по сравнению с землею.

(VI. 649—652)

Следует отметить также, что Лукреций совершенно определенно говорит, что в пустом пространстве все тела, независимо от их тяжести, падают с одинаковой быстротой:

Если же думает кто, что тела тяжелее способны
В силу того, что быстрее в пустоте они мчатся отвесно,
Сверху на легкие пав, вызывать и толчки и удары,
Что порождают собой движения жизни, то, право,
Бродит от истины он далеко в заблужденье глубоком.
Ибо всё то, что в воде или в воздухе падает редком,
Падать быстрее должно в соответствии с собственным весом
Лишь потому, что вода или воздуха тонкая сущность
Не в состоянье вещам одинаковых ставить препятствий,
Но уступают скорей имеющим большую тяжесть.
Наоборот, никогда никакую нигде не способна
Вещь задержать пустота и явиться какой-то опорой,
В силу природы своей постоянно всему уступая.
Должно поэтому всё, проносясь в пустоте без препятствий,
Равную скорость иметь, несмотря на различие в весе.

(II. 226—239)

В книге III Лукреций устанавливает тезис о теснейшей связи между душой и телом. Он утверждает, что душа растет и затем вместе с телом участвует во всех недугах тела, в опьянении и т. п. При этом все отражения физической стороны нашего естества на стороне духовной описаны с большой подробностью и точностью. К этой теории, между прочим, примыкает и взгляд Лукреция на характер людей (ср. III, 294—322).

В книге IV Лукреций касается вопроса о наследственности, указывая, что дети могут рождаться похожими на своих отдаленных предков:

Может случаться и так, что дети порою бывают
С дедами схожи лицом и на прадедов часто походят.
Ибо нередко отцы в своем собственном тел скрывают
Множество первоначал в смешении многообразном,
Из роду в род от отцов к отцам по наследству идущих.

(см. 1218—1222)

¹⁰ Сюда входит замечательный эпизод о летящем кошке (ст. 968—983).

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА РЕСПУБЛИКИ

В книге V Лукреций вступает в область антропологии и дает чрезвычайно интересный очерк доисторических эпох, который для истории науки очень важен тем, что в нем совершенно порывается связь с мифическими рассказами, грубо нарушающими естественную последовательность развития культурных фактов. Эта картина смены «четырех (или пяти) веков», начиная от «золотого» и кончая «железным», хорошо всем знакомая по «Метаморфозам» Овидия, совершенно отвергается Лукрецием, который вместо этого выдвигает гипотезу, гораздо более близкую к истине, причем живописует картину развития жизни на земле яркими и блестящими поэтическими красками.

Вначале на поверхности земли существовали представители растительного царства, говорит Лукреций, сперва более простые, затем более сложные. Потом земля производит множество живых существ, причем эта творческая деятельность совершается без определенного плана, щедрою рукой. Вскоре затем сам собою совершается отбор; многие существа, плохо организованные, вымирают, а выживают только те, которые приспособлены для борьбы и обладают более сильным телом или более верным инстинктом.

Те же, которых совсем этих качеств лишила природа,
Так что они не могли ни сами прожить, ни полезны
Быть нам хоть сколько-нибудь, чтобы мы допускали кормиться
Их под охраной своей, блюдя в безопасности род их,—
Эти породы другим доставались в добычу и в жертву,
В узы цепей роковых закованы крепко, доколе
Не призвала, наконец, их природа к гибели полной.

(V, 871—877)

Рисую картину развития жизни на земле, Лукреций пользуется случаем, чтобы обрушиться на всякие вздорные мифические вымыслы, которые смущают сознание людей. Он настаивает на том, что

...Никогда никаких не бывало кентавров, и тварей
Быть не могло бы с двойным естеством или с телом двойным,
Сплоченных из разнородных частей и которых бы свойства
Были различны на той и другой половине их тела.
Даже тупому уму понять это будет нетрудно!

(V, 878—882)

Человек, из всех животных лучше всего одаренный, не сразу стал тем развитым и совершенным существом, каким мы его видим теперь. Первобытные люди жили, «как дикие звери» (V, 932),— без законов, без искусств, без семьи, беззащитные против стихийных бедствий и свирепости диких зверей. Это было царство произвола и эгоизма, всякий жил, «о себе лишь одним постоянно заботясь» (V, 961).

Два первых шага человеческого рода по пути прогресса — это применение огня и образование семьи. Применение огня, на которое натолкнули людей пожары, возникшие естественным образом в лесах, приучило их к более культурной жизни. Семья выработала представление об обществе; люди почувствовали, что необходимо соединиться в общество, чтобы достояние и дети каждого отдельного человека защищались всеми (см. V, 1011—1027). Это объединение людей было облегчено возникновением языка. Лукреций совершенно отвергает пифагорейско-платоновскую гипотезу, согласно которой язык есть изобретение гениального человека, и счи-

ЛУКРЕЦИЙ

тает, что звуки, «какие язык производит», вызвала природа, «а нужда под-
сказала названья предметов» (V, 1028 сл.),

А потому полагать, что кто-то снабдил именами
Вещи, а люди словам от него научились впервые,—
Это безумие, ибо, раз мог он словами означить
Всё и различные звуки издать языком, то зачем же
Думать, что этого всем в то же время нельзя было сделать?

(V, 1041—1046)

Весь этот отдел о языке в книге V — один из самых значительных в
Лукрециевой истории человечества (ст. 1027—1090).

Язык утверждает общество; вначале оно подчинено власти более силь-
ных, затем революция низвергает древних царей и на их место ставит
магистратов, подчиненных законам.

Остаются еще два крупных культурных факта: появление религии и
изобретение искусства. Лукреций объясняет и тот и другой факт есте-
ственными причинами. В истории происхождения религии он усматривает
три момента: 1) вначале люди, видя во сне образы более прекрасных и
сильных существ, чем реальные существа, были наведены на мысль по-
клонения им; 2) с другой стороны, созерцая явления природы и чувствуя,
что борьба с ними превосходит их силы, люди приписывали их сверхъес-
тественным существам; 3) наконец, люди подвержены чувству страха, и
это чувство завершило основание религии, как и теперь религия поддер-
живается им (V, 1161—1240).

После этого рассуждения о религии идет очень интересный отдел об
открытии металлов. Стихи 1241—1257, в которых описывается это откры-
тие, были включены Ломоносовым в его «Первые основания металлургии,
или рудных дел». Вот перевод Ломоносова:

Железо, злато, медь, свинцова крепка сила,
И тягость серебра тогда себя открыла:
Как сильный огонь в горах сжигал великий лес;
Или на те места ударил гром с небес;
Или против врагов народ, готовясь к бою,
Чтоб их огнем прогнать, в лесах дал волю зною;
Или чтоб тучность дать чрез пепел древ полям,
И чистой луг открыть для пажиги скотам;
Или причина в том была еще иная,
Владела лесом там пожара власть, пылая.
С великим шумом огонь коренья древ палил;
Тогда в глубокой дол лились ручьи из жил,
Железо, и свинец, и серебро топились,
И с медью золото в пристойны рвы катилось.

Искусствам научила людей природа: видя, как упавший плод вновь
вырастает, люди научились сеянию; слушая щебетание птиц, они научи-
лись пению. А затем один шаг вперед влек за собою другой, и таким обра-
зом развилась человеческая культура (V, 1361—1457).

Произведение Лукреция отнюдь не представляет собой лишь спокой-
ного и холодного изложения научных теорий, только иллюстрированных
поэтическими картинками; оно насыщено самой ожесточенной и страстной
полемикой против сверхъестественного, против религии.

Некоторые критики старого времени, принимая всевозможные меры к
тому, чтобы, по возможности, примирить Лукреция с христианством,

утверждали, что Лукреций имел в виду лишь античные, языческие религии, указывали на высоту его нравственных размышлений, сравнивали их с идеями Паскаля и даже Боссюэ и таким образом стремились обезвредить Лукреция. Но все эти старания идут вразрез с действительностью и с несомненными намерениями Лукреция. Дело совершенно ясно: Лукреций восставал против религии вообще, против самого религиозного чувства. Впрочем, антирелигиозность Лукреция никогда не могла быть вполне затуманена и вызвала пресловутую поэму французского кардинала Полиньяка (на рубеже XVII и XVIII вв.) — *Anti-Lucretius, sive de Deo et natura*; и старинные издатели, вроде Ламбина (1563 г.), издавая Лукреция, старались во введениях к своим изданиям указать на ошибочность его религиозных представлений и на свою несолидарность с ними. Характерно также, что, например, гораздо позднее, при Людовике XVIII, известному французскому издателю «Классической латинской библиотеки» Лемеру было воспрещено ввести в состав этого издания поэму Лукреция. Можно вспомнить и то, что Байрон в своем «Дон-Жуане», иронически говоря о безнравственности античной поэзии, между прочим, относительно Лукреция замечает (в начале строфы 43 песни I): «Безверие Лукреция слишком сильно, чтобы дать здоровую пиццу для молодых желудков».

Возвращаясь к теории мироздания, предлагаемой Лукрецием, следует обратить внимание на то, какие выводы извлекает он из этой теории. На первой стадии развития человеку свойственно приписывать каждое отдельное явление божеству, говорить: «Зевс послал дождь», — видеть во всем чудо. Но каким образом чудо может найти себе место в мире, подчиненном определенным законам природы? Во все не божество мечет молнии, приводящие в страх людей и к тому же поражающие без разбора как дурных, так и хороших людей: физика показывает, что гром происходит от столкновения туч. Природа предоставлена самой себе:

Ибо, коль даже совсем оставались бы мне неизвестны
Жизнью бессмертной всегда наслаждаться в полнейшем покое,
Чуждые наших забот и от них далеко отстранившись,
Ведь безо всяких скорбей, далеки от опасностей всяких,
Всем обладают они и ни в чем не нуждаются нашим;
Благодеяния им ни к чему, да и гнев неизвестен.

(II, 646—651)

На это деятели часто возражают, что если промысл божий и не сказывается в частных проявлениях, то, во всяком случае, он чувствуется при созерцании всего мироздания в целом. И вот Лукреций, как бы отвечая на эти возражения, указывает на то, что мир до того далек от совершенства, что трудно предположить какое-нибудь участие всезнающего и всеблагого провидения:

Ибо, коль даже совсем оставались бы мне неизвестны
Первоначала вещей, и тогда по небесным явлениям,
Как и по многим другим, я дерзнул бы считать достоверным,
Что не для нас и отнюдь не божественной волею создан
Весь существующий мир: столь много в нем всяких пороков.

(II, 177—181)

В книге V Лукреций, так сказать, развивает некоторые детали обвинительного акта против природы. В самом деле, спрашивает Лукреций, к чему существует необходимость труда? Отчего столько вредных в клима-

тическом отношении местностей? К чему эпидемии, дикие звери, плач детей, крики людей? Отчего существуют смерть, которая бродит среди нас и уносит безвременные жертвы? (V, 195—227). В книге IV Лукреций обрушивается на телеологию (IV, 822 сл.). Ничто не создано для нас, в наших интересах: ни глаз не создан для того, чтобы видеть, ни ухо — для того, чтобы слышать. У природы нет цели: это — машина, которая выполняет свою задачу, не заботясь о тех, кого она стирает с лица земли. По справедливости: откуда она получает толчок, эта машина? Кто же был первым, пустившим ее в ход? Никто. Искони атомы неслись по бесконечному пустому пространству, сталкиваясь между собою, и вступали во всевозможные комбинации. Одна из таких комбинаций дала существование тому миру, который мы видим, который не лучше и не хуже других миров и который не просуществует ни больше, ни меньше их. Лукреций отрицает чудо во имя законов природы, провидение — во имя несовместимости блаженства богов с заботами о человечестве, акт творения мира — во имя атомистической теории. Что касается верующих или действо, вообще всех тех, кто во вселенной видит частицу божества, то, по мнению Лукреция, они мечтатели или сумасшедшие. Но Лукреций вступает и в более активную полемику с религией. По его мнению, религия, рожденная от невежества и страха и тщательно поддерживаемая недобросовестностью жрецов, сама по себе есть такой же человеческий продукт, как и все остальное, что сделано или придумано людьми. Она не дала человеку ни законов, ни искусств, ничего, что смягчило и облегчило бы жизнь. Наоборот, она держала людей в темноте и несчастье, пугая их фантастическими сказками о загробном мире, делая преступление из самых законных наслаждений жизнью и навязывая людям такие противоестественные преступления, как жертвоприношение Ифигении. По счастью, религия должна скоро разрушиться, поскольку Эпикур уже разоблачил ложь жрецов. Таким образом, сверхъестественное изгонилось Лукрецием из человеческой истории, так же как и из мироздания.

Но тут возникает вопрос: во что же должна превратиться мораль при такой точке зрения? Этот вопрос и возражение возникали, по-видимому, уже во времена Лукреция, так как древние не понимали морали без богов и думали, что раз устранена идея их вмешательства и бессмертия души, то тем самым открыт путь ко всяким порокам. Такого мнения держались не только жрецы, но даже Платон и Цицерон не представляли себе морали вне идеи религии. Между тем, Лукреций без колебания провозгласил разрыв между моралью и религией. По мнению Лукреция, душа умирает вместе с телом, и атомы, которые образовали человеческий организм, вступают в другие комбинации; в этом только и выражается продолжение жизни, и в этом, как и в самой природе, нет ничего ни хорошего, ни дурного. Что касается боязни загробной жизни, то, не будучи отнюдь узкою против дурных наклонностей человека, это чувство является скорее причиной несчастий, потому что тень смерти омрачает все удовольствия, ибо страх перед подземною рекою Ахеронтом

...Угнетает людей и глубоко их жизнь возмущает.
Тьмою крошечною всё омрачая и смертною мглою,
И не дает наслаждаться нам радостью светлой и чистой.

(III, 38—40)

Но эта же боязнь загробной жизни является и причиной человеческих пороков, так как, чтобы избавиться от этой боязни, чтобы бежать от самого себя, человек бросается в омут губительных страстей; как бы защищаясь

от смерти, люди стараются приобрести побольше богатств и почестей. Посредством тонких и несколько парадоксальных рассуждений Лукреций выводит из страха перед загробной жизнью, т. е. из религиозного чувства, и честолюбие, и скупость, и все преступления, которые терзают человечество. Вывод отсюда простой: нужно вернуть человека к его свободе и основать другую мораль — позитивную и независимую.

Но если мораль возможна без религии, то она невозможна без признания *свободы воли*. На первый взгляд атомистическая теория, на которой была построена Лукрецием не только идея мироздания, но и представление о человеке вообще и его душе в частности, должна была бы исключать возможность признания свободы воли. Однако Лукреций категорически высказывается во II книге (ст. 251 сл.) в пользу необходимости допустить в человеке свободную волю, которую он, между прочим, очень поэтично характеризует как «волю, вырванную из власти рока» (II, 256). Дело в том, что Лукреций, вслед за самим Эпикуром¹¹, связывал это явление свободной воли с тем отклонением атомов от прямой вертикальной линии, которому дал глубокую оценку Карл Маркс, но которое было недоступно пониманию Цицерона, да и многих новейших ученых и философов.

Хотя эту свободную волю человека Лукреций и ставит в известные границы и в зависимость от определенного характера человека (ср. III, 307 сл.), однако признание свободы воли дает ему возможность выступить с проповедью морального характера, что было бы совершенно бессмысленно при признании безусловного детерминизма.

Освободив человека от страха перед богами и перед смертью, Лукреций проповедует спокойствие духа и ясность ума, и в этом, по его мнению, заключается главным образом истинное удовольствие. И вот, вслед за борьбой против богов и смерти, у Лукреция второе место занимает борьба против всяких страстей, которые пожирают людей, как лихорадка, и вплоть до самой смерти терзают их различными ненасытными желаниями.

Особенным препятствием к достижению счастья для человека является, по мнению Лукреция, честолюбие, против которого он неоднократно восстает. Так, например, он заявляет:

Лучше поэтому жить, повинясь, в спокойствии полном,
Нежели власти желать верховной и царского сана.
Пусть же напрасно они обливаются потом кровавым,
Изнемая в борьбе на пути честолюбия узком:
Всё разуменье свое из чужих они уст почерпают,
Слушают мнения других, а собственным чувствам не внимлют.

(V, 1127—1132)

Другая страсть, против которой восстает Лукреций, это — жажда наживы, стремление к богатству — страсть, которая наряду с честолюбием чаще всего наталкивает людей на беззакония и прямые преступления:

Денег алчба, наконец, и почестей жажда слепая
Нудят несчастных людей выходить за пределы закона
И в соучастников их обращают и в слуг преступлений,
Ночи и дни напролет заставляя трудом неустанным
Мощи великой искать¹².

(III, 59—63)

¹¹ См. комментарии к II книге: Лукреций. О природе вещей, стр. 369—371 (примечание к ст. 216—293).

¹² См. Н. А. Машкин. Указ. соч., стр. 242.

Есть еще одна страсть, борьбе с которой Лукреций посвящает немало усилий. Это — любовь. Тема борьбы с этой страстью не разбросана им по отдельным местам поэмы, а сконцентрирована в конце книги IV. В этой части своего произведения Лукреций с такою живостью и искренним чувством рассуждает о любви, что весь большой эпизод, посвященный ей, заставляет предполагать в основе рассуждений и картина Лукреция не только мысли философа, но и личные переживания. Лукреций достигает здесь вершин своего пафоса, а вместе с тем и глубокой, горькой иронии.

Один поэт эпохи Августа — Манилий, автор астрономической поэмы, несомненный поклонник и подражатель Лукреция, между прочим, в начале своей поэмы (I, 21 сл.) заявляет: «Я молюсь двум святыням и охвачен двойным страстным стремлением: к поэзии и к предмету своего изложения»¹³. Совершенно то же мог бы сказать и Лукреций. Поэтическая форма его произведения настолько тесно связана с содержанием поэмы «О природе вещей», что отделить одну от другого невозможно: они составляют органическое целое.

Хотя греческая философская литература и знает много поэм философского содержания, из которых особенно выделялись произведения Ксенофана, Парменида и Эмпедокла, хотя, с другой стороны, и у римлян были попытки приспособить к философской материи стихотворную форму (ср., например, «Эпихарма» Энния), тем не менее поэма Лукреция представляет собою известного рода литературный архаизм, так как и у самих греков, а за ними и у римлян, в силу естественной литературной эволюции, стихотворная форма для выражения философских учений была оставлена, замененная сперва формой художественного диалога (как у Платона), а затем, начиная с Аристотеля, — сухой и деловой прозой. В прозаическую оболочку были облечены и произведения Эпикура и его последователей — как греческих, так и римских, и в этом отношении поэма Лукреция стоит совершенно особняком, что придает ей, разумеется, оригинальный характер. В настоящее время можно считать общим местом мнение, что сама тема поэмы Лукреция представляет нечто весьма неблагоприятное для поэтической обработки. Даже Плиний Старший в предисловии к своей «Естественной истории» (§ 10) говорит, что в его сочинении — *sterili materia rerum natura, hoc est vita narratur*, т. е. «излагается скучная тема [конечно, в литературном отношении] — о природе вещей, или иначе — о [реальной] жизни» (добавим: в противоположность яркому и красивому вымыслу).

И действительно, трудно, кажется, придумать более прозаическую тему, чем та атомистическая теория, которая лежит в основе Лукрециева понимания мироздания. Однако видеть вследствие этого в поэме Лукреция не более как версифицированную прозу, как это утверждает Лессинг, было бы так же несправедливо, как вслед за Аристотелем («Поэтика», гл. 1) считать Эмпедокла не поэтом, а лишь натуралистом, или, как выразился Аристотель, «физиологом». Несмотря на все препятствия, какие представляет избранная Лукрецием тема, он обнаружил бесспорно огромный поэтический талант, который ставит его на одно из первых мест среди всех римских поэтов. И это тем более замечательно, что Лукреций никогда не жертвовал дидактической стороной ради чисто поэтической. Напротив, он с полным бесстрашием пускается в самые специальные рассуждения, самым искренним образом отдаваясь чисто логическому процессу.

Лукреций считал необходимым точно передать каждую мысль; он никогда не останавливается перед нагромождением слов или перед повторе-

¹³ *Ad duo templa precor, duplici circumdatus aestu, Carminis et rerum...*

нием одних и тех же терминов. Для отчетливого развития мысли необходимо также точное расчленение отдельных предложений, указание на их взаимную логическую связь; и вот, подобно геометру, Лукреций несколько не смущается по нескольку раз повторять «так как» и «следовательно», употребляя на каждом шагу такие прозаические словечки, как *namque, igitur, porro, quae cum ita sint*.

Вот, например, образчик его изложения:

Если не будет, затем, ничего наименьшего, будет
Из бесконечных частей состоять и мельчайшее тело:
У половины всегда найдется ее половина,
И для деленья нигде не окажется вовсе предела.
Чем отличишь ты тогда наименьшую вещь от вселенной?¹⁴

(I, 615—619)

И можно сказать, что три четверти поэмы написаны таким «геометрическим» языком.

Но Лукреций к тому, что говорит, относится страстно. В его поэме речь идет не об отвлеченных истинах, а об учении, от которого зависит счастье человечества. И Лукреций не столько рассуждает, сколько проповедует, борется. Мы находим у него много такого, что напоминает формулу его знаменитого современника Катулл — «ненавижу и люблю» — *odi et amo*. Лукреций с энтузиазмом отстаивает свои тезисы, он выражает свою радость, свои надежды, свой пламенный восторг в самых страстных словах; он восхваляет Эмпедокла и Демокрита, он поет дифирамбы в честь Муз, Венеры, которая является для него воплощением природы — матери и кормилицы, источника счастья и мира. Но с особенным восторгом, доходящим до религиозного поклонения, говорит он об Эпикуре, которого называет отцом, учителем, освободителем, богом. «Богом он был, мой доблестный Мемний, поистине богом», — восклицает Лукреций во вступлении к V книге. Он раздражается негодованием в ответ на возражения или противоположные мнения: он остро ненавидит жрецов, деспотических богов, иногда его слова проникнуты горькой и презрительной насмешкой; Лукреций является, можно сказать, мастером иронии. Так, например, в книге I своей поэмы он с величайшим презрением насмехается над Гераклитом, над его темнотой и странностями, над суеверными поселянами, которые воображают, что их поля бесплодны из-за гнева богов (кн. II), над лжесвободомыслящими людьми, которые подымают голову, когда здоровы, а при малейшей болезни бегут в храмы молиться богам,

Жалкие! Черных овец закаляют и Манам подземным
Жертвы приносят...

(III, 52 сл.)

над дряхлыми стариками, которые стремятся протянуть подольше свою жизнь, несмотря на угасающие силы (кн. III), над распутниками, которые расточают свое состояние (IV, 1121 сл.). В книге IV, в эпизоде о любви, дана целая сатира.

Вопреки всем проповедям, какие произносит Лукреций о равнодушии, об Эпикуровой «атараксии», он был человеком эмоциональным и отзыв-

¹⁴ Praeterea nisi erit minimum, parvissima quaeque
Corpora constabant ex partibus infinitis,
Quippe ubi dimidiae partis pars semper habebit
Dimidiam partem, nec res praefiniet ulla.
Ergo inter rerum summam minimamque quid escit?

ЛУКРЕЦИИ

чивым ко всякого рода несчастьям. Так, во II книге (ст. 355 сл.) он с состраданием говорит о корове, тоскующей по своему закланном теленке. Эпизод начинается стихом 352, а перед этим утверждается, что атомы дают бесконечное разнообразие тела и в каждой породе отдельная особь имеет индивидуальные различия. Этим объясняется и то, что родственные друг другу живые существа узнают одно другое, так как у них тоже сказывается индивидуальное сходство. К этому и дается иллюстрация. Полны искреннего сострадания к человеку и описание жертвоприношения Ифигении (I, 84 сл.) и рассказ о чуме в Афинах (конец VI книги). Кроме эмоциональности, Лукреций обладает также и наблюдательностью. И если ум Лукреция путем анализа разлагал предметы на невидимые атомы, то воображение его умело схватывать внешний вид этих предметов со всеми подробностями их облика, цвета и т. д. Эта черта Лукреция поразила Гёте, который сам был философом-натуралистом. В одном из своих писем к Кнебелю (переводчику Лукреция) Гёте, характеризуя Лукреция, говорит, между прочим, следующее: «Вот что ставит Лукреция так высоко и обеспечивает ему на вечные времена выдающееся положение: это — в высокой степени ему свойственная способность к чувственным восприятиям, что снабдило его мощной изобразительной силой». Далее Гёте приписывает Лукрецию «способность от предметов, непосредственно воспринятых наблюдением, перейти к недоступным зрению глубинам природы». Отсюда у Лукреция огромное количество образов, сравнений: суеверие названо им «ночью или тенью разума»; искание истины сравнивается Лукрецием с охотой, когда собаки чутьем выслеживают зверя; атомы мечутся в бесконечном пространстве, как обломки на волнах; природа не говорит, а кричит — «лает»; Эпикур не только объяснил строение мира, но вышел

Он далеко за предел ограды огненной мира,
По безграничным пройди своей мыслью и духом пространствам.

(I, 73—74)

Очень часто тот или другой образ получает у Лукреция пространное развитие. Сюда относится, например, аллегория о Марсе и Венере, изображение Эпикура в борьбе с религией, которая гнетет людей, аллегорическое изображение процессии времен года, описание опустошений, произведенных разливом реки, — и все это поражает своей поэтической силой, меткостью, точностью. Вообще можно сказать, что воображение Лукреция имеет всюду не фантастический, а *реалистический* характер и в основе его лежит как раз тонкое наблюдение действительности. Кроме того, надо обратить внимание и на то, что ни одна из поэтических картин Лукреция, ни одно из его описаний не представляют собой сознательного отступления или привеска. Наоборот, Лукреций пускается в свои поэтические описания как бы случайно, без предвзятой мысли блеснуть живописными красками. Его сравнения вызваны или желанием более ясно выразить мысль или стремлением потрясти читателя, т. е. вызваны практической целью и, вместе с тем, поэтической необходимостью: когда Лукреций начинает излагать научно-философское положение, у него тут же, непосредственно возникает в воображении яркая и осязаемая картина, которую он сейчас же и воспроизводит с мастерством величайшего художника. Это — сильнейший способ убеждения читателя в истинности доказываемых Лукрецием положений. Сочетание высокого поэтического вдохновения с полным сознанием своей правоты как философа придает

еще бoльшую силу и красоту его поэме. Сам он так говорит о своем методе и характеризует свою роль поэта-проповедника:

По бездорожным полям Пиэрид я иду, по которым
 Раньше ничья не ступала нога. Мне отрадно устами
 К сложим припасть родникам и отрадно чело мне украсить
 Чудным венком из цветов, доселе неведомых, коим
 Прежде меня никому не венчали голову Музы.
 Ибо, во-первых, учу я великому знанью, стараясь
 Дух человека извлечь из тесных тенет суеверий,
 А во-вторых, излагаю туманный предмет совершенно
 Ясным стихом, усладив его Муз обаянием всюду.
 Это, как видишь ты, смысл, несомненно, имеет разумный:
 Ведь коль ребенку врачи противной вкусом полыни
 Выпить дают, то всегда предварительно сладкою влагой
 Желтого меда кругом они мажут края у сосуда;
 И, соблазненные губ ощущеньем, тогда легковерно
 Малые дети до дна выпивают полынную горечь.
 Но не становится жертвой обмана они, а, напротив,
 Способом этим опять обретают здоровье и силы.
 Так поступаю и я. А поскольку учение наше
 Непосвященным всегда представляется слишком суровым
 И ненавистно оно толпе, то хотел я представить
 Это ученье тебе в сладкозвучных стихах пиэриидских,
 Как бы приправив его поэзии сладостным медом.

(I, 926—947)

Таким образом, Лукреций стремится — применяя латинские термины, — скорее *docere* и *commovere*, т. е. «учить» и «побуждать», чем *delectare* — «услаждать». Но при той силе поэтического дарования и мастерства, какими обладал Лукреций, его поэзия оказывается совсем не только средством, но истинной сущностью поэмы «О природе вещей», сущностью, нисколько не уступающей философской стороне его произведения, а во многом и превосходящей ее.

Страстностью своей природы и искренностью своего тона Лукреций близок своему современнику поэту Катуллу, который также представлял собой чрезвычайно крупное явление в римской литературе, являясь, бесспорно, самым замечательным латинским лириком.

Однако Лукреций принадлежит к совсем другой литературной школе. Катулл увлекался утонченной александрийской поэзией с ее пристрастием к мифологической учености, легким эротическим темам и к изощренной и разнообразной версификации. Он принадлежал к блестящей плеяде молодых римских александрийцев, которые представляли собой, по-видимому, тесно сплоченный литературный кружок и отвечали модным в то время литературным вкусам. Лукреций, наоборот, был совершенно одинокой фигурой; в литературе он был таким же отшельником, как в обществе и политике. Очень возможно даже, что, пока он жил, никто и не знал о его литературных занятиях. Единственное свидетельство о нем его современника — это уже приводившийся отзыв Цицерона. Но, вероятнее всего, это отзыв посмертный.

В чисто литературном отношении вкусы Цицерона и Лукреция вполне сходились. Оба они были большими поклонниками представителя архаической римской поэзии — Энния. Преклонение Цицерона перед Эннием выразилось, во-первых, в том, что он неоднократно отзывался о нем как о

ЛУКРЕЦИИ

лучшем римском поэте; во-вторых, в том, что он, как можно судить по некоторым анекдотам, знал чуть ли не наизусть все «Аппалы» Энния; в-третьих, в том, что он очень любил цитировать его в своих философских и риторических трактатах. Лукреций восторженно говорит об Эннии в начале I книги своей поэмы, указывая, что это был

...С живописных высот Геликона
Первый принесший венок, силственный из зелени вечной,
Средь италийских племен стяжавший блестящую славу,

(см. 117 сл.)

и называя его стихи «бессмертными».

Но помимо этого свидетельства об Эннии и об отношении к нему Лукреция, вся поэма «О природе вещей» обнаруживает его симпатию к Эннию, стремление идти по его стопам в языке, метрике и т. д. Хотя произведения Энния известны нам в очень отрывочном виде, но и этих фрагментов достаточно, чтобы установить совершенно определенно факт подражания Лукреция своему предшественнику. Поэтому для поэмы Лукреция характерна некоторая архаичность. Впрочем, этот архаизирующий тон, надо думать, был у Лукреция таким же сознательным литературным приемом, как, например, у близкого к нему по времени писателя — Саллюстия.

Однако если Лукреций и был по основным своим литературным стремлениям консерватором, если он и был далек от мысли произвести революцию в литературных формах и приемах, все-таки самая новизна сюжета вынуждала его искать новых путей поэзии и выступать, по крайней мере отчасти, в качестве изобретателя новых образительных средств. Он сам неоднократно свидетельствует о том, какие затруднения приходится ему преодолевать при облечении греческого философского учения в латинскую оболочку. Так, например, он замечает:

Не сомневаюсь я в том, что учения темные греков
Ясно в латинских стихах изложить затруднительно будет:
Главное, к новым словам прибегать мне нередко придется
При нищете языка и наличии новых понятий.

(I, 136—139)

4. ЛУКРЕЦИЙ И РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Несмотря на всю замкнутость литературной деятельности Лукреция, его творение оставило глубокий след в римской литературе и нашло впоследствии много усердных поклонников и подражателей. Уже современник Лукреция, переживший его приблизительно лет на тридцать, Корнелий Непот в биографии Аттика (12, 4) сопоставляет Лукреция и Катутла и упоминает их в такой связи, что ясно, насколько высоко он их ценил, считая обоих поэтов самыми выдающимися представителями поэзии его времени.

Когда при Августе наступил так называемый «золотой век» римской поэзии, влияние Лукреция обнаружилось с полной несомненностью. Правда, далеко не все поэты той эпохи называют его по имени, но намеки на него мы находим чуть ли не у всех представителей тогдашней поэзии. Так, например, анонимный автор псевдотибулловского панегирика одному из видных покровителей литературы в эпоху Августа — Мессале заяв-

ляет, что он предоставляет другому поэту воспевать «удивительное делотворения мира» и повествовать о том, «каким образом земля осела среди беспредельного воздушного пространства, каким образом море сомкнуло кругом свои воды, каким образом блуждающий воздух в той полосе, где он стремится подняться от земли, охвачен повсюду разлитым огненным афиром и как всё замыкается висящим сверху небом»¹⁵.

Даже беглый очерк содержания поэмы Лукреция дает полную возможность заподозрить здесь намек на эту поэму и, в частности, на V книгу ее, где трактуются как раз космогонические вопросы.

Не менее ясный намек на творение Лукреция делает и другой видный представитель поэзии эпохи Августа — Проперций. А именно, в 5-й элегии книги III он высказывает надежду на то, что в старости, расставшись с юношескою любовью и эротическими темами, он возьмется за разрешение иных задач — за разрешение вопросов о мироздании, о предстоящей гибели мира и о посмертной судьбе человека:

Пусть возлюблю я тогда изучать устройство природы,
 Что за премудрый тут бог все мирозданье ведет:
 Солнце откуда встает и куда уходит; как каждый
 Месяц, сдвигая рога, к кругу приходит Луна.
 Ветры откуда в морях; чем полно дыхание Эвра
 И откуда вода вечно стоит в облаках;
 День придет ли такой, что обрушит все здание мира;
 Воду дождей почему пьет расписная дуга;
 Иль задрожала с чего вершина перребского Пинда,
 И на конях вороных солнечный круг првунул.
 Кружит так поздно зачем Боот и волов, и повозку,
 И в дождях почему вечно Плеяд хоровод.
 Море-то как никогда из своих границ не выходит,
 И на четыре равно части весь делится год.
 Есть ли божеский суд под землею и муки Гигантов,
 У Тисифоны чело точно ли в злобных змеях,
 Фурии ли у Алкмеона, точно ль Финей голодает;
 Есть ли скала, колесо есть ли и жажда среди вод.
 Точно ль трехглавый Цербер караульщик подземного входа,
 И девяти десятиг Титию мало в длину.
 Иль на несчастных людей все выдумки эти свалились,
 И за пределы костра страху нельзя перейти.

(ст. 25—46; перевод А. А. Фета)

Тут мы снова сталкиваемся с вопросами, выхваченными из программы поэмы Лукреция.

Гораций в 3-й сатире книги I дает такой краткий очерк первых шагов человеческой культуры:

Люди вначале, когда как стада бессловесных животных,
 Пресмыкались они по земле,— то за темные норы,
 То за горсть желудей кулаками, погтями дрались;

¹⁵ Qualis in immenso desederit aere tellus,
 Qualis et in curvum pontus confluerit orbem,
 Et vagus, e terris qua surgere nititur, aer,
 Huic et contextus passim fluat igneus aether,
 Pandentique super claudantur ut omnia caelo.

(1-е стихотворение книги IV Тибулловского сборника, 18 сл.).

ЛУКРЕЦИИ

Билися палками, после оружием; выдумав слово,
Стали они называть именами и вещи и чувства.
Тут уклонились они от войны; города укрепили;
Против воров, злободеев, разбойников дали законы:
Ибо и прежде Елены многие жены постыдной
Были причиной войны; но все эти, как дикие звери,
Жен похищавшие чуждых, от сильной руки погибали
Смертью безгласной,— как бык погибает, убитый сильнейшим.

(ст. 99—109; перевод М. Дмитриева)

Здесь снова дан мотив, настолько близкий к Лукрецию (встречаются даже отдельные подробности, общие с его поэмой), что едва ли можно сомневаться в том, что именно он был источником данного эпизода. А Вергилий в «Георгиках» говорит:

Счастливы тот, кто сумел вещей постигнуть причины,
Кто своею пятой погнал все страхи людские,
Неумолимый рок и жадного шум Ахеронта¹⁶.

(Перевод Ф. А. Петровского)

Не может быть ни малейшего сомнения в том, что этот *felix* был не кто иной, как все тот же Лукреций.

Что касается Овидия, то он со свойственной ему экспансивной откровенностью заявляет о своих восторгах и поклонении перед Лукрецием уже не в анонимной форме и не косвенным путем, а прямо и открыто. А именно, в одной из своих юношеских любовных элегий он говорит (I, 15, 23 сл.): «Стихи возвышенного Лукреция погибнут не раньше, как в тот день, когда будет конец мира»¹⁷.

Приведенных свидетельств вполне достаточно, чтобы показать, что поэма Лукреция отнюдь не была забыта в блестящий век Августа и что он, так же как и Катулл, пережил свою эпоху. Не подлежит также сомнению и то, что Лукреций оказал большое влияние на поэтов этого времени. Влияние поэта сказалось и на Горации, и на Овидии, и на Вергилии. Уже в древности было замечено, что Вергилий стилистически подражал Лукрецию. Авл Геллий (I, 21) приводит мнение своего ученого современника, грамматика Фаворина, по поводу одного места из «Георгики» Вергилия (II, 247), где одни читают амаго, а другие амагог (горечь). (Подобные разночтения часто возникали уже в древности, что совершенно естественно при тех условиях, при каких изготовлялись тогда рукописные издания). Фаворин высказался безусловно в пользу чтения амагог. Однако это слово не совсем обычное. И вот, Фаворин, по словам Геллия, указал на то, что слово это не есть изобретение Вергилия, а что он заимствовал его у Лукреция (IV, 224) и что Вергилий в данном случае «не погнушался последовать примеру поэта, выдающегося своим творческим талантом и красноречием», т. е. Лукреция. Наконец, сам Геллий всю эту заметку заключает такими словами: «Мы видим, что Вергилий подражал Лукрецию не

¹⁶ Felix qui potuit rerum cognoscere causas
Atque metus omnis et inexorabile fatum
Subiecit pedibus strepitumque Acherontis avari.

(II, 490—492)

¹⁷ Carmina sublimis tunc sunt peritura Lucreti,
Exitio terras cum dabit una dies.

(I, 15, 23 сл.)

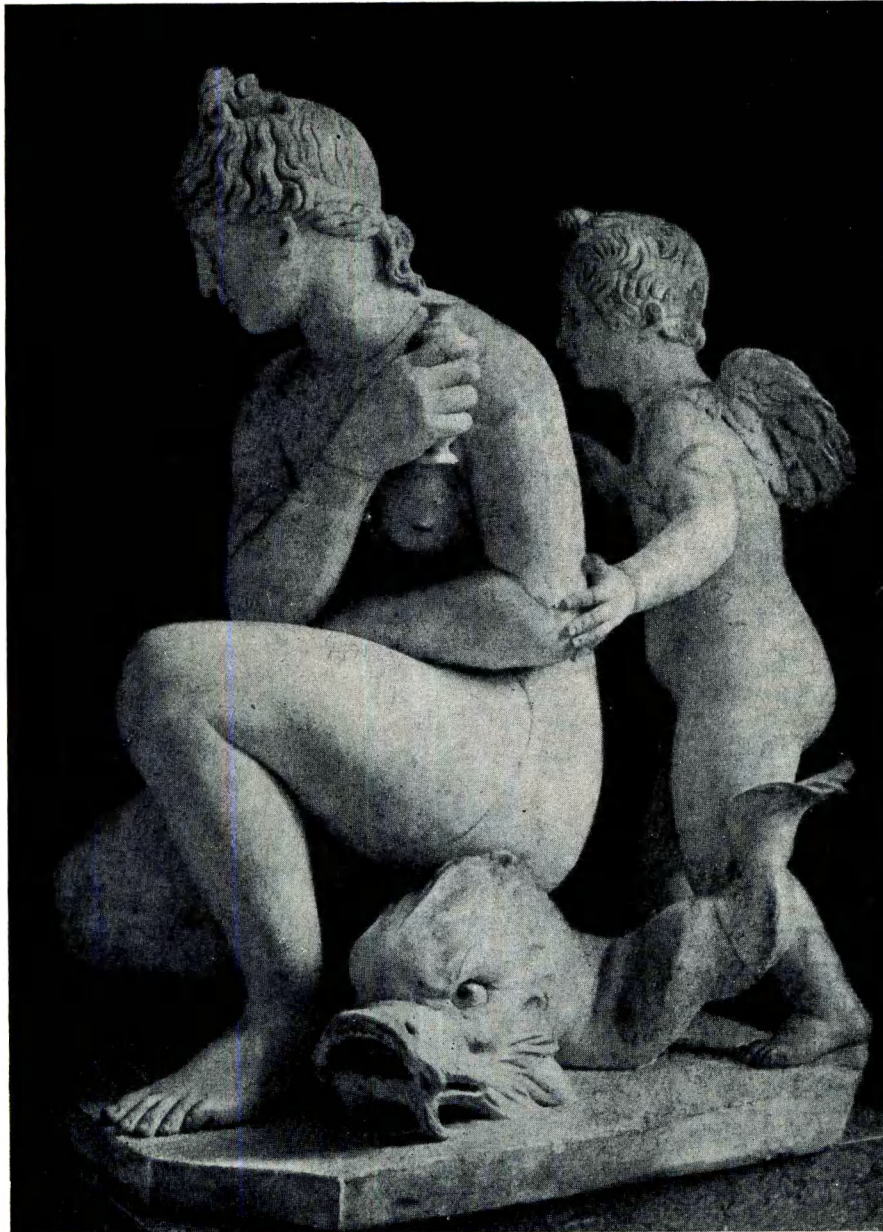
только в отдельных словах, но почти в целых стихах и во многих местах»¹⁸.

Разыскания современной филологии показали всю верность этого заключения Геллия. Таким образом, Лукреций в известной степени представлял собой как бы промежуточное звено между Эннием и Вергилием, будучи подражателем Энния и предметом подражания для Вергилия. Такое положение вещей, само по себе вполне естественное, вместе с тем чрезвычайно характерно для развития римской литературы вообще и поэзии в особенности. Именно в римской литературе сказывается довольно определенно известная консервативная тенденция, вырабатывающая в каждом литературном роде известный цикл форм и средств выражения, которые переходят от одного писателя к другому. Об эпической поэзии заметим, что Энний подражал своему предшественнику Невию, на что совершенно определенно указывает Цицерон в «Бруте» (18,71); Лукреций подражал Эннию, Вергилий — Лукрецию, Лукан — Вергилию, Стаций — Лукану, Клавдиан — Стацию и т. д. Что касается поэмы Лукреция, то она приобретает специальный интерес как первое по времени эпическое произведение римской литературы, дошедшее до нас целиком, так как эпос Энния, не говоря уже о его предшественниках, известен нам лишь в самой фрагментарной форме.

Воздействие Лукреция на позднейшую римскую литературу не ограничивалось, однако, отдельными мелкими повторениями, на которые указывает Геллий и какие можно заметить при чтении, скажем, «Георгик» и поэмы «О природе вещей». Лукреций оказал, несомненно, и более глубокое идейное влияние на последующие поколения римских поэтов. Так, например, Вергилий обязан ему философским пониманием природы; Гораций — более благородным и серьезным истолкованием эпикуровской доктрины, чем то, какое ему давали «свиньи Эпикурова стада», по выражению того же Горация; следы знакомства с Лукрецием есть в знаменитых «Метаморфозах» Овидия. Отголоски этой поэмы чувствуются на всем протяжении римской литературы вплоть до искусственной поэмы Клавдиана (IV—V вв. н. э.) «О похищении Прозерпины».

Лукреций своим могучим талантом создал известный противовес александрийскому направлению, которое, весьма возможно, без этого противовеса возобладало бы в римской литературе в гораздо большей степени.

¹⁸ Множество примеров этого есть в «Сатурналиях» Макробия, писателя IV—V вв. н. э. (VI, 1—2).



Венера с Амуром



Глава XXII

КАТУЛЛ

1. Катулл и его сборник стихов.— 2. Биографические сведения о Катулле.— 3. Круг друзей Катуллы в Риме. Поэты-неотерики.— 4. Стихи к Лесбии.— 5. Отзвуки политической борьбы в стихотворениях Катуллы.— 6. «Александризм» Катуллы.

1. КАТУЛЛ И ЕГО СБОРНИК СТИХОВ

В поэме Лукреция мы видим отражение римского общества последнего периода Римской республики главным образом в отвлеченной философской и психологической перспективе и лишь по некоторым отдельным намекам и эпизодам можем составить себе представление и о самом авторе поэмы «О природе вещей», и о современной ему жизни Рима. Многие стороны этой жизни хорошо известны по произведениям Цицерона, Саллюстия и Цезаря, но эти писатели касаются главным образом общественно-политических явлений и гораздо меньше уделяют внимания бытовой стороне жизни римлян, свидетелей или участников той внутренней борьбы в Римском государстве, которая в конце концов привела к диктатуре Цезаря и к окончательному падению Республики. И вот Катулл дает нам возможность, хотя бы отчасти, заполнить пробел, касающийся бытовой истории Рима этой эпохи. Если бы до нас дошли произведения авторов ателланы и мима, мы бы несомненно могли судить по литературным памятникам о жизни низших слоев римского общества гораздо лучше и полнее, чем мы это можем теперь; но о бытовой стороне жизни высших классов Рима, теснейшим образом связанной с общественно-политическим его развитием, нам позволяет судить сборник лирических стихотворений поэта, волею судеб перенесенного с севера Италии — из Транспаданской Галлии в самую гущу римской жизни I в. до н. э. Благодаря лирике Катуллы можно хорошо понять и оценить и такие произведения, как речь Цицерона в защиту Целия, и «Заговор Катилины» Саллюстия, и отдельные места из поэмы Лукреция, где тот говорит о быте и нравах той части римского общества, к которому принадлежал Катулл. Кроме того, произведения самого Катуллы дают чрезвычайно интересный и важный материал для суждения о творчестве поэтов, входивших в один с ним литературный кружок.

Катулл — первый латинский лирический поэт, которого мы знаем не по ничтожным и досадным своей скудостью фрагментам, а по целым и разнообразным произведениям. Дошедший до нас его сборник включает в себе, по обычной нумерации, 116 стихотворений. Он разделяется на три части: 1) небольшие стихотворения (1—60), написанные различными лирическими размерами; 2) более крупные стихотворения (61—68): две свадебных эпиталамы, поэма об Аттисе, поэма о свадьбе Пелея и Фетиды

(самое длинное стихотворение Катулла — в 408 строк), перевод поэмы Каллимаха о волосах Береники, которому предпослано послание к Горталу, диалог Катулла с дверью какого-то дома в Вероне и, наконец, автобиографическое послание, обычно разделяемое на два (а иногда и на три) отдельных стихотворения; 3) эпиграммы (69—116). Стихотворения второй части сборника написаны, так же как и стихотворения первой части, разными размерами, а стихотворения третьей части написаны элегическим дистихом.

Это распределение стихотворений Катулла, конечно, чисто формальное, так как в основу его положены не содержание или хронологический порядок, а величина отдельных пьес и стихотворный размер. Но это распределение не вполне выдержано. Только в конце сборника — в последнем отделе второй части и во всей третьей части — собраны пьесы, написанные элегическим дистихом (65—116).

Такое распределение, а равно и наличие в сборнике явно незаконченных стихотворений, из которых некоторые случайно присоединены к другим (например, конец стихотворений 2b, 14b, 68b, 78b) и ряд иных соображений заставляют предполагать, что весь сборник в том виде, в каком он дошел до нас, составлен не самим поэтом, а кем-нибудь после его смерти. Несомненно, однако, что и сам Катулл издал или готовил к изданию какой-то сборник стихов, что видно из первого, посвятельного, стихотворения, обращенного к историку Корнелию Непоту:

Эту новую маленькую книгу,
Жесткой пемзой вытертую гладко.
Подарю я кому? — Тебе, Корнелий!
Ты безделки мои считал за дело
В годы те, когда, первым среди римлян,
Судьбы мира всего вместить решился
В три объемистых и ученых тома.
Получай же на память эту книжку,
Хороша ли, худа ль. И пусть богиня
Пережить не одно ей даст столетье¹.

Но, очевидно, это был не тот сборник, какой имеется у нас, а значительно меньшая книжка, включавшая только «безделки» — *pugae*, или *inertiae*, как называет их Катулл в отрывке из обращения к читателям (14b). На собственную публикацию стихов, а именно «Поцелуев» (*Basia*), указывает и стихотворение 16. Кроме того, несомненно, что Катулл преподнес одному из своих друзей перевод «Волос Береники» Каллимаха (67), как это видно из сопроводительного послания к этому переводу (66), не говоря уже об отдельных пьесах, вроде послания к Лицинию (50) или стихов к Лесбии, которые, наверное, отсылались Катуллом их адресатам тотчас по написании.

Однако в нашем распоряжении есть только один сборник стихов Катулла, каким мы и должны пользоваться, оставив в стороне бесплодные гипотезы относительно тех стихов поэта, которые до нас не дошли. Несмотря на беспорядок размещения стихотворений в этом сборнике, составленном, как уже говорилось, по формальным признакам, в нем достаточно легко распределить значительное большинство пьес по их содержанию и даже по небольшим циклам, а также извлечь из этих стихотворений

¹ Цитаты из Катулла даются в переводе А. Пиотровского (см. К а т у л л. Книга лирики. М.—Л., 1928). Исключения оговорены в тексте.

ряд биографических данных. Автобиографичность большинства стихотворений Катулла не вызывает сомнений, но последовательность событий его жизни в ряде случаев остается спорной.

2. БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О КАТУЛЛЕ

По свидетельству хроники Иеронима, Катулл родился в 87 г. до н. э. в Вероне, а умер в Риме в 57 г. до н. э. «тридцати лет от роду», как уточняет дату Иероним. Он же дает полное имя поэта Gaius Valerius Catullus. Но если против указываемой хроникой Иеронима даты рождения поэта нельзя найти прямых возражений, то дата его смерти, приводимая Иеронимом, более чем сомнительна, потому что все стихотворения Катулла, которые можно датировать (именно 4, 10, 11, 28, 29, 35, 45, 46, 54, 55), относятся к периоду от 56 до 54 г. до н. э.² Поэтому можно с уверенностью считать, что, по крайней мере, дата смерти поэта указана Иеронимом ошибочно, и отодвинуть ее на несколько лет позже³.

Сведения о жизни Катулла, которые можно обосновать на надежном материале, очень скудны. Мы знаем, что он переехал из Вероны в Рим (в какое время, неизвестно); что в 57 г. он отправился в Вифинию в свите претора Меммия; что он вернулся в следующем году в Италию (46) и поселился затем в Риме, о котором он говорит в 68-м стихотворении (ст. 34) как о своем основном месте жительства (Romae vivimus: illa domus, illa mihi sedes, illic mea carpitur aetas). В Риме Катулл, как видно из стихов, относящихся к 56—55 гг., вел довольно рассеянную жизнь (см., например, 10 и 55) и влюбился в одну римскую красавицу, которую навеки прославил в своих стихах под вымышленным именем Лесбия. Настоящее имя этой красавицы, по свидетельству Апулея («Апология», 10), было Клодия⁴. Эту Клодию отождествляют с одной из сестер известного Публия Клодия Пульхра (т. е. «красавца»), сначала друга, а потом врага Цицерона. К этому роману Катулла относится цикл наиболее прославленных стихотворений поэта (5, 7, 43, 51, 58, 86 и др.). О семье Катулла нам ничего не известно, кроме того, что у него был брат, о смерти которого в Троеде говорит сам поэт (65, 68 и 101), и что отец поэта, как указывает Светоний, был в дружеских отношениях с Юлием Цезарем. «Валерия Катулла, который, по собственному признанию Цезаря, навеки запятнал его имя стишками на Мамурру, он, после извинений поэта, в тот же день пригласил его к обеду, а с отцом его непрерывно продолжал поддерживать дружеские отношения» (Светоний, «Божественный Юлий», 73).

Это свидетельство Светония — самое подробное из свидетельств римских писателей о Катулле, так как все другие касаются почти исключительно его стихов и их характеристики, да и то, в большинстве случаев, очень поверхностной. Но все же эти данные в соединении с тем, что мы узнаем из стихов самого Катулла, дают возможность составить себе картину жизни поэта, хотя и без точной хронологической канвы.

Гай Валерий Катулл (C. Valerius Cattulus) не был уроженцем Рима. Он родился в Северной Италии (так называемой Цисальпийской Галлии) в городе Вероне или неподалеку от нее. Эта страна, покоренная Римом

² Стихотворение 52 может относиться даже к 47 г., хотя эта дата и вызывает возражения.

³ Теперь обычно считают, что и годом рождения Катулла был не 87-й, а 84 год.

⁴ «Римские поэты выбирали для своих возлюбленных псевдонимы во столько же слогов и с таким же распределением долгот, как и подлинное имя, и начинающиеся гласной или согласной в зависимости от него же» (Ф. Е. Корш. Римская элегия и романтизм. М., 1899, стр. 39, прим. 33).

в начале III в. до н. э., быстро романизовалась и, по-видимому, очень рано приобщилась к римской литературной культуре. Светоний упоминает целый ряд грамматиков, связанных с Цисальпийской Галлией, среди которых можно отметить Марка Антония Гнифона (M. Antonius Gniphon), учителя Юлия Цезаря. Цисальпийская Галлия дала римской литературе целый ряд выдающихся прозаиков и поэтов. Этот ряд открывается талантливым комедиографом Цецилием Стацием, жившим в первой половине II в. до н. э. Затем идут — Корнелий Непот (современник Катулла), Тит Ливий и оба Плиния. Оттуда же (из города Мантуи) происходил и сам Вергилий, а из поэтов императорского времени — Силий Италик. О своей родине Катулл упоминает в стихотворениях 39-м (Aut Transpadanus, ut meos quoque attingam), 35-м, где он приглашает к себе в Верону своего друга и земляка Цецилия, 67-м (ст. 34) и 68-м, из которого мы узнаем, что Катулл, переехав на постоянное жительство в Рим, временно уезжал оттуда в Верону после смерти своего брата.

Неизвестно, как и где протекало детство Катулла, но очень вероятно, что первоначальное образование он получил в родной Вероне. Зато есть прямое свидетельство самого Катулла, что его литературные опыты начались очень рано — с шестнадцатилетнего возраста — и притом были сосредоточены на эротических стихотворениях. «К тому времени, когда на меня надели мужскую тогу, я довольно много писал любовных стихотворений⁵: та богиня, которая примешивает к любви сладкую горечь, хорошо знает меня», — говорит Катулл в одном из своих автобиографических посланий (68, ст. 15 и 17 сл.).

Жизнь Катулла в Риме известна нам только по его стихотворениям; никаких сторонних свидетельств о ней нет. Происходя из семьи, принадлежавшей к состоятельной провинциальной знати, а это видно, помимо ряда мелких прямых и косвенных указаний, из того, что Катулл упоминает две своих усадьбы — одну на длинном и узком полуострове Сирмионе (ныне Сермионе) на южном берегу теперешнего Гардского озера (Iacus Venacus), к северу от Вероны (31), другую под Римом на границе Тибура и Сабинской области (44), Катулл мог занять независимое положение в Риме. Поэтому если Катулл, уезжая в Вифинию, и надеялся на получение каких-либо материальных выгод от поборов, какие были в обычае у правителей римских провинций, то разочарование, постигшее его в этом отношении, не могло подействовать на него удручающе. О крушении таких надежд Катулл говорит с большим юмором и без всякой горечи, несмотря на ругательства по адресу своего начальника Меммия⁶, который, как жалуется Катулл, ни в грош не ставил свою свиту и не заботился о ее обогащении (10 и 28). В одном из самых своих искренних стихотворений, радуясь отъезду из Вифинии на родину и прощаясь со своими спутниками, Катулл предвкушает удовольствие предстоящего ему путешествия, даже не вспоминая об этой неудаче (46):

Уж повеяло вновь теплом весенним,
Уж под мягким Зефира дуновеньем
Равноденственная стихает буря.
Покидай же, Катулл, поля фригийцев,
Пашни тучные брось Никеи знойной:
К азиатским летим столицам славным.

⁵ Multa satis lusi. Глагол ludere имеет такое же значение и у поэтов времен Августа. Ср. Гораций, «Оды», I, 32, 2 и Овидий, «Любовные элегии», III, 1, 27.

⁶ Того самого, которому посвящена поэма Лукреция.

КАТУЛЛ

Уже рвется душа и жаждет странствий,
Уж торопятся ноги в путь веселый.
Ну, попутчики милые, прощайте!
Хоть мы из дому вместе отправлялись,
По дорогам мы разным возвращаемся.

(Перевод Ф. А. Петровского)

Подобным же радостным и легким чувством проникнуто и послание к милому поэту полуострову Сицилии, куда он вернулся из Вифинии (31). А если Катулл и жалуется на отсутствие денег и на бедность или даже нищету (10), то эти жалобы никоим образом нельзя принимать за чистую монету. Когда он говорит, приглашая к себе отобедать своего друга Фабулла, что кошелек его полон паутины (13,8: *tui Catulli plenus sacculus est aranearum*) и поэтому, если его друг хочет у него пообедать, он должен захватить с собою хороший и обильный обед, — из дальнейших слов мы узнаем, что у Катулла есть и хорошенькая возлюбленная, и такая помада (подаренная ей самой Венерой и Купидоном), что, понюхав это драгоценное благоволие, его друг будет умолять богов обратить его целиком в один нос (там же).

Таким образом, Катулл мог вести достаточно беззаботную жизнь, не заискивая перед сильными мира, и даже докучать им своими ямбами и эпиграммами (93):

Право, нимало тебе не стремлюсь я понравиться, Цезарь,
И не желаю я знать, черен ли ты или бел.

Квинтилиан («О воспитании оратора», XI, 1, 38) называет такие слова со стороны поэта безумием.

Но рассеянная и беззаботная жизнь в Риме не удовлетворяет Катуллу; он сознает, что эта праздность (*otium* — отстранение себя от всякой общественной жизни) может его погубить:

Праздность, друг Катулл, для тебя отрава,
Праздность чувств в тебе пробуждает буйство,
Праздность и парей, и столиц счастливых
Много сгубила.

Так неожиданно заканчивает Катулл свой вольный перевод песни Сапфо (51, 13—16).

3. КРУГ ДРУЗЕЙ КАТУЛЛА В РИМЕ. ПОЭТЫ-НЕОТЕРИКИ

Однако досадовать по-настоящему на свой отказ от общественной жизни и государственной карьеры Катулл начинает, видимо, значительно позднее (см. стих. 52, направленное против цезарианцев Нония и Ватиния), а пока что он разнообразит свое праздное времяпрепровождение в Риме сочинением эротических стихов в обществе таких же праздных людей (*otiosi*), как и он сам. Это его чрезвычайно увлекает (50):

Друг Лициний! Вчера в часы досуга
Мы писали стихи поочередно,
Превосходно и весело играли.
Мы писали стихи поочередно,
Подбирали размеры и меняли,

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА РЕСПУБЛИКИ

Пили, шуткой на шутку отвечали.
 И ушел я, твоим, Лициний, блеском
 И твоим остроумием зажженный.
 И еда не могла меня утешить,
 Глаз бессонных в дремоте не смыкал я,
 Словно пьяный, ворочался в постели,
 Поджидая желанного рассвета,
 Чтоб с тобой говорить, побыть с тобою.
 И когда, тревоженьем утомленный,
 Полумертвый застыл я на кровати,
 Эти строчки тебе, мой самый милый,
 Написал, чтоб тоску мою ты понял.
 Берегись же и просьб моих не вздумай
 Осмелять и не будь высокомерным,
 Чтоб тебе не отместила Немесида!
 В гневе страшна она. Не богохульствуй!

Это послание сразу вводит нас, так сказать, в лабораторию тех поэтов-бездельников, в среду которых попал Катулл в Риме. *Лициний Кальв* (С. Licinius Calvus), к которому оно обращено, принадлежал к той же школе поэтов, которых Цицерон презрительно называл «подголосками Эвфориона»⁷ (cantores Euphorionis; «Тускуланские беседы», III, 45) и «неотериками», т. е. по-нашему, «модернистами» (οἱ νεώτεροι; К Аттику, VII, 2, 1-№ 292 по изд. АН СССР).

Кроме Лициния Кальва, с которым Катулл был, по-видимому, очень дружен (14), хотя и подшучивал над ним (53), и который в позднейших свидетельствах постоянно упоминается рядом с Катуллом (Овидий, «Любовные элегии», III, 9, 62; Плиний Младший, Письма, I, 16 и IV, 27), молодой веронец сошелся и с другими поэтами-неотериками, многие из которых были к тому же и его земляками. Мы находим среди этих поэтов *Гая Гельвия Цинну* (С. Helvius Cinna — 10), автора поэмы «Смирна» (95), бывшего вместе с Катуллом в свите Меммия, который и сам писал стихи; *Корнифиция* (Cornificius — 38); *Квинта Гортензия Гортала* (Q. Hortensius Hortalus — 65), больше известного в качестве оратора, соперника Цицерона; *Гая Асиния Поллиона* (G. Asinius Pollio — 12), впоследствии друга Вергилия и Горация; *Вара* (10), которого отождествляют с Квинтилием Варом (Quintilius Varus), критиком и поэтом из Кремоны; некоего *Цецилия* (Caecilius), родом из Кома, известного лишь по 35-му стихотворению Катулла, которого поэт зовет к себе в Верону из его родного города и которого поэтому нельзя причислять к столичным друзьям поэта; наконец еще одного земляка Катулла — главу школы неотериков *Публия Валерия Катона* (Publius Valerius Cato), если только именно к этому Катону обращено 56-е стихотворение Катулла. Произведения этих поэтов частью совсем не сохранились, а частью дошли в досадных по скудости фрагментах. Что же касается поэтов, к которым Катулл относится с пренебрежением и насмешкой, то о них мы знаем и того меньше. Ни Цесий, ни Суффен, старательно заботившийся о роскошном издании своих стихов, ни Волусий с его *caecata charta*, ни другие *pessim*

⁷ Эвфорион, родом из Халкиды, автор ученых и темных мифологических поэм в стиле Каллимаха и Ликофрона. От его произведений дошли только фрагменты. Его имеет в виду Вергилий («Буколики», X, 50), говоря:

Ныне пойду и стихом пропою со свирелью халкидской
 Те врученные мне пастуха сицилийского песни.

poetae (14, 22, 36, 95, 105) совершенно нам не известны. Но, по всей вероятности, эти поэты были действительно очень плохи, хотя и наводняли своими произведениями римские книжные лавки (14).

Исключительно скудное наследие, оставшееся от поэтов, современников Катуллы, не позволяет нам составить сколько-нибудь ясное представление об их творчестве. От произведений Марка Фурия Бибакула, Квинта Сцевола, Гая Лициния Кальва, Гая Гельвия Цинны, Квинта Корнифиция, Тициды, Квинта Гортензия Гортала, Гая Меммия, Луция Волумния и других сохранилось в общей сложности не более полтора ста по большей части разрозненных строчек.

Таким образом, единственным поэтом, по произведениям которого мы можем судить о творчестве неотериков, остается Катулл.

4. СТИХИ К ЛЕСБИИ

Исключительно захватывающее впечатление производит в стихах Катуллы изображение той глубокой жизненной драмы, какую ему пришлось испытать в Риме и которая оставила такие неизгладимые следы в его творчестве, что он для всех последующих поколений сделался поэтом именно этой жизненной драмы, затмившей все остальное в его поэзии. Он познакомился с той, которую в своих стихах называет Лесбия. Ее, как уже было указано выше, отождествляют с Клодией, красавицей, игравшей блестящую роль в римском светском обществе, а по своим нравам принадлежавшей к тому же разряду римских женщин, что и сообщница Катилины Семпрония, великолепный портрет которой дает Саллюстий:

«В числе этих женщин [сообщниц Катилины] была Семпрония, которая часто совершала немало поступков, достойных мужской смелости. Судьба богато наделила ее знатностью и красотой... Прекрасно знакомая с греческой и римской литературой, она умела играть на кифаре и танцевать, правда, несколько более изысканно, чем нужно порядочной женщине; кроме того, она обладала многими другими искусствами, служащими удовлетворению потребностей роскошного образа жизни. Ей всегда все было дороже, чем собственная честь и целомудрие, и трудно решить, что она берегла менее: свои ли деньги или свое доброе имя. Распаленная чувственной страстью, она искала мужчин чаще, чем они ее...»

(«Заговор Катилины», гл. 25; перевод С. П. Гвоздева)

Характеристика Семпронии очень подходит к тому, что мы знаем о Клодии, а кроме того, очень ярко живописует нравы Рима времен Катуллы.

Стихотворения, обращенные к Лесбии, и те, в которых говорится про нее, можно разделить на три группы: счастливая любовь; размолвки и огорчения; окончательный разрыв.

Весь этот цикл, отдельные звенья которого рассеяны в беспорядке по всему сборнику стихов Катуллы, начинается стихотворением 51 и заканчивается 11-м. Хотя доказать это, строго говоря, нельзя, но несомненность таких рамок подтверждается, на первый взгляд, чисто внешней, но для античной поэтики весьма существенной подробностью: обе эти пьесы написаны одинаковым размером — малой сапфической строфой, примененной Катуллом только в этих двух стихотворениях. Первое (51) представляет собой вольный перевод одной из лучших од Саффо, причем последняя

строфа подлинника заменена у Катутла самостоятельным четверостишием, в котором поэт отдает себе отчет в последствиях того образа жизни, какой он ведет и который объясняет его страстную любовь. Вот это стихотворение (кроме последней строфы):

Верю, счастьем тот божеству подобен,
Тот, грешно ль сказать, божества счастливей,
Кто с тобой сидит и в глаза глядится,
Слушая сладкий
Смех из милых уст. Он меня, беднягу,
Свел совсем с ума. Лишь тебя завяжу,
Лесбия, владеть я бессилен сердцем,
Рта не раскрою.
Бедный нем язык. А по жилам пламень
Тонкою струею скользит. Звонящий
Гул гудит в ушах. Покрывает очи
Черная полночь...

Развитие романа с Лесбией, которой, несмотря на все ее светские победы, должны были польстить стихи поэта, бывшего гораздо ее моложе, видно из двух стихотворений, воспевающих ее ручного воробья (2 и 3).

За стихотворениями о воробье, которые нельзя назвать циклом, потому что их всего-навсего два, идет «цикл поцелуев», в котором три стихотворения (5, 7, 8) относятся к роману с Лесбией. Из них два (5 и 7), из которых особенно замечательно по своему страстному движению и насыщенности первое, относятся к разгару счастливой любви, а одно (8) — к размолвке с возлюбленной; оно тоже замечательно по глубине чувства, выражению которого чрезвычайно способствует и стихотворный размер (хольямб).

Катутл прославляет свою любовницу как совершенную красавицу, противопоставляя ее некоей Квинтии (86) и Амеане (43), «подружке формийского мота» (*decoloris amica Formiani*), ненавистного ему Мамурры, начальника саперной части (*praefectus fabrum*) при Юлии Цезаре (Плиний, «Естественная история», XXXVI, 6, 48). Одно из этих стихотворений, написанное в форме эпиграммы, дает, помимо оценки двух красавиц, превосходное определение самого понятия «красавица» (*formosa*):

Квинтию славят красивой. А я назову ее стройной,
Белой и станом прямой. Все похвалю по частям.
Не назову лишь красавицей. В Квинтии нет обаянья,
В теле роскошном таком искорки нету огня.
Лесбия — вот кто красива! Она обездолила женщин,
Женские все волшебства соединила в себе.

В двух стихотворениях (83 и 92) Катутл дает психологический анализ чувства Лесбии к нему и своего к Лесбии. Несмотря на сходство обеих пьес, между ними есть существенная разница: в первом стихотворении Лесбия бранит Катутла в присутствии своего мужа, а во втором и Катутл и Лесбия (каждый в отдельности) поносят друг друга, очевидно, перед посторонними людьми. Психологическая и эмоциональная разница несомненна.

Стихотворения, относящиеся к Лесбии, вообще чрезвычайно эмоционально насыщены и вместе с тем проникнуты таким тонким психологиче-



Женщина с веером
Кампанская гидрия IV в. до н. э.

ским анализом чувства, что во всей античной лирике нельзя отыскать им равных в этом отношении; этот самоанализ, и притом поражающий своей объективностью, виден даже в тех стихах, которые проникнуты настоящим отчаянием (72 и особенно 76).

Кроме того, сила чувства соединяется у Катулла с исключительным мастерством, редко когда уступающим его прирожденному таланту: *ars* и *ingenium* сливаются у него в неразрывное и органическое целое. Достаточно одного примера: стихотворение 58 проникнуто мучительной тоской и возмущением, не дающим покоя Катуллу; и смятенное чувство поэта выражено в самом движении этого стихотворения:

Целий, Лесбия наша, Лесбия эта,
Эта Лесбия, что была Катуллу
И себя самого и всех милее,
В переулках теперь, на перекрестках
Величавого Рема внуков ловит.

(Перевод Ф. А. Петровского)

Другое замечательное свойство Катулла это — его умение заострять, делать живой любую, даже самую затасканную мысль, если она по существу глубока и правильна; мало того, выразить ее так, что она представляется личной, именно Катулловой мыслью, отражением именно его чувства, и представляется читателю поэтическим откровением. Эта особенность Катулла, ставящая его на выдающееся место среди мировых лириков, ярко проявляется в стихах, относящихся к роману с Лесбией. Лучший пример — его удивительное двустипшие (85):

И ненавижу Тебя и люблю.— Почему же? — ты спросишь.
Сам я не знаю, но так чувствую я — и томлюсь⁸.

(Перевод Ф. А. Петровского)

А ведь мысль этого двустипшия — одно из ходячих «общих мест» любовной риторики. В римской литературе мы находим эту мысль и в основе 72 и 75-го стихотворений самого Катулла, и у Овидия («Любовные элегии», II, 4, 5), и уже у Теренция в комедии «Евнух» (ст. 72) в лаконичной формуле: *et taedet et amore ardeo* («и досадую и горю от любви»).

Подобного рода примеров можно указать у Катулла много, но достаточно напомнить начало стихотворения 76⁹. Оно представляет собою, так сказать, поэтически препарированное «общее место», использованное, между прочим, Цицероном в словах: «Сознание хорошо проведенной жизни, а вместе с тем и воспоминание о многих хороших поступках всем приятно» («Катон Старший», 3, 9); найдем мы это «общее место» и в одном из писем Цицерона к Аттику (X, 4, 5-№ 380 по изд. АН СССР): «Итак, меня поддерживает самая чистая совесть, когда я помышляю, что я оказал государству наилучшую услугу, когда мог, и во всяком случае, всегда придерживался только честного образа мыслей...». В словах Цицерона мы находим даже почти точные совпадения со словами Катулла, у которого *recordanti benefacta* соответствуют Цицероновым *bene facta-*

⁸ *Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.*

⁹ Прекрасный прозаический перевод этого стихотворения дан в «Истории римской литературы» акад. М. М. Покровского (стр. 117).

rum recordatio (в трактате «Катон Старший»), а cogitat esse pitum — pie cogitasse (в письме к Аттику).

Эти «общие места», мимо которых можно часто пройти, не заметив их или не обратив на них внимания, у Катуллы так оживают, что становятся поистине собственными, оригинальными, Катулловыми изречениями и мыслями. Это происходит благодаря замечательному умению Катуллы соединять в одно органическое целое условное, трафаретное, с личным, живым, проникнутым к тому же настоящим глубоким чувством. Это характерно уже для первого стихотворения, посвященного Корнелию Непоту, которое написано, видимо, по какому-то посвятившему трафарету и сильно напоминает начало посвятивших стихов греческого поэта Мелеагра с их риторическим вопросом, обращенным к Музе («Палатинская антология», IV, 1). У Катуллы Муза исчезла, и все шаблонное обращение стало личным, так что и заподозрить нельзя никакого шаблона.

Выше было указано, что стихотворения, обращенные к Лесбии и вообще относящиеся к роману с нею, можно разделить на три группы — соответственно ходу развития этого романа. Но хронологию этих стихотворений определить трудно, ввиду того что в них нет указаний или намеков на какие-нибудь исторические события, если не считать указания на победы Цезаря в Галлии и на поход его в Британнию в стихотворении 11, на основании чего это стихотворение можно отнести к концу 55 или к началу 54 г. до н. э.

Поэтому, говоря о стихах, по которым восстанавливается этот роман (а других данных для этого нет), мы можем определять их последовательность только по имеющимся в них психологическим признакам, памятуя при этом, что подобные данные никоим образом нельзя назвать надежными.

Стихотворения, относящиеся к началу романа и к безоблачной любви Катуллы, это — 2, 3, 5, 7, 43, 51, 83, 86 и 92.

Первым стихотворением, обращенным к Лесбии, как уже было указано, вероятнее всего следует считать 51-е (перевод оды Сапфо). В этом переводе, который, по мнению Ф. Е. Корша, «мог возникнуть еще тогда, когда Катулл видал свою Лесбию только у общих знакомых»¹⁰, поэт усиливает выражение Сапфо: смотрящий на Лесбию и слушающий ее пленительный смех, сохраняя при этом сознание и способность речи, не только равен богу, но даже превосходит богов.

Стихотворения 86 и 43, которые написаны, очевидно, позднее 51, интересны со стороны развития романа Катуллы и Лесбии тем, что в первом из них (86) поэт хотя и восторгается предметом своей любви, но и говорит более или менее спокойно, что подчеркивается и метрической формой — элегическим дистихом. Как и в стихотворении 51, к Лесбии не применено никакого эпитета, показывающего близость ее к Катуллу. Но в стихотворении 43 тон совершенно иной: Катулл издевается над любовницей Формиана, пишет живым и бойким Фалековым (одиннадцатисложным) стихом и называет Лесбию уже «наша Лесбия», т. е. своей возлюбленной, хотя и оставляя это под сомнением, так как слова *Lesbia nostra* могли и не говорить прямо о близких отношениях Катуллы к Лесбии.

В обоих стихотворениях о воробье (2 и 3), которые свидетельствуют уже о развитии знакомства Катуллы с Лесбией и даже о том, что он стал видаться с ней наедине, Катулл прямо называет ее своей милой — *mea puella* (2, ст. 1; 3, ст. 3, 4, 17). Оба стихотворения о воробье Лесбии написаны также Фалековым стихом.

¹⁰ Ф. Е. Корш. Указ. соч., стр. 12.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА РЕСПУБЛИКИ

В следующих двух стихотворениях (92 и 83) видна уже полная уверенность Катулла в том, что он любим, потому что Лесбия постоянно и усиленно его бранит при других (92) и ругает при муже (83), которого Катулл называет ослом, не понимающим дела (*mule nihil sentis*). Оба эти стихотворения напоминают стихотворение 86: в нем дается эстетический анализ понятия «красавица» — в этих же двух дан разбор признаков истинной страстной любви, анализ психологический, подкрепленный еще сравнительным анализом собственных эмоций в последнем двустопии стихотворения 92. И так же, как стихотворение 86, обе эти пьесы написаны спокойным элегическим дистихом, размером наиболее удобным для выражения сопоставлений.

Наконец, стихотворения 5 и 7 (последние из этой группы) говорят уже о полном счастье соединившихся влюбленных:

5

Будем жить и любить, моя подруга!
Воркотню стариков ожесточенных
Будем в ломаный грош с тобою ставить!
В небе солнце зайдет и снова вспыхнет,
А для нас, чуть погаснет свет мгновенный,
Непробудная наступает полночь.
Так целуй же меня раз сто и двести,
Больше, тысячу раз и снова сотню,
Снова тысячу раз и сотню снова.
Много сотен и тысяч насчитаем,
Все смешаем потом и счет забудем,
Чтобы злобой завистников не мучить,
Подглядевших так много поцелуев!

7

Спросишь, Лесбия, сколько поцелуев
Милых губ твоих страсть мою насытят?
Ты зыбучий сочти песок ливийский
В напоенной отравами Кирене,
Где оракул полуденный Аммона
И где Батта старинного могила.
В небе звезды сочти, что смотрят ночью
На людские потайные объятья.
Столько раз ненасытными губами
Поцелуй бесноватого Катулла,
Чтобы глаз не расчислил любопытный
И язык не расплетничал лукавый.

В обоих стихотворениях одна и та же тематика — «поцелуи» (*basia*) и один и тот же суеверный мотив «сглаза», во избежание которого надо сбить со счета злых завистников; одинаков и размер обоих стихотворений. Но есть и существенная разница между этими пьесами: первое стихотворение все проникнуто живой и непосредственной страстью, второе — уже полно александрийскими прикрасами, которыми Катулл хочет поцеловать перед своей, очевидно, тонко образованной возлюбленной. Катулл не просто говорит о несчетном количестве песчинок в любой пустыне, а говорит именно о песках Северной Африки, где растет растение силь-

фий, ценившееся как изысканная приправа к кушаньям; он упоминает храм и прорицалище Юпитера-Аммона и гробницу Батта, основателя Кирены — родины знаменитого александрийского поэта Каллимаха, которому Катулл стремился подражать и которого переводил. Это стихотворение, таким образом, приоткрывает нам и поэтическую лабораторию Катулла.

Есть еще одно стихотворение Катулла, которое часто относят к первому периоду романа его с Лесбией. Это — стихотворение, обращенное к Фабулле. «Если верно предположение некоторых толкователей, — говорит Ф. Е. Корш, — что в послании к Фабулле, одному из ближайших друзей поэта, не названная по имени возлюбленная есть та же Лесбия, то она так мало стеснялась общественным мнением, что вместе с Катуллом принимала его приятелей»¹¹.

Ко второй группе стихотворений о Лесбии, группе, которую мы назвали «размолвки и огорчения», можно причислить стихотворения 70, 8 и 37. Эти стихотворения относят к роману с Лесбией только предположительно; имя Лесбии ни в одном из них не названо, но по искренности и глубине проявляющегося в них чувства они никак не могут относиться к какому-нибудь мимолетному увлечению или к несерьезному горю. Первое стихотворение самое спокойное; это — четырехстрочная эпиграмма в эллигических дистихах:

Милая мне говорит: лишь твоею хочу быть женою,
Даже Юпитер желать стал бы напрасно меня.
Так говорит. Но что женщина в страсти любовнику шепчет,
В воздухе и на воде быстротекущей лиши!

Остальные два стихотворения, которые можно отнести к этой же второй группе, одинаковы и по величине (в одном 19, в другом 20 строк) и по стихотворному размеру (хоттамб), а кроме того, включают почти дословно повторенное заверение, что Катулл так любил свою возлюбленную, как никто ее не полюбит. Но по своему тону эти два стихотворения совершенно различны: первое (8) полно глубокой скорби и даже уныния, а вместе с тем и уверенности, что никто больше не пленится покинувшей поэта любовницей; кончается оно призывом к самому себе быть твердым и не поддаваться отчаянью. Совсем другое в стихотворении 37: Катулл убедился в том, что он глубоко ошибся в своих предположениях и что его милая не только не огорчилась разрывом с ним, но утешилась, приняв участие в разнузданных кутежах, происходивших в какой-то гостинице или даже в подозрительном кабаке. Приводим оба эти стихотворения.

8

Катулл-бедняга, перестань чудить праздно,
И что давно минуло, то считай прошлым!
Блистали некогда и для тебя звезды,
Летал ты радостно на сладкий зов милой.
(Любимой так не быть уж ни одной в мире!)
Забав и нежностей бывало там много,
Тебе желанных и приятных ей, милой.
Блистали в те поры и для тебя звезды.

¹¹ Ф. Е. Корш. Указ. соч., стр. 17.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА РЕСПУБЛИКИ

Теперь она не любит, не люби также!
Не рвись за уходящим, не живи в горе,
Терпи и твердым будь! В беде скрепи сердце!
Прощай, красавица! Катулл скрепил сердце!
Твоих не просит ласк, тебя желать бросил!
Но нежеланной ты наплачешься, помни!
Преступная! Какой тебе грозит жребий!
Кто подойдет к тебе? Кто назовет розой?
Кого полюбишь ты и чьей теперь будешь?
Кого ты будешь целовать, кому кусать губы?
Но ты будь тверд, Катулл! Терпи, скрепив сердце.

37

Кабак презренный, вы, кабацкая свора
У пятого столба от «Близнецов в шапке»¹²,
Мужчинами считаете себя только?
Иль девушки рождаются вам одним в радость?
Вам пить и веселиться, мы ж — ослов стадо?
Расселась сотня дурней или две сотни,
И думаете нагло, с вами нет сладу?
Не растянуть мне разве дураков двести?
Ошиблись. Будет жечь над кабаком надпись
Из яда скорпионов в моей злости.
Подружка милая из рук моих скрылась,
Любимой так другой уж не бывать в мире.
Великие я вел из-за нее битвы,
Теперь средь вас она, она лежит с вами,
Вы все с ней тешитесь (постыдная правда!),
Вы, шалопаи, гниль, озорники, ферты!
Эй, слышишь, волосатый коновод шайки,
Ты, кроличье отродье, кельтибер мерзкий,
Эгнатий! Чем гордишься? бородой клином?
Оскалом челюстей, что ты мочой моешь?

Ко второму из приведенных стихотворений тесно примыкает и стихотворение 39, в котором Катулл издевается над только что упомянутым поклонником своей возлюбленной испанцем Эгнатием. Это 39-е стихотворение очевидно, не случайно тоже написано «хромыми» ямбами. Оно, кстати сказать, послужило образцом для сатирического стихотворения Марциала, осмеивающего постоянную улыбку некоего Кания Руфа (III, 20).

Но несмотря на ссору с Лесбией и крупные размолвки, Катулл не может ее забыть и покинуть. Не хотела этого и сама Лесбия, что явствует из такого стихотворения, как 107, в котором Катулл, забыв обо всех огорчениях и оскорблениях, ему нанесенных, и о недостойном поведении своей возлюбленной, восторженно выражает свою радость по поводу примирения с нею:

Если желанье сбывается, свыше надежды и меры,
Счастья нечаянный день благословляет душа.
Благословен же будь, день золотой, драгоценный, чудесный
Лесбии милой моей мне возвративший любовь!

¹² Т. е. на Священной улице, у пятого столба от храма Диоскуров.

КАТУЛЛ

Лесбия снова со мною! На что не надеялся — сбылось!
 О, как сверкает опять великолепная жизнь!
 Кто из живущих счастливой меня? И чего еще мог бы
 Я пожелать на земле? Сердце полно до краев!

Стихотворение 36, которое можно отнести к примирению Катуллы с Лесбией после их ссоры (хотя имени Лесбии в этом стихотворении нет, а возлюбленная названа только «моей милой»), знакомит нас с шутливым договором между любовниками. Из стихотворения Катуллы мы узнаем о более хитрых условиях договора: добиваясь примирения, Лесбия дала знать Катуллу, что, если он к ней вернется, она, во исполнение обета, данного Купидону и Венере, сожжет, отдав «хромононому богу» «отборные произведения сквернейшего поэта». Лесбия, разумеется, игриво намекала этим на стихи самого Катуллы, направленные против нее. Катулл так же игриво не понимает намека и радуется, что любовное примирение будет сопровождаться сожжением «Летописи» Волусия.

В этом стихотворении мы встречаемся опять, как и во втором из посвященных «поцелуям» (7), с приемом александрийской поэзии: с перечислением городов, посвященных Венере, с именованьем Вулкана не по имени, а посредством описания — «хромоногий бог»; кроме того, Катулл использует прием повторения первого стиха в конечной строчке, прием, который применен у него еще три раза в стихотворениях 16, 52 и 57. Мы встречаемся здесь также с весьма грубой характеристикой произведений некоего Волусия. Кто такой этот Волусий, упоминаемый Катуллом еще в стихотворении 95, нам не известно: кроме Катуллы, никто о нем из римских авторов не говорит, а наш поэт уверен только, что «летописи Волусия умрут в самой Падуе [очевидно, месте рождения этого автора] и пойдут на оберточную бумагу для скумбрий». Очень вероятно все же, что стихотворная «Летопись» Волусия была каким-то неуклюжим произведением, написанным в подражание Эннию. Вполне возможно, что Катулл, следуя принятой в латинской поэзии манере, привел не настоящее имя автора этой «Летописи», а заменил его вымышленным, но достаточно прозрачным для современников¹³.

Несмотря, однако, на радость, которую Катулл выражает в стихотворении 107, несмотря на веселый и игривый тон стихов о «Летописи» Волусия, его мучат сомнения, которые он и выражает в такой элегии (109):

Жизнь моя! Будет счастливой любовь наша, как ты сказала.
 Будем друг другу верны и не узнаем разлук!
 Боги великие! Сделайте так, чтоб она не солгала!
 Пусть ее слово идет чистым от чистой души!
 Пусть поживем мы в веселье спокойные, долгие годы,
 Дружбы взаимной союз енарушимо храни.

Но нежная и глубокая любовь Катуллы мало удовлетворяла Лесбию. И хотя Катулл согласился на условия Лесбии и уступил ей, возврат к прежней любви оказался для поэта невозможным. Катулл начинает опять ревновать Лесбию, а вместо легкой любви и привязанности, которую он то называет *amicitia* («дружбой» или «союзом любви», как переводит это слово Ф. Е. Корш), в нем разгорается тяжелая и мучительная страсть, о которой он говорит то в элегических тонах в исполненном под-

¹³ В письме 93 к Луцилию Сенека говорит о «Летописи» некоего Танусия: «Ты знаешь, как тяжеловесна «Летопись» Танусия и как ее называют. Есть люди, жизнь которых продолжительна, но напоминает «Летопись» Танусия». На основании этого указания Сенеки обычно считают, что Волусий и есть Танусий.

линного страдания стихотворении 76, подвергая психологическому анализу свое чувство к Лесбии (опять-таки не называя ее по имени) и обращаясь к богам с мольбой об избавлении его от гнетущего и отравляющего его недуга, то выражая свое чувство с предельной силой и лаконичностью в знаменитом двустишии (85).

Эти два стихотворения несомненно относятся к разрыву с Лесбией, как и 85, а также 87, остроумно соединенное Скалигером в одно целое со стихотворением 75¹⁴.

К этому последнему периоду романа Катутла и Лесбии относятся и резкие и желчные стихотворения 58 и 79 о поведении Лесбии, в которых она прямо названа (псевдоним «Лесбия», надо полагать, был в Риме всем ясен!).

Наконец, как было уже указано, последнее стихотворение, завершающее разрыв с Лесбией, это стихотворение 11, обращенное к Фурию и Аврелию, которых Катутл презирал (ср. 16, 23 и 26), но которых тем не менее к нему подсылала Лесбия, надеясь еще снова завладеть поэтом. Имя Лесбии в этом стихотворении не названо, но никаких сомнений, что оно имеет в виду ее, не может быть. Это стихотворение замечательно соединением в нем глубокого и горького чувства с резкими и прямо грубыми выражениями и с александрийской манерой, которая здесь, однако, не мешает истинному пафосу:

Фурий, ты готов, и Аврелий тоже
Провожать Катутла, хотя бы к Инду
Я ушел, где море бросает волны
На берег гулкий.
Иль в страну гиркан и арабов пышных,
К сакам и парфянам, стрелкам из лука,
Иль туда, где Нил семиустый мутью
Хляби пятнает,
Перейду ли Альп ледяные кручи,
Где поставил знак знаменитый Цезарь,
Галльский Рейж увижу иль дальних бриттов
«Страшное море —
Все, что рок пошлет, пережить со мною
Вы готовы. Что ж, передайте милой
На прощанье слов от меня немного,
Злых и последних.
Со своими пусть кобелями дружит!
По три сотни их обнимает сразу,
Никого душой не любя, но печень
Каждому руша.
Только о моей пусть любви забудет!
По ее вине иссушилось сердце,
Как степной цветок, проходящим плугом
Тронутый насмерть.

5. ОТЗВУКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ В СТИХОТВОРЕНИЯХ КАТУЛЛА

Несмотря на ярко выраженный в лирике Катутла интерес к собственной личности и к тому, что непосредственно касается его самого, он не мог, однако, вполне отвлечься от острой политической борьбы в совре-

¹⁴ См. Ф. Е. Корш. Указ. соч., стр. 31, прим. 29.

менном ему Риме. Намеки на эту борьбу некоторые исследователи стремятся найти даже в таких произведениях Катуллы, как поэма о слуге Кибсы Аттисе (63), в которой Александр Блок видел отзвуки восстания Катилины¹⁵, или в прощальном стихотворении к Лесбии (11), совершенно произвольно истолкованном Моммзеном¹⁶.

Но даже принимая во внимание, что и самые отвлеченные по содержанию литературные произведения возникают в тесной связи с явлениями общественной жизни, попытки отыскать политические намеки и в его эпиллиях и эпиграмах не могут в большинстве случаев выйти за пределы произвольных гипотез.

Другое дело — те стихи Катуллы, в которых прямо отражается оппозиционное Юлию Цезарю настроение той римской молодежи, в кругу которой вращался Катулл и чьи воззрения он стал разделять, живя в Риме. Таких стихотворений всего два: 29 и 93.

В первом из этих стихотворений Катулл обрушивается со всей силой негодования и презрения на любимца Юлия Цезаря — Мамурру, обзывая последними словами и самого Цезаря за то, что он покровительствует Мамурре и дал ему ограбить Галлию, после того как тот уже промотал и отцовское имущество, и добычу, захваченную на войне против Митридата, и все награбленное в Испании, когда Цезарь был там пропретором. Мамурру Катулл также поносит самыми непристойными словами. Достается в этом стихотворении и Помпею, действовавшему заодно с Цезарем после соглашения триумвиров в Луке в 56 г. до н. э.

Второе стихотворение свидетельствует о том, что никакие попытки Цезаря примириться с Катуллом и привлечь его на свою сторону ни к чему не привели. Некоторые исследователи считают, однако, что примирение Катуллы с Цезарем состоялось, и видят намек на это в строке 10 стихотворения 11; но такое мнение следует решительно отвергнуть, так как название Цезаря эпитетом *magnus* звучит совершенно так же иронически, как обращение *imperator unice* (29, ст. 11 и 54, ст. 7), а других данных о примирении Катуллы с Цезарем или хотя бы об улучшении отношения поэта к будущему диктатору, кроме приведенного выше рассказа Светония о том, что Цезарь пригласил Катуллу на обед, — не имеется.

Помимо стихотворений 29 и 93, в сборнике Катуллы есть еще несколько стихотворений (41, 52, 54, 57, 113)¹⁷, полных нападок на цезарианцев и Помпея, но политический оттенок здесь имеет только одно четверостишие (52), в котором Катулл выражает мрачное отчаяние по поводу того, что ответственные государственные должности заняты в Риме недостойными цезарианцами.

6. «АЛЕКСАНДРИНИЗМ» КАТУЛЛА

Поэты-неотерики, в круг которых входил Катулл, впервые отдавшие предпочтение лирической поэзии и выражавшие в ней свои личные переживания, как это ярче всего видно по стихам Катуллы к Лесбии, считаются последователями александрийской школы поэтов, возглавлявшейся в III в. до н. э. Каллимахом и затем Эвфорионом. Само собою

¹⁵ А. Блок. Катилина. Собр. соч., т. 8, стр. 80.

¹⁶ Т. Моммзен. Римская история, т. 3. М., 1941, стр. 271, прим. 2.

¹⁷ Существует предположение, что под псевдонимом *Mentula* в стихотворениях 94, 105, 114 и 115 разумеется Мамурра, но доказать этого нельзя.

разумеется, что в области чисто личной лирики, проникнутой искренним чувством, можно говорить о подражании Катулла александрийцам только в отношении формы или, да и то лишь в некоторых случаях, тематики его стихотворений. А по своему содержанию эта лирика безусловно совершенно самостоятельна.

Другое дело — такие поэмы (или эпиллии) Катулла, как «Брачная песнь» (62), «Аттис» (63), «Свадьба Пелея и Фетиды» (64) и «Волосы Береники» (66).

Последний из этих эпиллиев — перевод произведения Каллимаха, и благодаря недавно найденному отрывку подлинника можно судить о мастерстве Катулла как переводчика еще больше, чем по переводу одного из стихотворений Сапфо, посвященному Лесбии. Тема этого эпиллия очень вычурная, совершенно во вкусе придворной александрийской поэзии: Береника, двоюродная сестра и жена Птолемея Эвергета, царя Египта (247—222 гг. до н. э.), дала обет принести богам свою косу, если супруг благополучно закончит военный поход на Сирию. После счастливого возвращения Птолемея обет был исполнен, и волосы Береники были помещены в храм обожествленной Арсиной, сестры Птолемея Филадельфа. Но на другое утро коса Береники исчезла. Гнев Птолемея, однако, успокоил придворный астроном Конон, сказав, что он усмотрел эту косу на небесах, куда ее перенесла божественная сила, и в доказательство своих слов указал на маленькое созвездие, которого до той поры не замечали. (Это созвездие до сих пор называется «Волосы Береники»).

Рассказ об этом происшествии в эпиллии Катулла — Каллимаха ведет сама коса Береники. Весь эпиллий написан в чрезвычайно изысканном стиле и полон всевозможных мифологических намеков и сравнений, иной раз мало понятных и неясных.

Катулл перевел это произведение Каллимаха мастерски, передав даже ритмико-синтаксическое движение оригинала и показав необыкновенную гибкость латинского элегического дистиха, которым написана эта небольшая поэма.

Более чем вероятно, что о переводе именно этого произведения Каллимаха сам Катулл говорит в послании Квинту Гортевию Горталу (65), прямо называя его переводом.

Самое большое произведение Катулла — поэма о свадьбе Пелея и Фетиды, написанная дактилическим гексаметром. Этот эпиллий — тоже не самостоятельное произведение Катулла, а восходит к александрийским источникам. Один из исследователей Катулла — Ризе (Riese)¹⁸ считал его переводом какого-то не дошедшего до нас произведения Каллимаха; но решить вопрос об источнике Катулла в этом эпиллии в настоящее время невозможно. Эпиллий полон александрийской мифологической ученостью, а построение его достаточно замысловато. Основная тема — свадьба Пелея и Фетиды — занимает в поэме значительно меньше места, чем вставные эпизоды, ею обрамляемые. Подарки новобрачным подробно описываются; особенно же подробно останавливается поэт на мифе об Ариадне, изображенном на ковре, украшающем свадебный чертог; этот миф занимает больше половины всей поэмы: от 50-го до 266-го стиха. Интересно в этой поэме то, что наряду с мифологической ученостью (причем разрабатываются не обычные, а малоизвестные подробности) автор уделяет особое внимание психологическим мотивировкам своего повествования. Этот момент очень важен для творчества Катулла и в его лирике играет первостепенную роль.

¹⁸ «Rheinisches Museum», 1886, XXI, 498.

Интерес к психологическому анализу проявляется у Катуллы и в небольшой поэме об Аттисе, написанной сложным стихотворным размером — галлиамбом¹⁹. Тема этого эпиллия — переживания оскотившего себя жреца фригийской богини Кибелы, замечательное описание культа которой есть в поэме Лукреция (II, 600—643). Литературный источник этого эпиллия неизвестен, но, очевидно, как и источники «Волос Береники» и «Свадьбы Пелея и Фетиды», александрийский.

Хотя у нас и нет возможности определить степень самостоятельного творчества Катуллы в его стихотворениях 63, 64 и 66 и допустимо лишь высказывать предположения, вроде, например, того, что моралистическая концовка эпиллия о свадьбе Пелея и Фетиды принадлежит самому Катуллу, тем не менее во всех этих трех эпиллиях творческая сила римского поэта очевидна. Гений римского поэта ярко проявляется и в прекрасных гексаметрах «Брачной песни» (62), преодолевая «александризм», за который Катулл впоследствии получил эпитет *doctus* (ученый). Этот эпиллий построен в форме переключки двух хоров — юношей и девушек — подруг невесты. «Черты греческой поэзии, отчасти восходящие к Сапфо (сравнение юной девушки с одинокой лозой), — говорит акад. М. М. Покровский, — искусно перемешиваются с некоторыми подробностями римского быта (ср., например, стих 49 сл. о древнеримской и современной итальянской манере прикреплять виноградную лозу к кустикам, особенно вяза, который таким образом становился как бы мужем лозы (*ulmus marita*); о следах умыкания невесты, сохранившихся в римском свадебном обряде; о предбрачном соглашении между родителями и пр.)»²⁰.

Связь этого эпиталамия с эпиталамиями Сапфо не может быть установлена за отсутствием у нас нужного материала для сравнения, но все-таки сапфический характер этого стихотворения Катуллы несомненен, и можно предположить, что Катулл использовал для своей «Брачной песни» и александрийскую и классическую греческую лирику.

Александрийская «ученость» ясно видна и в римской лирике Катуллы: в его свадебной песне в честь Манлия и Винии (61), содержание которой, однако, чисто римское и воспроизводит римские свадебные шутки; в послании к Аллию (68b), в которое вплетен миф о любви Лаодамии к Протесилаю и которое построено по сложной схеме, восходящей, быть может, к схеме Терпандровского пома²¹; в ряде стихотворений, посвященных Лесбии, и т. д. Но во всех этих произведениях талант Катуллы заставляет забывать о каком-либо подражании; свои александрийские образцы Катулл использует только как удобный материал и всюду остается подлинным римским поэтом.

Каллимах и поэты его школы были не только «учеными», но обращались в своем творчестве и к народной поэзии. То же мы находим и у Катуллы. В его лирике видны свежие и живые источники народного творчества, подлинный итальянский юмор. Как никто другой из римских поэтов, Катулл умел соединять трогательное и нежное с резким и грубым, не уступать в остроумии самому Плавту и быть в своей лирике всегда искренним и непосредственным, что так ценил Пушкин: «Для тех, ко-

¹⁹ В передаче на тоническую систему ритм этого размера (в схематической форме) таков:

Ударяет в бубен Аттис, || задыхаясь хрипло кричит.

См. Я. Денисов. Основания метрики у древних греков и римлян. М., 1888, стр. 140 сл.

²⁰ История римской литературы, стр. 119 сл.

²¹ См. Ф. Е. Корш. Указ. соч., стр. 25 сл.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА РЕСПУБЛИКИ

которые любят Катулла, Грессета и Вольтера,— говорит он,— для тех, которые любят поэзию не только в ее лирических порывах или в унылом вдохновении элегии, не только в обширных созданиях драмы и эпопеи, но и в игривости шутки, и в забавах ума, вдохновенных ясной веселостью, для тех искренность драгоценна в поэте. Нам приятно видеть поэта во всех состояниях, изменениях его живой и творческой души: и в печали, и в радости, и в парениях восторга, и в отдохновении чувств — и в Ювенальном негодовании, и в маленькой досаде на скучного соседа»²². Все, что здесь говорит Пушкин, как нельзя лучше характеризует лирическую музу Катулла.

²² А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах, т. 7. М.—Л., 1949, стр. 434—435. (Заметка о книге И. И. Дмитриева: «Путешествие N. N. в Париж и Лондон»).

Пушкину принадлежит перевод 27-го стихотворения Катулла. Стихотворение 62 пародировано в письме к Дельвигу от 20 февраля 1826 г.

ЛИТЕРАТУРА
НАЧАЛА ИМПЕРИИ





Глава XXIII

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«Золотым веком» римской литературы принято называть период между смертью Цезаря (44 г. до н. э.) и смертью Августа (14 г. н. э.). В политической истории Рима это время становления и укрепления нового государственного строя — принципата Августа. В литературной истории Рима это время создания лучших, ставших классическими, произведений латинской поэзии.

Гражданские войны II—I вв. до н. э. были проявлением глубокого внутреннего кризиса римского рабовладельческого общества и государства. Они показали, что государственные формы древней республики не в силах обеспечить господство рабовладельцев над рабами и господство Рима над завоеванными областями. Выходом из кризиса явилось утверждение новых государственных форм — военной монархии. Это был переход от республики к империи. Приемный сын Цезаря, внук его сестры, Гай Октавиан Август после четырнадцатилетней борьбы за власть — сперва в союзе с Антонием против сената и республиканцев, потом в союзе с сенатом против Антония — стал первым правителем нового типа.

Монархия Октавиана не была похожа ни на древнеримскую царскую власть, ни на деспотию восточного образца. Октавиан не порывал с традиционной внешностью республиканских форм. Он отказался от диктатуры и ограничил свою власть периодически обновляемыми консульскими, проконсульскими и трибунскими полномочиями. Все республиканские учреждения продолжали существовать и действовать¹. Но помимо этих учреждений, рядом с ними и над ними в государстве появилась новая сила: *auctoritas principis*². «Авторитетом превосходил я всех» (*Auctoritate omnibus praestiti*), — заявлял Август в своем политическом завещании («Деяния божественного Августа», 34).

Auctoritas principis не была юридической категорией. Она основывалась не на сенатском декрете, а на общественном мнении. Поэтому Август всеми силами старался поддержать свою популярность. Его идеологическая программа должна была сплотить вокруг него рабовладельцев всех сословий и этим укрепить классовое господство рабовладельцев и

¹ См. Н. А. Машкин. Принципат Августа, М.—Л., 1949, стр. 402—405.

² Термин «*auctoritas*» не точно передается словом «авторитет»; по содержанию он ближе к понятию «полномочная власть».

мировое владычество Рима. Считалось, что, покончив с гражданскими войнами, Август вернул Римскому государству мир и свободу («Деяния божественного Августа», 1 и 34). Это означало официальное восстановление древней республики (там же, 34). Вместе с древней республикой должны были возродиться древние римские добродетели — благочестие, нравственность и доблесть. Ими держались установленные от века порядки — власть отца над членами семьи, власть свободного над рабами, власть римлянина над варварами. Спасителем гибнущей державы, блюстителем возрожденных добродетелей и носителем исторической миссии римского народа был Август, принцепс, первый человек в государстве.

Примерно таковы были основные черты идеологической программы Августа. Пропаганда этой программы была возложена на литературу, прежде всего — на поэтов и историков. Эпоха гражданских войн показала, какой могущественной силой стала литература. Теперь эту силу нужно было поставить на службу новой власти.

Если бы римская литература в эпоху принципата была предоставлена самой себе, так сказать, «самотеку», как это было раньше, то она безусловно могла породить произведения, шедшие вразрез с тем государственным строем, о насаждении и укреплении которого так заботился Август. Как ни старался Август изобразить свое правление исключительно как возвращение к староримскому строю и нравам отцов, все же, несомненно, в Риме было немало людей, видевших, что принципат Августа по существу гораздо ближе примыкает к диктатуре Цезаря, чем к прежней аристократической республике. Поэтому Август с самого начала своего правления понял, каким могучим средством пропаганды может служить литература, и позаботился о том, чтобы она выступала в пользу его режима, а не против него. Наиболее подходящим родом литературы в этих целях должна была представляться Августу не проза, а поэзия. Ораторское искусство, стесненное до пределов школьной аудитории или зала для «рецитаций», было вынуждено избегать современных тем и удалялось в далекое прошлое, хотя, несомненно, в некоторых «связориях» и «контroversиях» и скрывались глухие намеки на современность. Кроме того, переключить ораторское искусство всецело на восхваление правителя едва ли было возможно так скоро после гражданских войн — это произошло только уже при Нероне и Флавиях, — и осторожный Август избегал затрагивать какие-либо сомнительные политические вопросы. Даже исторические сочинения могли вызывать опасные для принципата размышления. Драматургия времени Августа не поднялась до наиболее актуальной и воздействующей на массы литературной формы³; возможно также, что театральное представление, будучи массовым действием, могло тоже привести к каким-нибудь неприятным для Августа неожиданностям. Поэзия же, эпическая и лирическая, как будто наиболее далекая от злободневности, давала в то же время возможность в менее заметной и навязчивой, но в прозрачной и эстетически привлекательной форме проводить те тенденции, какие были желательны Августу. Для распространявшейся при Августе формы исполнения новых произведений перед публикой — «рецитаций» — стихотворения тоже были легче и удобнее при восприятии на слух, чем проза.

³ Кроме подлинно римской и в то же время подлинно литературной комедии Плавта и лишь отчасти Теренция, Риму не удалось создать драмы для театра; трагедии Сенеки, близкие к «золотому веку», — драмы для чтения, а не для театра.



Август
1 в. н. э. Мрамор

Каковы бы ни были цели, которые преследовал Август, ему можно поставить в заслугу то, что, покровительствуя поэтам и сознательно используя их талант для поддержки своей политической линии, он все же не стеснял их настолько, чтобы задуть и исказить этот талант. Он и сам был не чужд литературной деятельности и сумел выбрать себе приближенных, соединявших с государственной и даже военной карьерой литературные интересы, умевших и желавших находить и привлекать к себе одаренных людей и, направляя их творчество как было угодно принципсу, все же не лишая их свободы действий. Наиболее значительными из этих приближенных Августа были Марк Валерий Мессала Корвин, Гай Асиний Поллион и Гай Цильний Меценат.

Эти три деятеля пришли к сотрудничеству с Августом разными жизненными путями и были, как люди, различны по характеру. Валерий Мессала родился в 64 г. до н. э. и умер в 13 г. н. э. Он успел еще при жизни Цицерона пройти школу красноречия, учась с сыном Цицерона и с Горацием в Афинах. Так же, как Гораций, он воевал в войске Брута, после поражения Брута перешел к Антонию, при столкновении же Антония с Октавианом — к Октавиану, на стороне которого и участвовал в битве при Акции. В первую очередь он был военным; он командовал на Востоке и в Галлии и пользовался большим уважением Августа, который в 27 г. до н. э. устроил ему триумф. Его собственное литературное творчество было разнообразно: у позднейших авторов (Квинтилиана, Светония, Харисия) упоминаются его исторические сочинения (о правлении Антония), грамматические excursus (об употреблении буквы s), генеалогическое сочинение о своей родословной и речи, по стилю сходные с Цицероновыми. Он хорошо знал греческий язык, занимался переводом речей греческих ораторов и писал по-гречески буколические стихотворения.

Иную политическую позицию занял с самого начала по отношению к Августу Асиний Поллион. Он родился в 76 г. до н. э. и успел принять участие в походах Цезаря, при котором начал быстро возвышаться. После смерти Цезаря, оставшись в Италии, он стал сторонником Октавиана и сохранил свое высокое положение; в 40 г. он занимал должность консула, потом воевал в Иллирии, но после триумфа по поводу взятия Салонны в 39 г. вышел в отставку и до своей смерти в 5 г. н. э. жил частным человеком; участвовать в битве при Акции против Антония он отказался. Возможно, что он уже заранее предвидел неизбежность столкновения между Антонием и Октавианом и устранился от политики; свой отказ ехать с Октавианом на войну против Антония он не побоялся мотивировать именно своими прежними дружественными отношениями с ним.

Асиний Поллион был плодовитым писателем: он написал несколько трагедий, речи, письма и историческое сочинение, начинающееся с 60 г. до н. э. Об утрате этого сочинения следует очень пожалеть; Асиний Поллион был сам участником многих событий между 60 и 40 гг. и, судя по его резкому критическому отзыву о «Записках» Цезаря (Светоний «Цезарь», 56), которого он упрекает в преднамеренном или невольном искажении фактов, его «История» давала иное освещение тех событий, о которых рассказывает Цезарь. Вообще, Поллиону, по-видимому, было свойственно критическое, придирчивое отношение к сочинениям других писателей; у разных авторов приводятся его суровые критические отзывы о Тите Ливии, Саллюстии, Катulle, причем его порицание относится большей частью к мелким погрешностям в языке.

Поллион учредил в Риме первую публичную библиотеку и первый начал устраивать общественные выступления писателей и поэтов перед

публикой, получившие название рецитаций и внесшие большое оживление в литературную жизнь этого времени.

Третий и наиболее известный приближенный Августа — Меценат, имя которого как покровителя искусств стало нарицательным, родился между 74—64 гг. до н. э. и умер в 8 г. до н. э. Гай Меценат был потомком знатного, но небогатого рода, по преданию, происходившего от этрусских царей, по матери же был связан с римским родом Цильнеев. После смерти Цезаря он решительно примкнул к Октавиану, много раз оказывал ему дипломатические услуги, содействовал заключению мира с Секстом Помпеем и брундисийского мира с Антонием.

После победы Октавиана Меценат отошел от политики, но Август и в дальнейшем охотно прислушивался к его советам. Меценат сам был поэтом и писал посредственные стихи в неотерическом духе, почти не сохранившиеся. Среди поэтов своего поколения он разглядел и привлек к себе троих самых талантливых: Вергилия, Горация и Вария. Вокруг них в начале 30-х годов до н. э. сплотился небольшой кружок, который и стал центром литературной жизни Рима. В него входили поэт Домиций Марс, драматурги Мелис и Фунданий, критики Аристий Фуск и Квинтилий Вар и др. Близок к кружку Мецената был и Асиний Поллион.

Поэтам кружка Мецената пришлось упорно бороться за признание. Борьба велась на два фронта: против эпигонов-неотериков и против архаистов — поклонников древней республиканской литературы. Жизнеописание Вергилия сохранило сведения о яростных нападках критики на «Буколики» и «Энеиду». Гораций в сатирах полемизировал с поклонниками и продолжателями Луцилия, а в послании к Августу жаловался на завистников, которые аплодируют древним произведениям из ненависти к новым («Послания», II, 1, 88—89). Писатели кружка Мецената повели против своих соперников организованное наступление. Первоначальное распределение сил на этом поэтическом фронте описывает Гораций в 10-й сатире I книги: Фунданий пишет комедии, Поллион — трагедии, Варий — эпос, Вергилий — буколики, а сам Гораций — сатиры. История здесь не упомянута: в этой области позиции нарождающегося принципата защищал Саллюстий, не входивший в кружок Мецената. После смерти Саллюстия силы были перераспределены: Асиний Поллион занялся историей, Варий — трагедий, Вергилий — эпосом; немного позже перешел от сатир к лирике Гораций. В этих жанрах они и стяжали самую громкую славу.

Успех новой литературной школы был быстрым. Десятая сатира Горация издана в 35 г. до н. э., а в 29 г. Вергилий уже читает возвращающемуся в Рим победоносному Октавиану свои «Георгики». В том же году на играх во время триумфа Октавиана была поставлена знаменитая трагедия Вария «Фиест». Около этого же времени Тит Ливий начинает свой исторический труд во славу римского народа. В 23 г. Гораций издает три книги своих од. Спустя четыре года умирает Вергилий, не успев закончить свою «Энеиду», но по приказанию Августа Варий издает поэму в том виде, в каком оставил ее автор. Наконец, в 17 г. до н. э. на юбилейных празднествах, знаменовавших наступление нового, блаженного века, звучит торжественный гимн, сочиненный Горацием.

Во всех этих произведениях прямые славословия Августу занимают сравнительно немного места. Но по идейной концепции они являются подлинной апологией нового режима. Гораций в одах оштракивает всеобщую безнравственность, воцарившуюся в пору гражданских войн, и как перед богом преклоняется перед Августом, воскресителем древних

доблестей. «Георгики» Вергилия откликаются на самую жизненную проблему эпохи — восстановление мелкого и среднего крестьянского хозяйства как залог дальнейшего процветания Рима. Сочинение Ливия описывает добродетели предков, возрожденные Августом, и путь Рима к мировому владычеству, заверченный Августом. Наконец, «Энеида» является как бы синтезом важнейших тем и идей эпохи: повествование о легендарном прошлом переплетается в ней с пророчествами о наступающем будущем, и прославление троянской и латинской доблести служит прославлению рода Юлиев. Историческая миссия Рима и историческая миссия Августа сливаются здесь воедино.

Новые настроения требовали нового стиля. В юношеских произведениях Вергилия и в ранних эподах Горация еще чувствуется сильное влияние поэтов-неотериков. Однако поэтика неотеризма была плохо приспособлена для пропаганды официальной идеологии. Индивидуализм эллинистической поэзии противоречил пафосу возрождаемой римской государственности. Поэтому поэзия века Августа ориентируется не на эллинистическую, а на классическую греческую поэзию. Власть принцепса, приемлемая для всех сословий, была политическим идеалом эпохи Августа; греческая классика, приемлемая для всех художественных направлений, — эстетическим идеалом. Римская литература вступает в открытое соперничество с греческой. «Энеида» для Проперция «важней Илиады самой» (II, 34, 65—66); Гораций гордится тем, что он подарил Риму ионийские ямбы и эолийские песни («Послания», I, 19, 23—24; «Оды», III, 30, 13—14); трагедии Асиния Поллиона считаются «достоинными Софоклова котурна» (Вергилий, «Буколики», 8, 10).

В свете таких эстетических идеалов поэты века Августа перерабатывают наследие своих предшественников. Важность Энния и Акция соединяются с изяществом неотериков. Слог Вергилия перенимает некоторые особенности слога Лукреция, темы «од» Горация являются в значительной степени отголосками тем Катуллы; но в поэзии Вергилия и Горация и этот слог, и эти темы становятся качественно новыми. На смену поискам приходит освоение достигнутого, на смену смятению — гармония и ясность. Катулл стремился в лирике к самовыражению, Гораций стремится воплотить в ней красоту. Саллюстий писал свою историю с памфлетной резкостью, Ливий пишет свою с эпически величавым спокойствием. Культура эпохи Августа стремится подвести итоги культуре предшествующих эпох: лучший пример — монументальные труды Ливия и Веррия Флакка (сохранившиеся лишь в малой части). В то же время культура эпохи Августа сама становится образцом для культуры позднейших эпох: нормы поэтической речи, выработанные Вергилием и Горацием, канонизируются, «Энеида», надолго становится идеалом «национальной эпопеи».

Однако уже в эту пору «золотого века» становятся заметны первые признаки упадка. Расцвет литературы при Августе был неполным и недолгим.

Гибель Республики была гибелью римского политического красноречия. При новом строе политику направляло не решение сената или народного собрания, а «авторитет принцепса». Красноречие потеряло всякое общественное значение. С форума оно перешло в школы, где молодые люди из зажиточных семейств упражнялись в фиктивных судебных процессах и в риторических инсценировках исторических событий. Вместе с интересом к политике упал интерес к философии: на смену попыткам Цицерона создать связную эклектическую систему приходит господство вульгарного стоицизма уличных проповедников и вульгарного эпику-

реизма среди знати. Так называемая школа Секстиев, возникшая в Риме и сочетавшая в своем учении элементы Стои и неопифагореизма, не оказала ни малейшего влияния на литературу.

В целом к прозе эпохи Августа термин «золотой век» неприменим. Но и в поэзии расцвет был неполным. Новой школе так и не удалось овладеть театром. Асиний Поллион и Варий предлагали римской публике трагедии, Фунданий возрождал паллиату (Гораций, «Сатиры», I, 10, 41), Меллс — тогату (Светоний, «О грамматиках», 21), Гораций предлагал создать римскую сатирическую драму («Наука поэзии», 225 сл.); но театральным плебс всему предпочитал привычные формы ателланы и мима. А с конца 20-х годов до н. э. римскую сцену быстро начинает завоевывать новый, уже не литературный, а чисто зрелищный жанр — пантомима, род балета на сюжеты из греческой мифологии. Описание такого представления сохранил для нас Апулей («Метаморфозы», X, 29—34).

Еще важнее было другое обстоятельство. Литература эпохи гражданских войн была свободным выражением общественного мнения, и это делало ее реальной политической силой. В эпоху Империи выражение общественного мнения уже сковано правительственным контролем, а реальной политической силой стало войско. Судьба красноречия грозила распространиться на всю литературу и превратить ее в простое средство развлечения. Вергилий и Гораций еще избежали в своем творчестве этой участи. Они пережили бедствия гражданских войн, и принципат был для них не пустым словом, а выстраданным убеждением. В их поэзии идеалы века Империи были соединены с республиканской преданностью этим идеалам. Этим единством определялось общественное значение поэзии «золотого века». Но достаточно было явиться следующему после Вергилия и Горация литературному поколению, и это единство нарушилось.

Представителями этого следующего поколения были Тибулл и Проперций, чьи первые книги появились в начале 20-х годов. Следом за ними в литературу хлынула масса подражателей-дилетантов. Поэзия стала модой. «Все, кто учен, неучен, безразлично, — мы пишем поэмы», — признается Гораций Августу («Послания», II, 1, 117). Нам известны в лучшем случае только имена этих поэтов; но именно их творчество определяло общий характер литературы. Молодые поэты лишь смутно помнили ужасы проскрипций и Перусинской войны; Августов мир казался им незыблемым и не нуждающимся в поэтическом обосновании. Поэты старшего поколения начинали жизнь борьбой с республиканским неотеризмом и, отталкиваясь от него, создавали свою, классицистическую поэтику; для младших поэтов неотеризм был уже историческим прошлым, и они могли, не принимая его политических идей, принять его мотивы и образы и совместить их с классицистической отделкой языка и стиля. Их учителем был поэт-элегик Корнелий Галл, воспитанник неотериков; их организационным центром стал кружок Марка Валерия Мессалы. В этот кружок входили Тибулл, Лигдам, Сульпиция, Валгий Руф, молодой Овидий, а из старших поэтов — Эмилий Макр.

Неотерическая любовная лирика оформилась у молодых писателей в жанр любовной элегии, неотерическая ученая поэзия развилась в дидактический и мифологический эпос. Темы и приемы легко канонизировались, их небогатый репертуар был быстро исчерпан, начались перепевы. Уже стихи Овидия полны реминисценций из Тибулла и Проперция. Спасаясь от грозящего однообразия, элегия все больше насыщалась откровенной эротикой, дидактический и мифологический эпос старался поразить читателя неожиданными и малораспространенными сюжетами. Все творчество

Овидия, вплоть до неслыханной попытки сочинить панегирик Августу на гетском языке, представляет собой сплошной ряд жанровых экспериментов: преобразованный в лирику эпос («Героиды»), пародическая диалектика («Искусство любви»), переложенный стихами календарь («Фасты»). наконец, искусный монтаж множества мелких эпиллиев в большое эпическое целое («Метаморфозы») — все это явления, почти не имеющие precedентов ни в римской, ни даже в греческой литературе. Блестящий талант Овидия отсрочил кризис поэзии, но кризис был неизбежен.

Политическая актуальность исчезает из поэзии. Искренний восторг по отношению к Августу сменяется официозной лестью. Было бы преувеличением считать, что элегики и поэты их поколения стояли в открытой оппозиции к веку Августа. Их любимая тема — воспевание радостей мира и проклятия братоубийственной войне — вполне созвучна официальной идеологии. Их насмешкам над брачным законодательством Августа не следует придавать чрезмерное значение — такие насмешки были слишком распространены в ту пору. Покровитель элегиков Мессала давно уже не был республиканцем: именно он во 2 г. до н. э. поднес Августу титул «отца отечества». Проперций кончил воспеванием римской старины в IV книге элегий, Овидий подходил к тому же в «Фастах». Характерно известное заявление Овидия: «Я поздравляю себя с тем, что родился лишь теперь» («Искусство любви», III, 121—122).

Тем не менее аполитизм элегиков был тревожным признаком. Он означал, что гражданские войны уже забывались: в Августе переставали видеть спасителя. С каждым годом все отчетливее проявлялся монархический характер его власти. Это вызвало недовольство. Центром недовольства был сенат. Правда, еще не оформилась та сенатская оппозиция, которая появится при преемниках Августа. Но уже в эти годы ходят по рукам многочисленные памфлеты против Августа (Светоний, «Август», 55). Не обладая военной силой, сенат не мог поколебать власти принцепса, но мог поколебать его популярность. Это ему удалось. Особенно быстро распространились оппозиционные настроения среди знатной молодежи риторских школ. Затем они стали просачиваться и в литературу. Их отголоски можно найти в истории Помпея Трога.

Август искал поддержки в литературе, но уже не находил ее. Тит Ливий, все ближе подходя в своей «Истории» к современности, стал более открыто выражать свои республиканские симпатии. Асиний Поллион отошел от кружка Мецената и принял под свое покровительство оппозиционного историка грека Тимагена. Кружок Мецената под влиянием новых вкусов изменил свое лицо. Вергилия и Вария не было в живых, зато в кружок вошел Проперций. Старейший Гораций всеми силами защищал поэтические достижения своего поколения; его «Наука поэзии» — это прежде всего борьба против модного поэтического дилетанства. Но он не мог остановить исторически обусловленного развития литературы. С горечью он видит, как Август охладевает к поэзии («Послания», II, 1, 226—228).

В 8 г. до н. э. умирает Меценат, несколько месяцев спустя — сам Гораций. Союзу принцепса с литературой наступил конец.

В последние годы своего правления Август переходит к политике открытых репрессий в отношении литературы. В 8 г. н. э. он ссылает на Дунай Овидия, признанного вождем господствующего поэтического направления. С отъездом Овидия поэзия в Риме становится достоянием бесчисленных эпигонов и быстро приходит в упадок. Спустя несколько лет в Риме публично сжигаются книги «Истории» Лабиена, виднейшего представителя оппозиции. Сам Лабиев покончил самоубийством. Около этого

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

же времени был сослан на Крит оратор и памфлетист Кассий Север, один из талантливейших воспитанников риторских школ.

Так приходила к концу блестящая эпоха Августа — так называемый «золотой век» римской литературы. Время ее высшего расцвета может быть определено с достаточной точностью: это 29—13 гг. до н. э. — годы появления «Фиеста» Вария, «Георгик» и «Энеиды» Вергилия, «Од» Горация, элегий Тибулла и Проперция. Напротив, начало и конец «золотого века» — моменты условные. Страстная политическая и литературная борьба конца 40-х и начала 30-х годов до н. э. был непосредственным продолжением бурной идейной жизни предшествующего, цicerоновского периода. А затишье культурной жизни, оскудение талантов, внешнее раболепие и внутренний аполитизм литературы последних лет правления Августа свидетельствуют о наступлении того упадка литературы, который характерен для времени Тиберия — Калигулы.



Глава XXIV

ВЕРГИЛИЙ

1. Биография Вергилия.— 2. Произведения Вергилия.— 3. Мировоззрение Вергилия.— 4. «Эклоги», или «Буколики».— 5. «Георгики».— 6. Мелкие сочинения, приписываемые Вергилию.— 7. «Энеида».— 8. Источники «Энеиды».— 9. Римские мотивы в поэме Вергилия.— 10. Композиция и художественные приемы «Энеиды».

1. БИОГРАФИЯ ВЕРГИЛИЯ

Вергилий (полное имя — Публий Вергилий Марон — P. Vergilius Maro) родился недалеко от Мантуи в 70 г. до н. э. Происхождения он был весьма незнатного: по одним данным, его отец был ремесленником (горшечником), а по другим — поденным рабочим у государственного чиновника Магия, на дочери которого он впоследствии женился. Имел ли Вергилий братьев и сестер, неизвестно. Судя по тому хорошему образованию, которое ему дали его родители, они, по-видимому, достигли известного достатка. По смерти отца Вергилий наследовал от него небольшое поместье в окрестностях Мантуи.

Свое образование по обычному в то время типу — в риторических школах — Вергилий получил в Кремоне, Медиолане и Риме. Однако никаких ораторских способностей он не проявил, в суде выступил только один раз, скоро вернулся на родину и поселился в своем имении, где занимался сельским хозяйством и литературным трудом. В 40-х годах (точная дата неизвестна) он издал несколько стихотворений, названных «Буколиками», или «Эклогами», и, по-видимому, обратил ими на себя внимание Асиния Поллиона, пользовавшегося в эти годы большим влиянием и занимавшегося не только политикой, но и литературой. Поэтому когда в 44 г., после окончательного разгрома последних сил сенатско-республиканской армии при Филиппах, победоносные диктаторы Октавиан и Марк Антоний начали награждать своих ветеранов земельными наделами в Северной Италии и Вергилию грозила в связи с этим конфискация его имения, Асиний Поллион — а может быть, и другие влиятельные поклонники Вергилиевых «Буколик» — заступился за него перед Октавианом. Вергилию было возвращено его поместье, но ненадолго. К этому времени относится та эклога, которая в собрании обычно помещается на первом месте. В 41 г. ему все же пришлось покинуть свою родину и переселиться в Рим, где его благодетели (в числе которых, кроме Асиния Поллиона, был известный покровитель искусства Меценат) своими заботами и крупными подарками обеспечили ему полное благосостояние. У Вергилия был собственный дом в Риме, где он, однако, не жил постоянно, проводя большей частью свое время в Южной Италии и в Сицилии. В эти годы он закончил свое второе большое произведение — «Георгики» (между 37 и 30 гг.). Оно посвящено Меценату, но, по-видимому, написано согласно желанию, высказанному самим Октавианом, кото-

ВЕРГИЛИЙ

рый стремился к упрочению своей власти путем показной пропаганды «возвращения на землю» жителей Италии.

С 29 г. до самой смерти Вергилий работал над своим крупнейшим произведением — эпической поэмой «Энеида» в 12 книгах. Он не считал ее законченной и читал своим друзьям и самому Августу только некоторые окончательно отделанные книги. Поэтому перед смертью Вергилий завещал не издавать ее, а сжечь. К счастью, Август не позволил сделать этого, а приказал издать поэму в том виде, в каком ее оставил Вергилий. Поэтому в «Энеиде» местами остались незаконченные гексаметры, а также имеются некоторые неувязки в содержании.

Несмотря на спокойный образ жизни, который вел Вергилий, он был слаб здоровьем, и первое далекое путешествие погубило его; пятидесяти лет от роду он отправился в Грецию и Малую Азию, намереваясь ознакомиться с географией тех мест, по которым странствовали герои его «Энеиды», но, доехав только до Афин, он тяжело заболел, немедленно вернулся в Италию и умер сейчас же после высадки в Брундисии — в 19 г. до н. э. Его прах был перенесен в Неаполь, где Вергилий провел последние годы жизни. На его могильном камне была высечена эпитафия.

Мантуей был я рожден, в Калабрии умер; лежу я
В Партенопее; я цел пастбища, села, вождей.

2. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕРГИЛИЯ

Вергилий не был плодовитым писателем и над своими стихами работал тщательно и долго. От него остались уже упомянутые три крупных произведения, все написанные гексаметром.

1) Сборник из десяти «буколических стихотворений» (*Carmina bucolica*), более известных под названием «Эклоги». Эти стихотворения были сочинены между 50 и 41 гг. и изданы самим Вергилием.

2) Поэма «Георгики» в 4 книгах.

3) «Энеида» в 12 книгах.

Кроме того, Вергилию приписывают ряд мелких стихотворений (так называемый сборник «*Catalepton*») в разных метрах; они примыкают по характеру и стилю к эллинистическим эпитаграммам и стихотворениям римских неотериков, особенно Катуллу. Действительно ли все стихотворения этого сборника принадлежат Вергилию, установить не удалось. В рукописях произведений Вергилия есть еще несколько небольших поэм.

3. МИРОВОЗЗРЕНИЕ ВЕРГИЛИЯ

Детство, а в особенности молодость Вергилия прошли в чрезвычайно тяжелое и сложное для Римского государства время. В 50-х годах в Риме шла непрерывная борьба между группировками Цезаря и Помпея. В Галлии Цезарь вел каждое лето свои победоносные завоевательные экспедиции, а зимой нередко производил новые наборы, причем Северная Италия и долина По в первую очередь постоянно страдали от этой угрозы. В 40-х годах через Северную Италию все время катились волны гражданской войны: поход Цезаря на Рим, его поход на Массилию, войны в Испании, а после смерти Цезаря — Мутинская и Перусинская войны, столкновения Антония с Октавианом. Все эти события, если даже не касались непосредственно родины Вергилия, неминуемо должны были поддерживать в мелких землевладельцах, последних остатках некогда мощного

италийского свободного земледельческого населения, чувство неуверенности в завтрашнем дне и желание скорейшего наступления мира.

Три произведения Вергилия представляют собой три этапа его отношения к политической обстановке, его окружавшей. Его первые «буколики» (II и III) — это почти еще «искусство для искусства»; однако именно на эти совершенно аполитичные произведения обращают внимание Октавиана его приближенные, прося защитить поэта от разорения. Исполнение их просьбы уже ведет за собой внесение политической тенденции в эти самые произведения «чистого искусства»: I эклога звучит похвальной песней Октавиану, а IV, написанная, вероятно, после переезда Вергилия в Рим, восхваляет уже не Октавиана лично, а тот «золотой век», приближение которого, по мысли поэта, связано с прекращением войн.

Еще более ясна политическая тенденция его земледельческой поэмы — «Георгики». Жизнь земледельца, трудностей которой Вергилий не скрывает, изображается им тем не менее настолько более привлекательной, чистой и радостной, чем жизнь горожанина, что приходится признать прозорливости Октавиана, выбравшего для необходимой ему политической пропаганды именно Вергилия. Гораций, воспеваящий прелести своего тибурского поместья, не может идти с ним в сравнение потому, что Гораций всегда остается горожанином, отдыхающим на «даче» и ценящим только те удовольствия, которые она может дать. Вергилий же на всю жизнь остался сельским хозяином, только изредка выезжающим в город и любящим даже некоторые неудобства и трудности деревенского быта.

Однако не от тех естественных и повседневных трудностей, о которых Вергилий упоминает, страдало в эти времена земледельческое население Римского государства; не муки и не жара дожимали его и заставляли бросать землю и идти бедствовать в Рим или воевать в чужих странах, а рост латифундий, на которых даровой рабский труд приносил владельцам неизмеримые прибыли. Дешевые земледельческие культуры злаков заменялись дорогими виноградниками, а плодородные прежде поля часто обращались в пастбища для огромных стад. Обо всем этом в «Георгиках» Вергилия нет ни слова. Он изображает труд земледельца как прочный, надежный, способный прокормить трудящегося; опасностей, угрожающих успеху труда земледельца, он не скрывает, но это опасности естественно-порядка — грозы, наводнения, засухи, эпидемии, а не угроза потери своего политического и общественного лица, угроза, гораздо более страшная, чем даже те эпидемии или недороды, которые картинно описывает Вергилий.

Наконец, последнее, крупнейшее произведение Вергилия, написанное по непосредственному заказу Октавиана, — «Энеида» имеет еще более ясную политическую установку. Даже если бы не было известно, что первоначально Октавиан выразил желание получить от Вергилия поэму о своих собственных подвигах, развернутую на историческом фоне великого прошлого Юлиев, считавших себя потомками Венеры через Энея и его сына Аскания-Иула, то и тогда было бы ясно, что «Энеида» — поэма, написанная по определенному политическому заданию. Вся судьба Рима в ней предопределена богами; каждый шаг Энея заранее предначертан, Эней является только точным исполнителем воли богов; он сам это знает и неоднократно подчеркивает. Отправляясь в Италию и вступая в войну с латинами, он действует не наобум, он заранее знает, что победит латинов и что его потомки будут властвовать в Италии; он знает и то, что, несмотря на долгий и трудный исторический путь, вершина будет достигнута и что этой вершиной будет правление Августа. Такова основная мысль всей «Энеиды», не упичтожающая, конечно, всех ее огромных художественных до-

стоинств, но местами все же слишком упорно навязываемая читателям, среди которых, несомненно, можно было встретить немало лиц, не испытывавших восторга перед принципатом Августа. О том, что это было именно так, свидетельствует тот факт, что еще Асконий Педиан (нач. I в. н. э.), первый комментатор Вергилия, написал книгу в защиту поэта от его противников (см. Донат, «Жизнеописание Вергилия», 46).

Нередко исследователями Вергилия ставился вопрос — насколько искренним было со стороны поэта восхваление Августа и его режима. Несомненно, известная доля искренности в отношениях Вергилия к Августу есть; она вытекает из личной благодарности поэта за то, что ему дали возможность безбедно существовать и заниматься литературой, что для него, как для человека, явно избегавшего участия в государственной и общественной жизни, было очень ценно. Мир, установившийся после непрерывных войн и внутренних политических бурь, длившихся почти сто лет, тоже был приветствуем, в особенности теми мелкими собственниками, из среды которых вышел Вергилий. В первые годы своего принципата Октавиан предусмотрительно старался не вызывать у подданных представления о единоличности своей власти, поддерживал иллюзию восстановления республиканских учреждений, авторитета сената и нравов предков; империя в форме полной централизации управления и замены законов личной волей или произволом императора вступила в свою полную силу только при Тиберии. Все эти обстоятельства могли внушить такому человеку, как Вергилий, стоявшему по существу далеко от реальной политики, представление о более благополучном политическом положении, чем то, какое было на самом деле.

Однако имеется и ряд указаний на то, что Вергилий далеко не так покорно и безоговорочно выполнял все предназначения Октавиана. Он редко и неохотно приезжал в Рим. Он выполнял «Энеиду» не в том виде, в каком ее хотел видеть Октавиан, т. е. не как поэму о его подвигах на мифологической основе подвигов Энея. Напротив, он написал поэму на мифологический сюжет, используя все свое обширное знакомство с предшествующей литературой, начиная с Гомера, и лишь сгруппировал все разнообразие событий и картин вокруг основного политического стержня поэмы; вряд ли также только по причинам чисто литературного свойства он просил сжечь ее после его смерти. Наконец, его желание, о котором говорят все его биографы, навсегда уехать из Рима после окончания «Энеиды», бросить литературные занятия и всецело предаться изучению философии, тоже свидетельствует о том, что он рассматривал работу над «Энеидой» скорее как необходимость, как выполнение порученного ему дела, чем как свободное литературное творчество. К такому образу мыслей Вергилий был склонен и ввиду своих симпатий к учению стоиков. Он, по-видимому, твердо верил в рок и в предопределение, в согласии с философией поздней Стои, представитель которой Посидоний считал мировой порядок заранее установленным и абсолютно необходимым до мельчайших подробностей. По учению стоиков, человек может лишь отчасти угадывать отдельные моменты этого порядка путем гаданий, магических обрядов и обращения к оракулам; никакая борьба с роком невозможна, и различие между неразумным человеком и мудрецом заключается лишь в том, что неразумный человек сопротивляется року, но все равно вынужден поступать согласно с его велениями, мудрец же свободно подчиняется необходимости. Эта философия пассивности, признания существующего порядка единственно возможным, требование самоуглубления и отхода от внешнего мира без попыток изменения его и была, по-видимому, той системой, которая удовлетворяла Вергилия. Такое отношение к миру и к своей судьбе

носит в себе многие черты религиозности, отличающие его от чисто рационалистических философских систем; в этом же заключается и отличие поэмы Вергилия от совершенно иррелигиозных поэтических произведений эллинизма, в частности от «Аргонавтики» Аполлония Родосского, с которой она во многих художественных чертах соприкасается. В соответствии со своим идеалом Вергилий и создал образ главного героя своей поэмы, сходство которого со стоическим пассивным «мудрецом» уже не раз отмечалось исследователями творчества Вергилия. Сообразно этому идеалу провел и сам Вергилий свою не очень долгую, тихую и уединенную жизнь.

4. «ЭКЛОГИ», ИЛИ «БУКОЛИКИ»

«Эклоги» Вергилия дошли до нас в виде сборника из 10 стихотворений. Порядок расположения их во всех рукописях один и тот же; по-видимому, он был установлен давно, вероятно, даже самим автором¹. Однако этот порядок едва ли совпадает с хронологической последовательностью, в которой эти стихотворения создавались. Хотя, конечно, не может быть речи о точном установлении такого хронологического порядка, но известная группировка эклог по некоторым характерным признакам все же может быть сделана. Такими критериями можно считать, во-первых, меньшую или большую пронизанность той или другой эклоги политической тенденцией, обращающей «буколизм» эклог в чисто литературную форму; во-вторых — меньшую или большую зависимость от греческого образца эклог — от «Идиллий» Феокрита; и, наконец, степень владения литературной техникой — композицией и стихом. Ни один из этих признаков, взятый в отдельности, не может, конечно, считаться решающим, но совпадение их — а это как раз имеет место в эклогах — все же даст возможность наметить последовательность если не отдельных стихотворений, то их групп. С такой точки зрения можно предположить, что наиболее ранними являются II и III эклоги, носящие чисто буколический характер, лишенные намеков на современные Вергилию события и очень близко примыкающие к греческому оригиналу. Явные отклики на современность встречаются в эклогах I, V, VII, VIII и IX, причем эти отклики носят то литературный, то уже явно политический характер. Несколько особняком стоит эклога X, посвященная поэту Корнелию Галлу. Наконец, совершенно своеобразными самостоятельными стихотворениями являются эклоги IV и VI, из которых первая вызвала своим загадочным содержанием во все времена такой интерес исследователей, что вокруг нее создалась огромная литература.

Эклоги II и III, составляющие первую группу, чрезвычайно близки к своему греческому образцу. Возможно, что на первых порах Вергилий ставил себе задачу перевести «Идиллии» Феокрита на латинский язык, как незадолго до него Варрон Атацинский перевел гораздо более трудное и длинное произведение эллинистической эпохи — «Аргонавтику» Аполлония Родосского; на это предположение наводит дословная точность передачи отдельных стихов, которых именно в этих двух эклогах особенно много.

Вторая эклога не включает в себе ни одного намека на современность, а в III же эклоге, построенной в традиционной буколической форме состязания певцов, уже содержится обращение к приближенному Октавиана Асиянию Поллиону и насмешки над плохими поэтами, современниками Вергилия, Бавием и Мевием.

¹ Эклогу, помещенную десятой, Вергилий называет «последним трудом» (*extremum laborem*). Это, однако, не означает, что она была и написана последней.

Эта эклога использована Вергилием как обрамление для высказывания своих литературных вкусов.

Теснейшая связь с Феокритом отражается почти в каждом стихе. Использование стихотворений Феокрита, однако, очень своеобразно: это — метод непрерывной контаминации, вследствие чего эти две эклоги становятся сходны с теми сочинениями поздних греческих и латинских поэтов IV—V в. н. э., которые получили название «доскутных» стихов (*septones*).

В эклогу II включены стихи из III, VII, XI, VI, VIII и X идиллий Феокрита, в эклогу III — из I, IV, V, VIII, VI, XI и VII. Иногда стихи переведены дословно (ср., например, Вергилий, II, 25—26 и Феокрит, VI, 34—35). Иногда в них изменены лишь имена, но сохранен даже строй предложения (Вергилий, III, 69 и Феокрит, XI, 72; Вергилий, III, 1—2 и Феокрит, IV, 1—2).

Контаминация, применяемая в таких неумеренных масштабах, не может не повлиять на ценность художественного произведения; и действительно, ни II, ни III эклоги не оставляют цельного художественного образа, так как стихи, взятые из одной идиллии Феокрита не гармонируют с заимствованными из другой. Так, например, в XI идиллии Феокрита приглашение Киклопом Галатее в пещеру и его надежда пленить ее букетом цветов, пабравших в горах, звучит совершенно естественно, приглашение же во II эклоге одним пастухом другого пастушка на житье в хижину и попытка соблазнить его корзиной цветов совершенно необоснованна, так как пастушок и без того живет в хижине и может набрать себе сколько угодно цветов.

Однако было бы большой ошибкой считать эти эклоги исключительно подражательными и поэтому лишеными всякой ценности.

Более самобытный характер, типичный для дальнейшего творчества Вергилия, носят эклоги I, V, VII, VIII и IX. Все они являются диалогами и в той или иной форме изображают состязание или беседы пастухов. Эклоги VII и VIII еще тесно связаны со своим греческим образцом, но стихов, буквально переведенных, уже значительно меньше; Вергилий все еще заимствует и мысль, и композиционную форму у Феокрита, но сильно варьирует и то, и другое.

Если VII и VIII эклоги можно считать хотя и более самостоятельными, но все же чисто литературными упражнениями Вергилия, то эклоги I и IX носят уже совсем иной характер. И та и другая имеют непосредственное отношение к судьбе самого Вергилия: в I эклоге он рисует покидающего родину пастуха Мелибея, потерявшего землю из-за раздачи ее ветеранам; себя Вергилий изображает под именем Титира — он сохранил свое поместье благодаря защите того юноши, которому

Дней по дважды шести алтари наши курятся дымом².

(ст. 44)

Однако, несмотря на личную удачу, восхваление Августа и клятву, что «его образ никогда не исчезнет из памяти» Титира — Вергилия, поэт все же в нескольких стихах набрасывает мрачную картину последствий гражданской войны:

Паром, возделанным так, овладеет воин безбожный,
Варвар — посевами. Вот куда несогласье несчастных
Гражданин у нас привело! Для них мы поля засевали?

(ст. 70—72)

² *Bis senos cui nostra dies altaria fumant.*

Цитаты из «Буколик» и «Георгий» даются в переводе С. Шервинского (Вергилий. Сельские поэмы. М.—Л., «Academia», 1933).

Даже начало эклоги — противопоставление одного человека, сохранившего свою землю, множеству людей, лишившихся родины, — звучит невесело:

Вот я родные поля покидаю и милые пашни,
Я из отчизны бегу. Ты же, Тигир, под тенью покоясь,
Учишь леса повторять Амариллиды имя прекрасной.

(ст. 3-5)

Недолго продолжалось и кажущееся благополучие самого Вергилия, и IX эклога говорит о прощании Вергилия с родиной; даже жизнь поэта подвергалась опасности, и он горько жалуется на то, что его песни не защитили его; он включает в эклогу IX несколько стихов из своих прежних эклог и из Феокрита, упоминает о каком-то незаконченном стихотворении к Алфену Вару, в котором он, очевидно, просил этого правителя и полководца пощадить Мантуанские земли.

В этой же эклоге есть намек на все более жестокое отношение к поселенцам, изгоняемым с земель.

Исключительно внешней является буколическая обстановка в эклоге V. В ней пастух Мопс поет печальную песню о смерти юного Дафниса, а пастух Меналк утешает его песней об обожествлении того же Дафниса. С «плачем над Дафнисом» из I идиллии Феокрита эта эклога не имеет почти ничего общего, кроме имени Дафниса. Пастух-певец представляется здесь каким-то могущественным правителем, почти божеством, научившим людей земледелию и разведению виноградных лоз; его образ сближается с Вакхом — «он даже запрягал тигров в свою колесницу»; ему будут куриться алтари по всему миру, за его звездой будут следовать мореплаватели и т. п. Здесь скрыта несомненно какая-то политическая аллегория; были предположения, что под Дафнисом подразумевается Юлий Цезарь, но доказать это невозможно. Если это действительно так, то использование образа мальчика-пастуха для изображения Цезаря весьма неудачно. В этой эклоге склонность Вергилия к гиперболам и пафосу выступает ярче, чем в других буколиках; заимствуя некоторые образы опять-таки у Феокрита, Вергилий преувеличивает их, тем самым снижая их наивную трогательность. Так, у Феокрита над умирающим Дафнисом «даже лев из трущобы заплакал». У Вергилия же «рыдают все африканские львы»; непонятно, какое отношение они имеют к сицилийскому мальчику-пастуху. Но стих в этой эклоге разработан уже очень тонко и приближается к позднейшим стихотворениям Вергилия.

Эклога X носит юмористический характер, для Вергилия необычайный; друга Вергилия, элегического поэта Корнелия Галла, покинула его возлюбленная, Ликорида (это имя засвидетельствовано как название сборника стихотворений самого Галла), безавшая с каким-то воином из Альп. Галл оплакивает ее измену, сокрушается и о своей судьбе, и о судьбе Ликориды, не привыкшей к холодам и военным походам.

Эклога IV обращена к какому-то новорожденному мальчику, при жизни которого, как предсказывает Вергилий, вернется на землю «золотой век». Так как в начале эклоги Вергилий обращается к Асинию Поллиону, бывшему в то время консулом (40 г. до н. э.), то наиболее распространенным мнением является то, что эта эклога посвящена новорожденному сыну Поллиона и все торжественные предсказания являются простым поздравлением родителей по поводу рождения ребенка. Сын Асиния Поллиона считал, что эклога IV посвящена именно ему. Согласно иному предположению, IV эклога относится к еще не родившемуся в то время



Август, Ливия и Тиберий
Камень I в. н. э.

ребенку Октавиана. Решение этого вопроса для истории литературы особого значения не имеет. Гораздо важнее то, что эта эклога — кому бы она ни была посвящена — свидетельствует о распространении в Риме времен начала принципата очень своеобразных эсхатологических верований, переносящих в будущее тот золотой век, который, по представлению классической мифологии, лежал в далеком прошлом³. Это — радикальная перемена в мировоззрении, влекущая за собой развитие спиритуализма и индивидуализма, стремление к личному усовершенствованию и сохранению своей души для иной, неземной жизни. Поэтому совершенно естественно, что именно за эту эклогу Вергилий стал считаться в средние века предтечей христианства и многие христианские богословы видели пророчество о рождении Христа в следующих стихах:

Дева приходит опять, приходит Сатурново царство,
Слова с высоких небес посылается новое племя.
(ст. 6—7)

Жизнь он получит богов, увидит героев с богами
Вместе, они же его увидят к себе приобщенным.
Мир покорится ему, усвоенный доблестью отчей.
(ст. 15—17)

³ См. Н. А. Машкин. Эсхатология и мессианизм в последний период Римской республики. «Изв. АН СССР, серия ист. и филос.», т. III, вып. 5, 1946.

Картина ожидаемого «золотого века» нарисована яркими красками; наступит необычайное плодородие, исчезнут все вредные растения и животные, невспаханная земля все будет приносить сама, и даже шерсть овец будет самой природой окрашена в разные цвета. Несомненно, эта картина не придумана самим Вергилием, а взята им из ходячих верований его времени. Особенно характерно то, что главная и важнейшая надежда возлагается на землю и только на землю; ни торговля, ни ремесла не дают и не дадут ни благосостояния, ни счастья — напротив, они должны погибнуть, и когда не будет ни мореплавания, ни орудий, земля все будет давать сама. Эта мечта о земле, кормилице и благодетельнице, очень типична именно для времени, когда обезземеление италийского крестьянства стало принимать катастрофические размеры, когда те, кто прежде владел землей, возделывал ее и кормился от нее, стали только мечтать о ней, и она из реальной величины превратилась в утопическую грезу. Выразителем именно этих фантастических надежд, возлагаемых на природу, на изменение ее отношения к человеку, надежд, особенно дорогих земледельцу, насильно оторванному от земли, и явился Вергилий.

5. «ГЕОРГИКИ»

Та подлинная, горячая любовь к земле и к сельской жизни, которую Вергилий сумел выразить даже в условных формах буколического эпиллия и которая отразилась в нарисованной им картине грядущего золотого века в IV эклоге, нашла свое более конкретное воплощение во втором произведении Вергилия — «Георгиках». Название этой поэмы происходит от греческого слова γεωργός — «крестьянин, земледелец», а основной темой его является изображение сельского хозяйства в его различных отраслях, изображение не деловое и сухое, а полное любви и поэзии.

Время, в которое Вергилий писал свои «Георгики», было не более спокойным, чем 40-е годы, когда создавались его «Эклоги»; правда, самого Вергилия бедствия 30-х годов уже не коснулись — он жил преимущественно в Неаполе, пользуясь покровительством Мецената. Но лишь недавно спасшись от последствий гражданских войн, он не мог оставаться равнодушным к тому, что гражданские смуты продолжались и что желанный мир опять отодвигался в неопределенное будущее, так как вспыхивавшие на краткий срок надежды на его установление (в 40 и в 37 гг.) оказывались обманчивыми. Политическая обстановка становилась все сложнее, и в ней трудно было разобраться даже более опытным политикам, чем Вергилий.

После поражения сенатско-республиканской партии при Филиппах осенью 42 г. Италии еще долго не было суждено успокоиться. Почти тотчас же после победы над Брутом и Кассием между триумвирами начались разногласия; брат Марка Антония, Луций, организовал восстание против Октавиана, известное под названием Перусинской войны; едва удалось закончить ее Брундисийским соглашением в 40 г., которое на короткое время возбудило надежду на установление мира, как снова подняли голову бывшие сторонники Помпея, и их предводитель, младший сын Помпея, Секст, повел борьбу и против Октавиана, и против Антония. Оба триумвира, между которыми уже опять начинали назревать разногласия, вновь объединились перед лицом общей опасности и подтвердили свою солидарность Тарентинским соглашением в 37 г., заключенным, как и предыдущее соглашение, в Брундисии, при содействии Мецената. В 36 и 35 гг. Октавиан и Антоний общими усилиями избавились и от Секста

Помпея, и от своего третьего товарища по триумvirату — Лепида. В это же время стала надвигаться опасность извне, и вплоть до 33 г. Антонию и Октавиану пришлось защищать границы. Антоний воевал на Востоке с парфянами, полководцы Октавиана — с иллирийскими племенами. В отсутствие Октавиана его сторонники Меценат и Агриппа деятельно агитировали в Риме в его пользу, пытаясь привлечь к нему и сенат, и плебс. Отношения с Антонием постепенно становились все хуже, и в 31 г. произошел окончательный разрыв, завершившийся битвой при Акци. После самоубийства Антония и Клеопатры, употребив весь 30-й год на замирение Египта и Востока, Октавиан осенью 29 г. окончательно вернулся в Рим и, справив трехдневный триумф, закрыл двери в храме Януса, что означало наступление мирного времени. Август «всех подкупил сладостью мира» (*Sunctos dulcedine otii pellexit*), — пишет о нем Тацит («*Анналы*», I, 2). Эти колебания политической обстановки и связанные с ними изменения в настроении среднего мирного римского гражданина нашли свое отражение в «*Георгиках*» Вергилия. Он начал писать их по поручению Мецената в начале 30-х годов. Окончание их не может быть отнесено позже начала 29 г., когда Октавиан вернулся в Рим полным победителем; и если можно верить свидетельству, исходящему от Аскония Педияна, что Вергилий писал «*Георгики*» семь лет, — то он, по-видимому, получил заказ Мецената в 37 г., т. е. в год Тарентинского соглашения. Возможно, однако, что он начал их и раньше, после Брундисийского соглашения в 40 г. Меценат был организатором обоих соглашений, а мысль использовать Вергилия как агитатора за мир могла прийти ему уже после написания Вергилием IV эклога (40 г.), так ярко выразившей мечту о земле и о мире.

В противоположность «*Эклогам*», представлявшим собой пестрое собрание различных тем и мотивов, «*Георгики*» — произведение, написанное на определенную единую тему и настойчиво проводящее одну мысль.

О том, что эта основная тема — возвеличение труда в жизни земледельца — была предложена Вергилию Меценатом, сам Вергилий говорит неоднократно, с каждым разом все яснее указывая, что он выполняет поручение Мецената. В начале I книги он только называет имя Мецената:

Как изобильный собрать урожай, под какую звездою
Землю взрывать, Меценат, и вязами связывать лозы
Следует...
Стану я здесь воспевать...

(I, 1—5)

Такое название имени в начале стихотворения могло, правда, быть просто посвящением уже готового труда (как, например, XI идиллия Феокрита посвящена Никию, а VI — Арату). Однако во II книге Вергилий уже яснее говорит о том, что Меценат является как бы сотрудником и участником его работы:

Будь же со мною и мне в начатой сопутствуй работе,
О украшеньи, о части моей величайшая славы,
Ты, Меценат! Полети с парусами в открытое море!

(II, 39—41)

Наконец, в III книге Вергилий прямо говорит, что он пишет эту поэму по «повелению» Мецената.

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ИМПЕРИИ

Мы за дриадами вслед пойдем к лесам и ущельям
Девственным! Ты, Меценат, нелегкое дал поведенье.
Ум не зачнет без тебя высокого...

(III, 10—13)

В IV книге он ограничивается, как в I, только упоминанием имени Мецената.

«Георгики» состоят из четырех книг, почти одинаковых по размеру (500—570 стихов). Каждая книга посвящена одной основной теме — определенной отрасли сельского хозяйства. Однако Вергилий затрагивает в «Георгиках» не все области сельского хозяйства, а только те, которые особенно важны для италийского земледельца как средство личного прокормления, а не как источник дохода. Книга I посвящена хлебопашеству, II — виноградарству и лесоводству, III — скотоводству и IV — пчеловодству; Вергилий лишь мимоходом говорит о плодовых деревьях (в связи с прививкой), не упоминает о разведении птиц и рыб, хотя продажа этих продуктов в город уже давно приобрела важное значение для крестьянского хозяйства, и совсем не затрагивает вопроса о работах, косвенно связанных с сельским хозяйством, например, о пряже и ткание шерсти и полотна, ковке сельскохозяйственных орудий и т. д. Характерной чертой «Георгик» является и то, что Вергилий ни одним словом не упоминает о способе ведения хозяйства с помощью рабов. Катон Старший, за 150 лет до Вергилия написавший практическое руководство по сельскому хозяйству, уже уделяет огромное внимание содержанию рабов, управлению ими, выбору вилика и надсмотрщицы за рабынями. У Вергилия же все его советы имеют в виду только самого хозяина участка; между тем вопрос о положении рабов и об управлении ими был особенно болезненным в то время, когда Вергилий писал «Георгики»: в войсках всех противников, боровшихся за власть, находились беглые рабы, а в войсках Секста Помпея их было так много, что войну против него Октавиан и Антоний официально изображали именно как борьбу с беглыми рабами. Поэтому такого вопроса осторожнее было не касаться.

С точки зрения композиции все четыре книги «Георгик» отличаются одной своеобразной чертой: помимо основной сельскохозяйственной темы каждой книги, в каждой книге имеется крупный эпизод, только косвенно связанный с этой темой. В конце книги I, излагая, в связи с правилами обработки и засева полей приметы погоды, Вергилий переходит к описанию тех примет и небесных знамений, которые можно было наблюдать в год смерти Юлия Цезаря. Этим он с самого начала показывает свои политические симпатии. В середине II книги между изложением правил прививки черенками и описанием работ по посадке лоз и слив вставлен хвалебный гимн Италии — одно из наиболее поэтических мест «Георгик». В III книге есть даже два совершенно разнохарактерных крупных эпизода. Она начинается своеобразным панегириком Октавиану. Вергилий описывает роскошный храм и театр на берегу реки Минция (возле Мантуи), который он посвятит Октавиану, и игры в его честь, на которых сто колесниц четверкой будут состязаться в бегах. Эта картина — чисто литературное украшение; Вергилий отнюдь не имел средств на такие постройки и празднества, и к тому же он во время работы над «Георгиками» уже давно покинул свою родину. Вернее, что под этим храмом, посвященным Октавиану, Вергилий аллегорически подразумевает ту поэму, в которой он намерен воспеть все его подвиги и о плаче которой он говорит через несколько стихов. Вторым эпизодом III книги является мрачная, очень сильно написанная картина моровой язвы, которая в начале I в.

до н. э. погубила огромные стада, пасшиеся в Норике (нынешний Южный Тироль и область Триеста).

Следует обратить внимание еще на одну особенность III книги по сравнению с I, II, IV. В то время как все советы, касающиеся хлебопашества, виноградарства и пчеловодства, могут относиться к любому мелкому землевладельцу и даже крестьянину, все то, что Вергилий говорит о скотоводстве, рассчитано не на маленькое хозяйство, которое ведется собственным трудом владельца, а на латифундию с огромными пастбищами, где пасутся табуны коней или стада рогатого скота и овец. Только в картине моровой язвы Вергилий выводит того, кому гибель даже одного домашнего животного — тяжелый удар; в ней изображен крестьянин, оплакивающий внезапную смерть одного из волов, которого эпидемия свалила на борозде.

Вот, однако, и вол, дымясь под плугом тяжелым,
 Падает, кровь изо рта изрыгает, с ней вместе и плену;
 Смертный стон издает; и пахарь уходит печальный,
 И, отпрягая вола, огорченного смертью дружки,
 Посередине труда оставляет врывшийся плуг свой.

(III, 515—519)

Вергилий много говорит о разведении и дрессировке кровных коней (для бегов, для войны), о выборе наилучших жеребцов-производителей, об обращении с жеребцами кобылами и т. п. Разведению же рогатого скота, который значительно более важен для земледельца, так как дает ему и рабочих волов, и молочные продукты, Вергилий уделяет гораздо меньше внимания.

Если в первых трех книгах «Георгик» эпизоды развертывались на фоне основной темы, то в IV книге такой эпизод составляет самостоятельное целое, сравнительно слабо связанное с основной темой. В первой части книги (315 стихов) Вергилий с большой любовью описывает жизнь пчел и уход за ними и заканчивает рассказ изложением странного суеверия, которое, однако, он передает, не выражая в нем сомнения, что пчелы зарождаются сами собой в разложившихся трупах убитых животных. Вторая половина IV книги (250 стихов) пересказывает миф, являющийся объяснением этого поверья: у пастуха-пчеловода Аристея погибли все пчелы и его мать, нимфа Кирена, посылает его к морскому богу Протею, который может открыть ему, за что его постигла такая кара. Протей говорит Аристею, что по его вине погибла жена Орфея, Эвридика, которая, убегая от его преследования, наступила на ядовитую змею и умерла; Орфей и нимфы, подруги Эвридики, за это покарала Аристея. Кирена приказывает сыну принести жертвы теням Орфея и Эвридики, убить несколько быков и телок и оставить их трупы в роще; на девятый день Аристей, придя в рощу, находит рой пчел, вылетающие из трупов.

Весь этот эпизод представляет собой самостоятельный этиологический эпиллий эллинистического типа, в котором соединены два мифа — об Аристея и об Эвридике.

Из рассмотрения композиции «Георгик» видно, что Вергилий, который в своем первом произведении, в «Эклогах», овладел композицией отдельных небольших стихотворений, не смог еще в «Георгиках» стройно расположить большой по объему материал; можно также представить себе, с каким трудом достиг он той широко задуманной и искусно выполненной композиции, которая характерна для его «Энеиды».

Основная тема «Георгик» развивается Вергилием на протяжении всех четырех книг, хотя и в несколько разных планах, по идеологическое

освещение этой темы, т. е. восхваление жизни селянина, ее идеализованный образ, дано Вергилием в основном уже в первых двух книгах в особенности в конце II книги.

Этот гимн Вергилия мирному сельскому труду звучит вполне искренно. Он подчеркивает, что достоинство жизни человека, близкого к земле, заключается не только в его личном счастье и спокойствии, а в том, что эта жизнь — честная, справедливая; Вергилий не раз употребляет слова *iustus*, *iustitia* (справедливый, справедливость):

О блаженные слишком, — когда б свое счастье знали, —
Жители сел! Сама, вдалеке от военных усобиц,
Им изливает земля справедливая легкую пищу.

(II, 458—460)

Верен зато их покой, их жизнь не знает ошибок.
Всем-то богата она! Зато на просторах досуги,
Своды пещер, живые озера, прохладная Тэмпэ,
В поле мычанье быков и сон под деревьями сладкий —
Это все есть. Там и рощи в горах, и звериные лого.
Там терпелива в трудах молодежь, довольная малым.
Вера в богов и к отцам почтенье. Меж них Справедливость,
Прочь уходя от земли, оставила след свой последний.

(II, 467—474)

Земледелец — основная опора родины:

А земледелец вспахал кривым свою землю оралом —
И обеспечен на год. Он родине этим опора,
Малым пенатам...

(II, 513—515)

Эту полную спокойного труда и радостей жизнь земледельца Вергилий противопоставляет беспокойной, утомительной и пустой жизни горожан, направленной на достижение богатства и почестей. Противопоставление это, правда, не является личным творчеством Вергилия; это — «общее место», риторический «топос», в который Вергилий вносит, однако, живые черты римской действительности: он рисует толпу клиентов, теснящихся утром у дверей патрона (II, 462), пустую гордость оратора, которому аплодируют в сенате или в комедиях (II, 508—509). Ко всему этому прибавляется осуждение любви к роскоши, так сильно развившейся в последний век Республики.

Существенным является вопрос, действительно ли верил Вергилий в возможность такой идеальной безмятежной жизни на лоне природы в той исторической обстановке, в какой он писал «Георгики». Трудно предположить, чтобы он, пострадавший сам от гражданской войны и видевший вокруг себя так много бедствий (ср., например, его слова о «несчастной Кремоце» — «Буколики», IX, 28), не понимал того, что его изображение сельской жизни совсем не соответствует действительности. Едва ли он искренно считал, что интересы сельского населения не затрагиваются политическими событиями, как он изображает это в следующих стихах:

Благополучен, кому знакомы и сельские боги,
Пап и старец Сильван и лимфы — сестры благие.
Связки — народная честь — и царский его не волнует
Пурпур, или Раздор, мятущий изменников братьев,

ВЕРГИЛИЙ

Или же дак, что от Истра спускается, с ним сговорившись;
Рима дела, обреченные царства... Здесь же не будет
Он немущих жалеть иль завидовать тем, кто имеет.
Он собирает плоды, которые ветви и ливы
Сами дают, он чужд железных законов; безумный
Форум ему незнаком, он народных архивов не видит...

(II, 493—502)

Однако такие беды, как набеги варваров и внутренние смуты в Риме, обрушивались именно на сельское население; также и военные наборы, необходимые для «гибели царств», касались в первую очередь мелких землевладельцев — крестьян.

Что Вергилий прекрасно видел недостижимость этого мирного идеала и его противоречие с окружающей действительностью, ясно из того глубоко пессимистического тона, которым окрашены две первые книги «Георгик». Только что закончив свое восхваление жизни земледельца, Вергилий тотчас же, в конце II книги, говорит о том, что эта жизнь отошла в далекое прошлое:

Древние жизнью такой когда-то жили сабины,
Так же с братом и Рем; так Этрурия выросла мощной.
Истинно, так же и Рим всего стал в мире прекрасней...
Жил Сатурн золотой на земле подобною жизнью.
И не слышали тогда, чтоб трубы надулись и чтобы
Начали копыя стучать, на крепкие древки воздеты.

(II, 532—534; 538—540)

В таком же грустном тоне написан рассказ о том, как совершился переход от века Сатурна к веку Юпитера, когда стало нужно бороться с землей за все, что она давала прежде сама, когда появились и ядовитые змеи, и болезни, и бедороды (I, 125—159).

Ухудшение мира все продолжается, конца ему не видно, и Вергилий возводит его в общий закон природы. Говоря о постепенном ухудшении посевного зерна, которое неминуемо наступает, в случае если оно не подвергается ежегодной сортировке, Вергилий проводит сравнение крайне пессимистического характера:

...Волею рока
Так ухудшается все и обратно, пятась, несется,—
Точно пловец, что едва челнок свой против течения
Движет на веслах, но лишь нечаянно рука ослабнут,
И уж стремительно вспять по наклону несом он потоком.

(I, 199—203)

Для изображения же современной ему действительности Вергилий находит только несколько горьких слов, ясно показывающих, что он не видит вокруг себя места для той *iustitia* (справедливости), которая представлялась ему достигнутой в жизни земледельца:

Правда с кривдою здесь смешались; все войны по свету...
Как разнородны лики злодейств! И нет уж оралу
Чести достойной. Поля засыхают с уходом хозяев:
И уж кривая коса на меч прямой перелита.

(I, 505—508)

В первых двух книгах «Георгики» Вергилий еще не видит выхода из этой всеобщей деградации. Несмотря на то, что он, как приверженец Мекената, решительно стоит на стороне цезарианцев и Октавиана, он все же еще довольно сдержанно и осторожно говорит о самом Октавиане, даже гораздо более сдержанно, чем в своей I эклоге, где он устами Титира прямо приравнивал его к богам. Процесс умиротворения государства шел не так быстро, как этого хотелось Вергилию и, хотя он все еще возлагает известные надежды на Октавиана, эти надежды выражены лишь в виде мольбы к высшим силам; обращаясь к местным богам, хранителям Рима, он говорит:

Боги вы нашей земли, Индигеты, Ромул, мать Веста!
Вы, что Тускский Тибр с Палатином римским храните!
Юноше этому ныне помочь злключениям века
Не воспрещайте!..

(I, 498—501)

В дальнейших словах Вергилий ясно указывает на то, чем именно боги могут «воспрепятствовать» Октавиану «прийти на помощь своему времени»: они могут увлечь его военными подвигами и отклонить от заботы об умиротворении государства:

Нас к тебе уж давно чертоги небесные, Цезарь,
Возревновали,— что ты людскими триумфами занят!

(I, 503—504)

Очевидно, речь идет о периоде от 36 до 33 г., когда Антоний воевал на Востоке, а Октавиан в Иллирии. Политическое положение — внешнее и внутреннее — было беспокойным и угрожающим, и Вергилий заканчивает I книгу сравнением этого времени с потерявшими узду квадригами коней, мчащимися неизвестно куда:

Так бывает, когда, из темниц вырываясь, квадриги
Приумножают пробег, и натянуты тщетно поводья;
Кони возницу несут и узды не чувствуют в беге.

(I, 512—514)

Этим заключительным стихам, несомненно, соответствуют заключительные стихи II книги, использующие тот же образ бегущих коней, ноносящие уже более успокоительный характер и являющиеся переходом к III и IV книгам:

Но уж проделали мы пространство огромной равнины,
И уж пора развязать коней дымящие шеи.

(II, 511—512)

Вся книга II носит вообще несколько более радостный характер, чем I книга. Именно в ней воспета жизнь земледельца, и в нее включены два хвалебных гимна — хвала Италии (ст. 136—172) и хвала итальянской весне (ст. 323—345).

В книгах же III и IV Вергилий воспевает самого Октавиана. Надежды Вергилия исполнились, Октавиан остался победителем, и мир уже близок. Поэтому книга III начинается панегириком Октавиану. Из него ясно, что в это время Октавиан находится на Востоке и что он покорил Азию, Египет и Сирию; Вергилий называет его Квирином и обещает изобразить его победы в храме, посвященном ему (III, 26—39). Здесь же он говорит о своем

ВЕРГИЛИЙ

намерении создать поэму о подвигах Октавиана. Именно в это время, очевидно, зарождается тот план, из которого выросла «Энеида»:

Скоро, однако, начну воспевать горячие битвы
Цезаря, имя его на толикие годы прославив,
Сколькими сам отделен от рожденья Тифопова Цезарь.

(III, 16—18)

В IV книге, описывая борьбу между двумя царями пчелиных роев, Вергилий, возможно, намекает на борьбу между Октавианом и Антонием, на эту мысль наводит высказанное положение о форме правления, наиболее благоприятной для всякого общества⁴.

Все же, когда призовешь обоих вождей ты из боя,
Тотчас того, кто слабей, чтоб вреда не нанес тунядец,
Смерти предай; на дворе свободном да царствует лучший.
Будет один пламенеть, золотым пестреющий крапом,
(Двух они разных пород): он — лучше, заметен он с виду,
В ясных чешуйках блестит; другой же гнусец от левя
И свой широкий живот тяжело, обесславленный, тащит.

(IV, 88—94)

Общий взгляд на человека и мир тоже выражен Вергилием в IV книге более оптимистически, чем в I книге, где он скорбел о непрерывной деградации всего сущего. Восхищаясь трудолюбием, самоотверженностью и мужеством пчел, Вергилий рисует картину вселенной в пантеистических светлых красках:

Судя по признакам тем и те наблюдая примеры.
Многие мнили, что есть души божественной доля
В пчелах и высшая суть, потому что бог посетил все
Земли, просторы морей и все глубинное небо,
Что и стада все, и скот, и мужи, и всякие звери,
Все, что родится, берет от него свои легкие жизни,
И что туда же в конце возвращается вновь, разложившись,
Все, и смерти уже нет места: взлетают живые
К сонму созвездий они и в высокое небо вступают.

(IV, 219—227)

На этот раз надеждам Вергилия на установление мира было суждено осуществиться. Правда, заключительные стихи IV книги говорят о том, что она закончена еще до возвращения Октавиана в Рим: будущий принцепс еще «разит молнией Евфрат»:

Эти стихи я прочел про уход за землей и скотиной
И деревьям, — меж тем великий Цезарь войною
Дальний разит Евфрат...

(IV, 560—562)

Однако полная победа Октавиана в 30 г. была уже совершенно несомненна: именно «Георгики», законченные в это время, явились тем подношением, которое Вергилий, по внушению Мецената, готовил будущему

⁴ О том, что мысль о такой форме правления была излюбленной мыслью Вергилия, которую он еще более последовательно проводит в «Энеиде», см. статью: проф. Н. Ф. Дератани. Вергилий и Август. «Вестн. древн. истории», 1946, № 4

властителю к его триумфальному возвращению на родину. Октавиан оценил их по достоинству, и уже сам лично поставил перед Вергилием последнюю важнейшую задачу — создать римский эпос.

6. МЕЛКИЕ СОЧИНЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ ВЕРГИЛИЮ

В собрание сочинений Вергилия принято включать еще несколько мелких произведений, из которых одни, возможно, действительно принадлежат его юношескому периоду, другие, сами по себе не имевшие ценности, лишь впоследствии были приписаны его уже знаменитому имени. В числе этих сочинений имеется пять более крупных стихотворений, носящих скорее всего характер эпиллиев: «Комар» (Culex), «Кирида» (Ciris), «Этна» (Aetna), «Заклятия» (Dirae) и «Завтрак» (Moretum).

«Комар», поэма в 415 стихов, комбинирует буколические сцены с описанием царства мертвых: к пастуху, выгнавшему свое стадо на пастбище и заснувшему в тени, подползла змея, и он погиб бы от ее укуса, если бы его не разбудил больно ужаливший его комар; пастух хлопнул себя по лицу, убил комара и, проснувшись, убил змею; ночью комар во сне является к пастуху с упреками за то, что тот убил своего спасителя, и пастух, проснувшись, ставит комару надгробный памятник и украшает его цветами. Эта тема, явно эллинистического характера, судя по смешению сентиментальности и юмора, была уже разработана неким греческим поэтом Киссамидом Косским. У него роль комара играла черепаха, и развязка была иная: черепаха убила неблагодарного пастуха.

Рассказ о царстве мертвых, по-видимому, контаминирован с этой основной темой, и притом неудачно: если комар явился пастуху, чтобы просить о погребении, то он не мог ничего рассказать о царстве мертвых, так как туда попадали только погребенные. Вероятно, именно из-за описания этой картины загробного мира поэма была приписана Вергилию.

Мифологическим эпиллием эллинистического типа является и поэма «Кирида», рассказывающая о Скилле, преступной дочери царя Ниса, срезавшей пурпурный докол с головы отца, чтобы доставить победу врагу отца, царю Миносу, в которого она влюбилась. Минос воспользовался ее помощью, но, презирая изменницу, казнил ее ужасной казнью, привязав к быстро плывущему кораблю; жалобы несчастной утопающей и составляют основную часть поэмы. Наконец, она превращается в чайку, а ее отец в морского орла, и вражда между ними продолжается вечно.

В литературном отношении эта поэма стоит выше «Комара», но и она, еще больше чем «Комар», есть подражание греческим эпиллиям; эта же тема была уже разработана Парфением и Эвфорионом. Имеется предположение, что автором поэмы следует считать Корнелия Галла, в пользу которого приводится ряд доказательств, довольно убедительных. Однако вопрос этот едва ли может быть с достоверностью решен.

«Этна» — сочинение скорее научного, чем поэтического, характера: в 650 стихах излагается природа вулканов и причины извержений. В поэме встречаются удачные описания сицилийского ландшафта, но в общем поэтические достоинства ее невелики. Вергилию она не принадлежит. Поэма эта — произведение значительно более поздней эпохи. Вергилию ее, вероятно, приписывали в связи с тем, что в «Энеиде» он дал прекрасное, сжатое и яркое, описание Этны.

Своеобразным произведением является поэма «Заклятия», в основе которой, возможно, лежат подлинные заговоры от дурного глаза, засухи,

наводнений и т. п. С точки зрения истории народных обычаев и поверий она представляет большой интерес.

«Кулинарная» поэма «*Moretum*» подробно описывает приготовление из самых различных овощей горячего винегрета, являвшегося, очевидно, обычным крестьянским кушаньем, дешевым и легко изготавливаемым; описание вставлено в «идиллическую» рамку, рисующую начало деревенского трудового дня.

Ряд небольших эпиграмм, из которых одни довольно изящны, другие вовсе незначительны, завершает этот сборник мелких стихотворений. Из эпиграмм надо обратить внимание только на забавную пародию на известное стихотворение Катуллы «*Phaselus ille*»; пародия не лишена политического задора — она высмеивает некоего сабинского погонщика мулов, ставшего важным домовладельцем.

На основании заключительной эпиграммы, явно не принадлежащей Вергилию, весь этот сборник и был приписан ему:

Тот, кто сладошней пел, чем сладкий певец сиракузский,
Кто Гесиода сильней, кто не слабей, чем Гомер,
Этот небесный поэт создал эти строфы простые,
И неискусна еще Муза в ту пору была.

7. «ЭНЕИДА»

Вергилий писал «Энеиду» около десяти лет и тем не менее считал ее незаконченной. Комментаторы произведений Вергилия — Сервий и Проб — сообщают о своеобразной манере работы Вергилия над поэмой. Составив общий план и разбив поэму заранее на 12 книг, он стал писать ее не в порядке этого намеченного плана, а выбирал то один, то другой эпизод, долго работал над ним, отшлифовывая его, и только тогда присоединял к уже готовым эпизодам, создавая связующие перемычки. Следы такого метода работы в «Энеиде», несомненно, есть; отдельные части ее, независимо от того, находятся ли они в начале или в конце поэмы, отличаются друг от друга по своей художественной ценности и отделке. Естественно, поэтому, что Вергилий считал «Энеиду» недоработанной и что в изложении событий в ней имеются некоторые неувязки, которые были бы исправлены сами Вергилием, если бы он довел свой труд до конца.

Случаи неполной согласованности отдельных эпизодов встречаются в различных местах поэмы. Например, пророчество о том, что спутникам Энея придется от голода «поедать столы» в III книге (247—257) произносит гарпия Келено, а в момент, когда оно исполнилось (VII, 123—127), Эней приписывает его Анхису. О том, что Эней должен основать город там, где найдет белую самку вепря с 30 детенышами, предсказывает Гелен (III, 390—391), и о том же, как о чем-то новом, говорит бог реки Тибра (VIII, 43—45). С необычной быстротой спутники Энея, пока Эней едет искать союзников, успевают выстроить город, но нигде не указано, на том ли месте его строят, где была найдена веприца; о закладке города тоже не сказано ничего. В нескольких местах поэмы говорится, что среди переселенцев много женщин, но во время пребывания у Гелена и в Карфагене речь идет только о военной дружине Энея. Неправдоподобно велики те сокровища, которые Эней везет с собой и из которых он подносит подарки Дидоне и раздает награды на играх.

Однако все неувязки в поэме касаются мелочей. В общем «Энеида» представляет собой единое целое, прекрасное по своей композиции.

слова / Для того чтобы разбор отдельных моментов «Энеиды» был более ясен, приводим вкратце содержание ее по книгам.

I. Введение. Отъезд Энея и его спутников из Дрепана в Сицилии. Буря, посланная Эолом по просьбе Юноны. Потеря двух кораблей. Эней в Ливии. Встреча с Венерой. Эней и Ахат, скрытые облаком, приходят к дворцу Дидоны.

Встреча с пропавшими товарищами. Прием Энея Дидоной. Пир.

II. Рассказ Энея о коварстве Синона, о смерти Лаокоона, о деревянном коне и о ночной битве в Трое. Уход Энея с Анхисом и Асканием из Трои, исчезновение жепы Энея Креусы.

III. Рассказ Энея о его скитаниях по морям Эгейскому и Адриатическому (Делос, Крит). Отдых у сына Приама, пророка Гелена, мужа Андромахи. Пророчество Гелена. Путь мимо Скиллы и страны киклопов. Смерть Анхиса.

IV. Любовь Энея и Дидоны. Меркурий по воле Юпитера приказывает Энею покинуть Карфаген. Самоубийство Дидоны.

V. Игры в Сицилии в годовщину смерти Анхиса. Пожар на кораблях.

VI. Эней у Сибиллы и в царстве мертвых. Свидание с Анхисом. Пророчество Анхиса о будущем Рима.

VII. Предсказание, полученное царем Латинум о приезде Энея. Посольство Энея к Латинуму. Договор между ними. Вмешательство Юноны и двустороннее нарушение договора. Амата, жена Латина. Турн, князь рутулов, его войско и его союзники (каталог бойцов).

VIII. Эней у греческого поселенца, царя Эвандра. Получение подмоги под начальством Палланга, сына Эвандра. Изготовление Вулканом оружия для Энея по просьбе Венеры. Изображение будущей истории Рима на щите Энея.

IX. Битва. Гибель разведчиков Ниса и Эвриала.

X. Возвращение Энея от Эвандра и от этрусков с подмогой. Битва. Гибель Палланга. Спасение Турна Юноной. Гибель тирренского царя Мезентия и его сына Лавса.

XI. Погребение убитых. Отказ Диомеда помогать Латинуму. Споры в совете латинян о мире и войне. Новая битва. Амазонка Камилла, ее подвиги и смерть.

XII. Договор о поединке между Энеем и Турном. Нарушение договора латинянами по внушению Юноны. Битва. Решение Юпитера. Поединок Энея и Турна. Смерть Турна.

8. ИСТОЧНИКИ «ЭНЕИДЫ»

Тот факт, что Вергилий при создании «Энеиды» использовал ряд литературных произведений минувших веков, бросается в глаза даже при беглом чтении ее. Наиболее ясно выступают в ней следы влияния поэм Гомера, кикликов (поскольку они известны нам по прозаическим изложениям позднейших мифографов) и поэмы Аполлония Родосского «Аргонавтика»⁵. Так, например, в описании игр на могиле Анхиса Вергилий подражает XIX книге «Илиады» (игры при погребении Патрокла), в рассказе об изготовлении оружия для Энея — XVII книге «Илиады»; описание бури и картины царства мертвых примыкают к X и XI книгам «Одиссеи»; образ амазонки Камиллы почти совпадает с образом Пенфесилеи у кикликов; наконец, один из важнейших эпизодов поэмы — страсть Дидоны к Энею — во многих чертах соприкасается с историей трагической любви Медеи к Ясону в поэме Аполлония.

⁵ Поэма Аполлония Родосского была полностью переведена (возможно, с некоторой переработкой) на латинский язык поэтом Варроном Атацианским (род. в 82 г. до н. э.); от этого перевода до нас дошли лишь незначительные фрагменты.



*Прославление война
Луканская амфора. V в. до н. э.*

В своем уменье давать широкое эпическое полотно, искусно переплести сложные нити драматического действия Вергилий многому научился у Гомера, но его интерес к индивидуальным душевным переживаниям и их живое изображение сближает его с поэтами эпохи эллинизма; из этого же источника проистекает некоторая сентиментальность в изображении семейных отношений (например, отношения Энея к отцу и к сыну) и склонность к идиллическим картинам жизни на лоне природы (характеристика поселения Эвандра в VIII книге).

Кое-где Вергилий не прочь показать и свою ученость, свою осведомленность в археологии и мифологии; однако его «научные» экскурсы выгодно отличаются от учености эллинистических поэтов. Он избегает излишних географических и этиологических комментариев; искусное изложение путешествия Энея от первого лица позволяет ему выделить только самые существенные моменты пути, а не расплываться в мелочах, подобно Аполонию Родосскому (во II и IV книгах «Аргонавтики»).

Имеется и немало более мелких черт сходства между «Энеидой» Вергилия и поэмами его предшественников в описаниях битв, а также в частных литературных приемах (сравнениях, метафорах, в обращении к музам и т. п.).

Помимо греческих эпических поэм, Вергилий, несомненно, использовал и некоторые мотивы греческих трагедий. Вся история любви Дидоны к Энею и ее самоубийства напоминает не только изображение страсти Медеи в «Аргонавтике» (которое в свою очередь сильно связано с «Медеей» Эврипида), но и монологи Федры в «Ипполите»; самоубийство жены Латина царицы Аматы — мотив трагический (например, самоубийство Эвридики в «Антигоне» Софокла); вопрос об отношении личного чувства к долгу (правда, довольно слабо изображенный Вергилием в сцене объяснения Энея с Дидоной) тоже не является темой гомеровского эпоса — там такая проблема вообще не ставилась, зато не раз была обработана трагиками, особенно Эврипидом (например, в трагедиях об Ифигении, в «Ипполите», отчасти в «Алкестиде»). Лирические мотивы тоже нашли в «Энеиде» некоторое отражение в «плачах» матери Эвриала и царя Эвандра.

Значительно сложнее вопрос об отражении в «Энеиде» латинских исторических источников и «Анналов» Энния. Ввиду плохой сохранности тех и других мы не можем с полной уверенностью говорить о том, в чем именно Вергилий примыкал к древнеримским анналистам и к поэме Энния, но возможно, что ряд эпизодов, касающихся латинов и Италии, например пожар в палатах Латина, начавшийся от вспыхнувших волос Лавинии во время принесения жертв, бегство тирана Мезенция к Турну, враждебные отношения между латинами и этрусками, соглашающимися помогать Энею, каталог италийских воинов и их имена, взят из латинских исторических и поэтических источников.

В произведении Вергилия, несомненно, переплетаются нити, идущие от различных образцов, глубоко изученных и продуманных им; но эти нити переплетены настолько разнообразно, а та основа, на которую Вергилий накладывает их, настолько крепка и самобытна, что создаваемая им ткань представляет собой совершенно иное, новое художественное целое.

9. РИМСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭМЕ ВЕРГИЛИЯ

Ни одного мотива, ни одной сцены Вергилий не перенес в свою поэму из греческих образцов, не придав ей чего-либо своего, не включив ее в органическое целое своей поэмы. Большей частью такая переделка ведет к более тонкой обработке заимствованного эпизода, кое-где, наоборот, к

ухудшению заимствованного образца, но всегда вносит свои собственные черты, типичные именно для творчества Вергилия.

Так, например, совершенно оригинально истолкован Вергилием эпизод встречи Энея и его спутников с гарпиями (III, 192—267). О гарпиях рассказывала и «Одиссея» Гомера, и «Аргонавтика» Аполлония, но Вергилий разрабатывает эту тему совсем иначе: когда между спутниками Энея и гарпиями завязывается бой, гарпия Келено пророчит Энею бедствия и голод; этим самым эпизод с гарпиями, являющийся случайным приключением в скитаниях Одиссея и Ясона, у Вергилия включается в цепь пророчеств о судьбе Энея; до сих пор ему пророчили только удачу — возвращение на старую родину, Келено предсказывает бедствия, голод и войны. Это побуждает Энея просить Гелена, жреца и предсказателя, о новых указаниях богов; но, кроме того, он хочет жертвами и молитвами искупить свою вину перед гарпиями. Таким образом, эпизод с гарпиями, во-первых, является звеном в цепи исполняющихся пророчеств, во-вторых, — побуждает к благочестию и к искуплению даже малейшей вины перед богами; и то, и другое — любимые мотивы благочестивого Вергилия. В ряд пророчеств включен и эпизод проезда мимо Скиллы. Враждебная Энею Юнона надеялась утопить здесь флот Энея; но совет Гелена объехать Скиллу спас его. Тем самым и этот эпизод опять-таки связывается с основной линией «Энеиды» — тем призванием Энея, ради которого он должен быть спасен от всех бедствий.

Еще более характерен для взглядов Вергилия эпизод в гавани киклопов (III, 588—654). Один из спутников Одиссея, Ахеменид, сохранивший свою жизнь, но одичавший и бедствующий на острове киклопов, умоляет Энея взять его с собой, сознаваясь, что он один из тех, кто воевал против Трои. Выслушав его просьбу, которую Ахеменид приносит, обнимая колена Анхиса, сам Анхис, как старший в дружине, «немного помедлив, протягивает ему руку». Очень тонко Вергилий вводит слова: «немного помедлив»; Анхису трудно простить и принять к себе одного из разрушителей Трои и спутника самого ненавистного врага, Одиссея; но Ахеменид беззащитен, умоляет о помощи, и его надо простить. Троянцы берут его с собой и спешат отплыть от страшного места.

В этом мимолетном эпизоде Вергилий подчеркивает разницу между вероломным греком Одиссеем и его товарищами, которые могли забыть одного из своих в беде, и троянцами (т. е. будущими римлянами), спасшими своего бывшего врага. Характерно употребление слова «умоляющий» (*supplex*; III, 592 и 667); если враг «умоляет» и не может вредить, то его надо щадить (Анхис в царстве мертвых ставит перед Римом как его главную задачу «покоренных щадить и силой смирять непокорных». VI, 854). В самом последнем эпизоде «Энеиды» (XII, 930—940) тоже изображено колебание Энея — убить ли ему или пощадить Турна, умоляющего о пощаде и признающего себя побежденным. Он «удержал руку», но в этот момент увидел на Турне доспехи Палланта, безжалостно убитого Турном; Турн, не пощадивший Палланта, пощады не заслуживает, — таким образом, и здесь Эней является справедливым мстителем не за свою обиду, а за чужое горе. Так умеет Вергилий даже в мелких эпизодах провести свои собственные мысли и взгляды.

Насколько внимательно вдумывался Вергилий в материал своей поэмы и в связи ее отдельных эпизодов, видно, например, из беглого замечания, которое он влагает в уста Энея при рассказе о смерти Анхиса (III, 712—713): «ни Гелен, ни гарпия Келено не предсказали ему, говорит Эней, что Анхис умрет раньше достижения цели и покинет его, усталого». Это замечание сделано не напрасно: смерть Анхиса — личное горе для Энея; оно

не влияет на его мировую роль как основателя италийской державы; пророчества же и знамения касаются только этой его роли; так, никто не предсказывал ему встречи с Дидоной и трагического исхода их любви.

Особенно много специфически римского в описании Кумской сибиллы и царства мертвых. Пристального внимания заслуживает то описание системы мира, которое Анхис дает Энею (VI, 724—751); оно примыкает к пифагорейско-орфическим учениям об огненной чистой душе, заключенной в земные тела, и о долгих кругах очищения душ. Эсхатологические учения, часто носившие явно выраженный мистический характер, крайне характерны для эпохи, когда жил Вергилий; по-видимому, и сам он не был чужд этим настроениям.

В пророчество Анхиса включены и те слова, которые осуждают гражданские войны; не называя Помпея и Цезаря по имени (он говорит о «тесте» и «зяте»), Вергилий выражает свой ужас перед тем, что они внесут в мир:

Горе: какую они войну меж собой (если света
Жизни достигнут), какие воздвигнут войска и убийства...
К распрям подобным, о дети, вы душами не приучайтесь,
Не обращайтесь мощь роковую на родины сердце⁶.

(VI, 828—829, 832—833)

Однако не всегда введение самостоятельных, чисто римских мотивов приводит Вергилия к положительным художественным результатам: когда он слишком прозрачно, а иногда и совсем открыто вводит мотивы современной римской действительности, эта слишком явная тенденция нарушает цельность и художественность поэмы. Особенно ясно это проявляется в описании щита Энея (VIII, 626—728). Эпизоды из римской мифологии и древнейшей истории — волчица, вскормившая Ромула и Рема, Порсенна, Коклит, Манлий, нашествие галлов — еще более или менее гармонируют с общей пророчески-мистической основой поэмы, но фигура Катилины, описание битвы при Акции и триумфа Августа — совершенно неуместны на щите Энея. Вергилий вынужден закончить VIII книгу признанием, что все эти изображения на щите самому Энею совершенно непонятны; он «образам рад, событий не зная» (*regumque ignarus imagine gaudet*; VIII, 730). Сравнительно с описанием щита Ахилла у Гомера («Илиада», XVII), на котором изображены сцены из повседневной жизни греческого народа (охота, жатва, хороводы, суд в деревне), эти искусственно подобранные исторические, а не бытовые картины сильно проигрывают. Такой же данью времени, а вернее, данью лично Августу, является и пророчество Анхиса в царстве мертвых (VI, 756—886), где также неожиданно и необоснованно Анхис переходит от Ромула к Августу, потом возвращается к первым царям, от Камилла прямо переходит к войне между Цезарем и Помпеем, далее опять к Катону, Сципионам, Фабию Кунктатору и рано умершему племяннику Августа, молодому Марцеллу; все это — слишком явно тенденциозно и интересно разве только для историка.

10. КОМПОЗИЦИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ «ЭНЕИДЫ»

По своему построению «Энеида» распадается в основном на две части, по шесть книг в каждой: первая посвящается судьбам Энея до прибытия в

⁶ Отрывки из «Энеиды» даны в переводах В. Брюсова и С. Соловьева, незначительно исправленных (Вергилий. Энеида. М.—Л., Academia, 1933). Исключения оговорены в тексте.

Италию, вторая — завоеванию Италии./Часто встречающаяся в работах по истории литературы характеристика этих двух частей как латинской «Одиссеи» и латинской «Илиады» верна только с внешней стороны. Первая часть действительно посвящена истории скитаний и приключений, а вторая — битвам, но обе они объединены одной мыслью, так сказать, нанизаны на один прочный стержень.

На наш современный вкус первая половина «Энеиды» (до начала войны с латинами) значительно живее и интереснее второй, но для современников Вергилия, возможно, и описания битв были интересны, особенно в том случае, если в них можно было подметить какие-либо намеки на подлинные исторические события и под именами героев узнать военных вождей своего времени.

4 / «Энеида», как и эпические поэмы предшественников Вергилия, написана, так сказать, в двух планах; поступки людей и события обосновываются в ней двойным образом: либо вмешательством божеств, главных или малых (ветров, нимф и т. п.), либо естественными причинами — соображениями и желаниями людей./Применение так называемого «божественного аппарата» является наиболее слабой стороной поэмы Вергилия.

4 / Все случаи вмешательства отдельных богов не сливаются органически с основной композиционной линией поэмы — той задачей, которая стоит перед Энеем, и наиболее ясно носят на себе печать заимствования из греческих образцов/

Мировоззрению эпохи Вергилия, его собственным философским убеждениям и даже народным верованиям римлян, носившим более абстрактный рациональный характер, нежели антропоморфные пластические образы олимпийских богов, гораздо более соответствовало бы обоснование событий общими велениями и предначертаниями безличной судьбы, таинственного рока, скрытого от смертных, великой «необходимости», господствующей в мире.

5 / Основные роли в мире богов Вергилий отдает Юноне, враждебной Энею, и Венере, его матери и защитнице. И та, и другая знают судьбу, предначертанную Энею, и обе стараются только доставить друг другу возможно больше неприятностей; но так как в жертву этому приносятся десятки жизней, то мнение о богах создается весьма невысокое. Обе эти богини на всем протяжении поэмы проявляют крайнюю недалекость. Так, Венера оказывается гораздо слабее самого Энея, который, терпя много трудностей и злоключений, все же продолжает верить в свое призвание и идет к цели неуклонно. Венера же, которой Юпитер с самого начала обещал, что Эней победит всех врагов и воцарится в Италии, по-видимому, не очень веря этим предсказаниям, постоянно продолжает тревожиться о его судьбе и беспокоить Юпитера своими просьбами./

Все эти столкновения и споры между пристрастными и мстительными богинями, которые знают непреклонность судьбы и все же пытаются с нею бороться, не соответствуют тем представлениям о божественных силах, которых придерживался сам Вергилий; неясно также соотношение между личной волей Юпитера и решением судьбы. Гневная речь Юпитера, обращенная к Юноне (XII, 791—806), показывает, что и ему, и ей одинаково хорошо известен исход войны; остается непонятным, почему Юпитер допустил войну, раз он мог в любой момент прекратить ее своим запрещением (*temptare veto*). Он заканчивает свою речь предсказанием о слиянии троянцев и латинов в единый великий народ.

Гораздо убедительнее те моменты поэмы, когда Вергилий ⁵/прибегает к естественному объяснению событий/. Так, например, Вергилий вводит настолько вероятное обоснование распри, начавшейся между троянцами и

латинами, что вмешательство богов является по существу излишним. Сын Энея Асканий на охоте тяжело ранит оленя, не зная, что этот олень ручной и воспитан в семье латинского поселянина! Или, например, во время поединка Энея и Турна воины Турна, уже не раз сражавшиеся с Энеем, заметив слабость Турна сравнительно с Энеем, предвидят его гибель и вступаются за него, нарушая этим самым договор о том, что сражаться будут одни вожди; так как они только союзники, а не подданные Латина, заключившего договор, — их вступление в бой в защиту своего вождя вполне естественно.

Можно сказать, что «Энеида» только выиграла бы, если бы Вергилий решился на смелый и радикальный шаг — нарушив эпическую традицию, исключить вмешательство отдельных богов в отдельные события — и предоставил бы Энею играть роль первого объединителя Италии и основателя великой Римской державы, предназначенную ему Парками или судьбами (*fata*).

Если оставить в стороне эту «двуплановость» «Энеиды», то надо признать, что с первых же стихов Вергилий обнаруживает в ней свое исключительное художественное мастерство. Он сразу вводит читателя в разгар событий: корабли Энея отплыли из Сицилии и попадают в страшную бурю; почему они были в Сицилии и почему их экипаж радостно пустился в путь (*vela dabant laeti*), об этом читатель узнает лишь в дальнейшем из рассказа Энея в III книге, которая заканчивается именно на том, чем начинается I книга. Сначала даже не назван ни Эней, ни Анхис, ни Асканий — по морю несутся безымянные троянцы, уцелевшие после гибели Трои; их видит Юнона и насылает на них бурю. Этим приемом Вергилий достигает особого напряжения, которое все нарастает во время описания бури, крушения, поисков товарищей и разрешается пиром у Дидоны; такой же постепенный спад напряжения имеется в рассказе о гибели Трои, смерти Приама, пожаре и так далее до прибытия к ливийскому берегу. Также и во всей поэме Вергилий с большим искусством чередует напряженные динамические сцены со спокойными и мирными: веселые игры в V книге сменяются тревожной сценой пожара на кораблях, XI книга, начинающаяся погребением убитых и сценой совета латинов, заканчивается подвигами и смертью Камиллы, а в XII книге — торжественное, спокойное описание жервоприношения и заключения договора между Латинцем и Энеем переходит в неожиданно завязавшуюся битву, которая, постепенно разгораясь, завершается смертью Турна.

Повествование в «Энеиде» ведется преимущественно от лица автора. 6/ Очень удачна, однако, мысль Вергилия передать замечательный рассказ о взятии Трои от лица самого Энея. Если подобная форма рассказа Одиссея у феаков о его приключениях и послужила отчасти образцом для Вергилия, то Вергилий во всяком случае использовал ее совершенно самостоятельно. Эта избранная Вергилием форма дала ему возможность изобразить все события особенно живо и драматично; когда же он переходит к описанию скитаний Энея, то и здесь рассказ от первого лица дает ему возможность останавливаться только на важных моментах пути.

Среди образов поэмы Вергилия, несомненно, наиболее ярким является образ Дидоны, вся история которой, начиная от бегства из Финикии и основания Карфагена до ее трагической смерти и даже ее появления в царстве мертвых, где она с ужасом отворачивается от Энея, последовательно раскрывает ее характер, решительный и страстный. Ярких образов дружинников Энея Вергилий не дает. Из врагов же его выступает как интересная фигура Мезентий, «ругатель богов» и жестокий правитель, который был изгнан своим народом (VIII, 483—495) за нестерпимую тиранию и

бежал к Турну. Возможно, что в образе Мезентия изображен какой-то современник Вергилия. /

3/ Известная бледность характера главного героя, его преувеличенная сдержанность, добродетель и благочестие отмечаются обычно всеми исследователями творчества Вергилия. Несомненно, некоторое излишнее сознание своей провиденциальной роли у Энея действительно есть; оно мешает раскрытию его человеческого характера. Но целый ряд черт подлинно человеческих Вергилий все же сумел раскрыть и в этом, слишком положительном герое: его отказ уйти из горящей Трои, покинув в ней отца, его попытки удержать призрак Креусы, его упорное желание проникнуть в царство мертвых для последнего свидания с отцом и даже вспышка гнева и стремление отомстить Турну за смерть Палланта — все это черты живого человека. То, что ему больше всего вменяют в вину, — спокойствие при разлуке с Дидоной и равнодушие к ее горю — с точки зрения римлянина, конечно, не являлось виной: любовь никогда не могла быть препятствием для выполнения воинского долга; а Эней поставлен именно перед таким выбором — любовная связь или выполнение своей исторической миссии. /

4/ В описании картин природы Вергилий сильнее, чем в изображении характеров (описания сосновой рощи — IX, 85 сл., ущелья — XI, 522 сл., бухты — I, 159 сл. и т. п.). Примечательно то, что большинство описаний ландшафта дается во второй половине поэмы, где действие происходит в Италии; здесь Вергилий имеет возможность писать с натуры. Нередко Вергилий пытается в списание картин природы (например, VII, 8—9; XI, 201) внести известное лирическое настроение, чего в древнем эпосе нет: это влияние эллинистических поэтов. В IV песне наиболее развернуто такое описание тихой ночи (522—530), противопоставленное скорби Дидоны.

Вергилий умеет нарисовать фантастический ландшафт: пещера Сибиалы, река перед царством мертвых с толпящимися около нее душами и город, в котором страдают те, кто терпит кару за свои преступления, — все эти образы вошли навсегда в мировую литературу именно в той художественной форме, которую им придал не Гомер, а Вергилий. /

Большая наблюдательность Вергилия, обнаруженная им в «Георгиках», проявляется и в «Энеиде». Очень точно он описывает ранения воинов во время боя; например, удар копьём чуть выше локтя лишает руку способности двигаться, она повисает на сухожилиях (X, 341); железный наконечник дрота, пронзившего желудок и легкие, согревается в теле раненого (IX, 700—701); тяжело раненный воин, упавший с колесницы, бьет о землю «полумертвыми ногами» (X, 404), даже точнее — пятками (*calcibus*).

В использовании более мелких литературных приемов, характерных для эпических поэм его предшественников, Вергилий проявляет большую самостоятельность. Так, например, он избегает традиционного эпического повторения постоянных эпитетов, кроме тех случаев, когда эти эпитеты выделяют самую характерную черту данного лица, как *pius Aeneas* или *pater Anchises*. В большинстве же случаев эпитеты, создаваемые Вергилием, закрепляют не постоянный, а мимолетный признак предмета, характерный для него именно в данный момент или важный именно в данной ситуации; это и дает Вергилию возможность создавать живые и яркие картины природы. /

В «Энеиде» можно заметить некоторые отголоски риторического образования, которое получил Вергилий; это сказывается в тех рациональных и логически построенных речах, которые, хотя и не часто, все же встречаются в «Энеиде». Особенно интересны в этом отношении хитроумная речь

Сиона (II книга) и речи Дранка и Турна в заседании латинского сената — это правильно построенная когнотроверсия о мире и войне (XI книга). В речи Дранка имеется даже известный демократический оттенок:

Видно, чтоб Турну добыть супругу из царского дома,
Мы, ничтожный народ, не оплаканы, без погребенья,
Ляжем на поле костями...

(XI, 371—373)

В эту же речь включен характерный для времени Августа призыв к миру, отражающий и чаяния самого Вергилия:

В брани спасения нет, и все мы требуем мира.

(XI, 362)

Наименьшую самостоятельность проявляет Вергилий в использовании очень распространенного в эпосе приема — сравнения: среди 119 сравнений «Энеиды» мы находим лишь очень немногие, которые были бы абсолютно независимы от Гомера, и наряду с ними несколько буквальных повторений (путник, увидевший змею; полет Меркурия, подобный полету чайки). В некоторых сравнениях сохранен даже их греческий фон (Дидона подобна оленю, раненому в *диктейских* лесах; войско кричит, как лебеди на *азиатских* берегах). Интересны лишь немногие сравнения, в которые внесены характерные италийские черты (эхо в отрогах Аппенин, охота с «умбрийскими» псами). Надо отметить еще сравнение внезапно вспыхнувшей страсти с молнией (VIII, 392), для нас уже избитое, но Гомеру еще не известное; среди всего богатства гомеровских сравнений нет ни одного, говорящего о любовной страсти.

Исследование стиха «Энеиды» является темой работ многих ученых. Заслуги Вергилия перед латинской литературой в этом отношении очень велики; искусно пользуясь старинным латинским приемом аллитерации и сочетая его со всеми художественными приемами, воспринятыми из греческого гексаметра, именно Вергилий довел латинский гексаметр до того совершенства, которого пытались достигнуть близкие и далекие последователи и подражатели поэта.

«Энеида» занимает совершенно особое положение в мировой литературе: это — первая эпическая поэма, являющаяся плодом единоличного творчества, не коренящаяся глубоко в народных мифах и сказаниях и в то же время ставшая действительно национальной эпопеей. Эти особенности отличают ее, с одной стороны, от «Илиады» и «Одиссеи», всецело связанных с греческим народным творчеством, с другой стороны, — от эллинистических поэм, лишь слабо связанных с ним, а также от бесчисленных эпопеев новой европейской литературы, совсем оторванных от народного творчества (например, «Генриада» Вольтера, «Мессиада» Клопштока и др.). Своим успехом в своей родной стране и в свое время «Энеида» обязана тому, что Вергилий выразил в ней идею римского патриотизма; в нее он искренно верил сам; верило в нее и большинство его современников из тех широких кругов, которые приняли политику Августа с ее идеализацией старины, с проповедью мира и устойчивостью быта, с ее твердым, определяемым свыше порядком.

Когда Вергилий писал свои первые произведения, политическое положение Рима давало мало оснований для таких идеологических воззрений и светлых надежд. Вергилий это хорошо понимал и страдал от этого, что и отразилось в его «Эклогах» и «Георгиках». Обстановка, в которой он создавал «Энеиду», была уже значительно спокойнее. Август прочно утвер-

дился в качестве принцепса, наступил долгожданный и желанный мир, и Вергилию, жившему уединенно, далекому от политических дел и не чувствовавшему на себе того гнета, которым обернулся для многих этот мир под твердой рукой Августа, могло казаться, что теперь Рим приближается к тому идеалу милостивого владыки всего мира, который презился ему и который, по мнению Вергилия, был предначертан самой судьбой.

Эта основная мысль выражена Вергилием в самом начале поэмы. Все события, о которых она повествует, должны стать как бы прообразом того трудного пути, идя по которому Рим стал сперва главой Италии, а потом мировой державой. Первая задача намечена Вергилием в начальных же стихах поэмы, в которых говорится, что Эней

Много в боях испытал, покамест основывал город,
В Лаций пенатов вносил, откуда и племя латинов,
Альбы древней отцы и твердыни высокого Рима.

(I, 5—7)

В следующих же стихах обрисован дальнейший круг завоеваний — Ливия и Карфаген; Юнона, покровительствующая карфагенянам, выходцам из Тира, противодействует Энею, узнав, что

...От крови троянской потомство родится,
Встанет отсюда народ, воинственный, мощью грозный,
Ливии гибель неся — ибо так предназначили Парки.

(I, 19—22)

В конце поэмы, перед поединком Эней и Турна, Вергилий характеризует Рим как единую италийскую державу, в которой нет более розни между победителями-переселенцами и коренным населением. Высказывая свое окончательное решение о прекращении войны между Энеем и Латинцем, Юпитер говорит:

Речь и обычай отцов сохранят авсоны, и то же
Имя будет у них, и только смешаются тевкры
С телом народа; я дам им обычай, таинств обряды;
И изо всех сотворю с душой единой латинов.
Род, что отсюда взойдет, с авсонской смешанный кровью,
Выше будет людей и выше богов благочестьем.

(XII, 834—839)

На протяжении всей поэмы об этом же непрерывно напоминают различные приметы, предсказания и знамения; предсказанную Риму великую судьбу знают не только боги, ее знает и сам Эней, и его спутники. Правда, описание тех тяжелых боев, в которых Энею пришлось завоевывать себе право основать город в Италии, могло вызвать у читателя представление, что в основе Рима лежит чужеземное завоевание, что самые знатные роды Рима — пришельцы и покорители. Однако эта мысль в корне расходилась бы с концепцией римской истории, проводимой Вергилием, и он отвергает ее уже в рассказе о пророчестве Аполлона Делийского:

Дардана твердые чада! Земля, что из отчего лона
Некогда вывела нас, она же на грудь свою примет
С радостью вас при возврате. Ищите же древнюю мать!

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ИМПЕРИИ

Станет Энеев там дом над странами всеми владыкой —
Дети и внуки его и потомки, рожденные ими.

(III, 94—98)

Когда же Эней не понял этого предсказания, а Анхис истолковал «древнюю мать» как остров Крит,— при неудачной попытке обосноваться на Крите Энею явились пенаты и сказали ему, где он должен искать свою древнюю родину: именно в Италии, откуда был родом его предок Дардан (III, 163—168).

Следовательно, по концепции Вергилия, латины — не враждебное племя, против воли покорившееся Энею, а его сородичи, к которым он вернулся.

Какая именно задача поставлена судьбой перед тем государством, которое суждено основать Энею, Вергилий выражает в следующих словах Анхиса, раскрывающего перед Энеем будущее Рима:

Будут другие ковать оживленную медь совершенней,
— Верю, — и будут ваять из мрамора лики живые,
Лучше защиту вести на суде, и движения неба
Вычертят тростью, и звезд восходы точно укажут.
Твой же, Римлянин, долг — полновластно народами править:
В этом искусства твои; предписывать мيرا законы,
Всех покоренных падать и силой смирять непокорных.

(VI, 848—854; перевод Ф. А. Петровского)

Таким образом, Эней и основанная им держава являются по воле судьбы и богов благодетелями Италии и всего круга земель — эту мысль Вергилий последовательно и неуклонно проводит через всю поэму. Это мировое призвание Рима, по убеждению Вергилия, не является делом рук человеческих или следствием правильного государственного устройства, разумной политики и личной храбрости вождей и воинов — оно предначертано судьбой и, несмотря ни на какие препятствия, должно неуклонно выполняться и действительно выполняется. Таким путем национально-патриотические идеи приводят Вергилия к религиозному истолкованию всего, что происходит с Римом и его деятелями. Поэтому-то Вергилия так глубоко огорчают распри и междоусобицы, терзающие Рим изнутри, и бесконечные войны, грозящие ему извне: и те, и другие нарушают течение мирной и упорядоченной жизни, являющейся идеалом Вергилия, отдалают наступление прекрасного «золотого века» и разрушают благодарность и благоговение, которые должны чувствовать по отношению к Риму народы, находящиеся под его властью.

Патриотический пафос, преклонение перед героическим прошлым Рима, сильно идеализированным, и перед мировой миссией Рима как объединителя и «умиротворителя» всего известного и доступного круга земель — все это обеспечило поэме Вергилия одобрение мощного принцепса, по желанию которого она была создана, и успех среди тех кругов, на которые Август опирался. Однако этого было бы недостаточно, чтобы укрепить за «Энеидой» ту мировую славу, которую она заслужила. Этой славой она обязана тому, что Вергилий верил сам в ту патриотическую идею, которую он положил в ее основу; хотя она для него и ограничена исключительно Римом, он сумел найти для этой идеи соответствующее воплощение и достиг в «Энеиде» того единства содержания и формы, которое сделало ее знаменитой на многие века.



Глава XXV

ГОРАЦИЙ

1. Биография и произведения Горация.— 2. «Сатиры» и «Эподы».— 3. «Оды».— 4. «Юбилейный гимн».— 5. «Послания» и «Наука поэзии».

1. БИОГРАФИЯ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГОРАЦИЯ

Квинт Гораций Флакк (Q. Horatius Flaccus) родился в 65 г. до н. э. в Венусии, небольшом городке, лежащем в южной части Самния, которая вклинивается между Апулией и Луканией. По свидетельству самого Горация, жители этого городка не принадлежали к коренному населению области, а были поселены здесь после изгнания самнитов, и на обязанности их лежала защита границ.

С тем, чтоб на случай войны апулийцев ли или луканцев
Не был врагу путь до Рима открыт через земли пустые¹.

(«Сатиры», II, 1, 38—39)

Горацию было безразлично, сочтут ли его «апулийцем или луканцем», так как «венусийцы падут в обоих пределах». Отец Горация, вольноотпущенник, владел небольшим имением около Венусии. Обладая некоторыми средствами, его отец в 52—50 гг. переехал с сыном в Рим, где Гораций стал учиться у известного в то время грамматика Орбилия, отличавшегося суровостью, а потом даже нашел возможность отправить сына в Афины (45 г.) для завершения образования. О своем отце Гораций упоминает не раз, всегда с похвалой отзываясь о нем как о друге и воспитателе.

Не будучи связан староримскими традициями, Гораций с раннего возраста испытывал влияние преческой образованности и стал «эллинофилом», каким оставался и всю жизнь. По его собственному признанию, он начал раньше писать стихи по-гречески, чем по-латыни.

Я ведь и сам, хоть рожден по сю сторону моря, однако
Тоже, случалось, писал по-гречески прежде стишонки.
Но однажды, средь ночи, когда сновиденья правдивы,
Вдруг мне явился Квирий и с угрозой сказал мне: «Безумец!
В Греции много поэтов. Толпу их умвожить собою —
То же, что в рощу дров паносить, ничуть не умнее!..»

(«Сатиры», I, 10, 30—35)

¹ Цитаты из сатир Горация даны в переводах М. Дмитриева, местами переработанных («Римская сатира». М., Гослитиздат, 1957).

Характерно, что и здесь Гораций не называет себя ни римлянином, ни италийцем, а только «рожденным по сю сторону моря» (*natus mare citra*).

После убийства Юлия Цезаря Афины стали центром консервативно-республиканских кругов, группировавшихся вокруг Брута и готовившихся к последней схватке с цезарианцами. Так как римская молодежь получавшая образование в Афинах, большей частью принадлежала именно к этим кругам, то и Гораций был втянут в это движение. Свидетельством слабости армии заговорщиков и пестроты ее состава служит то, что он, сын вольноотпущенника, без всякой военной подготовки, вскоре получил звание военного трибуна, до которого обычно надо было дослужиться. В 42 г. Гораций, по собственному признанию, бежал с поля битвы при Филиппах², а после объявления амнистии вернулся в Рим, где ему удалось получить незначительную должность квесторского писца. Через много лет в послании к Флору, оправдываясь в своей лени и нежелании писать стихи и письма, Гораций несколько юмористически вспоминает об этом раннем периоде своей жизни:

Дали развития мне еще больше благие Афины..
 Но оторвали от мест меня милых години лихие:
 К брани хотя и негодный, гражданской войною и смутой
 Был вовлечен я в борьбу неспособную с Августа дланью.
 Вскоре от службы военной свободу мне дали Филиппы:
 Крылья подрезаны, дух приуныл; ни отцовского дома
 Нет, ни земли — вот тогда, побуждаемый бедностью дерзкой,
 Начал стихи я писать. Но когда я имею достаток
 Полный, какие могли б исцелить меня зелия, если б
 Лучшим не счел я дремать, чем стихов продолжать сочиненье³.

Здесь Гораций намеренно прииживает себя как поэта; к писанию стихов его побудила не только «дерзкая бедность» (*paupertas audax*), а подлинная любовь к литературе; но, несомненно, честолюбие и желание подняться выше должности писца тоже сыграли свою роль и придали первым произведениям Горация тот желчный иронический «архилоховский» тон, который был им впоследствии совершенно утрачен, когда он достиг, по его выражению, «полного достатка».

Его первыми произведениями были сатиры и эподы; точный хронологический порядок их едва ли удастся когда-либо установить. Важно то, что уже в 38 г. какие-то из его стихотворений обратили на себя внимание Вергилия и Вария и побудили их представить Горация их общему покровителю Меценату, который заинтересовался новооткрытым талантом. В сле-

² В 7-й оде II книги, обращенной к одному из его друзей, Гораций вспоминает о своем бегстве.

С тобой Филиппы, бегство поспешное
 Я вынес, кинув щит не по-ратному. (ст. 9—10)

Вольное переложение этой оды дал Пушкин.

Кто из богов мне возвратил
 Того, с кем первые походы
 И браней ужас я делил? . .

Ты помнишь час ужасной битвы,
 Когда я, трепетный квириг,
 Бежал, нечестно брося щит,
 Творя обеты и молитвы?

³ Цитаты из посланий Горация даны в переводах Н. Гинцбурга (Гораций Полное собрание сочинений. М.—Л., Academia, 1936).



Камень, вырезанный в память битвы при Акции. I в. н. э.

дующем году Меценат пригласил Горация сопровождать его в Брундисий, где состоялось соглашение между Октавианом и Антонием, отсрочившее окончательное столкновение между ними на семь лет. С этих пор Гораций был, по-видимому, материально обеспечен, особенно после того, как в 33 г. получил от Мецената в подарок небольшое имение в сабинских горах, к востоку от Тибура, в 40—45 километрах от Рима. Это имение обслуживалось восемью рабами, и при нем имелось пять ферм, сданных арендаторам. Таким образом, Гораций, с нашей точки зрения, несколько преуменьшает свой достаток, постоянно твердя о своем «скромном жилище», «деревенском столе» и т. п., но по сравнению с огромными богатствами людей того общества, в котором он вращался, он действительно был небогат.

Все двадцать пять лет после получения Горацием имения, проведенные им то в имении, то в Риме, не отмечены никакими выдающимися событиями в его личной жизни, кроме того, что однажды Октавиан, ставший уже Августом, предложил ему быть его личным секретарем, от чего Гораций имел мужество отказаться.

Крупным событием для литературной деятельности Горация было то, что в 17 г. Август поручил ему сочинить торжественный гимн для государственных празднеств, повторявшихся раз в 110 лет, так называемый юбилейный гимн (*Carmen Saeculare*), что считалось большой честью. Вообще Гораций в течение последнего периода своей жизни занял положение придворного поэта, в особенности укрепившееся за ним после смерти Вергилия в 19 г. до н. э. Гораций платил своим покровителям — и самому Августу, и Меценату, и другим своим высокопоставленным друзьям благодарностью, а часто и лестью, то упоминая о них в своих стихотворениях, то обращаясь прямо к ним. Однако свое право на известную самостоятельность он все же упорно отстаивал; так, он не раз подчеркивал свою неспособность к созданию эпических поэм о подвигах Августа и его сподвижников и свое влечение к малым формам. Последние произведения его затрагивают почти исключительно круг вопросов теории литературы и литературной критики.

С Меценатом Горация связывала искренняя дружба, порой, однако, его все же тяготившая. Стареющему поэту все меньше хотелось принимать участие в кипучей жизни Рима, и в своих посланиях он искусно увертывается от требований то Мецената, то Августа посещать их почаще или, по крайней мере, не забывать их в своих стихах, ценность которых они оба хорошо понимали. Во фрагментах биографии Горация, дошедших до нас от Светония⁴, приведены отрывки из шутливых писем Августа к Горацию, стихи Мецената к нему же и сентиментальный рассказ о том, как Меценат перед смертью просил Августа «помнить о Горации Флакке, как о нем самом». Там же сообщаются некоторые сведения о наружности Горация и о легкомыслии его нравов.

Гораций умер в 8 г. до н. э., 57 лет от роду, только на два месяца пережив Мецената, и был похоронен рядом с ним на Эсквилинском холме.

Произведения Горация дошли до нас почти полностью; они были изданы при его жизни и собраны в сборники им самим с той чрезвычайной тщательностью, с которой Гораций относился к своим трудам («публикуй их на девятый год» — «Наука поэзии», ст. 388). Можно предполагать, что все, что он не желал выпускать в свет, было им самим уничтожено. От него осталось следующее:

1. Две книги сатир: I книга содержит 10 сатир, II книга — 8 сатир. Все сатиры написаны гексаметром.

2. Книга эподов: 17 стихотворений, написанных разными размерами.

3. Четыре книги од (в I книге содержится 38 од; во II книге — 20 од; в III книге — 30 од; в IV книге, вышедшей отдельно, через 10 лет после появления первых трех, — 15 од. Всего 103 оды: все оды написаны самыми разнообразными лирическими размерами).

4. «Юбилейный гимн» (*Carmen Saeculare*).

5. Две книги посланий (в I книге — 20 посланий, во II книге — 2 послания, а если причислить к ней особняком стоящее «Послание к Пизонам», обычно называемое «Наука поэзии» (*Ars poetica*), то 3 послания. Все послания написаны гексаметром. Послания I книги по размерам невелики, послания же II книги являются длинными стихотворными трактатами на литературные темы).

Время написания отдельных произведений внутри сборников установить невозможно, кроме тех случаев, когда имеются ясные указания на современные Горацию события, как, например, цикл од после победы при Акции (во II книге) или оды на победы Друза (IV книга). Последние произведения Горация (IV книга од) выпущены им в 13 г. до н. э. За последние 5 лет своей жизни он не написал ничего.

2. «САТИРЫ» И «ЭПОДЫ»

Первые произведения Горация — «Сатиры» и «Эподы» — были изданы им в сравнительно небольшой срок — пять лет (35—30 гг. до н. э.). Их можно рассматривать как одно целое, тем более что «Эподы» были выпущены Горацием в свет между I и II книгой «Сатир», разрабатывают сходные с сатирами темы и писались, возможно, попеременно с ними; а о своей решимости продолжать сочинение стихотворений в том «роде, который некоторым людям не нравится» (*Sunt quos genus hoc minime iuvat*; «Сатиры», I, 4, 24), Гораций открыто заявляет уже после опубликования эподов

⁴ Suetoni Tranquilli guae supersunt omnia. Deperditorum librorum reliquiae. Teubner, 1886, p. 297—298.

в программной 1-й сатире II книги. Напротив, следующая группа произведений, носящих уже совсем иной характер, — три книги од — появилась в свет лишь после семи лет молчания поэта.

«Юношескими» в буквальном смысле слова эти произведения назвать нельзя: Гораций написал их в возрасте между 30 и 35 годами, уже выработав известную систему взглядов на жизнь и определив свой круг интересов. Эти интересы остаются по существу одними и теми же в продолжение всего творческого пути поэта. Гораций выбирает ряд любимых тем, к которым неоднократно возвращается и в «Сатирах», и в «Одах», и в «Посланиях»; причем, некоторые темы он впоследствии разрабатывал более детально и углубленно, а других касался лишь мимоходом. Но если трактовка этих тем и изменяется, то не столько с идейной стороны, сколько со стороны внешней формы изложения. На протяжении 30 лет своего литературного творчества Гораций меняет жанры и размеры своих стихотворений, сравнительно мало изменяя их содержание.

О том, почему Гораций избрал для своих первых литературных шагов именно жанр сатир, он сам говорит не раз, и то объяснение, которое он дает, чрезвычайно характерно для него. Прежде всего, он считает сатиру не поэтическим произведением, а просто обыденной речью, изложенной «определенным размером» (*pede certo*). Ему лично нравится «включать слова в размер» (*pedibus delectat claudere verba*; «Сатиры», II, 1, 28); но «недостаточно из гладких слов составить стих» («Сатиры», I, 4, 54), если его разложить, то получится обычная речь, которую может сказать любой человек. Такое суждение Гораций высказывает и о своих собственных сатирах, и о сатирах своего предшественника и образца, Луцилия, а также и о комедиях. Поэтическим же произведением он признает эпос и в качестве примера приводит два стиха Энния:

...«Когда жестокая Распря
Створы железных врат войны беспощадной взломала...»⁵
(«Сатиры», I, 4, 60—61)

Уже по этому примеру видно, что Гораций считает основным признаком поэтического творчества наличие образного выражения мысли и подбор соответствующих слов. Впоследствии, создавая теорию поэтического творчества, Гораций обратил особое внимание именно на эти два момента — на нахождение образов и подбор лексического материала.

На первых порах Гораций считал себя не способным к этому роду литературного творчества: в той же 1-й сатире II книги он отвечает Требатию, советующему ему взяться за эпическую поэму:

...И желал бы, отец мой,
Но не чувствую силы к тому. Не всякий же может
Живо полки описать с их стеною железною копий,
Галлов со смертью в борьбе на обломках оружий, иль парфов,
Сбитых с коней...
(«Сатиры», II, 1, 12—16)

Менее решительно он отказывается от предложения Требатия восхвалить лично Цезаря (Октавиана), он только откладывает это до удобного случая (*cum res ipsa feret*), т. е. лирическая форма хвалебного гимна ему уже в это время представляется жанром не столь несвойственным его спо-

⁵ ...Fosquim Discordia taetra
Belli ferratos postis portasque refregit.

собностям, как героический эпос. Однако за собой он все же пока хочет оставить только сатиру:

Я для забавы безделки пишу, которые в храме
Бога поэтов (где Тарпа судьей) состязаться не будут,
Да и не будут по несколько раз появляться на сцене.

(«Сатиры», I, 10, 38—40)

Перечислив современных ему поэтов — Фундания, Поллиона, Вария, Вергилия — и выделив каждому его область творчества, Гораций оставляет за собой «то, в чем неудачно испытывал свои силы Варрон Атацинский и некоторые другие, и что мне удастся лучше всего, хотя и меньше, чем тому, кто это изобрел...» (там же, 46—47). Здесь Гораций называет избранный им жанр не сатирой, а «беседами» (*sermones*), но из его частых ссылок на Луцилия ясно видно, что он подразумевает именно этот жанр.

Так как сатира и комедия не заслуживают, по мнению Горация, названия поэм, то их творцы не имеют права претендовать на то, чтобы их считали поэтами. От поэта требуется «талант», «божественный разум» и «уста, вещающие великое» (*ingenium, mens divinius atque os magna sonaturum*; «Сатиры», I, 4, 43). Поэтому Гораций не считает возможным включить себя и Луцилия в число поэтов:

Первое: я не считаю себя в тех, которым бы дал я
Имя поэта: ведь стих заключить в известную меру —
Этого мало! — Ты сам согласишься, что кто, нам подобно,
Пишет, как говорят, тот не может быть признан поэтом.
Этого имени честь прилична лишь гению, духу
Божеской силы; устам — великое миру гласящим.
Вот отчего и комедия многих вводила в сомненье,
И поэма ль она или нет, подвергалось вопросу,
Ибо ни силы в ней духа, ни речи высокой: отлична
Только известною мерой стиха от речей разговорных.

(«Сатиры», I, 4, 39—48)

Этот взгляд Горация на поэзию вообще и на избранный им самим жанр, безусловно, носит несколько формальный характер и свидетельствует о том, что ему многое было неясно в назначении и в значении комедии и сатиры. Ее общественного смысла и роли он, по-видимому, не замечал. Иначе едва ли бы он мог сказать о комедии, что «ни в словах, ни в содержании она не имеет ни острого ума, ни силы» (*acer spiritus ac vis pes verbis pes rebus inest*). Особенно странно то, что он ссылается не на позднейших авторов, представителей новой аттической комедии, действительно отчасти утративших «острый ум и силу» древней комедии и заменивших эти качества занимательностью фабулы. Нет, Гораций перечисляет как раз наиболее знаменитые имена:

Аристофан и Кратин, Эвполд и другие поэты,
Мужи, которые древней комедии славою были,
Если кто стоял представленным быть на позорище людям,
Вор ли, убийца ль, супружних ли прав окорбитель бесчестный,
Смело, свободно его на позор выставляли народу.
В этом последовал им и Луцилий, во всем им подобный.

(«Сатиры», I, 4, 1—6)

ГОРАЦИИ

Перечисленные Горацием темы никак не подходят для характеристики комедий Аристофана, каждая из которых была откликом на самые жгучие вопросы политической жизни Афин, а отнюдь не преследовала таких морализующих целей, как говорит Гораций. Относительно произведений Луцилия мы знаем, конечно, слишком мало, чтобы полностью оценить общественное значение его сатир,— вероятно, не все они были одинаково важны, но их злободневный характер признается всеми, кто исследовал оставшиеся от него фрагменты. Гораций же уловил в них не общественные ноты, а только личную мораль. Именно поэтому он не понял, почему сатиры Луцилия воспринимались его современниками иначе, чем его собственные сатиры, носившие более узкий, личный характер. Как бы с педоумением он пишет:

...Ты скажи: окорблился ли Лилей
Или герой, получивший прозвание от стен Карфагена,
Да и казалось ли дерзостью им, что Луцилий Метелла
Смел порицать или Лула в стихах предавать поношенью?

(«Сатиры», II, 1, 66—69)

...А я, лишь за то, что сказал: «От Руфилла
Пахнет духами; Гаргоний же козлицем грязным воняет»,
Я за это слышу у тебя и коварным, и едким!

(«Сатиры», I, 4, 91—93)

Гораций спрашивает, почему его боятся —

...Вот в чем вопрос: справедливо ль
Ты считаешь опасной сатиру?

(«Сатиры», I, 4, 63—64)

Однако в свое оправдание он приводит именно то, что скорее могло бы служить его обвинением: он не стремится широко распространять свои сатиры, он читает их только в тесном дружеском кругу (там же, ст. 73) и дает совет каждому поэту:

Не желай удивленья толпы, а пиши для немногих.

(«Сатиры», I, 10, 73)

Сатира, не рассчитанная на широкое распространение, понятная только для немногих, неминуемо должна соскользнуть с почвы общественного дела на почву личного порицания и даже бытовой сплетни. Именно потому сатира Луцилия не оскорбляла упомянутых Горацием деятелей, что она была политической сатирой, боролась не с лицами, а с тенденциями, была политическим памфлетом, а не издевательством над отдельным лицом. Сатиры же Горация, испещренные именами современников, хотя и вымышленными, но, вероятно, вполне понятными для тех друзей, которым он читал их («Сатиры», I, 4, 74), заключают в себе только порицание личных недостатков пороков или смешных черт данных лиц. А там, где Гораций пытается придать своим насмешкам и поучениям общезначимый характер, он обосновывает их не общественно-политическими доводами, а морально-философскими; в этом случае его сатира приближается к тем проповедям о добродетели и мудрости, которые были достаточно известны в устах стоиков и эпикурейцев.

Нельзя, однако, обвинять Горация за слабую связь его сатир с общественно-политической жизнью; он только возродил в своих сатирах (частично и в «Эподах») то, чем первоначально был этот жанр, т. е. беглую зарисовку бытовых картинок без определенного плана (*satura* — своего рода «попурри»). Ошибкой его было только то, что он ссылаясь на Луцилия, который как раз изменил случайный, частный характер сатиры на злободневный и общественный. Гораций себе подобных задач не ставит и ясно характеризует свои стихотворения как попытку «записать краски жизни».

..Ожидает ли тихая старость,
Или на черных крылах летает уж смерть надо мною,
Нищ ли, богат ли я, в Риме ли я, иль изгнанником стану,
Жизнь во всех ее красках всегда я описывать буду.

(«Сатиры», II, 1, 57—60)

Именно эта сторона сатиры Горация для нас наиболее интересна. В ней не следует искать того, что мы понимаем под сатирой, ее нужно воспринимать как своеобразную смесь изображения быта и моральной проповеди. Сменяющиеся без определенного плана и системы шуточные рассказы, личные воспоминания и личные выпады, не слишком глубокие философские размышления, подробное и немного однообразное изложение тезисов ходячей морали с примерами из повседневной жизни — таково содержание его сатир, ясно свидетельствующее о падении общественно-политических интересов у того поколения, к которому принадлежал Гораций. Это поколение застало только конец гражданских бурь, ему был чужд и непонятен их пафос, оно жаждало только одного — личного спокойствия. Гораций, как сын вольноотпущенника, не связанный органически с политической жизнью «великого города», выразил это настроение ярче, чем другие поэты эпохи Августа, но в той или иной мере переход от общественных интересов в сферу личной жизни и моральной философии отразился во всех произведениях этого времени. Единственный общественный мотив, который ясно звучит в стихотворениях Горация — и ранних, и поздних, носит скорее отрицательный характер: это — отвращение к гражданской войне, страх перед нею и безоговорочное осуждение всех внутренних столкновений.

Его «Оды», восхваляют Августа прежде всего за то, что он водворил внутренний мир в Риме и отогнал внешних врагов.

Гораций говорит, что над Римом тяготеет проклятие, так как Ромул был братоубийцей; римляне пожирают друг друга, чего не делают даже дикие звери. «Влечет ли вас, слепых, безумие или какая-то мощная сила, или вина (*an culpa*)?» — спрашивает Гораций, и сам же отвечает:

Да! Римлян гонит лишь судьба жестокая
За тот братоубийства день,
Когда лилась кровь Рема неповинного...

(«Эподы», 7, 17—18)

Еще решительнее говорит Гораций о проклятии, тяготеющем над Римом, в 16-м эпосе. Страшная судьба ожидает Рим: он падает жертвой варваров, кости Квирина будут разметаны (очевидно, именно в наказание за его преступление); надо вовремя бежать из Рима, обрекая его на запустение, никогда не возвращаться обратно и найти новую, чистую

землю не на Востоке, где уже проплыл корабль аргонавтов и где ступала нога преступной Медси, а на Западе в Океане, где беглецов примут острова, которые Гораций обрисовывает в обычных тонах «золотого века».

Оригинальность этих стихотворений Горация заключается не в описании островов блаженных, где мед каплет с деревьев, где нет ни долгих дождей, ни засухи,— а в изображении Рима как проклятого богами города и гражданских войн как следствия этого проклятия. Не прошло еще ста лет со времен борьбы Марии и Суллы, восстания Спартака, Серторианской войны, а глубокий социальный смысл всех этих событий стал уже непонятен, и они стали истолковываться в мистически-религиозном духе.

При своем отрицательном отношении к внутренней политической жизни Рима Гораций не видит ничего привлекательного и в государственной службе. Тот честолюбивый восторг, которым дышат письма и речи Цицерона, гордившегося тем, что его сын уже будет сыном не «нового человека», а сенатора и консуляра, совершенно чужд Горацию; никаких трудностей ради достижения высоких постов он переносить не желает. Конечно, Гораций несколько рисуется своей скромностью, но едва ли можно совсем не верить ему, когда он утверждает, что лишен служебного честолюбия, что не хотел бы происходить от знатных родителей, так как это влечет за собой множество неприятностей, необходимость представительства, заискивания и больших расходов.

Ибо тогда бы мне должно мое умножать состояние,
Многих приветствовать, в дом приглашать то того, то другого;
Даже в деревню, пожалуй, один бы не смог я уехать;
Надо б носильщиков мне содержать, да о настибцах думать,
Чтобы коней прокормить, за собою возя колесницу.

(«Сатиры», I, 6, 100—104)

Если вспомнить «Записку о выборах в консулы» Квинта Цицерона, огромное число судебных дел *de ambitu*, постоянное состязание между претендентами на должности в устройстве игр, зрелищ и пиров для избирателей, то можно понять Горация; но для Рима такое падение интереса и уважения к государственной службе является верным признаком распада векового государственного строя. Гораций идет еще дальше в осуждении служебного честолюбия. Правда, не от своего лица, а устами некоего Оппидия, он дает такой совет молодым людям, вступающим во владение наследством:

...Я заклинаю ценатами вас: берегитесь —
Ты — уменьшать, а ты — прибавлять к тому, что отец ваш
Почитает довольным для нужд, сообразных с природой.
Пусть не приманит вас слава, и в этом священную клятву
Дайте мне оба тотчас же; а кто из вас претором станет
Или эдилом, да будет наследства лишен он и проклят...
Значит, чтобы в цирке сидеть, развалясь, иль чтоб в бронзе отлитым
Стать пред людьми, ты растратишь отцовские земли и деньги?

(«Сатиры», II, 3, 176—181, 183—184)

В тесной связи с этим отрицательным отношением к государственной и общественной деятельности стоит та типичная для Горация программа умеренного достатка, «золотой середины», которой он остается верен всю свою жизнь. Эту тему он неоднократно разрабатывает во многих сатирах

(I, 1, 6; II, 2, 3, 6). Свой мирный образ жизни в поместье он описывает в самых радужных красках.

Спать я иду, не заботясь о том, что мне надобно завтра
 Рано вставать...
 Сплю до четвертого часа; потом, погулявши, читаю
 Или пишу втихомолку я то, что меня занимает.
 После я маслом натрусь...
 ...Тут, ежели солнце
 Жаром меня утомит и напомнит о бане прохладной,
 Я от жара укроюсь туда. Насыщаюсь нежданно...
 Дома потом отдохну. Жизнь подобную только проводят
 Люди, свободные вовсе от уз честолюбия тяжких.

(«Сатиры», I, 6, 118—129)

В другой сатире (II, 6), изобразив юмористически беспокойную жизнь в Риме, где «сотни дел на плечах», он опять-таки мечтает о тихой жизни в своем имении.

О, пир достойный богов, когда вечеряю с друзьями
 Я под кровом домашним моим и трапезы остатки
 Весело сносят рабы и потом меж собою пируют.
 Каждый гость кубок берет по себе, кто большой, кто поменьше...
 Нашей беседы предмет — не дома и не земли чужие,
 Наш разговор не о том, хорошо или ловко ли пляшет
 Лепос,— но то, что пужнее, что вредно не знать человеку.
 Судим: богатство ли делает счастливым или добродетель
 Выгодна, или склонности к дружбе вернее приводят,
 Или в чем свойства добра и в чем высочайшее благо?

(«Сатиры», II, 6, 65—68, 71—76)

Конечно, бедность и умеренность Горация надо понимать условно — его «скромный ужин трое рабов подают».

Однако у Горация не всегда хватает терпения изображать из себя добродетельного философа; его блестящий юмор прорывается почти во всех его сатирах, и тогда он не щадит ни самого себя, ни своих друзей. Наиболее интересна в этом отношении 7-я сатира II книги, в которой Гораций подвергает «дружеской критике» сам себя, но не от своего имени, а от лица своего раба Дава, который, следуя в день Сатурналий старому обычаю, говорит своему господину в лицо все, что он о нем думает. Гораций не упускает ни одной своей черты, над которой можно посмеяться или которую следует осудить: он-де восхваляет сельскую тишину, но, говорит Дав:

В Риме тебя восхищает деревня; поедешь в деревню —
 Рим превозносишь до звезд...

(«Сатиры», II, 7, 28—29)

Гораций хвалится своей умеренностью в еде, но

...Как нет приглашенья па ужин,
 Хвалишь и зелень и овощи; счастьем считаешь, что дома
 Сам ты себе господин, как будто в гостях ты в оковах.
 Если же на вечер звать пришлет Меценат: «подавайте

ГОРАЦИЙ

Масла душистые! Эй! Да слышит ли кто?» Как безумный,
Ты закричишь, зашумишь, беготню во всем доме поднимешь.

(«Сатиры», II, 7, 30—35)

Гораций на протяжении целой сатиры (I, 2) убеждал юношей быть осторожными в любовных делах и не вступать в связь с замужними женщинами — Дав же уличает его в том, что он сам отнюдь не следует этим разумным советам, а прокрадывается по ночам в чужой дом, «главу надушенную в плащ завернувши», и подвергается опасности быть пойманным на месте преступления.

Цел ты ушел: научен, полагаю, ты станешь беречься:
Нет, где бы снова дрожать, где бы снова погибнуть, ты ищешь!

(«Сатиры», II, 7, 68—69)

Наиболее же горькие упреки обращает Гораций к самому себе за то, что он, так много говорящий о своей полной свободе, на самом деле является игрушкой в руках других, выше него стоящих людей:

Ты господин мой; а раб и вещей и раб человек...

...Ты мне тоже

Ведь приказанья даешь; сам же служишь другим, как наемник
Или как кукла, которой другие за ниточку движут!

...Да прибавь, что ты дома

Часу не можешь пробыть сам с собой; а свободное время
Тратишь всегда в лустяках! — От себя убегаешь, и хочешь
Скуку в вине потопить или сном от забот позабыться...
Только напрасно! Они за тобой, и повсюду нагонят.

(«Сатиры», II, 7, 75, 80—82, 110—115)

Эта сатира, одна из лучших, свидетельствует о том, что быть приближенным Мецената и пользоваться его милостями было не всегда легко и во всяком случае не всегда совместимо с соблюдением даже той умеренной обиходной морали, которой так восхищается Гораций.

Над человеком, отказавшимся от общественной деятельности, огромную власть приобретают мелочи быта. Зарисовка бытовых мелочей представляет большую ценность для историка. Так, например, в 5-й сатире I книги Гораций обрисовывает свое путешествие с Меценатом в Брундисий. Он упоминает вскользь о том, что Меценат и его спутник Кокцей «отправлены были с поручением важным», чтобы несколько подчеркнуть свою близость к таким крупным лицам, но более не касается никаких серьезных тем, а весело рассказывает о том, как перевозчик, который должен был переправить их через реку, улегся спать на берегу, и они только под утро заметили, что лодка стоит на месте; как их забавляли в гостях у Кокцея шуты из рабов и вольноотпущенников; какие трудности терпели путешественники из-за недостатка питьевой воды; без стеснения упоминает Гораций и о том, как повредила его здоровью мутная вода на Аппиевой дороге и как его обманула девушка, обещавшая вечером разделить его одиночество. Еще живее написана 9-я сатира I книги, в которой Гораций жалуется на навязчивость знакомого, неудачливого поэта, который пристал к нему на улице, чтобы через него проникнуть к Меценату; косвенная похвала радушию и беспристрастию Мецената ловко и уместно вплетена в разговор.

Две шуточные гастрономические поэмы включены во II книгу сатир. В 4-й сатире некий Катий поучает Горация кулинарному искусству, вникая с увлечением в самые тончайшие детали изготовления и подачи лакомых блюд; возможно, однако, судя по ироническому концу сатиры, что Гораций дает не вполне точные рецепты, а пародирует речи гастрономов. В возвышенных выражениях умоляет он Катия дать и ему, Горацию, возможность.

...Достигнуть источников тайных
И почерпнуть из них учение жизни блаженной.

(«Сатиры», II, 4, 94—95)

В таком же юмористическом тоне изображен ужин у богача Насидиена, о котором рассказывает Горацию его приятель. Этот пир, вероятно, послужил прототипом для пира Трималхиона в «Сатириконе» Петрония: бесконечный ряд самых необычайных кушаний подается изумленным гостям, но удовольствие от еды снижается тем, что хвастливый хозяин подробнейшим образом разъясняет гостям особые достоинства каждого блюда.

Более злой насмешкой над одним распространенным в Риме явлением — погоней за наследством — является 5-я сатира II книги. До каких низостей и даже преступлений доводила людей жажда наследства, известно нам из речей Цицерона. Для своей сатиры в качестве действующих лиц Гораций избрал мифических героев: вернувшийся на родину Одиссей-Улисс обращается к прорицателю Тиресию за советом, как поправить свое состояние. Тиресий подробно излагает ему свою систему добывания наследства — подхалимство перед богатыми одинокими стариками, лжесвидетельство в суде, подкуп писцов, кража завещания и т. п. Одиссей сперва прерывает Тиресия негодующими возгласами («Я под Троей был не таков...»), но под конец умолкает, и когда Тиресий прощается с ним обычным возгласом *vive valeque* (живи, будь здоров), остается неясным, не решится ли он все же последовать полученным мудрым советам.

Резкой иронией звучит также в 7-й сатире I книги описание судебного процесса между двумя мошенниками — богатым греком Персием и римским сутягой Рупилием; здесь Гораций отчасти шародирует описание боев в «Илиаде».

Гнев был настолько велик, что лишь смерть развела ратоборцев...
Персий стремился, как зимний поток нерубленным лесом.

(«Сатиры», I, 7, 13 и 28)

Последней бытовой темой, занимающей большое место и в сатирах, и в эподах, является тема гаданья и колдовства: это совершенно неожиданно для моралиста и рационалиста, каким Гораций старается выставить себя. Так, он излагает историю человеческого рода и происхождение законов в полном согласии с учением Лукреция («Сатиры», I, 3, 100—119); он отрицает возможность чудес:

Здесь нас хотели уверить, что будто на праге священном
Ладан без пламени тает у них! — Одному лишь Апелле
Иудею поверить тому, а не мне: я учился
Верять, что боги беспечно живут, и если природа
Чудное что производит — не с неба они посылают!

ГОРАЦИИ

Однако в молодости Гораций, несомненно, очень интересовался колдовством и гаданьями; иначе он не мог бы так подробно описывать различные заклинания и обряды, как он делает это в 8-й сатире I книги, носящей, правда, несколько шуточный характер (деревянная статуя бога Приапа, стоящая на месте бывшего кладбища, жалуется на скверных старух-ведьм, приходящих по ночам выкапывать кости мертвецов). Напротив, два эпода, посвященных той же теме (5 и 7), не содержат ничего комического. Особенно жуткое впечатление производит 5-й эпод: в нем описывается убийство мальчика тремя колдуньями, намеревающимися из его мозга и печени сварить «зелье приворотное». Имя Канидии, очевидно, знаменитейшей в то время колдуньи, мимоходом упоминается Горацием еще не раз. По-видимому, поэту нелегко дался тот умиротворенный эпикурейзм, к которому он пришел в более поздние годы.

В «Сатирах» и «Эподах» Гораций еще только пробует свои силы в различных жанрах и на различные темы. Так, помимо политических, морально-философских, бытовых и чисто личных вопросов, он несколько раз возвращается к вопросам поэтики. По-видимому, поклонники сатир Луцилия упрекали его в том, что, считая себя его последователем, он все же недостаточно почтительно о нем отзывался (*durus comprobere versus*; «Сатиры», I, 4, 8), и Горацию пришлось защищаться в 10-й сатире I книги. Подробно отвечая на обвинения и обосновывая свое мнение о Луцилии, Гораций дает и краткую характеристику тех черт литературного произведения, которые он считает идеальными.

Хорошо и уметь рассмешить, но еще не довольно.
Краткость нужна, чтоб не путалась мысль, а стремилась свободно.
Нужно, чтоб слог был то важен, то кстати игрив, чтобы слышны
Были в нем ритор, поэт, но и тонкости светской красивость.
Надобно силу уметь и беречь, и, где нужно, умерить.
Шуткой нередко решается трудность и легче и лучше,
Нежели силой ума! — То старинные комики знали.

(«Сатиры», I, 10, 9—15)

Предъявляя такие высокие требования к поэтической разработке темы, Гораций в «Эподах» непрерывно ставит опыты, применяя различные комбинации размеров. Впоследствии в «Посланиях» он поставил себе в заслугу именно то, что

...Первый паросские ямбы

Лацию я показал; Архилоха размер лишь и страстность
Брал я, не темы его, не слова, что травили Ликамба.

(«Послания», I, 19, 23—25)

Разнообразие тематики его «Эподов» еще превосходит разнообразие «Сатир»; о двух политических эподах и о двух эподах, посвященных колдовству, речь была выше; но и все остальные эподы по своему характеру сильно отличаются друг от друга. Гораций то пробует свои силы в жанре идиллии, примыкающей к «Эклогам» Вергилия, но внезапно заканчивающейся иронической концовкой («Эподы», 2), то в эпиграммах (шуточной, о вреде чеснока — в 3-ем эподе, и остро враждебных, в эподах 4, 5, 10).

Наконец, наиболее близко он подходит к тому пути, по которому он и пошел в следующее десятилетие, в эподах 9, 11, 13, 14 и 15. По существу — это уже законченные лирические стихотворения, которые могли бы найти

свое место в книгах од. Хвалебная песня Октавиану после победы при Актии («Эподы», 9), три любовные элегии и по содержанию, и по форме («Эподы», 11, 14 и 15) уже выявляют те черты, которые станут наиболее характерными для лирической поэзии Горация: преувеличенные восторги перед военными подвигами принцепса, жалобы на жестокость любви и измену возлюбленных, не слишком глубоко затрагивающие сердце. Все это типично для Горация, все это изложено без того многословия и повторений, которыми подчас страдают «Сатиры»; манера письма в этих четырех эподах вполне соответствует идеальному плану, начертанному Горацием; краткость, точность выражения, изящество, легкая шутка.

Эпод 13 является первым вариантом темы, которой посвящено Горацием впоследствии немало од: в ненастный день отложим все заботы, будем пить и радоваться жизни, пока это возможно.

Грозным ненастием свод небес затагнуло: Юпитер
 Нисходит в снеге и дожде; стонут и море и лес.
 Хладный их рвет Аквилон фракийский. Урвемте же, други,
 Часок, что послан случаем. Силы пока мы полны,
 Надо нам быть веселей! Пусть забудется хмурая старость!
 Времен Торквата-консула вина давай поскорей!
 Брось говорить о другом: наверное, бог благосклонно
 Устроит все на благо нам. Любо теперь нам себя
 Нардом персидским облить и звуками лиры килленской
 От горя и волнения сердце свое облегчить...

(Перевод Н. С. Гинцбурга)

Это — уже подлинный Гораций, сделавший решительный шаг от бытовой сатиры и от моральной диатрибы к лирическому творчеству. Ввиду этого сходства с одами, а также и потому, что в эподах 11 и 13 Гораций применяет наиболее сложные размеры (в 11-м — ямбический триметр с элегиямбом, в 13-м — гексаметр с ямбозлегием), можно предположить, что именно эти эподы являются его первой попыткой использовать для латинского языка сложные греческие лирические размеры и что они-то и служат подготовкой к той долгой и тщательной работе, какую Гораций проделал, чтобы приспособить «эолийский стих к итальянским ладам»⁶. Сам Гораций считал главной своей заслугой именно это, и об этом он, после семи лет молчания, с гордостью и заявил в заключительном стихотворении к трем книгам своих од — в знаменитом «Памятнике».

3. «ОДЫ»

Подобно тому как «Сатиры» и «Эподы», представляющие собой различные жанры, тем не менее могли рассматриваться как одно целое, так и все четыре книги «Од» можно изучать вместе, чтобы получить общее представление о лирическом творчестве Горация, несмотря на то, что между выходом в свет первых трех книг и IV книги прошло 10 лет (первые три книги Гораций закончил в 23 г., IV выпустил в 13 г. до н. э.).

Своеобразие лирики Горация заключается в том, что она, отнюдь не являясь его поэтическим дневником, тем не менее полностью отражает его

⁶ *Aeolium carmen ad Italos... modos* («Оды», III, 30, 13).

отношение к жизни и дает цельный образ его личности — как человека и писателя.

Относительно IV книги имеется достоверное свидетельство, что она была выпущена по личному требованию Августа, заказавшего Горацию оды по случаю побед Друза и Тиберия в Германии и на Востоке. Поэтому наличие официальных, несколько растянутых и суховатых од в IV книге вполне понятно; но и в первых трех книгах ряд официальных од носит тот же характер (например, оды I, 12 или III, 4 и 5). Однако в книгу IV входит несколько од, принадлежащих к числу лучших его произведений по глубине мысли или изяществу формы (IV, 7, 9, 12). Надо заметить, что и первые три книги создавались постепенно; точные хронологические данные могут быть установлены только относительно некоторых од, связанных с историческими событиями. Вероятно, после издания трех книг Гораций еще продолжал писать оды и, воспользовавшись заказом Августа, включил их в книгу IV.

Итак, рассматривая лирическое творчество Горация на всем его протяжении, мы можем проследить, как и в первый период его литературной деятельности, несколько основных тем, которые проходят через все книги од, иногда соприкасаясь друг с другом, преимущественно же повторяясь в различных вариантах, соперничающих между собой в красоте и ясности выражения.

Так как уже в 20-х годах, а особенно после смерти Вергилия Гораций постепенно достиг положения придворного поэта, темы политического характера естественным образом занимают в одах более важное место, чем в «Сатирах» и «Эподах».

Призрак гражданской войны, ненавистный и страшный для Горация, еще продолжал преследовать его и после битвы при Акции. Всякую гражданскую войну Гораций считал, как и ранее, позорным преступлением, за которым должна последовать искупительная кара. Однако по новой концепции Горация, связанной с возвышением Октавиана, к преступлению войны присоединяется другое преступление — убийство Цезаря. Эта мысль обозначает решительный переход Горация на сторону Октавиана; для Горация, сражавшегося, хотя и не по внутреннему убеждению, в войске убийц Цезаря, высказываться в таком духе в первый период его творчества едва ли было возможно. Теперь же, почти через 20 лет после битвы при Филиппах, он решился на втором месте в своем собрании од поместить стихотворение, в котором называет Октавиана «мстителем за Цезаря» (*Caesaris ultor*), Меркурием, принявшим человеческий образ для спасения Рима, от которого отвернулись все другие боги: наводнение, угрожавшее Риму, изображено как месть бога реки Тибра за слезы своей жены Илии (*Рей Сильвии*), оплакивавшей убийство одного из своих потомков, но Рема или Юлия Цезаря — не сказано. Эта сложная связь мифологических образов изложена в очень сжатых стихах (малым сапфическим размером) и настолько запутанно, что заставляет вспомнить жалобу Горация на то, что когда он хочет быть краток, он становится темн (*brevi esse laboro, obscurus fio*; «Наука поэзии», 25—26). Ввиду того что эта ода большинством исследователей датируется 28 г., можно считать ее одной из ранних од; на это же указывают и некоторые негладкости в стихе (*jove non probante* — и — *hogius amnis*; I, 2, 19—20). Относительно же гражданской войны Гораций говорит, что в будущем молодежь узнает о том, как граждане точили друг на друга оружие, которым следовало разить внешних врагов.

Воспоминание о гражданской войне не оставляет Горация и дальше; он еще не раз говорит о ней, как о величайшем грехе, за который надо

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ИМПЕРИИ

ответить и принять кару. В той же I книге од он, обращаясь к богине судьбы, заканчивает длинное серьезное стихотворение словами:

Увы! Нам стыдно наших преступных дел
 Братоубийства; о век злодейский наш
 Чего не тронул? Что падали
 Мы, нечестивцы? Богов страшася,
 Сдержала ль руку юношей рать от зла?
 Дала пощаду чьим алтарям святым
 О перекуйте ж мечи скорее
 Против арабов и массагетов.

(«Оды», I, 35, 33—40)

Той же темой Гораций начинает и II книгу од. Обращаясь к Асинию Поллиону, написавшему историю гражданских войн (*motum civicum*), Гораций предупреждает его, что он «по огню ступает, что под золою обманно тлеет»; он опять говорит об оружии, облитом «еще неискупленной кровью» (*nondum expiatis sanguinibus*), опять сокрушается о пролитой крови граждан:

Какое поле, кровью латинскою
 Насытись, нам не кажет могилами
 Безбожность битв и гром паденья
 Царства Гесперии, слышный персам?
 Какой поток, пучина — не ведают
 О мрачной брани? Море Давнийское
 Резня какая не багрила?
 Где не лилась наша кровь ручьями?

(«Оды», II, 1, 29—36; перевод Г. Ф. Церетели)

Но в заключительной строфе этой оды Гораций уже с шуткой обращается к своей Музе, предлагая ей забыть печальные погребальные напевы и перейти к более веселым песням.

О «грехах отцов» Гораций вспоминает и в 6-й оде III книги (ст. 1—4, 13):

За грех отцов ответчиком, римлянин,
 Безвиновным будешь, храмов пока богам,
 Повергнутых, не восстановишь,
 Статуй, запятнанных черным дымом

 Объятый смутой, чуть не погиб наш град.

(Перевод Н. С. Гинцбурга)

Однако это стихотворение носит уже не столько чисто политический, сколько морализующий характер: «грех отцов» заключается в падении нравов, в осквернении брака и семьи (III, 6, 19—20), девушки потеряли стыдливость, замужние женщины ищут богатых содержателей. Эту тираду против «падения нравов» Гораций заканчивает противопоставлением своих развращенных современников тем, кто победил Антиоха, Пирра и Ганнибала. Эта моральная проповедь — уже отклик на внутреннюю политику Августа.

К той же теме Гораций возвращается и в 24-й оде III книги, где изображает гражданские распри как следствие безнравственности.

ГОРАЦИИ

Тот, кто хочет безбожную
Брань и ярость пресечь междоусобицы,
Если он домогается,
Чтоб «Отец городов» было под статуей,
Пусть он сдержит распущенность...

(«Оды», III, 24, 25—29; перевод Г. Ф. Черетели)

Забота Августа о нравственности нашла своего усердного выразителя в Горации, склонность которого к проповеди ходячей морали, приемлемой для среднего человека, была заметна уже в «Сатирах» и «Эподах». Гораций посвящает немало од проповеди умеренности и скромности, осуждению богатства и стремления к бесконечному накоплению денег или к чрезмерно роскошной жизни. Повторяя, по-видимому, «общее место (ср. Саллюстий, «Заговор Катилины», 1), Гораций упрекает прихотливого богача за то, что он «выносит в Байях берег в море шумное, как будто тесно для него на суше» (II, 18, 20—23).

Тот же образ использован и в 1-й оде III книги:

Уж рыбы чувят — водный простор стеснен,
Камней громады ввергнуты в моря глубь;
И вновь рабы спускают глыбы:
Смотрит подрядчик и сам хозяин,
Земли гнушаясь...

(«Оды», III, 1, 33—36; перевод Н. С. Гинцбурга)

Гораций видит, как идет процесс накопления богатств у одних и обеднения и обезземеления других. В 18-й оде II книги он упрекает богача не только за напрасные траты и роскошные постройки, но и за жестокость к клиентам:

...Тебе и этого
Еще все мало, и, межги продвинув,
Рад своих клиентов ты
Присвоить землю — и чета несчастных
С грязными ребятами
Богов отцовских тащит, выселяясь.

(«Оды», II, 18, 23—28; перевод Н. С. Гинцбурга)

Еще яснее он говорит об этом же явлении в интересной 15-й оде той же II книги, описывая разрастание латифундий за счет пахотной земли.

Земли уже мало плугу оставят нам
Дворцов громады; вслodu увидим мы
Пруды, лукринских вод обширней;
Скоро заменит платан безбрачный
Лозы подспорье — вязы...

...Не то заповедали
Нам Ромул и Катон суровый, —
Предки другой нам пример давали.
Не многим каждый лично владел тогда,
Но процветала общая собственность;
Не знали предки в жизни частной
Портиков длинных, лицом на север;

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ИМПЕРИИ

Не отвергался прежде законами
Кирпич из дерна, и одобрялся лишь
Расход общественный на мрамор
Для городов и величья храмов.

(«Оды», II, 15, 1—5, 11—21; перевод А. П. Семенова-Тян-Шанского)

Эта тирада папоминает своей тематикой следующее место из речей Цицерона: «Народ римский ненавидит роскошь у частных лиц, великолепие же в общественных строениях любит» («За Мурену», 36, 76).

Видя зло, Гораций не знает, однако, как его пресечь, приписывает его происхождение исключительно моральным причинам и предлагает невозможную меру — уничтожить все богатства вообще; впрочем, и более серьезный политик, Саллюстий предлагает то же самое в качестве проекта упорядочения Римского государства. Гораций же использует эту мысль, как поэтический образ:

Не слести ль в Капитолий нам,
Клик внимая толпы, нам рукоплещущей,
Иль спустить в море ближнее
Жемчуг, камни и все золото бесплодное,
Зла источник великого,
Если только в грехах вправду мы каемся?
Надо страсть эту низкую
С корнем вырвать давно...

(«Оды», III, 24, 45—52; Цероперевод Г. Ф. тели)

Отвращение к гражданской войне и страх перед возвращением ее, радость по поводу побед римских войск и укрепления границ Римского государства и сочувствие внутренним мероприятиям принцепса, якобы возрождающим нравственное достоинство римлян, утраченное во время смут, — все это крепче и крепче связывало Горация с той политической линией, которую неуклонно и так искусно проводил Август. Об искренности отношения Горация и к самому Августу, и к непосредственному покровителю Горация — Меценату среди исследователей творчества Горация было немало различных мнений. Энгельс, правда, в форме добродушной шутки, упрекает Горация в том, что он «ползает перед Августом»⁷. И действительно, в некоторых официальных одах (особенно в заказанной Августом IV книге) Гораций употребляет такие преувеличенные выражения восторга и преклонения перед Августом, что едва ли возможно удержаться от сомнения в его искренности. Он называет Августа «вторым после Юпитера» (I, 12, 51), «прекрасным солнцем» (IV, 2, 47), приравнивает его к обожествленным героям Кастору и Гераклу (IV, 5, 35—36) и утверждает, «что век Августа дал обилье нивам», «покорил всех врагов», «воскресил доблесть» и «устрашил преступления» (*emovit culpas*; IV, 15). В этих словах Гораций выражает свои прежние взгляды; во 2-й оде I книги он спрашивал: «Кому Юпитер даст силу искупить преступление?» — в последней оде IV книги он отвечает на это: «Август искупил его». Верил ли он в это действительно, сказать трудно: но, несомненно, в общем к политике Августа он имел основания относиться положительно. Такой крайний индивидуалист, как Гораций, стоявший далеко от подлинной политики и наслаждавшийся своим личным достатком и общим спокойствием, мог закрывать глаза на то, что принципат Августа был весьма далек от той идеальной картины, которую нарисовал он сам.

⁷ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIII, стр. 300.

ГОРАЦИИ

Хранит нас Цезарь, и ни насилие
 Мир не нарушит, ни междусобица,
 Ни гнев, что меч кует и часто
 Город на город враждой подьмлет...
 А мы и в будний день и в день праздничный
 Среди даров веселого Либера
 С детьми и с женами своими,
 Перед богами свершив моление,
 Петь будем по заветам по дедовским
 Под звуки флейт про славных воителей,
 Про Трои нашу, про Анхиса
 И про потомка благой Венеры [т. е. Августа].

(«Оды», IV, 15, 17—20 и 25—32; перевод Г. Ф. Церетели)

Политические воззрения писателя естественным образом часто переплетаются с его философскими взглядами. Те сентенции, осуждающие богатство, жадность, стремление к роскоши и к славе, которые Гораций включал, как мы видели, не раз в свои официальные оды, являются, если их рассматривать под другим углом зрения, порождением той же философской этики, которую он проповедовал уже в «Сатирах». Господствующим философским школам того времени, эпикуреизм и стоицизм, сильно отличались друг от друга в области космологии, а также в отношении к религиозным верованиям, но в области этики близко сходились между собой. Обе они учили, что высшим достижением человека является спокойствие духа, равнодушие к временным бедствиям и отношение к смерти как к явлению естественному и безразличному, т. е. цель мудреца — «атараксия» и «апатия».

В более ранние годы, во время сочинения «Сатир», Горация интересовала главным образом житейская мораль, вопрос — как жить? Теперь, после сорока лет, он все чаще возвращается к вопросу — как относиться к смерти, которая может прийти в любую минуту? Для того ответа, который он дает на этот вопрос, Гораций ищет все более красивую и выразительную форму; будущего узнать нельзя и не следует пытаться заглянуть в него, надо всегда сознавать возможность смерти и использовать разумно и радостно каждую минуту, которая тебе дана. Ставший поговоркой совет Горация из 11-й оды I книги — «лови день» (буквально «срывай день» — *carpe diem*) не раз повторяется:

Но мудро боги скрыли от нас исход
 Времен грядущих мраком густым...
 ...Проводит весело жизнь свою
 Как хочет, тот, кто может сказать: сей день
 Я прожил; завтра — черной тучей
 Пусть занимает Юпитер небо
 Иль ясным солнцем, все же не властен бог,
 Что раз свершилось, то повернуть назад,
 Что время быстрое умчало,
 То отменить иль не бывшим сделать.

(«Оды» III, 29, 29—30, 41—48; перевод Н. С. Глицибурга)

На судьбу полагаться нельзя, нельзя надеяться на прочность счастья, надо всегда быть готовым к любым переменам. Поэтому Гораций охотно использует образ Фортуны и образ урны, из которой падают жребии; Фортуна капризна, — беспристрастна только смерть:

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ИМПЕРИИ

Судьба венец с тебя срывает,
Чтобы, ликуя, венчать другого.

(«Оды», I, 34, 15—16; перевод А. П. Семенова-Тян-Шанского)

Фортуна рада злую игру играть,
С упорством диким тешить жестокий нрав:
То мне даруя благосклонно
Почести шаткие, то — другому.

(«Оды», III, 29, 49—52)

Но без пристрастия жребьем решает Смерть
Судьбу и знатных и ничтожных:
Выкинет урна любое имя.

(«Оды», III, 1, 14—16; переводы Н. С. Гинцбурга)

Наслаждаясь природой, любовью, красотой, надо все время помнить недолговечность всех благ.

...Юность нарядная
С красотою вместе быстро уносится,
И старость высохшая гонит
Резвость любви, как и сон беспечный.
В цветах весенних вечной нет прелести;
Сияет разно лик луны пламенный.
Зачем же душу ты терзаешь
Думой, что ей не под силу будет?

(«Оды», II, 11, 5—12; перевод Г. Ф. Церетели)

Образ «бледной смерти» (*pallida mors*; I, 4, 13—17), которая одинаково входит «в лачуги бедных и в царей чертоги», всегда стоит на заднем фоне самых, казалось бы, жизнерадостных стихотворений Горация. К теме неминуемой и неожиданной смерти он возвращается постоянно.

Ведь ты оставишь эти угодия,
Что Тибр волнами моет янтарными,
И дом с поместьем, и богатством
Всем завладеет твоим наследник.

(«Оды», II, 3, 18—21)

Знает ли кто, подарят ли нам боги хоть день на придачу
К жизни, уже прожитой?..
Ни красноречье тебя, ни твое благочестье, ни знатность
К жизни, Торкват, не вернут.

(«Оды», IV, 7, 17—18, 23—24; переводы А. П. Семенова-Тян-Шанского)

Для этой избитой темы, сотни раз разрабатывавшейся в греческой лирике, эпиграммах, элегиях, Гораций каждый раз умеет найти новые, трогательные слова и образы: мы должны

Покинуть землю, дом и любезную
Жену, и сколько б ты ни растил дерев,
Недолговечному владыке
Лишь кипарис провожатым будет.

(«Оды», II, 14, 21—24; перевод Ф. Б. Корша)



Ганимед кормит орла Юпитера
 Мраморный рельеф конца I в. до н. э. — начала I в. н. э.

Именно в своих высказываниях о жизни и смерти, больше чем где-либо, Гораций выполняет ту задачу поэзии, которую он называет особенно трудной — «общеизвестное сказать по-своему» (*propterea communia dicere*; «Наука поэзии», 128).

В стихах Горация часто встречаются имена богов, он то обращается к ним с мольбой, то благодарит их за помощь. Но фигуры отдельных богов являются только традиционным литературным украшением; так, например, он просит Венеру смягчить сердце жестокой девушки, Аполлона — даровать ему мирную старость и утешение в поэзии и т. п. В Юпитере для Горация олицетворяется общий миропорядок. Тем не менее какие-то черты суеверия и вера в возможность знамений и чудес заметны и в одах. Едва ли можно толковать только как формальный прием слова Горация о его испуге при ударе грома из ясного неба и его решении отныне больше чтить Юпитера (I, 34) или его оду к Меценату (II, 17), где он говорит о влиянии созвездий на судьбу их обоих. Едва ли он верил в подземное царство, суд Миноса и ладью Харона (IV, 7) в буквальном смысле, но какое-то чувство жути перед тем неведомым, что ожидает его после смерти, он все же испытывал, и это чувство нередко преодолеvalo его эпикурейский рационализм.

Таким же мастером слова, как в изображении темы жизни, смерти и судьбы, является Гораций и в излюбленной им теме любовного счастья. Женские имена, явно вымышленные, преимущественно эллинизированные (Лалага, Кинара, Хлоя, Пирра, Гликера, Фолоя, Филлида и т. п.) пестрят в его стихотворениях, сменяясь одно другим. Однако ни тех

жгучих чувств, которые отражены в коротеньких дистихах Катулла, ни той немного сентиментальной нежности, с которой Тибулл воспевал Делию, в любовных стихотворениях Горация нет и следа. Хотя он не раз говорит, что он «сгорает», что он желает своему счастливому сопернику тех же страданий, какие перенес он сам, — ни огня, ни страданий в его изящных, очаровательных по музыкальности и по подбору слов любовных одах не чувствуется.

Наиболее, пожалуй, искренне лиричным можно считать его знаменитое стихотворение-диалог между Лидией и самим поэтом, которые прежде любили друг друга, но потом разошлись; однако старая любовь победила, и они снова вместе (III, 9).

С большой художественной силой и выразительностью Гораций рисует природу. Он изображает летний полдень —

С бредущим вяло стадом уж в тень спеша,
Пастух усталый ищет ручей в кустах
Косматого Сильвана; смолкнул
Брег, ветерок перелетный замер.

(«Оды», III, 29, 21—24; перевод Н. С. Гинцбурга)

наступление осени —

...Ведь завтра листьями
Устелет рощу, а берег травами
Увядшими ненастный ветер,
Если не ложно накаркал ворон.

(«Оды», III, 17, 9—12)

суровую зиму —

Смотри: глубоким снегом засыпанный
Сорахт белеет, и отягченные
Леса с трудом стоят, а реки
Скованы прочно морозом лютым.

(«Оды», I, 9, 1—4; перевод А. П. Семенова-Тян-Шанского)

Сам Гораций хорошо понимал, что его заслуги перед латинским языком и литературой — весьма значительны. Его поэтическое творчество было большим, серьезным и тщательным трудом, и он заслуженно гордился этим. Выпуская в свет первый сборник од в три книги, он в 1-й оде говорит еще довольно скромно о своей задаче, как лирического поэта: его обычно радует общение с музами Эвтерпой и Полигимнией, но он будет горд, если Меценат признает его лирическим поэтом (I, 1). В заключительном стихотворении II книги (ода 20) Гораций уже описывает свое перевоплощение в поющего лебедя, который пронесется по всему миру до гипербореев и Колхиды. В последней же оде III книги, знаменитом «Памятнике», Гораций выражает полную уверенность в том, что его слава будет жить, пока будет стоять Рим. Эту же мысль он еще раз повторяет в IV книге (ода 9):

Поверь, погибнуть рок не судил словам,
Что я, рожденный там, где шумит Ауфид,
С досель неведомым искусством
Складывая в песни под звуки лиры.

(«Оды», IV, 9, 1—4; перевод Н. С. Гинцбурга)

Из этих слов видно, что Гораций, признававший себя в своих первых произведениях — сатирах последователем комиков и Луцилия, а не

поэтом, в области лирической поэзии считал себя новатором. На первый взгляд может показаться, что это его мнение недостаточно обосновано: до него писал лирические стихи не только Катулл, по лирическому дарованию стоявший выше его, но и Корнелий Галл, и ряд не дошедших до нас, но известных в свое время поэтов. Однако вся эта группа поэтов, так называемых неотериков, примыкала к поэтам эллинистического времени — Феокриту, Каллимаху и даже вычурному Эвфориону. Гораций же избрал своими образцами древнегреческих лириков — Архилоха, Сапфо, Алкея, Анакреонта, Мимнерма; с глубоким уважением он говорит о Пиндаре, считая себя самого недостойным подражать ему. Его хорическую лирику он воспроизводить не решался, но всю ритмическую сторону Пиндара и мелических поэтов он изучил тщательным образом. Первая книга его од — в известной степени метрико-ритмический эксперимент: в ней он пробует, чередуя их между собою, десять различных типов строф (все пять Асклепиадовых, две сапфических, две Архилоховых и Алкееву строфу, которую он впоследствии предпочитает всем другим); во всех дальнейших книгах он прибавляет еще только две новые строфы (ионическую, III, 22 и вторую Архилохову, IV, 7).

Воспроизводя в латинском стихе ритмические формы греческого стиха, Гораций и во многих других отношениях примыкает к своим греческим образцам. Он охотно использует «общие места» греческой поэзии; например, о том, что страсть к мореплаванию есть преступление против богов, отделивших одну землю от другой морями (I, 3, 21), о различии вкусов и интересов людей (I, 1) или о том, что поэты необходимы, как певцы подвигов героев, которые без них были бы забыты. Греческие мифы и имена греческих героев переполняют стихотворения Горация, иногда даже излишне загромождая их. В этой черте, как и во многом другом, нашла свое выражение та глубокая и искренняя любовь Горация, которой он был верен всю жизнь, — любовь к греческой поэзии.

4. «ЮБИЛЕЙНЫЙ ГИМН»

Тот же характер, что и официальные оды III и IV книг, носит «Юбилейный гимн» (*Carmen saeculare*), сочиненный Горацием по личному желанию Августа. В 17 г. до н. э. Август, достигший к этому времени полновластия и уверенный в его прочности, решил с особой пышностью справить государственное празднество — годовщину основания Рима. Это празднество было учреждено, по одним сведениям, Нумой, по другим — Валерием Попликолой; по всей вероятности, обе эти даты легендарны, и учреждение его следует относить уже к эпохе расцвета Республики. Как говорит Гораций и как известно и из других источников, оно совершалось раз в 110 лет (*undecim decies per annos*; «Юбилейный гимн», 21); после Августа подобное торжество опять через 110 лет праздновал Домициан в 93 г. н. э., хотя Август, по утверждению императора Клавдия, знатока древнеримских обычаев, устроил свое празднество слишком рано (Светоний, «Клавдий», 24, «Домициан», 4).

Празднество продолжалось три дня по строго определенному сложному ритуалу. Третий день был посвящен Аполлону и Диане; именно в этот день гимн, написанный Горацием, был исполнен двумя хорами подростков — мальчиков и девочек из видных семейств; каждый хор состоял из двадцати семи человек.

Сочинение гимна для такого общегосударственного торжества было большой честью, и стареющий поэт постарался оправдать доверие Августа к его таланту. Гимн, написанный малым сапфическим стихом, отличается

благозвучием и стройностью композиции. Он начинается и заканчивается обращением к Аполлону и Диане и распадается на две части, между которыми вставлена еще одна строфа с мольбой к этим богам. По своему содержанию обе части гимна связаны между собой тем, что в первой испрашивается для Рима материальное благополучие — богатые урожаи и прирост населения, во второй воспевается моральное возрождение государства под властью Августа. Поэтому в первую часть включено обращение к Церере и к Илифии, богине, помогающей деторождению, а во второй говорится о том, что теперь на землю «возвращаются «Верность, Мир, Честь, прежняя Стыдливость и дотоле презираемая Доблесть» (ст. 57—60).

Все эти мысли являются основными принципами официальной программы Августа, усердным провозвестником которой был Гораций; не забыта Горацием и та черта политики принцепса, которую Август, следуя примеру Юлия Цезаря, любил подчеркивать, — милосердие к побежденным врагам (*clarus Anchisae Venerisque sanguis... iacentem lenis in hostem* — ст. 50—51).

В 1890 г. при раскопках в Риме было найдено подробное описание данного праздника с упоминанием имени Горация, сочинившего гимн для хора.

5. «ПОСЛАНИЯ» И «НАУКА ПОЭЗИИ»

После выпуска в свет первых трех книг од поэт перешел к сочинению произведений в жанре, близком к «Сатирам», а именно к «Посланиям»: они написаны, как и «Сатиры», гексаметром и затрагивают почти тот же круг тем, который был отражен в «Сатирах». Основное формальное различие между «Сатирами» и «Посланиями» заключается в том, что послания адресованы определенным лицам, из сатир же только две (I, 4 и 6) обращены к Меценату. Некоторые из «Посланий», по всей вероятности, действительно являются письмами в стихотворной форме к лицам, упоминаемым в начале того или иного послания. Таково, например, 3-е послание I книги, в котором Гораций расспрашивает одного из приближенных Тиберия, Юлия Флора, как поживают и какими литературными трудами заняты его римские друзья; возможно, однако, что и это послание является искусно замаскированным критическим отзывом о нескольких современных поэтах. Также и в 15-м послании Гораций, которому врачи посоветовали ехать не в Байи, а на другой «курорт», расспрашивает своего адресата, Валу, о том, как туда проехать и как там живет, иронизируя над своими гастрономическими интересами, мало гармонирующими с его обычной проповедью умеренности. К пригодности правил умеренности для себя лично Гораций стал, по-видимому, относиться в позднем возрасте несколько скептически:

...Если средств у меня не хватает,
Бедной я жизни покой хвалю, среди скудости твердый;
Если же лучше, жирней мне кусок попадает, то я же
«Мудры лишь вы, — говорю, — и живете, как следует, только
Вы, что всем напоказ свои деньги пустили на виллы»⁸.

(«Послания», I, 15, 42—46)

⁸ Цитаты из «Посланий» даны в переводе Н. С. Гинцбурга, из «Науки поэзии» — в переводе М. Дмитриева.

ГОРАЦИЙ

Девятое послание I книги, вероятно, является настоящим рекомендательным письмом к Тиберию для некоего Септимия, долго пристававшего к Горацию с просьбой ввести его к «сильным мира», как тот навязчивый поэт, на которого Горацию жаловался в 9-й сатире I книги. Зная нелюдимый и недоверчивый характер Тиберия, Гораций пишет в очень сдержанном тоне и даже упрекает себя в дерзости, «свойственной горожанам» (*frontis ad urbanae descendendi graemia*; ст. 11). Но он, несомненно, предполагает, что Тиберий будет польщен тем, что Гораций обращается к нему со специальным посланием; не забывает Гораций упомянуть и о том, что все считают его «близким другом» Тиберия, хотя он сам в этом не так уж уверен. В этом послании Гораций показывает себя настоящим придворным.

Ряд посланий посвящен столь любимой Горацием теме — воспеванию прелестей деревенской жизни; изящный талант Горация находит для этой, бесконечно избитой темы, если не совсем новые, то во всяком случае приятные краски. Он шутливо сравнивает красоты и удобства римской жизни с прелестью деревни:

Разве вода, что прорвать свинцовые трубы стремится,
Чище воды, что в ручьях торопливо сбегает с журчаньем?

(«Послания», I, 10, 20—21)

Ведь в городе между домами и колоннами стараются сажать деревья, строят дома на местах, откуда открывается красивый вид, — в деревне же все это можно найти без труда. С любовью он описывает свое поместье и в послании 16-м I книги, называя его

Милый такой уголок и, если мне веришь, прелестный.

(«Послания», I, 16, 16)

Этой же темы он касается и в послании (вероятно, фиктивном) к своему управляющему, «виллику», который стремится в Рим и скучает в деревне (I, 14, 42). Непостоянство людей, их вечное недовольство и различие их вкусов — постоянная тема наблюдений и насмешек Горация. Он смеется не только над теми, кто стремится, как и он сам, то в Рим, то в деревню, но и над теми, кто предпринимает далекие путешествия, чтобы развлечься и насладиться красотой чужих стран. Так, он с насмешкой спрашивает некоего Буллатия, посетившего Малую Азию:

Как показались тебе, Буллатий мой, Хиос и славный
Лесбос и Самос-краса, и Сарды, Креза столица,
Смирна, — а как Колофон? Достойны они своей славой,
Или невзрачны они перед Тибром и Марсовым полем?

(«Послания», I, 11, 1—4)

Гораций заканчивает это послание, как всегда, моральным выводом:

В Риме заочно пускай хвалят Самос, и Хиос, и Родос...
Если заботы от нас отгоняет не местность с открытым
Видом на моря простор, а лишь разум и мудрость, то ясно:
Только ведь небо меняет, не душу — кто за море едет.
Праздная нас суета всех томит: на судах, на квадрагах
Мчимся за счастьем мы, — между тем оно здесь под рукою.

(«Послания», I, 11, 21, 26—29)

Таким образом, цель «Посланий», как и «Сатир», по большей части не сообщение, как в подлинных письмах, а морализация, поучение. Вследствие этого они не только по форме, но и по содержанию нередко совпадают с сатирами. Так, послание 16, начинающееся идиллическим описанием поместья, переходит в сатирическое изображение «честного человека» (*vir bonus*), который, принося жертву Янусу или Аполлону, в то же время молится богине Лаверне, покровительнице воров, прося ее прикрыть его жульнические проделки. Идиллия, с которой начинается послание 10, тоже переходит в насмешки над людьми, одолеваемыми жадной богатства: Гораций и им дает совет быть всегда довольными своей судьбой. Такие же повторяющиеся сентенции ходячей морали встречаются во всех посланиях I книги: в послании 1 (о стремлении к доблести, а не к богатству), в послании 2 (против жадности и гнева), в послании 6 (против жадности и честолюбия⁹ и против обжорства), в послании 17 (об умеренности).

Многие литературные приемы «Посланий» совпадают с «Сатирами»: Гораций охотно включает в них басни (о коне и олене — I, 10, 36—39; о лисе и льве — I, 1, 75—78; о загостившейся мыши — I, 7, 29—34), исторические и мифологические примеры (о богаче Лукулле — I, 6, 40—46; сравнения с героями поэм Гомера — I, 2, 10—30) и бытовые рассказы и картины. Так, например, длинный рассказ в 7-м послании о том, как глашатай Мена, живший спокойно и приятно, вконец измучился, получив в подарок именье —

Чуть не умрет от работы, от алчности стараясь до срока.

(«Послания», I, 7, 85)

Забавную бытовую картинку рисует Гораций в послании 18 — к молодому Лоллию, которого он порицает за ребяческую игру в войну, между тем как он уже побывал на настоящей войне и отличается в маневрах на Марсовом поле:

...Но порой в именье отца ты играешь:
В лодки садятся войска из отроков, будто враждебных,
Ты — предводителем; вновь при Акции битва ведется;
Брат твой — противник, а пруд — море Адря; вплоть до того, как
Ветвью из вас одного, примчась, увенчает Победа.

(«Послания», I, 18, 60—64)

При основном сходстве «Посланий» с «Сатирами» среди первых имеется одно послание (I, 5), совпадающее по содержанию с теми одами, в которых Гораций приглашает кого-либо из своих друзей к себе на пирушку. Он хочет весело отпраздновать день рождения Августа и соблазняет своего приятеля, юриста Торквата, хорошим вином, обществом близких друзей и душевным разговором —

⁹ Изображение честолюбца написано остроумно и очень напоминает «Наставление» Квинта Цицерона:

Купим раба, называть имена и толкать нас под левый
Бок, чтобы указывать нам, кому протянуть за прилавок
Руку...

...Обращайся же «батюшка», «братец»,
...Каждого возраст учтя, к родне приобщай всех учтиво.

(«Послания», I, 6, 50—52, 54—55)

ГОРАЦИИ

...В круг надежных друзей чтоб не втерся
Гость такой, что слова за порог выносил бы...

(«Послания», I, 5, 25—26)

Таким образом, разнообразие тем, переход внутри одного стихотворения от одной темы к другой, иногда недостаточно обоснованный (например, в посланиях 2, 16), — все эти черты сближают «Послания» с «Сатирами». Разница между той и другой группой стихотворений заключается не в форме и не в тематике, а в том, так сказать, душевном тоне, психологической окраске, которая господствует здесь и там. В «Сатирах» Гораций критикует и поучает, будучи полностью уверен в своем праве поучать других и в правильности своих поучений. В «Посланиях» же во всем, что он говорит, часто прорываются ноты скептицизма, разочарования и утомления; он не столько доволен жизнью, сколько убеждает себя в том, что он должен быть ею доволен.

Скептическое настроение Горация в первую очередь коснулось его отношения к философии. Он, правда, по-прежнему говорит о своей любви к ней и с радостью вспоминает годы своего учения в Афинах, изображает себя подчас философом, удалившимся от мира.

Я, что избрал себе встарь Афины спокойные, ум свой
Целых семь лет отдавал лишь наукам, состарился, думы
В книги вперив, — я хожу молчаливее статуи часто,
Смех возбуждая в народе.

(«Послания», II, 2, 81—84)

Он жалуется на то, что его образ жизни мешает ему заняться философией:

Истина в чем и добро, я ищу, и тому весь отдался...
...Лениво течет для меня безотрадное время
То, что мешает моей мечте и решенью запясться
Тем, что равно беднякам и богатым полезно, что вредно
Детям и старцам равно.

(«Послания», I, 1, 11, 23—26)

Однако любимая этическая философия уже не полностью удовлетворяет Горация; неспособность примкнуть к учению какой-либо одной философской школы начинает его тяготить, индивидуализм и желание известное выражение, ставшее поговоркой, — *iurare in verba magistri* (позной самостоятельности заставляя его чувствовать себя одиноким. Его изв-вторять каждое слово за учителем) — включено в довольно горькую самокритику:

Спросишь, пожалуй, кто мной руководит и школы какой я:
Клятвы слова повторять за учителем не присужденный,
Всюду я гостем примчусь, куда б ни загнала погода.
То я, отдавшись делам, погружаюсь в житейские волны —
Доблести истинный страж, ее непреклонный сопутник;
То незаметно опять к наставленьям скачусь Аристиппа.

(«Послания», I, 1, 13—18)

То эклектическое смешение эпикуреизма и стоицизма, которым Гораций удовлетворялся в более молодые годы, перестало служить ему утешением.

Явным издевательством над стоическим идеалом «мудреца» звучит конец того же 1-го послания I книги:

Словом, мудрец — одного лишь Юпитера ниже: богат он,
Волен, в почете, красив, наконец, он и царь над царями,
Он и здоров, как никто,— разве насморк противный пристанет.

(«Послания», I, 1, 106—108)

Не только над стоическим учением, над которым Гораций всегда был склонен подшутить за его слишком абсолютный характер, насмехается он в «Посланиях», — от Горация достается и эпикуреизму с его слишком квинтическим отношением к жизни. Гораций высказывает остроумное мнение, что человек, чересчур боящийся и избегающий богатств и почестей, также в известной степени зависит от них; т. е. он обращает на них слишком много внимания, как и тот, кто их жаждет; однако и состояние полной «атараксии» Гораций рекомендует своему другу Нумицию тоже не вполне уверенно, а только как возможное предположение.

Сделать, Нумиций, себя безмятежным и так оставаться
Средство, пожалуй, одно только есть — «ничему не удивиться».

(«Послания», I, 6, 1—2)

Гораций, видимо, колеблется между разными философскими направлениями, уже не гордясь своей самобытностью, а страдая от своей нерешительности. Основателя гедонистического учения Аристиппа он все же ценит очень высоко и посвящает большой и горячо написанный экскурс защите его от обвинения в заискивании перед царями. Этот вопрос был особенно болезненным для Горация: ведь и он проповедовал всю жизнь скромность и умеренность, и он, как Аристипп, всю жизнь знал с богачами и вельможами; поэтому, противопоставляя самостоятельного, оригинального, свободомыслящего Аристиппа упрямым и ограниченным, по его мнению, киникам, Гораций доказывает, что

Шло к Аристиппу любое житье, положенье и дело.

(«Послания», I, 17, 23)

Киник же, сохраняя свою суровую добродетель, будет «убегать от тканой в Милете хламиды, пуще боясь, чем змеи или собаки». Уметь с одинаковым достоинством нести и бедность, и богатство, утверждает Гораций, — большая доблесть, чем прятаться в намеренной нищете...

...Ибо тот¹⁰ утратился
Ноши, что слабой душе непосильна и слабому телу:
Этот же взял и несет. Или доблесть — пустое лишь слово,
Или же опытный муж вправе славы искать и награды.

(«Послания», I, 17, 39—42)

Нельзя не заметить, что эти доказательства весьма софистичны и являются самооправданием Горация, который иногда больно чувствовал свое зависимое положение. Несомненно, спокойное перенесение неприятностей требует известной твердости на всех ступенях общественной лестницы, но

¹⁰ Подразумевается киник.

ГОРАЦИИ

считать «доблестью» умение «нести ношу» материального благополучия все же едва ли возможно. Гораций сам хорошо сознавал это и написал на себя и на поэта Альбия Тибулла довольно злую эпиграмму в виде любезного послания. Спросив Тибулла, пишет ли он стихи или «таскается по лесам», размышляя о том, «что достойно мудреца и хорошего человека», — обычное занятие самого Горация, — он говорит, что у Тибулла ведь есть все, чего может пожелать «любящая кормилица милому питомцу», — красота, состояние, здоровье и т. д.

Однако именно то, что пожелание всех этих благ приписывается «мамке», которая только их и ценит, раскрывает сатирический характер этого стихотворения. В качестве же подлинного утешения и блага Гораций изображает то, что обычно пугает людей, а именно — что каждый день может оказаться последним; и этот неожиданный час будет желанным (*grata*). Такой пессимистический вывод заканчивается еще более злой насмешкой над самим собой:

Можешь увидеть меня с лоснящейся кожей, жирным,
В стаде свиней Эпикура, когда посмеяться захочешь.

(«Послания», I, 4, 15—16)

Этим посланием Гораций осуждает эпикурейское наслаждение жизнью так же, как в других посланиях он высмеял стоическую мудрость и книжеческое отречение от жизненных благ. Правильнее всего Гораций характеризовал свое отношение к философским системам в этот период жизни как непрерывное метание от одной крайности к другой.

... А что, как воюет мой разум с собою:
Брезгуем тем, что искал, что недавно отринул, вновь ищет;
Вечно кипят, расходясь со всеми порядками жизни;
Рушит иль строит; то вдруг заменяет квадратное круглым.

(«Послания», I, 1, 97—100)

Уже из приведенных высказываний Горация на философские темы видно, что «Послания» содержат в себе много автобиографических моментов. И действительно, «Послания» Горация местами гораздо «лиричнее», чем его лирические оды; ни в каких своих произведениях он не говорит так много и так искренно о себе, как в «Посланиях». Из ряда высказываний, рассеянных в различных посланиях, видно, что Горация многое тяготило в эти, уже немолодые годы его жизни. Его, видимо, нередко вызвали в Рим по разным поводам; и он жалуется на то, что в Рим его «тащат ненавистные дела» (*trahunt invisa negotia Romam*; I, 14, 17). В обстановке Рима, которую Гораций описывает с юмором, ни думать, ни работать нельзя — то иди в суд, то навещай друзей, то выслушивай чужие стихи; на улицах царят шум и суета —

То поднимает, крутясь, там ворот бревно или камень;
Вьется среди грузных телег похоронное шествие грустно;
Мчится вдруг бешеный пес иль свинья вся в грязи пробегает,
Вот ты иди и слагай про себя сладкозвучные песни...

(«Послания», II, 2, 73—76)

Но как ни бранит Гораций Рим, без него он все же жить не может и печально сознается:

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ИМПЕРИИ

Вредного всё я ищю; избегаю того, что полезно.
В Риме я Тибура жажду, а в Тибуре — ветреник — Рима.

(«Послания», I, 8, 11—12)

Все чаще встречаются в «Посланиях» упоминания о необходимости заботиться о здоровье и о наступающей старости. Как будто на эту же тему о неумолимо уходящих годах и неминуемой смерти Гораций не раз говорил и в одах; но мысль о жизни и смерти была для него в то время именно только мыслью, а не личным непосредственным ощущением скорого конца; в «Посланиях» он, правда, тоже иногда использует те же выражения и даже те же образы, что и в одах:

Полезна какая в амбарах, в земле, иль прибавить к калабрийским
Выгон луканский, когда и большое и малое косит
Рок безразлично: его ведь и золотом ты не умолишь.

(«Послания», II, 2, 177—179)

...Пускай и дорога
Аппия знает тебя, и эрит колоннада Агриппы,—
Все ж остается идти, куда Нума и Анк удалились.

(«Послания», I, 6, 25—27)

Однако наряду с этими общими сентенциями Гораций не раз говорит и о самом себе, причем упоминает даже о своей наружности:

Прежде мне были к лицу и тонкие тоги, и кудри
С блеском, и хищной Кинаре я нравиться мог без подарков;
Пил я с полудня уже прозрачную влагу фалерна.
Ныне же скромно я ем и сплю на траве у потока;
Стыдно не прежних забав, а того, что забав я не бросил.

(«Послания», I, 14, 32—36)

Годы бегут и у нас одно за другим покидают:
Отвяли шутки, румянец, пирушки, любви шаловливость;
Вырвать теперь и стихи уж хотят: что писать мне велишь ты?

(«Послания», II, 2, 55—57)

Оглядываясь на свою жизнь, Гораций в «Посланиях» подводит итог своей тридцатилетней дружбе с Меценатом. Покровительство всемогущего богача, вначале только льстившее Горацию¹¹, перешло в дружбу, в которой Гораций, более образованный и талантливый, мало-помалу стал, по-видимому, играть первую роль. Уже в одах Гораций, приглашая Мецената к себе, говорит с ним как приятель, а не подчиненный, более бедный, но равный. В известной оде (II, 17) Гораций даже в тоне некоторого превосходства успокаивает Мецената, боявшегося смерти, тем, что они умрут вместе; его предсказание сбылось, он пережил Мецената только на два месяца. В «Посланиях» отражен последний, наименее приятный для Горация период дружбы с Меценатом; оба старели — Гораций все

¹¹ В «Сатирах» он, хотя и отрекается от большой близости к дому Мецената, все же нередко и охотно упоминает о том, что все считают его личным другом Мецената.

ГОРАЦИИ

более любил свой покой, а Меценат, очевидно, все более требовал внимания и уважения к себе и беспрекословного выполнения своих желаний. Поэтому, следуя долгу дружбы и благодарности и открывая I книгу «Посланий» стихотворением, посвященным Меценату, Гораций тут же предупреждает, что это — последние его стихотворения и что напрасно Меценат хочет снова «включить его в прежнюю игру» (*iterum me antiquo includere ludo*; I, 1, 3). В 7-м послании той же книги, опять обращенном к Меценату, он украшает благозвучными стихами свой отказ вернуться в Рим до будущей весны (послание написано летом), выговаривая себе право провести всю зиму спокойно у моря. Впервые Гораций говорит о подарках Мецената с некоторым раздражением, указывая, что он, хотя и неохотно, все же решил бы вернуть подаренное имущество, если оно начнет стеснять его свободу, а не доставлять ему радость. Явная обида Горация на Мецената звучит в 19-м послании I книги, вызванном, по-видимому, тем, что Меценат выразил свое недовольство недостаточной широкой известностью Горация, а также тем, что покровительствуемый им поэт подражал греческим лирикам. Это недовольство могло быть вызвано политическими тенденциями Августа, все настойчивее пропагандировавшего древнюю доблесть и идею национального превосходства римлян. Гораций в раздраженном тоне объясняет Меценату, в чем именно он подражал грекам, и доказывает, что он совершенно самобытный писатель, но для немногих ценителей, что он ищет успеха не у толпы и не желает ни перед кем заискивать, «обходя школы грамматиков». Здесь опять-таки сказались крайний индивидуализм Горация, его желание поставить себя в особое положение в литературе и в среде читателей.

У Горация один раз вырвались слова, свидетельствующие о горьком осадке, оставшемся от дружбы с человеком, не равным ему по положению и по богатству:

Сладко — неопытный мнит — угождение сильному другу,
В опытном — будит то страх. Пока в море открытом корабль твой,
Будь начеку; изменясь, не унес бы назад тебя ветер.

(«Послания», I, 18, 86—88)

Стареющего поэта стала утомлять эта необходимость всегда «быть начеку».

Первую книгу «Посланий» Гораций, видимо, хотел, как и сказал, сделать последним своим поэтическим сочинением; в 18-м послании он высказал свои последние желания:

Будет пускай у меня, что уж есть, даже меньше, и пусть бы
Прожил я век остальной, как хочу, коль продлят его боги;
Был бы лишь добрый запас мне и книг, и провизии на год,
Чтоб суety я не знал, неуверенный в часе ближайшем...

(«Послания», I, 18, 107—110)

Заключительное же послание (20) обращено к самой книге посланий: книга, по словам Горация, хочет выйти в свет, а поэт отговаривает ее; ведь только сперва, пока она молода, ею будут восхищаться, а потом ее захватает толпа, зачитают в школах дети. Но эти предупреждения служат только введением к оригинальному автопортрету Горация, отнюдь не свидетельствующему о том свойстве, о котором Гораций так часто говорит — о скромности:

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ИМПЕРИИ

Ты расскажи, что я — сын отпущенца, при средствах ничтожных
Крылья свои распростер, по сравненью с гнездом, непомерно:
Род мой насколько умалишь, настолько умножишь ты доблесть;
Первым я Рима мужам на войне полюбился и дома;
Малого роста, седой преждевременно, падкий до солнца,
Гневаться скорый, однако легко умиряться способный.

(«Послания», I, 20, 20—25)

Но этой книге, законченной Горацием, по его словам, на 45 году жизни, т. е. в 21 г. до н. э., не пришлось стать его последней книгой. До выхода в свет последнего произведения, IV книги од, он написал еще три больших послания, которые содержат в себе уже сравнительно мало личных, автобиографических высказываний, а представляют собою теоретико-литературные трактаты. Первый адресован самому Августу, по-видимому, согласно желанию, выраженному принцепсом; второй — тому же Юлию Флору, к которому написано 3-е послание I книги; третий («Наука поэзии») — аристократическому семейству Пизонов, отцу и двум сыновьям, очевидно, интересовавшимся литературой. Характеристику же Горация дополняют заключительные стихи посланий к Августу и к Флору. В послании к принцепсу Гораций — уже не в первый раз — отказывается писать эпическую поэму о подвигах Августа; очевидно, Август (возможно, после смерти Вергилия) опять выражал это желание. Горацию опять пришлось говорить, что

...Не терпит

Маленьких песен величье твое; запрещает мне совесть
Труд на себя возложить, что исполнить откажутся силы.

(«Послания», II, 1, 267—269)

Второе же послание кончается опять-таки уже не раз повторенной Горацием похвалой «золотой середине», раскаянием во многих своих недостатках, в тщеславии, в страхе смерти, во вспыльчивости и, что совершенно неожиданно после стольких лет изучения философии, в вере «в сны, наваждения магов, явления природы, волшебниц, призрак ночной, чудеса фессалийцев». Суеверия его молодых лет, не оставившие следов ни в одах, ни в I книге «Посланий», очевидно, опять стали мучить Горация с приближением старости; и, чувствуя себя неисправимым, Гораций заканчивает послание к Флору печальными словами, обращенными не к Флору, а к себе:

Вдоволь уж ты поиграл, и вдоволь поел ты и выпил:
Время тебе уходить...

(«Послания», II, 2, 214—216)

В своих посланиях к Августу и к Флору и в «Науке поэзии» Гораций старается охватить очень широкий круг вопросов теории литературы и дать на каждый из них ясный ответ. Несмотря на то, что он ведет свое изложение не в систематической форме научного трактата, а в форме беседы, и поэтому нередко переходы его от одной темы к другой бывают несколько неожиданны, все же основные теоретические вопросы в его постановке сводятся к следующему: какими данными должен обладать тот, кто хочет быть поэтом; какова задача поэта; каким требованиям должно отвечать хорошее литературное произведение и какими средствами это

ГОРАЦИИ

достигается; в какой мере можно и в какой нельзя использовать то, что сделано предшественниками, и, наконец, как пользоваться тем материалом, из которого строится литературное произведение, т. е. словами. Менее всего внимания уделяет Гораций чисто метрической стороне стихотворения, ограничиваясь разъяснением употребления ямба и спондея в стихе драмы («Наука поэзии», 251—262). Сам Гораций определяет свою задачу так:

Я открою другим, что творит и питает поэта,
Что прилично, что нет, в чем искусство и в чем заблужденье.

(«Наука поэзии», 307—308)

На вопрос о соотношении природного дарования и «искусства», т. е. тщательной работы над художественной стороной произведения, Гораций отвечает с полным убеждением: необходимо и то, и другое в равной мере и в полном согласии между собой (ст. 408—414). Едва ли Гораций, совершенно уверенный в правильности своего ответа, мог предполагать, сколько раз еще будет ставиться и решаться в теории литературы этот самый вопрос о соотношении *ingenium* (таланта) и *ars* (мастерства), но, очевидно, он обсуждался уже и во времена Горация, потому, что Гораций не раз издевается над поэтом, полагающим, что нужен только поэтический восторг для того, чтобы писать стихи, и обвиняет философа Демокрита в распространении этого ложного мнения:

Так как учил Демокрит, что жалко искусство в сравненье
С даром природы, и тем здравомыслящих выгнал поэтов
Он с Геликона, то многие бороду стричь перестали,
Также и ногти, людей избегают и в бани не ходят.

(«Наука поэзии», 295—298)

Еще в 19-м послании I книги Гораций подшучивал над теорией, что поэт должен творить в опьянении и поэтому

Стали с утра уж вином полахивать нежные музы,

(«Послания», I, 19, 5)

а поэты стали пьянствовать целыми ночами.

Задачи подлинного поэта очень трудны и широки. Не обладая достаточным талантом, говорит Гораций, за поэзию и браться не стоит; в практических делах терпима даже посредственность, в поэзии — она недопустима («Наука поэзии», 372—385). Поэт должен не только обладать талантом, «божественной жилкой», не только трудиться над своим произведением, но много знать, для того чтобы он имел, что сказать.

Ибо лишь знание есть родник и начало писанья¹².

(«Наука поэзии», 309)

Знанию же могут научить философские сочинения (по выражению Горация, *Socraticae chartae*, «а слова вслед за мыслью придут уж сами собою»).

¹² *Scribendi recte sapere est et principium et fons.*

Таким образом, Гораций, 150 лет спустя, почти сходится в своих советах с Катонем Старшим, говорившим: «Знай дело, а слова придут». Именно поэтому Гораций вступает в борьбу не только с теми, кто не заботится о красоте своих творений и выпускает их в свет спешно, не приложив к ним достаточного старания, но и с теми, кто, напротив, заботится только об их красоте. По-видимому, именно такими он считал группу поэтов-пеотериков, поклонников эллинистической литературы, изящной, но, на его взгляд, мало содержательной. Перед поэтом Гораций ставит более высокие задачи:

Нет, красоты для поэм недостаточно; пусть будут нежны,
Пусть они душу того, кто их слышит, влекут за собою.

(«Наука поэзии», 98—100)

Кажется мне, что искусно писатель идет по канату,
Если он грудь мне теснит волнением, то гнев вызывает,
То его снова смягчит, то вымыслом в ужас повергнет,
Словно волшебник, меня переносит в Афины или в Фивы.

(«Послания», II, 1, 210—213)

Тщательность работы над поэтическим произведением требует упорной самокритики и критики; поэтому Гораций дает писателям остроумные советы, как отличать честных и надежных критиков от льстецов («Наука поэзии», 420—452 и «Послания», II, 2, 88—110), и рассказывает анекдот о юристе и ораторе, напоминающий басню о кукушке и петухе.

Однако Гораций не ограничивается одними общими требованиями, предъявляемыми к поэтическому произведению; он указывает на те средства, какими они могут быть достигнуты. В произведении должна господствовать гармония, полная соразмерность; поэт должен выбирать себе тему по своим силам и своему вкусу («Наука поэзии», 40—45); соразмерны между собой должны быть части произведения; эпитеты, описания должны быть помещены там, где они действительно нужны в развитии повествования, а не там, где это почему-то вздумалось автору:

...Описан Дианин алтарь, или резвый источник,
Вьющийся меж цветущих лугов, или Рейн величавый,
Или цветистая радуга на небе мутнодождливом,
Но не у места они.

(«Наука поэзии», 16—19)

Требую от поэзии содержательности, Гораций указывает причину такого требования: поэзия должна быть полезна обществу. «Всех соберет голоса, кто смешает приятное с полезным, равно и услаждая читателя, и поучая» («Наука поэзии», 343—344). Чтобы приносить пользу в жизни, поэзия должна верно отображать жизнь: «Учепому подражателю,— говорит Гораций,— я прикажу оглядываться на свой образец — на жизнь и нравы» («Наука поэзии», 317—318). Даже вымысел в поэзии должен быть «к истине близок»: «Нельзя же живого вынуть из чрева ребенка, которого Ламия съела» («Наука поэзии», 346; Ламия — прожорливое чудовище, одна из ателланских масок). Особенно должна заботиться о жизненной правдивости комедия, так как она рассчитана на самую широкую аудиторию. В связи с этим Гораций дает краткую характеристику четырех возрастов, с которой должны считаться поэты, создавая комедийные характеры («Наука поэзии», 153—178).

ГОРАЦИИ

Может показаться странным, что при этом Гораций резко обрушивается на характеры Плавта («Послания», II, 1, 170—176), а заодно — на его метрику и грубую (*inurbanum*) шутливость («Наука поэзии», 270—274). Однако это объясняется полемической целью Горация. Плавта в это время поднимали на щит писатели-архаисты, противники Горация и других поэтов кружка Мecenата. Народное римское остроумие Плавта они противопоставляли эллинизированной поэзии времен Августа. Против этих писателей-архаистов и боролся Гораций.

Гораций и в последних посланиях, и в «Науке поэзии» остался тем, кем был всегда, — ярким эллинофилом. Он идеализирует не только греческую литературу, но и греческий народ: вошли в поговорку его стихи.

Греция, взятая в плен, победителей диких пленила,
В Лаций суровый искусства внеся...

(«Послания», II, 1, 156—157)

Грекам Муза дала полнозвучное слово и гений,
Им, ни к чему не завистливым, кроме величия славы.

(«Наука поэзии», 323—324)

Эти положения, так решительно сформулированные Горацием, передаваясь от поколения к поколению, надолго создали и закрепили ошибочное представление о римской литературе как о бледной копии греческих недосыгаемых образцов — представление безусловно ложное. Насколько высокого мнения держится Гораций о греческом литературном наследии, настолько же низко он ценит то, что дошло до него от его предшественников в работе над латинским стихом. В послании к Августу Гораций со странной для него резкостью говорит об излишнем преклонении перед древними латинскими поэтами и негодует на недооценку своих современников. Явным издевательством звучат такие высказывания, как:

Если, как вина, стихи время делает лучше, хотел бы
Знать я, который же год сочинению цену поднимет.
Если писатель всего только сто лет назад тому умер,
Должен быть он отнесен к совершенным и древним, иль только
К новым, неценным.

(«Послания», II, 1, 34—38)

Тот, кто глядит в календарь и достоинство мерит годами,
Чтит только то, на что смерть святыни печать наложила.

(«Послания», II, 1, 48—49)

Я негодую, когда не за то порицают, что грубо
Сложены иль некрасивы стихи, а за то — что-де новы.

(«Послания», II, 1, 76—77)

Перечисляя ряд древних латинских поэтов, он смеется над тем, что эпитет «ученого» прилагают к Пакувию, а «возвышенного» — к Акцию, над тем, что приравнивают Афрания к Менапдру, Плавта к Эпихарму («Послания», II, 1, 56—58). По мнению Горация, только греческие образцы заслуживают изучения и подражания.

Однако в вопросе о том, до какого предела должно идти это подражание, Гораций очень строг: он считает, что можно и должно учиться у

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ИМПЕРИИ

греческих поэтов, *как* творить, но творить надо самому, не рядясь в чужие перья. От себя он с негодованием отводит в послании к Меценату (I, 19, 22) упрек в подражательности; своему другу Цельсу он советует искать «мыслей своих»

...И не трогать творений
Тех, что уже Аполлон Палатинский в хранилище привял.

(«Послания», I, 3, 17)

Но он же советует Пизонам «день и ночь изучать образцовые греков творенья» («Наука поэзии», 269). Ослепленный своей страстью к греческой литературе, Гораций не оценил по достоинству своих латинских предшественников. Однако красоту того материала, которым пользовались и они, и он сам, он полностью почувствовал; его отзывы о латинском языке и его тонкое понимание жизни слов в языке заставляют забыть его несправедливость по отношению к тем, кто начал трудиться над созданием латинской литературы. Гораций превосходно изобразил процесс словотворчества и развития языка:

Как листья на ветвях изменяются вместе с годами,
И облетают, увянув,— так старость для слов наступает,
Новые крепнут, родясь, и цветут, как мужи молодые.

(«Наука поэзии», 60—62)

Гораций понимает и роль хороших писателей для создания литературного языка; они не боятся ни архаизмов, ни неслогизмов, а с верным чутьем умеют выбрать и то, и другое.

Тот, кто желает создать по законам искусства поэму,
Должен с доской для письма заимствовать цензора душу,
Все без различья слова, в коих блеска почти не осталось,
Те, что утратили вес, недостойными признаны чести,
Смело он выгонит вон, хоть уходят они неохотно...
Те, что во тьме уж давно для народа, он выроет снова,
Выведет снова на свет много образных слов для предметов;
Встарь понимали их часто Катоны, Цетеги, а ныне
Плесень уродует их, локая забвения прахом;
Новые примет слова, что создал родитель — обычай.

(«Послания», II, 2, 109—119)

Если известное слово, искусно с другим сочетавши,
Сделаешь новым — прекрасно! Но если и новым реченьем
Нужно дотоль неизвестное нечто назвать — то придется
Слово такое найти, что неведомо было Цетегам...
Эний с Катонем ведь новых вещей именами богато
Предков язык наделили; всегда дозволялось, и ныне
Тоже дозволено нам, и всегда дозволено будет
Новое слово ввести, отметивши новою меткой.

(«Наука поэзии», 46—49, 56—59)

Для создания совсем новых слов Гораций советует следовать опять-таки греческим образцам, но выражает свою мысль недостаточно ясно.

ГОРАЦИЙ

Едва ли его слова можно истолковать в том смысле, что он предлагает вводить слова, буквально заимствованные из греческого языка,— еще в своей молодости он именно за это порицал Луцилия. Скорее он подразумевает создание составных слов, которыми так богат греческий язык; латинский язык не так легко образует составные слова, но Вергилий, на которого Гораций ссылается именно здесь, в «Энеиде», создал много новых благозвучных «сочетаний из уже существующих в языке слов». Очевидно, от нападок, которым Вергилий, как известно, не раз подвергался за это и при жизни, и после смерти, его и защищает Гораций, одновременно выговаривая право словотворчества и для себя, и для своих современников.

Литературе римского народа, говорит Гораций, предстоит великое будущее. Если бы поэты прилагали больше труда к своим произведениям, то

Доблестью был бы своей и своим знаменитым оружием
Лаций не более славен, чем речью своей.

(«Наука поэзии», 289—290)

Несмотря на правильность такой высокой оценки латинского языка, предсказание Горация о великом будущем римской литературы полностью не сбылось. Хотя римские писатели создали и после Горация много прекрасных трудов, все же в области поэзии наивысшим ее достижением остались произведения поэтов августовского века — самого Горация и его ближайших современников.



Глава XXVI

РИМСКАЯ ЭЛЕГИЯ. ТИБУЛЛ.

1. Римская элегия.— 2. Корнелий Галл.— 3. Тибулл.

1. РИМСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Наряду с поэтами, прославлявшими новый режим и служившими своей поэзией делу создания и укрепления Империи, нам известны и другие, настроенные более или менее оппозиционно к новой власти. Не рискуя открыто критиковать вводимый Августом новый политический режим, эти поэты отходят как бы в сторону от общественных интересов своего времени и выдвигают своим лозунгом служение «чистому искусству». Продолжая традиции эллинистической литературы и имея предшественников в лице римских неотериков, небольшая группа римских поэтов развивает и культивирует особый жанр *любовной элегии*. Здесь гражданские интересы уступают место интересам отдельной личности, философские и этические проблемы заменяются главным образом такими мотивами, как любовь и связанные с ней переживания. Неудовлетворенность существующим положением вещей уводит поэта-элегика в фантастический мир любовных отношений, которые изображаются в стилизованной форме как субъективные переживания самого поэта.

От классических греческих образцов римскую элегию отличало прежде всего то, что ее тематику в основном составляли эти любовные переживания и что римские элегики образцами для своего творчества брали не классических греческих авторов, а более поздних — александрийцев. Из классических поэтов делалось исключение лишь для Мимнерма, воспевавшего свою возлюбленную Нанно и близкого по самой тематике к любовной элегии. Гораций упоминает, что Мимнерма чрезвычайно высоко ценят его римские поклонники, а Проперций ставит его даже выше Гомера (I, 9, 11).

Жанр любовной элегии сложился задолго до римских элегиков, и его следы можно обнаружить как в греческой эллинистической литературе, так и у более ранних римских поэтов. Хотя не все источники жанра любовной элегии могут быть установлены с безусловной точностью, тем не менее некоторые из них нам известны. Таковыми являются новоаттическая комедия, эротическая эпиграмма и буколическая поэзия.

Прямых данных, указывающих на существование в эллинистической поэзии субъективной любовной элегии, подобной той, которую мы находим в Риме, нет; известно лишь, что эллинистическая элегия уже имела в основном эротическое содержание. Так, о выдающемся александрийском

поэте Эвфорионе говорилось, например, что он писал наряду с эпиллиями и любовные элегии и что ему подражал первый римский элегик Галл.

На связь римской любовной элегии с александрийской указывает наряду с другими признаками такой литературный прием — объединение ряда элегий вокруг одного какого-либо женского имени. Существовали ли в действительности Лида, Леонтина и другие женщины, воспетые александрийцами, сказать трудно, но самый факт появления в эллинистической литературе произведений, объединенных тем или другим женским именем, говорит за то, что эта поэзия уже включала в себя определенные субъективные моменты. Римские элегики также соединяли свои произведения с именами любимых ими женщин: у Галла это Ликорида, у Проперция — Цинтия, у Тибулла — Делия и Немесида, у Овидия — Коринна. Унаследовав от эллинистических авторов ряд разработанных тем, определенных положений и «общих мест», римская элегия оказалась связанной этими традиционными мотивами; поэтому у всех элегиков встречаются одни и те же темы, выражения и образы. Однако подражание лучшим образцам греческой поэзии рассматривалось римскими поэтами как нечто положительное, и писатели прямо говорят об этом в своих произведениях (Гораций, «Послания», I, 19, 21; «Оды», III, 30, 13; Вергилий, «Георгики», III, 10; Проперций, III, 1, 3).

В эллинистической литературе, оказавшей большое влияние на развитие римской элегической поэзии, главное внимание стало уделяться человеку со всеми его индивидуальными способностями и страстями, появились попытки отобразить жизнь обыкновенных людей и их бытовую обстановку. На первый план выдвигались уже не боги гомеровской эпохи, а боги в обличье обыкновенных людей, утратившие свое высокое положение руководителей и наставников человечества. Заимствуя свои сюжеты из мифологического наследия, подобно поэтам классической древности, александрийцы по-иному подходили к изображению этих сюжетов, модернизируя самую мифологию. Выбирая замысловатые сюжеты или редкие варианты тех мифов, которые были хорошо известны еще со времен Гомера, поэты эллинистического периода обычно старались придать своим произведениям внешне ученый характер. Даже изображение своих любовных переживаний поэты часто использовали лишь как предлог проявить свою ученость, загромождая свою поэзию множеством различных сравнений и излишних подробностей. Вместе с исчезновением веры в древних богов изменяется и самый подход к мифологии: в литературе того времени появляется порой даже ирония по отношению к богам и героям классической древности.

Вопрос о том, был ли заимствован римлянами поэтический жанр любовной элегии непосредственно от александрийских поэтов или он был создан уже на римской почве, до сих пор остается не решенным. Но если в эллинистической поэзии и не существовало в чистом виде субъективной эротической элегии, то для римских элегиков имелось достаточно известных образцов с разнообразной любовной тематикой.

Многочисленные упоминания имен Каллимаха и Филета говорят о том, что в римских литературных кругах эти александрийские поэты пользовались большой популярностью. Так, например, Овидий в своем письме к жене упоминает о Филете как об авторе, хорошо знакомом определенному кругу читателей, а в «Любовных элегиях» шутливо сравнивает себя самого с Каллимахом. Весьма возможно, что этим двум наиболее выдающимся поэтам-александрийцам и подражали римские элегики.

Итак, усвоив многое от эллинистической поэзии, сохраняя с ней преемственную связь, но изображая свои, римские характеры и нравы, римские поэты создали жанр римской любовной элегии. Внешним признаком

элегии был стихотворный размер — элегический дистих. Внутренним признаком элегии была любовная тематика. Любовные переживания рассматривались поэтом как основная цель и смысл его жизни. Широкое применение малоизвестных мифологических сюжетов, а также частое употребление так называемых общих мест любовной поэзии придавало римской элегии большую искусственность и, затрудняя понимание элегических произведений, делало их литературой лишь для очень ограниченного круга лиц.

Для нас римская элегия представлена всего лишь четырьмя именами — это Галл, Тибулл, Проперций и Овидий.

2. КОРНЕЛИЙ ГАЛЛ

Первым римским элегиком, по признанию Овидия («Скорбные элегии», IV, 10, 53), был *Гай Корнелий Галл* (G. Cornelius Gallus), о жизни и творчестве которого у нас имеется очень мало данных.

Время жизни Галла определяется 69—26 гг. до н. э. Известно, что он родился в Цисальпийской Галлии и был школьным товарищем Августа, питавшего к нему дружеские чувства. Занимая высокие государственные должности (к концу своей жизни он был назначен префектом Египта), Галл стал непочтительно отзываться об Августе и требовал для себя божеских почестей. Август отстранил его от должности, против него был возбужден судебный процесс по обвинению в злоупотреблении властью. Попав в немилость, Галл, не дожидаясь окончания суда, покончил самоубийством.

Мы располагаем незначительными данными о поэтической деятельности Галла: известно лишь, что он был близок к школе Валерия Катона, вождя неотериков, находившегося под сильным влиянием александрийской поэзии. Видный александрийский поэт Парфений, живший в то время в Риме, посвятил Галлу сборник мифологических любовных сказаний, чтобы в дальнейшем римский элегик мог использовать их материал. Сам Галл, принадлежа к младшему поколению неотериков, переводил на латинский язык стихотворения александрийского «ученого» поэта Эвфориона, о чем сообщает Проб в комментарии к 4-й эклоге Вергилия.

В древности Галл пользовался большой известностью: творчество его было тесно связано с именем мимической актрисы Кифериды, воспетой им под псевдонимом Ликориды, так как, следуя обычаю, римские поэты заменяли псевдонимом настоящее имя своих возлюбленных. Четыре книги любовных элегий написанные Галлом, о которых сохранились упоминания в отзывах современников, до нас не дошли. Из поэтов, живших в то время, ближе всех к нему стоял Вергилий, дважды упоминавший о Галле в своих «Буколиках» в связи с его любовью к легкомысленной Ликориде (эклоги 6 и 10). Кроме того, как указывает Сервий, Вергилий поместил в конце своих «Георгик» похвалу Галлу, но после бесславной смерти последнего заменил это место в поэме эпизодом о мифическом пчеловоде Аристее.

О Галле с восхищением отзывался и Овидий в своих «Любовных элегиях» (I, 15, 30), предсказывая ему и воспетой им Ликориде широкую известность среди народов Запада и Востока.

Утрата произведений Галла не позволяет делать прямых выводов о его роли в создании римской любовной элегии и о его влиянии на позднейших элегиков. Квинтилиан, говоря о Галле, нигде не называет его основателем римской любовной элегии, а, сравнивая его с другими поэтами, указывает лишь, что он был *durior* (X, 1, 93), т. е. обладал, по-видимому, более «жестким» языком, чем другие мастера элегического жанра — Тибулл, Проперций и Овидий.

3. ТИБУЛЛ

Элегик *Альбий Тибулл* (Albius Tibullus) родился около 60 г. до н. э. Биография его недостаточно хорошо известна. До нас дошло только одно краткое жизнеописание, составленное неизвестным автором, и эпиграмма на смерть Тибулла, приписываемая Домицию Марсу, поэту мекенатовского кружка. На основании этой эпиграммы можно лишь сделать вывод, что Тибулл умер вскоре после смерти Вергилия. Предполагается, что Тибулл, так же как и Вергилий, скончался в 19 г. до н. э.

Из кратких биографических сведений известно, что Тибулл принадлежал к всадническому сословию и происходил из богатой семьи. Он жил близ Педа (в Лации), где находилось его имение, которое частично было конфисковано при наделении земель ветеранов в 41 г. до н. э. Средства к жизни у Тибулла все же сохранились, и мы нигде не встречаем указаний на его бедность. Отец Тибулла умер рано, и он жил с сестрой и матерью, которая и занималась, по-видимому, его воспитанием. Некоторые данные о жизни Тибулла можно извлечь и из его собственных произведений. Во время Аквитанского похода Валерия Мессалы Корвина (31—30 гг. до н. э.), известного полководца августовского времени, Тибулл сопровождал Мессалу в качестве приближенного лица и вернулся с военной добычей. Откликом на эти события явилась элегия (I, 7), посвященная Мессале, в которой поэт воспевал его военные подвиги. Во время восточного похода Мессалы Тибулл опять сопровождал своего друга и покровителя, но, внезапно заболев, вынужден был остаться на острове Коркире, о чем он рассказывает сам в одной из своих лучших элегий (I, 3). После выздоровления Тибулл не последовал дальше за Мессалой, а вернулся в Италию и занялся исключительно литературной деятельностью, примкнув к литературному кружку, которому покровительствовал тот же Мессала.

Тибулл умер в самом расцвете творческих сил, оставив после себя две книги элегий. О его преждевременной смерти говорится в прочувствованной элегии Овидия, посвященной поэту («Любовные элегии», III, 9), и в упомянутой выше эпиграмме Домиция Марса.

С именем Тибулла соединяли еще две книги элегий, которые найдены в рукописи вместе с его произведениями, но очевидно, принадлежат другим поэтам из кружка Мессалы. Авторами двух последних книг считают поэта по имени Лигдам, который воспевал в своих элегиях любовь к прекрасной Неэре, поэтессе Сульпицию (племянницу Мессалы) и еще двух неизвестных лиц, написавших панегирик Мессале и ряд стихотворений к Сульпиции.

Панегирик в честь Мессалы по случаю его избрания в консулы в 31 г. до н. э. принадлежит, вероятно, какому-то ритору, добивавшемуся милостей у знатного сановника, и написан в чрезвычайно льстивом тоне. Трудно предположить, что автором его мог быть Тибулл, так как это стихотворение по стилю своему резко отличается от всех его остальных произведений.

Шесть стихотворений Сульпиции полны большой искренности и страсти и рассказывают о ее любви к красивому и образованному юноше Керинфу. В них Сульпиция то благодарит Венеру, способствующую ее сближению с любимым, то прустит, что ей приходится проводить свой день рождения вдали от Керинфа, то, полная возмущения, упрекает неверного возлюбленного в том, что он изменяет ей, знатной патрицианке, с какой-то жепциной темного происхождения. Любовные стихи Сульпиции дали материал другому поэту (может быть, и самому Тибуллу) для создания нового цикла элегий, в которых восхваляется красота и образованность

Сульпиция, а также рассказывается о ее болезни и приносятся мольбы богам о ее выздоровлении. Два стихотворения подражают стихам самой Сульпиции и написаны от ее имени: в одном из них она выражает желание сопровождать Керинфа на охоту, а в другом, где говорится о дне его рождения, она заверяет Керинфа в своей вечной и неизменной любви.

Стремление уйти от реальной жизни в мир мечтаний, столь характерное для римской элегии вообще, нашло наиболее яркое выражение в поэзии Тибулла. В своих элегиях поэт обходит молчанием актуальные вопросы современности, волновавшие римское общество. Он погружается в мир поэзии и, предаваясь грезам об идиллической любви, замыкается в тесный круг идей и литературных сюжетов, разработанных еще предшественниками римских элегиков. Любовь, восхваление сельской жизни, благочестие и ненависть к войне — основные мотивы его поэзии. Особенно важное значение приобретает любовная тематика, которой Тибулл уделяет исключительное внимание. Для него любовь и любовные переживания — смысл всего его существования. Он выказывает полное равнодушие к богатству, почестям и славе, предпочитая всему скромную жизнь на лоне природы вместе с любимой подругой.

Несмотря на то, что темы, разрабатываемые Тибуллом, — воспевание мира, восхваление добродетелей предков, простодушная вера в богов — как бы перекликались с реформами Августа, Тибулл сознательно и упорно избегал в своих элегиях какого бы то ни было упоминания об Августе и его деятельности. А близость Тибулла к Мессале, крупному государственному деятелю, который был в прошлом одним из ярких приверженцев республиканского строя, в известной степени говорит за то, что поэт, так же как и Мессала, не мог сочувствовать уничтожению республиканских свобод, искусно осуществляемому Августом.

Две книги элегий, бесспорно принадлежащие Тибуллу, связаны с именами, вернее с псевдонимами, двух женщин, любимых поэтом, — Делии и Немесиды. Апулей в X книге «Апологии» раскрывает псевдоним Делии, устанавливая ее настоящее имя — Плания. Кто скрыт под псевдонимом Немесиды, неизвестно. Овидий в своей элегии на смерть Тибулла также упоминает об этих двух женщинах и в прочувствованных стихах рисует трогательную картину их скорби у праха рано умершего поэта.

Первая книга элегий Тибулла, вышедшая в свет около 27 г. до н. э. и посвященная Делии, состояла из десяти стихотворений. В пяти элегиях описывается роман с Делией. 7-я элегия рассказывает о триумфе Мессалы, а в 10-й элегии поэт воспевает мирную жизнь, любовь и проклинает войну.

В элегиях, посвященных Делии, Тибулл отобразил с большой искренностью свои чувства и переживания. Описывая в идиллических тонах прелесть сельской жизни с ее нехитрыми радостями, поэт в первой элегии выражает свое желание жить в деревне с любимой Делией. Он хотел бы быть с ней до самой последней минуты своей жизни и, умирая, держать ее руку своей «слабеющей рукой».

Пусть моя бедность меня провожает по жизни беспечной,
Лишь бы светился очаг мой непрерывным огнем:
Сам я нежных лоз насажу в подходящее время,
Как селянин, и больших яблонь привычной рукой,
Пусть не обманет меня Надежда, а все мне дарует
Кучи плодов и густым мустом наполненный чан¹.

(I, 1, 5—10)

¹ Цитаты из Тибулла даются в переводах А. А. Фета.



Этрусский кувшин
IV в. до н. э.

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ИМПЕРИИ

Не ищю я похвал, моя Делия, лишь бы с тобою
 Был я, ничуть не боясь вялым, ленивым прослыть.
Лишь бы глядеть на тебя, как час мой последний настанет...

(I, I, 57 сл.)

Находясь на острове Коркире, томясь от болезни и предчувствуя близкую смерть, поэт скорбит о том, что с ним нет никого из его близких, ни матери, ни сестры, ни Делии. Все его мысли полны возлюбленной: он то рисует картины жизни с ней, то представляет себе радостную сцену свидания (I, 3). Но Делия, совращенная коварной сводней в отсутствие поэта, уходит к более богатому любовнику. Наступает разрыв. Проклинает сводню, Тибулл признается, что он не может забыть свою любовь и умоляет Делию вернуться к нему, напоминая ей о своей преданности и о своих заботах во время ее болезни. Он рисует трогательную картину их счастливой будущей жизни в деревне, когда она будет полновластной хозяйкой в его доме, а он ее послушным рабом (I, 5). Но Делию строго охраняют, и Тибулл дает ей ряд наставлений, как лучше обмануть стражу, в то же время изливая свое негодование и жалобы на жестокую дверь, не пускающую его к милой.

Элегия 7 написана в 27 г. в честь Мессалы по поводу его триумфа после Аквитанского похода. Время триумфа совпало с днем рождения Мессалы; Тибулл восхваляет военные подвиги Мессалы, подробно рассказывая о них в чисто александрийской манере, и заканчивает элегию пожеланиями Мессале многочисленного потомства.

Чрезвычайно характерна для Тибулла 10-я элегия, где поэт проклинает войну и того, кто выдумал жестокое оружие. Он обращается с мольбой к Ларам, божествам домашнего очага, чтобы они отвратили от него жестокие войны. Пусть воюет тот, кого прельщает военная добыча, а он хочет лишь одного: прожить тихую и мирную жизнь вместе со своей любимой подругой, занимаясь сельским хозяйством.

Кто это был, что мечи ужасные выдумал первый
 Что за жестокий он сам; что за железный он был?
Роду людскому тогда ж родились и убийства и войны,
 Тут кратчайший был путь к смерти суровой открыт.

(ст. 1—4)

Как же счастливее тот, кого в незатейливой хате
 Средь потомства его тихая старость найдет.
Сам пасет он своих овец, а сын его агнцев,
 И, как устал он, жена теплой воды припасет.
Быть бы таким я желал; чтоб моя голова поседела,
 И о прошлых делах я бы, старик, толковал.
Мир между тем бы лелеял поля. Мир светлый впервые
 К пахоте нужных волов ввел под кривое ярмо;
Мир питает лозу и сок винограда сливает...
К нам же ты, мир дорогой, приходи и неси нам колосьев,
 Пусть твой блестящий подол будет ронять нам плоды.

(ст. 39—47, 67—68)

Эта элегия, показывая недовольство поэта настоящим, является отражением настроений не только Тибулла, но и многих его современников, утомленных пережитыми гражданскими войнами, междоусобицами и вол-

нениями. Мирная жизнь была идеалом всех классов современного Тибуллу римского общества.

Вторая книга элегий, посвященная Немесиде, состоит из шести элегий; основной темой их является любовь Тибулла к Немесиде и лишь элегии 1 и 2 не связаны с ней непосредственно. В 1-й элегии поэт воспекает сельский праздник освящения полей, восхваляет деревенскую жизнь и призывает Амура принять участие в веселье поселян. Здесь, как и во многих других элегиях I книги, Тибулл упоминает о Мессале как о вдохновителе его поэзии.

День да почтится вином: не стыдно наклюкаться в праздник,
И заплетающих ног плохо шаги направлять.
Но «по здравье Мессалы» каждый да скажет над кубком,
Имя заочное пусть слышно в отдельных словах.
Славный триумфом, Мессала, над аквитанским народом
И великая честь предкам косматым твоим,
Ныне приди и меня вдохнови, пока благодарность
Песню своей воздаю сельским владыкам небес.

(ст. 29—36)

Вторая элегия стоит несколько особняком от остальных стихотворений этой книги и написана по случаю рождения Корнута, друга Тибулла. В элегии 3, обращенной к тому же Корнуту, Тибулл признается в своей любви к Немесиде, покинувшей его ради богача. Тибулл готов на всякие жертвы, лишь бы она вернулась к нему, а когда его желание осуществляется, поэт приходит в отчаяние от корыстолюбия своей возлюбленной и жалуется, что ему придется заняться убийством и грабежом, чтобы добыть средства, необходимые для удовлетворения претензий алчной красавицы (элегия 4).

Пятая элегия, отличающаяся большой торжественностью и пышностью, содержит поздравления сыну Мессалы Мессалину при посвящении его в члены жреческой коллегии квиндецемвиров, занимавшихся истолкованием пророческих книг Сибиллы. Это стихотворение выделяется своим тоном и манерой из других элегий и наиболее близко к александрийским образцам.

Влияние александрийцев на поэзию Тибулла сказалось в широком использовании готовых сравнений и образов, «общих мест», ставших традиционными в элегической поэзии. Таковы описания красоты возлюбленной, сравнение любви с рабством, с войной, ложные клятвы влюбленных, жалобы на жестокую дверь, разлучающую с милой, упоминания о колдуньях, проклятия по адресу сводни, тема «золотого века» и прочие темы, разрабатываемые каждым поэтом на свой лад.

Как пример применения «общих мест» в поэзии Тибулла можно привести изображение им Амура, наиболее часто упоминаемого в любовной элегии. Амур Тибулла родился в деревне; капризному богу правятся сельские праздники и простая деревенская жизнь, но он сохраняет и свои специфические черты, т. е. он коварен и жесток со своими жертвами. Тибулл с большим юмором рассказывает, как подвыпивший крестьянин, возвращаясь с женой после праздника, поссорился с ней и поколотил ее, подстрекаемый Амуром. Женщина горько плачет, побивший ее муж, сам страдая от своей прубости, плачет вместе с ней, а коварный Амур, виновник всех бед, спокойно и равнодушно смотрит на происходящее².

² Интересно сравнить образ Амура у Тибулла с образом этого божества в произведениях Овидия. В «Любовных элегиях» Овидия Амур расовался в чисто римской обстановке: с миртовым венком на голове, на колеснице, запряженной голубками,

Любовь, воспеваемая Тибуллом,— главная тема всех его элегий — придает его роману с Делией идиллический характер, а самому Тибуллу черты героя буколической поэзии. Понимая любовь как *requies curatum* (отдохновение от забот), поэт стремится в своих мечтах в мирную сельскую обстановку, чтобы именно там наслаждаться счастьем со своей любимой. Он мечтает, как хороша была бы Делия в деревне, как ей было бы к лицу заниматься сельским домашним хозяйством и принимать дорогих гостей, вроде Мессалы. Рисуя идиллические картины, Тибулл представляет себе Делию, сидящей в ожидании его за прялкой рядом с прилежной служанкой. С любовью описывает Тибулл красоты природы. Деревня с ее тихой простотой противопоставляется шумной и развратной жизни большого города. Такие настроения поэта дают основание говорить о влиянии буколической поэзии на творчество Тибулла, подобно тому как поэзия Феокрита отразилась на творчестве Катулла и неотериков и на эклогах Вергилия.

Вторая основная тема поэзии Тибулла — изображение богов. Благочестивые размышления поэта противоположны атеистическим настроениям эпикурейцев, но в то же время религиозность Тибулла проявляется совсем иначе, чем официальное благочестие, поддерживаемое Августом. Божества — Юпитер, Марс и Юнона, наиболее почитаемые в Риме, почти совершенно отсутствуют в поэзии Тибулла. Он говорит об Аполлоне — покровителе поэтов, о Венере и Амуре — главных божествах эротической элегии, но на первом месте у него стоят сельские божества или боги, связанные с культом домашнего очага. Тибулл не вводит никаких новых ситуаций в хорошо известные мифы, не придает им никакой новой трактовки, но наряду с Вакхом и Церерой упоминает и о других деревенских богах, например о Сильване или богине Палес, имена которых редко встречаются в элегической поэзии.

Среди богов, связанных с культом домашнего очага, исключительно важное значение имеют лары, являющиеся хранителями дома, а часто даже и самой жизни человека. О них Тибулл говорит неоднократно, и это подчеркнутое уважение к богам, покровителям рода, можно также объяснить склонностью Тибулла к буколической поэзии, уделяющей большое внимание божествам, связанным с природой и патриархальной жизнью.

Обилие «общих мест» в поэзии Тибулла часто создает противоречия и искусственные ситуации в его элегиях, вследствие чего трудно составить ясное представление о его жизни.

Так, портреты любимых им женщин могут быть нарисованы лишь в самых общих чертах. Элегии, посвященные Делии, знакомят нас с ней и дают возможность проследить превращение скромной римской женщины в даму полусвета. Судя по одним элегиям, она была свободна, по другим — ее охранял ревнивый муж или по его приказанию суровый страж. Став возлюбленной Тибулла, Делия начинает вести легкомысленный образ жизни и наконец покидает поэта ради богача. Действительность разбивает грезы Тибулла об идиллическом счастье с любимой. Дальнейшее развитие образа Делии можно видеть уже на примере Немесиды, красивой и самоуверенной куртизанки. Она безжалостно обирает мужчин и не обращает внимания ни на какие чувства, интересуясь лишь деньгами своих любовников. Тип женщины, сделавшей из любви источник доходов, встречается не только у Тибулла и других элегиков, но в виде алчной гетеры появляется уже среди персонажей новой аттической комедии.

Амур совершает свой триумфальный въезд, окруженный покоренными им жертвами («Любовные элегии», I, 2, 25—36). В изгнании Овидий дал другой образ Амура: бог любви изображался печальным, без обычных для него украшений, с помятыми крыльями и непричесанными волосами («Понтийские послания», III, 3).

РИМСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Хотя Тибулл не стремился отобразить современность в своих элегиях, но нравы и быт римского общества запечатлелись в его поэзии, так же как и в творчестве других элегиков. Некоторые темы, первоначально затронутые именно в элегиях Тибулла, вроде наставлений влюбленным, впоследствии получили детальную разработку в любовных элегиях Овидия.

Как певец сельской жизни и природы Тибулл занимает первое место среди римских элегиков и в этой области не имеет себе равных. Описывая занятия и труды земледельца, деревенские радости и патриархальную жизнь предков, Тибулл в условную поэтическую рамку вставляет и бытовые подробности, которые знакомят читателя с жизнью обеспеченного римлянина на лоне природы. Поэт не рассказывает о тяжелом труде земледельца или о подневольном положении раба, занятого в сельском хозяйстве, а изображает рабский труд в смягченных идиллических красках. Его рабы — это главным образом *вегнае* (родившиеся в доме хозяина), выросшие в деревне, и их отношения с хозяевами имеют патриархальный характер (II, 1, 23—24). Тибулл восхваляет веселые деревенские праздники, ставя себя самого на место главного действующего лица, и сам хочет пасти стада.

Бытовые сцены обычно даются Тибуллом в связи с религиозными праздниками, культом домашнего очага и с почитанием ларов. Таковы описание амбарваллий (весеннего праздника в честь Цереры), рассказ об обряде очищения пастухов и яркие картины жертвоприношения богам, знакомящие нас с обрядовой стороной римской сельской жизни.

Для поэзии Тибулла характерны и такие мотивы, как быстротечность жизни, увядание молодости и красоты, неизбежность смерти. И эта тематика сближала его с классической элегией. Склонный к меланхолии, Тибулл даже в любовных переживаниях чаще описывал не любовные радости, а печали — в противоположность Овидию, внимание которого сосредоточено на радостях и утехах любви.

Поэзия Тибулла высоко ценилась в древности как его современниками, так и последующими поколениями. Овидий в своей элегии, написанной на смерть Тибулла («Любовные элегии», III, 9), называет его «славой» римской элегии, а в другом стихотворении («Любовные элегии», I, 15), говоря о величайших произведениях любовной поэзии, заявляет, что пока люди будут любить, будут изучаться и произведения Тибулла. Упоминает Овидий о нем и в своих «Скорбных элегиях» (IV, 10, 51) и, выражая сожаление, что судьба не дала ему возможности познакомиться с Тибуллом поближе, отзывается с большой похвалой о таланте своего собрата. Имя Тибулла, по свидетельству Веллея Патеркула (II, 36), стояло в первом ряду литературных имен августовского времени. Слава Тибулла, как это видно из свидетельств Стация, Марциала и главным образом Квинтилиана была очень велика; Квинтилиан называет Тибулла самым «изящным» из всех римских элегиков (X, 1, 93).

Изысканность и простота языка Тибулла, отсутствие бросающейся в глаза учености, свойственной элегикам, придают его поэзии большую привлекательность, несмотря на несовершенство композиции его отдельных элегий, а искренность чувства и тонкое изображение любовных переживаний отводит ему почетное место среди писателей августовского времени.



Глава XXVII

ПРОПЕРЦИЙ

1. Сведения о жизни Проперция.— 2. Элегии Проперция.—
3. Стиль элегий Проперция.

1. СВЕДЕНИЯ О ЖИЗНИ ПРОПЕРЦИЯ

Об элeгике *Сексте Проперции* (Sextus Propertius) до нас дошли весьма незначительные сведения. С основными данными его биографии мы знакомимся из его произведений, а также из немногочисленных высказываний о нем древних авторов. Точно год рождения Проперция неизвестен, можно лишь установить, что по возрасту он был моложе Тибулла и старше Овидия. Об этом упоминает Овидий в своих «Скорбных элегиях» (IV, 10, 51 сл.), говоря, что преемником Тибулла был Проперций, за которым следовал уже сам Овидий. Время жизни Проперция предположительно можно установить между 49 и 15 г. до н. э.

Родиной Проперция была Умбрия, как он говорит об этом сам в своих элегиях (I, 22, 9; IV, 1, 64 и 121, 124).

Энний пусть речи свои колючим венком украшает,
Мне же ты листьев плюща, Вакх, своего передай,
Чтобы надменно горда из-за книг моих Умбрия стала,
Умбрия, где родился римский ее Каллимах¹.

(VI, 1, 61—64)

Несколько городов в древности оспаривали честь считаться местом рождения знаменитого элeгика. Но на основании стихов самого Проперция (IV, 1, 125), правда, восстановленных по конъектуре, а также по письмам Плиния Младшего (VI, 15 и IX, 22, 1—2), где говорится о поэте Пассенне как о соотечественнике и родственнике Проперция, можно считать родным городом Проперция Асизий.

Родители Проперция были небогаты и имели небольшой земельный надел, которого они лишились в 41 г. при наделении ветеранов земель. Отец поэта умер, когда Проперций был еще ребенком, а матери он, по-видимому, лишился в возрасте 20-22 лет. В элегиях Проперция есть упоминание о том, что один из его родственников принимал участие в гражданской войне на стороне противников Августа (I, 21), и этим исчерпываются все наши сведения о родных Проперция.

¹ Цитаты из Проперция даются в переводах А. А. Фета («Элегия Секста Проперция». Изд. 2. СПб., 1889).

ПРОПЕРЦИИ

В начале 20-х годов до н. э. Проперций появляется в Риме, и хотя он не был богат, вероятно, кое-какие средства у него оставались, так как в стихах поэта мы нигде не находим указаний на то, чтобы он стремился занять какую-либо государственную должность и тем самым добывать средства к жизни. Материальная обеспеченность дала ему возможность всецело отдаться литературе и, сохраняя независимое положение, вращаться в кругу золотой молодежи.

Проперцию принадлежит видное место в римской литературе. Он был связан с кружком Мецената, в который он был принят после выхода в свет первой книги своих элегий и где, несомненно, должен был встречаться со всеми наиболее известными писателями. В числе его друзей были Тулл, по-видимому, племянник Волкация Тулла, консула 33 г. до н. э., Басс, автор ямбов, о котором упоминают Персий (VI, 1) и Овидий («Скорбные элегии», IV, 10, 47), Понтик, известный эпический поэт, и трагик Линцей. Сам Проперций в своих элегиях восторженно отзывался о Вергилии в книге I (11, 34) и, говоря о готовящейся «Энеиде», уверял, что эта поэма будет выше самой «Илиады» (II, 34, 66). О его общении с Тибуллом, Горацием и Овидием никаких упоминаний нет. Овидий восторгался «пламенным» Проперцием и прилагал к нему эпитеты «нежный», «ласковый, лстивый». Гораций, наоборот, весьма иронически говорит о «римском Каллимахе» в своих посланиях (II, 2, 91). По всей вероятности, между Проперцием и Горацием, которые были представителями различных литературных направлений, хотя они оба и принадлежали к кружку Мецената, большой дружбы не было.

Привлекая в свой кружок молодого и талантливого поэта, Меценат, виднейший сподвижник Августа, стремился приблизить Проперция к темам, связанным с современностью. Он хотел, чтобы поэт оставил аполитичную любовную тематику и перешел бы к созданию эпических произведений, направленных на прославление Августа и его деяний. В начале своей литературной деятельности Проперций явно противился указаниям Мецената, несмотря на признательность своему покровителю, которого он считал «истинной славой своей жизни и смерти» (II, 1, 73—74). Проперций неоднократно уклонялся от навязываемой ему официальной тематики, выставляя главным мотивом своего отказа то, что его слабые силы не позволяют ему братья за столь высокие эпические темы.

Тем не менее, анализируя содержание элегий Проперция, можно видеть, как поэт постепенно оставляет чисто лирическую тематику и, не создавая больших эпических произведений (не свойственных ему по характеру его дарования), начиная с III книги своих стихов, переходит к иным темам, значительно более удовлетворявшим официальные круги.

Таковую же эволюцию можно проследить и в отношении Проперция к самому Августу. Если в своей I книге Проперций допустил прямой выпад против принцепса, упоминая с глубоким сочувствием о своем родственнике, погибшем в гражданской войне против Августа (I, 21), то уже во II книге поэт даже льстит Августу, отождествляя его с богом Юпитером. А 6-я элегия IV книги представляет собой сплошной панегирик Августу по случаю его победы при Акци.

2. ЭЛЕГИИ ПРОПЕРЦИЯ

От Проперция до нас дошли четыре книги стихов, написанных элегическим размером в период между 28 и 16 гг. до н. э.

Первая книга обращена к другу Проперция Туллу; она состоит из 22 элегий и написана не позже 28 г. до н. э. Эта книга, самая лири-

ческая из всех книг поэта, почти целиком посвящена его возлюбленной Цинтии.

Здесь и в следующих двух книгах Проперций рассказывает о том, как после кратковременного увлечения служанкой Лицинией (III, 16, 6 и 43) он встретился с красивой и богато одаренной Цинтией. Она отличалась хорошим образованием (Проперций часто применяет к ней эпитет *docta* I, 7, 11), умела прекрасно декламировать, писала стихи, пела и танцевала (I, 2, 27; 3, 12; II, 3, 17; III, 20, 7). Кто была Цинтия — точно не известно. Установлено на основании свидетельства Апулея («Апология», 10), что это имя служило псевдонимом некоей Гостии. Так как поэт в своих элегиях неоднократно упоминал о ее славном предке, то некоторые исследователи предполагают, что она была родственницей (внучкой) поэта Гостия. Однако считать, что она принадлежала к знатному роду или была римской матропой, нет оснований. Вернее всего она была одной из тех вольноотпущенниц, о которых Овидий так красноречиво повествует в своей знаменитой поэме «Искусство любви», поучая, как они должны себя держать и какими качествами должны обладать, чтобы пользоваться успехом у римской светской молодежи. В пользу этих соображений говорит и то, что Проперций, несмотря на свои пылкие чувства к Цинтии, не хотел жениться на ней, да, вероятно, и не мог, учитывая строгости августовского законодательства о браке и семье. Мы знаем лишь, что в 7-й элегии II книги поэт вместе с Цинтией радуется непринятию проекта закона о браке (*lex Julia de maritandis ordinibus*), по которому он должен был бы жениться на женщине, более подходившей для него по общественному положению, чем любимая им Цинтия. О ней известно также, что она была старше Проперция, обладала ревнивым характером и умерла еще при жизни поэта.

Связь Проперция с Цинтией, длившаяся непрерывно около трех лет, затем вновь возобновившаяся после годового разрыва, продолжалась в общей сложности пять лет (III, 16, 1; III, 25, 3).

Любовь к Цинтии целиком захватила поэта. Цинтии посвящались все его стихи, лишь ей одной поэт отдал свое сердце. «Цинтия была началом, Цинция будет и концом» (I, 12, 20), «Буду ее я живой, буду и мертвый ее» (II, 15, 36), — говорит поэт в своих элегиях. Проперцию пришлось пережить и немало горьких минут и тяжелых переживаний из-за легкомыслия и непостоянства красавицы. Окруженная поклонниками, любившая роскошь, она доставляла бедному поэту много поводов к ревности. То она собиралась уехать в Иллирию с богатым претором (I, 8) и лишь настойчивые мольбы поэта удержали ее от этого путешествия, то она уезжала на модный «курорт» в Байи, и это было для Проперция новым поводом для упреков в измене (I, 11). Цинтия была ревнива, а Проперций, по-видимому, давал ей основания для ревности, хотя везде постоянно уверял ее в своей вечной и неизменной любви. Он беспокоился о ней во время ее болезни и бурно радовался ее выздоровлению. Проперцию были свойственны сильные переживания: он не признавал спокойной любви и считал ревность неизбежной спутницей настоящего большого чувства.

Одной из лучших элегий I книги можно считать 3-ю элегию, где поэт описывает свое возвращение к Цинтии после веселой пирушки. Придя домой и застав Цинтию спящей, Проперций любит ее и, не рискуя будить ее, пытается осторожно поцеловать. Поэт сравнивает свою возлюбленную с героинями мифологических сказаний Андромедой и Ариадной и в восторженных выражениях восхищается ее красотой.

Кроме элегий, прямо относящихся к Цинтии или связанных с ней косвенным образом, встречаются элегии, написанные на сюжеты, общие всем

ПРОПЕРЦИИ

элегическим поэтам. Например, в элегии 16 дверь дома, где живет модная красавица, жалуется на то, что ей надоели бесконечные визиты шумных поклонников, проникающих в дом к ее госпоже. Это является переделкой одного из излюбленных в элегии мотивов — обращения влюбленного к жестокой двери, не пускающей его к любимой, несмотря на все его мольбы. Такая своеобразная серенада (*paraclausithyron*) встречается и в греческой поэзии, и у многих римских авторов — у Плавта («Куркулион», 147 сл.), Горация («Оды», III, 10), Овидия («Любовные элегии», I, 16), Тибулла (I, 2, 7—14) и др. К таким же «общим местам» элегической поэзии у Проперция можно отнести его жалобы на Цинтию, отвергнувшую его любовь, или те строки элегии, где несчастный влюбленный пишет на коре деревьев заветное имя (элегия 18), или рассуждения о том, что ради любви следует отказаться от войны и славы (элегия 6), и ряд подобных мест.

В I книгу входит также несколько стихотворений, написанных к друзьям. В элегии к поэту Полтику Проперций доказывает преимущество элегической поэзии перед другими видами литературы и, ссылаясь на свой собственный пример, рассказывает, что только его поэзия сумела отклонить Цинтию от поездки в Иллирию с богатым претором. В элегии, обращенной к Галлу, пытавшемуся отбить у него Цинтию, Проперций, не высказывая большого негодования по этому поводу, предупреждает своего друга, что любовь к Цинтии доставит ему много огорчений и страданий.

Две последних элегии I книги интересны и по содержанию и по внешней форме. Одна из них — эпитафия, посвященная Галлу, родственнику Проперция, погибшему в Перусинской войне на стороне противников Августа. Другая, написанная в форме краткой эпиграммы, адресована Туллу. В ней Проперций рассказывает о месте своего рождения на земле, смежной с умбрийскими пивами.

Кто я, откуда мой род и где мои Туллы и пенаты,
Ради ты дружбы меня все вопрошаешь о том.
Если знаешь могилы Перусии ты, погребенной
Родины, во времена злые Италии всей...
Тут соседняя с ней на низменных Умбрия нивах
Породила меня, сильная туком, земля.

(Элегия, 22)

Первая книга стихов, посвященная Цинтии, доставила славу и поэту и вдохновившей его подруге, что видно из дошедшей до нас эпиграммы Марциала (XIV, 189).

Вторая книга, написанная между 28 и 25 гг. до н. э., состоит из 34 элегий, в основном также связанных с Цинтией.

По мере развития связи с Цинтией переживания Проперция становятся все более разнообразными и сложными. Легкомысленное поведение Цинтии, ославившей себя на весь Рим, заставляет глубоко страдать Проперция и, упрекая свою любовницу в действительных и предполагаемых изменах, поэт грозит отомстить ей за ее поведение. В его элегиях появляется тема женской безнравственности, поэт скорбит о падении нравов. Эта тема, не новая в элегической поэзии, вполне соответствовала политике Августа, который для укрепления нравственности своих испорченных современников предпринял весьма радикальные меры, а именно в 18 г. до н. э. издал закон против роскоши, проект закона против безбрачия и др.

Несмотря на то, что Проперций скорбит о падении нравов, он сам в элегии 7 радуется отмене указа, налагающего запрет на внебрачные связи. Он рассказывает, как они вместе с Цинтией горько плакали, боясь, что их могут разлучить и заставить Проперция жениться на другой женщине.

В большинстве элегий II книги (11, 13, 15, 17, 18, 19, 24 и др.) изображение личных переживаний поэта связывается с мифологическими сюжетами или с теми или иными героями древности. Иногда Проперций включает в свои стихи и мотивы общеэлегического характера. Так, например, когда опять появляется иллирийский претор, поэт раздражается упреками по поводу корыстолюбия женщин. Здесь на совершенно конкретном примере Проперций развивает одну из любимых тем элегии — о женской развращенности и жадности и о том, что каждый может купить любовь за деньги. Надо сказать, однако, что Проперций сам не очень строг в отношении морали, и советует Цинтии обратить глупого влюбленного соперника, а затем отправить его одного в Иллирию. Из элегий, посвященных божеству любви, интересна 29 элегия, в которой Проперций рассказывает, как толпа Амуров ночью поймала его и отвела к ожидавшей его Цинтии.

В первой и заключительной элегиях II книги Проперций упорно отстаивает свою склонность к элегической поэзии, заявляя, что у него нет таланта эпического поэта, предоставляя Вергилию и другим воспевать победы Цезаря и иные возвышенные темы. Поэтами, достойными подражания, он считает знаменитых александрийцев — Филета и Каллимаха и советует своему другу Линцею подражать именно им, если он хочет иметь успех у женщин.

Но несмотря на подобного рода рассуждения, Проперций начинает склоняться к иной тематике, прямо заявляя в элегии 10 о том, что уже иная муза учит его петь.

Элегия 10 по своему характеру больше похожа на торжественную оду. Проперций пытается перейти к более высоким сюжетам и, обращаясь к Августу, восхваляет его военные подвиги. Смиренно признаваясь в своем бессилии достойно воспеть столь великого героя, Проперций подчеркивает свое искреннее желание стать певцом деяний Августа.

Третья книга, законченная около 22 г., содержит 25 стихотворений; она включает в себя уже новые темы и носит иной характер, чем две первые книги. Правда, в отдельных элегиях еще встречаются упоминания о Цинтии, и поэт все еще продолжает отстаивать свою приверженность к элегической поэзии, но лирическое содержание явно отходит на второй план, уступая место мифологическим сюжетам.

Первая элегия начинается с обращения к теням Филета и Каллимаха, которым Проперций стремится подражать. Здесь, как и в следующей элегии, высказывается мысль, подобная той, которая была изложена в «Памятнике» Горация, что Проперций первый познакомил итальянских слушателей с греческой поэзией и что слава его благодаря элегической музе никогда не угаснет. О том же говорится и в 9-й элегии, посвященной Мепенату. Проперций вновь здесь заявляет, что «его челноку не подходят большие паруса» и что «непосильная тяжесть сюжета сможет его раздавить».

В III книге есть несколько элегий, связанных с жизнью Рима, отдельные лестные упоминания о могуществе Августа (элегия 11) и прославление битвы при Акци, написанное в явно александрийском духе с множеством примеров из мифологии. В этой же книге мы находим образцы так называемого «эпикадейона» (элегий, написанных по случаю смерти

каких-либо лиц): в элегии 7 Проперций утешает мать молодого Пета, погибшего во время путешествия на торговом судне, и развивает мысль о людской корысти, ведущей к гибели. Эта элегия проникнута более теплым чувством, чем эпикейдон на смерть Марцелла, племянника Августа, имеющий явно официальный характер (III, 18).

Как новый сюжет в элегической поэзии следует отметить элегию 12 — о молодой римлянке Галле и о ее любви к мужу Постуму, отправляющемуся на войну. Элегия, восхваляющая супружескую любовь, была необычной для римских элегиков и до некоторой степени может рассматриваться как отклик на проводимую Августом реформу нравов.

Роман с Цинтией пришел к концу. Разочаровавшись в любимой женщине, поэт стремится уехать в Афины, где предполагает заняться изучением философии и литературы.

Книга заканчивается прощанием с Цинтией и пожеланием неверной красавице тяжелой и одинокой старости.

Последняя, IV книга, написанная не раньше 16 г. до н. э., состоит из одиннадцати элегий. На неоднократные призывы Мecenата Проперций отзывался в этой книге не настоящим эпосом, а так называемыми этиологическими элегиями. Здесь уже ясно разделяются как бы две основные линии в содержании элегий: одна — это «ученые» элегии, где Проперций стремится осуществить свои мечты стать «римским Каллимахом», другая — элегии, где он по-прежнему разрабатывает любовные сюжеты. Элегии с эротическим содержанием, хотя и отступают на второй план, удаются Проперцию значительно лучше, чем «ученые». Элегия 1, самая большая из всех элегий Проперция, посвящена истории Рима, в ней рассматриваются легенды, связанные с происхождением Рима, с его храмами, памятниками и местными праздниками. Поэт заявляет, что свой слабый талант он отдает на служение родине.

Написанные в духе эпической поэзии элегии 2 и 4 рассказывают об этрусском происхождении бога Вертумна и о весталке Тарпее, предавшей Рим из-за любви к сабинскому царю. В элегии 9 повествуется о борьбе Геркулеса с великаном Каком, угнавшим священных быков Юпитера. Здесь же объясняется происхождение римского *Forum Boarium* (Коровьего рынка) с его священным жертвенником — *Ara taurina* — в честь Геркулеса. Элегия 10 стремится выяснить «причины» основания одного из древнейших храмов Рима и объясняет происхождение имени Юпитера Феретрия, которому победители посвящали доспехи, снятые с убитого на войне неприятельского полководца². Такими героями-победителями были прославленные римские герои Ромул, Авл Косс и Марцелл. Как уже указывалось, в элегии 6 в восторженных выражениях восхваляется победа Августа при Акции. Проперций не скупится на хвалебные эпитеты, приравнивает Августа к богам и одновременно рассказывает о празднестве открытия нового храма в честь Аполлона, руководившего сражением и помогавшего Августу.

Новая элегическая тема, затронутая Проперцием в элегии о Галле и Постуме, — тема супружеской любви и преданности — более подробно развита в двух элегиях IV книги — в 3-й и в последней из всех его элегий — 11-й. В 3-й элегии дается психологически верный образ любящей и нежной жены Аретусы. Наиболее высокую оценку супружеская любовь получает в духе официальной идеологии в 11-й, траурной элегии, посвященной

² Тит Ливий в «Римской истории» (I, 10) рассказывает, что Ромул, сняв доспехи с убитого вражеского вождя, вступил в Капитолий и положил их у дуба, чтимого пастухами. Принесши дары, он назначил место для храма Юпитера и дал богу новое прозвище — Юпитер Феретрийский (Податель добычи, Несущий добычу).

Корнелии, дочери Скрибонии, подчерице Августа, бывшей замужем за цензором Павлом Лепидом. Корнелия после своей смерти, выступая в загробном суде, произносит речь и трогательно просит овдовевшего мужа заботиться об осиротевших детях, а им внушает относиться с любовью к мачехе, которая сможет занять ее место. Это одна из самых поэтических элегий; она называлась позднейшими исследователями «царицей элегий»³ и пользовалась большим вниманием в последующие времена.

Две элегии, относящиеся к Цинтии, даны поэтом в виде воспоминаний; одна из них дана как пародия на стиль ученых «причин» (этиологий). В ней раскрывается «причина» одной ссоры, происшедшей у поэта с Цинтией, когда случайно, вернувшись не во время домой, Цинтия застала его кутиющим в обществе легкомысленных женщин и сурово расправилась с изменившим ей возлюбленным (элегия 8). В другой элегии поэт рассказывает, что он во сне видел умершую Цинтию, пенявшую ему за измены при ее жизни, за отсутствие на ее похоронах и за невнимание к ней (элегия 7). Эта элегия, хотя и не лишена мифологической учености, полна бытовых деталей и искренней грусти поэта по умершей, некогда горячо любимой подруге.

3. СТИЛЬ ЭЛЕГИЙ ПРОПЕРЦИЯ

Из римских элегиков Проперций стоит ближе всех к александрийской поэзии. Об этом прежде всего свидетельствует желание самого Проперция стать «римским Каллимахом», а также многочисленные упоминания и ссылки в его элегиях на двух крупнейших александрийских поэтов — Каллимаха и Филета. Проперций, например, прямо советует своему другу Линцею подражать Каллимаху и Филету, превзошедшим муз. Сравнение Проперция с Каллимахом мы находим у Овидия в его «Посланиях» (IV, 6, 32) и в насмешливом отзыве Горация о «римском Каллимахе»:

Разве не так же с ума сладкогласные сходят поэты?
 Песни слагаю вот я, он элегии: дива достойны
 Наши творенья чеканкой всех муз девяти...
 Мнение его — я Алкеем ушел, а мое так — он кем же?
 Кем, если не Каллимахом? Потребуют большего если,
 Станет Мимнермом тотчас, величаясь желанным прозваньем...

(Гораций, «Послания», II, 2, 90—92, 99—101)

В большинстве своих элегий Проперций приводит много мифов, часто малоизвестных, иногда рассказывая их подробно, а иногда ограничиваясь лишь краткими упоминаниями о героях мифической древности. Разнообразные подробности, обилие образов и сюжетов, иносказательная передача событий, а также желание выразить свою мысль как можно более витиевато часто делают элегии Проперция трудными для понимания, тем более что искренность переживаний и большая впечатлительность поэта побуждают его в одной и той же элегии выражать чувства, иногда весьма противоречивые.

Проперций, типичный представитель «ученой» поэзии, явился основоположником римской этиологической элегии. Несмотря на подражание александрийским образцам, он создал и элегии с оригинальным и вполне национальным содержанием. В IV книге Проперций с воодушевлением

³ М. М. Покровский. История римской литературы, стр. 238.



Глава XXIX

МАЛЫЕ ПОЭТЫ ЭПОХИ АВГУСТА

1. Луций Варий Руф.— 2. Альбинован Педон. Рабирий.— 3. Корнелий Север.— 4. Эмилиий Макр. Граттий Фалиск.— 5. Домиций Марс, Валгий Руф и другие поэты.

1. ЛУЦИЙ ВАРИЙ РУФ

Три великих поэта, живших во время принципата Августа, затмили собой всех других поэтов этого времени. Литературное наследство, дошедшее до нас от этих последних, ничтожно; фрагменты из их произведений занимают меньше 20 страниц по изданию Тейбнера (*Fragmenta poetarum Romanorum*, 1886), и большинство этих фрагментов содержат не более двух-трех стихов. Единственным исключением является поэма Граттия.

Наибольшее внимание, по-видимому, привлекала к себе эпическая поэзия. Августу, несомненно, хотелось найти поэта, который достойным образом прославил бы его деятельность; из этого желания его вырос план «Энеиды», которая, однако, в процессе своего создания вышла не тем, чего ожидал Август.

Эпической поэмы о подвигах самого Августа и его полководцев ожидали не только от Вергилия. Из эпических поэтов того времени, по-видимому, наиболее известным был *Луций Варий Руф* (L. Varius Rufus), которого восхваляет Гораций как мастера эпического стиха:

...Пламенный Варий
Равных не знает себе в эпосе.

(«Сатиры», I, 10, 43—44)

Его же Гораций рекомендует и Агриппе как поэта, способного прославить его победы.

Пусть тебя, храбреца многопобедного
Варий славит...

(«Оды», I, 6)

Действительно ли Варий был таким крупным поэтом, или Гораций просто хотел отвести от себя нежелательный заказ на эпическую поэму, сказать нельзя. Правда, и Вергилий в 9-й эклоге (ст. 35) дает тоже лестный отзыв о Варии, сетуя на то, что ему самому пока не удалось создать ничего, что было бы подобно стихам Вария. До нас дошли от Вария только четыре незначительных фрагмента из эпического стихотворения «О смерти»; их приводит Макробий, говоря о подражателях Вергилия (VI, 1, 39—40; VI, 2, 19—20). Судить о таланте Вария по ним нельзя; самый

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ИМПЕРИИ

крупный из них (6 стихов) описывает охотничью собаку, бегущую по следу лани. Из другого стихотворения Вария, «Панегирика Августу», Гораций, по свидетельству схолиев, включил два стиха в свое первое послание.

Больше ль желает народ тебе счастья мль сам ты народу,
Пусть без рещенья вопрос оставит Юпитер, хранящий
Град и тебя.

(«Послания», I, 16, 27—29)

Тацит и Квинтилиан отзываются с одобрением еще о трагедии Вария «Фиест», ставя ее наравне с «Медеей», юношеской драмой Овидия (Тацит, «Диалог об ораторах», 12; Квинтилиан, X, 1, 98).

Главной заслугой Вария является издание «Энеиды» Вергилия. Он, по распоряжению Августа, не исполнил поручения Вергилия, данного им перед отъездом в Грецию, — сжечь «Энеиду», если поэту не удастся ее кончить; «Энеида» была издана в том виде, в каком осталась после смерти Вергилия, так как Август запретил что-либо в ней изменять. С Горацием Варий тоже был в дружеских отношениях; будучи старше Горация, «Диалог об ораторах», 12; Квинтилиан, X, 1, 98).

с благодарностью вспоминает об этом, называя Вария, наряду с Вергилием и Туккой, душой, чище которой никогда не рождала земля («Сатиры», I, 5, 40). Имеются сведения, но недостоверные, о том, что Варий был эпикурейцем; это, однако, вполне возможно, так как он был близок с Горацием.

2. АЛЬБИНОВАН ПЕДОН. РАБИРИЙ

Эпические поэты *Альбинован Педон* (Albinovanus Pedo) и *Рабирий* (Rabirius) пытались создать исторические поэмы на современные темы. От поэмы первого дошел фрагмент в 22 стиха (в свазориях ритора Сенеки, I, 15), довольно ярко описывающий бурю на океане. По-видимому, эта поэма была посвящена походу Германика, так как у Тацита («Анналы», II, 23) буря, застигшая Германика в океане, изображена почти буквально в тех же словах, что и у Педона; Тацит же упоминает, что в войске Германика служил начальником конницы Педон; возможно, что этот Педон и был поэтом, написавшим свои воспоминания о походе. Помимо этой эпической поэмы, он написал мифологический эпос о Тезее (Овидий, «Понтийские послания», IV, 10, 71). О его эпиграммах не раз упоминает Марциал.

От поэмы Рабирия, посвященной победе Августа над Антонием, сохранилось только пять отдельных стихов. Философ Сенека («О благодеяниях», VI, 3, 1) приводит в качестве примера сарказма предсмертную горькую шутку побежденного Марка Антония, но излагает ее прозой: «У меня осталось только то, что я раздал».

3. КОРНЕЛИЙ СЕВЕР

Значительно интереснее тот фрагмент исторической поэмы, который дошел до нас в свазориях Сенеки-отца (VI, 26) как цитата из поэмы *Корнелия Севера* (Cornelius Severus). Этот поэт, по-видимому, пользовался большим успехом в свое время. Овидий в «Понтийских посланиях» (IV, 16, 9) говорит, что он дал «Лацию царственную песнь» (quique dedit Latio carmen regale Severus; под словом regale Овидий понимает повесть о «римских царях»); в другом послании (IV, 2, 11) Овидий хвалит Севера

за его «плодовитость». Но за эту же плодовитость Квинтилиан называет Севера «скорее версификатором, чем поэтом» (X, 1, 89). О числе произведений Корнелия Севера точных сведений нет. Квинтилиан упоминает его поэму о Сицилийской войне (между Октавианом и Секстом Помпеем), грамматик Валерий Проб упоминает о поэме «Римские дела» (*Res Romanae*), последняя, может быть и есть та самая поэма, о которой говорит Овидий, так как название «*Res Romanae*» обычно применялось к произведениям анналистического характера. Сицилийская война, вероятно, была темой другой поэмы; из нее, по-видимому, и взят фрагмент, сохраненный Сенекой. Фрагмент этот представляет собой «плач о Цицероне» и направлен против Марка Антония; враждебное отношение к Антонию само по себе не вызывает удивления, так как эта поэма (как и поэма Рабирия) могла быть написана уже после битвы при Акци. Патетически-восторженный тон, в котором Север восхваляет и оплакивает Цицерона, плохо согласуется с некоторым замалчиванием этого имени, господствовавшим при Августе. Об этом свидетельствует анекдот (Плутарх, «Цицерон», 49, 3) о том, как внук Августа испугался, когда дед застал его за чтением речей Цицерона; правда, Август вернул мальчику книгу, сказав, что «Цицерон был разумный человек и любил отечество», но все же напоминание о страшной гибели Цицерона, совершившейся, если не при участии Августа, то при попустительстве с его стороны, едва ли могло быть ему приятно. Фрагмент же из поэмы Севера является настоящим панегириком Цицерону, что свидетельствует о наличии сильной оппозиции среди республиканских кругов старого поколения. Приводим полностью этот фрагмент, хотя несколько риторический, но не лишенный подлинного чувства¹.

Головы многих мужей знаменитых положены были
 В дни те на рострах, как будто живые; но взор привлекала
 Только одна среди всех — Цицерона погибшего образ.
 Подвиги консула вновь могучие в памяти встали,
 Клятвы, раскрытые им, и козни страшных союзов,
 Знатных злодеев позор: и вот — повторилась снова
 Кара Цетега и вновь беззаконный пришел Катилина.
 Слава, успех у толпы и долгие годы шочета
 Много ль тебе помогли, — и любовь к священным искусствам?
 Гордость века один этот день уничтожил; в рыданиях
 Смолкла в печали навек краса латинского слова.
 Тот, кто единой защитой, кто всех угнетенных спасеньем
 Некогда был, он — Рима глава, он — советник сената,
 Форума слава и блеск, законов наших и права
 Голос живой — он умолк, сражен жестоким оружием.
 Мукой истерзанный лик и седины с застывшею кровью,
 Пролитой дерзко, и руки святые, свершившие столько
 Славных деяний — все это попрали победитель надменный,
 Воли богов не почтив, не боясь неверного рока.
 Нет! Преступленья такого вовек не смует Антоний!
 Доли подобной не ведал никто — ни Персей эмафийский
 В день пораженья, ни страшный Сифакс, ни Филипп двоедушный;
 Так над Югуртой в триумфе никто не посмел издеваться.
 Даже и сам Ганнибал, пав жертвой нашего гнева,
 Тело свое к Стигийским теням унес невредимым.

¹ Перевод фрагментов и эпиграмм сделан М. Е. Грабарь-Пассек.

По-видимому, в том же духе писал испанец поэт Секстилий Эна, единственный дошедший до нас стих которого сходен со стихом 11 фрагмента Севера.

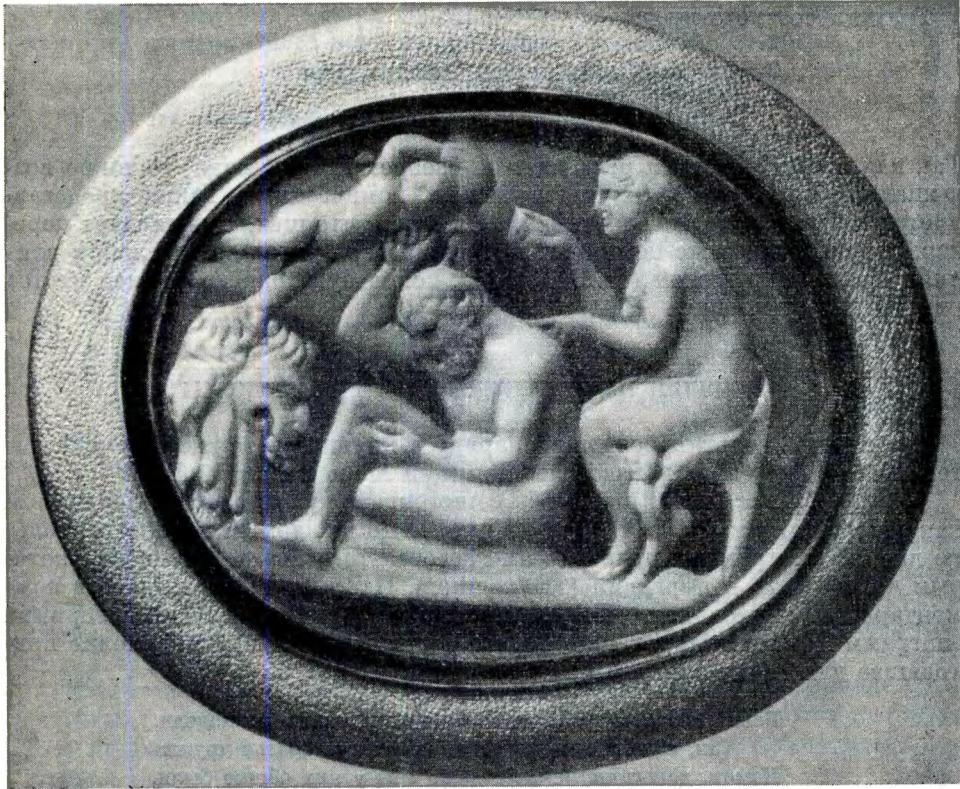
Смерть Цицерона оплачем, безмолвие речи латинской.

4. ЭМИЛИЙ МАКР. ГРАТТИЙ ФАЛИСК

Кроме исторических эпоей, во времена Августа было написано и несколько дидактических поэм. Об авторе поэм «Орнитогония» и «Целебные травы» *Эмилии Макре* (Aemilius Macer) мы знаем только из одного стиха Овидия и из кратких упоминаний позднейших грамматиков. От самих поэм, являвшихся, вероятно, подражанием греческим поэмам Никандра Колофонского, сохранилось всего около 15 отдельных стихов и полустихов.

Единственный крупный фрагмент (540 стихов) дошел до нас от поэмы *Граттия Фалиска* (Grattius Faliscus) «О псовой охоте» (Cynagoga). Она является одним из звеньев той цепи, которая тянется от прозаической «псовой охоты» Ксенофонта к греческим поэмам Оппиана (II в. н. э.). Дошедший до нас фрагмент говорит собственно не о самой охоте, а о ее средствах и подготовке к ней: автор описывает различные виды сетей, силков и капканов, потом переходит сперва к воспитанию охотничьих собак, чему уделяет особое внимание (ст. 140—495), далее к выбору коня, подходящего для охоты, а не для состязаний или войны. Поэма настолько изобилует техническими подробностями, что для специалиста-охотника может представить такой же интерес, как трактат Ксенофонта. Поэтические достоинства ее, напротив, очень незначительны. Известный интерес представляет только начало поэмы, которое мы и приводим:

Дар воспеваю богов, искусство охоты веселой,
Твой, Диана, удел. В давно минувшую пору
Люди надеялись лишь на оружие свое да на храбрость;
В диких тущах блуждали бесцельно, искусства не зная.
После ж, о Разум, вослед за тобою они поспешили,
Вняв указаньям твоим, иною, лучшей дорогой.
С этой поры осветилась их жизнь, водворился порядок.
Стали искусства они открывать, одно из другого;
Грубая сила с тех пор уступила разуму место.
Тою порой начертал сам бог границы искусствам,
Каждому дал свой предел; с тех пор преследует каждый
Цель неуклонно свою и усердьем ее достигает.
Люди издревле, всегда трепеща в борьбе со зверями,
Жизнь проводили свою: ты, Диана, помощницей первой
Стать захотела для них и мир от бедствий избавить.
После же вместе с тобой и спутников рой появился,
Племя богов и богинь; те, кто в рощах, в лесах обитает,
Те, что укрылись во влаге ручьев, наяды и фавны,
Матерь Идейская, львов усмирившая, Пан меналийский,
С ними Сильван, покровитель деревьев, свободно растущих.
Как под оплотом таким нашу жизнь от зверей кровожадных
Нам уберечь удастся, я в песне скажу — и веселье
Даст моя песня, и мощь, прославляя искусство охоты.



*Омовение Геркулеса
Камень*

Содержание этого отрывка интересно тем, что первобытное существование людей изображено не в обычных для эпоса сказочных тонах безмятежного «золотого века», а примыкает к поэме Лукреция (V, 925 сл.). Человеческий род не деградирует, а прогрессирует — эта мысль, подготовленная и эпикуреизмом, и стоицизмом, прочно утверждается в образованном обществе именно во времена правления Августа. Правда, в широких кругах населения одновременно усиливается ожидание будущего блаженного века; представление о «золотом веке» переходит из области философии в область эсхатологических и религиозных чаяний². Присутствие безусловно рационалистической мысли даже в таком незначительном литературном произведении, как поэма Граттия, весьма показательно.

Местами в поэме Граттия можно заметить подражание «Георгикам» Вергилия. Однако при малом таланте автора, это подражание производит иногда впечатление пародирования. Так, знаменитому стиху Вергилия, в котором подразумевается Лукреций

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

(«Георгики», II, 490)

² Н. А. М а ш к и н. Эсхатология и мессианизм в последний период Римской республики. «Изв. АН СССР, серия ист. и филос.», т. III, № 5, 1946.

у Граттия соответствует:

O felix, tantis quem primum industria rebus
Prodidit auctorem!

(«О псовой охоте», 95)

Так как в стихе Граттия речь идет об изобретении капкана, то такие возвышенные выражения кажутся несколько комическими. Также представляется забавным, когда Граттий, сказав о том, что ценят не следует перекормливать, сейчас же переходит к патетической тираде о гибельном влиянии роскоши на людей (ст. 310—325), используя ходячее «общее место» риторов того времени.

5. ДОМИЦИЙ МАРС, ВАЛГИЙ РУФ И ДРУГИЕ ПОЭТЫ

Из поэтов, культивировавших наряду с крупными также и малые литературные формы, нам известны Домиций Марс и Валгий Руф.

Домиций Марс (Domitius Marsus) многократно упоминается Марциалом как автор эпиграмм (II, 71, 77; V, 5 и др.). До нас дошли полностью только две его эпиграммы: одна из них касается того поэта Бавия, над которым подшучивал и Вергилий («Буколики», III, 90); она приведена в комментарии к «Буколикам» Вергилия, там же дано и название сборника эпиграмм Домиция Марса, из которого она взята, — «Цикута», вполне подходящее для едких эпиграмм.

Бавий с братом родным сообща всем именем владели,
Так, как бывает всегда в семьях, где братья дружны —
Домом, деньгами, землей; даже сны у них общие были,
Ты бы сказал, что одна в них обитала душа.
Брат один был женат; но жене одного не хватило —
Хочет обоих в мужья; тут-то и ладу конец,
Ненависть, злоба и гнев сменили минувшую дружбу.
Царство отныне пришлось двум поделить господам.

Другой эпиграммой открывается жизнеописание Тибулла.

В край Елисейских полей тебя, молодого Тибулла,
Вместе с Вергилием смерть злобной рукой увела.
Чтобы отныне никто не оплакивал страсти любовной
Или походы вождей мощным не славил стихом.

Своим современникам Домиций Марс был известен и как автор большой эпической поэмы об амазонках — о ней с неодобрением упоминает Марциал (IV, 29). От Марциала же (VII, 29) известно, что Домиций писал и элегии и читал их Мекенату; имя его возлюбленной — Меланида, упоминаемое Марциалом, очевидно, псевдоним — перевод латинского эпитета *fusca* («смуглая»; в эпиграмме противопоставлен Вергилий, воспевавший «белокожего» — *candidus* — Алексида, Марсу с его Меланидой).

Можно очень пожалеть об утрате прозаического сочинения Домиция Марса, о котором с похвалой отзывается Квинтилиан (VI, 3, 102); оно называлось «Об изяществе» (*De urbanitate*), в частности об изящном способе выражения; оно было бы ценнейшим руководством для изучения литературного стиля данного времени.

Поэтом и прозаиком был также *Валгий Руф* (C. Valgius Rufus), которо-

МАЛЫЕ ПОЭТЫ

му Гораций советует («Оды», II, 9) оставить сочинение элегий на смерть любимого юноши Миста и запяться поэмой о подвигах Августа.

Уйми же слезы, брось свои жалобы!
Но лучше ль спеть про новые Августа
Трофеи славные...

(Перевод А. П. Семенова-Тян-Шанского)

Судя по этим словам, Валгий был поэтом-элегиком. Наряду с этим он был и ученым: Квинтилиан упоминает не раз о его переводе риторики Аполлодора, Геллий и Харисий ссылаются на его грамматические изыскания, Плиний Старший — на его сочинение по медицине.

Перечисленные поэты являются немногими из поэтов августовского времени, о которых мы можем составить себе хотя бы некоторое представление. О том, что они не были единственными в свое время, свидетельствует тот длинный перечень поэтов, который дает Овидий в «Понтийских посланиях» (IV, 16). Он перечисляет около 30 имен, почти всюду приводя также и названия произведений; эпические поэмы являются, безусловно, преобладающим жанром: например, Кар написал «Гераклиду», Ларг — поэму об Антеноре, Камерин — о взятии Трои и т. д. Овидий вспоминает и о тех, кто писал *improbus numeris*, т. е. об элегиках, о подражателе Каллимаха Прокуле, о поклоннике Пийдара Руфе; он заканчивает уверением, что упомянул далеко не всех поэтов своей эпохи — и уже известных, и еще не опубликованных.

Остается сказать несколько слов о шуточных стихотворениях и эпиграммах, которых в это время ходило, по-видимому, немало по рукам. Так, например, из пародии на Вергилиевы сельские стихотворения дошли стихи

Голым паши ты и сей — лихорадку от холода схватишь.

или

Титир, есть плац у тебя — зачем покрываешься буком?

Второй стих пародирует выражение под «покровом бука» («Буколики», I, 1), которое, очевидно, казалось искусственным и смешным.

От предшествующей Августу эпохи диктатуры Цезаря дошли шуточные песенки Цезаревых солдат.

Горожане, жен закройте: лысый бабник к вам идет!
Деньги в Галлии растратил, здесь их снова понабрал.

или

Галлов Цезарь вел в триумфе, галлов в курию привел;
Снял он с галлов шаровары, в тогу с пурпуром одел.

От времени Августа дошла подобная эпиграмма на него, но она написана не трохаическими септенариями, а дистихами.

Только лишь те господа разоделись, как Маллий увидел
Шесть олимпийских богов, шесть олимпийских богинь.
Цезарь насмешки члнят нечестиво над трапезой Феба,
Шумно среди новых богов пир и гулянка идет.
Этой порой от земли ушли светила святые,
Даже Юпитер — и тот с трона золотого сбежал.

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ИМПЕРИИ

Эта эпитафия намекает на тайные пирушки Августа, где он играл роль Аполлона (Светоний, «Август», 70). От самого Августа дошла такая эпитафия:

Так как Антоний с Глафирой сошелся, то Фульвия хочет,
Чтобы сошелся с ней я; вот наказание мне!
Мне — чтобы с ней сойтись! А что же мне делать придется,
Если другой позовет? Что же мне делать тогда?
«Или сойдемся», кричит, «иль сразимся!» «Нет, даже и жизни
Честь мне дороже моя. К бою пусть трубы зовут!

Кроме того, до нас дошел сборник, состоящий из 80 стихотворений, носящий название «Ргиареа» (в честь бога плодородия Рриана). Время составления его точно не известно, но считается общепризнанным, что большинство входящих в него стихотворений относится именно ко времени Августа.



Глава XXX

ТИТ ЛИВИЙ

1. Биографические сведения.— 2. Литературная деятельность Тита Ливия и его «История».— 3. Религиозный характер «Истории».— 4. Политические взгляды, выраженные в «Истории».— 5. Источники Ливия.— 6. Ливий как историк.— 7. Язык и слог Ливия.— 8. Характеристики в «Истории».— 9. Речи в «Истории».

1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Тит Ливий (T. Livius) родился в 59 г. до н. э. в городе Patavium (теперь Падуа) в Северной Италии и умер в 17 г. н. э., прожив, таким образом, 76 лет. Эти сведения засвидетельствованы Иеронимом и некоторыми другими источниками. Об обстоятельствах его жизни мы знаем очень мало.

Как остроумно заметил Тэн, «историк Рима не имеет истории»¹. Можно думать, что он происходил из состоятельной семьи; на это указывает полученное им хорошее образование, а также и то, что он имел возможность жить в Риме, посвятив себя всецело занятиям литературой. В то время как прежние историки были в той или иной степени государственными деятелями, Ливий был кабинетным ученым, литератором в теперешнем смысле этого слова.

Когда и с какой целью он переехал в Рим, неизвестно; но, как видно из его сочинения, он жил в Риме уже в 27 г. до н. э. Вероятно, благодаря своему образованию он обратил на себя внимание императора Августа, который и сам занимался историей и всячески покровительствовал талантам своего века (Светоний, «Август», 89, 3). Отношения их были настолько близкими, что Тацит обозначает их словом «дружба» («Анналы», IV, 34, 3). Дружба эта продолжалась, по-видимому, до смерти Августа: Ливий посоветовал Клавдию (внуку императрицы Ливии, будущему императору) заниматься историей (Светоний, «Клавдий», 41, 1); Клавдий родился в 10 г. до н. э., и такой разговор вряд ли мог происходить раньше 5 г. н. э. После смерти Августа (14 г. н. э.) Ливий, может быть, переселился в родной город, так как есть известие, что умер он там.

2. ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТИТА ЛИВИЯ И ЕГО «ИСТОРИЯ»

Как уже сказано, Ливий получил хорошее образование: он писал диалоги популярно-философского содержания и сочинения чисто философские. По словам Сенеки (письмо 100, 9), диалоги Ливия «можно причислить столько же к философии, сколько к истории»; исходя из этого, полагают, что эти диалоги были похожи на «Логисторики» Варрона. О высоком риторическом образовании Ливия мы можем и сами судить на основании его «Истории» (особенно — речей в «Истории»), а кроме того, и на

¹ И. Тэн. Тит Ливий. Перевод А. Иванова и Е. Щепкина. М., 1885, стр. 1.

основании свидетельств авторов. Так, Сенека в этом письме относит его к числу «самых красноречивых» и ставит наряду с Цицероном и Асинием Поллионом. Сохранились у авторов некоторые замечания самого Ливия по поводу риторики. Так, ритор Сенека говорит («Контroversии», IX, 1, 14), что Ливий критиковал одну фразу Саллюстия, однако, по мнению Сенеки, несправедливо. По словам того же Сенеки («Контroversии», IX, 2, 26), Ливий считал сумасшедшими ораторов, любящих устарелые слова и темную речь. Квинтилиан (VIII, 2, 18) также указывает, что Ливий упоминал (вероятно, с неодобрением) об одном учителе, который советовал ученикам «затемнять» речь.

Не известно также, где и в какие годы своей жизни писал Ливий эти сочинения; но во всяком случае его и в зрелом возрасте интересовали риторические вопросы: Квинтилиан (X, 1, 39) упоминает о письме его к сыну, где он советует ему «читать Демосфена и Цицерона и авторов, наиболее похожих на Демосфена и Цицерона». Вероятно, это же письмо имеет в виду Квинтилиан в другом месте (II, 5, 20), где он, говоря о выборе авторов для изучения в школе, ссылается на это наставление Ливия.

Эти сочинения Ливия не дошли до нас. Главным сочинением, доставившим Ливию бессмертную славу, была его «История римского народа». Эта история дошла до нас, хотя и в очень неполном виде.

Этот огромный труд состоял из 142 книг; но до нас дошло только 35 книг, т. е. едва одна четверть всего сочинения. «История» начинается с мифических времен (с прибытия Энея в Италию) и кончается смертью Друза (9 г. до н. э.). Так как это событие не было особенно важным, то можно предположить, что автор не имел в виду окончить свой труд на нем, а хотел довести его до смерти Августа, и что какие-нибудь обстоятельства помешали ему сделать это².

Итак, до нас дошло только 35 книг: книги I—X и XXI—XLV, притом книги XLII и XLIII сохранились не в полном виде. Но все-таки у нас есть некоторые сведения и об утраченных книгах:

1. Фрагмент рукописи из книги XCI, обнаруженный на палимпсесте одной рукописи в 1772 г., содержит рассказ о войне с Серторием.

2. Фрагменты у разных авторов. Буквально выписанных текстов очень мало. Наиболее интересны два фрагмента из книги CXX, приведенные ритором Сенекой («Свазории», VI, 17 и 22 в издании Мадвига под № 49, в издании Вейссенборна под № 50). Большая часть цитат из Ливия приводится авторами без сохранения точного текста.

3. Систематические извлечения. Вследствие большого размера «Истории» Ливия, из нее рано стали делать извлечения для разных целей. Уже Марциал («Эпиграммы», XIV, 190) говорит о каком-то «сокращенном» издании «Истории», находившемся в его библиотеке, но неясно, было ли это извлечение, или что-нибудь другое. У нас есть несколько извлечений.

а) Периохи (perioclia). В них излагается краткое содержание каждой книги в отдельности. Самые большие из них (к книгам XLVIII и XLIX) превышают две печатных страницы; остальные — размером около полстраницы; есть даже такие (к книгам CXXXV и CXXXVIII), в которых только две строки; к книгам CXXXVI и CXXXVII периохи вовсе не сохранились. Содержание изложено в них очень поверхностно: в некоторых это даже не изложение, а скорее только оглавление. Когда, кем и

² Тэн предполагает, что эволюция Августа в сторону деспотизма «сделала Ливия, к концу его истории, более осторожным и заставила его остановиться на смерти Друза» (указ. соч., стр. 16). Этой же перемены Август Тэн объясняет удаление Ливия из Рима на родину (стр. 11). Но это мнение другими историками литературы не разделяется.

для какой цели составлены перихохи, неизвестно. Несмотря на краткость, перихохи все-таки служат единственным источником сведений о содержании каждой книги в общих чертах.

б) Кроме того, содержание потерянных книг мы узнаем отчасти из сочинений историков, пользовавшихся «Историей» Ливия.

Таково сочинение Юлия Обсеквента (Julius Obsequens) «О чудесных явлениях» (*Prodigiorum liber*). В нем содержится описание «продигий» 190—12 гг. до н. э., заимствованное из Ливия.

в) Хроника Кассиодора (Cassiodorus — V—VI вв.), в которой находится список консулов до 31 г. н. э., заимствованный из Ливия.

г) Папирус, найденный при раскопках в 1903 г. в Оксириинхе, содержащий в неполном виде очерк римской истории, составленный по Ливию. В нем находятся извлечения из книг XLVIII—LV за 150—137 гг. до н. э. Автор неизвестен; очерк составлен в III или в начале IV в. н. э.

И другие историки пользовались сочинением Ливия, например, Флор, Граний, Лициниан, Евтропий, Фест, Орозий.

Сличение всех этих сочинений между собой и с «Историей» самого Ливия показало, что в них есть и общие отступления от Ливия и даже общие ошибки. Так как они не зависели друг от друга, то это повело к предположению, что между ними, с одной стороны, и Ливием, с другой, было какое-то сочинение, так что они заимствовали не из самого Ливия, но из этого промежуточного сочинения. Таким сочинением, как предполагают, было не дошедшее до нас извлечение из «Истории» Ливия, называемое теперь «Эпитома» (*Epitome*).

Но, конечно, все это никоим образом не вознаграждает нас за утраченные книги самого Ливия. В XVII в. филолог И. Фрейнсгейм (*Freinsheim*) на основании всевозможных источников изложил на латинском языке в стиле Ливия утраченные книги. Это — полезное сочинение, так как он собрал весь материал, который мог служить для восстановления содержания этих книг. Эти «Дополнения» (*Supplementa*) помещены в некоторых старинных изданиях Ливия.

Как ни странно, но нам не известно в точности заглавие труда Ливия. Сам он называет его «*Annales*» (XLIII, 13, 2), Плиний Старший — «*Historiae*» (Предисловие, § 16). В рукописях сочинения Ливия, а также в перихохах и в цитатах грамматиков оно называется «Книги от основания города» (*Ab urbe condita libri*). Это заглавие принято и в большей части современных печатных изданий, однако не во всех; так, очень солидное издание Мадвига-Уссинга озаглавлено «*T. Livii Historiarum Romanorum libri qui supersunt*». Мадвиг ссылается на то, что в рукописях совсем нет заглавия ко всему сочинению, а только в конце каждой книги делается обычная приписка: «книга [например, третья] Т. Ливия от основания города окончена» (*T. Livii ab urbe condita liber [например, tertius] explicit*). Из таких приписок к отдельным книгам, — говорит Мадвиг, — нельзя выводить заключение, что сам Ливий озаглавил свое сочинение «*Libri ab urbe condita*».

Огромное сочинение Ливия разделено на «декады» — «десятки». Это в значительной степени способствовало тому, что оно дошло до нас в таком неполном виде: оно переписывалось по декадам; одни декады сохранились, другие пропали. Так, до нас дошли следующие декады: первая (I—X), третья (XXI—XXX), четвертая (XXX—XL), половина пятой (XLI—XLV). Однако трудно утверждать, что это деление идет от самого автора. Первоначально Ливий вел счет по отдельным книгам: в X книге (гл. 31, 10) он говорит, что рассказ о самнитских войнах занимает уже IV книги (он разумеет книги VII, VIII, IX, X). В начале VI книги (гл. 1, 1)

он заявляет, что повествование о предшествующих событиях заняло пять книг и т. п. Есть какие-то намеки на декады и полудекады, заключающиеся в том, что в некоторых книгах, следующих за декадами и полудекадами, автор помещает особые введения (в книгах VI, XVI, XXI, XXXI). Но в то же время в книгах X и XXXV не видно резкого отделения каким-либо важным событием от следующих за ними книг. Во всяком случае, начиная с книги CIX, Ливий совершенно не проводил деления на декады. В конце древних веков деление на декады при переписке практиковалось. Самое раннее упоминание об этом делении находится в письме папы Геласия (492 г.).

План истории Ливия можно представить в таком виде. Книги I—V — царское время и Республика, кончая нашествием галлов в 390 г. до н. э. Книги VI—XV — до подчинения Италии в 265 г. до н. э. Книги XVI—XX — до начала второй Пунической войны в 219 г. до н. э. Книги XXI—XXX — вторая Пуническая война, кончая 201 г. до н. э. Книги XXXI—XLV — до конца третьей Македонской войны в 167 г. до н. э. Книги XLVI—XC — до смерти Суллы в 78 г. до н. э. Книги XCI—CXX — до проскрипций 43 г. до н. э. Книги CXXI—CXXLI — до смерти Друза в 9 г. до н. э. Как уже сказано, сохранились следующие книги: книги I—X — с прибытия Энея в Италию до третьей Самнитской войны в 293 г. до н. э. Книги XXI—XLV — от начала второй Пунической войны в 218 г. до н. э. до триумфа Л. Эмилия Павла по окончании третьей Македонской войны в 167 г. до н. э. В книгах XLI—XLV много пропусков. От некоторых книг дошли до нас лишь отдельные фрагменты.

История Ливия по плану своему похожа на сочинения анналистов — как в том отношении, что он описывает события в летописном порядке, по годам, так и в том, что история древнейших времен изложена сравнительно коротко и становится подробнее по мере приближения ко времени автора. Книги I—XXX обнимают 550 лет; книги XXXI—LXVIII — 100 лет; книги LXIX—CVIII — 50 лет; книги CIX—CXXLI — 42 года.

Утрата трех четвертей сочинения Ливия в высшей степени чувствительна для науки — тем более, что утрачены книги, заключающие в себе новейшую, наиболее достоверную и подробную историю римского народа и изображение эпохи, современной автору³. Не раз возникали слухи о возможности найти утраченные книги или даже об их существовании где-нибудь; но все эти слухи оказывались ложными. И, по-видимому, нет надежды найти их, потому что уже в средние века были известны только те книги, которые есть у нас теперь. Когда именно исчезли эти книги, неизвестно; в VI в. они еще существовали, но после уже нет упоминания о них.

Каковы причины гибели этих книг? Главной причиной был большой размер, а отсюда и большая дороговизна всего сочинения. Поэтому переписывали и продавали его по частям. Иногда несколько книг, содержащих известный отдел истории, составляли том. Упоминаются, например, «восемь книг гражданской войны» (CIX—CXVI). К неблагоприятным обстоятельствам, вызвавшим утрату книг, можно отнести также распоряжение императора Калигулы (37—41 гг. н. э.), который приказал удалить «Историю» Ливия почти из всех общественных библиотек, находя его «многословным и небрежным в истории» (Светоний, «Калигула», 34). Есть известие, что папа Григорий I (VI в.) велел сжечь все книги Ливия, какие имелись, потому что в них «много рассказов об идольском суеверии»

³ Историк Гиббон говорил, что он отдал бы сочинения многих древних писателей за ту часть «Истории» Ливия, которая охватывала 60-летний период 91—31 гг. до н. э. — время гражданских войн, до принципата Августа.

(*de superstitione idolorum*) — вероятно, разумеются многочисленные сообщения Ливия о сверхъестественных явлениях (*prodigia*). Но все-таки главной причиной гибели этих книг был огромный размер сочинения и, вероятно, существование упомянутой эпитомы, которая давала возможность скорее и легче ознакомиться с содержанием «Истории».

Время составления Ливием «Истории» можно определить с достаточной вероятностью на основании некоторых фактов и высказываний самого автора. В книге I, 19, 3 Ливий говорит: «Два раза после царствования Нумы храм Януса был заперт: в первый раз после первой Пунической войны, во второй раз... после Актийской войны, когда император Цезарь Август водворил мир на суше и море». Ливий имеет в виду здесь закрытие храма Януса в 29 г. до н. э.; следовательно, эти строки написаны после 29 г. Но храм был закрыт Августом еще раз в 25 г.; если бы Ливий писал это после 25 г., то он упомянул бы и об этом закрытии. Кроме того, Ливий называет императора Августом и здесь, и в других местах, а этот титул был дан ему в 27 г. (как сказано в перихоэ книги CXXXIV). Стало быть, это написано после 27 г. Таким образом, Ливий начал работать над своим сочинением между 27 и 25 г. до н. э., когда ему было 33—34 года. На это же время указывают и слова в книге IV, 20, 7, где автор называет Августа «основателем и реставратором всех наших храмов», а это Август сам ставил себе в заслугу (*Monumentum Ansguranum*, IV, 17), и Дион Кассий сообщает об этом при описании событий 28 г. до н. э. (LIII, 2, 4). На составление начала «Истории» в первые годы принципата указывает также свежая память о гражданских войнах, о вредных последствиях которых он упоминает иногда без надобности. Так, например, в книге IV, 9, 3 он говорит о соперничестве партий, «которые служили и будут служить для большинства народов источником гибели их в большей мере, чем внешние войны, чем голод, эпидемии и все другие общественные бедствия». В предисловии в книге I также высказана подобная мысль: «Читатели спешат ознакомиться с новейшим, ближайшим к нам временем, когда силы чересчур могучего народа стали истреблять сами себя» (Предисловие, 6).

Есть возможность заключить и о времени составления некоторых других книг. Над третьей декадой Ливий работал в 24—14 гг. до н. э., как можно думать на основании слов в книге XXVIII, 12, 12: «Испания была первой провинцией, по крайней мере на материке, куда вступили римляне, но покорена она была после всех, в наш только век, под личным предводительством и главным начальством Августа Цезаря»; тут разумеется, несомненно, победа Агриппы над кантабрами в 19 г. до н. э., за которую Агриппа получил триумф. Книга LIX написана после 18 г., так как в ней упоминается закон об обязательном браке сословий (*de maritandis ordinibus*), изданный Августом в этом году. Книги, в которых говорилось о Помпее (т. е. XCI и сл.), написаны еще при жизни Августа, судя по сообщению Тацита («Анналы» IV, 34, 3), где Кремуций Корд говорит: «Тит Ливий... превознес Гнея Помпея такими похвалами, что Август называл его помпеянцем, и это не повредило их дружбе». В надписи перихоэ книги CXXI сказано, что она, «как говорят, издана после смерти Августа».

Таким образом, можно с достаточной степенью вероятности предполагать, что Ливий работал над своим сочинением лет сорок, т. е. почти всю свою жизнь, начиная с 33—34 лет. Подтверждением этому может служить заявление самого Ливия в одной из не дошедших до нас книг, приведенное Иллинем Старшим (Предисловие, 16), что «он уже достаточно приобредя себе славы и мог бы покончить, если бы мятежный дух его не находил пищи в труде». Такое заявление, конечно, могло быть высказано лишь после многих лет работы.

Свое сочинение Ливий, надо думать, издавал по частям. Об этом свидетельствуют дошедшие до нас известия о некоторых фактах и собственные заявления автора. Таковы, например, следующие известия. Из сообщения Тацита видно, что Август знал сочинение Ливия; впрочем, этот факт большого значения не имеет, так как автор мог читать императору по дружбе и неизданные части сочинения. Более доказателен рассказ Плиния Младшего («Письма», II, 3, 8) о том, что к Ливию приезжал с края света, из города Гадесса (теперь Кадикс в Испании), какой-то любитель литературы с единственной целью взглянуть на него. Это предполагает большую известность его, которую он мог приобрести только благодаря широкому распространению его «Истории».

Если эти рассказы могут внушать некоторое сомнение относительно их достоверности, то несомненными доказательствами надо считать заявления самого автора в предисловиях к некоторым книгам, откуда видно, что предшествующие книги уже были многим известны. Можно думать, что он издавал «Историю» по частям, составляющим какое-нибудь одно целое, например историю второй Пунической войны (XXI—XXX): в предисловии к книге XXI он говорит: «Нижеследующую часть моего труда я могу начать теми же словами, которые многие писатели предпосылали целым сочинениям: я приступаю к описанию самой замечательной из войн всех времен — войны карфагенян под начальством Ганнибала с римским народом».

Если Ливий посвятил большую часть жизни работе над «Историей», то, конечно, его должна была воодушевлять какая-нибудь важная идея. В предисловии к своему труду он сам указывает цель, которую он руководился; цель эта была патриотическая: он искал в прошлом поучения для современников. «Вот что,— говорит он,— особенно спасительно и плодотворно в знании истории: здесь мы видим поучительные указания всякого рода на примерах, представленные в ярких, внушительных событиях; отсюда мы можем заимствовать образцы подражания для себя и для государства; здесь можем видеть, что безнравственное в предприятии бывает безнравственно в итоге, чтобы этого избегать» (Предисловие, 10).

Но кроме этой патриотической цели, у Ливия была и личная причина погрузиться в историю древнего Рима: в древности он искал утешения от окружающих его зол настоящего. «Я желал бы,— говорит он,— найти награду за свой труд в том, чтобы хотя на некоторое время, пока я всей мыслью буду воспроизводить те древние события, мне отрешиться от вида тех зол, которые в течение стольких лет видело наше поколение; тут я не буду испытывать тревоги, которая, если и не может отклонить ум писателя от истины, все же может беспокоить его, т. е. когда историку приходится говорить о событиях и людях недавнего прошлого, которые сами или родственники которых еще живы» (Предисловие, 5).

Ливий искал успокоения в величавых событиях и светлых личностях древнейшей римской истории (по крайней мере, как их изображало предание)⁴. Для этого он приглашает читателя «обратить внимание на изображение жизни и характеров и на то, какие лица и каким образом действуя в мирное и военное время создали и распространили политическое могущество»; приглашает читателя «следить мыслью, как затем, при расплатывавшемся мало-помалу гражданском строе, нравственность сначала

⁴ Однако Плиний Старший ставит ему в упрек это настроение, говоря, что «следовало бы писать историю для славы победоносного римского народа, а не для своей славы, и что больше заслуги в том, чтобы упорно работать из любви к произведению, а не для личного удовольствия и делать это для народа римского, а не для себя» («Естественная история», Предисловие, 16).

как бы опускалась, потом стала клониться к упадку и, наконец, начала стремительно рушиться, пока дело не дошло до современного состояния, когда граждане уже не в силах были выносить ни своих пороков, ни средств к их исправлению» (Предисловие, 9).

При таком настроении автора цель его «Истории» была не чисто научная, в современном смысле этого слова. Цель его была скорее религиозно-нравоучительная. Но поучения состояли не в отвлеченных соображениях и основанных на них правилах, но в живых образах выдающихся деятелей, в изображении их нравственных качеств и тех следствий, какие из этих качеств проистекали. Отсюда у Ливия особенная любовь к изображению характеров, как заметил это уже ритор Сепека: «Каждый раз,— говорит он,— как историки расскажут о смерти какого-либо великого мужа, они представляют обыкновенно краткий очерк всей его жизни и как бы произносят в похвалу ему надгробное слово. Так раза два поступил Фукидид, так в отношении очень немногих лиц делал Саллюстий; но щедрее на это был для всех великих мужей Т. Ливий; последующие историки делали это гораздо более расточительно» («Сватории», IV, 21).

3. РЕЛИГИОЗНЫЙ ХАРАКТЕР «ИСТОРИИ»

Религиозному равнодушию современников Ливий противопоставляет твердую веру древних римлян в то, что боги принимают непосредственное участие в человеческих делах, что они помогают благочестивым и хорошим людям, а на дурных гневаются, и хотя сами с неба не сходят и сами не карают виновных, но даруют людям ум и случай для наказания их или же настолько ослепляют нечестивых, что они сами себе готовят гибель. Вот несколько примеров.

«Так как в «человеческих делах»,— говорит вождь самнитов Поитий,— больше всего имеет значения то, совершают ли их люди при милостивом или при враждебном отношении к ним богов, то будьте уверены, что прежние войны вы вели скорее против богов, чем против людей, а ту, которая предстоит, вы будете вести под предводительством самих богов» (IX, 1, 14).

«Поднимается глухой ропот, что есть же, наконец, боги, которые обращают внимание на человеческие дела, что, хоть и поздно, но все-таки тяжкая кара постигнет гордость и жестокость» (III, 56, 7).

«Паника достигла страшных размеров, когда разлитие Тибра затопило цирк и прервало представление на самой середине, как будто боги уже отворотились от людей и пренебрегали их умиловлечениями» (VII, 3, 2).

«Я не мешаю им возвратиться в государство, вызвавшее гнев всех богов, воля которых подвергается осмеянию» (IX, 11, 10).

«Боги сами никогда не налагают рук на виновных; достаточно, если они предоставляют обиженным в виде оружия благоприятный случай для отмщения» (V, 11, 16).

«Вы хорошо делаете, что выражаете негодование: боги не допустят этого. Но ради меня они никогда не сойдут с неба; пусть они дадут вам дух сопротивления, как давали мне в военное и мирное время» (VI, 18, 9).

«Справедливо, что с нарушившими договоры полководцем и народом начали и решили войну сами боги, не прибегая к помощи человека, а мы, будучи оскорблены первыми после богов, только довершили начатую и решенную ими войну» (XXI, 40, 11).

«Все проклинали царя и его детей. Этим проклятиям скоро вняли все боги и обратили жестокость царя на его собственное потомство» (X, 5, 1).

«При Клавдии ничего не было сделано человеческим разумом: бессмертные боги отняли ум и у ваших и у вражеских полководцев» (IX, 9, 10).

Особенное покровительство боги оказывают римскому народу. Обоготворенный Ромул говорит Прокулу Юлию: «Иди и возвести римлянам, что небожители хотят, чтобы мой Рим был главою вселенной; поэтому пусть они занимаются военным делом, и пусть сами знают и так передадут потомкам, что никакие человеческие силы не в состоянии противиться римскому оружию» (I, 16, 7). «Казалось, даже божеская сила вступилась за римский народ: так легко дело приняло другой оборот, и враги были отражены от лагеря» (X, 36, 12). «Да не попустит Юпитер того, чтобы город, основанный при совершении гаданий по воле богов на вечные времена, по продолжительности был равен этому бrenному, смертному телу!» (XXVIII, 28, 11).

Пренебрежение к богам со стороны римлян, как полагает Тит Ливий, было причиною многих великих бедствий римского народа. «В настоящую годину, — говорит Камилл, — вмешательство божества столь очевидно содействовало успеху римского дела, что, по моему мнению, этим самым люди лишены всякого права на небрежное отношение к культу богов. Посмотрите на ряд удач и неудач за эти последние годы и вы увидите, что все кончалось удачно тогда, когда вы следовали указаниям богов, и неудачно тогда, когда мы ими пренебрегали... А что сказать мне о нынешнем, небывалом бедствии нашего города [разумеется нашествие галлов на Рим]? Разве оно случилось раньше того, как пренебрегли небесным голосом, предупреждавшим о приближении галлов?» (V, 51, 4—5, 7). Этой же темы касается Аппий Клавдий в своей речи: «Что сказать мне о презрении к религиозным верованиям и о нарушении авспиций? Кто не знает, что при авспициях основан этот город, что на войне и в мире, дома и на поле брани все делается при авспициях? Пусть они теперь издеваются над религией, что-де в самом деле значит, если куры не станут есть, если они позже выйдут из клетки, если птица закричит, предвещая беду? Это — пустяки, но отцы наши, не пренебрегая этими пустяками, сделали наше государство величайшим» (VI, 41, 4, 7—8). Тот же мотив звучит в речи Фабия Максима: «Выбранный диктатором, он созвал сенат и, начав с богов, объяснил сенаторам, что консул Г. Фламиний погрешил не столько вследствие безрассудства и незнания дела [разумеется поражение римлян в битве при Тразименском озере], сколько вследствие пренебрежения священными обрядами и гаданиями, что у самих богов следует спросить совета, какие должны быть искупительные жертвы для умиловивления их гнева» (XXII, 9, 7).

При такой религиозной окраске «Истории» понятно, почему Ливий столь обстоятельно заносит в нее сообщения о необычайных явлениях природы — «продигиях» — как выражениях воли божества. Об этом он сам говорит так: «Я знаю, что вследствие того же пренебрежительного отношения, вследствие которого теперь вообще думают, что боги не дают никаких предзнаменований, никакие чудесные явления не сообщаются обществу и не заносятся в летописи. Между тем, при описании древних событий, я не знаю, каким образом и у меня образ мыслей становится древним и какое-то чувство благоговения препятствует мне считать не стоящим занесения в мою летопись того, что те мудрейшие мужи признавали заслуживающим внимания государства» (XLIII, 13, 1—2).

Вот несколько примеров приводимых Ливиемprodигий: «Из Анагнии сообщили в этом году о двух чудесах: на небе был виден факел, и корова говорила; ее содержат на общественный счет. В Минтурнах также в эти дни небо казалось пылающим. В Реате шел каменный дождь. В Кумах

в кремле статуя Аполлона три дня и три ночи плакала. В Риме двое храмовых сторожей донесли, один — что в храме Фортуны несколько человек видели змею с гребнем, другой — что в храме Первородной Фортуны было два различных чуда: на дворе выросла пальма, и среди бела дня шел кровавый дождь» (XLIII, 13, 3—5).

Первое впечатление современного человека при чтении рассказов о подобных чудесах такое, что Ливий сам был суеверен, и это мнение о нем было высказано в литературе; но трудно считать его правильным. Хотя он часто говорит о богах и своим соотечественникам рекомендует благочестие, едва ли он сам верил во все эти чудеса. Ливий был человек философски образованный и понимал нелепость народных представлений о богах. В нескольких местах он даже высказал, хотя и несколько туманно, свое мнение об этом предмете. Рассказывая о совещаниях царя Нумы с нимфой Эгерией, Ливий замечает: «Нума, опасаясь, как бы народ, сдерживаемый до сих пор боязнью перед врагом и военной дисциплиной, освободившись от внешних опасностей, не впал среди мира в распущенность, решил прежде всего внушить страх перед богами, — средство самое действительное по отношению к непросвещенной и грубой в то время толпе. Но так как, не выдумав чуда, нельзя было вложить этот страх в сердца людей, он делал вид, что у него бывают по ночам свидания с богиней Эгерией; по ее-де совету он учреждает наиболее приятные богам священнодействия и ставит для каждого бога особых жрецов» (I, 19, 4—5).

В приведенной цитате из книги XLIII Ливий также говорит, что у него при описании древних событий образ мыслей «становится» (*fieri*) древним, а не говорит, что он «есть» древний. Едва ли можно предположить со стороны Ливия и намеренное притворство, будто он верит тому, чему на самом деле не верил. Всего естественнее предположить, что он, действительно, верил в богов, но его вера отличалась от верований народных масс. Вера в возможность того, что боги разными чудесными явлениями указывают людям свою волю, была и у стойков; возможно, что Ливий в этом отношении следовал их учению. Факты, которые легко объяснялись естественным путем, Ливий вовсе не считал предзнаменованиями. Так, по поводу чуда в Кумах, где будто бы в храме Юпитера мыши изгрызли золото, Ливий замечает: «Вот до какой степени пустое суеверие припутывает богов даже к самым мелким случаям» (XXVII, 23, 2). Он сам сознает недостоверность некоторых сообщений о чудесах и говорит, что «чем более верили в чудеса простые, набожные люди, тем большее число их и сообщалось» (XXIV, 10, 6). В этом же месте Ливий приводит и пример таких вздорных слухов: «В самом Риме некоторые уверяли, что непосредственно за роем пчел, который они видели на форуме, явление по своей редкости замечательное, они видят вооруженные легионы на Яникуле, так что они стали призывать граждан к оружию, между тем как бывшие в то время на Яникуле утверждали, что, кроме обычных работников, никто там не появлялся» (XXIV, 10, 11—12).

Может быть и Ливий пришел к убеждению, что для блага государства необходимо возрождение народной веры, к которому стремились Август и Гораций («Оды», III, 6, 1—4). В религиозном элементе Ливий видит одно из главных свойств римского характера. В очень многих речах действующих лиц есть религиозные мотивы; в главных героях наиболее восхваляется религиозность.

Наконец, можно указать еще на одну причину тщательного приведения Ливием сообщений о пророчествах: с 249 г. до н. э. понтификам было поручено записывать пророчества, так что они уже являлись своего рода историческими фактами и свидетельствовали о народном настроении: из

более раннего времени (в первой декаде) и у Ливия их сравнительно мало.

Вместе с упоминанием богов Ливий употребляет и другие выражения для обозначения сверхъестественной силы: *fatum* или *fata* «рок», *fortis* или *fortuna* «судьба», *necessitas* «необходимость», *pumen* «воля». Отношения этих сверхъестественных сил к богам и между собою неясны у Ливия, но, по-видимому, они выше даже самих богов, судя по некоторым выражениям, например: «Покоримся необходимости, которую не могут победить даже боги» (IX, 4, 16). «Если при Каннах мы были разбиты не вследствие гнева богов и не по воле рока, законы которого создают непреложный порядок вещей, но по вине, то чья же это была вина?» (XXV, 6, 6). «Однако он [Сервий] человеческими мероприятиями [человеческим разумом] не сломил необходимость рока» (I, 42, 2). Наряду с богами и даже наравне с ними стоит *fortuna*: «Войско винило не судьбу или кого-нибудь из богов, но этих вождей» (V, 11, 14).

Таким образом, Ливий является до некоторой степени фаталистом, но не вполне: у человека все-таки есть свободная воля, и он несет ответственность за свои действия: боги карают его за преступные деяния.

4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ В «ИСТОРИИ»

Ливий — друг свободы, враг насилия, тирании, от кого бы они ни исходили, — от отдельного ли лица или от целого класса. Хотя он понимал заслуги Августа, однако держался убеждения, что находиться под властью царя значит быть в рабстве; Горацій Коклес говорит этрускам: «Рабы гордых царей, не знающие своей свободы, вы пришли воевать с чужою свободой» (II, 10, 8). «Самое слово «царь», — сказал Сципион, — в других местах велико, в Риме невыносимо» (XXVII, 19, 4). Сенаторы, посланные в 506 г. до н. э. к Порсенне, ходатайствовавшему о возвращении Тарквиния в Рим на царство, должны были ответить следующее: «У римского народа не монархия, а свобода. Так решили римляне: скорее врагам отворить ворота, чем царям; таково желание всех, чтобы конец свободы в городе был и концом самому городу» (II, 15, 3).

Таким образом, идеалом Ливия была Римская республика в эпоху ее процветания: во времена Республики развились все высокие качества римского характера; боги даровали великим мужам Рима блестящие успехи и возвели самое государство до высшей степени могущества. «Свобода воодушевляет сердца храбрых мужей» (XXVIII, 19, 14).

Однако Ливия пленяет свобода не в смысле господства толпы; царскую власть в самые первые времена Рима он считает необходимой: «Ведь что было бы, — говорит он, — если бы среди того сброда пастухов и пришельцев, бежавших из своих родных стран, под охраною неприкосновенного храма добившихся свободы или по крайней мере безнаказанности, сброда, не сдерживаемого страхом пред царем, начались волнения, вызванные трибунскими бурями, и граждане, живя в чужом городе, начали бы враждовать с патрициями, прежде чем успели бы сблизить их между собою жены, дети и привязанность к самой земле, к которой люди привыкают лишь в течение долгого времени?» (II, 1, 4—5). Народную массу Ливий считает изменчивой, непостоянной. «Так изменчиво настроение толпы», — замечает он по поводу перемены отношения народа к Валерию Попликоле (II, 7, 5). «Такова природа толпы: она или рабски служит или надменно властвует, а свободу, занимающую середину между рабством и тиранией, она не умеет ни умеренно получить, ни умеренно пользоваться ею» (XXIV, 25, 8).



Квадрига

Фрагмент мраморной группы римской работы

Истинную свободу Ливий видел в повиновении законам и обычаям предков, в предпочтении государственного интереса личному и в ежегодной смене государственных властей; вторую книгу «Истории» он начинает словами: «Теперь я стану повествовать о подвигах народа римского уже свободного, совершенных в мирное и военное время, о ежегодно сменяющихся магистратах и господстве законов, более могущественном, чем господство людей» (II, 1, 1).

«Ваши заслуги по отношению ко мне и моим предкам таковы, что я ставлю государственные интересы выше родственных отношений», — говорит Квинт Фабий (XXIV, 8, 11).

Положение, противоположное такой свободе, он изображает в пролическом обращении Аппия Клавдия к плебеям и народным трибунам: «Вот до какой степени вы привыкли с одобрением внимать всему, что говорит народный трибун, хотя бы то клонилось к измене отечеству и к разрушению государства, и, увлекаясь сладостью его власти, позволяете укрываться под ее защитой каким угодно преступлениям... Свобода в Риме именно

и заключается в неуважении к сенату, властям, законам, обычаям предков, установлениям отцов, военной дисциплине» (V, 6, 15—17).

Хотя у Ливия незаметно никакой своей политической системы, но вполне ясно проглядывает его отрицательное отношение к плебеям и народным трибунам. Причина этого заключается отчасти в том, что о плебеях древнего Рима у Ливия составилось представление по их положению в его время — как о черни, подонках населения (см. приведенную выше цитату — XXIV, 25, 8). Это представление о плебеях он переносит и на древнее время. Между тем, первоначально плебеи были только *новые* граждане, переселившиеся в Рим вследствие внутренних усобиц из соседних городов. Конечно, и между ними было немало людей бездомных и нищих, однако были и люди очень зажиточные. Таков был, например, Атт Кларс (Attus Clausus), переселившийся в Рим из Сабинской земли, который впоследствии стал называться Аппий Клавдий (Тит Ливий, II, 16) и сделался родоначальником знаменитого рода Клавдиев. Клавс прибыл в Рим в сопровождении 500 клиентов, и род его составил особую трибу — «Клавдиеву».

Вследствие такого неправильного взгляда на древних плебеев и их защитников, народных трибунов, у Ливия вполне естественно сложилось представление о том, что оптиматы — носители законности, патриотизма и всяких гражданских добродетелей и что сенат как представитель оптиматов поддерживал Республику в величайших опасностях и был единственной и твердой опорой свободы. По этой же причине Ливий восхвалял Помпея и его сторонников как приверженцев партии оптиматов и даже Брута и Кассия, защищавших свободу против Антония и самого Октавиана, называл «замечательными людьми» (*insignes viros*). Это место «Истории» не сохранилось; нам оно известно из рассказа Тацита о том, что историк Кремуций Корд, обвиненный при Тиберии в государственном преступлении, ссылался в свое оправдание на пример Ливия, который «превознес Гнея Помпея такими похвалами, что Август называл его помпейцем, и это не повредило их дружбе, а Кассия и Брута нигде не называют разбойниками и отцеубийцами, как их теперь называют, но часто замечательными людьми» («Анналы», IV, 34, 3).

Как уже сказано, цель Ливия не была чисто научная; его не занимало исследование истинности или ложности предания, раскрытие причин и следствий событий, времени и порядка их совершения. Поэтому и не может казаться странным, что он не обращался к первоисточникам для проверки фактов, а пользовался трудами своих предшественников, сравнивая показания их между собой и выбирая версию, наиболее правдоподобную по его личным соображениям.

5. ИСТОЧНИКИ ЛИВИЯ

По вопросу о том, какими источниками и как пользовался Ливий при составлении своего труда, существует довольно обширная литература, но тем не менее вопрос этот далеко не решен и, наверно, не может быть решен с полной достоверностью, ввиду того что сочинения анналистов не дошли до нас. Само собою разумеется, что вопросы об источниках не сохранившихся частей «Истории» нельзя и возбуждать; можно высказать некоторые гипотезы лишь по поводу источников сохранившихся частей.

Ливий сам ссылается во многих местах на свои источники: так он указывает в первой декаде анналистов Фабия Пиктора, Кальпурния Пизона, Клавдия Квадриярия, Валерия Анциата, Лидиния Макра, Элия Туберо-

на, Циция Алимента; но вполне возможно, что он пользовался и другими, хотя и не указывает их. Более ясен вопрос об источниках 3, 4 и 5-й декад: тут можно с уверенностью сказать, что Ливий в большой степени пользовался историей Полибия, даже переводил прямо некоторые места из нее; однако и для этой части Полибий был не единственным источником. В общем можно сказать, что Ливий отдавал предпочтение более новым писателям перед древнейшими анналистами. Едва ли можно ставить это ему в упрек: вероятно, значительная часть материала из сочинений древнейших анналистов вошла в состав сочинений более новых историков. Как мы предпочитаем новое исследование какого-нибудь вопроса старому, так поступал и Ливий. Даже Катонны «Начала» использованы Ливием только в 4-й декаде, где речь идет о деятельности самого Катона.

Еще труднее вопрос о том, как пользовался Ливий своими источниками. Предполагают, что при изложении событий какого-либо периода он имел под руками очень небольшое число сочинений, а к другим сочинениям обращался лишь в отдельных случаях, например при противоречии между основными источниками. О том, что Ливий пользовался не всей исторической литературой прежнего времени, видно иногда из его собственных показаний. Приведа, например, свидетельство Валерия Анциата (XXXII, 6, 8), он противопоставляет ему другую версию описываемого события: «Другие греческие и римские историки, по крайней мере, те, летописи которых я читал, рассказывают...». Можно думать, что и в других местах, где он ссылается на свидетельства «всех», надо при этом слове подразумевать то же ограничение — «которых я читал».

По-видимому, он даже не составил себе предварительно вполне определенного представления о достоинстве каждого из предшествующих историков; иногда он лишь в процессе самой работы убеждается в недостоверности кого-либо из них (см., например, отзывы Ливия о Валерии Анциате).

Встречая противоречивые показания в своих источниках, Ливий не задумывается долго над ними, а разрешает их или, так сказать, большинством голосов или по личному доверию к кому-либо одному из повествователей, или, наконец, потому, что на основании своих соображений находит более вероятной ту или другую версию. Иногда он прямо заявляет, что не может разрешить противоречия вследствие древности события. «Раз дело касается столь древних событий,— говорит Ливий,— я буду считать достаточным признавать за истину то, что похоже на истину» (V, 21, 8). «У меня не было бы недостатка в старании,— говорит он в другом месте,— если бы какой-нибудь путь вел меня к истине при исследовании; но теперь приходится основываться на предании, когда древность делает невозможной несомненную достоверность» (VII, 6, 6).

6. ЛИВИЙ КАК ИСТОРИК

Так как Ливий собирал материал эклектически из сочинений своих предшественников, то естественно, что в его сочинении есть много недостатков. Иногда у него бывают повторения, иногда даже противоречия; порой он забывает сказать о чем-нибудь, а потом говорит об этом как об известном уже из предыдущего рассказа. Таким образом, в общем у него найдется много недостоверного. Но за это нельзя его строго судить, потому что его главной целью было дать изящное и интересное изложение исторического материала, уже собранного его предшественниками, который вместе с тем должен был быть и поучительным в нравственном отноше-

нии и служить для возвеличения отечества и для укрепления патриотизма. Таков был взгляд на историю и у его современников, поэтому автору прощались исторические неточности, ошибки, даже намеренные искажения исторической истины. Таким образом, на Ливия следует смотреть более как на литератора, чем как на историка.

Для роли историка в собственном смысле у Ливия не было достаточной подготовки: он представляет собою замечательный пример римлянина, который в своем деловом, по преимуществу, отечестве не брался ни за какое практическое дело, не занимал никакой ни военной, ни гражданской должности: он, по-видимому, даже мало путешествовал для осмотра исторических местностей.

Ученые нового времени обнаружили у Ливия большое количество недостатков реального свойства. У него нет ясного представления об описываемых местностях; военные операции, особенно сражения, он описывает неточно; о государственном строе древнего Рима он судит по современному ему строю; у него есть хронологические ошибки.

Эти недостатки вполне искупаются большими достоинствами его труда — не только в литературном, но и в историческом отношении. Ливий стремился быть правдивым и беспристрастным; его недостатки в этом отношении происходят не от злой воли, но или по неведению или вследствие добрых намерений. Он сам говорит, что «не хочет черпать из ненадежных источников, к чему слишком склонны историки», (XXII, 7, 4), и что у него «не было бы недостатка в старании, если бы какой-нибудь путь вел к истине при исследовании» (VII, 6, 6). Насколько можно судить по его сочинению, правдивость была у него в характере; не видно у него стремления к лесть, которое было так распространено в его время. Поэтому можно думать, что и в изложении событий он не имел намерения искажать их по личным соображениям. Он часто порицает Валерия Анциата за его недобросовестность; не желая ничего выдумывать в древнейшей истории Рима, он предпочитает те версии, которые в его время считались как бы установленными.

Как уже было сказано, он в своих политических убеждениях был довольно объективен: хотя его симпатии на стороне оптиматов, он неоднократно указывает на их жадность, надменность, жестокость, а, с другой стороны, не замалчивает хороших качеств плебеев и несчастий, которые они терпели от патрициев. Так, он упоминает о том, что патриции владели государственными землями незаконно (IV, 51, 5; IV, 53, 6), что (в 377 г.) «со дня на день увеличивалось насилие патрициев и бедственное положение плебеев» (VI, 34, 1). «Где теперь можно было бы найти даже у одного человека такую скромность, справедливость и величие духа, какие были тогда у целого народа?» (IV, 6, 12). Очень ярко Ливий выражает свое мнение о высоких нравственных качествах всего римского народа в древнее время в следующем рассказе. В 211 г. происходили выборы новых консулов. Первая подавала голос центурия «младших» Вентурийской трибы. Она выбрала в консулы Тита Манлия Торквата и (отсутствовавшего) Тита Отацилия. Обыкновенно остальные центурии соглашались с выбором первой, подававшей голос, так что и в данном случае было несомненно, что будут всеми выбраны упомянутые лица. Манлия уже поздравляла собравшаяся толпа; но он, подойдя к председательствовавшему консулу, попросил предоставить ему слово и заявил, что отказывается от предложенной ему должности по случаю болезни глаз и что поэтому центурия «младших» должна вновь произвести голосование. Центурия не соглашалась на это, но Манлий настаивал. Тогда центурия «младших» попросила председателя разрешения переговорить с центурией «старших». Те посоветовали вы-

брать других лиц. Младшие послушались, выбрали других; остальные центурии согласились с их выбором. По этому поводу Ливий торжественно замечает: «Пусть теперь издеваются над поклонниками древности! Если бы образовалось какое-нибудь государство мудрецов, которое философы скорее рисуют в воображении, чем знают в действительности, то по моему, по крайней мере, мнению, в нем не могли бы оказаться ни первенствующие лица, пропикнутые большим достоинством и менее жаждущие власти, ни народ с более высокой нравственностью. Что же касается центурии младших, хотевшей спросить совета у старших, кому вручить власть голосованием, то этому с трудом можно поверить в наш век, когда авторитет даже родителей у детей ничтожен и слаб» (XXVI, 1, 22, 14—15).

О правдивости Ливия можно заключить и по его гражданскому мужеству, выражавшемуся в восхвалении республиканцев и в очень неопределенном отношении к Цезарю, что при тогдашнем государственном строе было далеко небезопасно; никакой лести с его стороны по отношению к Августу незаметно.

Тем не менее в «Истории» есть немало случаев явного искажения истины. Ливий иногда замалчивает или старается представить в смягченном виде некоторые дурные действия римлян. Римляне по отношению к другим государствам оказываются у него правы, за немногими исключениями. Они ведут войны вследствие нарушений договоров противниками или других несправедливостей с их стороны: поэтому война, которую ведут римляне, всегда бывает «справедливая» (*iustum*), «чистая» (*purum*), «не нарушающая божеских и человеческих прав» (*pium*); естественно, что такая война должна быть победоносной. Враги Рима, наоборот, оказываются обычно вероломными, несправедливыми и т. п.; их действия выставлены в неверном освещении; их заслуги умаляются. Однако такое нарушение объективности нельзя ставить в вину Ливию лично; таков был общий принцип древних историков: историк должен восхвалять свое отечество⁵.

Все-таки нельзя утверждать, что Ливий в этом отношении намеренно искажал факты: восхваление римлян и уничтожение врагов он заимствовал отчасти из своих источников, в том числе из Полибия. Кроме того, он и у противников Рима нередко признает хорошие качества, не скрывает правоты их дела, и они в своих речах выражают горькие для римлян истины. Мало того, даже злейшему врагу римлян, Ганнибалу, он отдает должное. Вот характеристика Ганнибала: «Никогда еще душа одного и того же человека не была столь равномерно приспособлена к обеим столь разнородным обязанностям, — повелеванию и повиновению; трудно было поэтому различить, кто им более дорожил — полководец [Газдрубал] ли, или войско. Никого Газдрубал не назначал охотнее начальником отряда, которому поручалось дело, требующее отваги и стойкости; но и воины ни под чьим начальством не были более самоуверены и более храбры. Насколько он был смел, бросаясь в опасность, настолько же был осмотрителен в самой опасности. Не было такого труда, при котором он уставал бы телом или падал духом. И зной и холод он переносил с равным терпением; ел и пил столько, сколько требовала природа, а не удовольствие; распре-

⁵ Дионисий Галикарнасский ставит в упрек Фукидиду, что он в своей истории Пелопоннесской войны представляет согражданам зрелище печальное и унижительное, а Геродот очаровывает эллинов, описывая их торжество над варварами (История греческой литературы, т. II, изд. АН СССР, стр. 98). Иначе судит Полибий: «Я готов извинить, если историк превозносит свое отечество, лишь бы уверения его не противоречили действительности... Если же мы станем писать неправду преднамеренно, будет ли то из любви к отечеству, по дружбе, или из лести, то чем мы будем отличаться от людей, которые пишут историю ради прибытка?» (Полибий, XVI, 14, 6—8).

делял время для бодрствования и сна, не обращая внимания на день и ночь. Он уделял покою те часы, которые у него оставались свободными от работы; притом он не нуждался в мягкой постели и в тишине, чтобы легче заснуть. Часто видели, как он, завернувшись в военный плащ, спал на земле среди воинов, стоявших на карауле или в аванпостах. Одеждой он несколько не отличался от ровесников; только по вооружению и по коню можно было его узнать. Как в коннице, так и в пехоте он далеко оставлял за собою остальных; первым устремлялся в бой, последним уходил по окончании сражения. Но в одинаковой мере с этими высокими достоинствами обладал он и ужасными пороками. Его жестокость доходила до бесчеловечности; его вероломство превосходило «пуническое» вероломство. Он не знал ни правды, ни добродетели, не боялся богов, не соблюдал клятвы, не уважал святых. Будучи одарен этими хорошими и дурными качествами, он в течение своей трехлетней службы под начальством Газдрубада с величайшим рвением исполнял все, наблюдал за всем, что только могло развить в нем задатки великого полководца» (XXI, 4).

7. ЯЗЫК И СЛОГ ЛИВИЯ

Как уже сказано выше, Ливий, вероятно, получил хорошее риторическое образование. Об этом у нас имеются некоторые свидетельства древних, да и сами мы можем составить представление о его красноречии на основании «Истории», особенно на основании речей в «Истории». В этом нет ничего удивительного: как говорит Цицерон, «история есть произведение в высшей степени ораторское» («О законах», I, 2, 5). Близко к этому (и во всяком случае совершенно несогласно с нашим представлением об истории) определение Квинтилиана (X, 1, 31): «История очень близка к поэзии и некоторым образом есть стихотворение без стихотворного размера» (т. е. стихотворение в прозе). Правда, другие отзывы Цицерона отличаются от только что приведенных: он требует от истории полной правдивости и беспристрастия: «В истории,— говорит он,— должно соблюдать одни законы, в поэзии — другие, потому, что в истории все имеет целью истину, в поэзии — по большей части наслаждение. Впрочем и у Геродота, отца истории, и у Феопомпа вымыслов бесчисленное множество» («О законах», I, 1, 5). «Кто не знает,— говорит Цицерон в другом месте,— что первый закон истории — не сметь говорить никакой лжи; затем — иметь смелость говорить всю правду; не должно быть подозрения ни в угодничестве, ни во вражде» («Об ораторе», II, 15, 62). Но эти достоинства в глазах Цицерона и, вероятно, его современников были лишь элементарными требованиями: «По мнению наших,— говорит Катул у Цицерона,— разумея под этим более старое поколение римлян,— историку нет надобности быть оратором, достаточно не быть лживым; а по мнению греков историк должен быть величайшим оратором» («Об ораторе», II, 12, 51).

Таким образом, правдивость и беспристрастие для современников Цицерона, а затем и Ливия были лишь элементарными (а потому и низшими) качествами истории, которые подразумевались сами собою. Требованием же, которое предъявлялось публикой к хорошему историческому труду (а потому и высшим), было требование изящества формы: история должна быть художественным произведением, написанным по правилам теории речи. На этом основании можно с достаточной степенью вероятности предположить, что при конфликте между двумя этими требованиями у автора был большой соблазн предоставить победу изяществу формы над правдивостью и беспристрастием.

У Ливия уже древние отмечали изящество формы. Квинтилиан говорит (X, 1, 101): «Пусть не прогневаётся Геродот, что ему равен Т. Ливий, в повествовании отличающийся удивительной приятностью и чрезвычайно ясною чистотою, а в речах красноречивый более, чем возможно выразить словами; до такой степени все, что говорится в них, соответствует и предметам и лицам; по крайней мере, страсти, особенно более мягкие, если говорить самым умеренным образом, никто из историков не умел лучше изобразить».

Подобные же отзывы есть у Тацита, Сенеки, Плиния. «Никто не превзошел Ливия в красоте повествования», — замечает Карамзин в предисловии к «Истории государства российского». Квинтилиан упоминает еще об одном свойстве речи Ливия, которое он называет *lactea ubertas* (X, 1, 32), буквально: «молочное обилие», и противопоставляет это свойство «краткости» (*brevitas*) Саллюстия. Что именно он хочет обозначить этим выражением, неизвестно; видно только, что это — свойство хорошее. Но тот же Квинтилиан (VIII, 3, 53) цитирует одну фразу Ливия (фрагмент из неизвестной книги), как пример излишнего «многословия», «длинноты» речи — *macrologia*. «Послы, не добившись мира, ушли обратно домой, откуда пришли»⁶. Вероятно, *lactea ubertas* есть полнота речи, занимающая средину между краткостью или сухостью и многословием. И действительно, слог Ливия в общем «плавный, красноречивый», как называет его Карамзин.

Оба элемента, указанные выше как свойственные истории, — риторический и поэтический, — присущи и слогу Ливия. В риторическом отношении Ливий приближается к Цицерону и пользуется, например, его указаниями о том, что «история есть произведение в высшей степени ораторское», или тем, которое Цицерон дает в сочинении «Оратор»: «В истории рассказ ведется украшенно; часто описывается местность или сражение; вставляются даже речи и увещания, но в них требуется речь плавная, текучая, а не стремительная, энергичная» (как в судебных речах; 20, 66). В другом месте того же трактата Цицерон, говоря о судебных речах, находит, что в них рассказы должны излагаться почти «обыденным слогом», а не «историческим» (*colidiano sermone*, 36, 124); отсюда видно, что для исторического рассказа требуется слог более высокий. Все это мы и находим в «Истории» Ливия.

Как у Цицерона, так и у Ливия речь по большей части периодическая, но построение периодов у Ливия более тяжелое, чем у Цицерона; по выражению Нордена, цicerоновские периоды предназначены для слушания, ливиевские — для чтения⁷.

Риторических фигур у Ливия сравнительно мало; чаще всего употребляется анафора; встречается также параллелизм частей фразы, например такой: *malo, te sapiens hostis metuat, quam stulti cives laudent* («я предпочитаю, чтоб тебя умный враг боялся, чем чтобы глупые сограждане хвалили»; XXII, 39, 20). Но зато, в отличие от Цицерона, Ливий (как и Саллюстий) часто намеренно нарушает симметрию, употребляя в одной части фразы один грамматический оборот, в другой в аналогичном смысле другой оборот, например так: в одной части причастие согласованное, в другой *ablativus absolutus*, или для выражения цели в одной части герундий с предложением *ad*, в другой — предложение с *ut*: *equitum partem ad populandum... dimisit et ut palantes exciperent* («часть конницы

⁶ *Legati, non impetrata pace, retro domum, unde venerant, abierunt.*

⁷ Ch. Norden. *Die antike Kunstprosa*. Bd. I. Leipzig, 1909, S. 236.

он разослал для опустошения [страны] и для того, чтобы ловить рассеявшихся [врагов]»; XXIII, 26, 7).

Поэтическим элементом в «Истории» надо считать те дополнения, изменения, пояснения и т. п., которые историку по надобности приходится делать, чтобы получить связный рассказ из отрывочного по большей части, особенно древнего, предания. В «Предисловии» (§ 6) Ливий сам заявляет, что «события, предшествовавшие основанию Рима, более изукрашены поэтическими вымыслами, чем опираются на несомненные исторические памятники». Также в начале VI книги (1, 1—3) он говорит, что события, изложенные в первых пяти книгах, «затемняет отдаленная древность», тем более что в те времена мало была развита и редко применялась письменность и что большая часть письменных памятников погибла при пожаре Рима во время нашествия галлов. Однако это не помешало Ливию излагать историю этого древнейшего периода с такими подробностями и такими живыми красками, как будто он сам был очевидцем этих событий; ясно, что эти подробности, эти картины являются обычно плодом его поэтического творчества.

Совершенно естественно, что и язык в таком поэтическом повествовании должен быть близок к языку поэзии. Поэтому и Квинтилиан говорит: «История очень близка к поэзии... и потому, чтобы не наводить скуку, она пользуется и словами не вполне обыкновенными, и фигурами речи вольными» (X, 1, 31). Подобное мнение о применении в истории стиля более высоко высказывают и другие: Дионисий Галикарнасский («О характере Фукидида», § 51), Лукиан («Как должно писать историю», § 44 и сл.), Плиний Младший («Письма», V, 8, 9).

Исследования ученых нового времени обнаружили у Ливия довольно много слов и выражений, не встречающихся в дошедшей до нас прозе классического периода, но обычные в поэзии, например *cupido* (I, 23, 7) вместо прозаического *cupiditas*; *haec ubi dicta dedit* (XXII, 50, 10) вместо *ubi haec dixit*. Встречаются также слова, известные нам только из архаической латыни, или слова, совсем не известные, или слова известные, но с другим значением, и т. п. Однако ввиду того, что из литературы, предшествовавшей Ливию, дошло до нас очень мало, нельзя с уверенностью сказать, что такие слова и выражения были чужды языку классического периода или что слова, считающиеся нами поэтическими, не употреблялись в языке повседневной жизни.

С большей достоверностью можем мы судить о синтаксисе Ливия. Историю отдельного слова проследить невозможно; оно случайно могло не быть употреблено в дошедших до нас текстах. Но если синтаксический оборот, употребляемый Ливием, нигде не встречается в литературе более ранней, то это едва ли может быть случайностью, и с большой степенью вероятности можно предположить, что это — новое явление в языке. Это не значит, конечно, что Ливий сочинил такой оборот, но значит, что он вошел в употребление в языке его времени. Некоторые конструкции считаются «эллинизмами», т. е. возникшими под влиянием греческого языка. Это вполне возможно; но все-таки доказать это с полной очевидностью нельзя: оборот, свойственный греческому языку, мог существовать самостоятельно и в латинском.

Особенности языка Ливия были замечены еще современником его, Ацинием Поллионом, который находил у него *patavinitas*, как говорит Квинтилиан (I, 5, 56 и VIII, 1, 3). Квинтилиан не объясняет, что значит это слово; ученые нового времени также не могут выяснить его значение. Слово это происходит от слова *Patavium*, названия города, в котором родился Ливий. Буквально оно значит «свойство», или «особенность», жителей города

Патавия, но какую именно особенность в языке Ливия разумел Асиний Поллион, так и остается неизвестным. Вероятно, это — какие-нибудь провинциализмы, чуждые языку жителей Рима.

Из-за особенностей языка Ливия, отступления его речи от классического языка Цицерона и Цезаря филологам пришлось решать вопрос, можно ли считать Ливия автором классического периода. Это было очень важно в педагогической практике в то время, когда писали по-латыни или переводили с родного языка на латинский. Так как основным правилом было писать латинским языком классической прозы, то возникал практический вопрос, можно ли пользоваться словами, фразеологией, синтаксическими оборотами, употребляемыми Ливием, но не встречающимися у Цицерона и Цезаря. Вопрос этот по большей части решался отрицательно; допускалось пользоваться языком Ливия только в том случае, когда у Цицерона и Цезаря нет материала, пригодного для выражения требующейся мысли, и когда ливиевский материал мог считаться не противоречащим духу классического языка.

Такой взгляд на язык Ливия ведет уже к мысли об «упадке» латинского языка со времени Ливия. Это мнение едва ли можно считать правильным. Если в позднем латинском языке употребляется, например, при *dicō* «говорю» придаточное предложение с *quod* «что» вместо классической конструкции *accusativus cum infinitivo*, можно ли видеть в этом явлении «упадок» языка? Ни одна из этих конструкций не лучше и не хуже другой: просто это — дальнейшее развитие языка, который все время движется и меняется. Вернее сказать, что Ливий (и Саллюстий) по языку является представителем переходной эпохи между «золотым» и «серебряным» периодами римской литературы.

Повествование Ливия иногда бывает монотонно; это заметил еще Карамзин в предисловии к «Истории государства Российского»: «Ливий, плавный, красноречивый, иногда целые книги наполняет известиями о сшибках и разбоях, которые едва ли важнее половецких набегов». Вследствие риторического характера его повествования у него рассказы бывают иногда похожи один на другой: «Сколько раз в первых десяти книгах, — говорит Тэн — видим мы как бы одну и ту же битву! Всадники дают понодью своим коням и бросаются с такой стремительностью, что прорывают неприятельскую линию; пехотинцы проникают в эту брешь; все захвачено в плен или перебито, и войско возвращается в Рим, обремененное добычей»⁸.

Встречаются у Ливия и «общие места»: плачущие дети, жены, которые с воплями отчаяния бросаются к своим мужьям и сыновьям, поверженные храмы богов, оскверненные могилы предков и т. п. (например: V, 40; I, 29; III, 52).

Но благодаря тому же ораторскому таланту, у Ливия есть много блестящих описаний: таково, например, в XXI книге величественное описание перехода Ганнибала с войском через Альпы, описание осады Сагунта, переправы через Рону, перехода через Апеннины и др. К сожалению, как уже сказано, в описании битв он не всегда остается на той же высоте: не будучи знатоком военного дела, он не был в состоянии дать верную и вместе с тем наглядную картину сражений. Из других книг 3-й декады можно указать на следующие блестящие описания: битва под Нолой (XXIII, 41—46); смерть консула Марцелла (XXVII, 25—28), Ганнибал в Африке (XXX, 19—26; 28—31), сражение при Заме (XXX, 32—38).

⁸ И. Тэн. Указ. соч., стр. 277.

Столь же хорошее впечатление производили речи у Ливия на Карамзина: «Древние имели право вымышлять речи согласно с характером людей, с обстоятельствами: право неопеченное для истинных дарований, и Ливий, пользуясь им, обогатил свои книги силою ума, красноречия, мудрых наставлений». Несодобрительно отзываясь о речах у Ливия (однако с другой точки зрения) историк Трог Помпей у Юстина (XXXVIII, 3, 11) за то, что «Ливий, как и Саллюстий, приводит речи в прямой форме, а не в косвенной; через это они выходят за пределы истории» (т. е., по-видимому, вводят в историю драматический элемент).

Вот примеры наиболее замечательных речей: речь Камилла — против переселения римлян в Вейи (V, 51—54); речи Сципиона и Ганнибала перед сражением при Тицине (XXI, 40—41 и 43—44); речи Ганнибала и Сципиона перед сражением при Заме (XXX, 30 и 31); речи Катона и Л. Валерия за и против Опписева закона (XXXIV, 2—4 и 5—7).

Ливий уже при жизни своей пользовался славой. Его влияние на современников было огромно: он был, по-видимому, наряду с Вергилием самым популярным писателем (император Калигула приказал изъять его сочинения, как и сочинения Вергилия, из всех общественных библиотек — Светоний, «Калигула», 34). Некто Меттий Помпусиан составил сборник речей царей и полководцев из Ливия (Светоний, «Домициан», 10). В историографии Ливий считался авторитетом первого ранга; из него черпали материал позднейшие писатели. Так, поэты Лукан и Силий Италик заимствуют материал для своих исторических поэм главным образом из Ливия; то же делают Валерий Максим и Фроптин для своих сборников исторических примеров. Даже греческие историки пользуются Ливием. Язык Ливия также служил предметом подражания для позднейших авторов, например для Квинта Курция.

Как уже сказано, ввиду слишком большого размера «Истории» Ливия, из нее рано стали делать извлечения для разных целей, и подлинное сочинение Ливия отходит на задний план, оставляя свое место извлечениям. Одно из таких извлечений, как предполагают, служило источником для составителей перифо и для позднейших историков — Юлия Обсеквента, Кассиодора, Евтропия, Орозия и др. Но все-таки и подлинное сочинение существовало еще в IV—VI столетиях. Грамматик Присциан (VI в.) еще приводит цитаты из него. Но после этого сочинение Ливия исчезает с горизонта; только в XII в. оно снова появляется; Данте в XIV в. упоминает о нем. Однако к этому времени были известны уже только те книги, которыми мы располагаем теперь. Остальные исчезли в какое-то время после VI в., но когда именно, неизвестно.



Глава XXXI

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПРОЗАИКИ ЭПОХИ АВГУСТА

1. Гай Асиний Поллион.— 2. Помпей Трог.— 3. Источники Трога.— 4. Политические и социальные взгляды Трога.— 5. Отношение современников и последующих поколений к сочинению Трога. Юстин.— 6. Другие историки Августова века.— 7. Веррий Флакк Феет. Павел Диакон.— 8. Гигин.— 9. Гигин Младший.— 10. Витрувий.

1. ГАЙ АСИНИЙ ПОЛЛИОН

Последний крупный историк республиканского времени Корнелий Непот умер в начале принципата императора Августа. Ближайшими к нему по времени историками, писавшими на латинском языке, были Гай Асиний Поллион и Тит Ливий. Это были первые историки императорского периода. По рождению и образованию своему они принадлежали еще к республиканскому времени, но литературная деятельность их относится к императорскому периоду.

Гай Асиний Поллион (С. Asinius Pollio) родился в 76 г. до н. э. и умер в 5 г. н. э. Он был приверженцем Цезаря, участвовал в сражениях при Фарсале (48 г.), в войнах Африканской и Испанской. После смерти Цезаря он примкнул к Антонию. Когда Антоний, Октавиан и Лепид заключили триумвират (43 г.), Асиний получил провинцию Транспадаанскую Галлию, где заведовал распределением между ветеранами земельных участков, отобранных у местных жителей; он восстановил права Вергилия на владение отнятой у него отцовской усадьбой. В Перусинской войне (41—40 г.) между Антонием и Октавианом Асиний участия не принимал, был посредником примирения между ними (40 г.) и получил консульство на этот год.

В следующем году (39 г.) по поручению Антония он усмирил и Далматии племя парфинов и был удостоен триумфа. После этого он отказался от политической карьеры, но не примкнул к Октавиану и посвятил вторую половину жизни искусству и литературной деятельности.

Он писал трагедии и эротические стихотворения, был литературным критиком и знаменитым судебным оратором. В области историографии он известен сочинением о гражданских войнах, которое цитируется авторами под заглавием «Historiae». Это сочинение не дошло до нас; сохранилось лишь восемь отрывков у разных авторов. На основании упоминаемых авторами событий можно заключить, что это сочинение обнимало историю 17 лет, начиная со времени первого триумвирата (60 г.) и кончая смертью Цезаря (44 г.). В лексиконе Свиды сказано, что в этом сочинении было 17 книг; если это правда, то не лишено вероятности предположение, что в каждой книге описывались события одного года. Гораций в оде, обращенной к Асинию Поллиону (II, 1), называет предпринятый им литературный труд

«делом опасного риска» (*periculosae plenum opus aleae*). Такая характеристика вполне подходит к историческому сочинению о гражданских войнах, в котором упоминания о недавних еще событиях, нежелательные для некоторых лиц, могли доставить автору неприятности. В какое время Ацилий Поллион работал над этим сочинением, неизвестно; судя по некоторым выражениям в упомянутой оде Горация, можно предполагать, что это было около 30 или 29 г. По выбору темы это сочинение не отличалось от трудов предшествующих историков: некоторые из них, как было сказано выше, тоже писали монографии о каком-нибудь специальном отделе истории прошедшего или современного автору периода. Например, Целий Антипатр описывает войну с Ганнибалом, Саллюстий — войну с Югуртой и заговор Катилины; так и Ацилий Поллион описывал гражданские войны, очевидцем и участником которых он сам был.

Это сочинение послужило источником для последующих историков: оно было известно Плинию Старшему, ритору Сенеке, Светонию, Тациту, Валерию Максиму; им пользовался Аппиан в своей «Истории гражданских войн» и Плутарх в биографии Цезаря.

Мы не можем судить о сочинении Ацилия Поллиона, так как до нас дошел только один сравнительно крупный фрагмент, содержащий характеристику Цицерона (фр. 5 из «Свазорий» ритора Сенеки, VI, 14). О стиле Ацилия Поллиона в его философских сочинениях Сенека (письма, 100, 9) отзывался очень хорошо, называя его «очень красноречивым» и ставя его на второе место после Цицерона; но Квинтилиан о его речах дает мало-благоприятный отзыв (X, I, 113): по его мнению, «Поллион так далек от блеска и приятности Цицерона, что он может показаться жившим на век раньше Цицерона». Судя по этому отзыву, можно думать, что у него было стремление к архаизации, которое заметно и у предшественников его, например у Саллюстия.

2. ПОМПЕЙ ТРОГ

Младшим современником Тита Ливия был *Помпей Трог* (*Pompeius Trogus*), автор большого исторического сочинения, которое может быть названо «Всемирной историей».

Точные даты его биографии неизвестны, равно как и обстоятельства его жизни. Известно нам лишь то, что он сам сообщил о своих предках в нескольких строках своего сочинения, дошедших до нас в эпитоме Юстина (XLIII, 5, 11). Предки его вели свое происхождение от галльского племени воконциев, живших в южной Галлии; дед его во время войны с Серторием (80—72 г. до н. э.) получил от Гнея Помпея права римского гражданства (вероятно, поэтому и получил имя Помпей). Из двух его сыновей один, дядя автора, участвовал в войне с Митридатом (74—64 г. до н. э.) под начальством того же Помпея; другой, отец автора, служил под начальством Гая Цезаря и заведовал письмами и посольствами, а также и перстнем (т. е. печатью). Отец, вероятно, и есть тот Гней Помпей, который вспоминается в «Записках о Галльской войне» (V, 36) как переводчик, посланный легатом Цезаря к Амбиоригу; это вполне возможно, если предки нашего историка были по происхождению галлами.

Сам автор известен нам только как писатель, и притом писатель разносторонний: грамматик Харисий упоминает сочинение Трога «О животных», из которого Плиний в «Естественной истории» (XI, 52, 275) приводит довольно длинный отрывок, касающийся физиогномики, причем Плиний называет Трога одним «из самых серьезных» авторов. Цитирует он его и в других местах, между прочим и по поводу растений. Но приведенные Плинием фрагменты показывают, что сочинение или сочинения Трога

по естествознанию были не оригинальные, а переведенные из Аристотеля и Феофраста.

Главным произведением Трога было историческое сочинение, носившее заглавие «Филиппова история» (*Historiae Philippicae*) в 44 книгах. Оно не дошло до нас в своем подлинном, полном виде, а известно лишь в сокращении, сделанном Юстином; сохранились еще подробные оглавления каждой книги, похожие на перифохи Ливия. На основании этих обоих источников можно составить вполне ясное представление о плане сочинения Трога. Основная тема его — история Македонской монархии, начиная с царствования Филиппа I, и государств, возникших из нее после смерти Александра. Эта история и занимает огромную часть всего сочинения, а именно 36 книг. На основании этой главной части всему сочинению Трог дал заглавие «Филиппова история». План сочинения построен очень искусно: подобно Геродоту, автор ведет рассказ эпизодически, излагая историю стран и народов, входивших в соприкосновение с Македонией и государствами диадохов, вплоть до вхождения самой Македонии и этих стран в состав Римской державы. Первые шесть книг служат введением к главной части: в них излагается история древних восточных государств — Ассирии, Мидии, Персии. История Персии дает автору повод перейти к скифам и к грекам. От греков он переходит к македонянам: излагается история Македонской монархии и возникших из нее государств диадохов (VII—XL). Так как после падения Македонии у римлян остался только один сильный враг на востоке — Парфянское царство, то автор посвящает две книги (XLI—XLII) истории этого царства — до рассказа о возвращении парфянами Августу в 20 г. до н. э. римлян, взятых в плен из войск Красса и Антония, и римских знамен. Это — последнее по времени событие, упомянутое в истории Трога.

Казалось, согласно методу автора, ему следовало бы перейти теперь к изложению римской истории, но он дает лишь краткий очерк древнейшей истории латинов и римлян до царствования Тарквиния Приска включительно в книге XLIII, а затем оставляет римлян и обращается в последней, XLIV книге, к Галлии и Испании, заканчивая свое сочинение победой Августа над испанцами.

Таков план сочинения Трога в самых общих чертах. В эту схему, однако, при всяком удобном случае вплетаются, в виде эпизодов, рассказы об отдельных народах и местностях, составляющие отличительную черту сочинения. Обыкновенно для вставки эпизода выбирается то место, где соответствующий город или народ впервые выступает в общей истории в более или менее значительной роли, причем излагается и первоначальная история его.

Как видно из обзора содержания этого сочинения, автор не ставил себе задачей изложение истории Рима, а, напротив, хотел ознакомить читателей с историей чуждых стран и народов, хотя события римской истории и упоминаются попутно, например в связи с войнами римлян с Пирром, Ганнибалом, этолийцами, ахейцами, Антиохом, Персеем, Митридатом. Можно предположить, что Трог не писал систематической римской истории ввиду того, что она была изложена Ливием, и имел намерение как бы дополнить ее историей подвластных римлянам и соседних с ними народов.

В сочинении Трога есть много географических и этнографических экскурсов, много отвлеченных размышлений — о переменчивости счастья, о божеском возмездии за преступления, о предзнаменованиях, об ухудшении нравов в настоящее время. Так, рассказывая, как Ксеркс после поражения в Греции переправился в Азию на рыбацьем челноке, автор при-

бавляет: «Событие, достойное удивления вследствие изменчивости обстоятельств! Видеть укрывающимся на маленьком суденышке того, кого немного раньше едва вмещало все море, видеть лишенным рабской услуги того, войска которого по своей многочисленности были тяжелы для земли!» (II, 13, 10).

3. ИСТОЧНИКИ ТРОГА

Естественно, что в науке был поставлен вопрос об источниках Трога. Было замечено в его труде влияние греческих историков — Феоппа, Эфора, Тимея, Полибия, Посидония и др.; это согласуется и со ссылкой Юстипа в его сокращении на «много источников» (*multi auctores*; XLII, 3, 7; XLIV, 3, 1). На большое число греческих источников Трога указывает Юстип и в предисловии к своему труду: «Муж древнего красноречия Трог Помпей написал на латинском языке историю Греции и всего мира, для того чтобы как нашу историю можно читать по-гречески, так и греческую можно было читать на нашем языке; он предпринял дело, требующее большого мужества и большого труда. Если большинству авторов, описывающих деяния отдельных царей и народов, их сочинение кажется делом тяжелого труда, то неужели нам не должно казаться, что Помпей приступил ко всему миру [к составлению всемирной истории] с Геркулесовой смелостью? Ведь в его книгах содержатся деяния всех веков, царей, племен и народов. И то, что греческие историки, как было удобно каждому, разделили между собою поодиночке... все это Помпей соединил в одно целое, разделив хронологически и расположив по порядку событий» (Предисловие, 1—3).

В 1872 г. Гутшмид (*Kl. Schr.* 5) высказал предположение, что история Трога есть просто компиляция, составленная на основании лишь одного греческого сочинения, а именно сочинения Тимагена «О царях». Эта гипотеза теперь принята и в руководствах по истории римской литературы, иногда с некоторыми ограничениями, например, с тем ограничением, что сочинение Тимагена было лишь главным источником Трога, но что Трог пользовался сочинениями и других греческих историков.

Гипотеза эта основана (как формулирует ее Шанц и др.) на следующих соображениях. Если Трог в сочинениях по естественным наукам был не самостоятельным исследователем, а лишь переводчиком Аристотеля и Феофраста, то нельзя предполагать, что он был самостоятельным писателем и в области истории. Кроме того, в сочинении Трога заметны следы недружелюбного отношения к Риму: на первый план выдвинута Македония, Рим является лишь пресмычком ее, да к тому же победу Рима над Македонией автор приписывает лишь «римскому счастью» (XXX, 4, 16); история Рима почти совсем опущена, за исключением небольшого отрывка, обработанного по греческим авторам; парфяне выставлены как равноправная с римлянами сила, делящая с ними власть над миром (XLI, 1, 1); наконец, речам этолийцев (XXVIII, 2) и Митридата (XXXVIII, 4), полным вражды к римлянам, не приводится никакого дружественного Риму противовеса. Все это показывает, что Трог построение сочинения нашел в своем оригинале, что его заслуга состоит главным образом в латинской обработке оригинала, что Трог-историк вполне равен Трогу-зоологу.

Гипотеза эта, действительно, довольно заманчива: трудно представить себе, чтобы Трог не знал работы своего почти современника Тимагена. Тимаген, по словам Свиды, был родом из Александрии, в 55 г. до н. э. был взят в плен и привезен в Рим, где занимался преподаванием. За свою откровенность и дерзость он был изгнан из школы и после этого жил в поместье. Из сочинений Сенеки и других мы узнаем некоторые подро-

сти о Тимагене: он был зол на язык, говорил какие-то дерзости об Августе и его доме; Август часто его уговаривал быть умереннее на язык, но тот не унимался, и Август отказал ему от дома. После этого Тимаген до самой старости жил у Асиция Поллиона; читал ему свою историю, а книги, о деяниях Августа, бросил в огонь (Сенека, «О гневе», III, 23, 4—8). Об остроумии Тимагена упоминает и Гораций («Послания», I, 19, 15—16). Квинтилиан хвалит его за то, что он «возобновил с новой славой прерванную историческую деятельность» (X, 1, 75)¹. Пользовались им Квинт Курций, Страбон, Иосиф Флавий, Плутарх и Аммиан Марцеллин, который отзываясь о нем как о «греке и по тщательности и по языку, собравшем из множества сочинений то, что долго было неизвестно» (XV, 9, 2).

Однако изложенная гипотеза едва ли соответствует действительности. Приводимые для нее основания неубедительны. Если Трог в зоологии и ботанике не был самостоятельным исследователем, то из этого еще не следует, что он не мог быть самостоятельным историком. Цитируемый у Плиния отрывок касается даже не зоологии в собственном смысле, а «физиогномики» (определения духовных свойств человека по его внешним чертам): что удивительного, если для такой редкой «науки» Трог обратился к авторитету Аристотеля? К тому же, хотя Трог, упоминаемый у Плиния, отождествляется всеми учеными с историком Помпеем Трогом, все же с полной уверенностью ручаться за это нельзя. Недружелюбное отношение к Риму могло быть и у римлянина Трога, тем более что он был по происхождению галлом; во всяком случае, если он даже заимствовал его у Тимагена или у какого-либо другого греческого писателя, стало быть, он и сам разделял его. Что история Рима почти совсем опущена, это легко объясняется указанным выше соображением — тем, что Трог не хотел писать о том, о чем уже писал Ливий, а имел целью дать историю других стран.

А между тем никто из упоминающих историю Трога, не говорит о Тимагене как его источнике; напротив, Юстин указывает на «много источников», говорит также о том, что «для учившихся по-гречески его [Юстина] работа послужит напоминанием [истории], а для неучившихся — источником знаний» (Предисловие, 4). Из этого видно, что Юстин не имел никаких сведений о заимствовании Трогом всего материала у Тимагена. Квинтилиан, упоминая Тимагена (X, 1, 75), не прибавил того, что его история переведена или обработана Трогом для римлян. Юстин указывает, что Трог не одобрял приведение прямых речей у Ливия и Саллюстия (XXXVIII, 3, 11); едва ли Тимаген стал бы полемизировать с латинскими историками. Наблюдения над языком Трога (конечно, в сокращении Юстина) показали влияние на него языка Вергилия и Саллюстия, а также вообще значительную стилистическую отделку, что едва ли было бы возможно при переводе или близком подражании оригиналу на другом языке. Наконец (что, пожалуй, важнее всего), от Тимагена дошло до нас ничтожное количество фрагментов, и по ним совершенно нельзя судить об отношении Трога к Тимагену. Заглавие сочинения Тимагена «О царях», которое будто бы служило оригиналом Трогу, очень мало подходит к истории Трога. Если бы Трог рабски следовал Тимагену, то он, вероятно, дал бы и своему сочинению это заглавие, а между тем сокращение Юстина озаглавлено: «Trogi Pompei historiarum Philippicarum epitoma». Заглавие «Филиппова история» пошла история Феопомпа; из этого скорее можно заключить, что Трог поль-

¹ Квинтилиан имеет в виду перерыв исторической деятельности после Клитарха, современника Александра Македонского.

зовался главным образом сочинением Феопомпа и перенес его заглавие на свое сочинение.

Ввиду всего сказанного есть более оснований заключить, что сочинение Трога оригинально, что хотя он и пользовался греческими историками (в том числе, вероятно, и Тимагеном), но обрабатывал заимствованный из них материал самостоятельно, заботясь даже о красоте изложения. План сочинения принадлежит также ему.

4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗГЛЯДЫ ТРОГА²

В сочинении Трога ясно видна его политическая концепция, которой, вероятно, и следует объяснять его недружелюбное отношение к Риму. По всему его сочинению красной нитью проходит ярко выраженная ненависть к государствам и властителям, стремящимся к мировому господству. Ход истории представляется автору в таком виде.

В начале своего исторического развития народы не имели законов. Власть принадлежала царям. Это доправовое состояние представлено в «Истории» Трога на примере некоторых племен, особенно на примере скифов. Однако такое первоначальное «естественное» состояние, которое пережили и другие народы, сменилось иным: периодом установления *imperium*, господством произвола и захватнических стремлений. Вместо умеренности первых людей в государстве выступают царская власть и произвол. Первым из основателей таких *imperia* Трог называет ассирийского царя Нина. Завоеватели рисуются у Трога резкими, а иногда крайне отрицательными чертами. Ксеркс, первый в бегстве, последний в сражении, высокомерный при отсутствии опасности, сам считает себя как бы владыкою природы.

Македонское государство является, по-видимому, в глазах Трога величайшей из мировых держав. Древнейшая история Македонии — основание македонского царства и деятельность его первых правителей — рисуется в благоприятных чертах. Но со времени Филиппа II характер изложения и отношение автора резко меняются: вся история его царствования выдержана в резко отрицательных тонах. Филипп в изображении Трога отличается коварством, постоянно прибегает к обманам, действует совершенно беспощадно, как разбойник и преступник. Нет никакого права, установленного людьми или богами, которое он оставил бы неоскверненным. Разрушение городов, продажа в рабство женщин и детей, разграбление храмов, прямое пиратство — вот его политика. Даже на суд, о котором его просят, он идет как на войну (VIII, 3, 15). Главный мотив его — захват добычи. Филипп прибегает к убийствам, обманывает своих союзников; он жесток; он действует под влиянием низменных побуждений. Греция при нем — жалкое зрелище; в ней даже громко плакать нельзя из опасения кары тиранна. Беспощадно он расправляется с вождями греков. Дружбу Филипп ценит лишь с утилитарной точки зрения. Другая характерная черта его — лицемерие; он умеет, ненавидя, принимать вид благожелательности. В таких чертах представляется личность основателя Македонской державы, который заложил, по выражению автора, основы ее мирового могущества (*orbis imperii fundamenta*; IX, 8, 24).

² Для этого параграфа использована статья К. К. Зельяна «Основные черты исторической концепции Помпея Трога» (см. «Вестник древней истории», 1948, № 4, стр. 208—222). В ряде случаев оставлены без перемены формулировки автора, которые редакция не сочла нужным пересказывать «своими словами».

Власть переходит к Александру. В основном тон автора остается тем же, хотя менее резок. Личность Александра с моральной точки зрения рисуется в общем отрицательными чертами. Возвышение Македонии несет порабощение другим народам, а сами завоеватели рисуются в значительной мере свирепыми тираннами: двоедушные, жестокость, высокомерие, жажда роскоши и жадность к деньгам — таковы основные черты их морального облика. Таким образом, отношения Трога к возникновению величайшей мировой державы и способам ее создания и сплочения — отрицательно.

При таком неприязненном отношении к прежним мировым державам Помпей Трог, как надо ожидать, должен был относиться отрицательно и к современной ему мировой державе — к Римской империи.

Место, которое занимает Рим в рамках всемирной истории Трога, очень своеобразно. Разрозненные упоминания о нем встречаются уже в первых частях его сочинения; они становятся все чаще при изложении событий начала II в. до н. э. В книге XLIII автор ставит себе задачей обрисовать только начатки Римской империи. Дальнейшая история Рима охарактеризована буквально одной фразой: «подчинив соседние народы оружием, римляне сначала домогаются власти над Италией и вскоре над миром» (XLIII, 3, 2). Таким образом, история римского *imperium* как самостоятельный сюжет отдельных книг не дается вовсе. Рим выступает лишь постольку, поскольку его история соприкасается с историей эллинистических государств. Сочинение Помпея Трога есть всемирная история до установления мирового владычества последней державы — Рима.

О своем отношении к Риму автор, по понятным причинам, высказывается скупо и осторожно. Однако оно выражено достаточно ясно, особенно в трех речах, которые произносят этолийцы, Митридат и Деметрий. В этих речах выражены следующие основные моменты в системе антиримских взглядов Трога: а) идея несправедливости римлян, только и думающих о войне и завоеваниях; б) мысль о возможности поражения Рима: римляне терпели поражения в прошлом и могут быть побеждены; в) характеристика происхождения и нравов народа как скопища бродяг с волчьими сердцами, с жаждой крови, власти и богатства. Сравнительно немногие упоминания о доблести и сдержанности римлян теряются среди этих выпадов.

Все это очень далеко от обычной концепции римской военной истории у античных авторов, где говорится о том, что войны римлян были «справедливыми» (*bella iusta*) и что римский народ, защищая союзников, овладел всеми землями (Цицерон, «О государстве»).

Сторонники той гипотезы, что история Трога есть компиляция сочинения Тимагена, в доказательство ее ссылаются на возвеличение автором Парфии как равноправной с римлянами силы. Однако и это мнение едва ли правильно: автор и к парфянам относится неблагоприятно. Правители Парфии охарактеризованы приблизительно теми же чертами, что и правители Македонии IV в. Парфяне — изгнанники скифов, самого темного происхождения. Они находились когда-то в порабощении у македонян, и только счастливая судьба сделала их властелинами над прежними владыками. Парфяне — племя надменное, склонное к мятежам и обманам, дерзкое. Их правители жестоки, убивают родственников. Замечания Трога о разделении власти над миром с римлянами недостаточно, чтобы говорить об пропарфянской тенденции его, тем более, что в конце книги XLII он изображает унижение Парфии римлянами.

В доказательство антиримского настроения Трога приводят его мнение о том, что победу римлянам в борьбе с македонцами даровала судьба.

Но почти такое же мнение высказывает Трог и о парфянах: судьба возвела их на вершину власти (XLI, 6, 1 сл.).

Сочинение Трога не ограничивается политической и военной историей: в нем собран и огромный материал по истории культуры всего средиземноморского мира. Он постоянно говорит в эпизодах о происхождении (*origo*) и обычаях народов — большей частью по известной схеме: природа страны, название народа и его происхождение, история царей мифических и ранних исторических эпох, история основания города или государства, элементы культуры (пища, питье, одежды, образ жизни, военное дело), политические учреждения, особенности социальных отношений (например, рабов и свободных) и др. Но это не просто картины из жизни древнейших эпох или народов; здесь — противопоставление двух миров: тех отношений, которые существовали до завоеваний и возникновения обширных держав, и тех, которые характеризуют эту позднейшую стадию развития; здесь — изображение первоначальных патриархальных прав, не раз противопоставляемых позднейшему господству роскоши и жадности наживы.

Особенно подробно и ярко дано изображение жизни скифов (II, 2). Это — самый древний народ, сохраняющий старинные обычаи. У них отсутствуют межи, отделяющие участки отдельных лиц, нет частного землевладения. Они не занимаются земледелием, не имеют постоянных жилищ. Главное их занятие — скотоводство; они ведут кочевую жизнь. Пищей им служит молоко и мед; одеваются они в шкуры животных. Этому примитивному экономическому быту соответствует состояние общества и его нравов, которые автор характеризует самым положительным образом. От природы, а не от воздействия законов они живут по справедливости. Порядок их жизни — результат их природных наклонностей. Они презирают золото и серебро. Самым ужасным преступлением у них считается воровство. У них нет стремления овладеть чужим, жадности богатств. Для этого состояния общества характерны такие моральные признаки, как воздержание, умеренность, отсутствие стремления захватить чужое. Перед нами картина «золотого века» в отношении общественной морали. Автор замечает, что, если бы подобное состояние было теперь, то прекратились бы войны, и люди умирали бы естественной смертью.

В общей исторической концепции Трога *origines* занимают важное место. Они характеризуют целую стадию в развитии человеческого общества, которая сменяется новой эпохой образования обширных держав.

В древности были две различные концепции развития человеческого общества. Согласно одной, период счастья и добродетели был в раннюю эпоху, и все последующее представляло лишь отдельные этапы на пути к упадку, характеризующемуся гибелью старинной доблести, господством низменных страстей, взаимной борьбой противоположных интересов. Согласно другому пониманию, «золотой век» предстает лишь в будущем: через горькие испытания, через кровь и страдания человечество придет к счастью. Наступит царство мира, покоя, любви и справедливости в человеческих отношениях, когда изменится не только жизнь человеческого общества, но лик самой земли, когда, по выражению великого римского поэта, исчезнут змеи и ядовитые растения, когда *omnis feret omnia tellus* («всё все земли доставят»; Вергилий, «Эклога» 4, 39). У Трога мы находим образец первой концепции, распространенной на весь доступный ему исторический материал. Нигде не видно, чтобы автор рассматривал период консолидации великой Римской державы при Августе как наступление нового века в отношениях между людьми, как эпоху возрождения.

5. ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОК И СЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
К СОЧИНЕНИЮ ТРОГА. ЮСТИН

О сочинении Трога в последующей литературе долгое время нет упоминаний. Но это не значит, что его не читали. Напротив, влияние его заметно у многих историков, которые, не называя его, пользуются его материалом. Такое влияние видно у писателей I в. н. э. Валерия Максима, Веллея Патеркула, Квинта Курция, Фроптина. Впервые упоминает Трога (и притом наряду с Юстином) Иероним, писатель IV в. Историк Вописк (в биографии императора Проба, гл. 2) называет его наряду с историками Саллюстием, Ливием, Тацитом. У грамматиков Сервия, Юния Филларгрия, Присциана также есть упоминания о нем. Даже в VI в. о нем знает Иорнанд. Но впоследствии о полном сочинении Трога уже нет известий; его место заняло сокращение *Юстина*, составленное раньше этого времени, и оно, как уже отмечалось, вероятно, и было главной причиной забвения полного сочинения Трога. До нас дошли только «Прологи», содержащие перечень событий, изложенных в каждой книге истории Трога.

Кто был Юстин и когда он жил, неизвестно: одни предполагают, что он жил во II в., во времена Антонинов; другие относят его к III в. Неизвестно даже в точности его полное имя; только в одной рукописи он назван M. Junianus Justinus. В предисловии к своему сочинению «Сокращение Филипповой истории Трога Помпея» (*Trogi Pompei historiarum Philippicarum epitoma*) Юстин сообщает несколько слов о методе своей работы. «Из сорока четырех томов [столько издал Трог Помпей] я в свободное время, когда мы находились в Риме, сделал извлечение всего наиболее заслуживающего познания и, опустив то, что не представляло удовольствия для познания и не являлось необходимым в качестве примера, сделал, так сказать, маленький букет цветов» (Предисловие, 4). Из этого видно только, что Юстин не был уроженцем Рима и что при выборе материала из сочинения Трога он руководствовался лишь своим личным вкусом: он брал лишь то, что ему казалось или интересным для чтения, или полезным для подражания. Как произвольно был сделан этот выбор, можно до некоторой степени судить даже по внешним признакам. Так, вся книга XL в Тейбнеровском стереотипном издании Юстина составляет менее одной печатной страницы, а книга II — более 15 страниц; остальные книги занимают в среднем почти по 5 страниц каждая, тогда как, например, первые книги Ливия занимают в среднем почти по 60 страниц каждая. Вероятно, и книги Трога были приблизительно такого же размера.

Как показывает сравнение текста Юстина с прологами Трога, Юстин пропускал целые отделы, в историческом отношении важные; отдельные рассказы излагал иногда подробно, иногда слишком кратко. Судя по этому, работа Юстина дает лишь бледный образ произведения Трога. Только одно место из истории Трога он передает (как сам говорит) в полном виде, а именно речь Митридата (XXXVIII, 4—8, 1).

Однако можно предполагать, что текст Юстина довольно близок к тексту Трога даже в стилистическом отношении, т. е. что Юстин сокращал текст Трога по большей части его же словами, очень мало изменяя или добавляя от себя.

В общем язык Юстина прост, и поэтому отрывки из его истории часто берутся составителями учебных хрестоматий. Есть, однако, как и следует ожидать, отступления от классической латыни в лексическом и в грамматическом отношении, которые можно приписать как Юстину, так и самому Трогу. Таковы, например, слова: *aduno* «соединяю», *impossibilis* «невозможный», *restauro* «возобновляю»; частое употребление причастий

отложительных глаголов в пассивном значении: *aggressus* «подвергшийся нападению» (VII, 6, 5), *consolatus* «утешенный» (XXII, 6, 4); употребление творительного падежа причастий среднего рода в смысле «творительного самостоятельного»: *cognito* «когда было узнано» (II, 5, 13), причем при *cognito* поставлено предложение с *quod*; *spero* имеет при себе предложение с *ut* (V, 3, 3) и т. д.

В стиле Юстина виден и риторический элемент, хотя в гораздо меньшей степени, чем, например, у Флора; из риторических фигур всего заметнее антитезы. Рассказывая, например, о восстановлении Афин Кононом в 393 г., Юстин говорит: «Такова была судьба Афин, что город, раньше сожженный персами, восстанавливался их руками, и, теперь разрушенный спартанцами, восстанавливался на счет добычи, полученной от спартанцев, и по капризу судьбы теперь у них [у афинян] были союзниками те, которые тогда были врагами, а врагами оказались теперь те, с которыми тогда они были соединены теснейшими узами» (VI, 5, 10—11). «Кассандр пошел в Грецию, неся войну многим городам. Устрашенные их разрушением, словно соседним пожаром, спартанцы свой город, который они всегда прежде защищали оружием, а не стенами, теперь, вопреки ответам оракулов и древней славе предков, не надеясь на оружие, замкнули стенами. Настолько они стали не похожи на предков, что теперь не считали себя в безопасности, если не будут скрыты за стенами, тогда как прежде в течение многих веков стеною для города была доблесть граждан!» (XIV, 5, 5—7).

«Как известие обо всем этом [о поражении афинян при Эгоспотамах в 405 г.] пришло в Афины, все, оставив дома, бегали в страхе по городу, спрашивали друг друга, искали того, кто принес это известие. Детей не удерживает дома их неразумие, старцев — дряхлость, женщин — слабость пола; до такой степени сознание столь великого несчастья проникло к каждому возрасту. Потом все сходятся на площади и там проводят всю ночь, сетуя на судьбу отечества. Одни оплакивают братьев, сыновей, родителей, другие — родных, иные — друзей, которые им дороже родных, и с личными несчастьями смешивают сетования об отечестве. Теперь, рассуждают они, погибнут они сами, теперь само отечество погибнет; участь уцелевших горше участи погибших. Каждый представляет себе воочию осаду, голод, надмешного победителя — врага; каждый думает уже о разрушении города и пожарах, пленении всех и бедственном рабстве; гораздо более счастливым считают прежнее разрушение города, которое оценивалось только как разрушение зданий, тогда как сыновья и родители остались невредимыми. А теперь у них не остается ни флота, на котором они могли бы, как прежде, бежать, ни войска, доблестью которого они могли бы спастись и выстроить стены более прекрасные» (V, 7, 4—12).

Уже из приведенных отрывков видно, что в истории Юстина есть много красивых в литературном отношении мест; что здесь принадлежит Трогу и что Юстину, конечно, мы определить не можем. Таковы еще, например, описания убийства Клиты Александром (XII, 6), триумфального возвращения Алквиада в Афины (V, 4, 6—18), сравнение Филиппа с Александром (IX, 8), прощание умирающего Агафокла с женой и детьми (XXIII, 2, 6—13). Если в кратком извлечении Юстина сохранилось так много красот, то можно представить себе, как много было их в подлиннике. Можно предположить, что сочинение Помпея Трога по красоте изложения не уступало, или, по крайней мере, мало уступало произведению Тита Ливия: недаром Юстин называет Трога «мужем древнего красноречия» (*vir priscae eloquentiae*). Утрата его сочинения, по размеру не уступавшего дошедшей до нас части истории Ливия, невознаградила для истории римской литературы.

6. ДРУГИЕ ИСТОРИКИ АВГУСТОВА ВЕКА

Среди историков Августова века, от сочинений которых дошли до нас только фрагменты, были *Луций Аррунций* (L. Arruntius), консул 22 г. до н. э., написавший «Историю Пунических войн» в стиле еще более архаическом, чем стиль Саллюстия, и *Фенестелла* (Fenestella), сочинение которого «Летопись» (Annales) составляло более 20 книг.

На поприще истории и главным образом географии трудился друг и сподвижник императора Августа, *Марк Випсаний Агриппа* (M. Vipsanius Agrippa), ставший в 21 г. до н. э. его зятем. Он родился в 63 г., был консулом в 37, 28 и 27 гг., умер в 12 г. до н. э.

Нам известны, но только по упоминанию, его сочинения «О своей жизни» и «О водопроводах в Риме», от которых ничего не сохранилось.

Больше сведений дошло о его географических работах. Он собрал материал для карты всей Римской империи, но смерть помешала ему начертить ее. Август приказал довести до конца начатую им работу: карта была сделана на основании собранных Агриппой материалов и помещена в особом портике, построенном для этой цели на Марсовом поле. Как велико было научное достоинство этой карты и откуда черпал Агриппа свои сведения, мы не знаем. Но для последующей географической литературы она имела большое значение и служила типом для карт более позднего времени, между прочим, даже для дошедшей до нас «Пейтингеровской карты» (tabula Peutingerana, ок. XIII в.). В ссылках на Агриппу в географической части «Естественной истории» Плиния и у других авторов приводятся почти только числовые данные о длине, ширине, пространстве стран и морей и т. п. Есть, впрочем, и одна этнографическая заметка у Плиния (III, 1, 8), где он говорит, что, по мнению Агриппы, все побережье Бетики (теперешней южной Испании) имело население карфагенского происхождения. На основании этой заметки можно предположить, что Агриппа был автором какого-то географического сочинения.

Сам император *Август*, по словам Светония («Август», 85), написал «печто о своей жизни, что он изложил в 13 книгах». Он же был автором так называемого «Анкирского памятника» (Monumentum Ancyranum). После смерти Августа, как рассказывает Светоний («Август», 101), весталки представили завещание его, положенное к ним на хранение, вместе с тремя также запечатанными свитками; все это было вскрыто в сенате и прочтено. В одном из трех свитков содержались распоряжения Августа относительно его похорон; в другом — перечень его деяний, который, согласно его желанию, должен был быть вырезан на медных досках, а эти доски поставлены перед мавзолеем Августа на Марсовом поле; третий свиток содержал статистический обзор всей империи — сколько где имеется войска под знаменами, сколько денег в государственном казначействе, в императорской казне и сколько остается недоимок.

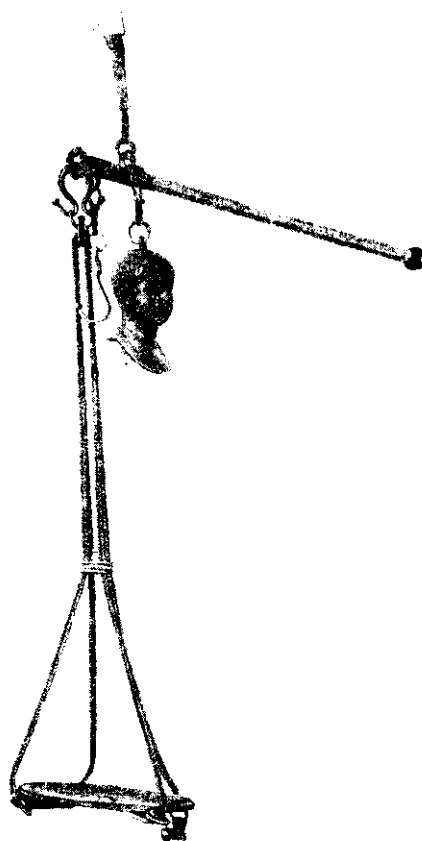
Медные доски со списком деяний Августа не найдены до сих пор, несмотря на неоднократные раскопки на месте мавзолея. Но были найдены три копии этого памятника: одна на месте древнего города Анкиры (теперь Анкара) на стене храма, причем наряду с латинским текстом помещен и греческий перевод; другая, которая сохранила лишь отдельные куски греческого текста, была найдена в писидийском городе Аполлонии, третья — в Антиохии. Текст этого памятника несколько раз издавался; из старых изданий лучшее — второе издание Моммзена 1883 г. с обширными комментариями; новейшее (и лучшее по тексту) — издание Гаже, вышедшее в 1925 г.

Подлинный текст был озаглавлен таким образом: «[Перечень] деяний божественного Августа, при помощи которых он подчинил весь мир власти римского народа, и тех затрат, какие произвел он в пользу государства и народа римского» (*Res gestae divi Augusti quibus orbem terrarum imperio populi Romani subiecit et empensarum in rem publicam populumque Romanum fecit eqs.*).

Этот памятник заключает в себе 35 глав. Начинается он следующими словами: «Девятнадцать лет от роду я по своей инициативе и на свой счет собрал войско, при помощи которого освободил республику, находившуюся под гнетом господства партии заговорщиков». И далее изложение ведется от первого лица. Содержание памятника можно разделить на три части: в первой части (гл. 1—14) Август говорит о своем вступлении на политическую арену, о гражданских войнах, о гражданских полномочиях и своей гражданской деятельности, о религиозных и особо торжественных почестях, которые он получил; во второй части (гл. 15—24) он перечисляет расходы, которые сделал для государства и граждан: денежные подарки, постройки, увеселения для народа; в третьей части (гл. 25—35) он описывает свою внешнеполитическую деятельность во время войны и мира и говорит о признании его заслуг в области внешней и внутренней политики сенатом и народом, что выразилось в даровании ему титулов «Август» и «отец отечества».

Время составления этого документа Августом в точности не известно. Он говорит в главе 35, что «когда он писал это, ему шел 76-й год», т. е. это был 13—14 г. н. э. В главе 8 упоминается третий ценз, произведенный за 100 дней до смерти Августа (Светоний, «Август», 97), т. е. 11 мая 14 г. н. э. Таким образом, в окончательной форме этот документ относится к 14 г. н. э., т. е. к последним месяцам жизни Августа; но он мог быть задуман и даже набросан в черновом виде задолго до этого времени.

В науке остается не решенным вопрос о литературном характере этого памятника. Некоторые исследователи относят его к типу надгробных надписей; другие считают его политическим завещанием, отчетом в израсходованных суммах и т. д. Некоторые исследователи находят, что это — такой литературный памятник, прототип которого нельзя отыскать в иных произведениях. Быть может, правильное всех определяет



*Безмен с головой Октавиана-Августа
Римская работа I в. н. э.*

характер памятника Н. А. Машкин, полагая, что прототипом его были те «манифесты» (elogia), какие составлялись триумфаторами и консулами³; триумфатор обозначал свои деяния в списке, который выставлялся на форуме.

Язык «Деяний божественного Августа» очень прост и соответствует той характеристике стиля Августа, которую дает Светоний: он стремился к ясности речи, избегая «мерзости темных слов» (resconditorum verborum fetor; «Август», 86).

Наряду с историками в собственном смысле, занимавшимися политической историей своей родины или других стран, в век Августа были и ученые, интересовавшиеся историей культуры, происхождением обычаев, религиозных обрядов, значением технических терминов, устарелых слов и т. п., продолжая таким образом направление, начатое Марком Теренцием Варроном.

Это направление заметно у историка Фенестеллы. Большая часть фрагментов его «Летописи» состоит из заметок антикварного характера, например: о том, что год с самого начала делился на двенадцать месяцев (а не на десять; фр. 3); о производстве слова quaestor (фр. 4); о том, что цари обладали правом провокации к народу (фр. 6); о том, что маслины не было ни в Италии, ни в Испании, ни в Африке в царствование Тарквиния Древнего (фр. 7); о том, что праздник Сатурналий справлялся в течение лишь одного дня, а именно 19 декабря (фр. 11); о том, что бой слонов с быками в римском цирке впервые происходил в 655 г. от основания Рима (99 г. до н. э.; фр. 13); о том, что сенаторы долгое время не носили золотых колец, а носили железные (фр. 12); о том, что Теренций не мог быть пленным, потому что родился и умер в промежутке между концом второй Пунической войны и началом третьей (фр. 9).

7. ВЕРРИЙ ФЛАКК. ФЕСТ. ПАВЕЛ ДИАКОН

Но главным представителем антикварного направления был *Веррий Флакк* (Verrius Flaccus). Это был знаменитый преподаватель Августова века, по социальному положению вольноотпущенник, как и большая часть ученых людей того времени, умерший в старости, уже при Тиберии. Август пригласил его в воспитатели своих внуков: Гая (20 г. до н. э.— 4 г. н. э.) и Луция (17 г. до н. э.— 2 г. н. э.). Веррий со всей своей школой переехал в императорский дворец, но не мог уже принимать новых учеников; за это он был вознагражден большим гонораром — 100 000 сестерциев в год.

Веррий был не только знаменитым преподавателем, но и выдающимся ученым — филологом и антикварием. Его сочинения были многочисленны и разносторонни:

По истории: «Книги дел, достойных памяти» (Regum memoria dignorum libri); «Книги этрусских дел» (Etruscarum [regum] libri, т. е. «История этрусков»);

По религиозным древностям: «Сатурн» (Saturnus);

По грамматике: «О темных словах Катона» (De obscuris Catonis); «Об орфографии» (De orthographia); «Письма» (Epistulae); «О значении слов» (De verborum significatu).

Все эти сочинения, кроме последнего, не дошли до нас; мы знаем только заглавия их и небольшое число мелких отрывков. Дошли до нас еще остатки «Календаря» («Fasti Praenestini»), вырезанного на мраморной плите

³ Н. А. Машкин. Принципат Августа, стр. 311—328.

те, которые были найдены в 1771 г. у города Пренесте. На основании некоторых признаков предполагают, что автором «Календаря» был Веррий и что у него было целое сочинение на эту тему; однако веских доказательств в пользу этой гипотезы не представлено.

Сочинение «О значении слов» также не сохранилось в своем подлинном виде; но до нас дошли два извлечения из него — Секста Помпея Феста и Павла Диакона. Это был огромный лексикон: буква *P* занимала в нем не менее 5 книг, буква *A* — не менее 4. Из этого сочинения было сделано впоследствии извлечение Секстом Помпеем Фестом (*S. Pompeius Festus*). Время жизни Феста неизвестно: он жил после Марциала, так как его он цитирует, но, судя по одной цитате у грамматика Харисия, он жил раньше Порфириона (комментатора Горация), время жизни которого относят, хотя тоже приблизительно, к IV в. н. э. Всего вероятнее, он жил в конце II в. н. э.

Извлечение Феста — тоже очень большое: оно состояло из 20 книг. О своем методе сокращения подлинника Фест сам говорит (стр. 242 L): «Его [Веррия] мнение опровергать ни в этом месте, ни в других многих нет никакой надобности, так как я имею намерение пропускать из такого множества его книг слова уже вымершие и погребенные и, как он сам часто признает, не имеющие употребления и авторитета, а остальные слова свести как можно короче в весьма небольшое число книг. Что же касается того, в чем я с ним не согласен, об этом будет написано ясно и кратко в тех книгах моих, которые носят заглавие: «Книги древних слов с примерами». Но, как кажется, последнего намерения Фест не исполнил. В некоторых местах своего труда он все-таки полемизирует с Веррием, даже иногда злобно: «Это не более относится к значению слов, чем очень многое другое, как уже бывшее раньше, так и то, о чем будет говориться дальше» (стр. 496, 11 L). «Эту непоследовательность нашего Веррия я привожу не без стыда» (стр. 438, 25 L). «Так говорит Веррий: это мне кажется неправильным» (стр. 236, 8 L). — «Говорит Веррий: нелепо, как мне кажется» (стр. 472, 5 L). «Как по-старушечьи это сказано, всякому очевидно» (стр. 478, 24 L).

Извлечение Феста сохранилось лишь в одной рукописи XI в. (*Farnesianus*), хранящейся теперь в Неаполе. Первоначально она состояла из 16 кватернионов (тетрадей), по 16 страниц в каждом, в два столбца на странице. Рукопись эта привезена была из Иллирии в Рим ранее 1477 г., но уже в неполном виде, именно только кватернионы VIII—XVI (начиная с середины буквы *M*), причем крайние столбцы все были сильно повреждены огнем. Из этих 9 кватернионов уже давно потеряны 3, именно: VIII, X, XVI. Но еще в XV в. с рукописи были сняты копии тогдашними учеными (Помпонием Летом, Ангелом Полицианом); эти копии и служат заменой потерянных частей рукописи.

В VIII в. из полной рукописи лексикона Феста было сделано новое извлечение. Составителем его был монах Павел Диакон (*Paulus Diaconus*), умерший около 800 г. В предисловии к своему труду он обращается к Карлу Великому с такими словами: «Секст Помпей растянул свой труд до 20 огромных томов. Из этой громады все излишнее и менее необходимое я пропускал, кое-что темное излагал яснее своими словами, некоторые статьи оставлял так, как они были, и это сокращение представляю для чтения вашему величеству». Как сильно сократил Павел словарь Феста, можно судить по сравнению его работы с оригиналом в издании Мюллера, где оба текста напечатаны параллельно: часто текст Феста вдвое и более превышает текст Павла, например на стр. 379—383 L. Так, Павел совсем пропустил довольно длинную статью Феста о слове *sorogium* (стр. 380 L)

исторического характера, а из статьи Феста о названии города Рима, занимающей в издании Линдсея две с половиной страницы, у Павла появилась заметка в две с половиной строки (стр. 326—330 L). От себя Павел делает лишь незначительные добавления, например, Фест объясняет слово *secus*, а Павел добавляет еще объяснение сочетания *haud secus* (стр. 379 L).

Извлечение Павла дошло до нас в полном виде и для первой половины лексикона является единственным источником наших сведений о труде Феста; только с буквы *M*, именно со слова *manage*, начинается часть лексикона самого Феста, сохранившаяся в единственной рукописи (*codex Fagnesianus*). Поэтому с этого слова до конца в наших печатных изданиях помещаются оба текста — и Феста и Павла. В тексте Феста есть много пропусков вследствие порчи рукописи.

Лексикон Феста вместе и толковый и реальный. Как толковый словарь, он содержит объяснения отдельных слов или целых выражений, по большей части вышедших из употребления во времена Веррия и потому ставших непонятными; нередко дается этимология их, в то время, вероятно, считавшаяся научной, но нам кажущаяся иногда смешной; например, перос «внук» производится от слова *post* «после», «потому что внук рожден у отца после, чем сын» (стр. 163 Л.).

Как реальный словарь, лексикон Феста дает объяснения разных древних обычаев, обрядов, предметов, например: что такое «осадный венок» (*obsidionalis corona*), и какая разница между ним и «гражданским венком» (*civica corona*; стр. 208 Л.); что такое *stata sacrificia* (стр. 466 Л.); *stultorum feriae* (буквально: «праздник глухих», стр. 304 и 418 Л.) и т. д.

Статьи такого антикварного содержания, по-видимому, Фест считал неуместными как не соответствующие заглавию труда «О значениях слов»: «Это не более относится к значению слов, чем очень многое другое...»

В общем, труд Веррия «О значениях слов», несмотря на опромытые сокращения и потери, которым он подвергся, все-таки и в настоящее время служит нам незаменимым источником сведений, касающихся языка и быта римлян.

8. ГИГИН

К числу историков антикварного направления принадлежит также *Гай Юлий Гигин* (*C. Julius Hyginus*). О жизни его почти ничего не известно. Как видно из заметки Светония («О грамматиках», 20), Гигин был вольноотпущенник Августа, испанец, хотя некоторые считали его александрийцем, привезенным в детстве в Рим Цезарем после взятия Александрии (47 г. до н. э.). Его учителем был грамматик Корнелий Александр, прозванный за свою ученость «Полигистором» и даже «Историей». Гигин заведовал государственной библиотекой, основанной Августом в 28 г. до н. э. на Палатине. Он был другом Овидия и историка Клодия Лицина (консула 4 г. н. э.), который говорит, что Гигин умер довольно бедным. Время его жизни определяется приблизительно с 64 г. до н. э. по 17 г. н. э.

Сочинения Гигина были разнообразны; так, упоминаются следующие сочинения.

Исторические и антикварные сочинения: «О жизни и делах знаменитых мужей», или «О славных мужах» (*De vita rebusque illustrium virorum*, или *De viris claris*); «Примеры» (*Exempla*); «О троянских семействах» (*De familiis Troianis*); «О местоположении италийских городов» (*De situ urbium Italicarum*); «О богах пенатах» (*De dis penatibus*); «Об особенностях богов» (*De proprietatibus deorum*).

Филологические сочинения: «Комментарий к Вергилию» и «Книги о Вергилии»; «Комментарий к [не известному нам] стихотворению Гельвия Цицны», имевшему темой путешествие Асиния Поллиона в Грецию.

Сочинения по сельскому хозяйству: «О земледелии» (*De agricultura*); «О пчелах» (*De apibus*).

Все эти сочинения не дошли до нас, а известны нам только по заглавиям и мелким отрывкам, цитируемым разными писателями: Авлом Геллием, Макробием, Колумеллой и др.; но на основании этого скудного материала нельзя составить о них никакого представления.

9. ГИГИН МЛАДШИЙ

С именем Гигина дошло до нас два сочинения: руководство по астрономии и руководство по мифологии. Но в науке уже давно было высказано предположение, что эти сочинения принадлежат не упомянутому выше Гаю Юлию Гигину, а какому-то другому Гигину, и это мнение принято теперь всеми специалистами. Автором этих двух сочинений было одно и то же лицо. Это видно из того, что в «Астрономии» (II, 20) автор, упомянув миф о золотом руне, говорит, что подробнее об этом он скажет в другом месте; и действительно, этот миф изложен в 3-й «басне» «Мифологии». В другом месте «Астрономии» (II, 12) он ссылается на книгу I своего сочинения «Генеалогии», как написанную раньше. Из этих ссылок можно заключить, что автору «Астрономии» принадлежала не только «Мифология», но еще и третье сочинение «Генеалогии» и что они были написаны в такой хронологической последовательности: «Генеалогии», «Астрономия», «Мифология». Так как в дошедшей до нас «Мифологии» имеются и генеалогии разных мифических личностей, то можно заключить с достаточной степенью вероятности, что «Генеалогии» в извлечении были впоследствии включены в состав «Мифологии».

Точное заглавие астрономического сочинения неизвестно; в рукописях оно или совсем не имеет заглавия, или озаглавлено различно: «Об астрономии», «О светилах» и т. п. В печатных изданиях оно называется «*Poëtica astronomica*», но это не значит, что оно написано стихами, а лишь то, что автор в учение о светилах прибавляет мифы, которыми поэты объясняли происхождение этих светил. Сочинение не имеет конца: по-видимому, еще в той рукописи, которая служила источником всех дошедших до нас рукописей, конец был оторван.

В начале сочинения есть введение, обращенное к (не известному) Марку Фабию; в этом введении автор излагает план своего труда. Сочинение включает в себе основные понятия астрономии, определение астрономических терминов, например, что такое *mundus* «мир», *sphaera* «шар», *centrum* «центр», *axis* «ось», *polus* «полюс» и т. д. (I книга); затем — мифы, касающиеся светил, например о «Большой Медведице» (по Гесиоду и др., II книга); далее — сведения о числе и положении звезд, составляющих созвездия (III книга). Автор пользовался всего более сочинением «Помещения среди звезд» (*Catasterismi*) Эратосфена, но также и другими авторами: Аратом, Каллимахом, Цицероновыми *Agatea*. Для нас наиболее важна II книга по большому количеству приводимых там мифов.

Мифологическое сочинение Гигина теперь носит заглавие «*Fabulae*» — «басни», «сказания», «мифы», но оно дано ему первым издателем его Мициллом (*Micyllus*) в XVI в., а в рукописи (единственной) никакого заглавия не было.

В сочинении этом можно различить три части: извлечение из «Генеалогий», «Сборник мифических сказаний», «Указатель».

В «Генеалогиях» очень кратко и сухо даются родословные богов и героев в таком роде: «От Юпитера и Юноны — Марс», «От Юпитера и Цереры — Прозерпина». В «Сказаниях» излагаются мифы разных циклов. В «Указателе» под разными рубриками перечисляются мифические лица, подходящие под данную рубрику: например, под рубрикой «Кто были самые красивые» приводится целый ряд имен: Ясион, Парис, Нирей и т. д., под рубрикой «Кто какие города основал» указываются Юпитер, Минерва, Аполлон, Кадм и т. д.; еще рубрики: «Кто был растерзан собаками», «Кто погиб от вепря», «Семь мудрецов», «Семь чудес света» и т. д. Вообще, это — какая-то странная смесь, по-видимому, не основанная ни на каком принципе. Всего скорее предположить, что «Указатель», как и сама «Мифология», есть своего рода учебное пособие: если, например, пишущему какое-нибудь сочинение понадобится имя красавца или основателя города, он найдет в «Указателе» список таких лиц, а в «Мифологии» найдет более подробные сведения о них.

В каком отношении находится «Указатель» к тем двум частям, описать едва ли возможно.

«Мифология» важна тем, что рассказы, входящие в нее, заимствованы главным образом из греческих эпических произведений и трагедий, по большей части не сохранившихся до нашего времени. Так, рассказ IV даже носит заглавие «Ино Эврипида», рассказ VIII — «Тот же рассказ Эврипида, который пишет Энний».

Были даже попытки восстановить содержание некоторых трагедий на основании рассказа Гигина.

О стиле своем сам автор заявляет, что он «приводит рассказы, которые принесут читателю или пользу для знания, или приятность для наслаждения» (в конце предисловия ко II книге «Астрономии»). Теперешние читатели едва ли согласятся с этой самооценкой автора; но все-таки можно сказать, что стиль его — довольно простой, без риторических прикрас; язык, конечно, — далеко не классический.

На основании некоторых соображений можно заключить, что этот Гигин (которого можно назвать «Младшим») жил во второй половине II в. н. э.

10. ВИТРУВИЙ

В числе литературных памятников, относящихся ко времени I в. до н. э. — I в. н. э., сохранился трактат римского архитектора Витрувия — «Десять книг об архитектуре» (*De architectura libri X*).

О жизни и личности Витрувия у нас очень мало сведений, которые в основном сводятся к тем немногочисленным замечкам, какие имеются в его трактате. Что касается имени этого архитектора, то достоверно известно только его родовое имя (*nomen*) — *Витрувий* (*Vitruvius*), которое сохранилось и в списках его сочинения и у античных авторов. Семейное имя (*cognomen*) Витрувия — Поллион (*Pollio*) встречается в античных памятниках дважды: в краткой выдержке из его трактата, составленной во II в. н. э. Марком Цетием Фавентином, и предположительно в надписи I в. н. э., найденной в Мизене и гласящей (по возможному дополнению ее утраченных частей) — [V]itruvius [P]ollionis arch[itecto] (*CIL*. 10, 3393). Личное имя (*praenomen*) Витрувия с достоверностью установить нельзя. «Архитектор вольноотпущенник Луция Луций Витрувий Кердон» (*L. Vi-*

truvius L. I. Cerdo architectus), упоминаемый в надписи на веронской арке (CIL. 5, 3464), вряд ли может быть отождествлен с автором трактата об архитектуре. Имя Марк (Marcus), принятое в старых изданиях Витрувиева сочинения, — только домысел первых итальянских издателей эпохи Возрождения; а так как в тексте Фавентина имя «Поллион» может относиться не к Витрувию, а к другому какому-то автору (как предполагает Шуази⁴), то вполне достоверным именем автора «Десяти книг об архитектуре» следует считать только имя Витрувий.

Как можно предполагать на основании слов Витрувия (VI, вст. 4), он был сыном архитектора и получил благодаря заботам родителей, готовивших его к занятию зодчеством, всестороннее образование. Он, по всей вероятности, служил в войсках Юлия Цезаря и занимался починкой военных машин (I, Предисловие, 1). Возможно, что Витрувий сопровождал Цезаря во время его походов (II, 9, 15; VIII, 3, 25) и таким образом мог побывать в Галлии, в Испании и в Греции. По свидетельству Фронтин («О римских водопроводах», 25), стратега и инженера конца I в. н. э. Витрувием был установлен модуль для калибров свинцовых водопроводных труб (ср. VIII, 6, 4). А так как Фронтин в своем сообщении упоминает имя Агриппы, ближайшего сотрудника Августа в деле дорожного и водного строительства, то можно заключить, что Витрувий продолжал служить при Августе в качестве гражданского инженера. Кроме того, Витрувий, как он сам об этом говорит (V, 1, 6—10)⁵, построил базилику в Юлиевой колонии Фана (colonia Julia Fanestrus, нынешнее Фано на берегу Адриатического моря). Весьма вероятно, что это был единственный значительный заказ, который ему удалось получить, потому что ни о каких других своих крупных постройках Витрувий не упоминает. Вообще, он видимо, занимал очень скромное место в архитектурной жизни своего времени и чувствовал себя обойденным неудачником, приписывая это своей невзрачной паружности (II, Предисловие, 4) и отсутствию той алчности и наглости, какими, как он говорит, отличались другие зодчие (VI, Предисловие, 5). Пользуясь поддержкой сестры Августа Октавии (ум. в 11 г. до н. э.), Витрувий добился пенсии и под старость занялся сочинением трактата, который он посвятил Августу (I, вст.).

Эти автобиографические данные позволяют утверждать, что Витрувий жил в середине I в. до н. э. и что «император» и «цезарь», к которому он обращается, — не кто иной, как Октавиан Август (I, вст. 1). К этому присоединяется ряд косвенных доказательств, не допускающих более поздней датировки жизни Витрувия, датировки в пределах нашей эры: Фронтин (40—103 гг. н. э. и Плиний Старший (23—79 гг. н. э.)⁶ уже ссылаются на Витрувия как на авторитет; Витрувий говорит о Везувии как о потухшем вулкане (II, 6, 2), т. е. он не пережил извержения 79 г. н. э.; он упоминает всего один каменный театр в Риме (III, 3, 2), а именно театр Помпея, тогда как в 13 г. до н. э. их было уже три; он ничего не говорит ни об общественных термах, ни об амфитеатрах в Риме, сообщая, что гладиаторские игры происходили на площадях (V, 1, 1); наконец, и это самое важное, Витрувий мало говорит о кладке из обожженного кирпича и о сводах и вовсе не описывает кирпично-бетонной сводчатой техники, получившей такое широкое распространение в императорскую эпоху,

⁴ Aug. Choisy. Vitruve, III. Paris, 1909, p. 259.

⁵ Попытка Крона (Vitruvius Lipsiae, ed F. Krohn, 1912, prael.) заподозрить подлинность этого места, а тем самым и практическую деятельность Витрувия как архитектора, мало убедительна (см. Sackur, Vitruv und die Poliorketiker. Berlin, 1925, 154—155).

⁶ См. указатели Плиния к книгам XVI, XXXV и XXXVI.

начиная уже с I в. н. э. Поэтому следует считать несостоятельными гипотезы всех тех, кто относил Витрувия к эпохе Флавиов⁷, к IV в.⁸ и к средним векам⁹ или, что уже является чистой фантастикой, к эпохе Возрождения¹⁰.

Установление более точных хронологических границ написания трактата Витрувия в пределах второй половины I в. до н. э. крайне затруднительно, так как не может основываться на сколько-нибудь определенных данных. Нет у нас таких данных и для установления годов рождения и смерти Витрувия.

«Десять книг об архитектуре» представляют собой энциклопедию технических наук. Архитектура, в понимании Витрувия (I, 3, 1), включает в себя три основные области: архитектуру в узком смысле этого слова, т. е. строительную технику и строительное искусство (I—VIII), гипомонику, т. е. изготовление приборов для измерения времени (IX), и механику, т. е. изготовление грузоподъемных и водоподъемных машин и осадных метательных орудий (X). Охватывая весь круг знаний, необходимых для строителя и инженера, трактат Витрувия — не просто сборник рецептов и не только практическое руководство, но и определенная система теоретических научных знаний. Согласно определению самого автора (I, 1), практика основывается на теории, опыт проверяется и руководится наукой. Наука же на основании устанавливаемых ею законов природы объясняет, почему надо строить так, а не иначе, показывает, как надо строить, и расценивает уже построенное. Отсюда вытекает требование всестороннего образования для архитектора, и Витрувий не только перечисляет те науки, которые должен знать архитектор, но и действительно обосновывает все области строительства соответствующими научными теориями, излагая их подчас весьма пространно. Витрувий требует от архитектора знакомства и с гигиеной, метеорологией и климатологией (I, 4, 6; VI, 1, 4), и с геологией, минералогией и ботаникой (II), и с почвоведением (VIII), и с акустикой и музыкальной теорией (V, 3—5; VI), и с прикладной астрономией (IX), и с механикой (X), и, наконец, с архитектурной эстетикой, которую Витрувий вначале определяет чисто абстрактными категориями (главным образом «благообразием» — decor — I, 2), а затем в ряде случаев выводит из законов построения человеческого тела (например, III, 1), из законов физиологической оптики (III, 3, 10; 4, 5; 5, 10; 5, 13; 4, 4; 6, 2; 3, 5) и из чисто конструктивных принципов (IV, 2). В основе научных теорий Витрувия лежат две натурфилософские концепции: учение о четырех стихиях и представление об универсальном объективном значении числовых закономерностей и пропорциональных отношений, которые, согласно воззрениям Витрувия, можно обнаружить в строении человека и вселенной и без которых нельзя построить ни красивого здания, ни точно работающей машины; так, например, принцип модульности применяется и в теории ордеров и в конструкции баллисты. Кроме того, интересно отметить, что Витрувий прибегает и к историческому объяснению фактов, с нашей точки зрения довольно наивному; он набрасывает картину происхождения архитектуры (II, 1), прослеживает генезис и историю архитектурных ордеров (IV, 1) и отдельных мотивов (I, 1, 5—6) и выводит основные элементы ордера из форм

⁷ Ньютон — Vitruvius, translated by W. Newton. London, 1771—1791; Mortet — Mortet. «Rev. arch.», 1902(41), 39; 1904(3), 222, 382.

⁸ Уссинг — Ussing. Observations on Vitruvius. London, 1898.

⁹ Шульц — Dr. L. F. Schultz. Untersuchungen über das Zeitalter des römischen Kriegsbaumeisters M. Vitruvius Pollio, 1856.

¹⁰ Н. Морозов. Христос, IV. II. 1928—1930, 622—626, 652—654.

деревянного зодчества (IV, 2), не говоря уже о целом ряде исторических анекдотов, которые он вводит в качестве иллюстраций для назидания.

Такова проблематика трактата. Создавая свою энциклопедию, Витрувий чувствует себя пионером в этом деле и несколько не закрывает глаз на те трудности, какие ему приходится преодолевать. Он должен прежде всего собрать и объединить литературу своих предшественников, представляющую собой разрозненные и несистематические отрывки, посвященные отдельным вопросам (IV, Предисловие). Затем он должен найти такую форму изложения, чтобы она была понятной всякому, даже неспециалисту; для этого необходимо иметь строгий план, необходимо уметь выражаться кратко и ясно и выработать единую и точную терминологию (V, Предисловие). Витрувий считает недопустимым присваивать чужое мнение; поэтому он добросовестно и подробно перечисляет все свои источники (Предисловие). К сожалению, ни одно из упоминаемых им специальных сочинений до нас не дошло, и поэтому очень трудно установить, как и в какой мере они им использованы. Подавляющее большинство приводимых Витрувием авторов — греческие мастера эллинистического периода. Яснее других обрисовывается фигура Гермогена, архитектора II века до н. э., строителя храма Артемиды в Магнесии и храма Диониса в Теосе. Из известных нам латинских авторов Витрувий ссылается (VII, Предисловие, 14) на не дошедшее до нас сочинение Варрона «О девяти науках» (*Disciplinarum libri IX*), последняя книга которого была посвящена архитектуре. Помимо литературных источников, Витрувий очень часто иллюстрирует свое изложение ссылками на памятники. Однако надо признать, что эти ссылки носят настолько общий и неопределенный характер, что трудно установить, видел ли Витрувий эти памятники, за исключением римских построек, или он ссылается на них с чужих слов. Зато как только речь заходит о строительной технике, сразу же чувствуется, что Витрувий говорит как специалист. Язык его становится точным и конкретным, ибо автор уже не излагает тот или иной литературный источник, а сообщает определенную рецептуру, как плод многолетнего практического опыта. Наоборот, когда Витрувий покидает почву своего ремесла, когда он излагает более отвлеченные предметы или когда он пускается в красноречие, сразу же обнаруживается его писательская неопытность и его недостаточная осведомленность в области книжной науки (см., например, II, 2 и VIII, вст. 1, где сказались весьма сомнительная осведомленность в учении философов; I, 2 с очень туманными эстетическими определениями).

Итак, Витрувий далеко не владеет той полнотой всестороннего знания, которой он требует от архитектора. Однако это несколько не умаляет огромного принципиального значения его замысла, столь характерного для античности, и столь поучительного для нас понимания архитектуры как научного синтеза искусства и техники. И там, где Витрувий дает практические указания относительно постройки зданий, он прекрасно умеет совмещать с практикой и теорию. В этом отношении чрезвычайно интересна глава 4 книги IV, где Витрувий указывает, что при расчетах толщины колонн надо учитывать заколы физиологической оптики. Исключительно важно также указание Витрувия о правилах соразмерности в главе 6 книги V. Это место из его трактата настолько интересно, что стоит привести его целиком:

«Однако невозможно, чтобы указанные правила соразмерности отвечали всем условиям и потребностям во всех театрах, но архитектор обязан принять во внимание, в каких пропорциях надо следовать этой соразмерности и какие следует видоизменять в соответствии с природным местоположением или с величиною сооружения. Ибо есть вещи, которые

непрерывно должны быть как в самом маленьком, так и в большом театре одной и той же величины в связи с их назначением; таковы ступени, круговые проходы, барьеры, входы, подьемы, помосты, почетные кресла и другое, в чем по необходимости приходится отступать от соразмерности для избежания неудобств при пользовании. И точно так же, если при постройке не хватит какого-нибудь материала, вроде мрамора, дерева и чего-нибудь еще из заготовок, то вполне допустимо делать небольшие сокращения или добавления, лишь бы это было сделано не слишком нелепо, но со смыслом. Это возможно, если архитектор имеет практический опыт и, кроме того, не лишен живого ума и изобретательности».

Чтобы объяснить основные черты намеченной здесь характеристики Витрувия, необходимо сделать попытку определить место, занимаемое им в истории античной культуры. Грандиозное строительство, развернувшееся при Августе, должно было подчеркнуть мощь римского владычества; и строительство это должно было развернуться в первую очередь в Риме. Кроме того, Рим должен был вместить огромные массы скопившегося в нем населения, требовавшего «хлеба и зрелищ». Наряду с этим необходим был целый ряд мер по благоустройству города, по проведению водопроводов и дорог, а также по рационализации жилищного строительства, где в это время шла бешеная спекуляция, многоэтажные квартирные дома строились наспех и служили очагами постоянных пожаров (Светоний, «Август», 28—30). Эта программа требовала, с одной стороны, достаточно высокого уровня практических и теоретических технических знаний, с другой — создания нового, своего, римского архитектурного стиля. Однако Рим не имел своей технической литературы на латинском языке, а сочинения александрийских механиков были доступны только узким специалистам, главным образом приезжим грекам. Точно так же обстояло дело и с архитектурой, которая должна была занять ведущую роль в культуре императорского Рима. Конечно, Рим в эпоху Республики имел и собственные, так сказать, национальные архитектурные традиции как в области техники, так и в области планировки жилья и храма, но стилистически римская архитектура в это время была не более, как вариантом эллинистической. Греческие мастера строили в Риме, а римские — в Греции¹¹. Однако подлинно римская архитектура, отвечавшая грандиозным задачам нового общественного строительства, возникла лишь в императорскую эпоху. Но сочинений по архитектуре, отвечавших задачам нового римского строительства и написанных на латинском языке, не было. И вот Витрувий учел потребность в архитектурном учебнике, который подвел бы итог строительной теории и практике эллинизма и тех успехов, каких достигли римские архитекторы.

Но трактат Витрувия об архитектуре отнюдь не руководство только для специалистов. Более того: это сочинение предназначено скорее для заказчиков, поручающих архитекторам постройку зданий; и лишь потому, что Витрувий сам был специалистом-архитектором, он дал в своем трактате большое количество практических и теоретических указаний, которые оказались полезными и для архитекторов — как римских, так и принадлежащих к позднейшим эпохам вплоть до нашего времени. Обращаясь к Августу (1, Предисловие, 3), он так определяет задачу своего труда:

«...Я предпринял написать для тебя это сочинение, так как вижу, что ты возвел и поныне возводишь здания и намерен и впредь заботиться о передаче потомству общественных и частных строений, соответствующих величию твоих деяний. Я составил точные правила, дабы на основании их

¹¹ Как, например, Коссутий, строитель храма Зевса в Афинах, о котором говорит Витрувий (VII, Предисловие, 15).

ты мог самостоятельно судить о качестве как ранее исполненных работ, так и о том, каковы должны быть будущие, ибо в этих книгах я разъяснил все законы архитектуры».

Не менее интересно то, что говорит Витрувий во вступлении к книге VI (§ 6):

«Когда же я вижу, что наука такой важности бросается на произвол неучей и невежд и таких, кто не имеет никакого понятия не только об архитектуре, но даже и о ее практике, я не могу не одобрять тех домохозяев, которые, строя для себя сами и полагаясь и надеясь на свою грамотность, рассуждают так: если приходится доверяться невеждам, то уж гораздо лучше самим, по собственной воле, чем по воле другого истратить известное количество денег.

Итак, никто не принимается у себя дома ни за какое другое мастерство, — ни за сапожное, ни за сукновальное, ни за какое-нибудь еще из более легких, — кроме как за архитектуру, из-за того, что выдающие себя за архитекторов называются так не по действительному знанию этого мастерства, а обманным образом. По этой причине я и задумал написать руководство по архитектуре с тщательным изложением ее правил, полагая, что такое приношение не будет негодно никому из живущих на свете».

Несмотря на то, что во многом, в особенности в части техники сводов, трактат Витрувия должен был скоро устареть, мы знаем, что и в последующие века он сохраняет свое значение: во II в. краткую выдержку из него составляет Марк Цетий Фавентин; а в IV в. Палладий в строительной части своего сочинения по сельскому хозяйству целиком примыкает к Витрувию. Самое сохранение «Десяти книг по архитектуре», дошедших до нашего времени, несомненно свидетельствует о большой популярности сочинения Витрувия.

Дальнейшая судьба Витрувия — замечательное явление в истории европейской культуры. Это один из тех редких случаев, когда литературная традиция, более того — отдельная книга, надолго определила характер и направление развития целой области человеческого творчества. Не забыт был Витрувий и в средние века, но, так сказать, заново открыт был Витрувий в эпоху Возрождения. «Ордера» Витрувия явились исходной точкой для всей архитектурной эстетики Возрождения.

Даже и в наши дни, при всех огромных усовершенствованиях строительной техники, трактат Витрувия не утратил своего значения, и многие из его положений и принципов продолжают жить в современном зодчестве.



Глава XXXII

ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО ПРИ АВГУСТЕ

1. Риторические школы и ораторы времени Августа.— 2. Сенека Старший. а) Биография.— б) Сочинения Сенеки.— в) Политические воззрения Сенеки.— г) Композиция и содержание «Контroversий» и «Свазорий».

1. РИТОРИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ И ОРАТОРЫ ВРЕМЕНИ АВГУСТА

Установление монархии в Риме нанесло тяжелый удар римскому красноречию. «Непрерывное спокойствие, продолжительное бездействие народа, постоянная тишина в сенате и всего более строгие порядки правителя умиротворили и самое красноречие, как и все остальное» (Тацит, «Разговор об ораторах», 38). Что касается «изящной» литературы, то это «умиротворение» повлияло в известной мере положительным образом. Напротив, на развитие ораторского искусства политический переворот, безусловно, оказал отрицательное влияние, сильно сузив область его применения. Даже во время краткой диктатуры Юлия Цезаря выяснилось, что дорога для политического красноречия, наиболее ответственной и важной формы красноречия вообще, почти закрыта: самому Цицерону пришлось испытать это на себе. Выступать с речью на форуме перед сотнями слушателей или произносить ее перед Цезарем и его ближайшими друзьями — далеко не одно и то же; и в своих трех речах, относящихся к годам диктатуры (за Лигария, за Марцелла, за царя Дейотара), Цицерон даже решался указать на то, что «его давят стены того закрытого помещения, в котором ему приходится говорить» и что слишком малый круг слушателей парализует его красноречие. После прихода Октавиана к власти, с постепенным усилением его единоличного господства, комиции и сенат, являвшиеся при республиканском строе основным полем деятельности ораторов, перестали играть реальную политическую роль. Однако судьба комиций и сената была все же различна: комиции перестали созываться уже при Августе, сенат же продолжал существовать, и если в нем нельзя было действовать, то тем более нужно было говорить, хотя и совершенно иначе, чем это было во времена Республики.

В свое время Аристотель, «отец» риторики как *теории* красноречия, разделил все ораторское искусство на три рода: совещательное (*genus deliberativum*), т. е. собственно *политическое* красноречие, владение которым было необходимо для выступлений перед большими собраниями, полномочными принимать решения относительно государственных дел; *судебное* красноречие (*genus iudiciale*), владеть которым и в греческом, и в римском суде должен был не только обвинитель и защитник, но и сам обвиняемый, что и привело к сочинению речей от лица обвиняемого (см., например, речи Луция): *торжественное* красноречие (*genus demonstrativum*).

rativum), применявшееся в разного рода торжественных речах (приветственных, хвалебных, надгробных), а также в риторических «фокусах», имевших целью только показать искусство в подборе доказательств и в блеске выражений (например, «Похвала Елены» Горгия, «Бусирид» Исократы и т. п.).

Это разделение ораторского искусства на роды сохраняется всеми позднейшими теоретиками-риторами; мы встречаем его впоследствии у Квинтилиана («О воспитании оратора», II, 21, 23), который обосновывает этим разделением свой тезис о том, что оратор должен знать все и уметь говорить обо всем: «ведь нет ничего, что не вошло бы в один из этих родов» (там же). Однако даже по тем примерам, которые Квинтилиан приводит для доказательства своего положения, видно, насколько сузилось поле деятельности оратора: о политическом «совещательном» красноречии он не упоминает совсем, а говорит только о чисто деловых или судебных вопросах.

Нельзя, однако, полагать, что с установлением единовластия императоров «совещательный» род красноречия окончательно погиб; его пережитки сохранились в особой форме речей — «увещаний» правителю, которые иногда преподносились ему в той речи, которую произносил кто-нибудь из видных членов сената при принятии данным лицом верховной власти. Сквозь похвалы и лесть, присущие такого рода речам, настойчиво звучат «добрые» советы, к которым следовало бы прислушаться правителю, и обрисовывается образ «идеального» владыки, милостивого, справедливого и — что главное — уважающего мнение своих приближенных, а не только свое собственное. Легко догадаться, из каких кругов идет эта тенденция: остатки когда-то мощной римской аристократии, которая была лишена реальных политических прав, но не забывала о том времени, когда ими обладала, пытаются внушить единовластным правителям мысль о необходимости считаться с «лучшими» людьми.

Политическое красноречие в конце концов вылилось в такую форму «увещательного» панегирика, но это произошло лишь около столетия спустя.

Пышным цветом расцвел другой род ораторского искусства — торжественное красноречие. Множество образованных римлян, принимавших прежде активное участие в общественной жизни и деливших свое время между сенатом, форумом и военными походами, оказались, так сказать, не у дел. Тот *otium cum dignitate* (отдых в достойных формах), который казался Цицерону, хотя и приятным проведением времени, но не вполне соответствовавшим призванию римского гражданина, стал при принципате и Империи постоянным и необходимым образом жизни для огромного числа людей; уже Асиний Поллион, участвовавший в молодости во всех бурях гражданских войн и заслуживший славу полководца, провел вторую половину жизни как собиратель книг, литератор и первый организатор закрытых ораторских выступлений — «рецитаций» или «декламаций», на которых охотно и с успехом выступал и сам. Поллион примыкал к аттицистам и следовал старым республиканским образцам: речь его была изысканно сухой, напряженной, отрывистой: «Он был так далек от блеска и приятности Цицерона, что, казалось, был столетием старше его» (Квинтилиан, X, 1, 113). В декламациях выступал, как его соперник, и Валерий Мессала; он продолжал традицию Цицерона и даже превосходил свой образец в чистоте, мягкости и легкости языка, но ему не доставало силы выражения (Сенека, «Контroversии», II, 4, 8). Упражнения в искусстве речи и наслаждение искусной речью сделались любимым занятием тех образованных римлян, которые предпочитали такой вид «культурного»

отдыха пирушкам и кутежам. Именно в этом культивировании красоты речи как таковой скрывалась большая опасность для ораторского искусства, все более отрывавшегося от своей реальной основы: выступавшие в «декламациях» не должны были в чем-либо действительно убеждать своих слушателей; даже если они избирали темой своего выступления судебное дело, они не могли обвинить или оправдать, спасти или погубить кого-либо — потому что этого «кого-либо» не было на свете; оратор обвинял или защищал вымышленное лицо или выступал от его имени, причем его целью было только показать свою ловкость в подборе доказательств, свое остроумие и свое владение всеми богатыми возможностями литературной латинской речи.

Наиболее реальную пользу продолжало приносить существовавшее во все времена и у всех народов судебное красноречие. Правда, громкие процессы, носившие скорее политический, чем юридический характер и привлекавшие к себе толпы заинтересованных слушателей, горячо сочувствовавших той или другой стороне (как процессы Верреса, Милона, Мурены или Ватиния), уже при Августе и тем более при позднейших императорах стали невозможны; дела, имевшие какое-бы то ни было политическое значение, решались самим принцепсом и его ближайшими советниками. Август еще умел выбирать их из людей, действительно способных участвовать в делах правления (как Мэценат и Агриппа), пресмпики же его стали поддавать под влияние временщиков и фаворитов, которых они и приближали к себе, и ссылали, и казнили по своему усмотрению.

Напротив, организация суда по частным гражданским и уголовным делам при принципате и Империи стала более упорядоченной, чем была во времена Республики. Суды «центумвиров» функционировали регулярно, над систематизацией законодательства работали специалисты-юристы, и ведение судебного дела, даже по мелким частным вопросам имущественного, земельного и наследственного права, стало ответственной задачей; насколько серьезно должны были относиться к своим обязанностям и судьи, и ораторы, видно, например, из писем Плиния Младшего, который искренно беспокоился о своих подопечных, руководствуясь при этом не только своими личными симпатиями, а разбирая дело по существу.

К такого рода деятельности, безусловно, надо было готовиться, и готовиться основательно; поэтому было бы неверно полагать, как это обычно принято в пособиях по истории литературы, что в риторических школах занимались исключительно пустословием: подготовка десятков и сотен людей, которым вручалось решение юридических вопросов на всем огромном пространстве, подлежавшем юрисдикции Рима, являлась ответственной и серьезной задачей, и именно ее выполняли так часто осмеиваемые и порицаемые учителя риторики, заставлявшие своих учеников упражняться в воображаемых судебных процессах.

Школьное образование в Риме было трехступенным. Низшей ступенью была школа литератора, средней — школа грамматика, высшей — школа ритора. У литератора дети учились читать, писать и считать. У грамматика подростки изучали классических писателей; чтение сопровождалось комментарием филологическим, историческим и моралистическим. У ритора молодые люди овладевали красноречием, которое должно было стать основной формой практического применения усвоенных знаний.

Одним из упражнений в красноречии, применявшихся в риторских школах, и были декламации.

Само понятие «декламаций» как систематических выступлений в закрытых кружках и этот термин, по свидетельству ритора Сенеки Старшего, появились в его время, т. е. при принципате и Империи: «Цицерон, — гово-

рит Сенека, — произносил (*declamabat*) совсем не такие речи, какие мы теперь называем контрoверсиями, и не такие, какие произносились до него и назывались «положениями» (*thesis*). Тот вид упражнений, которым пользуемся мы, настолько новый, что даже имя его является новым; мы называем их «контрoверсиями», Цицерон называл «делами» (*causae*)... Название «контрoверсии» появилось гораздо позднее, да и о «декламациях» мы ничего не найдем ни у одного древнего автора до Цицерона и Кальва... последний говорит: «декламировать — значит, неплохо говорить в домашней обстановке»; значит, одно он считает домашним упражнением, другое — настоящим делом. И название появилось недавно, да и само это занятие только недавно вошло в моду (*celebrari coepit*); мне легко проследить, так сказать, с колыбели это явление, родившееся позже, чем я сам» (Сенека, «Контрoверсии», введ. к кн. I, 12). Именно в эпоху Августа это слово становится термином, обозначающим речь на вымышленную тему. Было два вида декламаций: более легкие — свазории и более трудные — контрoверсии. Свазориями назывались увещательные речи, обращенные к какому-либо мифологическому или историческому герою: например, к Агамемнону, колеблющемуся принести в жертву Ифигению, или к Цицерону, размышляющему, не попросить ли ему Антония о пощаде. Контрoверсиями назывались речи по поводу какого-либо сложного судебного казуса, в применении к которому противоречили друг другу два закона, или закон и нравственное чувство, или два противоположных чувства.

Техника декламаций была тонко разработана. Основной задачей ритора было выделить и осветить лежащую в основе контрoверсии противоположность закона и долга, *ius* и *aequitas*, *an liceat* и *an debeat*. Это носило название «разделения» (*divisio*); часть речи, посвященная требованиям закона, называлась *quaestio*, часть речи, посвященная требованиям справедливости, — *tractatio*. Тема контрoверсии содержала лишь сухой перечень фактов; обстоятельства и психологические мотивировки ритор должен был сочинить сам в интересах защищаемой им стороны; это называлось «расцветкой» речи (*colores*). К этому присоединялись отступления: описания и «общие места». Содержание определяло стиль: в основе стилистики декламаций лежала антитеза, она украшалась параллелизмами и заострялась сжатými броскими изречениями (*sententiae*).

Бесспорно, декламации были отличной школой оратора и адвоката. Ни один из античных критиков не оспаривает педагогического значения декламаций и не допускает возможности отказаться от них. Зато они в один голос требуют, чтобы темы декламаций были как можно ближе к повседневной ораторской практике, чтобы школа была подготовкой к жизни. Это требование и было нарушено риторикой эпохи Империи.

Теоретическое совершенство риторики росло, практическое значение красноречия падало. Декламация переставала быть средством подготовки и становилась самоцелью. Ее дальнейшее развитие определялось не запросами жизни, а потребностью исчерпать все свои выразительные возможности. «Кто сочиняет декламацию, тот старается не убедить, а понравиться» (Сенека, «Контрoверсии», IX, вв. 1). Скромные классные упражнения превратились в пышные публичные выступления, схожие с рецитациями поэтов. Вместо того чтобы брать темы контрoверсий из жизни, их стали выдумывать; к выдуманным темам стали применять выдуманные статьи закона. Чем замысловатее и парадоксальнее была тема, тем больше был ее успех.

Сенека незадолго до смерти составил сборник наиболее удачных отрывков из декламаций, слышанных им за свою долгую жизнь, под заглавием

«Изречения, разделения и расцветки ораторов и риторов». (*Oratorum et rhetorum sententiae divisiones colores*). Вот образцы нескольких контрверсий из этого сборника.

Контрверсия III, 9.

Больной потребовал, чтобы раб дал ему яду. Тот отказался. Умиравший завещал наследникам распять раба. Раб ищет защиты у трибунов. Ритор, выступающий против раба, восклицает: «Вся сила завещаний погибла, если рабы не выполняют волю живых, трибуны — волю мертвых. Неужели не господин рабу, а раб господину определяет смерть?» Ритор, защищающий раба, возражает: «Безумен был приказавший убить раба: не безумен ли тот, кто и себя хотел убить? Если считать смерть наказанием, зачем се просить? если благом, зачем ею грозить?»

Контрверсия VIII, 2.

Элейцы пригласили из Афин Фидию, чтобы он им изваял Зевса Олимпийского, обязавшись заплатить сто талантов, если Фидий не вернется в Афины. Когда Фидий закончил работу, его обвинили в краже золота и, отрубив ему руки как святоотатцу, отпустили в Афины. Афиныне требуют сто талантов: «Мы послали вам того, кто мог творить богов, вы нам — того, кто даже молиться им не может». Элейцы оправдываются: «Чтить богов важнее, чем украшать».

Контрверсия II, 7.

Муж путешествует; его жену склоняет к прелюбодеянию иноземный купец; она его отвергает. Купец умер и оставил ей все свое состояние, написав в завещании: «нашел ее целомудренной». Муж, вернувшись, обвиняет жену в прелюбодеянии: «Он называет ее целомудренной, я — развратной; кому вы больше поверите, земляку или чужеземцу, мужу или любовнику? До чего дошла безправственность нашего времени: чужой человек свидетельствует за жену перед мужем». Но защитник жены мог эффектно возразить: «Она прекрасна? в этом виновата природа. Одинока? виноват муж. Ее соблазнили? виноват соблазнявший. Она его отвергла? видим ее целомудрие. Получила наследство? видим ее счастье. Приняла его? видим ее разум».

Контрверсия III, 1.

По закону слепой получает из казны тысячу денариев. Несколько юношей, промотав свое добро, с общего согласия бросили жребий: тот, чье имя выпало, был ослеплен и потребовал из казны тысячу денариев. Это — повод для громких сетований на испорченность нравов: «Проев имущество, проедают себя»; «Государство дает эти деньги только тем, кто рад бы их не брать»; «Можно кормить того, кто кормится из-за ослепления, но не того, кто ослепляется из-за кормления».

К деятельности риторы и к самому методу обучения молодых людей путем декламаций далеко не все ораторы относились положительно. Недовольство той искусственной атмосферой, в которой культивировалось красноречие, проявлялось в резкой форме у тех ораторов, которые и по политическим убеждениям принадлежали к оппозиции. Серьезно относясь к судебной деятельности, они считали подготовку к ней на воображаемых темах не только бесполезной, но даже вредной.

Виднейшими ораторами оппозиции были *Тит Лабие* (T. Labienus) и *Кассий Север* (Cassius Severus). Лабие, сын или внук известного полководца, сохранил его «помпеянский дух». Он жил в нищете, слыл безнравственнейшим человеком, его боялись и ненавидели; за яростные нападки на политических противников он был прозван бешеным (Rabienus). «Но, обвиняя его во всех пороках как человека, нельзя было не воздать многое его дарованию, — пишет Сенека. — Он достиг славы скорее по признанию, чем по желанию современников» («Контroversии», X, вв. 4—5). Не имея достаточной свободы на форуме, он выступил как историк; однажды, читая публично свою историю, он пропустил большой кусок, заявив: «пропущенное прочтут после моей смерти» (там же, 8). В 12 г. н. э. по сенатскому постановлению сочинения Лабиена были публично сожжены: после этого оратор демонстративно покончил самоубийством, приказав замуровать себя в родовом склепе (там же, 7). Когда жгли книги Лабиена, Кассий сказал: «Теперь надо сжечь и меня, потому что я их знаю наизусть» (там же, X, вв. 8). Вскоре после этого за сочинение каких-то памфлетов Кассий был сослан на Крит. Тиберий в 24 г. отправил его в еще более глухое место, на эгейский остров Сериф; там он и умер в нищете после двадцатипятилетней ссылки.

Крайне отрицательно оценивал декламации и Кассий Север. Сенека приводит его резко критические высказывания: на вопрос Сенеки, почему декламации Кассия не соответствуют его славе как судебного оратора, речь которого была «мощной, художественной, полной глубоких изречений» («Контroversии», введ. к кн. III, 2), Кассий разразился гневной тирадой против декламаций вообще, а особенно против славившегося в то время декламатора Цестия. «Я привык, — говорит Кассий, — смотреть не на слушателя, а на судью; я привык отвечать не себе самому, а противнику; я избегаю говорить пустое и противоречивое; а что в школьных упражнениях не пусто, когда само занятие ими — пустейшее дело! Я тебе выскажу мое отношение к этому: когда я говорю на форуме, и делаю дело; когда я декламирую... мне кажется, что я действую во сне. Сама задача различна: одно дело бороться, другое — порхать (ventilare). Всегда так и считали: школа — игра, форум — арена... Приведи-ка этих декламаторов в сенат или на форум... как тело, приученное к закрытому помещению и к тени, не может находиться под открытым небом и не переносит ни дождя, ни солнца, так и они, переменяв место, теряются — они ведь привыкли быть красноречивыми только по своему собственному мнению. В этих ребяческих упражнениях даже нельзя распознать, кто действительно оратор; можно ли узнать кормчего, если его пустить в рыбный садок?» (там же, § 13). Далее Кассий вышучивает Цестия, который критиковал речь Цицерона в защиту Милона, но настолько растерялся от насмешливой выходки Кассия¹, что не мог продолжать своей речи и потребовал, чтобы Кассий вышел из зала. Свою инвективу Кассий заканчивает словами: «Если бы я хотел сравняться с такими людьми, то мне надо было бы обладать не бóльшим талантом, а меньшим здравым смыслом» (там же, § 18).

Кассий Север славился силой и убедительностью своей речи. «Никто более его не властвовал над настроениями слушателей», — пишет Сенека (там же, III, вв. 2). Экспромтом он говорил лучше, чем подготовившись, раздраженный лучше, чем спокойный. «Огромное дарование, удивитель-

¹ Услышав, как Цестий восхвалял себя и говорил: «Если бы я был пантомимом то был бы Бафиллом, если бы конем, то Мелиссием» (тогдашние победители на играх), — Кассий громко крикнул: «А если бы ты был клоакой, то был бы клоака максима» (огромная сточная труба в Риме для нечистот).

ная едкость, необычайное изящество; но руководится он скорее настроением, чем рассудком» (Квинтилиан, X, 1, 116); «ведет не битву, а драку» (Тацит, «Разговор об ораторах», 26).

Того же мнения о декламациях, по словам Сенеки, придерживался другой судебный оратор, *Вотиен Монтан* (Votienus Montanus): «Тот, кто подготавливает декламацию, — говорил он, — пишет не для того, чтобы победить, а чтобы понравиться... Он хочет стяжать успех для себя, а не для дела... Своих противников декламаторы всегда изображают дураками и отвечают им что хотят и когда хотят... Когда они приходят на форум и каждый их жест не сопровождается аплодисментами, они либо вовсе замолкают, либо путаются» («Контroversии», введ. к кн. IX, 3). Рассказав о том, как известный декламатор Латрон Порций настолько растерялся при ведении под открытым небом одного процесса в Испании, что потребовал перенесения суда в закрытое здание (in basilicam), где обстановка напоминала ему школу, Монтан высказывает жестокое суждение о полезности декламаций вообще: при обучении всем искусствам и ремеслам, говорит он, в школах стараются давать учащимся более трудные задачи, чем тем, которые могут представиться им в действительности. В школьных же декламациях дело обстоит наоборот (там же, § 4).

Своеобразной фигурой был *Албуций Сил* (Albucius Silus), приехавший в Рим из северной Италии около 23 г. до н. э. «Честнейший человек, неспособный ни совершить, ни вытерпеть несправедливость», — характеризует его Сенека («Контroversии», VII, вв., 7). Он был автором теоретической работы по риторике, его речи всегда были тщательно подготовлены, его сентенции, простые и сильные, одобрял такой строгий критик, как Асиний Поллион (там же, 2). Но несмотря на это, Албуций больше всего боялся прослыть педантом (scholasticus; там же, 4). Из-за этого он не открыл своей школы, избегал публичных выступлений и декламировал только в узком кругу друзей. Из-за этого он не заботился о соразмерной композиции своих речей, перегружая их риторическими фигурами, часто пускался в отвлеченные философские рассуждения или, наоборот, нарочно говорил о предметах, считавшихся низменными. Из-за этого же он не сумел выработать собственной манеры речи, подражал то одному, то другому ритору, и на старости лет говорил хуже, чем в молодости. Все это делало его удобной мишенью для насмешек. Вдобавок, он не умел скрывать своих республиканских симпатий и публично называл Брута «творцом и защитником свободы» (Светоний, «О риториках», 6). Албуцию пришлось покинуть форум, а потом и Рим. Старый и больной, вернувшись в родной город, он в публичной речи перед согражданами обосновал причины, побуждавшие его умереть, и затем покончил самоубийством, уморив себя голодом.

Лабие и Кассий Север — последние фигуры в ряду оппозиционных ораторов века Августа. Однако и они, несмотря на их отвращение к чистой декламации, уже далеко отошли от ораторов времен Республики. О Лабие Сенека говорил: «Цвет его красноречия был древний, мощь — новая, отделка — промежуточная между нашим веком и прошлым, так что каждая сторона могла присваивать его себе» (там же, X, вв. 5). А когда в эпоху Империи окончательно определились черты нового периода в истории римского красноречия, первым и лучшим представителем нового красноречия был признан Кассий Север. В «Разговоре об ораторах» Тацита (гл. 19) Агр говорит: «Почитатели древних обычно ставят его пределом древности и заканчивают древность на Кассии Севере, заявляя, что он первый отклонился от прямой дороги древнего красноречия; я же утверждаю, что не по слабости таланта и не по недостатку знаний обратился он

к новому роду красноречия, но разумно и сознательно: он знал... что вместе с условиями времени и переменой вкуса необходимо изменяется образ и красота речи».

Успех нового красноречия был результатом деятельности целой плеяды риторов декламаторов, выступавших в годы принципата Августа. От их декламаций сохранились лишь мелкие отрывки в названной книге Сенеки. Тот же Сенека дает характеристики некоторых из них.

Среди декламаторов наибольшей славой пользовался *Порций Латрон* (Porcius Latro), уроженец Испании, друг Сенеки. Его авторитет был так велик, что он мог не доказывать, а показывать достоинства того или иного оборота: ученики подражали ему без объяснений. На его декламациях бывал сам Август («Контроверсии», II, 4). Страстный и увлекающийся, то занимаясь до изнеможения, то бросаясь в развлечения, он рано подорвал свое крепкое здоровье; его ученики пили тмин, чтобы подражать его лихорадочной бледности (Плиний Старший, XX, 160); измученный болезнью, он покончил самоубийством в 3 г. до н. э. Латрон избегал излишеств нового красноречия, в слог стремился к ясности, в расцветках — к правдоподобию; но старому, практическому красноречию он был совершенно чужд.

Другой знаменитостью был *Ареллий Фуск* (Arellius Fuscus), грек из Малой Азии, декламировавший охотнее по-гречески, чем по-латыни. Его любимым упражнением были описания и рассуждения; молодежь им восторгалась, но Сенека в старости относится к нему довольно сурово («Свазории», 2, 10 и 23). Фуск особенно любил свазории (там же, 4, 5), а в контроверсиях бегло и сухо касался существа дела и распространялся там, где можно было сделать описательное отступление («Контроверсии», II, вв. 1). На таких описаниях он выработал свой пышный, запутанный, изыскано-плавный слог: «Блестящая речь, но скорее распушенная, чем легкая», — отзываясь о нем Сенека (там же).

Ритор *Цестий Пий* (Cestius Pius), соперничавший славою с Латроном и подвергшийся насмешкам Кассия Севера, был известен как человек самонадеянный, язвительный и циничный. Он откровенно заявлял: «Многое я говорю не потому, что это нравится мне, а потому, что это понравится слушателям» («Контроверсии», IX, 6, 12). Действительно, его эффектные речи пользовались громким успехом, хотя, будучи по происхождению смирским греком, он порой затруднялся в выборе латинских выражений (там же, VII, 1, 27). Его едкие остроты о других ораторах передавались из уст в уста (там же, VII, вв. 8, 9; 7, 19; I, 2, 11). Особенно нравилось школьной молодежи его демонстративное презрение к Цицерону, на некоторые речи которого он даже сочинил опровержения. «Мальчики и юпощи вызубривают декламации Цестия, а из речей Цицерона читают только те, на которые возражал Цестий», — жаловались поклонники Цицерона (там же, III, вв. 15). Однажды Кассий Север привлек его к суду за оскорбление имени Цицерона и этим так смутил Цестия, что знаменитый ритор не смог защищаться сам и взял адвоката; Кассий обещал взять жалобу назад, если Цестий публично признает, что Цицерон красноречивее его, но Цестий отказался (там же, 17).

Легкостью и живостью речи славился *Квинт Гатерий* (Q. Haterius), впоследствии — один из самых усердных льстецов императора Тиберия (Тацит, «Анналы», I, 13). «Стремительность его речи была так велика, что становилась пороком; поэтому отлично сказал божественный Август: «Нашего Гатерия надо обуздывать», — сообщает Сенека (Контроверсии, V, вв. 6). Гатерий не заботился о риторической отделке речей и

полагался на вдохновение; не умея соблюдать меру в своих порывах, он во-дил с собой вольноотпущенника, который во время декламации подавал ему знаки (там же, 8). «Прилежание и труд других ораторов живут в по-томстве, но звучность и плавность Гатерия угасла вместе с ним», — гово-рит Тацит («Анналы», IV, 61).

Это были декламаторы старшего поколения века Августа. Под их влия-нием выросло бесчисленное множество младших риторов, чьими старания-ми новое красноречие стало неотъемлемой частью римской культуры. Уче-ником Ареллия Фуска был *Папирий Фабиан* (Papirius Fabianus), кото-рый стал философом школы Секстиев, но не мог забыть риторической манеры своего учителя (Контroversии, II, вв.). Из школы Порция Ла-трона вышел поэт *Арброний Силон* (Arbronium Silo), сын которого сочинял театральные либретто (Свазории, 2, 19). Овидий был внимательным слу-шателем как Ареллия, так и Латрона, и сам считался замечательным декламатором, особенно по части свазорий (Контroversии, II, 2, 8, 8—12). Под сильным влиянием Овидия находился *Алфий Флав* (Alfius Flavus), ученик Цестия, еще подростком декламировавший с таким успехом, что сам Цестий не решался выступать вслед за ним (там же, I, 1, 22; III, 7). У Цестия было много подражателей, но к их риторике он относился свы-сока и одного из них, *Аргентария* (Argentarius), называл своей «обезья-ной» (там же, IX, 3, 12). Наиболее видным ритормом этого поколения был *Юний Галлион* (Junius Gallio) также друг Овидия, посвятившего ему одно из понтийских посланий (IV, 14); Сенека, связанный с Галлионом семейными узами, ставил его даже выше Латрона («Контroversии», X, вв. 13).

Одновременно с практикой развивалась и теория. Школьное красно-речие было, в основном, азиатским; об эпигонах аттицизма Сенека упо-минает лишь мимоходом (там же, X, 5, 21). Но внутри этого направления продолжалась борьба между приверженцами аналогистов и приверженцами аномалистов. Аналогисты исходили из практики судебных речей и требова-ли от речи строгой последовательности и равномерности частей; аномалисты исходили из практики политических речей и допускали отступле-ния от схемы ради выразительности. Теоретиком аналогистов был зна-менитый греческий ритор *Аполлодор Пергамский* (Apollodorus Pergame- nus), учитель Августа; его сочинение перевел на латинский язык поэт Валгий Руф (Квинтилиан, III, 1, 18). Вождем аномалистов был *Феодор Гадарский*, учивший на Родосе, где его слушал Тиберий (там же, 1, 17); в Риме его последователем был ритор *Гермагор*, которым восторгался Албу-ций. Отголоски борьбы «аполлодоровцев» и «феодоровцев» слышатся еще у Квинтилиана.

Подводя итоги деятельности риторических школ, нельзя не заметить, что эта система образования имела и свои хорошие, и свои дурные сто-роны.

Риторические школы в течение многих веков служили хранилищем и рассадником культуры, унаследованной от прошлого; благодаря им рост-ки этой культуры пробивались и охранялись во всех римских провинциях от Понта до Иберии. Через эти школы проходили все лица, желавшие по-лучить образование, так как иной формы образования, кроме этих свое-образных гуманитарно-литературных «факультетов», в то время вообще не существовало; но в этих же школах выработалась та односторонняя форма узко гуманитарного образования, которая закрыла широкие пер-спективы, открывавшиеся перед специальными науками в эллинистическом мире; именно в этих школах развился культ не только слова, но и пусто-словия, и именно их наследницей в средние века явилась та система

образования, которая получила впоследствии название «схоластики» (*scholastica*), встречающееся уже у Сенеки-отца, хотя и в другом смысле.

Засилие декламаторской риторики не могло не вызвать реакции. А так как связь упадка красноречия с упадком политической свободы была для всех очевидна, протест против беспочвенной риторики слился с протестом против режима Августа в целом.

Какова была политическая позиция риторских школ? Риторы-профессионалы в большинстве своем были чужды политике; они были невысокого происхождения, часто — провинциалы, и не могли бы ждать никаких выгод от республиканского строя. Иное дело — их ученики. Риторическое образование было уделом юношей из знати или из зажиточных семей, тянувшихся к знати. Они приносили в риторскую школу отголоски недовольства режимом Августа, которое все шире распространялось в сенаторских кругах. Школы становились чем-то вроде клубов фрондирующей молодежи; риторы, не желая лишаться учеников, не препятствовали этому. Традиционные темы декламаций — тиранноубийство, падение прав, участь Катона и Цицерона — давали возможность для намеков на политическую современность.

Однако это юношеское фрондерство было крайне поверхностным и обычно выветривалось при первом соприкосновении с действительностью. Лишь немногие воспитанники риторских школ сохранили оппозиционный дух на всю жизнь.

Если сравнить судьбы ораторского искусства во времена Республики и в эпоху принципата и Империи, то становится ясным, что оно, несомненно, утратило свое важное общественное значение. Сами ораторы отдавали себе в этом отчет и всегда не только с уважением, но даже с преклонением и восторгом говорили о своих республиканских предшественниках. Это преклонение выражается часто в преувеличенных формах: Сенека, а впоследствии Квинтилиан и оба Плиния благоговейно перед Цицероном, перед Катонами и Сципионами. И этим своим благоговением они ясно показывают, к какому политическому направлению они принадлежат: все они — приверженцы консервативных аристократически-республиканских группировок, примыкающих к униженному и недовольному сенату. При единовластных правителях, тяжесть руки которых ложилась в первую очередь именно на город Рим и на тех, кто когда-то был первым в этом городе, воспоминания о временах Республики приобрели необыкновенную привлекательность. Забыты были все жестокости, несправедливости, безобразные процессы о хищениях, подкупах и растратах, войны, проигранные из-за нечестности или неумелости полководцев, беспощадные кровопролитные схватки на улицах Рима, гражданские смуты — все было забыто, осталась только память об отсутствии единоличного самовластного правителя. Чем дальше уходила в прошлое действительная Римская республика с ее жестоким господством избранной верхушки, тем больше создавался вокруг нее ореол «свободного» государства, тем более что ее поклонники и идеологи, в особенности Цицерон, в свое время не купились на слова *libertas, iustitia, boni cives, amor rei publicae* и т. п. Эта иллюзия, создавшая из Цезаря тирана-угнетателя, а из Помпея и Брута бескорыстных мучеников за свободу, перешла в вековую традицию, закрепилась в трагедиях Шекспира и Шиллера и была окончательно рассеяна только в наше время исследованиями советских историков, увидевших в истории Рима жесточайшую классовую борьбу, а в отдельных вождях не героев или страдальцев, а то, чем они были в действительности, — одаренных, честолюбивых и расчетливых руководителей тех или иных политических группировок.

2. СЕНЕКА СТАРШИЙ

а) Биография

Луций Анней Сенека (L. Annaeus Seneca), называемый обыкновенно Сенека-отец (Сенека Старший) или Сенека-ритор, в отличие от своего сына, Сенеки-философа, воспитателя Нерона, был родом из Испании, но получил свое образование в Риме. Биографические сведения о нем довольно скудны; он родился, по-видимому, не позже 59—58 гг. до н. э., что следует из его собственного сообщения о том, что не его возраст, а безумие гражданских войн, бушевавших в то время повсюду, удерживало его в те годы в провинции и помешало ему слышать «живой голос Цицерона» («Контroversии», введ. к. кн. I, 11); так как последние выступления Цицерона относятся к 44—43 гг., то, очевидно, Сенека в это время был уже юной или подростком, способным интересоваться ораторскими выступлениями. Прожил он более 90 лет; в своем сочинении «Свазории» он упоминает о смерти последнего представителя рода Скавров, умершего, по свидетельству Тацита, в 34 г. н. э. До 41 г., первой ссылки своего сына-философа, Сенека-отец не дожил.

Учителем его в ораторском искусстве был некий ритор Марулл, «человек довольно-таки сухой, говоривший совсем некрасиво, но не в шаблонном стиле» (non vulgato genere; там же, § 22); в его школе Сенека познакомился со всеми видными ораторами своего времени, слушая старших и учаь вместе с младшими. В дальнейшем Сенека провел большую часть своей жизни на родине, но время от времени посещал Рим; это видно из его слов, что некоторых ораторов он слышал и юными, и в расцвете их сил, и на закате.

Сыновья Сенеки получили, как и отец, риторическое образование в Риме и остались там на всю жизнь; сын его, Луций Анней, стал известным философом; сын его Мела был отцом поэта Лукана.

б) Сочинения Сенеки

До нас дошли два сочинения Сенеки Старшего: «Контroversии» (Controversiae; буквально «споры, противоречия»), и «Свазории» (Suasoriae; буквально «убеждающие речи»). «Контroversии» состоят из 10 книг, из которых каждая заключает в себе от 6 до 10 тем с их обсуждением; сами темы иногда повторяются, но по поводу их приводятся каждый раз различные высказывания разных лиц. По-видимому, не все 10 книг дошли до нас в полном виде; в IV в. н. э. из них было сделано извлечение (эпитома), и некоторые книги сохранились именно в этой сокращенной форме.

Другое сочинение Сенеки — «Свазории» — в настоящем виде заключает в себе только семь речей, причем начало первой речи утеряно. В рукописях и изданиях «Свазории» помещены перед «Контroversиями», но написаны после них, на что указывает сам автор, говоря по поводу одного вопроса в «Контroversиях», что ответит на него в другой книге, в «Свазориях», которую он еще напишет.

Оба свои сочинения Сенека написал по просьбе своих сыновей, которые просили отца познакомить их с прежним курсом обучения и дать характеристику всех ораторов, которых он знал лично. Сенека исполнил желание сыновей с такой полнотой и дал такое множество подробностей, что можно поверить его сообщению о том, будто он обладал необычайной памятью; она, по его словам, позволяла ему в молодости не только запоми-

нать с одного раза список в 2000 имен, но и воспроизводить его от конца к началу; он оговаривается, что теперь, когда он уже постарел, в его памяти осталось свежим все, что он слышал в детстве и юности, но «то, что он поручал своей памяти в дальнейшие годы, она настолько растеряла и растратила, что даже если ему повторяют одно и то же несколько раз, он каждый раз воспринимает это, как нечто новое», и заканчивает шуткой: «Будь по-вашему; пусть старик снова идет в школу» («Контroversии», введ. к кн. I, 3—4). Действительно, даже если Сенека пользовался какими-нибудь старыми школьными записями, можно только удивиться тому неисчерпаемому разнообразию деталей, которыми изобилует это своеобразное произведение, одновременно и утомительное, и увлекательное.

Самому Сенеке его работа к концу надоела: во введении к последней, X книге он пишет сыновьям, по-видимому, в ответ на их извинения за то, что они его утруждают: «Что вы меня слишком обременяете, — не в этом дело; спрашивайте, что хотите, но позвольте мне вернуться от этих юношеских упражнений к моей стариковской жизни. Скажу вам, мне само это дело уже приелось. Сперва я охотно взялся за него, как бы вновь воскрешая лучшую часть моей жизни; а сейчас мне уже совестно, что я так долго занимаюсь пустяками. В этом особенность таких школьных упражнений: если ими заниматься слегка, они доставляют удовольствие, в большем же количестве и слишком подробно изучаемые, они надоедают» («Контroversии», введ. к кн. X, 1).

в) Политические воззрения Сенеки

О своих политических воззрениях Сенека не говорит нигде открыто, но по целому ряду косвенных признаков (из отзывов о римских деятелях, из советов сыновьям) можно видеть, что он был критически настроен по отношению к принципату и принадлежал к той, довольно пассивной оппозиции, которая долго продолжала существовать в Риме еще и после Августа и Тиберия.

О самом Августе Сенека упоминает редко; однако и он, как это было принято в то время, восхищается снисходительностью и мягкостью Августа, по делает это в связи с упоминаниями об оппозиционных настроениях побиитата. Рассказав, как оратор Порций Латрон, декламируя перед Августом, Меценатом и Агриппой, упомянул о низком происхождении своего вымышленного героя и о его выдвижении в знать, Сенека прибавляет: «Ведь Агриппа был не из родовой знати, а был сделан знатным... Но при божественном Августе была разрешена такая свобода мнений (*tanta liberalitas*), что находились люди, которые попрекали всемогущего Агриппу его незнатным происхождением...» («Контroversии», кн. II, 5, 13). Такой формы оппозиции Сенека не одобряет, считая ее бессмысленной: «Мне кажется достойным удивления божественный Август, при котором можно было позволять себе такие поступки, и я не могу сожалеть о тех, кто предпочитает скорее расстаться с головой, чем с красным словом» (там же). Однако Латрона, которого, очевидно, постигла какая-то кара (какая, Сенека не говорит), Сенека все же жалеет: «Латрона можно особенно пожалеть потому, что он даже не мог извиниться в своей ошибке: нет более неприятного положения, чем то, когда самим извинением ты оскорбляешь еще больше» (там же).

Его хвалам милосердию Августа противоречат его же рассказы о мстительности Августа; особенно интересен рассказ о гибели оратора Лабiena, который не расстался с помпеянскими настрoсиями даже во время вполне установившегося мира (*Pompeianus spiritus nondum in tanta pace po-*

suisset; «Контроверсии», кн. X, вв. 4). Сенека возмущается карой, постигшей Лабиена, и пишет: «Против него был изобретен новый вид кары: его враги добились того, что были сожжены все его книги... Не стерпел такого оскорбления Лабием и не захотел пережить плодов своего таланта, но велел снести себя в семейный склеп и замуровать, очевидно, опасаясь, как бы в том огне, который пожрал его книги, не было отказано его телу², поэтому он не только убил себя сам, но и похоронил. Помню также, как, читая нам свое историческое сочинение, он опускал многое, — говоря: — то, что я пропускаю, прочтут после моей смерти; как дерзки, должно быть, были те мысли, которых боялся даже Лабием!» (там же, § 7). Кара, постигшая книги Лабиена, вызывает негодование Сенеки: «Новое и необычное дело — карать ученые труды! К счастью для людей, это жестокое наказание для талантов изобретено после Цицерона; что было бы, если бы трибунам вздумалось проscribe и плоды таланта Цицерона?.. Поднести факел к научным трудам, направить его на памятники учености — какое ужасное и ненасытное безумие! Слава богам, что эта кара талантов была введена в тот век, когда таланты стали исчезать!» Кто именно был тот враг Лабиена, который погубил его труды, Сенека не говорит, но та же судьба постигла и произведения этого врага, из чего Сенека делает вывод: «Боги бессмертные — отмстители медленные, но верные... и справедливейшим чередом тот, кто изобрел кару для другого, часто искушает это своей собственной» (там же, § 6). Может быть, этим врагом Лабиена был грек Тимаген, о котором Сенека рассказывает: «Из пленника он стал поваром, из повара — постельничим, из постельничего — счастливым любимцем Цезаря [Августа], но настолько мало был заинтересован в своем благополучии, что Цезарь, не раз рассерженный им, выгнал его из дома и сжег все книги, которые о нем говорили» («Контроверсии», кн. X, 5, 22).

К современному ему обществу Сенека относится отрицательно, резко осуждает молодежь, в среде которой должны расти его сыновья: «Умы юношества коснеют в безделье, нет заботы ни о чем порядочном; сон, вялость или — что хуже — стремление к дурному владеют умами, все охвачены жаждой непристойных песен и плясок; нашим юношам свойственно завивать волосы... и изнеженностью тела спорить с женщинами» («Контроверсии», введ. к кн. I, 8).

Слова Катона Старшего — «оратор — честный человек, умеющий говорить» (*vir bonus dicendi peritus*) — для Сенеки — слова не человека, а оракула: «Ибо что такое оракул? Это — воля богов, возведенная устами человека; а какого же более возвышенного (*sanctiorem*) представителя могло для себя избрать божество, нежели М. Катона?» (там же, § 9). О государственной карьере Сенека выражается отрицательно и своего любимого младшего сына Мелу отговаривает от нее: «Ты одареннее твоих братьев и более склонен к прекрасным наукам (*ingenium... bonarum artium sapacissimum*)... твои два брата честолюбивы, они готовятся к форуму и к почестям, а при этом ведь следует бояться даже того, на что возлагаешь надежды... пусть два сына пускаются в плавание, тебя я удерживаю в гавани» («Контроверсии», кн. II, вв. 4).

Если вспомнить, что именно в этой «гавани» получил свое образование ярый молодой помпеянец Лукам, то становится ясным, что и дед его, не будучи политическим деятелем, тем не менее сочувствовал сенатской оппозиции³.

² Т. е. он опасался, что будет запрещено почетное сожжение его тела на костре.

³ Его сын-философ дополняет эту характеристику, несколько критически отзываясь о нем: «Было бы лучше, если бы этот лучший из людей, отец мой, был менее предан заветам предков» («Утешение к Гельвию», 17, 3).

г) *Композиция и содержание «Контroversий» и «Свазорий»*

Из 10 книг, на которые разделено сочинение Сенеки «Контroversии», 7 (I—IV, VII, IX, X) снабжены введениями, представляющими собой наиболее интересную часть всего произведения. Помимо автобиографических сведений и интересных бытовых набросков, в них заключается ряд прекрасно написанных характеристик ораторов, современников Сенеки, — Асиния Поллиона (введ. в кн. IV), Гатерия (там же), Фабiana (введ. к кн. II), Монтана (введ. к кн. IX), Албуция (введ. к кн. VII), Скавра⁴ и Лабiena (введ. к кн. X), ближайшего друга Сенеки Кассия Севера (введ. к кн. III), Порция Латрона (введ. к кн. I) и многих других, более мелких ораторов (введ. к кн. X). Сенека характеризует круг их интересов, их стиль, их манеру говорить, давая цельные живые портреты, свидетельствующие о наблюдательности и уме этого провинциального ритора. Порой Сенека включает беглые характеристики и в изложение самих ораторских выступлений, но каждый раз просит извинения за то, что отвлекся от основной темы; порой он скрашивает однообразие ораторских высказываний остроумными анекдотами.

Каждая «Контroversия» построена следующим образом: сперва вкратце изложена тема — содержание «казуса», подлежащего обсуждению; далее идут высказывания отдельных ораторов (*sententiae*), говорящих якобы от имени заинтересованных спорящих лиц: приводит ли Сенека подлинные слова того или иного оратора или излагает содержание сказанного им, решить едва ли возможно; однако некоторая разница в языке и стиле высказываний заметна. Вторую часть составляют «подразделения» (*divisiones*), нередко интересные для историков права; Сенека излагает здесь, под какие юридические положения подходит данный случай, как можно построить судебный процесс (*quaestio*). Наконец, в третьей части, носящей своеобразное название *colores* (т. е. различные способы «освещения» или «расцветки» данного случая), ритор должен был особенно показать свое искусство и хитроумие, иногда доказывая недоказуемое. В «Свазориях» эта последняя часть отпадает, так как случаи, разбираемые в них, не носят судебного характера, да и «подразделения» не всегда служат только юридическому обоснованию казуса, а приводят философские и психологические доводы в пользу различных возможных решений.

Темы, которым посвящены «Свазории» и «Контroversии», можно разделить на несколько основных групп:

1. Темы из греческой мифологии и из истории Греции, например: «Агамемнон обдумывает, следует ли принести в жертву Ифигению, повинаясь предсказаниям Калхаса» (Свазория 3); «Афиняне совещаются о том, не лучше ли убрать трофеи персидских войн, ввиду того, что Ксеркс грозит новой войной, если они этого не сделают» (Свазория 5); «Афинский художник Паррасий купил старика-пленника после разрушения Олинфа Филиппом Македонским, чтобы написать с него прикованного Прометея; он изранил и замучил его до смерти, а картину пожертвовал в храм Минервы [именно Минервы, а не Афины]; афиняне возбудили дело против художника за оскорбление богини, а тем самым и государства таким нечестивым даром» («Контroversии», X, кн. 5). Несколько свазорий посвящены Александру Македонскому. Однако эти темы, не имеющие непосредственной связи с современностью, немногочисленны.

2. Господствующее место занимают темы уголовного характера: убийство и грабеж, отравление, самоубийство, похищение детей и юношей

⁴ Речь Скавра, как и «История» Лабiena, была сожжена.

пиратами и выкуп их из плена, лишение наследства, усыновление, назначение жрецов и жриц (в особенности именно избрание жриц, связанное с вопросом об их нравственности) — таковы темы, сменяющие одна другую в десяти книгах «Контроверсий». Некоторые из них могли бы послужить материалом для целой повести, например: «Отец лишил сына наследства и выгнал его; изгнанный сын стал жить с гетерой, которая родила ему сына; тяжело заболел, он пришел с женой и ребенком к отцу, поручил ему ребенка и умер; дед принял и усыновил внука, за что другой сын подал на него в суд, как на потерявшего рассудок» («Контроверсии», кн. II, 4); «Юношу, захваченного пиратами, отец не захотел выкупать; его спасла дочь вождя пиратов и бежала с ним на его родину; отец хотел заставить его жениться на богатой сироте, сын отказался, желая остаться верным своей спасительнице; тогда отец лишил его наследства» («Контроверсии», кн. I, 6).

В трудах по истории литературы общепринятым является взгляд на подобные темы, как на исключительно фантастические, вымышленные, не имеющие никакой связи с реальной жизнью. Такой взгляд едва ли верен. Как мы знаем, риторические школы готовили не одних декламаторов, а и судей, и судебных ораторов; трудно предположить, чтобы система образования, существовавшая в течение нескольких веков, служила только пустой забаве. Вернее, что *содержание* казусов давала реальная жизнь, а в риторической школе они типизировались, и им придавалась литературная форма. Уголовными делами, постоянно встречающимися в числе тем и бесконечно варьируемыми, были переполнены все римские суды. Едва ли какая-либо контроверсия Сенеки превосходит по количеству ужасов и сложности положений те реальные процессы Роста Америйского, Клуелция и Целия, в которых в свое время выступал Цицерон; а исторические сочинения Саллюстия и Тацита рисуют характеры и ситуации много более страшные и яркие, чем казусы Сенеки. Мачеха-отравительница, скупой старик, похищенные дети — все эти образы вошли в литературу через Горация и Овидия, но почерпнуты, несомненно, из реальной жизни. Часто встречающаяся тема пиратства и выкупа из плена — тоже не чисто литературная фикция; в молодости Сенеки еще хорошо помнили то время, когда Помпей стяжал лавры в войне с пиратами, а Цицерон с горечью вспоминал об их дерзких набегах, доходивших до Остии. Вопросы наследственного права и усыновления, брачных и имущественных отношений разбирались в судах ежедневно. Наконец, вопрос о достойных кандидатах на жреческие должности никогда не терял значения, а ввиду забот Августа о возрождении «древней доблести» мог приобрести особую важность, так как окружающая жизнь не способствовала⁵ возрождению доблести. Таким образом, материал для многих декламаций давала сама жизнь, литературную форму ему придавала школа.

3. Наиболее характерны для взглядов самого Сенеки, — а вероятно, и лиц его круга — темы, касающиеся исторических лиц, римских деятелей недавнего прошлого. Первое место среди них занимает Цицерон; ему посвящены две чрезвычайно интересные и яркие «Свазории» (6 и 7).

В них ставится вопрос, что должен был предпочесть Цицерон — примирение с Марком Антонием или смерть; все выступающие высказываются за добровольную смерть; Цицерон изображен в идеальных красках, и Сенека пользуется этим случаем, чтобы привести отрывки из поэм Корнелия

⁵ Особенно много забот уделялось нравственности весталок; от несколько более позднего времени, от правления Домициана, сохранилось известие о том, что весталку закопали живой в землю по подозрению в нарушении обета девственности (Плиния Младшего, IV, 11, 6).

Севера и Секстилия Эны, горячо восхваляющих Цицерона. В том же тоне выдержана вторая контрверсия VII книги; в ней обвиняется некий Попилий, которого Цицерон когда-то спас от обвинения в отцеубийстве и который по приказу Марка Антония заколол Цицерона и привез Антонию его голову и правую руку; в этом случае, как полагалось в контрверсии, некоторые выступавшие должны были оправдывать Попилия: «Не меня, а государство судите за испорченность, — говорил Попилий. — Мог ли я послушаться того, кого не смело послушаться государство?».

Упоминания о других римских деятелях иногда используются как примеры для моральных сентенций; например, имя Мария стало символом ненадежности человеческих судеб («Контрверсии», I, 3, 5, VII, 2, 6).

Несомненно, имеет политическую подкладку разработка темы о тирании, борьбе с ней и тираноубийстве, которое всегда расценивается положительно, в какие бы различные ситуации оно ни вводилось. Для того времени, к которому относятся воспоминания Сенеки, вопрос о законности и о средствах тираноубийства отнюдь не был теоретическим и фиктивным: смерть Цезаря, роль Брута и Кассия и проскрипции триумвиров были еще живы в памяти; да и в правление Августа был раскрыт не один заговор (особенно опасен был заговор Пизона), и вопросы о тайне и предательстве, о признаниях, вымогаемых путем пыток, а также общий вопрос о преимуществах того или иного государственного строя не могли не волновать умы. Именно они и нашли свое косвенное, но иногда даже довольно слабо замаскированное отражение в большом числе контрверсий.

Отголоски восстаний рабов слышны в некоторых контрверсиях, трагующих вопросы об отношениях между рабами и хозяевами, о пытках рабов и т. п. Встречаются даже сентенции совсем не древнеримского характера, напоминающие стоические тирады о равенстве людей: «Природа никого не сделала ни господином, ни рабом; только судьба дала впоследствии различным людям эти названия» («Экцерпты контрверсий», кн. VII, 6).

Известную ценность представляет сочинение Сенеки и для расширения наших сведений о малоизвестных писателях, из которых он приводит некоторые цитаты. Интересны также упоминания о том, как обсуждались в риторических школах отдельные стихи известных поэтов — Вергилия («Свазории» 3, 5, «Контрверсии» VII, 5, 9, и много других мест) и Овидия, а также сведения о тщательной риторической выучке Овидия, так сильно отразившейся в его поэтических произведениях («Контрверсии», II, 2, 2). Даже при беглом чтении сочинений Сенеки можно заметить, что они хранят в себе немало еще не использованного исторически ценного материала.



СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Иллюстрации первого тома «Истории римской литературы» — снимки с произведений античного изобразительного искусства, хранящиеся в Государственном Эрмитаже в Ленинграде (за исключением снимков со списков комедий Теренция). Кроме произведений римского искусства, взяты снимки со статуэток ранней итальянской работы, а также снимки с керамики этрусской и нескольких ваз Апулии, Лукании и Кампании V и IV вв. до н. э., изображения, на которых воспроизводятся мотивы и сюжеты, использованные в произведениях римских писателей.

Голова Автумна (бога осени). Римская переделка греческого образца, изображающего Триптолема. (Фронтиспис)	между стр. 4—5
Мужчина и женщина этруски. Бронзовая статуэтка итальянской работы VI—V в. до н. э.	20
Стрелок-этруск. Бронзовая статуэтка итальянской работы VI—V в. до н. э.	21
Воин с конем. Кампанский кратер V в. до н. э.	37
Кратер с изображением мифологической сцены	45
Юноша с конем. Бронзовая статуэтка римской работы	49
Поединок. Кампанский скифос IV в. до н. э.	51
Комическая маска	60
Комическая маска	61
Карикатурная фигура пляшущего толстяка. Глиняная статуэтка II в. до н. э.	между стр. 64—65
Маска негра. Этрусская работа III в. до н. э.	77
Битва богов с гигантами. Апулийский кратер конца IV в. до н. э. между стр. 80—81	
Воин с конем. Апулийская ойнохоя IV в. до н. э.	85
Изображение актера, читающего пролог к «Адельфам» Теренция. Амбросиевский список X в.— N inf. (F). Лист 50	97
Изображение Теренция в Ватиканском списке IX в.— 3868 (C). Лист 2	105
Пролог к «Адельфам» Теренция. Амбросиевский список X в.— N 75 inf (F). Лист 51	107
Петух. Бронзовая статуэтка	147
Римский ключ	148
Голова ликтора. Мрамор. Работа конца I в. н. э. Найдена в Тускуле	217
Фортуна. Бронзовая статуэтка римской работы	283
Богиня воздуха. Мраморная статуя римской работы I в. н. э. на основании греческих образцов, изображающих Афродиту, приносящую веслу. Найдена в Вейях	между стр. 304—305
Венера с Амуром. Римская копия с греческого оригинала III в. до н. э. Амур прибавлен копистом	между стр. 320—321

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Женщина с веером. Кампанская гидрия IV в. до н. э.	329
Статуя Августа. Мрамор. Работа I в. н. э. Найдена в Кумах	345
Август, Ливия и Тиберий. Камея I в. н. э.	359
Прославление воина. Луканская амфора V в. до н. э.	371
Камея, вырезанная в память битвы при Акци. I в. н. э.	388
Гапимед кормит орла Юпитера. Мраморный рельеф времени Августа. Подража- ние греческому стилю V в. до н. э.	401
Этрусский кувшин, IV в. до н. э.	423
Избиение детей Ниобы. Мраморный рельеф. Римская копия с оригинала гре- ческой работы второй половины V в. до н. э.	447
Гибель Фаятона. Стенка мраморного саркофага II в. н. э.	455
Омовение Геркулеса. Камея. (Увеличена)	467
Квадрига. Фрагмент мраморной группы римской работы	481
Бюст с головой Октавиана-Августа. Римская работа I в. н. э. Найден в Пом- пеях	503



О Г Л А В Л Е Н И Е

От редакции	5
ВВЕДЕНИЕ	
Глава I. Общие проблемы истории римской литературы (Ф. А. Петровский)	9
1. Римская литература, ее связь с литературой греческой и ее самостоятельное значение. — 2. Периодизация римской литературы.	
Глава II. Латинский язык (Ф. А. Петровский)	17
1. Латинский язык и другие языки Италии. — 2. Периодизация истории латинского языка.	
Глава III. История изучения римской литературы (Ф. А. Петровский)	24
1. Изучение римской литературы в древности. — 2. Занятия римской литературой в средние века. — 3. Работы по римской литературе в эпоху Возрождения. Труды ученых XVI в. — 4. Работы по римской литературе в XVII—XVIII вв. и в новое время. — 5. Изучение римской литературы в России.	
РАННЯЯ РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА	
Глава IV. Начало римской литературы. Ливий Андроник (Ф. А. Петровский)	35
1. Ранняя римская литература и письменность. — 2. Данные о древнейшей латинской поэзии и о стихосложении. — 3. Рост культуры римского общества в III в. до н. э. — 4. Ливий Андроник.	
Глава V. Невий (Ф. А. Петровский)	47
1. Сведения о жизни и произведениях Невия. — 2. Драматические произведения Невия. — 3. Поэма о Первой Пунической войне. — 4. Значение Невия для римской литературы.	
Глава VI. Развитие римского театра (Ф. А. Петровский)	53
1. Римские театральные представления до 55 г. до н. э. — 2. Первый каменный театр в Риме и дальнейшее театральное строительство. — 3. Устройство римского театра и распределение зрительных мест. — 4. Театральная публика и ее вкусы. — 5. Римские актеры. — 6. Театральный репертуар.	
Глава VII. Плавт (Ф. А. Петровский)	64
1. Сведения о жизни и произведениях Плавта. — 2. «Комедия плаща» и греческие оригиналы Плавта. — 3. Контаминация. — 4. Основные сюжеты комедий Плавта. — 5. Действующие лица. — 6. Римские элементы. — 7. Метрика и язык Плавта.	
Глава VIII. Эний (Ф. А. Петровский)	80
1. Сведения о жизни и произведениях Эния. — 2. «Анналы» Эния. Введение в римский эпос дактилического гексаметра. — 3. Драматические произведения Эния. — 4. Сатуры и другие произведения Эния.	
Глава IX. Римская «комедия плаща» после Плавта (Ф. А. Петровский)	95
1. Каноны римских комиков. — 2. Цецилий Стаций.	

Глава X. Теренций (С. И. Соболевский)	103
1. Биография Теренция.— 2. Литературная деятельность Теренция.— 3. Прологи Теренция и литературная полемика. Дидаскалии и перихои.— 4. Характерные особенности комедий Теренция.— 5. Язык Теренция.	
Глава XI. Обзор римской драматической литературы времен Плавта, Теренция и последующего периода Республики (Ф. А. Петровский)	112
1. Трагедия.— 2. Комедия тоги.— 3. Ателлана.— 4. Мим.	
Глава XII. Ранняя латинская проза (С. И. Соболевский)	118
1. Возникновение литературной прозы в Риме.— 2. Древние анналисты.— 3. Средние анналисты.— 4. Историческая монография.— 5. Автобиография и мемуары.— 6. Юриспруденция.	
Глава XIII. Катон (М. Е. Грабарь-Пассек)	135
1. Биография Катона.— 2. Политические взгляды Катона.— 3. «Начала» Катона и его литературная деятельность.	
Глава XIV. Ранняя римская сатура. Луцилий (Ф. А. Петровский)	150
1. Определение сатуры как литературного жанра.— 2. Сатура у ранних римских авторов.— 3. Гай Луцилий и его литературная деятельность.	
Глава XV. Ораторское искусство в Риме до Цицерона (М. Е. Грабарь-Пассек)	163
1. Ораторское искусство в Риме до Цицерона.— 2. Ораторы консервативно-республиканской группировки и ораторы-демократы.— 3. Греческая и латинская школы красноречия.— 4. Ораторы-современники Цицерона.— 5. Теория ораторского искусства в первой четверти I в. до н. э. Риторика «К Герепнию» и трактат Цицерона о подборе материала.	
ЛИТЕРАТУРА КОНЦА РЕСПУБЛИКИ	
Глава XVI. Цицерон (М. Е. Грабарь-Пассек)	178
1. Основные сведения о Цицероне.— 2. Биография и произведения Цицерона (по периодам).— 3. Цицерон как политический деятель, оратор и писатель.— 4. Переписка Цицерона.— 5. Сочинения Цицерона по различным философским вопросам.— 6. Сочинения Цицерона по теории ораторского искусства.— 7. Речи Цицерона.— 8. Отражение воззрений Цицерона в его речах.— 9. Речи Цицерона как литературные произведения.	
Глава XVII. Варрон Реатинский (С. И. Соболевский)	234
1. Филология в Риме.— 2. Биография Варрона.— 3. Литературная деятельность Варрона.— 4. Исторические и антикварные сочинения.— 5. Грамматические и историко-литературные сочинения.— 6. Философские сочинения.— 7. Сочинения по экономике.— 8. Поэтические произведения.	
Глава XVIII. Историческая литература I в. до н. э. (С. И. Соболевский)	245
1. Новые анналисты.— 2. Квинт Клавдий Квадригарий.— 3. Валерий Анциат.— 4. Гай Лицилий Макр.— 5. Квинт Элий Туберон.— 6. Луций Корнелий Сизенна.— 7. Корнелий Непот.	
Глава XIX. Юлий Цезарь и его продолжатели (М. Е. Грабарь-Пассек)	256
1. Биография и произведения Цезаря.— 2. «Записки о Галльской войне».— 3. «Записки о Гражданской войне».— 4. «Александрийская война».— 5. «Африканская война».— 6. «Испанская война».	
Глава XX. Саллюстий (М. Е. Грабарь-Пассек)	273
1. Сведения о жизни и произведениях Саллюстия.— 2. Саллюстий как историк.— 3. Саллюстий как писатель	
Глава XXI. Лукреций (Ф. А. Петровский)	291
1. Поэма Лукреция «О природе вещей» и биографические сведения об ее авторе.— 2. Учение Эпикура и приверженцы его в Риме.— 3. Философское и поэтическое значение произведения Лукреция.— 4. Лукреций и римская литература.	
Глава XXII. Катулл (Ф. А. Петровский)	321
1. Катулл и его сборник.— 2. Биографические сведения о Катулле.— 3. Круг друзей Катулла в Риме. Поэты-неостерники.— 4. Стихи к Лесбии.— 5. Отзвуки политической борьбы в стихотворениях Катулла.— 6. «Александринизм» Катулла.	

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ИМПЕРИИ

Глава XXIII. «Золотой век» римской литературы (М. Е. Грабарь-Пассек, М. Л. Гаспаров)	343
Глава XXIV. Вергилий (М. Е. Грабарь-Пассек)	352
1. Биография Вергилия.— 2. Произведения Вергилия.— 3. Мирозрение Вергилия.— 4. «Эклоги», или «Буколики». — 5. «Георгики». — 6. Мелкие сочинения, приписываемые Вергилию.— 7. «Энеида». — 8. Источники «Энеиды». — 9. Римские мотивы в поэме Вергилия. — 10. Композиция и художественные приемы «Энеиды».	
Глава XXV. Гораций (М. Е. Грабарь-Пассек)	381
1. Биография и произведения Горация.— 2. «Сатиры» и «Эподы». — 3. «Оды». — 4. «Юбилейный гимн». — 5. «Послания» и «Наука поэзии».	
Глава XXVI. Римская элегия. Тибулл (Е. А. Беркова)	418
1. Римская элегия.— 2. Корнелий Галл.— 3. Тибулл.	
Глава XXVII. Проперций (Е. А. Беркова)	428
1. Сведения о жизни Проперция.— 2. Элегии Проперция.— 3. Стиль элегий Проперция.	
Глава XXVIII. Овидий (Е. А. Беркова)	436
1. Биография Овидия.— 2. Первый период творчества Овидия.— 3. «Фасты» и «Метаморфозы». — 4. Произведения Овидия, написанные в ссылке. — 5. Произведения, приписывавшиеся Овидию.— 6. Значение поэзии Овидия.	
Глава XXIX. Малые поэты эпохи Августа (М. Е. Грабарь-Пассек)	463
1. Луций Варий Руф.— 2. Альбинован Педон. Рабирий.— 3. Корнелий Север.— 4. Эмилий Макр. Граттий Фалиск.— 5. Домиций Марс, Валгий Руф и другие поэты.	
Глава XXX. Тит Ливий (С. И. Соболевский)	471
1. Биографические сведения.— 2. Литературная деятельность Тита Ливия и его «История». — 3. Религиозный характер «Истории». — 4. Политические взгляды, выраженные в «Истории». — 5. Источники Ливия.— 6. Ливий как историк.— 7. Язык и слог Ливия.— 8. Характеристики в «Истории». — 9. Речи в «Истории».	
Глава XXXI. Второстепенные прозаики эпохи Августа (С. И. Соболевский, Ф. А. Петровский)	492
1. Гай Азиний Поллион.— 2. Помпей Трог.— 3. Источники Трога.— 4. Политические и социальные взгляды Трога.— 5. Отношение современников и последующих поколений к сочинению Трога. Юстин.— 6. Другие историки Августова века.— 7. Веррий Флакк. Фест. Павел Диаков.— 8. Гигин.— 9. Гигин Младший.— 10. Витрувий.	
Глава XXXII. Ораторское искусство при Августе (М. Е. Грабарь-Пассек, М. Л. Гаспаров)	514
1. Риторические школы и ораторы времени Августа.— 2. Сенека Старший. а) Биография.— б) Сочинения Сенеки.— в) Политические воззрения Сенеки.— г) Композиция и содержание «Контроверсий» и «Свазорий».	
Список иллюстраций	530

173591

